

АНТИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА



ЛУКИАН



СОЧИНЕНИЯ

ТОМ I

СЕРИЯ

**АНТИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА**



**АНТИЧНАЯ
ЛИТЕРАТУРА**



Издательство
«Алетейя»
Санкт-Петербург
2001

20
2

**ЛУКИАН
САМОСАТСКИЙ**



СОЧИНЕНИЯ

ТОМ I

Под общей редакцией
А. И. Зайцева



Издательство
«Алетейя»
Санкт-Петербург
2001

УДК 875-3 Лукиан
ББК Ш5(0)335-4 Лукиан
Л 84
1

Лукиан Самосатский
Л 84 Сочинения. В 2 т. Т. 1 / Под общ. ред. А. И. Зайцева. —
СПб.: Алетейя, 2001. — 480 с. — (Античная библиотека.
Античная литература)
ISBN 5-89329-314-2

Основатель и руководитель серии:
Абышко О. Л.

Лукиан из Самосаты (III в. н. э.) является одним из самых ярких греческих писателей поздней античности. Автор большого числа сочинений, написанных в самых различных жанрах — здесь сатирический диалог, памфлет, пролалия (небольшая речь, которую риторы времен «Второй софистики» обычно предпосылали своему основному выступлению), контроверсия, эпиграмма, травестированная трагедия, — оказал сильное влияние на литературу Византии и европейского гуманизма, обрета многочисленных подражателей (например, в лице Томаса Мора и Эразма Роттердамского, Фенелона и Вольтера).

Сочинения Лукиана, написанные изящным слогом в очень живой манере, до сих пор не утратили своей эстетической ценности. Кроме того, они являются прекрасным историческим источником для изучения различных аспектов жизни поздней античности. Специально для данного издания был сделан первый русский перевод сочинения Лукиана «Тираноубийца».

Издание содержит полный русский перевод прозаических и поэтических сочинений Лукиана и представляет интерес как для специалистов, так и для всех, кто интересуется культурой и историей античного мира.

ISBN 5-89329-314-2 (1 т.)
ISBN 5-89329-335-5



© Издательство «Алетейя» (СПб), 2001 г.
© А. И. Зайцев, вступительная статья, 2000 г.
© А. Я. Тыжов, 2000 г.

*Памяти
Александра Иосифовича Зайцева*

Несколько дней спустя, после того как список исправлений к тексту и вступительная статья были переданы в издательство, не стало профессора Александра Иосифовича Зайцева, осуществившего научное редактирование перевода сочинений Лукиана из Самосаты.

Уже будучи неизлечимо болен, Александр Иосифович тщательно сверил перевод Лукиана с греческим текстом подлинника и написал вступительную статью. То обстоятельство, что работа над Лукианом оказалась одним из последних трудов Александра Иосифовича, дает нам право сказать несколько слов об этом замечательном ученом.

А. И. Зайцев (1926–2000) прошел нелегкий жизненный путь: репрессированные родители, зима в блокадном Ленинграде. После возвращения из эвакуации Александр Иосифович поступил на классическое отделение филологического факультета ЛГУ, но в январе 1947 года был арестован по обвинению в антисоветской агитации и провел семь лет в сталинских тюрьмах. Лишь в 1954 году Александру Иосифовичу удалось вернуться к своим университетским занятиям. В 1959 году по окончании аспирантуры началась сорокалетняя преподавательская и научная деятельность Александра Иосифовича в стенах университета.

Александр Иосифович Зайцев оказал огромное влияние на формирование современной петербургской классической филоло-

гии. Помимо собственных научных трудов (здесь две фундаментальных монографии и более ста научных статей), Александр Иосифович не просто щедро делился со всеми своими знаниями и опытом, но считал это для себя одним из важнейших жизненных принципов.

Кроме своих многочисленных лекций и семинаров Александр Иосифович в течение почти сорока лет вел свой субботний семинар для всех желающих, щедро тратя на это свое свободное время. На этих занятиях были полностью прочитаны и прокомментированы «Государство» и «Законы» Платона, «Политика» Аристотеля, большая часть эпиникиев Пиндара, велись занятия по латинской стилистике.

Научные интересы Александра Иосифовича были весьма широки, но главное свое внимание он обращал, прежде всего, на вопросы, связанные с возникновением как греческой культуры в целом, так и отдельных составляющих ее частей (например: проблемы первых шагов науки древних греков). Примером служит — мы можем позволить себе кратко остановиться лишь на основных работах Александра Иосифовича — прежде всего главный его труд: «Культурный переворот в Древней Греции VII—V вв. до н. э.». Л., 1985 г., посвященный выявлению причин неожиданно всплеска культурного развития Эллады, по своей глубине и значимости сравнимого лишь с эпохой Возрождения. В 1993 г. в Германии вышел немецкий перевод этой книги.

Примером разработки отдельных вопросов культурного развития древних греков служит другая книга Александра Иосифовича — «Формирование древнегреческого гексаметра», СПб., 1994 г., посвященная проблемам возникновения самого раннего и наиболее распространенного стихотворного размера в истории античной литературы.

Несмотря на свой преимущественный интерес к культурным истокам греков, Александр Иосифович очень живо интересовался всеми научными новшествами в других областях антиковедения.

Александр Иосифович всегда твердо верил в спасительную силу культурной традиции. Глубокое и разностороннее изучение античности не должно было, по его глубокому убеждению, противопоставляться внимательному наблюдению над развитием со-

временного мира. Постигая античную цивилизацию, считал Александр Иосифович, современный человек сможет вернее и лучше понимать настоящее.

Важнейшую роль в изучении культурного наследия античности Александр Иосифович отводил и в деле школьного образования. При его активном участии была создана Санкт-Петербургская классическая гимназия (школа № 610 Петроградского района), справившая недавно свой десятилетний юбилей. Многие, если не большинство, преподавателей в этой гимназии в свое время учились у Александра Иосифовича. Сам Александр Иосифович многократно выступал с лекциями перед учениками гимназии, принимал живое участие в работе научного гимназического кружка.

Александр Иосифович был твердо убежден в том, что строгое научное изучение и популяризация греко-римского культурного наследия может и должно стать преградой на пути культурного регресса, в последние десятилетия охватившего наиболее развитые страны мира.

Несколько слов о принципах редакторской работы Александра Иосифовича на текстом Лукиана.

Здесь, как и всегда, Александр Иосифович оставался верен своему основному принципу — тщательному и максимально точному пониманию текста античного автора. Свою задачу редактора он видел не в усовершенствовании литературной формы перевода, а в его смысловом уточнении.

За основу был взят наиболее полный русский перевод сочинений Лукиана (*Лукиан. Собрание сочинений*. Под ред. Б. Л. Богачевского. Т. I–II, «Академия», М.-Л., 1935), выполненный большим коллективом переводчиков в разное время по разным изданиям греческого текста.

Для сверки текста Александр Иосифович использовал последнее, наиболее авторитетное издание греческого текста Лукиана (*Luciani opera. Recensuit Brevique adnotatione critica instruxit M. D. Macleod, t. 1–4, Oxonii, 1972–1987*), хранящиеся в библиотеке Античного кабинета (*Bibliotheca classica Petropolitana*).

Александр Иосифович очень основательно отредактировал весь текст перевода, внося в него несколько сотен существенных

исправлений. Например, только на стр. 155 второго тома было внесено одиннадцать значительных поправок, а в сочинении «Правдивая история» на стр. 27 текста было сделано более 120 исправлений.

В результате можно с полным правом утверждать, что нынешнее двухтомное издание сочинений Лукиана подводит итог переводческой работы над текстом писателя за последние столетия. И в этом есть большая часть труда профессора Александра Иосифовича Зайцева, всю свою жизнь посвятившего изучению Античного мира.

«cura pii dis sunt et qui coluere coluntur»
(*Ovid. Met. VIII, 724*)

А. Я. Тыжов



ЛУКИАН ИЗ САМОСАТЫ — ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ ЭПОХИ УПАДКА

Древнегреческий оратор и писатель II века христианской эры Лукиан из Самосаты волею судеб оказался для нас интереснейшей и по-своему влиятельной фигурой языческой культуры Римской империи той эпохи. Он способен и сегодня и рассмешить нас, и навести на невеселые размышления.¹

Жизнь Лукиана известна нам почти исключительно из его собственных сочинений. Он родился в северной Сирии, в городе Самосате на среднем Евфрате, бывшем прежде, до римского завоевания, столицей небольшого царства Коммагена. Для большинства населения родным языком был арамейский, принадлежавший к семитской языковой семье. Сам Лукиан утверждает, что он отправился в греческую школу, будучи «варваром по языку» (Дважды обвиненный 14; 25–34): значит ли это, что его родным языком был сиро-арамейский, и его литературная деятельность связана с языком, который ему пришлось усваивать уже в сознательном возрасте (как это было для автора «Ундины» Ламонт Фуке или для Джозефа Конрада), или он хочет только подчеркнуть свое недостаточное владение к тому времени греческим литературным языком, сказать трудно. Имя Лукиан римское, но едва ли он родился в семье, имевшей права римского гражданства. К своему родному городу Лукиан навсегда сохранил теплые чувства (Похвала родине; Рыбак 19; Как следует писать историю 24; Гармонид 3).

Время рождения Лукиана — скорее всего между 115 и 125 гг. после Р. Хр.: комический диалог «Беглые рабы» написан им, по-видимому, вскоре после 165 г., а он сам говорит, что начал сочинять такие диалоги в возрасте примерно сорока лет. В речи к землякам под названием «Сновидение» Лукиан, к тому времени уже известный оратор, рассказывает о том, как в

¹ Croiset M. Histoire de la littérature grecque. 4-e éd. T. V. P., 1928. P. 583 svv.; Lucianus Oeuvres. Texte ét. et trad. par J. Bompaire. T. I. P., 1993. P. XI–XII.

свое время его семья, столкнувшись с сопротивлением мальчика, отказалась от первоначальных планов обучать его ремеслу его дяди — скульптора и, несмотря на финансовые трудности, решила дать ему престижное риторическое образование, к которому он стремился.

Юный Лукиан отправился учиться в Ионию (Дважды обвиненный 25 слл.), главными культурными центрами которой были Смирна и Эфес. Мы ничего не знаем о том, как и у кого он учился, но вскоре, в возрасте примерно 22 лет, Лукиан предстает перед нами в роли «софиста»: в отличие от философов-софистов времен Сократа и Платона, в эпоху Римской империи так называли людей, произносивших публичные речи, причем не столько даже судебные или деловые, но чаще всего предназначенные для того, чтобы доставить удовольствие слушателям красноречием, изобретательностью оратора или даже нагромождением парадоксов.¹ Лукиан много путешествует, и мы вскоре видим его в Македонии, очевидно, в Берое (Скиф 9) во время происходившего там большого собрания со всей провинции: Лукиан произносит там речь (Геродот 7–8). В 153, 157, 161 и 165 гг. он присутствовал на Олимпийских играх, выступал там с речами. Лукиан появляется и на другом конце Империи, в Галлии (Дважды обвиненный; Оправдательное письмо 15), и здесь он уже хорошо зарабатывает своим красноречием. Лукиан выступал и в судах (Дважды обвиненный 32; Рыбак 25), возможно, и в крупнейшем городе Сирии — Антиохии.

Примерно в сорокалетнем возрасте Лукиан разочаровался в своей прежней деятельности, перестал выступать в судах,² направил свои силы на собственно литературное творчество (сам Лукиан говорит об обращении к философии: Гермотим 13; Дважды обвиненный 32; Нигрин): прежде всего он стал писать комические диалоги, которые он не только передавал для распространения в рукописях, но и декламировал в лицах (в некоторых из этих диалогов под именем Ликина выступал сам Лукиан):³ выступления эти имели большой успех (Зевксис 1). Подробное описание в речи «Зевксис» знаменитой картины «Семья кентавров» указывает на то, что Лукиан ориентировался на образованную часть населения и, очевидно, имел у нее успех (Прометей 1–2; Зевксис 3–7; Рыбак 26; Оправдательное письмо 3).⁴

Существовал ли Лукиан, характеризовавший себя, в общем, как человека бедного (Нигрин 12–14; Сатурналии), на свой литературный заработок, или, что весьма вероятно, он пользовался поддержкой влиятельных

¹ Bowersock G. W. Greek sophists in the Roman empire. Oxford, 1969. P. 17ff.

² Ibid. P. 114.

³ См. Bellinger A. R. Lucian's dramatic technique: Yale Classical Studies 1, 1928. P. 3–40.

⁴ Описание Лукиана дает возможность исследователям реконструировать композицию картины: Kraiker W. Das Kentaurenbild des Zeuxis. Winkelmannsprogramm der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin. Berlin, 1950. S. 106.

покровителей (Сатурналии 15–16; срв. О философах, состоящих на жаловании 37), сказать трудно. Таким покровителем мог быть сенатор, на утреннем приеме у которого Лукиан оговорился, а потом пространно извинялся (В оправдание ошибки...), префект Египта, который дал Лукиану важную и хорошо оплачиваемую должность в своей администрации (Оправдательное письмо 9).

В эпоху Империи Афины, уступившие было на какое-то время эту роль египетской Александрии, снова становятся ведущим центром греческой образованности. Лукиан бывал в Афинах уже в молодости, а в пожилые годы во время правления Марка Аврелия (161–180 гг.) Лукиан, видимо, живет там постоянно (Демонакт), и Афины оказываются местом действия ряда его диалогов. В молодости Лукиан бывал и в Риме (Нигрин: срв. О философах, состоящих на жаловании, особ. 26), упоминает он и свои путешествия по Италии (Дважды обвиненный 27; О янтаре 2; Геродот 5). Во время войны с парфянами, закончившейся в 166 г., Лукиан находился в Антиохии, в резиденции командовавшего римскими войсками соправителя Марка Аврелия Луция Вера (О пляске), и его сочинение «Как следует писать историю» содержит в себе элементы панегирика в честь побед императора.

На Олимпийских играх 165 г. Лукиан сделался свидетелем демонстративного самосожжения философа-клиника Перегрин-Протея и высмеял его самым безжалостным образом в своем сочинении «О кончине Перегрин».

Лукиан в это время был явно доволен занимаемым им положением в обществе (Александр 55; Оправдательное письмо 3; Про Диониса 5–8; Про Геракла 7–8; Прометей). Ему покровительствует наместник Каппадокии (Александр 55), и у Лукиана, видимо, были какие-то отношения с богатейшим и влиятельнейшим человеком того времени Геродом Аттиком (О кончине Перегрин 19). Кроний, которому Лукиан адресует свое сочинение «О кончине Перегрин», судя по всему, — философ-платоник из круга Нумения. Цельс, которому посвящен «Александр», видимо, эпикуреец, упоминаемый в сочинениях знаменитого врача Галена; Сабин, которому адресовано «Оправдательное письмо» (см. § 2) — известный философ-платоник, живший в Афинах.

Видимо, уже после смерти Марка Аврелия в 180 г. в правление Коммода Лукиан, который должен был давно уже получить права римского гражданина, занял должность, связанную с судоговорением в администрации префекта Египта (Оправдательное письмо 1; 4; 12–13),¹ и надеялся даже стать прокуратором (там же 1; 12), но при этом чувствовал необходимость оправдываться.

¹ Pflaum H. G. Lucien de Samosate, Archistator: Mélanges de l'École française de Rome 71, 1959. P. 282 svv.

Вскоре после этого Лукиан, видимо, закончил свой жизненный путь, но мы ничего не знаем о его последних годах.

При первом же взгляде на творчество Лукиана бросается в глаза, что оно, если можно воспользоваться современной терминологией, в высокой степени публицистично. Наш автор прямо, открыто, часто в предельно резкой форме высказывается по животрепещущим проблемам жизни, и надо сказать, что именно эти его суждения привлекают до сего дня читателя.

Но поражает то, что собственные взгляды Лукиана (я уже не говорю более громко об убеждениях) уловить очень нелегко: в разных своих произведениях он меняется, как гомеровский Протей.¹ Кажется, единственная постоянная у Лукиана — это стремление к насмешке над глупостью, суетностью, порочностью людей, к насмешке, граничащей зачастую с нигилизмом.² Порой даже кажется, что Лукиан не в состоянии освободиться от ироничного подхода, даже когда ему хотелось бы быть вполне серьезным.

Лукиан начал свою карьеру с небольших сочинений, обычно речей, ставивших своей целью озадачить слушателей или читателей парадоксальным, пусть зачастую и малозначительным содержанием при блестящей ораторской технике.

«Похвале мухе» имела предшественников в виде хвалебных речей разным насекомым уже во время Исократа (IV в. до Р. Х.).

Гласные буквы решают в суде спор согласных сигмы и тау (Суд гласных).

В диалоге «Тираноубийца» гражданин греческого полиса времен независимости, решив освободить город от тирании, убил сына тирана, а сам тиран умер от горя. Сograждане отказали ему в награде, положенной тираноубийце, и он произносит речь, требуя ее себе. (Любопытно, что в 1935 г. издательство Academia не смогло, явно по цензурным причинам, включить этот диалог, вызывавший опасные для власти ассоциации, в изданный им двухтомник Лукиана.)

Паразит-прихлебатель в доме богатого человека в смехотворно преувеличенной форме восхваляет свое положение (Паразит).

Пресловутый тиран Фаларид, жаривший своих противников в раскаленном бронзовом быке, защищает себя и просит принять быка в подарок Аполлону в Дельфы (Фаларид).

Публикует Лукиан и «В оправдание ошибки, допущенной в приветствии». Приветствуя утром при встрече некое высокопоставленное лицо

¹ Срв. *Reardon B. P. Courants littéraires grecs des II^e et III^e siècles après J.-C. P., 1971. P. 157 svv.*

² *Palm J. Rom, Römertum und Imperium in der griechischen Literatur der Kaiserzeit. Lund, 1959. S. 44.*

в Риме, он якобы пожелал ему здравствовать, в то время как по-гречески это было принято говорить при расставании: содержание речи — попытка доказать, что в этой ошибке нет ничего страшного.

Блеск обычного для Лукиана остроумия привлекает читателя и к «Разговорам гетер»¹ не в меньшей степени, чем встречающиеся там кое-где рискованные детали.² Но по существу быт гетер отвратителен и в изображении Лукиана, как он был отвратителен и в Греции, и везде, где существует или будет существовать продажный секс.

Между прочим, как и вся греческая литература, Лукиан во всех формах отношений между полами приписывает активную роль женщинам, и, если они не гетеры, то появляются у Лукиана изменяющими своим мужьям. Забавно, что и в амурных похождениях на том свете (Правдивая история) инициативу проявляет сама Елена: это новость по сравнению с традиционными мифами о похищении Елены Парисом или Тесеем.

Однако, когда предметом изображения у Лукиана оказываются те же, по существу, отношения, но только перемещенные на уровень первых лиц в государстве, наш автор становится с трудом узнаваем. В диалогах «Изображения» и «В защиту "Изображений"» Лукиан восхваляет известную своей красотой и образованностью гетеру Панфею, ставшую любовницей императора Луция Вера. Панегирик высокопоставленному лицу — вообще один из труднейших жанров, и сочинить его так, чтобы он не вызывал ни насмешек, ни отвращения читателей, весьма и весьма нелегко. Лукиан блестяще справляется с этой задачей, так что мы готовы примириться и с тем, что Панфея прекраснее и Афродиты Книдской Праксителя, и Афины Лемноской самого Фидия, и даже с тем, что, познакомившись с «Изображениями», она из скромности стала возражать против содержащихся там похвал, проявляя при этом заметную риторическую выучку, так что для опровержения ее аргументов потребовался диалог «В защиту "Изображений"». Лукиан явно рассчитывал, что эти его сочинения дойдут до Луция Вера, но до нас не дошло каких-либо следов его реакции. Что же касается Панфеи, то после смерти Вера она сидела подолгу печальная у его могилы, пока не умерла сама (*Марк Аврелий*. К самому себе, VIII, 37). Может быть, в ее характере было что-то, способное вызвать искреннее восхищение, и Лукиан в своих панегириках руководствовался не одним только расчетом? В эпоху Возрождения этим панегирикам неоднократно подражали.

Если судить по степени остроумия и изобретательности Лукиана, с которыми он выставляет в смешном виде традиционные греческие рели-

¹ Лукиан широко использует здесь аттическую комедию. См.: *Bompaire J.* Lucien écrivain: imitation et création. P., 1958. P. 361 svv.

² На Западе было выпущено несколько богато иллюстрированных изданий этих диалогов.

гиозные верования и связанные с ними мифы, именно это направление его своеобразной критической деятельности доставляло ему особое удовольствие.¹ Надо сказать, что именно насмешки над богами и героями привлекали к Лукиану особенно много симпатии в Новое время, симпатии людей, склонных к протесту против любых форм превратившейся в традицию систематизированной религиозности, таких как Эразм Роттердамский, Ульрих фон Гуттен, английский историк Гиббон, особенно часто вызывавший ассоциации с Лукианом Вольтер² или немецкий просветитель Виланд.

Пересказывать здесь «Разговоры богов» или «Собрание богов» значило бы лишить читателя удовольствия, которое доставляют при чтении эти маленькие шедевры избранного Лукианом жанра. Между прочим, у «Собрания богов» Лукиана были прототипы, утраченные для нас, но мы можем составить себе о них представление по латинскому «Отыквлению» Сенеки — сатире на смерть императора Клавдия — или по рассуждениям философа-академика Котты в диалоге Цицерона «О природе богов».

То, что насмешки Лукиана были подготовлены глубоким упадком традиционной греческой религии, было ясно уже Гиббону,³ и недавние попытки Джоунса оспаривать плачевное состояние греческого язычества⁴ не убеждают: стоит обратиться хотя бы к произведениям Плутарха и особенно к его сочинению «О том, как умолкли оракулы».

Непримирим Лукиан в своей вражде к оракулам (Зевс трагический 30–31; Зевс уличаемый 14; Совет богов 16). Дельфы, оракул Трофония в Лебадее в Беотии, оракул Амфилоха в Маллосе, Кларос, Делос, Патара (Александр 8; Дважды обвиненный 1) суть для Лукиана места, где обман порождает пагубные последствия, столкнувшись со смехотворным легковерием. Надо сказать, что для нападок на оракул Амфилоха в Киликии, которого Лукиан именует сыном отца, осквернившего себя матереубийством, у Лукиана были особые причины: на этот оракул опирался ненавистный Лукиану лже-чудотворец Александр (Александр 19; 29).

Спор на земле между эпикурейцем Дамидом, начисто отрицающим само существование богов, и стоиком Тимоклом, отстаивающим божественное попечение о мире и людях, вызывает панику в мире богов и комические дебаты, главным оратором в которых выступает Мом — бог на-

¹ Caster M. Lucien et la pensée religieuse de son temps. P., 1937.

² Egger. De Lucien et de Voltaire: Mémoires de littérature ancienne. P., 1862; Ф. Энгельс. Из истории раннего христианства (1895). Лукиан даже представляет дело так, будто он в борьбе с суевением был готов, как позднее Вольтер, рисковать своей жизнью (Александр). С другой стороны, стоит задуматься и над суждением Рирдона, которому Лукиан напоминает скорее Оскара Уайльда (Reardon B. P. Courants littéraires... P. 172).

³ Gibbon E. Decline and fall of the Roman Empire. Vol. I. P. 30, ed. Bury.

⁴ Jones C. P. Culture and society in Lucian. Cambridge, Mass., 1986. P. 35f.

смешник (Зевс трагический). В «Зевсе уличаемом» верховный бог не в состоянии вразумительно ответить на настырные вопросы киника Киниска, кто же все-таки правит в мире — боги или судьба, рок, провидение. Даже Прометей у Лукиана — комический персонаж.

С явным раздражением нападает Лукиан на широко распространенные культы чужеземных богов — фригийского Аттиса, Корибанта, фракийского Сабазия, иранского Митры, египетских зверообразных Анубиса, мемфисского быка, Зевса—Аммона.

Распространение новых культов нередко осуществлялось с помощью обмана и интриг, и Лукиан мог не только бичевать подобные явления, находясь в безопасном отдалении, но иногда вступал в нелегкую и не всегда безопасную борьбу с обманщиками. Памятником такой борьбы является одно из самых интересных сочинений Лукиана «Александр, или Лжепророк». Оно направлено против Александра из Авонотиха в Пафлагонии на берегу Черного моря, провозгласившего себя толкователем воли явившегося в облике змеи бога Гликона, ипостаси бога-врачевателя Асклепия. Легковерные жители Авонотиха, куда он вернулся с большой ручной змеей с искусственно приделанной полотняной головой, построили храм для нового божества (§ 8—11). Культ Гликона стал быстро распространяться. Александр из подземелья толковал ответы пророчесствующего божества, дававшие за плату. Противодействие эпикурейцев и христиан (§ 24—25) не могло сдержать распространение культа. Александр подчинил своему влиянию римского сановника, бывшего консула Рутулиана, и распространил свою сферу деятельности вплоть до Рима. Женщины, ревнительницы нового культа, рождая детей, верили, что отец их — бог Гликон. Во время войны с маркоманнами и квадами Александр потребовал через оракул, чтобы два льва были брошены в Дунай. Удивительно, что его требование было выполнено; менее удивительно, что львы уплыли к противнику. Попытки Лукиана бороться с Александром через наместника Вифиний Лоллиана Авита натолкнулись на страх последнего перед влиянием Рутулиана (§ 55—57), а самого Лукиана едва не сбросили за борт с корабля по просьбе Александра (там же). Все попытки противодействовать Александру окончились неудачей, и только после его смерти его последователи перессорились из-за преемства (§ 59). Две бронзовые статуэтки бога-змеи происходят, видимо, из Афин. Статуя Гликона была найдена недавно в Томах на западном берегу Черного моря, в городе, куда был некогда сослан Овидий. Гликон изображен на многих монетах городов Малой Азии той эпохи. Культ Гликона засвидетельствован и надписью из Дакии.

Поучительно, однако, что одно религиозное новшество, игравшее в жизни Империи немаловажную роль, Лукиан словно не заметил: я имею в виду культ императора.¹ Разумеется, он понимал, что это тот аспект жиз-

¹ Caster M. Lucien et la pensée religieuse de son temps. Paris, 1937.

ни, за неосторожные слова по поводу которого легко было горько поплакаться.

Сочинение «О Сирийской богине», посвященное экзотическому культу женского божества в Гиераполе, вызывает недоумение исследователей. Подражая в языке и стиле Геродоту, Лукиан описывает с верой и благоговением подробности этого культа. Ряд ученых решительно отказываются принять авторство Лукиана. Другие считают все это описание полным иронии, но тогда она оказывается как-то уж слишком глубоко запртанной.

Во времена Лукиана христианство уже было широко распространено по всей Империи, но ни один видный представитель греко-римской культуры I–II веков не почувствовал значение, не предугадал хотя бы смутно историческую миссию новой религии. Лукиан, разумеется, не оказался здесь исключением. О христианах он говорит в двух своих произведениях — «Смерть Перегрин» и «Александр, или Лжепророк» — и оба раза только в связи с похождениями двух псевдорелигиозных авантюристов. Лукиан полон презрения к христианам, эпитеты, которыми он их характеризует, можно перевести по-русски как злосчастные (О кончине Перегрин, 13), суетные (37), простофили (39). Однако, самой выразительной оценкой христиан является утверждение, что презренный обманщик Перегрин, обратившись в христианство, сделался видным деятелем общины (§ 11–14). Между тем Лукиан был достаточно осведомлен о христианской религии — о смерти Иисуса на кресте, о священных книгах и о братской любви христиан — но все это для него лишь проявления постыдного суеверия.

Желанным объектом для уничтожающего осмеяния оказались для Лукиана философы его эпохи. Когда он обрушивается на ненавистные ему пороки лицемерия и продажности, персональными адресатами его нападок оказываются, в первую очередь, философы.

Лукиан, судя по всему, не понимал глубоко сущность учения философских школ, от платоников до киников, да он и не стремился к этому. Зато никогда не упускает он случая подчеркнуть и комический внешний облик философов, и торжественные позы, которые они принимают, и изношенный грязный плащ, и неухоженную бороду, и нахмуренные брови. Выпив на пиру, собравшиеся философы устраивают побоище (Пир). Лукиан вышучивает «невидимые» идеи Платона и общность жен, которую Платон предлагал ввести в своем «Государстве» (Правдивая история II 17), а платоник Ион, фигурирующий в «Любителях лжи» и в «Пире», оказывается и самым легковым из всех, и грубияном, и бесчестным. Сам Платон, оказывается, основательно изучил в Сицилии искусство льстить тиранам (Диалоги мертвых 20, 5).

Не щадит Лукиан и Сократа, повторяя подчас злые выпады в его адрес: в изображении Лукиана мы можем узнать Сократа из «Облаков» Аристофана, но мы не узнаем учителя Платона и Ксенофонта.¹

¹ *Вотпэире J. Lucien écrivain...* P. 236.

Шутки, связанные с верой пифагорейцев в переселение душ, преследовали уже Пифагора, и Лукиан, естественно, не преминул изобразить петуха, который в прошлой жизни был Пифагором (Сновидение). Пифагореец Аригнот рассказывает у Лукиана, как он изгонял привидение из заколдованного дома (Любители лжи 29 слл.), а изобличая ненавистного ему шарлатана Александра из Авонотиха, Лукиан подчеркивает пифагорейские мотивы в его проповеди (Александр 4, 25, 33, 40).

Лукиан повторяет обычные нападки на эпикурейцев, обвиняя их в чревоугодии и вообще в приверженности к наслаждениям (Рыбак 43; Пир 9, 43), но в «Зевсе трагическом» эпикуреец Дамид критикует религию с позиций самого Лукиана, а в «О жертвоприношениях» Лукиан высказывает эпикурейскую идею, что нечестив не тот, кто отрицает богов толпы, а тот, кто приписывает богам то, что о них думает толпа. И когда Лукиану нужно разоблачить шарлатана Александра из Авонотиха, он охотно сотрудничает с эпикурейцами из Амастриды (Александр 21, 25, 47).

Из всех философских школ больше всего раздражения вызывают у Лукиана стоики. Развернутую аргументацию против стоической морали представляет собой «Гермотим». Продажен стоик Фесмополид в «Философах, состоящих на жаловании» (33–34). Один отвратительнее другого философы-стоики Зенофемид, Дифил и Этимокл — персонажи «Пира». Надо думать, что известная всем приверженность к стоической философии самого императора Марка Аврелия немало способствовала тому, что бессовестные и зачастую невежественные люди, желая добыть себе долю в общественном пироге, проповедуя философию, избирали именно стоическое направление (Неуч у Лукиана даже скупает книги в надежде, что о его рвении узнает император: Неуч 22–23).

Перипатетиков, сравнительно менее популярных в его время, Лукиан задевает только однажды, в «Евнухе»: там описывается смехотворное соперничество двух перипатетиков за пост на учрежденной Марком Аврелием в Афинах государственной кафедре.

Тем разительнее выступают на этом фоне примечательные исключения. Идеализированная фигура киника Мениппа из Гадеры (III в. до Р. Хр.) появляется неоднократно как рупор собственных взглядов Лукиана. Ряд исследователей основательно предполагает использование Лукианом не дошедших до нас его сочинений — Менипповых сатир, или мениппей, известных русскому читателю по трудам М. М. Бахтина.¹

Среди современных ему философов Лукиан выделяет своим серьезным, уважительным отношением платоника римлянина Нигрина (Нигрин), своего друга киника Демонакта (Жизнеописание Демонакта). Зато

¹ *Bruns, Ivo.* Lucian's philosophische Satiren: Rheinisches Museum für Philologie 43, 1888. P. 26–103, 161–196; *Helm R.* Lucian und Menipp. Leipzig u. Berlin, 1906; *Norden E. P.* Vergilius Maro. Aeneis VI. Darmstadt, 1957 (1924). S. 199–250; *Jones C. P.* Culture and society in Lucian... P. 31.

в «О кончине Перегринна» Лукиан дает уничтожающую характеристику двух самых известных киников его времени — Перегринна из Парiona и его ученика Феагена из Патр. Перегрин покончил с жизнью театрализованном самоубийством в Олимпии в 165 г., бросившись в костер вскоре после окончания игр, чтобы, по его словам, научить людей презирать смерть. Лукиан, тщетно пытающийся скрыть ненависть под маской равнодушия, повествует о бурной жизни Перегринна и начинает, как это было обычно в греко-римском мире, с распутства Перегринна в молодости, а затем приписывает ему убийство собственного отца. Затем Перегрин становится у Лукиана (и здесь ему можно верить) видным членом христианской общины. Перегрин пишет какие-то сочинения в христианском духе, но затем изгоняется христианами за нарушение пищевых запретов. Он раздает демонстративно свое имущество, а потом пытается вернуть его через императора Антонина Пия. После этого Перегрин обращается в кинизм, выступает в Риме с нападками на императора в стиле родоначальника кинизма Диогена, высылается из Италии префектом Рима и, обретя репутацию философа-страдальца, провоцирует греков в Олимпии на мятеж против Рима. Переходя к главному — описанию конца Перегринна, Лукиан приводит множество деталей, которые должны подчеркнуть и смехотворность стремления Перегринна к славе, которую он решил снискать столь необычным способом, подражая сжегшему себя Гераклу, и трусость лежефилософа, выявившуюся в бесконечных проволочках, когда дело дошло до исполнения давно заявленного намерения.

Впрочем, в своих напаках на философов Лукиан не был оригинален: его менее одаренный и менее известный современник софист Элий Аристид выступал с удивительно похожими напаками на киников, обвиняя их в грубости и обжорстве.

Достаётся от Лукиана и его сотоварищам по роду деятельности — ораторам-софистам. В ход идут и явно запрещенные приемы. Так, в своих шутках в адрес Фаворина из Арелата (совр. Арля) Лукиан не упускает случая задеть его и как евнуха (Жизнеописание Демонакта 12–13).

Без уважения относится Лукиан к знаменитому софисту и богатейшему человеку того времени Героду Аттику (Жизнеописание Демонакта 24).

В «Лексифане» высмеивается перешедший пределы разумного любитель древних непонятных аттических слов, пополняющий их коллекцию собственными смешными изобретениями. Излечить такого человека, по мнению Лукиана, может только рвотное средство, но вполне ли справедлив он здесь — весьма сомнительно: стрелы Лукиана были направлены, судя по всему, в адрес грамматика Полидевка, чей словарь дошел до нас и, в общем, таких насмешек не вызывает.

«Учитель красноречия» Лукиана саркастически представляет извращенное, не заботящееся об истине красноречие как легчайший и вернейший путь к успеху. Однако и сам Лукиан не знал никаких тормозов и во-

все не считался с истиной, когда ему нужно было опорочить недруга. «Учитель красноречия», видимо, имеет в виду определенного человека, имя которого могли легко угадать читатели Лукиана. У этого человека было несколько столкновений с Лукианом, которого, как кажется, больше всего задело обвинение в не соответствующем древней традиции употреблении редкого слова (§§ 16, 17), и он отвечает, перебирая весь жизненный путь оппонента и осылая его всеми мыслимыми оскорблениями.

Впрочем, уже сама по себе попытка назойливо демонстрировать отсутствующую образованность могла стать поводом для сатиры Лукиана (О невежде, который скупал много книг): герой, как Трималхион у Петрония, скупает книги, что многие делают и сегодня, в качестве средства снискать престижную репутацию.

Лукиан характеризует себя как «ненавистника хвастунов, ненавистника обманов, ненавистника лжецов и ненавистника чепухи» (Рыбак 20). Он высмеивает все более распространявшийся в его время легковёрный вкус к грубо фантастическому. В «Любителях лжи» собеседники рассказывают истории о магии и волшебстве, одну неправдоподобнее другой, хотя в одной из них и фигурирует вполне реальная личность — египтянин Панкратес, стихотворение которого в честь любимца императора Адриана Антиноя так понравилось императору, что тот возвел его в члены Александрийского музея с двойным окладом.¹

«Правдивая история» пародирует фантастические рассказы о путешествиях в далекие страны. Чтобы превзойти даже самые смелые выдумки, герой-рассказчик не ограничивается Землей, а повествует и о путешествии на Луну и на другие небесные тела. Лукиан сам называет двух адресатов своей пародии — склонного к фантазиям историка IV в. до Р. Хр. Ктесия из Книды и Ямбула, автора фантастического описания путешествия по Индийскому океану, но у нас есть основания считать, что Лукиан во многом использовал и утраченное для нас сочинение Антония Диогена «Чудеса по ту сторону Туле», где действие разворачивалось на севере Атлантического океана. Сочинение Лукиана нашло, в свою очередь, подражателей в Новом времени, включая Рабле и Свифта. Не нравились Лукиану, разумеется, и многочисленные истории, в частности, и те, которые пытались увековечить события времен жизни Лукиана. В их адрес им написано сочинение «Как следует писать историю»: конкретно речь идет о войне против парфян под начальством Луция Вера и о том, как не следовало описывать это событие (166 г.). Сочинение Лукиана написано по свежим следам, тотчас после победы римского военачальника Авидия Кассия. Лукиан еще ничего не знает о страшной эпидемии, которую принесли домой возвращающиеся из Парфии и Армении легионы.

Лукиан рассказывает об историке, который, призвав на помощь Муз, сравнивает Луция Вера с Ахиллом (Как следует... 14). Лукиан, видимо, имеет в виду Фронтон, учителя Луция Вера и Марка Аврелия: в правле-

¹ Jones C. P. Culture and society in Lucian... P. 49 sq.

ние императора-философа такие критические выпады были вполне безопасны. Другие историки, которых упоминает здесь Лукиан, списали целые фразы у Геродота или у Фукидида (там же 18, 15). Любопытно, что на тех, кто воевал, ирония Лукиана в адрес историографов не распространяется: и римские генералы, и сам Луций Вер могли быть скорее польщены тем, что написал Лукиан.

Трудно сказать что-то определенное о политических взглядах Лукиана. Римское господство в Греции само по себе едва ли раздражало Лукиана, и, когда возникла такая возможность, он с готовностью стал чиновником римской администрации в Египте (Оправдательное письмо). Как и большинство носителей греческой культуры и, вероятно, даже природных греков, потомков тех, кто когда-то отстоял Элладу от персидского нашествия, Лукиан явно считал господство Рима в целом благотворительным для Средиземноморья: аргументы в пользу такого взгляда можно найти хотя бы в панегирике «К Риму» современника Лукиана Элия Аристиды. Враждебность Перегрину Риму воспринималась Лукианом с недоумением (О кончине Перегриня 19). Очень показательно, что Лукиан неоднократно говорит «мы» о себе вместе со всеми жителями Империи (Александр 48; Как следует писать историю 5, 17, 29, 31).¹

Однако это не мешало Лукиану с горечью писать о перипетиях жизни образованных греков, шедших в услужение к богатым римлянам на положение клиентов — домашних философов, учителей или прорицателей (О философях, состоящих на жаловании). Не приходится удивляться и тому, что римские хозяева предстают здесь перед нами в еще менее приглядном виде, чем их наемники. Лукиан не однажды бывал в Риме, знал тамошнюю жизнь по личному опыту, но исследователям никак не дают покоя странные совпадения в деталях картины, которую рисует Лукиан, с сатирами Ювенала, которого он (хотя и знал латынь: О пляске 67) едва ли читал: греки даже в эпоху Империи, как правило, не читали произведений римской литературы. Нравы богачей, особенно римских, обличает у Лукиана и симпатичный ему философ-платоник Нигрин (Нигрин), сам римлянин, но в его критике нет и следа нападок на римское государство.

Лукиан вообще отчетливо видит отрицательную изнанку жизни, часто даже абсолютизирует ее, представляя чуть ли не всех людей подлыми, и даже богатство причиняет у него людям одни только страдания (Тимон, или Мизантроп).²

Безотрадная картина окружающего мира, заполнявшая сознание Лукиана, требовала хотя бы частичного контраста, и Лукиан в известной

¹ *Palm J.* Rom, Römertum und Imperium in der griechischen Literatur der Kaiserzeit. Lund, 1959. S. 44–56; *Bowersock G. W.* Greek sophists in the Roman Empire. Oxford, 1969. P. 115.

² Этим диалогом воспользовался Шекспир для своей драмы «Тимон Афинский».

мере находит его в мире не испорченных цивилизацией людей — среди скифов. В диалоге «Токсарид» афинянин Мнесипп и скиф Токсарид рассказывают друг другу о поразительных примерах мужской дружбы, соответственно, среди греков и среди скифов: рассказы Токсариды оказываются более впечатляющими. Скиф Анахарсис изображен беседующим с мудрым афинским государственным деятелем Солоном и вызывающим симпатии своим здравым смыслом и непосредственностью.¹

Однако в целом Лукиан, сам сириец по происхождению, усвоил презрительное отношение греков и римлян к представителям любых других народов: Лукиан называет Седатия Севериана «глупым кельтом» (Александр 27). Сделать из этого какие-то выводы относительно происхождения Севериана трудно, но самого Лукиана такое словоупотребление характеризует достаточно определенно. Вообще, «варвар» в его устах — сильнейшее бранное слово.

Культура Лукиана, как и большинства его образованных современников, преимущественно книжная. Эти люди зачастую смотрели на вещи, находящиеся, казалось бы, перед глазами, через призму авторитетных сочинений, в которых все эти вещи описаны. Так, Лукиан говорит об остатках древней стены пелазгов в Афинах так, как будто их может видеть всякий: он читал о ней у Геродота и других классических авторов, а то, что эти остатки давно уже снесены, Лукиан игнорирует. Даже в таком перенасыщенном актуальным жизненным материалом произведении, как «Александр», говоря о том, что он сошел на берег в Эгiale, добавляет еще одну деталь: Эгилал упоминает уже Гомер (Александр 57).² Конечно, Лукиан со своим живым умом не мог отгородиться и от впечатлений от реальности,³ но отражает он их в своем творчестве в обрамлении бесчисленных литературных реминисценций. Однако, когда он к этому стремится, его наблюдательность простирается даже на, казалось бы, второстепенные детали. Так, в своем сочинении «О Сирийской богине»⁴ Лукиан подробно описывает экзотический культ богини Атаргатис в святилище близ Гие-

¹ М. И. Ростовцев полагал, что Лукиан воспользовался сборником новелл, возникших среди греков на Боспоре (*Rostoutzeff M. Skythien und Bosporus. I, Berlin, 1931*).

² *Householder F. W. Literary quotation and allusion in Lucian. Columbia, 1941*. На этой особенности творчества Лукиана особенно настаивал французский исследователь Бомпер (*Bompaire J. Lucien écrivain... P., 1958*), но впоследствии он снабдил свои взгляды некоторыми оговорками (*Bompaire J. Travaux récents sur Lucien. Revue des études grecques 88, 1975. P. 224–229*).

³ *Jones C. P. Culture and society... P. V.*

⁴ Принадлежность его Лукиану вызвала серьезные сомнения, но сейчас большинство исследователей склоняются к признанию его подлинности (*Bompaire J. Lucien écrivain... P. 646–653; Hall J. Lucian's Satire. N. Y., 1981. P. 374–381; Jones C. P. Culture and society... P. 41*).

раполя в Сирии, и многое в его описании нашло подтверждение в результате раскопок археологов.¹

У Лукиана образованность и воспитанность фигурируют постоянно как одна из высших ценностей. Однако с нашей точки зрения его понимание образованности представляется очень односторонним: для Лукиана образованность — это то, что можно было бы назвать словесной культурой. Она включает в себя прежде всего владение литературным языком, далеко отошедшим к этому времени от разговорного. Обязательно знание классической литературы, и Лукиан владеет им: любопытно при этом, что он показывает хорошее знание тех же авторов, которых знали и цитировали большинство его образованных современников, т. е. прежде всего авторов, изучавшихся в школе. Не любил Лукиан александрийских поэтов и почему-то никогда не упоминает Софокла. Впрочем, нередко Лукиан цитирует и из вторых рук, пользуясь распространенными уже в те времена сборниками эффектных цитат. Венцом образованности считалось умение произнести речь на любую тему, следуя правилам риторики, и здесь Лукиан оказывается полностью в своей стихии. А вот зачем нужны изыскания математиков и астрономов, Лукиан не понимал.

Он хорошо знал изобразительное искусство и предпочитает всеми признанных мастеров V–IV веков. Охотно говорит он и о деталях архитектуры (О доме, Гиппий, или Бани, Зевксис, Геродот, О том, что не следует относиться с излишней доверчивостью к клевете, Изображения, В защиту «Изображений»).

Лукиан знает множество подробностей из истории Греции, особенностей государства и быта людей в разные времена, но мало заботится о том, чтобы, используя эти сведения в своих произведениях, соблюсти историческую достоверность: у него во времена Солона в Афинах уже стоят статуи родоначальников фил, а эти филы были созданы почти через столет Клизфеном, и тогда же были поставлены статуи. Тимону в V или IV веке до Р. Хр. ставят статую с венком лучей вокруг головы, хотя такие статуи появились много позднее.

Удивительно богат словарь Лукиана: даже такой выдающийся художник слова, как Платон, не может с ним в этом сравниться.² Он свободно пользуется элементами различных диалектов древнегреческого языка, когда это ему выгодно в качестве приема художественной выразительности. В основном Лукиан ориентируется, не впадая в крайности, на язык аттических авторов V–IV вв., заметно отличавшийся от разговорной речи его времени, и это означает, что Лукиан ориентируется на образованного читателя или слушателя. «Старый», «древний» — обычные для него похвальные эпитеты как в отношении произведений искусства словесного, так и искусства изобразительного. Однако тех, кто доводил подражание

¹ Jones C. P. Culture and society... P. 41 ff.

² Bompaire J. Lucien écrivain... P. 628.

языку Демосфена и Платона до крайности, Лукиан едко высмеивал (Лексифан, Лжеученый, Демонакт 26).

Форма произведений Лукиана говорит за то, что все они были предназначены прежде всего для ораторского прочтения, а затем уже распространялись в письменной форме.¹

Если «Похвала Демосфену» принадлежит Лукиану, это значит, что и он не преминул воспользоваться модным в его время приемом — фиктивной ссылкой на якобы найденную рукопись сенсационного содержания (см. § 26).

Лукиан умело пародирует стиль Гомера, трагедии и комедии, официальных документов и исторических сочинений, философских диалогов и сочинений религиозного содержания. Вслед за аттической комедией, в особенности Новой, Лукиан охотно дает своим персонажам комически звучащие имена, скажем, гетер у него зовут Трифена — что-то вроде «склонная к роскоши» или Ликена — «волчица» (Диалоги гетер II, 12.1).

Из дошедших до нас произведений современников Лукиана имя Лукиана упоминает только одно из сочинений широко образованного знаменитого врача Галена и притом в весьма нелестном контексте: Лукиан якобы сфабриковал подложное сочинение философа классической эпохи Гераклита и использовал его для насмешек над его учением, а также прибег к каким-то обманным приемам в своих напаках на толкователей поэвограмматиков.

В первые столетия после смерти Лукиана его произведения не пользовались особой популярностью. Только его младший современник Алкифрон, возможно, афинянин, подражает произведениям Лукиана в своем собрании сочиненных им фиктивных писем, написанных от имени афинян IV в. до Р. Хр., знаменитых и безвестных. Однако до сих пор не найден ни один папирус с текстом какого-либо подлинного сочинения Лукиана, и мы располагаем его творчеством только благодаря довольно многочисленным средневековым византийским рукописям. С сочинениями Лукиана, в частности с «Лексифаном», был, видимо, знаком Афиней из Навкратиса, сочинивший около 200 г. обширную компиляцию «Пирующие софисты». Около 250 г. было создано подражание Лукиану «Две любви», дошедшее до нас в рукописях сочинений Лукиана. В начале IV в. о ядовитых напаках Лукиана на богов и людей говорит латинский христианский писатель Лактанций. В начале V в. Евнапий, автор «Жизнеописаний софистов», упоминает и Лукиана, который «был серьезен в своем смехе». Подражает Лукиану автор «Эротических писем» Аристенет. В VI в. одно из произведений Лукиана было переведено на сирийский язык. Ему много подражают византийские писатели. Ряд метких выражений Лукиана попал в византийский сборник пословиц.

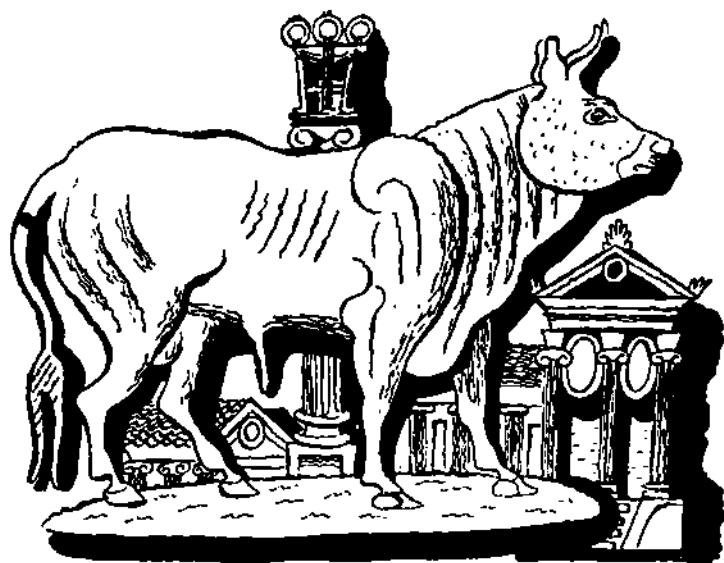
¹ *Вотпайре J. Lucien écrivain...* P. 239.

До нас дошло почти все, что написал Лукиан. Его рукописи сохранили 85 произведений, но среди них есть такие, которые, несомненно, не принадлежат Лукиану, но были приписаны ему как достаточно популярному автору. Сюда относятся «Две любви», «Харидем», «Гальциона», «Долговечные», «Нерон», «Друг отечества», «Быстроног». Есть и сочинения, принадлежность которых Лукиану вызывает споры.

Сейчас мы знаем, что Лукиан принадлежит времени заката античной культуры, но и он сам явно чувствовал это. Больше всего он с блеском издевается над тем, что ему казалось смешным или отвратительным в окружающей жизни. Может быть, менее интересен он там, где пытается защитить традиционные для его времени и культурного круга ценности. Мы почти совсем ничего не узнаем из его произведений о том, во что верил он лично, что было ему особенно дорого, и мы никогда не узнаем, действительно ли он был человеком с пустой душой, как считают многие исследователи его творчества, или он, как и многие наши выдающиеся современники, считал, что о таких вещах надо молчать.

ЛУКИАН

СОЧИНЕНИЯ



ФАЛАРИД

Слово первое

1. Послал нас, граждане дельфийские, наш повелитель Фаларид доставить богу вот этого быка, а вам поведать, что следует, касательно владыки и его посвящения.

Так вот ради чего мы прибыли; а передать вам Фаларид наказал следующее. Я, говорит он, жители дельфийские, хочу, чтобы все эллины принимали меня таким, каким я являюсь, а не таким, каким предает нас слуху людей незнающих молва, распространяемая нашими недругами и завистниками, — за это я готов был бы отдать все. Особенно же я хочу этого от вас, ибо вы находитесь под покровительством бога и пифийцу — сопредстольники, и только что не делите с богом жилище и кров. Посему, полагаю, если я сумею перед вами оправдать себя и убедить вас, что понапрасну почитают меня жестоким, то через вас перед всеми прочими буду оправдан. Свидетелем того, о чем хочу сказать, призываю самого бога — его поистине нельзя прельстить рассуждениями лукавыми или лживой речью обойти; людей, пожалуй, провести легко, бога же, и такого бога в особенности, — невозможно.

2. Бы я в Акраганте не из последних людей, и родом был не хуже других, и воспитание получил приличествующее свободному, и учением его преумножил. Так я жил, и государство всегда имело во мне поборника дела народного, а сограждане — человека обходительного и умеренного. И ни насилием, ни грубостью, ни высокомерием, ни своекорыстием никто никогда не укорял меня в ту раннюю пору моей жизни. Когда же я стал

замечать, что противники моих государственных взглядов замышляют недоброе и всеми способами ищут схватить меня, — город наш в то время раздирали несогласия, — я нашел для себя единственный и надежный выход, бывший вместе с тем и для города спасением: надо было завладеть властью, оттеснить моих противников и прекратить заговоры, а государство силой привести к благоразумию. Было немало людей, одобрявших все это, — людей умеренных и градолюбителей, которые знали мои мысли и сознавали неизбежность вмешательства. Поддержкой этих граждан воспользовавшись, я легко победил.

3. Начиная с этого времени, те, о ком я раньше говорил, перестали сеять смуту и стали мне покорными, я управлял, а город пребывал в спокойствии. Казней же, изгнаний, лишений имущества я даже против бывших заговорщиков не применял, хотя решиться на такие меры неизбежно приходится, особенно при начале единовластия; человечностью, кротостью, лаской и равным распределением почестей я надеялся — безумец — привести врагов к повиновению. Итак, я немедленно заключил перемирие и помирился с врагами и большинство их сделал своими советниками и сотрапезниками. Самый же город, который я видел разоренным по нерадению правителей, нередко воровавших, а чаще просто грабивших общественную казну, я привлек на свою сторону устройством водопровода, украсил, восстановив постройки, и укрепил, окружив стенами. Все доходы общественные я стараниями людей, мною поставленных, без труда увеличил и стал заботиться о молодежи, призывать стариков и наполнять жизнь народа зрелищами, денежными раздачами, общими празднествами и народными угощениями. О насилиях над девушками, о развращении подростков, об уводе жен, о посылке моих копьеносцев против мирных граждан, о каких-либо угрозах неограниченного властелина мне и слышать было отвратительно.

4. Я собирался уже отойти от управления государством и сложить с себя единовластие, обдумывая лишь одно — как бы прекращение правления осуществить надежнее. Ибо самая власть и необходимость обо всем заботиться уже тяготили меня и связанная с ними зависть казалась мне тяжелым бременем. Но как сделать, чтобы город уже больше никогда не имел нужды в подобной опеке, — вот что я еще продолжал искать. Занятый этими мыслями, я продолжал оставаться все тем же, а враги мои уже стали объединяться против меня и обдумывали пути заговора и восстания, мои противники связывали себя взаимными клятвами, собирали оружие, доставали средства и призывали соседей нашего города и в Элладу, к лакедемонянам и афинянам, засылали посольства. Относительно меня самого, если бы я попался этим людям, все уже было у них решено. Как они грозили собственноручно разорвать меня на части, какие казни придумывали — об этом они всенародно объявили под пыткой. Но если ничего подобного я не испытал, то виновники тому — боги, изблотившие заговор, и прежде всех, конечно, пифиец, открывший все в сновидениях и посылавший ко мне осведомивших меня обо всем людей.

5. А теперь я прошу вас, граждане дельфийские: рассудите так, как будто вы сами находились в том же страшном положении. Дайте мне совет, как я должен был поступать в то время, когда, очутившись по собственной неосторожности почти в руках врагов, я старался найти в окружавшем меня какое-нибудь спасение. Итак, на короткое время переселитесь мыслью в Акрагант, ко мне; увидев приготовления врагов, выслушав их угрозы, скажите: что нужно было делать? Продолжать ли действовать лаской, щадить врагов, терпеть, в то время как они уже были готовы предать тебя последним мучениям? Что же, с голыми руками отдаться под удар ножа и собственными глазами видеть гибель того, что тебе дороже всего? Или так вести себя мог только совершенный глупец, а мне следовало, питая мысли благородные и отважные и вооружившись разумным гневом человека, терпящего несправедливое, напасть на противников и из нынешнего положения добыть себе на будущее время полную безопасность? Я уверен: вы посоветовали бы мне последнее.

6. Итак, как же я поступил? Я послал за виновными и предоставил им сказать свое слово; потом я предъявил против них улики, неопровержимо во всем изобличил. Так как они и сами уже не могли отрицать своей виновности, я покарал их, негодуя не столько на то, что сделался предметом их заговора, сколько на то, что они не дали мне остаться при том способе управления, который установил с самого начала. С этого времени я живу, окружив себя стражей, тех же, кто все еще продолжает злоумышлять против меня, подвергаю наказанию. Вот с этой поры люди обвиняют меня в жестокости, не думая, кто из нас первый положил начало такому положению. Не обращая внимания на суть дела и обстоятельства, при которых налагались кары, мне ставили в вину самые наказания и кажущуюся жестокость их. Это похоже на то, как если бы кто, увидев когда-нибудь у вас святотатца, сбрасываемого со скалы, не стал бы рассуждать о совершенном дерзком преступлении — как преступник ночью проник в святилище, сорвал с мест посвящения, поднял руку на изображение бога, — а принялся обвинять вас в великой свирепости: вы-де, будучи эллинами и считая себя посвященными богу, согласились, чтобы человека, родом эллина, подвергали такой ужасной казни вблизи святилища — скала, говорят, не очень далека от города. Но я уверен, вы и сами рассмеетесь, если кто-нибудь выдвинет против вас такое обвинение; да и все одобряют вашу против нечестивцев жестокость.

7. Народы, не разбирая вовсе, что за человек у дел государственных, справедлив он или несправедлив, самое имя тирании ненавидят и тирана, будь он даже Заком, Миносом или Радамантом, — все равно всячески стараются его погубить. Смотря на дурных, люди и честных среди тиранов заодно обвиняют и окружают такой же ненавистью. Я, по крайней мере, слышал, что и у вас, эллинов, много было мудрых тиранов, которые под именем, имеющим дурную славу, проявляли нрав честный и кроткий. Краткие изречения некоторых из них выставлены в вашем святилище в качестве приношения и посвящения пифийцу.

8. Вы знаете также, что и законодатели уделяют очень много внимания карательным мерам, так как в других законах нет никакой пользы, если к ним не присоединятся страх и боязнь наказания. Для нас же, тиранов, это тем более необходимо, что мы путем насилия становимся вождями и имеем дело с людьми, которые таят против нас и злобу, и коварные замыслы. Для нас нет никакой пользы страшить врагов букой там, где положение сходно с рассказом о Гидре: чем больше мы обрубаем причины, родящие казни, тем больше их снова вырастает перед нами. Для нас становится неизбежным нести бремя, снова и снова срезая и сжигая, клянусь Зевсом, то, что отрастает, как делал Иолай, если мы хотим одержать верх. Тот, кого необходимость раз толкнула на этот путь, должен, сохраняя способ правления, или оставаться самим собой, или, шадя окружающих, погибнуть. А в целом: неужели, по-вашему, найдется человек до такой степени дикий и неукротимый, что станет наслаждаться, бичуя, слыша вопли и взирая на умерщвляемых, если не будет у него какой-то важной причины для казней? О, сколько уже пролил я слез, когда бичевали других! Как часто вынужден бываю горестно сетовать на судьбу, сам терпя наказание и более мучительное, и более длительное! Ибо для человека, от природы доброго, но вынужденного к жестокости, много тяжелее наказывать других, чем самому терпеть наказание.

9. С полной откровенностью я должен сказать: если бы мне пришлось выбирать, что я хочу — несправедливо казнить кого-нибудь или самому умереть, то, будьте в этом совершенно уверены, я без малейшего колебания предпочел бы лучше умереть, чем казнить человека, ни в чем не повинного. Но если бы кто-нибудь сказал мне: «Что ты выбираешь, Фаларид: умереть несправедливо или справедливо наказать заговорщиков?» — я выбрал бы последнее. И снова призываю я вас быть мне советчиками, дельщиками! Что лучше: несправедливо умереть или несправедливо же сохранить жизнь замыслившему злое? Нет, я полагаю, человека столь безрассудного, чтобы он не предпочел жить, чем, спасая врагов, погибнуть. И тем не менее сколь многим из тех, кто поднимал на меня руку и был с очевидностью в этом изобличен, я все же спас жизнь! Так поступил я и с Аканфом, который здесь перед вами, и с Тимократом, и с братом его Леогором, помня о старинной приязни к ним.

10. Если вы пожелаете разузнать обо мне, спросите бывавших в Акраганте иноземцев, каково было мое обхождение с ними и ласково ли я встречаю тех, кто пристает к моему берегу, — я, который держу в гаванях особых людей, чтобы наблюдали они и разуживали, кто такие — приплывшие и откуда, чтобы я мог отпустить их, почти по достоинству. Некоторые так даже нарочно навещают меня, и это — люди мудрейшие среди эллинов и не избегают общения со мною. Без сомнения, ради этого недавно прибыл к нам мудрый Пифагор, наслышавшись обо мне иного. Когда же Пифагор убедился, что я за человек, то покинул меня, восхваляя за справедливость и сожалея за вынужденную мою жестокость. Неужели вы думаете, что столь человеколюбиво относящийся к чужеземцам мог бы

быть несправедлив по отношению к своим, если бы сам не терпел исключительной несправедливости?

11. Вот мое слово вам в защиту меня самого; все сказанное — правда, все справедливо и похвалы, я убежден в этом, скорее, чем ненависти, достойно. Теперь пора вам услышать про мой посвяtitельный дар богу, откуда и как приобрел я этого быка, которого сам не заказывал ваятелю. Ибо я не дошел до такого безумия, чтобы пожелать владеть таким предметом. Был тут некто Перилай, прекрасный литейщик, но человек никуда не годный. Этот Перилай, глубоко ошибаясь в моих мыслях и чувствах, думал, что угодит мне, если изобретет какую-нибудь небывалую казнь, так как я будто бы питаю страсть ко всевозможным казням. И вот, изготовив этого быка, он явился вместе с ним ко мне. Бык был прекрасен по виду и сделан похожим до мельчайших потребностей, только движения и мычания не хватало ему, чтобы казаться живым. Увидев его, я тотчас воскликнул: «Вот вещь, достойная принадлежать пифийцу; пусть бык будет отослан богу!» Перилай, стоявший поблизости, сказал: «Что же будет, когда ты узнаешь, какая в нем скрыта хитрая выдумка и какую он может принести тебе пользу?» С этими словами он открыл отверстие в спине быка и сказал: «Если захочешь казнить кого-нибудь, то заставь его войти в это сооружение, запри, потом приставь вот эти флейты к ноздрям быка и прикажи развести под быком огонь. Запертый будет стонать и кричать не переставая, охваченный муками, но крик его, пройдя сквозь флейты, превратится для тебя в пронзительную песню, будет раздаваться горестным напевом и мычанием тоскующим звучать. Таким образом, сидящий внутри будет казниться, а ты тем временем будешь наслаждаться звуками флейты».

12. Как только я услышал эти слова, я проникся отвращением к злой изобретательности этого человека, возненавидел его хитроумное сооружение и подверг самого изобретателя соответствующему наказанию.

«Ну что же, Перилай, — сказал я, — если все это является всего лишь пустым обещанием, покажи нам правдивость твоего искусства: войди в быка сам и изобрази крик казнимого, чтобы мы могли убедиться, зазвучат ли, как ты утверждаешь, сквозь флейты напевы». Послушался Перилай. Я же, как только он очутился внутри, запер его и велел разжечь внизу огонь. «Прими, — сказал я, — достойную мзду за свое удивительное изобретение! Будучи учителем музыки, сам первый и поиграй». Перилай понес страдания по заслугам, вкушая плоды своего хитроумия. Я же, приказав извлечь этого человека, пока он еще дышал и подавал признаки жизни, чтобы он не осквернил свое произведение смертью, — приказал без погребения сбросить его с кручи, а быка, подвергнув очищению, отослал вам в посвящение богу и велел записать на нем все случившееся: мое имя, посвятившего этот дар, и мастера Перилая и его выдумку, про мой правый суд, и заслуженное возмездие, про пение искусного литейщика и первое испытание его музыки.

13. Вы же, граждане дельфийские, справедливо поступите, если вместе с моими послами принесете для меня жертву богу, а быка поместите в

святылище на достойном для него месте. Пусть видят все, каков я для злодеев и как наказываю непомерные их желания злого. Довольно одного этого, полагаю я, чтобы выяснить мой нрав: Перилай наказанный и бык, коего посвятил я богу, а не сохранил далее при себе, чтобы не играли на его флейтах иные казнимые; и не заставил я его более издать ни одного звука, кроме рева самого мастера, но ограничился тем единственным разом, чтобы и пробу произвести искусства, и навсегда прекратить эту ненавистную музам и человеку противную песнь. Таково то, что я ныне приношу богу. Посвящу ему еще не раз и другое, когда устроит он так, что не буду более нуждаться в казнях.

14. Вот это, граждане дельфийские, слова Фаларида. Все это — правда и так все и было. Будет справедливо, если вы поверите нашему свидетельству, ибо мы знаем происходившее и не имеем никаких причин вас обманывать. Если же требуется и необходимо заступничество за человека, напрасно сльвущего злодеем и вынужденного необходимостью к казням, то мы, жители Акраганта, эллины родом и исконные доряне, умоляем вас: не отвергайте человека, который хочет быть вашим другом и движим желанием великое добро оказать всему народу вашему и каждому из вас в отдельности. Итак, возьмите сами этого быка и принесите его, как посвящение, богу, вознеся мольбы за Акрагант и за Фаларида. Не отсылайте нас обратно ни с чем, не оскорбляйте Фаларида и не лишайте бога прекраснейшего и праведнейшего посвящения.

Слово второе

1. Не являюсь я, граждане дельфийские, ни защитником всех акрагантийцев, ни одного Фаларида и не имею никаких особых причин питать к нему личное расположение или возлагать надежды на будущую дружбу с ним. Я выслушал послов, от него прибывших, рассуждающих здраво и скромно, и забочусь о том, чтобы предстоящее решение ваше было благочестивым, отвечало общей пользе и, самое главное, было достойно дельфийцев. Потому-то я и встал, чтобы посоветовать вам: не оскорбляйте мужа владетельного и благочестивого и не отвергайте посвящения, которое уже принадлежит по обету богу и на все времена должно остаться тройным высокой важности памятником: искусства прекраснейшего, замысла коварнейшего и справедливого возмездия.

2. Уж то, что вы в целом обнаружили колебание в этом вопросе и предложили нам на рассмотрение, следует ли принимать посвячительное приношение или нужно отправить его обратно, — уже это одно я считаю нечестием, даже более того, пределом безбожия, дальше которого идти невозможно. Ибо дело идет не о чем другом, как о святотатстве, но гораздо более тяжком, чем иное, поскольку похищение того, что уже посвящено богу, не так безбожно, как запрещение с самого начала желающим принести такое посвящение.

3. Я сам дельфиец и с вами буду соучаствовать в равной степени и в доброй славе народной, если будет она охраняться, и в позорной молве, если породит ее нынешний случай. Я молю вас: не запирайте святилище для людей благочестивых и перед всеми людьми не навлекайте клеветы на наш город, будто он по ложным доносам лишает бога посвящений, ему приносимых, и путем голосования и решения судей подвергает проверке поступки жертвователей: ибо никто больше не решится принести в храм посвящение, зная, что бог не хочет принимать, чего не одобряют раньше дельфийцы.

4. Между тем пифиец уже произнес свой правый суд об этом приношении: если бы ненавидел бог Фаларида или приношением его гнушался, легко ему было бы в Ионическом море потопить посвящение вместе с судом. Но бог, по словам послов, дал совершить переезд при тихой погоде и позволил невредимо причалить к Кирре.

5. Из этого явствует, что приемлет бог благочестие этого самодержца. Должно и вам тот же вынести ему приговор и присоединить этого быка к прочему благолепию святилища. Ибо ничего не могло бы быть более неуместного, чем если бы человек, пославший богу великолепный дар, получил обвинение и, за благочестие, стяжал бы решение, признающее его недостойным даже принести жертву.

6. Конечно, выступавший передо мною мой противник, как будто он недавно только прибыл из Акраганта, произнес напыщенную речь о каких-то убийствах и насилиях, чинимых тираном, о грабежах и уводах и только-только что не выдавал себя за очевидца, хотя мы знаем, что он никогда и к кораблю близко не подходил. Известно, что не следует слишком верить даже тем, кто утверждает, будто они претерпели подобное, ибо неизвестно, правду ли они говорят. Тем более не подобает строить обвинение на том, чего мы сами не знаем.

7. И если даже что-либо подобное действительно совершилось в Сицилии, дельфийцам не приходится вмешиваться в эти дела, если только мы не начали считать себя не жрецами, а судьями, и перестали вопреки нашему долгу приносить жертвы и свершать служение богу и передавать ему посвящения, которые кто-нибудь посылает, — ведь мы не поставлены наблюдать, справедливо или несправедливо поступают тираны по ту сторону Ионического моря.

8. Пусть другие живут как кто хочет. Нам же, полагаю, необходимо знать свои собственные дела: каково было положение встарь и каково оно ныне и что надо делать, чтобы стало лучше.

Мы живем в гористых местах, обрабатываем скалы — и нам незачем ждать, чтобы Гомер выяснил нам это, мы должны сами видеть. Что касается земли, то мы всегда терпели бы глубокий голод. Но святилище, сам пифиец, его оракул, и жертвователи, и молитвенники благочестивые — вот дельфийская плодородная равнина, вот доходы: отсюда происходит наше благосостояние, отсюда — кормимся; надо сказать правду самим себе: и, по слову поэта, земля «без пахання и сева» все дает нам трудами пахаря-бога, который приносит нам не только блага, производимые Элла-

дой, но и все, что есть у фригийцев, лидийцев, персов, ассирийцев, финикийцев, италийцев, наконец у самих гипербореев, — все стекается в Дельфы. После бога на втором месте мы находим почет у всех, мы многогодожны и благополучны. Это было в старину, это остается донине, — будем же продолжать жить и впредь так.

9. Никто не запомнит, чтобы мы ставили на голосование вопрос о приношении или чтобы кто-либо встречал препятствия с нашей стороны в желании принести богу жертву или посвящение. Вследствие этого, полагаю я, наше святилище и само чрезвычайно возросло и сверхбогатеет, что касается приношений.

Итак, должно и в настоящем случае не вводить никаких новшеств, не устанавливать ничего, противоречащего заветам отцов. Следует распределять посвящения по родам, по происхождению: откуда они, от кого и каковы сами. Приняв приношения, не чиня препятствий, возложить их перед богом, служа вдвойне: богу и благочестивым жертвователям.

10. Мне кажется, граждане дельфийские, что лучше всего решите вы в нынешнем случае, если рассудите, сколь велико и важно то, что предложено вашему рассмотрению. Дело идет прежде всего о боге, о святилище, о жертвах, о посвящениях, о древних обычаях, об исконных установлениях, о славе оракула. Далее: о всем нашем городе, о пользе народа нашего в целом и каждого дельфийца в частности; а сверх всего прочего — о доброй или дурной славе нашей у всех людей. И я не знаю, может ли быть что-нибудь для вас важнее, чем мнение разумное и решение необходимейшее.

11. Так вот о чем мы ныне совещаемся: не об одном только тиране Фалариде, не об этом быке и не только о меди его, но о всех царях и всех повелителях, которые ныне прибегают к нашему святилищу, о всем золоте, серебре и многих других почетных дарах, которые не раз еще будут приносимы богу. Ибо прежде всего подлежит рассмотрению то, что касается бога.

12. Ради чего станем мы поступать с посвящениями иначе, чем всегда, чем издревле? Чем недовольны мы в древних обычаях, чтобы вводить новизну? Неужели установим мы ныне такое, чего не бывало у нас никогда с тех пор, как населяем мы наш город, как прорицает пифиец, и треножник звучит, и жрица исполняется духом? Решим подвергать дароносителей суду и расследованию? Между тем, по древнему обычаю, дающему право жертвовать всем без ограничений, смотрите, сколькими благами наполнилось святилище, ибо все приносили посвящения, а некоторые дарили бога даже сверх возможных для них средств.

13. Если же вы самих себя поставите судьями и следователями над посвящениями, я боюсь, не окажется ли у нас в дальнейшем недостатка в людях, суду нашему подлежащих, ибо никто не захочет добровольно выступить подсудимым и, понеся расходы и затраты, ждать решения и подвергаться опасности потерять все.

Стоит ли жить человеку, если будет признано, что даже посвящение принести он недостоин?



ЛИШЕННЫЙ НАСЛЕДСТВА

Один человек, будучи лишен наследства, изучил искусство врачевания. Когда отец сошел с ума и другими врачами был признан безнадежным, сын дал ему лекарство, вылечил его и был снова восстановлен в родовых правах. После этого сошла с ума мачеха. На предложение излечить ее он заявляет, что не может этого сделать, и вторично лишается наследства.

1. Ничего нет странного, граждане судьи, ничего неожиданного в настоящем поступке отца моего: не в первый раз он так гневается. Это правило поведения у него всегда под рукой, и обращаться в судилище — дело ему привычное. Но вот что новым является нынче в злоключениях моих: сам я никакой вины за собой не имею, а наказание мне грозит за мое искусство, за то, что оно не может слушаться всех повелений моего родителя. Можно ли придумать что-нибудь нелепее, чем врачевание по приказанию: поступать не так, как искусство сможет, а так, как отец скажет? Я и сам бы хотел такую пройти науку и таким обладать снадобьем, которое могло бы укрощать не только безумных, но и неправым гневом охваченных, чтобы уврачевать отца и от этого недуга. Теперь же проявления безумия у него прекратились окончательно, но проявления гнева становятся все напярженнее. И, что всего ужаснее, со всеми прочими он держит себя рассудительно и лишь по отношению ко мне, своему исцелителю, безумствует. Так вот она, награда, которую я получаю за исцеление, — вы видите сами: отец снова лишает меня наследства и вторично отрекается от моего происхождения. Кажется, только для того он принял меня недавно обратно, чтобы покрыть меня большим бесчестьем, выбросив повторно из дома.

2. Что касается меня, то я не жду приглашения там, где помощь возможна: так, недавно я без зова пришел, чтобы помочь родителю. Когда же случай совершенно безнадежен, я братья за него отказываюсь. А к мачехе я, естественно, подхожу еще осторожнее, взвесив, что сделал бы со мною отец в случае моей неудачи, если, даже не приступив к лечению, я заслужил от него лишение наследства. Я, конечно, скорблю, граждане судьи, и о мачехе, положение которой тяжко, — она была добрая женщина, — и об отце, за нее страдающем, а более всего я скорблю о себе самом, ибо кажусь ослушником, тогда как я не в состоянии оказать помощи, которой от меня требуют, и по чрезмерной силе болезни, и по слабости врачебного искусства. Все же я считаю несправедливым лишать наследства сына, который даже не обещает начать, чего не в силах выполнить.

3. О причинах, по которым он и в первый раз отрекся от меня, очень легко судить по тому, что сейчас происходит. Но, полагаю, и против тех обвинений я достаточно защитил себя последующей жизнью, и от этих, выставленных им ныне, я, насколько сумею, освобожусь, рассказав вам вкратце о моих делах: и не поддаюсь воспитанию, и непослушен, и позорю отца, и совершаю поступки, недостойные рода; когда прошлый раз отец много об этом кричал про меня громко и пространно, я полагал, что возражения бесполезны. Уйдя из дому, я решил, что высоким судилищем и неложным приговором будет для меня последующая жизнь, если окажется, что от всех обвинений отца я стою бесконечно далеко и в прекраснейших из занятий преуспеваю и с лучшими людьми нахожусь в общении. Равным образом уже предвидел и подозревал я и нечто вскоре случившееся: ибо не слишком обычно, чтобы отец на сына несправедливо гневался и обвинения ложные против него строил. Да и кое-кто из людей считал это началом безумия и первыми стрелами грозящего в скором времени обрушиться бедствия: и бессмысленную ненависть, и жестокость обхождения, и всегдашнюю готовность к клевете, и угрюмый вид его на суде, и крик, и гнев, и все его, полное желчи, поведение. Я ждал поэтому, что скоро, пожалуй, понадобится мне врачебное искусство.

4. И вот, покинув отечество, я поступил в обучение к самым знаменитым чужестранным врачам и, потратив много труда и упорного старания, овладел наукой. Вернувшись на родину, я застаю отца уже с явными признаками безумия, в положении безнадежном по мнению местных врачей, не умеющих смотреть в глубь вещей и точно определять род болезни. Я, как и подобало поступать доброму сыну, не вспоминал свое отречение и не стал ждать, чтобы за мною послали. Впрочем, я не имел никаких обвинений против отца: поступки его были чужды ему и, как я уже сказал, были вызваны его болезнью. Итак, я пришел без зова, но не сразу принялся за лечение: ибо не таков наш обычай и не одобряет такой поспешности наука. Прежде всего мы тому и учимся, как распознать, излечима ли болезнь или не поддается никаким средствам и превосходит границы нашего искусства. И после этого, если болезнь поддается лечению, мы беремся за дело и все старания прилагаем, чтобы спасти больного; если же уви-

дим, что недуг уже осилил больного и является непобедимым, то мы даже и начинать не пытаемся лечения, блюдя некий древний закон, положенный искусству врачевания его зачинателями, сказавшими: «Не берись лечить тех, кого одолел недуг». Итак, увидев, что положение отца еще не безнадежно и наука не бессильна против его недуга, я принял все меры предосторожности, тщательно исследовал больного со всех сторон и тогда уже приступил к лечению. Я смело применил сильнодействующее средство, хотя многие из присутствующих подозрительно относились к назначению, старались опорочить мой способ лечения и готовились выступить с обвинениями против меня.

5. Присутствовала при этом и мачеха, проявляя страх и недоверие — не по злобе ко мне, а лишь из опасения за больного, точно зная, как тяжело его состояние: ибо только она вполне понимала положение, сама привычная к болезни и не расставаясь с ней. И все же я, не поддавшись ни малейшей робости, — ибо знал, что симптомы меня не обманут и наука не изменит мне, — двинул против болезни мое средство в надлежащее для выступления время, хотя некоторые из друзей моих советовали мне быть осторожнее, чтобы, в случае неудачи, не навлечь на себя какой-либо еще более тяжелой клеветы, будто я отплатил отцу моим снадобьем, припомнив зло, которое когда-то претерпел от него. Но вот что самое главное: отец мой выздоровел сразу; вернулись к нему и рассудок, и полное сознание. Присутствующие дивились, а мачеха хвалила и, явно для всех, была рада тому, что и я прославился, и отец поправился. А отец, — я должен это свидетельствовать в его пользу, — как только услышал все от присутствовавших, так сейчас же, нимало не медля, без всякого от кого-либо совета, уничтожил свое отречение и снова сделал меня, как прежде, своим сыном, величая спасителем и благодетелем, заявляя, что я выдержал неоспоримое испытание, и прося не судить его за то, что случилось ранее. Это происшествие обрадовало многих присутствующих — всех, кто был честен, — и огорчило тех, для кого изгнание сына — зрелище слаще его восстановления. Конечно, я заметил тогда, что не все одинаково рады случившемуся: некоторые сразу и в цвете лица переменились, и взоры смутились, и лица исказились, — все, что делают зависть и ненависть.

6. Итак, мы, естественно, пребывали в радости и благодушии, снова найдя друг друга. Мачеха же моя спустя немного времени вдруг начала болеть болезнью, граждане судьи, тяжелой и неслыханной. Едва она началась, я тотчас отметил нечто странное: это был не простой, явно выступающий род помешательства, нет: тут какое-то старинное, скрывавшееся в душе зло неожиданно вырвалось наружу и одержало явную победу. Мы, конечно, имеем много других примет неизлечимого помешательства, но в этой женщине я отметил признак, новый еще на земле, именно следующий: по отношению ко всем прочим людям безумная проявляет большую кротость и мягкость и в их присутствии ведет себя мирно, но едва лишь завидит какого-либо врача или только услышит слово «врач», в сильной степени раздражается. Это уже является тяжелого и неизлечимого состояния показателем.

7. Видя это, я испытывал огорчение и сожалел о женщине достойной и страдающей не по заслугам. Отец же — в простоте своей не знал он ни начала охватившей жену болезни, ни причины ее, ни размеров недуга, — отец велел лечить больную и дать ей пить такое же лекарство, как ему: отец думал, что существует лишь один вид безумия и только одна болезнь и что заболевание у жены — то же, что было у него, и допускает применение почти тех же средств. Когда же я сказал — и это чистейшая правда, — что невозможно спасти женщину, и признал, что болезнь сильнее меня, отец стал сердиться, гневаться и, вменяя мне в вину бессилие науки, говорить, что это я не хочу отстоять несчастную и предаю ее. Состояние отца обычно для людей, переживающих горе: все они гnevаются на тех, кто осмеливается говорить им правду. Но я все же, в меру возможного, попытаюсь оправдать перед ним и себя самого, и мою науку.

8. Я начну с того закона, ссылаясь на который отец собирается лишать меня наследства. Пусть знает, что сейчас у него уже нет для этого такой же возможности, какая была раньше. Дело в том, батюшка, что законодатель разрешает лишать наследства, но не всем отцам и не всех сыновей, и не столько раз, сколько им заблагорассудится, и не по всякой причине. Дозволив отцам обнаруживать подобный гнев, закон, с другой стороны, позаботился также о сыновьях, чтобы не терпели мы несправедливо. И в силу этого закон не допускает, чтобы это наказание совершалось свободно и без разбирательства, но требует вызова в суд и назначения судей, которые будут выполнять правосудие без гнева и нелицеприятно. Ибо законодатель знал, что многим людям много раз гнев подсказывал нелепые обвинения: один, смотришь, наветам какого-нибудь клеветника поддался, другой — рабу доверился или злонамеренной бабенке. Поэтому закон не допускает, чтобы дело решалось без суда и чтобы сыновья заочно вдруг объявлялись виновными. Закон приказывает наполнить водой клепсидру, предоставить обвиняемым слово и ничего не оставлять без расследования.

9. Итак, поскольку имеется к тому возможность, постольку отец властен только жаловаться на меня, а решить, разумны ли его обвинения, — дело ваше, судейское, я прошу вас: не спешите рассматривать то, что отец ставит мне ныне в вину и за что на меня сейчас сердится, а сначала расследуйте, нужно ли признавать право на лишение меня наследства за тем, кто раз уже сделал это, использовав предоставленную ему законом возможность и полностью осуществив отцовскую власть, но затем снова восстановил меня в правах, уничтожив свое отречение. Я, со своей стороны, утверждаю, что в высшей степени несправедливо такое положение, когда возмездие оказывается беспредельным, наказания — многообразными и дети должны пребывать в постоянном страхе, а закон, который вчера пылал гневом вместе с отцом, сегодня вдруг размягчается, чтобы завтра вновь обнаружить силу, и в целом право поворачивается то так, то этак, смотря по настроению отцов. В первый раз, конечно, закон должен оказать поддержку родителю, гневаясь вместе с разгневанными и предостав-

для последнему власть наказывать. Но если отец уже использовал однажды закон, израсходовав предоставленные ему возможности и сполна насытив свой гнев, а затем вернул сыну права, убедившись в его честности, то необходимо при этом и оставаться и больше уже не прыгать то туда, то сюда, не перерешать дело, не переделывать приговоры. Ибо не существует, конечно, так я думаю, никакого признака, по которому можно было бы сказать заранее, хорошо или дурно кончит рожденный тобою. Вот поэтому-то закон идет на уступки отцам, вскормившим детей в неведении будущего, разрешая им отречься от сына, если он окажется недостойным своего происхождения.

10. Но когда какой-нибудь отец не по принуждению, а свободно, по собственному убеждению вернет сыну права, — к чему еще выдумывать какие-то иные решения? И что еще может сделать в дальнейшем закон? Вот что мог бы сказать тебе, отец, сам законодатель: «Если сын твой никуда не годился и заслужил твое отречение, что заставляет тебя вернуть его? Зачем вновь ввел в дом свой? Зачем ослабил узы закона? Ведь ты был свободен, и в твоей власти было не делать этого. Тебе ведь не дано играть законами, как игрушками, и я не могу позволить, чтобы судилища собирались, сообразуясь с переменной твоих настроений, чтобы законы то разрешали свои узы, то снова вступали в силу, чтобы судьи заседали, как простые свидетели или, скорее, прислужники твоих решений, сегодня — казня, завтра — милуя, когда и как тебе заблагорассудится. Однажды родил ты сына, однажды воспитал его — однажды можешь за все это и отречься от него, и то при условии, если найдешь это действие справедливым. Но повторять не переставая, без конца, многократно и легкомысленно — это уже превышает отцовские права».

11. Итак, заклинаю вас Зевсом, граждане судьи, не допускайте, чтобы мой отец, добровольно меня восстановивший, нарушивший вынесенное когда-то судом решение и отказавшийся в гневе от меня, — не допускайте, чтобы он снова взывал к вам о том же самом наказании и прибегал к устарелой уже ссылке на отцовские права: срок использования их давно истек и устарел, и только для него одного это не имеет силы, хотя все права им уже давно растрчены. Вы, наверное, знаете, что и в других судах, поскольку судьи попадают в них по жребию, закон разрешает тому, кто считает вынесенное решение неправильным, обратиться в иное судилище. Но если тяжущиеся по взаимному соглашению обращаются к посредничеству судей, заранее ими выбранных, — перенос дела не допускается. Ибо тот, кто имел возможность вовсе не начинать дела, должен по справедливости уважать постановление, если его признает виновным судья, им самим выбранный. Вот так точно и ты: ты мог не восстанавливать больше в правах сына, если он казался тебе позорящим твой род, но раз ты вновь признал сына честным человеком и вернул ему права, ты уже больше не можешь отречься от него. Что он не заслуживает вторично претерпеть то же самое, это тобою самим засвидетельствовано, и честность сына тобою уже снова признана.

Итак, непреложным подобает быть восстановлению и примирению, незыблемым после обсуждения столь долгого и после двух судов: сначала был первый, на котором ты добился своего, потом второй — твой собственный, когда ты переменял решение и вернул мне мою долю при разделе. Уничтожив предшествующее постановление, ты тем самым укрепляешь то, что решено было после. Итак, оставайся при последнем и соблюдай свой собственный приговор. Ты должен быть мне отцом: ты сам так решил, сам приговорил и ввел этот приговор в силу.

12. И будь я даже сыном твоим не по крови, а лишь по усыновлению, и тогда бы я счел непозволительным для тебя лишать меня наследства, если бы ты того пожелал. Ибо то, чего с самого начала можно было вовсе не делать, несправедливо разрушать, коль скоро оно уже совершилось. Но того, кто и по крови и, вторично, по свободному твоему решению стал тебе сыном, — не безрассудно ли меня вторично от себя отталкивать и по нескольку раз лишать меня даже уз родства? А что, если бы довелось мне быть рабом твоим, и ты сначала, сочтя за негодяя, заковал бы меня в цепи, а потом, убедившись в обратном, в полной моей невинности, освободил бы меня и дал вольную, — неужто позволено было бы тебе в любое время снова обратить меня в прежнее рабство? Никогда! Ибо законы признают, что такие решения должны оставаться незыблемыми и сохранять силу навсегда. Я мог бы еще многое сказать о том, что отец мой не имеет более права отречься от меня, которого он уже изгнал однажды, но затем по доброй воле снова признал своим сыном. Однако об этом говорить я перестаю.

13. Посмотрите теперь, что за человек я, от которого отец хочет отречься. Я уже не говорю о том, что тогда я был невеждой, ныне же стал врачом, ибо наука вряд ли может быть союзником в этом деле. Не говорю также о том, что тогда я был юным, а теперь уже очень немолод, и что самый возраст мой может служить порукой в том, что я не совершу никаких беззаконий, — не говорю этого, ибо и лета, пожалуй, мало что значат. Но в этот раз, отказывая мне от дома, отец не был, правда, несколько обижен мною — я, по крайней мере, склонен на этом настаивать, — однако не видел он от меня и добра. Ныне же отец отрекается от меня, ставшего недавно его спасителем и благодетелем. Может ли быть большая неблагодарность? Спасенный мною, избегнувший столь великой опасности, он тут же платит мне вот чем! Ни одним словом не вспомнил он оказанную мною слугу, но забыл о ней с такой легкостью и, лишая меня крова, гонит прочь. А я, который справедливо мог бы злорадствовать, не только не вспомнил зла, причиненного несправедливым изгнанием, но даже спас отца и вернул ему рассудок!

14. Не малую ведь, граждане судьи, услугу, не случайную оказал я ему, и все же вот какой ныне удостоен за нее награды! Но если отец забыл тогдашнее, то вы все должны знать, каким я застал его, каковы были его поступки, его состояние, его настроения, когда все врачи от него отказались, а домашние избегали его и даже подходить близко не отваживались.

Таков он был, отец, а сейчас — вот он перед вами: и с обвинениями выступает, и о законах рассуждает.

Обрати лучше внимание, батюшка, вот на какой пример: таким точно, как твоя жена, совсем недавно был и ты, я же былой рассудок возвратил тебе. И несправедливо поэтому так отплатить мне за прошлое и только по отношению ко мне одному оставаться безрассудным. Ибо из самого обвинения твоего явствует, что благодеяние ты получил от меня немалое: ты обратился ко мне потому, что положение твоей жены тяжело до крайности, и, когда я отказался ее лечить, ты возненавидел меня. Так не лучше ли было бы любить меня сверх меры за то, что я избавил тебя от подобных же страданий, и за избавление от столь ужасной болезни питать ко мне благодарность? Ты же — и это всего бессмысленней, — вернувшись к рассудку, тотчас же потащил меня в суд. Будучи спасен мною, караешь и возвращаешься к той ненависти и тот же самый развертываешь закон. Поистине прекрасно заплатил ты за мое искусство и достойно вознаграждал за целительные средства, против своего же врача использовав возвращенный тебе рассудок!

15. А вы, граждане судьи, неужели вы допустите, чтобы отец благодетеля своего карал, спасителя — изгонял, исцелившего — ненавидел, воскресившему его — мстил? Конечно, нет, если только вы творите справедливость. Допустим даже, что я совершил бы сейчас тягчайший проступок, — и тогда отец оставался бы у меня в долгу за оказанную ему немалую услугу; на нее оглядываясь, о ней памятуя, неплохо поступил бы отец, если бы презрел настоящее и, ради былого, с готовностью простил меня, в особенности, когда благодеяние столь велико, что пересиливает все последующее. Именно таково, полагаю я, мое благодеяние отцу, которого я спас, который всю жизнь пребудет должником моим, которому я вернул и бытие, и разумение, и мысль, — и это в то время, когда все другие уже отказались от него и в один голос сказали, что болезнь сильнее их.

16. И тем большим оказывается, утверждаю я, мое благодеяние, что ведь тогда я даже не был его сыном и не имел никаких причин, принуждавших меня его пользоваться, — нет, свободным и чужим предстал я перед моим отцом, не связанный никакими кровными узами. И все же я не отнеся к отцу безразлично, но добровольно, без приглашения, сам вызвавшись, пришел, подал помощь, напряг все силы, исцелил, поставил на ноги и сберег для себя отца — и оправдался в отцовском отречении; благомыслием я укротил гнев, расторг решения закона сыновней любовью и великим благодеянием купил себе доступ обратно в семью. Когда отцу грозило полное крушение, я доказал ему мою преданность, силой искусства осуществил мое сыновство и среди опасностей явил свою законнорожденность.

Знаете ли вы, сколько я вытерпел, сколько преодолел трудностей, пока, ухаживая за больным и ожидая благоприятного случая, то отступал перед силой недуга, то выдвигал против него мою науку, когда болезнь

начинала немного поддаваться? Среди всех возможных случаев нет для врача другого, более ненадежного, чем лечить таких больных, как отец, приближаться к находящимся в таком состоянии: ибо часто при усилении недуга больные вскипают яростью и кидаются на окружающих. И все же я ни перед чем не остановился, ничего не испугался, но находился при отце, испытывая все способы борьбы с болезнью, и, наконец, одолел ее моим лекарством.

17. И всякий, кто знает это, тотчас сможет представить себе, сколько и каких трудов стоит дать такому больному лекарство. Ибо до того нужно сделать многое: нужно заранее проложить путь действию напитка, нужно подготовить тело, сделав его восприимчивее для лечения, нужно учесть все силы больного, очистить его, осушить, предоставлять ему пищу, какую нужно, и движение, которое полезно, позаботиться о сне и меры успокоения придумать. Ко всему этому больных другой какой-нибудь болезнью легко уговорить; безумными же, дух которых ничему не подчиняется, трудно руководить и трудно управлять — врач не может на больных положиться, и для лечения они — тяжелые противники. И часто в то самое мгновение, когда мы уже почти подготовим их и надеемся довести дело до конца, какая-нибудь маленькая оплошность вызывает новый приступ недуга, который без труда опрокидывает все ранее сделанное, вынуждает врача к отступлению и валит с ног его искусство.

18. Так что же? Меня, все это выдержавшего, схватившегося один на один с болезнью столь тяжкою, победившего недуг, из всех недугов неодоливейший, — такого сына вы позволите отцу лишать прав? Будете потворствовать, чтобы отец толковал законы как ему вздумается, в ущерб своему благодетелю? И предоставите ему воевать с природой? Я своей природе повинуюсь, граждане судьи, стараясь спасти и сберечь для себя отца, — пусть он и несправедлив ко мне. А этот человек, законам, как он утверждает, следуя, губит сына-благодетеля и безродным его делает. Сыноненавистником является он, я же — отцелюбец. Я навстречу природе иду, отец же пренебрегает природой и оскорбляет ее. О, несправедливо злобствующий отец! О, еще несправедливее того любящий сын! Да, я сам обвиняю себя, хотя отец понуждает меня к этому, — обвиняю в том, что, и ненавидимый, я все же вопреки должному люблю его, и люблю даже больше, чем следовало бы. А между тем природа велит, чтобы отцы больше любили детей, чем дети — отцов. Но мой отец умышленно не замечает законов, охраняющих для рода детей, ничем не провинившихся, и пренебрегает природой, которая всех родителей влечет в великой страсти к их порождению. И это делает тот, чьей благосклонности истоки глубже моих, и кто по справедливости должен вернуть мне с избытком мою благосклонность или, по меньшей мере, подражать мне и соперничать со мной в нежной любви! Но горе! Отец идет еще дальше: он платит ненавистью за любовь и за ласку — изгнанием, за благодеяние — обидой, за привязанность — отречением, а законы, к сыновьям благосклонные, в его руках обращаются против меня в детоненавистнические. Что за распрю пытаешься ты вызвать, отец, между законами и природой?

19. Не так обстоит дело, не так, как ты этого хочешь! Плохо ты толкуешь, отец, хорошо составленные законы. Не враждебны между собою природа и закон в делах благорасположения, а следуют друг за другом и вместе борются за упразднение неправды. Ты обижаешь благодетеля, ты оскорбляешь природу. Зачем же вместе с природой ты оскорбляешь законы? Стремящимися быть прекрасными, справедливыми, детолюбивыми законами ты злоупотребляешь и один за другим приводишь в действие против одного и того же сына, будто против многих, не даешь передышки в наказаниях, хотя законы стремятся сохранить в спокойствии сыновнее расположение к отцам и, конечно, составлены совсем не против тех, кто не совершил никаких проступков. Напротив, именно они, законы, дают право даже на суд звать неблагодарного, не творящего благодетелю ответного блага. А этот человек, мало того что не платит добром, — он достойным почитает еще и кары навлекать на тех, от кого испытал добро. Так смотрите же сами, не превзошел ли он уже всякую меру беззакония. Итак: отец не может более лишать меня наследства, однажды уже осуществив полностью власть отцовскую и использовав законы, и вообще он неправ, отталкивая от себя и выгоняя из дому того, кто такие большие оказал ему благодеяния, — и то, и другое я считаю достаточно доказанным.

20. А теперь пора перейти к самой причине моего изгнания и подвергнуть рассмотрению, в чем именно заключается сущность обвинения. Тут снова нам придется вернуться к мысли законодателя.

Пусть так, отец: ненадолго я уступлю тебе в этом вопросе, признаю, что ты можешь лишать сына наследства столько раз, сколько пожелаешь, и, более того, признаю за тобой это право даже в отношении того, кто сделал тебе добро, — я уверен, что и тогда без всякого повода, или по любому поводу, ты не сможешь этого сделать. Нигде ведь законодатель не говорит: «В чем бы ни обвинил отец сына, — да будет сын лишен наследства; достаточно для этого воли и гнева отцовского». Для чего же бы тогда был нужен суд? Нет, вам, граждане судьи, поручает законодатель смотреть за тем, гневается ли отец на проступки значительно и по справедливости или нет. Это именно вы сейчас и расследуйте. Начну я с того, что последовало тотчас за отцовским выздоровлением.

21. Первым делом вернувшегося к рассудку отца была отмена им моего изгнания: и спасителем я был тогда, и благодетелем, и всем чем угодно. И, полагаю, кроме этих никаких иных провинностей быть за мной не могло. А из всего потом случившегося что он поставит мне в вину? В чем преступил я сыновний долг? Не услужил, не позаботился о тебе? Когда не ночевал дома? Какими неблагоприятными попойками, какими гуляниями попрекнешь ты меня? Вел я распутную жизнь? Какой-нибудь содержатель веселого дома пострадал от меня? Приходил кто-нибудь на меня жаловаться? Никогда никто! А между тем именно за такие проступки прежде всего и допускает закон лишение сына наследства... Но вот начала хворать мачеха. Что же? Это, по-твоему, моя вина? За болезнь в ответе я? — «Я не говорю этого», — отвечает отец.

22. Тогда что же? Ты говоришь: «Я велю тебе лечить, но ты не хочешь, и за это ты достоин изгнания, как ослушник отца». Об его приказании, исполнить которые я не могу, и потому кажусь ослушником, я скажу немного позже. Сначала я просто укажу на то, что отцу закон разрешает отдавать не всякое приказание и меня отнюдь не принуждает всегда и все приказания исполнять. Дело в том, что в одних случаях такое неисполнение не подлежит ответственности, в других оно достойно гнева и наказания. Например, если сам отец захворает, и я не обращаю на это внимания; если он велит мне заняться делами домашними, и я пренебрегу ими; прикажет понаблюдать на поле, я поленюсь, — во всех этих и подобных случаях отец имеет разумные поводы быть недовольным мною. Но в других случаях мы, дети, вольны решать по-своему, когда дело идет о наших знаниях и их применении, и в особенности если сам отец при этом нисколько не страдает. Если, например, сыну-художнику отец прикажет: «Вот это, дитя мое, ты напиши, а вот то — нет»; или музыканту: «Этот аккорд возьми, а тот — нет»; или чеканщику: «Чекань то, а не это», и если сын использует свое искусство так, как ему самому кажется нужным, — скажите: неужели потерпит кто-нибудь, чтобы отец лишил за это такого сына наследства? Решительно никто, я уверен.

23. Но искусство врачебное и важнее других, и полезнее для жизни, и постольку большую свободу подобает предоставить тем, кто им занимается. Справедливость требует, чтобы они имели некоторые преимущества в праве применять или не применять свое искусство и чтобы никаких принуждений, никаких приказаний не знало дело священное, богами воспитанное, мудрыми мужами изучавшееся. Чтобы не было оно рабом закона, не находилось под страхом суда и наказания, не зависело от мнений, от угрозы отца, от гнева человека непосвященного. Поэтому, если бы даже я точно и ясно сказал тебе: «Не хочу и не буду лечить, хотя и могу: только для себя самого и для отца моего я владею знанием врача, для всех же прочих хочу оставаться человеком, врачеванию чуждым», — какой тиран оказался бы таким насильником, чтобы заставить против воли применить искусство? Ибо тут подобает прибегать к мольбам и просьбам, а не к судам и угрозам. Надо, чтобы врач действовал по убеждению, а не по приказу, по желанию, а не из страха; необходимо не приводить врача к больному насильно, но радоваться, когда он приходит сам. Отцовскому же принуждению непричастно это свободное искусство, если даже государства всенародно даруют врачам и почет, и первые места, и всякие льготы и преимущества.

24. Вот то, что я мог бы сказать вообще в защиту моего искусства, если бы ты сам обучил меня ему и много потратил и забот, и денег на мое ученье, а я все-таки отказывался бы лечить именно эту больную, хотя и мог бы помочь ей. Ныне же подумай, до чего бессмысленно ты поступаешь, не позволяя мне свободно распоряжаться моим достоянием. Я изучил врачебное искусство, когда не был даже твоим сыном и не подлежал твоей власти. И все же я изучил врачевание для тебя, ничего от тебя не получив на ученье, — и ты первым вкусил его плоды. Когда ты платил за

меня учителю? Или за приготовление лекарств? Никогда. Я проходил науки, будучи нищим, нуждаясь в самом необходимом, возбуждая сострадание моих учителей. Что дал мне отец на дорогу, когда я пошел учиться? Горе, одиночество, нужду, злобу домашних, отвращение родственников. И за это ты считаешь себя достойным пользоваться моими знаниями и быть хозяином их, хотя ты не был моим хозяином, когда я приобретал их? Будь доволен тем, что я до этого по доброй воле, не будучи у тебя в долгу, оказал тебе услугу, — тебе, который никогда не мог требовать от меня никакой благодарности.

25. И, конечно, не следует эту мою услугу превращать для меня в дальнейшем в необходимость: исходя из добровольного благодеяния, делать меня подневольным исполнителем приказаний. Нет такого обычая, чтобы врач, раз излечивший кого-нибудь, лечил уже всегда и всех по желанию излеченного. Ибо господами над собой ставили бы мы таким образом исцеленных нами и принимали от них плату, как залог рабства и служения всем их приказаниям. Что могло бы быть несправедливее этого! Потому, что поднял тебя от болезни столь тяжкой, поэтому считаешь ты себя в праве злоупотреблять моим искусством?

26. Итак, вот что мог бы я сказать, если бы приказания отказа были исполнимы: я исполнял бы их не все и не во всех случаях, хотя бы и неотложных. А теперь посмотрите, наконец, каковы же его требования: «Ты вылечил от безумия меня, — говорит он. — Ныне потеряла рассудок моя жена и страдает той же самой болезнью (таково ведь его убеждение). Ты все можешь сделать и это доказал, и потому излечи и ее и скорее избавь от болезни». Просто на слух рассуждение это может показаться весьма разумным, в особенности человеку несведущему и неопытному в искусстве врачевания. Но если вы заслушаете мое справедливое слово в защиту врачебного искусства, вы поймете, наверно, что не все для нас, врачей, возможно и что природа болезней неодинакова, и лечение не одно и то же, и то или иное лекарство имеет силу не против всех болезней. Вот тогда станет ясным, что «не могу» совершенно отлично от «не хочу». Позвольте же мне изложить этот вопрос научно, и не считайте мою речь об этом предмете неприличной, не идущей к делу, неуместной и несвоевременной.

27. Прежде всего различны, конечно, самая природа человеческих тел и состав их, и хотя общепризнанно, что тела слагаются из совершенно одинаковых элементов, — однако в одном теле преобладает в большей или меньшей степени один элемент, в другом — другой. Я имею в виду пока только тело мужчины, но в этом отношении у разных лиц наблюдаются различия в строении и в смешении жизненных соков. Отсюда с необходимостью следует, что и заболевания их и по силе, и по своему виду должны быть различны: одни организмы подвергаются врачеванию и поддаются нашим средствам, другие же совершенно безнадежны, ибо легко восприимчивы к болезням и вовсе не имеют силы бороться с ними. Поэтому только человек, не рассуждавший об этих вопросах, не задумывавшийся над ними и их не исследовавший, может думать, будто всякая горячка, всякое истощение, воспаление легких, умопомешательство — всегда одни и те

же, — нет, одна и та же болезнь в одном теле легко излечивается, в другом — не излечивается вовсе. Здесь наблюдается, по-моему, то же, что с посевом одной и той же пшеницы в различных местностях: одно дело — произрастать на возделанной почве, на равнине с глубокой, достаточно увлажненной почвой, хорошо согреваемой солнцем и обвеваемой ветрами, — здесь, полагаю, рост и сила хлеба будут хороши, и урожай будет снят обильный. Иначе будет обстоять дело на горе, на земле с каменистой подпочвой, и опять иначе там, где почва плохо прогревается солнцем, и еще иначе на предгорье, и вообще — по-разному в каждой местности. Совершенно так же и болезни: в зависимости от восприимчивости почвы они то находят для себя обильную пищу и развиваются пышно, то выходят более слабыми. И вот отец мой, обходя все эти обстоятельства, оставляя их совершенно без рассмотрения, считает, что всякое безумие во всяком теле одно и то же и врачуетс^я одинаково.

28. После этих моих разъяснений легко уже понять, что тело женщины совершенно отлично от мужского и в отношении самих болезней, и в отношении надежды на благоприятный или неблагоприятный исход лечения. Ибо в теле мужчины есть здоровая крепость и напряженность, выработанные упражнением, трудом, движением, жизнью на открытом воздухе. А в теле женщины есть расслабленность и рыхлость; взращенное в тени, оно бледно от малокровия, от недостатка теплоты и обилия влаги. Поэтому в этом теле меньше сопротивления, чем в мужском, и оно более подвержено болезням, не выдерживает лечения и в особенности к безумию имеет большее предрасположение. Ибо, отличаясь значительной вспыльчивостью, легкомыслием и возбуждаемостью, но имея мало телесной силы, женщины легко впадают в этот недуг.

29. Итак, неправильно требовать от врачей одинакового лечения обоих полов, если мы знаем, как далеко они отстоят друг от друга, поскольку с самого начала мужчина и женщина разделены всем образом жизни, всею деятельностью в целом и каждым занятием в частности. Поэтому, говоря, что некто потерял рассудок, не забывай, если больной — женщина, упомянуть об этом и не смешивай все вместе, подводя под одно общее наименование «безумие» то, что лишь кажется одним и тем же. Напротив, разграничивай то и другое, как разграничено, мы видим это, в самой природе, смотри, что можно сделать в каждом отдельном случае. Ибо и мы, врачи, как уже упомянул я в начале моей речи, прежде всего на это обращаем внимание: а именно — на природу тела больного, на его состав, на преобладающий в нем элемент, горячо ли тело или холодно, в полном расцвете или уже стареет, крупно оно или мало, тучно или имеет мало мяса на костях, и тому подобное. Тот, кто предварительно все это исследует, может считаться заслуживающим полного доверия, объявляя больного безнад^{ежным} или обеща^я благополучный исход.

30. Ведь имеются тысячи видов безумия, и многообразны причины его, и названия — не одинаковы. Так, не одно и то же — быть слабоумным, впасть в тихое и буйное помешательство или страдать припадками бешенства, — но все это названия для различных степеней охватившей

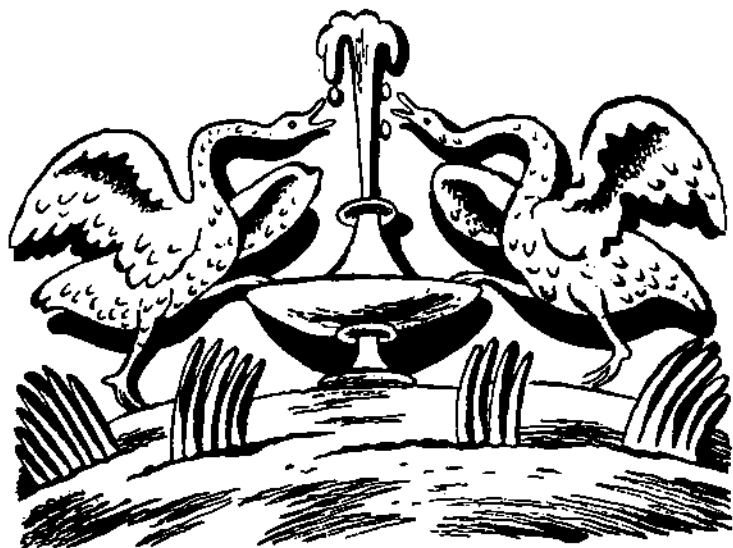
человека болезни. Причины же заболевания для мужчин — одни, для женщин — другие, а что касается, в частности, мужчин, то опять-таки различны причины безумия у молодых людей и у стариков. У молодых по большей части безумие вызывается избытком сил, а на стариков нередко нападает неуместное злоречие, безрассудный гнев против домашних, который вызывает сначала общее расстройство, а затем мало-помалу переходит в безумие. С женщинами же случается многое, что легко приводит их в болезненное состояние, в особенности сильная ненависть к кому-нибудь или зависть счастью недруга, или горе, или гнев. Чувства эти, сначала тлеющие, понемногу разгораются и, питаемые долгое время, приводят, в конце концов, к безумию.

31. Это самое случилось, отец, и с твоей женой. Видимо, что-нибудь ее недавно огорчило: ибо она ни против кого не питала ненависти, и тем не менее таково ее состояние, что в настоящее время ни один врач не может ее вылечить. А потому, если другой кто-нибудь пообещает тебе это и действительно избавит ее от недуга, питай тогда ко мне ненависть, как к поступившему с тобой несправедливо. Впрочем, я не побоялся бы сказать тебе, отец, прямо, если бы даже она находилась не в таком отчаянном положении, но подавала кое-какую надежду на спасение, — я и в этом случае не так-то легко взялся бы за дело и не сразу бы решился дать ей мое лекарство, опасаясь за исход и боясь злословия со стороны окружающих. Знаешь ли ты, что, по общему убеждению, всякой мачехе свойственна некая ненависть к детям мужа, будь она даже доброй женщиной, и все они охвачены этим общеженским безумием? И вот, если бы болезнь продолжала развиваться и лекарства не возымели действия, кто-нибудь, пожалуй, мог бы заподозрить, что лечение было злостным и предательским.

32. Таково, отец, положение твоей жены. Я говорю тебе на основании тщательного исследования: никогда ей не станет легче, хотя бы она сто раз выпила лекарство. А только не следует и приступать к лечению, если только ты не принуждаешь меня к этому только ради того, чтобы я потерпел неудачу, стремясь опозорить меня в глазах людей. Пусть я буду предметом зависти для моих сотоварищей по ремеслу.

Если же ты вторично от меня отречеешься, то я, хотя и лишившись всего, не пожелаю тебе никакого зла. А что, если — да не случится этого — если недуг снова посетит тебя? Ибо, когда человек раздражен, болезнь эта бывает непрочь возвратиться. Что тогда я должен буду делать? Будь уверен: я и тогда стану лечить тебя, я не покину строя, не оставлю место, указанное детям природой, и не забуду об узах кровного родства. А потом, когда к тебе вернется рассудок, должен ли я надеяться, что ты снова когда-нибудь восстановишь меня в правах? Смотри, отец! Уже и сейчас ты своим поведением навлекаешь на себя болезнь и заставляешь вспомнить о минувшем недуге. Только что оправившись от тяжких страданий, ты опять напрягаешь силы, кричишь и, что всего важнее, опять гневаешься, снова впадаешь в злобу и взываешь к законам.

Ах, отец, таким точно было и к прежнему твоему безумию вступление!



О ЯНТАРЕ, или О ЛЕБЕДЯХ

1. Вы, наверно, верите рассказу о янтаре — о том, как тополя на реке Эридане, оплакивая Фаэтона, проливают слезы по нем — ведь эти тополя были сестрами Фаэтона — и как, тоскуя о Фаэтоне, превратились в деревья и с той поры по каплям источают еще и ныне свои слезы — чистый янтарь. Слыша это от слагающих песни поэтов, я, конечно, стал надеяться, что если когда-нибудь окажусь на Эридане, то подойду к одному из тополей и, подставив край одежды, соберу немного слез и сделаюсь обладателем янтара.

2. И вот недавно, по одному делу, прибыл я в эту местность — нужно было плыть вверх по Эридану — и, пристально всматриваясь в берега, я не увидел ни тополей, ни янтара, а местные жители не знали даже имени Фаэтона. Когда же начал я расспрашивать и разузнавать, скоро ли мы прибудем к тополям — к тем, что с янтарем, лодочники засмеялись и потребовали яснее объяснить им, чего я хочу. Тогда рассказал я им миф, что Фаэтон был сыном Солнца и, войдя в цветущую юность, потребовал у отца управления колесницей, упрашивая самому править хотя бы только один день. Отец уступил, и сын погиб, сброшенный с колесницы, а сестры, оплакивая его где-то тут, как сказал я, у вас, — ибо здесь, на Эридане, он упал, — превратились в тополя и до сих пор еще плачут по нему янтарем.

3. «Какой обманщик, какой лгун рассказал это тебе? — спросили они. — Мы никогда не видели никакого падающего возницы, и тополей, о которых ты говоришь, у нас нет. Как ты думаешь: если бы что-нибудь подобное приключилось, разве стали бы мы работать на веслах из-за двух оболлов или тащить судна против течения, когда можно было разбогатеть, собирая слезы тополей?»

Очень поразили меня эти слова, и я умолк, пристыженный, что, как малое дитя, претерпел за дело, доверившись поэтам, сочиняющим такое неразумное, так как ничто здоровое их не удовлетворяет. Обманутый в этой моей первой и не малой надежде, я был сильно огорчен, как будто выскользнул из моих рук янтарь, о котором я уже много себе придумывал — куда и как употреблю его.

4. Что же касается многочисленных поющих лебедей на берегах реки, то об этом я думал получить от них неопровержимые указания, и тотчас запросил я лодочников (мы все еще плыли): «Ну, а где же у вас лебеди поют свою звонкую песнь, рассыпавшись по реке здесь и там? Говорят, что лебеди, будучи спутниками Аполлона и людьми-песнопевцами, где-то здесь превратились в птиц и потому поют еще и до сих пор, не позабыв искусства петь».

5. Лодочники же со смехом ответили: «Ты, кажется, любезный, сегодня не перестанешь выдумывать насчет нашей страны и реки. Мы же, постоянно плавая здесь и почти с детства работая на Эридане, видим иногда редких лебедей в речных заводах. Но кричат эти птицы жалко и неблагозвучно, так что вороны и галки кажутся перед ними сиренами; поющих же сладостно, как ты рассказываешь, мы никогда даже во сне не слыхивали. Мы только удивляемся, откуда к вам доходят такие рассказы».

6. Во многом же можно оказаться обманутым, если верить всем преувеличениям! Потому теперь и я опасаюсь за себя, не надеялись ли вы, придя и впервые от нас услышавши эту историю, найти и у нас некий янтарь и лебедей, а затем, спустя короткое время, уйдете, смеясь над нами, обещавшими вам найти в словах многие сокровища. Но свидетельствую, что ни вы, ни кто-либо другой никогда не слышали, да и не услышите, чтобы я хвастался чем-либо подобным. Но немало других можно встретить ораторов-эриданов, у которых не янтарь, но само золото исходит из слов, а слова их намного звонче поэтических лебедей. Мои же речи — вы видите, как они просты и не приукрашены мифом, и песни никакой я не присоединяю. Берегись, как бы не испытал и ты чего-нибудь подобного, слишком понадеявшись на меня, как те, что рассматривают предметы, находящиеся в воде!

Они думают, что предметы таковы, какими они казались сверху, между тем как лучи расширяют отображение предмета. Потому, вытащив предметы из воды и найдя их гораздо меньшими, испытывают чувство досады.

Поэтому я заранее предупреждаю тебя: сливши воду и открывши мое достояние, не предполагай вытащить ничего большим, чем оно есть. В противном случае обвиняй себя самого в несбывшейся надежде.



ГАРМОНИД

1. Флейтист Гармонид спросил однажды Тимофея, бывшего его учителем: «Скажи мне, Тимофей, как мне стяжать славу моим искусством? Что делать, чтобы узнали меня все эллины? Остальному ты, был так добр, уже научил меня: как настроить флейту с безукоризненной точностью, как вдохнуть в ее дульце тонкую, нежную мелодию, как подчинить мягкие касания пальцев частой смене высоких и низких тонов, как следовать ритму, как созвучно сочетать мелодию с хором и как соблюдать особенность каждого лада — вдохновенность фригийского, обуянность лидийского, важность дорийского и тонкость ионийского. Всему этому я, действительно, от тебя научился.

Но самое главное, ради чего я так захотел стать флейтистом, — я не вижу, как могло бы оно для меня возникнуть от этого искусства: слава, слава всеобщая, стать особо отмеченным среди людских толп и чувствовать, что на меня указывают пальцем; вызывать, где бы я ни появился, тотчас обращение всех в мою сторону и возгласение моего имени: «Это он, тот самый Гармонид, лучший из флейтистов!» Ах, Тимофей! Так точно когда-то и ты, впервые придя из родимой Беотии, сопровождал своей флейтой «Дочь Пандиона» и одержал победу в «Безумном Аянте», музыку к которому создал твой тезка, — и никого не было тогда, кто не знал бы твоего имени, имени Тимофея из Фив. Но и сейчас, где бы ты не появился, сбегаются к тебе все, будто к сове — птицы. Вот то, из-за чего я пожелал стать флейтистом и ради чего многотрудно трудился, потому что игру на флейте саму по себе, если бы она далась мне в неизвестности, без того, чтобы стать через нее знаменитым, я не принял бы вовсе, хотя бы даже

предстояло мне стать, неведомо для людей, Марсием или Олимпом. Ибо, как говорится, нет пользы в музыке немой и никем не слышимой. Наставь же меня, — закончил Гармонид, — и в этом: что должен я делать с самим собой и с моим искусством. Двойную я стану питать к тебе тогда благодарность: и за умение играть на флейте и, больше всего, за славу, приобретенную с его помощью».

2. Ответил ему Тимофей так: «Ну, Гармонид, то, чего ты хочешь, — запомни это хорошенько, — дело нелегкое: успех и слава, и замеченным быть всеми, и известным. Если ты хочешь достигнуть этого как-нибудь так, мимоходом, выступая перед толпой, — долог, пожалуй, будет путь, да и то не все будут знать тебя. Где, в самом деле, мог бы отыскаться или театр, или стадион настолько большой, чтобы в нем ты мог сыграть перед всеми эллинами? Но как тебе поступить, чтобы стать им известным и достичь предела твоих желаний, — я сумею и в этом дать тебе совет. Ты играй иногда и в театрах, но не заботься много о толпе. А сокращенная и самая легкая дорога, ведущая в славе, вот какова: если ты, выбравши из всех живущих в Элладе самых лучших, тех немногих, что возглавляють остальных и пользуются бесспорным уважением, чьи похвалы и порицания равно встречают доверие, — если перед ними, говорю я, ты выступишь со своей флейтой, и они одобряют тебя, — тогда считай, что всем эллинам ты уже стал известен и в такой короткий срок. Посмотри теперь, как я строю мои выводы: ведь если те, которых все знают и уважают, если эти самые люди будут знать тебя как прославленного флейтиста, — какое тебе дело до толпы, которая, во всяком случае, пойдет за умеющими судить лучше? Потому что этот твой “весь народ” состоит из людей, которые сами не знают, что лучше, в большинстве являясь простыми ремесленниками. Но если стоящие во главе кого-нибудь похвалят, они верят, что наверно уж не без оснований удостоился похвалы этот человек. Поэтому будут хвалить его и сами. Так ведь и на состязаниях большинство зрителей умеет похлопать или освистать, а оценку дают пять или семь или сколько там еще человек».

Гармонид не успел выполнить этот совет: во время игры, как рассказывают, когда он впервые выступал на состязании, дунув несколько старательнее, чем следовало, он отдал флейте свой последний вздох и, не получив венка, умер на сцене, в первый и последний раз выступив со своей флейтой на празднике Дионисий.

3. Однако слова Тимофея, мне кажется, обращены не только к флейтистам и не к одному Гармониду, но ко всем, кто домогается славы, выступая с чем-нибудь всенародно и чувствуя потребность в одобрении толпы. И вот, когда и я так же размышлял о себе и искал способа, как можно скорее стать известным всем, то, следуя слову Тимофея, начал высматривать, кто из жителей города был бы наилучшим, кому поверили бы все остальные, и кто один мог бы сойти за всех. Таким человеком, конечно, должен был, по справедливости, оказаться для меня ты, возглавляющий собой все, что есть самого лучшего, — отвес, так сказать, и точный уровень в

подобного рода вопросах. Я думал: если я познакомлю тебя с моими сочинениями, и ты одобришь их, — ах, если бы так это когда-нибудь и случилось, я, конечно, достигну предела моих надежд, приобретя в одном данном за меня голосе все остальные! И разве, предпочти я тебе другого, не следовало бы по заслугам признать меня сумасшедшим? Таким образом, по внешности делая ставку на одного человека, я, в сущности, выступал бы с моей речью совершенно так, как будто в один общий театр было созвано много людей со всех сторон. Ибо не подлежит сомнению, что ты один был бы лучшим судьей, чем каждый из них в отдельности и все они взятые вместе. Так, у лакедемонян, в то время как все прочие клали при голосовании каждый по одному камешку, только одни цари были на особом положении, и каждый из них клал по два; ты же имеешь сверх того камешки и эфоров, и геронтов, и вообще все остальные, — ты, чей голос — всегда большинство там, где дело касается образования, в особенности поскольку ты всегда готов положить белый спасительный камешек. Это и придает мне в нынешнем положении бодрость, хотя дерзость моя так велика, что справедливо было бы мне почувствовать страх. А кроме того, Зевс — свидетель, уже само собою заставляет меня быть смелее и то, что мои дела не совсем чужды тебе, ибо родом я из того города, которому не раз ты делал добро, — как самому городу, так и всей городской округе. Таким образом, и сейчас, если не в мою пользу склонятся при голосовании камешки и в меньшинстве окажутся лучшие, ты, присоединив к ним «камешек Афины», восполни недостающие голоса от себя и покажи, что восстановление справедливости — твое личное дело.

4. Меня ведь не удовлетворяет то, что раньше многие дивились мне, что я уже знаменит, что речи мои встречают одобрение слушателей. Все это мимолетные сны, как говорится, и лишь тень славы. Истина же в настоящем случае обнаружится. В нем — безошибочный приговор моим речам, и не будет никаких колебаний больше, какие бы кто сомнения ни выказывал: или должно будет признать меня человеком высокого образования, раз ты так решишь, или среди всех... но следует произносить только благоприятные слова, когда идешь на столь великое состязание.

Боги! Да буду я признан достойным внимания! Обеспечьте мне одобрение других людей, чтобы в будущем я смелее мог выступать перед толпой. Ибо любой стадион уже не так страшен тому, кто победил на больших олимпийских играх.



ПОХВАЛА РОДИНЕ

1. Что «нет ничего слаще отчизны» — это давно уже стало общеизвестным. Но неужели только приятнее, а чтимее и божественнее что-нибудь есть? Но нет: все, что чтимым и божественным почитают люди, всему причиной и наставницей — отчизна, нас породившая, вскормившая и воспитавшая. Городам, их величию, блеску, совершенству построек дивятся многие, родину же любят все. И не было еще человека, даже из тех, кто всецело был во власти наслаждения тем, что он видел, который был бы до того оболещен, чтоб от избытка чудес в чужих краях предать забвению родину.

2. Поистине, кто гордится тем, что он гражданин богатого города, не понимает, по-моему, какую честь подобает воздать отчизне, и, конечно, такой человек опечалился бы, если бы жребий послал ему родину более скромную. Мне же больше по сердцу чтить самое имя «отчизна». В самом деле: тому, кто захочет сравнить между собой города, подобает сличить их размеры, красоту и обилие товаров. Но если дело идет о выборе города, никто не отдает предпочтения другому из-за большего блеска, оставив отчизну; будет молить богов, чтобы она сравнялась с богатыми, и все же возьмет ее такой, как есть.

3. Так же точно наступают и сыновья справедливые, и родители достойные. Ибо равно невозможно, чтобы юноша прекрасный и добрый предпочел другого человека родному отцу, или отец, пренебрегши сыном, проникся любовью к иному юноше. Но с такой силой владеет отцами любовь к детям, что они кажутся им самыми прекрасными, самыми рослыми и

украшенными всеми добродетелями. Тот же, кто иначе судит о собственном сыне, — тот, мне кажется, никогда не сумеет смотреть глазами отца.

4. Слово «отечество» из всех слов — первое и для нас самое близкое. Ибо ничего для нас нет ближе отца! И кто воздаст отцу должную честь, как велит и закон, и природа, тот почитит, конечно, еще больше отечество, ибо и сам отец — достояние отечества, и отец отца и за ним другие, все выше, пока не взойдем мы по лестнице отцов к богам отечественным.

5. И сами боги радуются своей родине. Хотя, как это им приличествует, видят они весь мир человеческий, все, и землю и море, считая своим достоянием, но из всех городов каждый бог наибольшую честь посылает тому, в котором он возник. И города, служившие родиной богам, знаменитее, и острова — священнее, если в песнопениях возносятся родившиеся там боги. И жертвы тогда почитаются угодными богу, когда человек, прибыв в родные места, там совершит свое священнодействие. Но если для богов драгоценно имя отечества, то ужель для людей не будет оно того драгоценней?

6. Ведь и солнце каждый впервые увидел на своей родной земле, так что и сам этот бог, солнце, хотя оно общее достояние всех людей, каждым почитается за отечественного, по месту, где он впервые этого бога увидел. И говорить каждый начал на родине, впервые учась лепетать на родном языке, и здесь же познал он богов. Если же кому-нибудь послала судьба такую родину, что для приобретения больших познаний пришлось ему посетить чужие края, то и за эту науку пусть будет благодарен отчизне: ибо даже самого слова «город» никогда бы он не узнал, если бы не научился сначала этим именем называть свою родину.

7. И все свои навыки, все науки накаплиют люди, я уверен, затем, что полезнее хотя бы этим сделать себя для родных городов; и богатства приобретают, ревнуя о чести истратить их на общее благо отчизны. И разве не справедливо? Ведь нельзя же не быть ей благодарным, величайшие получив от нее благодеяния. Но если отдельному человеку мы воздаем благодарность, как велит справедливость, если доброе что-либо от него испытываем, то еще больше нам подобает воздать по заслугам отечеству. Существуют в государствах законы, наказующие за непочтение к родителям; родину же надлежит считать общей матерью всех граждан и благодарно воздать ей за то, что она вскормила нас и дала познать ее законы.

8. И не было еще на земле человека, который бы до такой степени забыл свою родину, чтобы, очутившись в другом городе, не думать о ней.

Нет! И те, чьи дела на чужбине идут неудачливо, провозглашают родину величайшим из благ, и те, кто счастлив, хотя бы в остальном им все удавалось, считают, что им недостает одного, самого главного — родины, ибо приходится жить на чужбине. Ненавистное слово — чужбина! И тот, кто за время отсутствия стал знаменит или приобретенным богатством, или почетною должностью, или отличием в науках, или отменной славой храбреца, — ты увидишь: такие люди стремятся на родину, уверенные, что никогда не смогут лучше проявить свои достоинства, как на родине.

Тем сильнее каждый из них стремится достичь отечества, чем большего почета удостоился он в чужих краях.

9. Желанная и для молодежи отчизна. А в людях уже престарелых, насколько они рассудительней молодых, настолько же возрастает в них и страсть к отчизне. И каждый из старых людей стремится и молит богов дать ему окончить свои дни в родной стороне, чтобы там же, откуда началась его жизнь, сложить свое тело, сложить в ту же землю, его вскормившую, и приобщиться к гробницам отцов. Ибо для каждого ужасна мысль быть плененным чужбиной, хотя бы и после смерти, и лежать в чужой земле.

10. Какой любовью проникнуты к отчизне настоящие, законные граждане, ты узнаешь легко по коренным жителям города. Посмотри: переселенцы, будто незаконнорожденные, легко переходят с места на место, ибо не знают они и не любят имя «отечество», считая, что всюду найдут в изобилии все, что им нужно, и мерой счастья полагают радости желудка. Те же, кому отечество — мать, те любят землю, на которой родились и выросли, даже если она не обширна и камениста и плодородной почвой скудна. Если не за что будет похвалить качество почвы, — для отчизны всегда найдется у этих людей похвальное слово. И если увидят, что другие гордятся широкими равнинами и лугами, пестреющими разнообразной растительностью, все же они не забудут похвалить и свою землю и, пренебрегая той, что питает коней, прославят свою за то, что она «юношей добрых питает».

11. Стремится на родину и островитянин, хотя бы он мог в чужом краю наслаждаться блаженством, и даже предложенного бессмертия не примет, но предпочтет ему могилу на родной стороне. И дым отечества покажется ему светлее огня на чужбине.

12. Да, столь дорогой для всех считается родина, что, посмотри: законодатели всюду за величайшие преступления, как самую тяжелую кару, полагают изгнание. Но не одни законодатели смотрят так, а и те, кто, облеченные доверием, стоят во главе войска: и в сражениях нет величайшего слова для стоящих в рядах, как сказать им, что они воюют за родину, — никто, услышав это, не пожелает оказаться хуже других, ибо и робкого делает храбрым слово «отчизна».



СНОВИДЕНИЕ, или ЖИЗНЬ ЛУКИАНА

1. Я только что перестал ходить в школу и по годам был уже большим мальчиком, когда мой отец стал советоваться со своими друзьями, чему же теперь надо было бы учить меня. Большинство было того мнения, что настоящее образование стоит больших трудов, требует много времени, немало затрат и блестящего положения; наши же дела плохи и могут потребовать в скором времени поддержки со стороны. Если же я выучусь какому-нибудь простому ремеслу, то сначала я сам мог бы получать все необходимое от него и перестал бы быть дармоедом, достигнув такого возраста, а вскоре мог бы обрадовать отца, принося ему постоянно часть своего заработка.

2. Затем был поставлен на обсуждение второй вопрос — о том, какое ремесло считать лучшим, какому легче всего выучиться, какое наиболее подходило бы свободному человеку, — кроме того, такое, для которого было бы под рукой все необходимое, и, наконец, чтобы оно давало достаточный доход. И вот, когда каждый стал хвалить то или другое ремесло, смотря по тому, какое он считал лучшим или какое знал, отец, взглянув на моего дядю (надо сказать, что при обсуждении присутствовал дядя, брат матери, считавшийся прекрасным ваятелем), сказал: «Не подобает, чтобы одержало верх какое-либо другое ремесло, раз ты присутствуешь здесь; поэтому возьми вот этого, — и он показал на меня, — и научи его

хорошо обделывать камень, умело соединять отдельные части и быть хорошим ваятелем; он способен к подобным занятиям и, как ты ведь знаешь, имеет к этому природные дарования». Отец основывался на безделушках, которые я лепил из воска. Часто, когда меня отпускали учителя, я соскабливал с дощечки воск и лепил из него быков, лошадей или, клянусь Зевсом, даже людей, делая их, как находил отец, весьма похожими на живых. Учителя били меня тогда за эти проделки; теперь же мои способности послужили мне похвалу, и все, помня мои прежние опыты ваяния, возлагали на меня верные надежды, что я в короткое время выучусь этому ремеслу.

3. Также и день оказался подходящим для начала моего учения, и меня сдали дяде, причем я, право, был не очень огорчен этим обстоятельством: мне казалось, что работа доставит приятное развлечение и даст случай похвастаться перед товарищами, если они увидят, как я делаю изображения богов и леплю различные фигурки для себя и для тех, которых предпочту другим. И, конечно, со мной случилось то же, что и со всеми начинающими. Дядя дал мне резец и велел осторожно обтесать плиту, лежавшую в мастерской, прибавив при этом обычное: «Начало — половина всего». Когда же я по неопытности нанес слишком сильный удар, плита треснула, а дядя, рассердившись, взял первую попавшуюся ему под руку палку и совсем не ласково и не убедительно стал посвящать меня в тайны ремесла, так что слезы были вступлением к моим занятиям ваянием.

4. Убежав от дяди, я вернулся домой, все время всхлипывая, с глазами полными слез, и рассказал про палку, показывая следы побоев. Я обвинял дядю в страшной дикости, добавив, что он поступил так со мной из зависти, боясь, чтобы я не превзошел его своим искусством. Моя мать рассердилась и очень бранила брата, а я к ночи заснул, весь в слезах и думая о палке.

5. Сказанное до сих пор звучит смешно и по-детски. То же, что вы услышите теперь, граждане, не так-то легко может быть обойдено молчанием, а рассчитано на внимательных слушателей. Ибо, чтобы сказать словами Гомера,

*...в тишине амбросической ночи,
Дивный явился мне Сон,*

до того ясный, что он ни в чем не уступал истине. Еще и теперь, после многих лет, перед моим взором совершенно ясно стоят те же видения и слова их звучат у меня в ушах, до того все было отчетливо.

6. Две женщины, взяв меня за руки, стали порывисто и сильно тянуть, каждая к себе; они едва не разорвали меня на части, соперничая друг с другом в любви ко мне. То одна осиливала другую и почти захватывала меня, то другая была близка к тому, чтобы завладеть мной. Они громко препирались друг с другом. Одна кричала, что ее соперница хочет овладеть мной, тогда как я уже составляю ее собственностью, а та — что она напрасно заявляет притязание на чужое достояние. Одна имела вид работницы, с мужскими чертами; волосы ее были растрепаны, руки в мозолях, платье было подоткнуто и полно осколками камня, совсем как у дяди, когда он обтесывал камни. У другой же были весьма приятные черты лица,

благородный вид и одежда в изящных складках. Наконец они предложили мне рассудить, с которой из них я бы желал остататься.

Первой заговорила та, у которой были мужские черты и грубый вид:

7. «Я, милый мальчик, Скульптура, которую ты вчера начал изучать, твоя знакомая и родственница со стороны матери: ведь твой дедушка (она назвала имя отца матери) и оба твои дяди занимались отделкой камня и пользовались немалым почетом благодаря мне. Если ты захочешь удержаться от глупостей и пустых слов, которым ты научишься от нее (она показала пальцем на другую), и решишься последовать за мной и жить вместе, то, во-первых, у тебя хорошо вырашу и у тебя будут сильные плечи, а кроме того к тебе не будут относиться враждебно, тебе никогда не придется странствовать по чужим городам, оставив отечество и родных, и никто не станет хвалить тебя только за твои слова.

8. Не гнушайся неопрятной внешности и грязной одежды: ведь начав с этого же, знаменитый Фидий явил людям впоследствии своего Зевса, Поликлет изваял Геру, Мирон добился славы, а Пракситель стал предметом удивления; и теперь им поклоняются, как богам. И если ты станешь похожим на одного из них, как же тебе не прославиться среди всех людей? Ты ведь и отца сделаешь предметом всеобщего уважения, и родина будет славна тобой...» Все это, и гораздо большее, сказала мне Скульптура, запинаясь и вплетая в свою речь много варварских выражений, с трудом связывая слова и пытаясь меня убедить. Я и не помню остального; большинство ее слов уже исчезло из моей памяти. И вот, когда она кончила, другая начала приблизительно так:

9. «Дитя мое, я — Образованность, к которой ты ведь уже привык и которую знаешь, хотя еще и не использовал моей дружбы до конца. Первая женщина предсказала тебе, какие блага ты доставишь себе, если сделаешься каменотесом. Ты станешь самым простым ремесленником, утруждающим свое тело, на котором будут покоиться все надежды твоей жизни; ты будешь жить в неизвестности, имея небольшой и невзрачный заработок. Ты будешь недалек умом, будешь держаться простовато, друзья не станут спорить из-за тебя, враги не будут бояться тебя, сограждане — завидовать. Ты будешь только ремесленником, каких много среди простого народа; всегда ты будешь трепетать перед сильным и служить тому, кто умеет хорошо говорить; ты станешь жить как заяц, которого все травят, и сделаешься добычей более сильного. И даже если бы ты оказался Фидием или Поликлетом и создал много дивных творений, то твоё искусство все станут восхвалять, но никто, увидев эти произведения, не захочет быть таким, как ты, если он только в своем уме. Ведь все будут считать тебя тем, чем ты и окажешься на самом деле — ремесленником, умеющим работать и жить трудом своих рук.

10. Если же ты послушаешься меня, то я познакомлю тебя сперва с многочисленными деяниями древних мужей, расскажу об их удивительных подвигах и речах — словом, сделаю тебя искусным во всяком знании. Я также украшу и душу твою тем, что является самым главным: многими хорошими качествами — благоразумием, справедливостью, благочести-

ем, кротостью, добротой, рассудительностью, воздержанностью, любовью ко всему прекрасному, стремлением ко всему высшему, достойному почитания. Ведь все это и есть настоящее, ничем не оскверненное украшение души. От тебя не останется скрытым ни то, что было раньше, ни то, что должно совершиться теперь, мало того: с моей помощью ты увидишь и то, что должно произойти в будущем. И вообще всему, что существует, и божественному, и тому, что касается людей, я научу тебя в короткий срок.

11. И тогда ты, бедняк, сын простого человека, уже почти решившийся отдать себя столь благородному ремеслу, станешь в короткое время предметом всеобщей зависти и уважения. Тебя будут чтить и хвалить, ты станешь славен величайшими заслугами. Муж, знатный родом или богатством, будут с уважением смотреть на тебя, ты станешь ходить вот в такой одежде (и она показала на свою, — а была она роскошно одета), ты будешь достоин занимать первые должности в городе и сидеть на почетном месте в театре. А если ты куда-нибудь отправишься путешествовать, то и в других странах ты не будешь неизвестен или незаметен: я окружу тебя такими отличиями, что каждый, кто увидит тебя, толкнет своего соседа и скажет "вот он", показывая на тебя пальцем.

12. Если случится что-нибудь важное, касающееся твоих друзей или целого города, все взоры обратятся на тебя. А если тебе где-нибудь придется говорить речь, то почти все будут слушать раскрыв рты, удивляться силе твоих слов и считать счастливым твоего отца, имеющего такого знаменитого сына. Говорят, что некоторые люди делаются бессмертными; я доставлю тебе также это бессмертие. Если ты даже сам и уйдешь из этой жизни, то все же не перестанешь находиться среди образованных людей и быть в общении с лучшими. Посмотри, например, на знаменитого Демосфена — чей он был сын и чем сделала я его. Или вспомни Эсхина, сына танцовщицы: благодаря мне сам Филипп служил ему. Даже Сократ, воспитанный скульптурой, как только понял, в чем заключается лучшее, сразу же покинул ваяние и перебежал ко мне. А ты ведь сам знаешь, что он у всех на устах.

13. И вот, бросив всех этих великих и знаменитых мужей, блестящие деяния, возвышенные речи, благородный вид, почести, славу, похвалу, почетные места и должности, влияние и власть, почет за речи и возможность быть славным за свой ум, ты решаешься надеть какой-то грязный хитон и принять вид, мало чем отличающийся от раба. Ты собираешься сидеть, согнувшись над работой, имея в руках лом, резец и молот или долото, склонившись над работой и живя низменно и обыденно, никогда не поднимая головы и ничего не замысливая, что было бы достойно свободного человека, забываясь только о том, чтобы работа была исполнена складно и имела красивый вид, а вовсе не о том, будет ли в тебе самом развита душевная гармония и стройность мыслей, точно ты ценишь себя меньше своих камней».

14. Она еще говорила, а я, не дождавшись конца, встал, чтобы объявить о своем решении, и, оставив первую, безобразную женщину, имевшую вид работницы, пошел к Образованности с тем большей радостью, что помнил палку и то, как она всего только вчера нанесла мне немало

ударов, когда я начал учиться ремеслу. Скульптура, которую я оставил, негодуя, потрясала кулаками и скрежетала зубами, а потом застыла и превратилась в камень, как это рассказывают про Ниобею.

Если вам и кажется, что с ней случилось нечто невероятное, вы все же поверьте: сны ведь — создатели чудес.

15. Образованность же, взглянув на меня, сказала: «Я теперь воздам тебе за твое справедливое решение нашего спора. Пойдем, взойди на эту колесницу, — она показала на какую-то колесницу, запряженную крылатыми конями, похожими на Пегаса, — и ты увидишь, чего бы ты лишился, если бы не последовал за мной». Когда мы взойшли на колесницу, богиня погнала лошадей и стала править. Поднявшись ввысь, я стал озиаться кругом, с востока на запад, рассматривая города, народы и племена, сея что-то на землю, подобно Триптолему. Теперь я уже не помню, что я собственно сеял, — знаю только, что люди, глядя наверх вслед за мной, хвалили меня и благословляли мой дальнейший путь.

16. Показав мне все это и явив меня самого людям, возносившим мне похвалы, богиня вернулась со мной обратно, причем на мне была уже не та одежда, в которой я отправился в путь, но мне показалось, что я был в каком-то роскошном одеянии. Позвав моего отца, который стоял и ожидал меня, она показала ему эту одежду и меня в новом виде и напомнила ему относительно того решения, которое незадолго до этого хотели вынести о моей будущности.

Вот все, что я помню из того, что видел во сне, будучи еще подростком, — должно быть, под влиянием страха и ударов палки.

17. Во время моего рассказа кто-то сказал: «О, Геракл, что за длинный сон, совсем как судебная речь!» А другой подхватил: «Да, сон в зимнюю пору, когда ночи бывают длиннее всего, и, пожалуй, даже трехвечерний, как и сам Геракл. Что нашло на него рассказывать нам все это и вспоминать ночь в молодости и старые сны, которые давно уже отжили свой век? Ведь эти бредни уже выдохлись; не считает ли он нас за каких-то толкователей снов?» Нет, любезный. Ведь и всем известный Ксенофонт, повествуя о своем сне, будто в доме отца вспыхнул пожар и прочее (вам это ведь знакомо), прошелся об этом не рассказа ради, не потому, что пожелал заниматься болтовней, да еще во время войны и в отчаянном положении, когда враги окружили его войско со всех сторон, — и все же рассказ этот оказал некоторую пользу.

18. И вот я теперь рассказал вам о своем сне с той целью, чтобы ваши сыновья обратились к лучшему и стремились к образованию. И кроме того, что для меня важнее всего, если кто из них по своей бедности умышленно сворачивает на дурной путь и уклоняется в сторону худшего, губя свои хорошие природные способности, то он, я совершенно в этом уверен, наберется новых сил, услышав этот рассказ и поставив меня в хороший пример себе, помня, что я, каким я был, возгорел стремлением к самому прекрасному и захотел быть образованным, нисколько не испугавшись своей тогдашней бедности, и помня также, каким я теперь вернулся к вам — во всяком случае не менее знаменитым, чем любой из ваятелей.



О ДОМЕ

1. Как сильно Александра охватило желание искупаться в Кидне, когда он увидел прекрасный и прозрачный поток, безопасно-глубокий и приветливо-быстрый, и плавать манивший, и в знойную пору прохладный! И если бы даже предвидел царь тот недуг, которым после того занемог, то и тогда бы, полагаю, не удержался он от купанья. А тому, кто увидел хоромы просторные, красотой приукрашенные и светом сияющие, и златом блистающие, и художеством расцвеченные, — как не исполниться желанием сложить под их кровом некое слово, если случится к тому же, что жизнь его проходит в сложении слов? Как не пожелать и самому в этих стенах приобрести добрую славу, самому выступить в блеске и голосом своим покой наполнить и, в меру возможного, стать частицей этой красоты? Или, с тщательностью все оглядев и предавшись лишь одному удивлению, уйти прочь, немymi и безгласными оставив покои, не приветствовав их, не обратив к ним речи, будто бессловесный некто, либо из зависти решивший молчать?

2. Геракл! Сколь несвойствен такой поступок почитателю красоты и любовнику всякого благообразия! Какая грубость, какая неискушенность в прекрасном и, того более, какое полное неведение муз — от высшей радости отречься, от самого прекрасного отчуждаться и не разуметь того, что не равный для созерцания красоты положен закон невеждам и людям воспитанным: но для первых довольно лишь видеть то, что доступно всем, да озираться и глазами вращать во все стороны, и голову запрокидывать в потолок, и руками разводить в удивлении, и тешиться молча, из страха, что не сможешь сказать о видимом ни одного достойного слова. Когда же видит прекрасный человек, развитый воспитанием, — он, я уверен, не

удовольствуется тем, что одним только зрением снимет сладостный плод, он не согласится остаться безмолвным созерцателем красоты, но попытается, насколько возможно, к красоте приблизиться и словом своим отплатить за то, что увидел.

3. Отплатой же будут не одни лишь похвалы дому, — это приличествовало разве только юному островитянину, который сверх меры был поражен дворцом Менелая и небесной красоте уподобил его золото и словеную кость, ибо на земле не видел ничего столь прекрасного, — нет, сказать в этом доме некое слово и, пригласив самое изысканное общество, явить перед всеми свое красноречие — вот что надлежит присоединить к похвалам, как неотъемлемую часть их. И действие сладчайшее — видеть дом, из всех домов прекраснейший, для приема слов твоих распахнутый, хвалой и благоговением наполненный; дом, будто своды пещеры, спокойным созвучным хором отзвуков откликается на сказанное и сопутствует голосу, длит окончания и в последний раз медлит при завершении речи, и даже более: как понятливый слушатель, запоминает прекрасный дар речи оратора и прославляет его, и не чуждое муз творит ему воздаяние. Так вторят горы голосу пастушьей свирели, когда, достигая и отражаясь ударом, он возвращается вспять; а люди простые думают: то отвечает песней на песню и криком на крик неведомая дева, что живет среди горных стремнин и распевает в каменных ущельях.

4. Да, я думаю, пышность хором возвышает мысли говорящего и будит в нем речи, которые как бы внушает ему предстоящее взорам: ибо стоит прекрасному пролиться в душу через глаза, как тотчас душа высылает навстречу слова ему в подобающем строе. Или, поверим Ахиллу, будто один вид оружия напряженнее сделал его гнев против фракийцев, и он, едва облачась для испытания доспехов, тотчас воспрянул духом и открылся желанием битвы, — что же: рвение оратора напряженней не станет от окружающей его красоты? И Сократу оказалось достаточно раскинувшего ветви платана, сочной травы и светлого источника неподалеку от Иллисса: сидя здесь, завел он свою насмешливую беседу с Федром из Мирринунта, здесь обличил речи Лисия, сына Кефала, сюда же призывал муз и верил, что они придут в это тихое место, чтобы принять участие в беседе о любви, и не стыдился старик, приглашая дев послушать о любовном влечении к отрокам. Так ужели не можем надеяться, что сюда, в столь прекрасное место, придут музы сами, без зова?

5. И поистине это для них — убежище, несравнимое с прекрасной тенью красивого платана, даже если бы оставив тот близ Иллисса, мы сменили его на золотое дерево персидского царя: оно удивляло взоры только роскошью, — художество же не приложило к нему руки своей и не примешало к золоту ни красоты, ни сладостной меры, ни очарования гармонии; такое зрелище пригодно было только для варваров, являя одно лишь богатство и служа для смотрящих предметом зависти и восхваления — для счастливых обладателей. Одобрению же при этом не было места. Не заботило Арсакидов прекрасное, и, выставя что-либо напоказ, думали они не о наслаждении зрителей, не об их одобрении, а лишь о том, чтобы поразить взоры: ибо варвары — друзья не красоты, а одного лишь богатства.

6. Но красота этого дома рассчитана не на взоры каких-нибудь варваров, не на персидское хвастовство, не на высокомерие царей и нуждается не в бедном человеке, но в зрителе одаренном, который не судит по одному только виду, но мудрым размышлением сопровождает свое созерцание. Уже то, что хоромы обращены к наипрекраснейшему часу дня, — а всего прекраснее и желаннее нам: его начало, — и взошедшее солнце тотчас проникает в ложи сквозь распахнутые настежь двери и досыта наполняет их своим светом. В эту же сторону обращали свои святилища наши предки; прекрасная соразмеренность длины с шириной, и той и другой с высотой, а также свободный доступ света, прекрасно приуроченный к каждому времени года, — разве все это не приятные качества, заслуживающие всяческих похвал?

7. Нельзя не подивиться далее кровле, любезной простоте ее и безупречной отделке, и позолоте, положенной гармонично и с чувством меры, без ненужного излишества. Так скромная и прекрасная женщина, чтобы сделать еще заметнее свою красоту, может удовольствоваться каким-нибудь тонким ожерельем на шее, легким кольцом на пальце, серьгами в ушах, или красивой пряжкой, или повязкой, сдерживающей свободно ниспадающие волосы: все это возвышает красоту женщины, как отделка пурпуром ее платья. А гетеры, и всего более самые безобразные из них, и платье делают из чистого пурпура, и шею всю покрывают золотом, стараясь завлечь свою добычу роскошью и накладными внешними прелестями заменить недостаток красоты: гетеры думают, что руки их покажутся сверкающе белыми, сияя золотом, и некрасивые очертания ноги будут скрыты золотой сандалией, и даже самое лицо станет милее, являясь взорам в блеске убора. Таковы эти женщины. А скромная хозяйка дома к золоту прибегает умеренно, насколько лишь необходимо, собственная же ее красота не принесла бы, думаю, стыда ей, даже если бы она предстояла лишенная украшений.

8. Вот так-то и кровля этого дома, я почти готов сказать — его голова, прекрасна сама по себе; золотом она украшена не более, чем небо в ночи, по которому рассыпаны сверкающие звезды, разбросаны там и здесь огненные цветы. А будь небо сплошь из одного лишь огня, — не прекрасным, но страшным показалось бы нам тогда. Посмотри, и увидишь: не напрасно положена здесь позолота, не для одного лишь услаждения взоров рассеяна среди остальных украшений, — но дает она некий приятный отблеск и весь дом румянит красноватым сиянием. Ибо всякий раз, как луч, сверху упавший, выхватывает из полутьмы позолоту и сочетается с нею, — соединенными силами мечут они розовеющие молнии и двойным сиянием наполняют прозрачный воздух.

9. Таковы-то и стены этого дома, таково его возглавление. Чтобы воспеть их, нужен некий Гомер, который нарек бы наш дом, подобно дому Елены, «теремом о кровле высокой» или «светозарным», подобно Олимпу. Для прочего же убранства, для росписи, покрывшей стены, прелести и живости краски, точности и правдивости каждой черты, — для всего этого прекрасным, думаю, будет уподоблением вид цветущего луга в весеннюю пору, с одним лишь различием: там цветы отцветают и блекнут и

скидывают с себя свою изменчивую красоту, — здесь же весна бесконечная, луг невянущий и цветы неумирающие, ибо одни только взоры касаются их и собирают сладкие плоды зрелища.

10. Кто же не исполнится радостью при виде стольких красот, кто не почувствует ревностного желания говорить среди них и превзойти себя самого, сознавая, что позорно будет ему остаться позади того, что открывается взорам? Ибо вид красоты пробуждает бодрость, и не в одних только людях: но и коню, я уверен, приятнее бежать по ровному и мягкому склону, который ласково встречает его поступь, спокойно уступает ноге и на удар копыта не отвечает ударом; и конь несется тогда во всю прыть, весь отдаваясь бегу и соперничая в красоте с самою равниной.

11. Ранней весной выходит на луг павлин, когда зацветают цветы прелести непревзойденной, — ты скажешь: и цветистей они, и чище окраской; павлин распускает тогда свои перья, чтобы видело солнце, и раскидывает хвост, со всех сторон им себя окружая, и выставляет напоказ цветущую весну своего оперения, — словно луг вызывал его на состязание. Павлин гуляет по кругу, поворачиваясь и выступая торжественно в соприкосновении своей красоты. И еще великолепнее кажется он, когда под лучами солнца переливаются цвета оперения и мягко переходят друг в друга, и самая красота его, изменяясь, принимает все новый и новый облик. Всего более подвержены таким переменам те глазки, что несет павлин на концах своих перьев. Словно какая-то радуга обегает кругом каждый из них: и вот перо только что было бронзовым, но, небольшой поворот — и перед тобой уже золото, а то, что под солнцем сверкало густой лазурью, в тени становится темно-зеленым: так с переменами света в новой красе предстает оперение павлина.

12. Так же и море при тихой погоде способно послать человеку свой вызов и увлечь его странным желанием, — но к чему говорить: вы сами знаете это! Даже тот, кто родился и вырос на суше и не изведal ни разу плавания, захочет, наверно, подняться на корабль и отправиться в далекий путь, надолго оторвавшись от берегов, особенно если увидит он парус, гонимый тихим веяньем попутного ветра, и спокойный бег корабля, легко скользящего по лону ласковых волн.

13. Вот так-то и красота этого дома способна побудить к произнесению речи и воодушевить говорящего и вооружить его желанием стяжать славу всеми доступными ему способами. Я покоряюсь этому, я уже покорился и пришел в этот дом, чтобы говорить, влекомый красотой его, как чародейною птицей или песнопением сирен, питая немалую надежду на то, что речи мои, если и были они доселе невзрачными, прекрасными явятся, словно в уборе прекрасных одежд.

14. Но, пока говорил я это, некое иное слово, не художественное, но высоким себя почитающее, стало стучаться, пытаюсь прервать мою речь, и сейчас, когда я замолк, оно заявляет, что неправду я говорю, и дивится моему утверждению, будто проявлению красноречия способствует красота хором, живописью и позолотой убранных: обратное-де это возымеет действие. Но, если угодно вам будет, пусть лучше само выступит это новое

слово и само за себя держит речь перед вашим судом, почему именно считает оно полезнее для говорящего жилище простое и невзрачное.

Мое мнение вы уже слышали, так что нет мне нужды дважды говорить о том же самом, — теперь его черед говорить, я же умолкну и на малое время уступлю свое место.

15. — Граждане судьи, — так начинает противник, — до меня говоривший оратор много великих похвал вознес этому дому и словами своими украсил его. Я, со своей стороны, настолько далек от желания его порицать, что решаюсь даже дополнить то, что опустил мой предшественник, ибо, чем прекраснее вам покажется этот дом, тем более доказана будет непригодность его для целей оратора. Итак, прежде всего, поскольку мой противник упомянул о женщинах, о нарядах их и золотых украшениях, позвольте и мне воспользоваться тем же примером. А именно: я утверждаю, что и на прекрасной женщине обилие драгоценностей не только не содействует большей ее миловидности, но служит даже прямой помехой: ибо каждый из встречаемых, ослепленный золотом и роскошью камней, вместо того чтобы дивиться белизне кожи, глазам, шее, стройности рук и изяществу пальцев, — ничего этого не заметив, уставится на сердолик или смарагд, на ожерелье или запыстье, так что и сама красавица, естественно, почувствует недовольство, видя, что пренебрегают ею ради ее украшений и что присутствующим некогда похвалить ее красоту, так как вид ее стал для них чем-то второстепенным.

16. То же самое, думается мне, неизбежно случится и с тем, кто хочет проявить свое красноречие среди столь прекрасных произведений искусства: ибо сказанное проходит незамеченным среди окружающего великолепия и меркнет и теряется в нем, как если бы кто-нибудь, размахнувшись, бросил светильник в огромный костер или вздумал показывать муравья на хребте слона либо верблюда. Вот первое, чего должен остерегаться выступающий с речью. А кроме того, конечно, и самый звук голоса приходит в расстройство, когда говоришь в доме, где так гулко отдается всякое слово: разные отзвуки и отголоски перекликаются, перебивают и — более того — покрывают собою громкий голос оратора, подобно тому как труба заглушает флейту, когда приходится им звучать совместно, или море — начальников гребцов всякий раз, как захотят они, наперекор шуму волн, запевом своим внести лад в удары гребцов: ибо одолевает более сильный голос и заставляет умолкнуть слабейший.

17. Впрочем, вопреки тому, что говорил мой противник о бодрости, которую будто пробуждает в говорящем прекрасный дом, наполняя его большим рвением, действие красоты, на мой взгляд, как раз обратное: она поражает, пугает, нарушает течение мысли и делает оратора более робким, поскольку он понимает, что тягчайшим будет для него позором, если в месте, столь благолепном, таковой же не окажется и речь его. Ибо из всех улик это — самая явная, как если бы некто, одев прекрасные доспехи, раньше других обратился бы в бегство и тем более заклеил себя как трус в таком великолепном вооружении. И, думается мне, именно это привлекал во внимание знаменитый оратор, о коем повествует Гомер. Менее все-

го заботился он о красивой внешности, но, напротив, принял облик человека совершенно необразованного, чтобы тем неожиданнее обнаружилась красота речей его из сопоставления с внешней невзрачностью. Мало того: мысль самого говорящего с полной неизбежностью будет занята зрелищем и точность его суждений окажется ослабленной, ибо зрение будет владеть им, к себе привлекая внимание и на речи сосредоточиться не позволяя. Не ясно ли? Никакие ухищрения тут не помогут, и, что бы там ни было, хуже будет говорить оратор, пока душа его будет во власти удивительного зрелища.

18. Я не говорю уж о том, что и сами присутствующие, приглашенные выслушать речь, — когда входят в такие хоромы, из слушателей превращаются в зрителей, и никакой Демодок, никакой Фемий, Фамирид, Амфион или Орфей не смогут своими речами отвлечь их мысли от зрелища. Наоборот, каждый, едва переступив порог, бывает охвачен красотой всего окружающего и уже с первых слов речи «на внемяющего не похож он», но всецело отдается созерцанию, если только он не слеп совершенно или самое выступление оратора не происходит ночью, подобно заседанию совета на холме Ареса.

19. Да, слова не настолько сильны, чтобы достойно выдержать единоборство со зрением, — этому поучает нас и миф о сиренах, если сопоставить его с повествованием о Горгонах. Первые очаровывали тех, кто плыл мимо, распевая свои песни и обольщая пловцов их мелодией, и овладевали почти каждым, приближавшимся к ним. Чтобы совершить свое дело, должны они были затратить какое-то время, а кое-кто, может быть, и миновал их, оставив без внимания песню. Красота же Горгон, как жестокое насилие, поражала душу метким ударом и тотчас же заставляла терять рассудок и безгласными делала их. Или, как рассказывает о том миф, превращались в каменье Горгон от изумления в камень. Таким образом, и то, что несколько раньше мой противник говорил здесь о павлине, — я утверждаю, — в мою пользу сказано было: ведь и павлин чарует видом своим, а не голосом. И если ты выставишь соловья или лебедя и заставишь их петь и, когда будет звучать их песня, покажешь хранящего молчание павлина, — я уверен, на него перейдет внимание слушателей, сказав «прости» раздававшимся песням, — столь непобедимой представляется радость, приносимая зрением.

20. И вот, если хотите, я приведу вам свидетелем мудрого мужа, который, не медля, удостоверит, что много сильнее видимое слышимого. Глашатай! вызови теперь самого Геродота, Ликсова сына, галикарнасца... Ну вот: поскольку явился на вызов, поступив прекрасно, — пусть выступит и свидетельствует.

Выслушайте его: он будет говорить с вами, как всегда, плавной, ионической речью:

«Наисправедливейшее изволил слово вымолвить человек этот, гражданин судьи! Вполне положитесь на слова его, славою большею облакающие лицезрение, нежели слух: ибо уху случается чаще лгать, нежели глазу».

Слышите слово свидетеля, отдающего первенство зрению? Так и должно быть. Ибо «молви крылатое слово», и оно, едва лишь возникнув, тотчас

улетает, уносится прочь, наслаждение же тем, что открывается взорам, непреходяще и всегда неизменно и всецело увлекает зрителя.

21. Итак, не опасный ли противник для говорящего — дом столь прекрасный и привлекающий взоры? А между тем наиболее важного я еще не сказал: ведь даже сами вы, судьи, во время наших речей оглядывали потолок и стенам дивились, и роспись их рассматривали, то к одной обращаясь, то к другой. И все же вы ничуть не стыдитесь: ибо простительно и свойственно человеку то, что случилось с вами, в особенности когда столь прекрасно и многообразно содержание картин. Да, мастерство и тщательность их выполнения и то, о чем повествуют они, сочетав старину с назиданием, поистине увлекательны и требуют образованного зрителя. И чтобы вы не ушли совсем в их созерцание, покинув нас, — вот я, насколько смогу, опишу вам все словами. Ибо, полагаю, приятно будет вам послушать о том, взирая на что вы испытываете восхищение. Может быть, и меня вместе с этим вы за это похвалите и противнику моему предпочтете, поскольку и я представил вам и удвоил словами источник радости. Трудность же того, на что я дерзаю, вы видите сами: без красок и очертаний, вне пространства сложить такие картины, — ибо бедна средствами живопись слов.

22. Итак, направо от входа — Аргос и Эфиопия сочетались в возвышенном мифе: Персей убивает морское чудовище и освобождает Андромеду, которую он вскоре сделает своей супругой и уведет с собою. Этим изображением дополняется другое — крылатое нападение Персея на Горгона. На небольшом пространстве мастер выразил многое: застенчивость девы и страх ее; она смотрит сверху, из расщелины скалы, на битву, на внушенное любовью дерзновение юноши и на непобедимое с виду чудовище, а оно приближается, ошетинив чешуйчатый хребет и надвое разделив свою пасть. Персей левой рукой выставляет вперед голову Горгоны, а правой устремляет меч, и часть чудовища при виде Медузы уже стала камнем, другая еще остается живой и принимает на себя удары кривого меча.

23. Рядом с этой картиной показано другое действие, представляющее торжество справедливости и заимствованное, я думаю, художником у Еврипида или Софокла, так как оба они описали ту же картину. Два юноши, два друга — Пилад, фокидец, и Орест, слышущий уже умершим, проникают тайно во дворец и умерщвляют Эгисфа; Клитемнестра уже убита и полуобнаженная распростерта на ложе, а вся челядь поражена содеянным, — одни будто кричат, другие ищут глазами, куда бы им убежать. Достойн уважения замысел художника, который лишь мимоходом, как уже совершившееся, показал то, что было нечестивого в этом поступке. И остановился в своей работе на том мгновении, когда юноши убивают соблазнителя.

24. Далее изображен прекрасный бог и цветущий юноша — род любовной игры: Бранх, сидя на камне, держит в поднятой руке зайца и поддразнивает собаку; она, кажется, прыгает вверх, стараясь схватить приманку, а Аполлон стоит рядом и улыбается, любуясь одновременно и играющим мальчиком, и терпящей искушение собакой.

25. За ними — снова Персей, совершающий свой знаменитый подвиг, еще до убийства морского чудовища, — Медуза с отрубленной головой,

Афина, прикрывающая Персея, и сам Персей, который уже свершил свой дерзкий замысел, но еще не глядит на содеянное, а смотрит лишь на отражение Горгоны в своем щите, ибо знает, каким наказанием грозит подлинный вид Медузы.

26. Вдоль средней стены, перед входом, высоко устроен ковчег Афины. Изображение богини — из белого камня, вид — не воинственности, но такой, какой должна иметь богиня войны, принося мир.

27. Затем, после этой Афины, — другая, на этот раз не из камня, но исполненная живописью: Гефест преследует ее, охваченный любовью, а она убегает, и из этого преследования рождается Эрихтоний.

28. За этой картиной следует изображение другого древнего мифа: Орион, сам слепой, несет на плечах Кидалиона, который указывает несущему его путь к свету.

29. Появившийся Гелиос исцеляет слепоту, а Гефест с Лемноса наблюдает за происходящим.

30. Еще далее — Одиссей, прикинувшийся безумным, когда приходилось ему, против воли, выступать в поход вместе с Атридами: послы уже прибыли, чтобы передать ему приглашение; вся обстановка отвечает игре, которую ведет Одиссей: повозка и нелепая упряжка животных, мнимое непонимание Одиссеем того, что делается вокруг. Однако уличается он своим порождением: Паламед, сын Навплия, уразумевший происходящее, схватив Телемаха, грозит убить его обнаженным мечом и на притворное безумие отвечает притворным гневом. Одиссей, в страхе за сына, вдруг выздоравливает, в нем сказывается отец, и игра прекращается.

31. Последней изображена Медея, сжигаемая ревностью. Из-под опущенных век она наблюдает за своими детьми, замышляя ужасное: она уже держит в руках меч, а оба несчастные мальчика сидят и смеются, совсем не подозревая того, что должно совершиться, хотя и видят меч в руках матери.

32. Итак, граждане судьи, неужели не видите вы, до какой степени это все отвлекает слушателя и к зрелищу его обращает, в одиночестве оставляя оратора? Я привел свои рассуждения не для того, чтобы вы признали моего противника самонадеянным и дерзким, — так как он добровольно принял на себя столь великие трудности, — не для того говорил, чтобы вы прониклись к нему презрением и недоброжелательством и оставили его один на один с его речами. Нет, я хочу, чтобы вы еще сильнее поддержали его в борьбе и, по возможности, опустив веки, выслушали слова его, приняв во внимание трудности дела. Ибо только при этом условии, если он найдет в вас не судей, а помощников, ему удастся избежать обвинения в том, что он вовсе недостоин роскоши этого дома. И если я говорю все это в пользу моего противника, — не удивляйтесь: ибо любовь к дому побуждает меня всякому, говорящему в его стенах, кто бы он ни был, желать прославиться.



ЗЕВКСИС,

или

АНТИОХ

1. Недавно, когда я возвращался домой после произнесенной перед вами речи, подошли ко мне многие из слышавших меня, — я полагаю, ничто не мешает и об этом рассказать вам, ибо мы уже стали друзьями, — так вот, они подошли ко мне, начали жать мне руки и, казалось, были в полном восторге. Проводив меня на большое расстояние, они наперебой во всеуслышание хвалили меня, до того, что я даже покраснел, боясь, как бы не остаться мне далеко позади тех похвал, которых был удостоен. Главным в моих произведениях, что отмечали они все в один голос, было, по их мнению, обилие новых, необычных мыслей. Но лучше будет привести точно самые их изречения: «О, какая новизна!», «Геракл! Что за неожиданные обороты мысли!», «Изобретательнейший человек!», «Никогда никто не придумывал, не высказывал столько свежего, неслыханного!» И много такого говорили они, очевидно, обвороженные слышанным. В самом деле: какие основания могли быть у них лгать и льстить подобным образом перед человеком заезжим и в других отношениях не слишком-то заслуживающим особого внимания с их стороны?

2. Однако меня, надо признаться, немало огорчали их похвалы, и, когда наконец они ушли и я остался наедине с собой, я начал раздумывать о следующем: так, значит, единственная прелесть моих сочинений в том, что они — необычны и не идут избитыми путями? А прекрасный язык, в

выборе и сочетаниях слов следующий древним образцам? Ум, острый и пронизательный? Аттическое изящество? Стройность? Печать искусства, лежащая на всем? От этого всего, очевидно, я остаюсь далек в моих сочинениях. Иначе не стали бы они, обходя молчанием все эти достоинства, хвалить только новизну и необычность выбранного мною предмета. А я-то льстил себя напрасной надеждой, когда, вскакивая с мест, они выражали свое одобрение, что, может быть, конечно, и новизна побуждает их к этому, — ибо прав Гомер, говоря, что новая песня радует слушателей, — но не до такой уж степени, не всецело, считал я нужным приписывать это одной только новизне. Нет, я рассматривал ее лишь как нечто добавочное, увеличивающее красоту целого и частично содействующее полному успеху его; по существу же, думал я, похвалы и славословия слушателей вызваны теми достоинствами, о которых я говорил. Я испытывал поэтому чрезвычайный подъем, и подвергался опасности поверить словам их, будто я один-единственный среди эллинов, и другому в том же роде. Но, по пословице, золото мое оказалось углями, и я вижу, что они хвалили меня почти так же, как хвалят какого-нибудь чудака на рынке.

3. Итак, я намерен рассказать вам об одном случае с художником. Знаменитый Зевксис, ставший величайшим из художников, никогда, за исключением очень немногих случаев, не писал таких простых и обыкновенных вещей, как герои, боги, войны, — но всегда пробовал свои силы в создании нового и, замыслив что-нибудь неслыханное, необычайное, на нем показывал безупречность своего мастерства. Среди других смелых созданий Зевксиса имеется картина, изображающая женщину-гиппокентавра, которая заботливо кормит грудью двух детенышей-близнецов, маленьких гиппокентавров. Копия этой картины находится ныне в Афинах, и по тонкости передачи её можно спутать лишь с ней самой. А сам подлинник, как говорят, римский военачальник Сулла вместе с другими произведениями искусства отправил в Италию. Затем около мыса Малей, кажется, корабль затонул, и все они погибли, в том числе и эта картина. Однако по крайней мере картину с картины я видел и, в свою очередь, покажу ее вам, насколько смогу, при помощи слова; хотя, бог свидетель, я совсем не живописец, — я помню картину очень хорошо, так как видел ее недавно у одного из афинских художников. И то сверхизумление, которое я испытал тогда перед искусством мастера, может быть, явится моим союзником и подействует сейчас более точному воспроизведению.

4. На цветущей лужайке изображена сама кентавриха. Лошадиной частью тела она целиком лежит на земле, вытянув назад задние ноги; вся же человеческая, женская половина ее легко приподнята и, словно пробудившись, опирается на локоть. Передние ноги, однако, у нее не вытянуты, как у лошади, лежащей на боку, но одна согнута, с копытом, отведенным назад, как будто животное опустилось на колени; другая, напротив, выпрямляется, упирается копытом в землю, как делают лошади, когда пытаются вскочить. Одного из детенышей она держит, подняв на руках, и кормит по-человечески, давая ему женскую грудь; другой, как жеребенок,

припал к лошадиным сосцам. Повыше, словно стоящий на страже, изображен гиппокентавр, — без сомнения, муж той, что кормит обоих малюток; он выглядывает, смеясь, скрытый до половины своего лошадиного тела, и в правой руке держит, подняв над собою, молодого львенка, как будто шутя хочет попугать малышей.

5. Что касается остальных достоинств этой картины, то хотя некоторые и ускользают от нас, непосвященных, но все же я могу сказать, что они во всей полноте обнаруживают силу искусства: безукоризненно правильный рисунок; краски, составленные с полной естественностью и в меру наложенные; надлежащее распределение тени; умелая передача величины; равновесие и соразмерность частей и целого, — однако пусть хвалят их мастера живописи, которым подобает знать толк в таких вещах. Мне же показалось у Зевксиса достойным особенной похвалы то, что в одном и том же произведении он с разных сторон с избытком выказал свое мастерство. Кентавра-мужа он сделал всячески страшным и совершенно диким: с развевающейся гривой, почти сплошь волосатый, не только в лошадиной, но и в другой, человеческой половине, с очень сильно приподнятыми плечами, он, хотя и улыбается, смотрит вполне по-звериному, и в его взгляде есть что-то кругое и дикое.

6. Таков сам кентавр. Подруга же его как лошадь представляет красивейшую кобылицу, каких особенно много в Фессалии, еще не укрощенных и не знающих седока; верхней же половиной это — женщина красоты совершенной, за исключением ушей: только они у нее несколько напоминают сатира. И это смешение, эта сложность двух тел, соединяющая и связывающая женское с конским, мягкий, не сразу совершающийся переход и постепенно подготовляемое превращение одного в другое — совершенно незаметны для глаза. А детеныши в самой ребячливости своей все-таки дики и, несмотря на нежный возраст, уже страшны; и как изумительно показалось мне то, что они оба очень по-детски глядят вверх, на львенка, и, застигнутые во время еды, продолжают сосать, прижимаясь к телу матери!

7. Выставив эту картину, сам Зевксис думал поразить зрителей мастерством выполнения, — и действительно, они сейчас же подняли крик. Да и что было делать им, когда их взорам предстало это прекраснейшее произведение? Но хвалили они все главным образом то самое, за что недавно хвалили меня мои слушатели: необычайность замысла и содержание картины, новое и предшественникам не известное. Зевксис заметил, что зрителей занимает лишь самое изображение, своей новизной, и отвлекает их внимание от мастерства, так что второстепенным чем-то считают они безукоризненность выполнения. «А ну-ка, Микион, — сказал он, обращаясь к ученику, — пора: забери эту картину, взвали ее на плечи и снеси домой. Потому что эти люди хвалят грязь, которая пристала к моему произведению, а до того, к чему она пристала, хорошо ли оно, отвечает ли требованиям искусства, — им очень мало дела. Новизна того, о чем повествует картина, находит у них большую честь, нежели мастерство работы».

8. Так сказал Зевксис, рассердившись, может быть, несколько больше, чем следовало.

И с Антиохом, прозванным Спасителем, случилось, говорят, тоже нечто подобное в битве против галатов. Если угодно, и про это я расскажу, как все это случилось.

Зная, что галаты храбры, видя, что силы их весьма многочисленны, что фаланга плотно и крепко сдвинута, что в первом ряду, выставив щиты, идут галатские воины в медных панцирях, а далее в глубину в двадцать четыре ряда построены голлиты, что на каждом крыле разместились конница численностью до двадцати тысяч, а из середины строя готовы вырваться восемьдесят вооруженных косами колесниц и, сверх того, вдвое большее число колесниц с парной упряжкой, — видя все это, он питал самые плохие надежды на благоприятный исход битвы, считая, что силы неприятеля для него неодолимы. Ибо, в короткий срок собрав свое войско, небольшое, не соответствовавшее значительности этого похода, он пришел, ведя с собою совсем немного людей, и то большей частью легко вооруженных и стрелков: легкая пехота составляла свыше половины войска. Поэтому он решил начать переговоры о мире и искать каких-нибудь путей к благоприятной развязке войны.

9. Но бывший при этом родосец Теодот, муж доблестный и в военном деле искусный, убеждал его не отчаиваться. Дело в том, что у Антиоха было еще шестнадцать слонов. Их Теодот велел держать до поры до времени спрятанными сколь возможно лучше, чтобы они не были видны, выходясь над войском. Когда же трубач подаст сигнал и нужно будет схватиться с врагом, перейдя в рукопашную, когда неприятельская конница помчится вперед, когда галаты разомкнут фалангу и, расступившись, выпустят на врага колесницы, — вот тогда по четыре слона на каждом крыле должно двинуть навстречу всадникам, а восемь выпустить против тяжелых и легких колесниц. «Если это осуществится, — говорил Теодот, — то кони врагов испугаются и, кинувшись прочь, обрушатся на них самих». Так и случилось.

10. Ни сами галаты, ни кони их никогда раньше не видали слонов и были приведены неожиданным зрелищем в величайшее смятение. Еще задолго до приближения животных, услышав только их похрюкивание и увидев бивни, отчетливо сверкавшие на совершенно черном теле, и высоко в воздух поднятые хоботы, будто готовые схватить врага, галаты, не сойдясь даже на расстояние пущенной стрелы, обратили тыл и бросились бежать в полном беспорядке. Пешие в давке пронзали друг друга копытами и гибли под копытами конницы, ворвавшейся, не разбирая пути, в их ряды; колесницы тоже повернулись обратно на своих, и немало пролилось крови, когда пролетали они сквозь толпу, и, по слову Гомера, «звения, уносились дальше». Не выдержавшие вида слонов кони, раз перестав слушаться поводов, сбрасывали возниц и «с грохотом мчали вперед колесницы пустые», а косы, не щадя друзей, рассекали и губили всякого, кто попался на пути, — попадались же многие при замешательстве столь великом. А следом за ними двигались на подмогу слоны, топча встречающих,

вскидывая хоботами на воздух или хватая и распарывая бивнями. Так, в конце концов, эти животные вырвали у неприятеля победу и передали ее Антиоху.

11. Галаты частью погибли в этом великом кровопролитии, частью были захвачены живыми, за исключением очень немногих, которые успели скрыться в горы. А македоняне, бывшие с Антиохом, запели пэан и, сбежавшись со всех сторон, возложили на царя победный венок, провозглашая его победителем. Но Антиох, как передают, даже заплакал и сказал: «Да будет нам стыдно, воины: только этим шестнадцати животным мы обязаны нашим спасением, — если бы невиданное зрелище не поразило врагов, что мы с вами могли бы против них сделать?» И потом на победном памятнике он велел вырезать только изображение слона и ничего более.

12. Так вот, пора и мне призадуматься, не происходит ли со мною того же, что с Антиохом. Может быть, все прочее не годится для битвы и только разные смены и невиданные страшилища производят впечатление на зрителей да чудодейство, ничего не стоящее? Во всяком случае, именно это они единогласно расхваливают. А все, на что я полагался, как раз не очень у них в чести. Вот то, что на картине изображен гиппокентавр женского пола, — только это одно и ошеломляет их и кажется им — таково оно, впрочем, и есть — новым и необычным. Ну, а вся остальная работа Зевксиса неужели была напрасной? Нет, не напрасной: ибо вы, люди, искушенные в живописи, — вы все рассматриваете со стороны мастерства. Только бы удалось показать вещи, достойные собравшихся зрителей!



СКИФ, или ДРУГ НА ЧУЖБИНЕ

1. Не Анахарсис пришел первым из Скифии в Афины, стремясь страстно к эллинскому образованию, но раньше его так поступил Токсарид, мудрый и чтивший красоту человек, нравы и обычаи жаждавший узнать наилучшие. На родине Токсарид не принадлежал к царскому роду «шапошников» в войлочных шапках, но был простым скифом, одним из многих тех, что зовутся у них «восьминогими», то есть владельцами двух волов и кибитки. Этот Токсарид потом даже не вернулся обратно в Скифию, но так в Афинах и умер, а немного времени спустя и героем признан был, и заклания совершают афиняне в его честь, как «врача-чужеземца»: такое имя приобрел он, ставши героем. За что был занесен в списки героев и признан одним из Асклепиадов, — об этом, может быть, не худо будет вам рассказать, чтобы вы узнали, что не только у скифов есть обычай превращать людей в бессмертных и посылать их к Замолкису, но что афинянам также разрешается превращать скифов в богов в самой Элладе.

2. Во время великой чумы жене Архитела, члена Ареопага, показалось, будто предстал ей некий скиф и велел сказать афинянам, что они освободятся от владеющей ими чумы, если обильно оросят узкие улицы города вином. Это средство, несколько раз примененное, — ибо афиняне не оставили услышанное без внимания, — прекратило надолго приступы чумы; потому ли, что вино своим запахом уничтожило какие-то зловредные испарения, или потому, что герой Токсарид, будучи сведущ во вра-

чевании, знал еще что-то иное, почему и дал свой совет. Мзда за исцеление еще и поныне ему выплачивается в виде белого коня, которого приносят в жертву на той могиле, откуда, по показанию Демайнеты, появился герой, чтобы дать упомянутый совет относительно вина. Так и оказалось, что здесь похоронен Токсарид, обнаруживаемый надписью, хотя она не вся явственно сохранилась, а в особенности тем, что на плите вырезан был мужчина-скиф, в левой руке держащий натянутый лук, а в правой, по-видимому, книгу. Еще и сейчас можно видеть больше половины этого изображения, а лук и книгу целиком; верхняя же часть плиты и лицо мужчины уже разрушены, вероятно, временем. Неподалеку от Дипилонских ворот, по левую руку, если идти в Академию, находится невысокий холм и плита, лежащая на земле; несмотря на это она постоянно увенчивается венками. Говорят также, что несколько больных лихорадкой уже получили от Токсариды исцеление, и в этом, свидетель Зевс, ничего нет невероятного, раз некогда герой ухаживал целый город.

3. Однако вспомнил-то я о Токсариде, собственно, по следующей причине. Еще при жизни Токсариды Анахарсис, только что сошедший на берег, поднимался из Пирея в город. Как человек приезжий, и притом варвар, Анахарсис, конечно, на первых порах испытывал немалое смятение мыслей, ничего не понимая, робея при всяком шуме, не зная, что с собою делать, так как он замечал, что возбуждает в проходящих смех своей одеждой; скиф не встречал никого, кто понимал бы его язык, и вообще уже раскаивался в своем путешествии и имел твердое намерение, лишь взглянув на Афины, тотчас же начать осторожное отступление, сесть на корабль и плыть обратно к Босфору, откуда ему уже недалекий путь домой, в Скифию. В таком положении находился Анахарсис, и вдруг уже в «горшечной» части города встречается ему, поистине точно какое-нибудь доброе божество, этот самый Токсарид. Сначала одежда привлекла внимание Токсариды своим отечественным покроем; затем, конечно, без труда должен был он узнать и самого Анахарсиса, поскольку тот был знатнейшего рода и находился среди важнейших из скифов. Но как было Анахарсису признать соплеменника в этом человеке, одетом по-эллински, с выбритым подбородком, без пояса и железного меча, со свободно льющейся греческой речью, в этом одном из чистокровных уроженцев самой Аттики? До такой степени Токсариды переделало время!

4. Но Токсарид обратился по-скифски к Анахарсису и сказал:

— Не Анахарсис ли ты будешь случайно, сын Давкета?

Заплакал Анахарсис от радости, что встретил наконец кого-то говорящего на родном языке, да еще знающего, кем он был у себя в Скифии, и спросил:

— А ты откуда знаешь меня, незнакомец?

— Я и сам, — отвечал тот, — оттуда, из ваших краев; Токсарид я по имени. Я не из знатных, чтобы тем самым я стал тебе известен.

— Так уж не тот ли ты Токсарид, — спросил Анахарсис, — о котором я слышал? Говорили, что какой-то Токсарид из любви к Греции, бросив

жену в Скифии и маленьких детей, уехал в Афины и теперь проживает здесь, уважаемый самыми знатными гражданами.

— Я самый, — ответил Токсарид, — если еще говорят иногда у вас обо мне.

— Так знай же, — сказал тогда Анахарсис, — что я сделался твоим учеником и соперником в любви к возлюбленной тобою Греции и в желании увидеть ее. С этой именно целью я и отправился в далекий путь. И вот я здесь, перед тобой, испытываю многое множество опасностей от живущих по дороге племен. Если бы я не встретился с тобой, уже я решил еще до заката солнца снова вернуться обратно на корабль: до такой степени смутила меня новизна и непонятность всего, что я вижу. Заклинаю тебя Мечом и Замолкиссом, богами отцов наших, прими меня, Токсарид, на чужбине, проводи и покажи все самое прекрасное в Афинах, а потом и в остальной Греции, расскажи про законы, что мудрее всех, и про людей, что лучше всех, и объясни обычаи их и празднества всенародные, и жизнь и строй государственный — все, ради чего и ты, и я вслед за тобою совершили такой длинный путь. Не допусти, чтоб, не ознакомившись с ними, я вернулся обратно.

5. — Слова твои, — сказал Токсарид, — отнюдь не слова влюбленного, который доходит до самых дверей и, повернувшись, удаляется. Впрочем, не робей! Тебе не надо уезжать, как ты говоришь, и не легко, пожалуй, выпустит тебя этот город: не так уж мало имеет он очарований для человека приезжего. Город овладеет тобою так сильно, что ни о жене, ни о детях, если они есть у тебя, ты больше не вспомнишь. А как тебе в наикратчайший срок увидеть самый город афинян и тем более всю Грецию и то, что есть у греков прекрасного, этому научу тебя я. Есть здесь мудрый муж, местный уроженец, правда, но путешествовавший очень много и в Азии, и в Египте, и с лучшими людьми водивший знакомство. Но в остальном человек этот не похож на богача. Напротив, он настоящий бедняк. Ты сам увидишь старика и до чего он просто одет. Впрочем, за мудрость и прочие добродетели его очень уважают, так что даже прибегают к нему как к законодателю в вопросах о государственном устройстве и считают достойным жить по его указаниям. Если ты приобретешь его дружбу и поймешь, что он за человек, — можешь быть уверен: в нем ты будешь обладать всей Грецией, а главное — узнаешь, что есть в ней хорошего. Поэтому не знаю большего блага, которым я мог бы тебя порадовать, как устроив тебе встречу со стариком.

6. — Так не будем медлить, Токсарид, — сказал Анахарсис, — бери меня и веди к нему. Одного только я боюсь: не оказался бы он недоступным и не счел бы твои хлопоты о моих делах излишними.

— Замолчи! — возразил Токсарид. — Я уверен, что доставлю старику величайшую радость, дав повод сделать добро приезжему человеку. Следуй за мной: увидишь сам, какова богобоязненность этого человека перед Зевсом Гостеприимцем, да и вообще какова кротость и добросердечие. Да чего еще лучше: вот и он сам, по милости судьбы, подходит к нам, погруженный в раздумье, рассуждая сам с собою. — И вслед за этим, приветствуя Солона, Токсарид сказал ему: — Я встречаю тебя великолепным подарком: привожу к тебе чужеземца, который нуждается в дружбе.

7. Он — скиф, из нашей знати, подобный вашим евпатридам, но, несмотря на это, оставил все, чем обладал на родине, и прибыл сюда, желая быть среди вас и видеть все лучшее, что есть в Элладе. И вот я изобрел для него один самый хороший и легкий путь к тому, чтобы и самому узнать все, и стать известным лучшим гражданам: это — познакомить приезжего с тобою. И, если только я знаю Солона, ты исполнишь это, ты окажешь иноземцу покровительство на чужой стороне и сделаешь из него подлинного гражданина Эллады. Как я только что тебе говорил, Анахарсис, ты все уже видел, узрев Солона: пред тобой Афины, пред тобой Эллада. Ты больше не чужой здесь, все тебя знают, все тебя любят. Так велико влияние этого старца. В общении с ним ты забудешь все, что оставил в Скифии. Ты получил награду за трудности пути, достиг цели, к которой влекла тебя любовь: вот перед тобою строгий образец эллинства, пробный камень аттической философии. Итак, знай: ты счастливейший человек — ты будешь с Солоном, ты будешь пользоваться его дружбой.

8. Долго было бы рассказывать, как обрадовался Солон этому подарку, и что сказал, и как в дальнейшем пребывали они вместе: один — я разумею Солон — наставляя и поучая лучшему и делая Анахарсиса другом для всех, и сводя его с лучшими эллинами, и всеми способами заботясь, чтобы как можно приятнее проводил скиф время в Элладе; другой — поражаясь мудрости Солон и, по доброй воле, ни на шаг не отходя от него. Как обещал Токсарид, в одном человеке — Солоне — Анахарсис все узнал в короткое время и всем стал известен через него и уважаем всеми. «Солон хвалит» — немало значило, но и в похвале люди полагались на него как на законодателя и любили тех, кого Солон объявлял достойными, и верили, что эти люди — лучшие. Наконец, Анахарсис, включенный в число граждан, единственный из варваров был посвящен в мистерии, если следует доверять Теоксену, который об этом рассказывает. И я думаю, Анахарсис так и не вернулся бы в Скифию, если бы не умер Солон.

9. Не думаете ли вы, однако, что пора уже привести мои слова к цели, чтобы не остался рассказ без головы и не ходил вокруг да около? Пора, наконец, вам узнать, чего ради Анахарсис из Скифии вместе с Токсаридом прибыли сейчас в моем повествовании в Македонию вместе с старцем Солоном из Афин. Итак, я заявляю, что со мною самим случилось почти то же, что и с Анахарсисом. Но, ради Харит, не гневайтесь на меня за уподобление, за то, что сравнил я себя с человеком царского рода. Во-первых, и Анахарсис ведь тоже варвар, и никто не сможет сказать, будто мы, сирийцы, хуже скифов. Я совсем не по царственному происхождению сравниваю себя с Анахарсисом, а вот почему: когда я впервые приехал в ваш город, я был сразу поражен, увидев величие и красоту его, множество граждан и, вообще, всю мощь и весь блеск города, — был поражен до того, что долго пребывал в изумлении перед всем этим и не мог надивиться, испытывая то же, что чувствовал тот молодой островитянин перед дворцом Менелая. Да, таким и должно было быть состояние моего духа при виде города, который достиг высшего расцвета и, по слову известного поэта,

Благами всеми процвел, коими город цветет ...

10. Находясь в таком положении, я стал раздумывать: что же мне теперь делать? Выступить перед вами с моими произведениями давно было у меня решено. Ибо перед кем же еще мог бы я выступить, если бы, не произнеся ни слова, миновал такой город, как этот? И я начал — не скрою от вас всей правды — разузнавать, какие здесь граждане считаются влиятельными, к кому обратиться, кого избрать покровителем, чтобы во всех делах можно было воспользоваться его содействием. И вот тут-то не один человек, как Анахарсису, и притом не эллин, — я разумею Токсариду, — но многие, лучше сказать — все в один голос, и только в разных выражениях, стали говорить мне: «Чужеземец! Много честных и дельных граждан в нашем городе, и далеко не всюду ты встретишь столько хороших людей, — но в особенности два мужа выдаются у нас своими достоинствами: родовитостью и всеобщим уважением они далеко превосходят прочих, а по образованию и по силе речей их можно сравнить со славным аттическим десятком. Народное расположение к ним граничит с настоящей влюбленностью, и всегда все делается так, как они пожелают: ибо желают они того, что всего лучше для города. Про доброту этих людей и дружелюбие к иностранцам, про их способность, находясь на такой высоте, ни в ком не возбуждать чувства зависти и вызывать лишь сопряженное с любовью почтение, про их приветливость и доступность — ты немного погодя, ознакомившись, сам станешь рассказывать другим.

11. И, что всего удивительнее тебе покажется, оба эти человека одной и той же семьи, сын и отец: что касается отца, то представь себе некоего Солона, Перикла или Аристиды; сын же его уже одним своим внешним видом тотчас пленит тебя, так он величествен и прекрасен какою-то особенной, мужественной красотой. Но если он к тому же молвит хоть слово, ты пойдешь за ним, словно уши твои к нему прикованы, столько красоты в том, что сходит с языка этого молодого человека. Весь город с раскрытым ртом слушает его всякий раз, когда тот выступает с речью перед народом. То же самое, говорят, испытывали в старину афиняне перед сыном Климия, с тою разницей, что им вскоре пришлось раскаяться в любви, какой полюбили они Алкивиада, а этого юношу наш город не только любит, но почитает достойным уважения. И вообще в нем одном — благо народа нашего, и великая для всех граждан польза — в одном этом человеке. И если юноша сам и отец его примут тебя и сделают своим другом — весь город на твоей стороне; им стоит сделать знак рукой, — только знак, — и успех твой вне всяких сомнений».

Так говорили все, — клянусь Зевсом, если нужно клятвой подтвердить слова мои, — и оказалось, когда я уже сам испытал на деле, что была сказана лишь незначительная доля правды.

«Не время медлить; все сомнения прочь», — как говорит кеосский поэт. Нужно поднять все паруса, все делать, все сказать, чтобы все эти люди стали моими. Ибо, если это удастся, все небо будет безоблачно, ветер — попутный, море — спокойно-волниво и гавань близка.



ГЕРОДОТ, или АЭЦИЙ

1. О, если бы возможно было подражать Геродоту! Я не говорю во всем, что ему присуще, — ибо чрезмерно было бы такое желание, но хотя бы одному из его достоинств. Ведь красота речи Геродота, гармония ее, природное свойство ионического диалекта, высота ума, все бесчисленные достоинства Геродота, взятые вместе, лежат за пределами надежды на подражание ему. Но в том, как поступил Геродот со своими произведениями и как стал достойнейшим среди всех эллинов в кратчайший срок, в этом и я, и всякий другой смогли бы ему подражать. Плывая из дома, из Карики, Геродот, будучи вблизи Эллады, стал обдумывать, как бы скорее и с наименьшей затратой труда стать знаменитым и прославленным — и он сам, и его сочинение. Ведь странствовать и быть признанным сегодня афинянами, завтра коринфянами, или аргосцами, или лакедемонянами — занятие тяжелое и длительное, к тому же казалось ему связанным с немалыми затруднениями. Итак, он решил не разбивать дело на части и помалу собирать отовсюду славу, но задумал, по возможности, целиком охватить всех эллинов. Приближались великие олимпийские игры, и Геродот полагал, что пришло надлежащее время, которого он так ждал. Когда Геродот увидел наполненное гражданами собрание и заметил, что отовсюду собрались благороднейшие из людей, он поднялся на ступени храма не как зритель, но выступил на олимпийских состязаниях как участник в них. Геро-

дот стал читать свое произведение и до такой степени очаровал присутствующих, что они называли его книги по имени муз, их было тоже девять.

2. Итак, теперь все уже превозносили Геродота больше, чем олимпийских победителей, и не было никого, кто не знал бы имени Геродота: одни сами слышали его в Олимпии, другие узнали о нем от вернувшихся с праздника. И если Геродот показывался где-либо один, на него указывали пальцем: «Это тот самый Геродот, который описал персидскую войну и на ионическом диалекте воспел нашу победу». Вот какие плоды снял он со своего произведения: в одном собрании Геродот получил всенародный, всеобщий голос Эллады, и его провозглашал, клянусь Зевсом, не один глашатай, но в каждом городе, откуда происходил участник празднества.

3. Впоследствии признали кратчайшим такой путь к известности Гиппий, софист, земляк Геродота Прodik кеосский, и Анаксимен хиосский, и Пол из Агригента, и многие другие; они многочисленные свои речи всегда произносили на празднествах, вследствие чего в кратчайший срок становились известными. Но зачем я называю тебе этих древних софистов, писателей и летописцев, когда, наконец, я могу назвать Аэция, живописца, изобразившего брак Роксаны и Александра? Ведь и он выставил напоказ картину на олимпийских состязаниях, так что Проксендид, бывший тогда судьей на играх, восхищенный искусством, сделал своим зятем Аэция.

5. Но какие чудеса были на его картине, спросит кто-нибудь, что заставили самого судью породниться с чужеземцем Аэцием через брак с ним дочери? Картина эта находится в Италии, и я сам ее видел, так что могу тебе о ней рассказать.

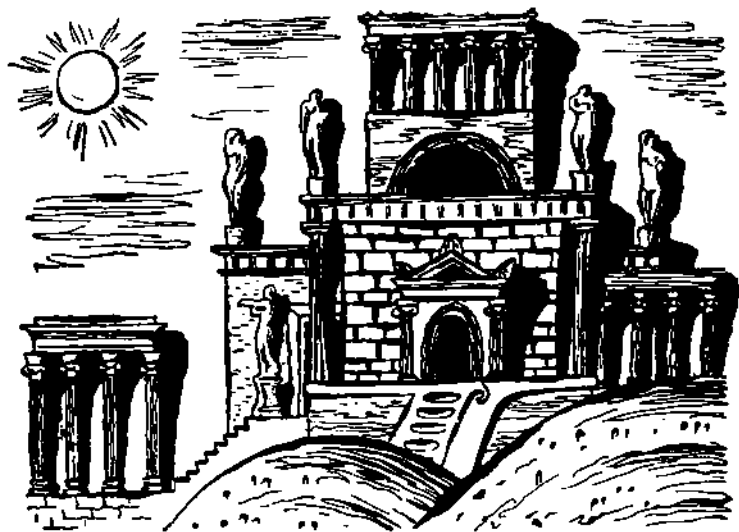
Изображена прекрасная спальня и брачное ложе, а на нем восседает красавица Роксана, потупившая девичий взор и робеющая в присутствии Александра. Кругом улыбающиеся эроты: один, стоящий за спиной, снимает с головы покрывало и показывает жениху Роксану; другой весьма услужливо снимает сандалию с ноги, чтобы она могла скорее лечь; третий, тоже эрот, ухватившись за хламиду Александра, тянет его к Роксане, со всей силой увлекая его. Царь сам протягивает венок невесте, а дружка и сват Гефестион стоит возле, держа горящий факел и опираясь на цветущего юношу, как я полагаю — Гименея, хотя имя его не написано. По ту сторону картины другие эроты играют среди оружия Александра: двое несут его копьей, подражая носильщикам, когда они сгибаются под тяжестью бревна; другие два, взявшись за ремни щита, тащут третьего, возлежащего на царском доспехе, а значит и самого царя; один залез в панцирь, лежащий вверх выпуклой поверхностью, и сидит точно в засаде, чтобы испугать других, когда они поравняются с ним, таща щит.

6. Не ради забавы и не так себе все это изобразил Аэций, но для того, чтобы показать любовь Александра к военным делам, также и то, что, любя Роксану, он не забывает оружия. Впрочем, картина сама по себе поистине кажется брачной, напоминая Аэцию дочь Проксенида, — он ведь сам вернулся, вступив в брак, заключенный наравне с браком Александра и при участии царя-дружки, и в награду за изображение брака получил действительный брак.

7. Геродот же — я снова к нему возвращаюсь — достаточным считал собрание на олимпийских играх, чтобы показать эллинам удивительное сочинение об эллинских победах, что он и сделал. Я же, — но, ради Филия, бога дружбы, не прими меня, благосклонный человек, за одержимого и не подумай, что я хочу сравнивать мои сочинения с произведениями Геродота, — я ведь говорю только, что и сам испытал нечто подобное. Когда я в первый раз появился в Македонии, я стал обдумывать, как мне поступить. Мое страстное желание было — стать известным среди всех вас и познакомить со своими произведениями наибольшее число македонян. Но мне казалось весьма нелегким в это время года обходить каждый город; но если я дождусь вашего собрания и затем, выйдя к вам, прочту свое произведение, то мое желание сбудется должным образом.

8. Итак, вы из каждого города уже собрались в столице всей Македонии. Вас принял наилучший город, — мы не в Пизе, клянусь Зевсом, среди узких переулков, шатров, шалашей и духоты, и собрался не всякий сброд из атлетов, более всего жаждущий зрелищ и лишь мимоходом слушающий Геродота, но собрались славнейшие из риторов, писателей и софистов, так что мое положение оказалось ничуть не хуже, чем на олимпийских играх. Но если вы станете сравнивать меня с атлетом Полидамантом, или Главком, или Милоном, то, несомненно, я покажусь вам дерзким человеком. Если же вы далеко отведете память о них и будете смотреть только на меня одного, готового выступить перед вами, то, может быть, не так скоро я покажусь заслуживающим наказания.

И этого в столь славном состязании мне будет достаточно.



ГИППИЙ, или БАНИ

1. Среди мудрецов всего более следует хвалить, так думаю я, тех, кто не только сумел высказывать дельные суждения о всяких вещах, но и соответствующими поступками оправдывал ожидания, которые возбуждали слова его. Так обстоит дело и с врачами: если человек разумен, то, заболев, он призовет не того, кто лучше других умеет рассуждать о врачебном искусстве, но позаботившегося и на деле применить его. Точно так же и музыканта я ставлю выше, когда он не только умеет разбираться в ритмах и созвучиях, но и сам может ударить по струнам и сыграть на кифаре. Стоит ли говорить также о военачальниках, справедливо признанных лучшими в том, что они были хороши, не только отдавая приказания и произнося одобряющие речи, но и сражались в первых рядах, и в рукопашном бою выказывая свою храбрость. Таковы, как мы знаем, были в древности Агамемнон и Ахилл, а позднее Александр и Пирр.

2. К чему, однако, говорю я все это? Не из пустого ведь желания показать себя сведущим в истории упомянул я о них, но потому, что, по моему мнению, и среди инженеров те достойны удивления, которые не только блистали своим знанием теории, но и оставили потомкам память о своем искусстве в созданных ими произведениях, так как искушенные в одних лишь словах скорее могли бы быть названы мудрствующими, чем мудрыми. Таковы были, мы знаем, Архимед и книдиец Сострат; последний отдал в руки Птолемею Мемфис без осады, разделив и отведя воды реки; пер-

вый же при помощи своего искусства сжег неприятельские корабли. Также и Фалес милетский, ранее их, пообещав Крезу перевести войско посуху, хитроумно в одну ночь обвел Галис вокруг лагеря с тыла, — а между тем он не был строителем, но просто мудрецом, имевшим ум чрезвычайно изобретательный и изощренный. И, наконец, есть очень древний рассказ об Эпее, который не только изобрел для ахейцев своего коня, но, как говорят, и вошел в него вместе с ними.

3. В их числе достоин быть упомянутым и наш современник Гиппий, человек, сочинения которого не уступают тому, что написал любой из предшественников, отличаясь остротой ума и необыкновенной ясностью изложения; в произведениях же, им созданных, он достигает еще большей высоты, чем в своих сочинениях, и доказывает полную осуществимость того, что, как возможное, обещает наука. Обещания же эти не такие, как те, в которых имели удачу его предшественники. Нет, говоря языком геометрии, он по одной данной стороне точно строит треугольник. Однако из всех ранее упомянутых каждый выделил себе какую-нибудь одну область знания, в ней одной приобрел известность, и все же считается кое-что сделавшим, — тогда как Гиппий, будучи прежде всего строителем и геометром, оказывается еще и знатоком звучных сочинений гармонии и музыкального исполнения и тем не менее в каждой из этих областей обнаруживает такое совершенство, как будто он только ею одной и занимался. Его учение о лучах, о преломлении, о зеркалах, а также астрономические познания, по сравнению с которыми предшественники Гиппия кажутся детьми, потребовали бы для восхваления немалого времени.

4. Об одном из его произведений, видом которого я недавно был поражен, я не могу не рассказать. Речь идет о предмете весьма обыкновенном и в современной жизни очень распространенном — об устройстве бань. Однако удивительно, сколько продуманности, сколько ума даже в этой обыкновенной постройке. Место для нее было отведено неровное и представляло очень крутой склон, поднимаясь почти отвесно. Приступая к работе, Гиппий прежде всего сравнял место и поднял одну чрезмерно низкую сторону его вровень с другой. Подведя надежную опору под все здание, он обеспечил фундаментом прочность и безопасность воздвигаемой постройки, а заостренные и соединенные для безопасности контрфорсы использовал, чтобы усилить все сооружение в целом. Воздвигнутое на этой основе строение с отведенным ему местом соразмерно, в полном согласии с идеей сооружения устроено и с соблюдением разумных правил освещено.

5. Высокий вход с широкими ступенями, скорее пологими, чем крутыми, — для удобства восходящих. Посетителя принимает огромный общий зал, достаточный для ожидания слуг и провожатых, расположенный влево от ряда роскошно отделанных покоев: и они, конечно, очень уместны в банях, такие укромные уголки, приятные и залитые светом. Далее, приходя к ним, находится второй зал, излишний, что касается купанья, но необходимый, поскольку дело идет о приеме наиболее богатых посетителей. За этим помещением с двух сторон тянутся комнаты, где раздеваю-

щиеся оставляют одежду, а посредине находится помещение высокое-превысокое и светлое-пресветлое, с тремя водоемами холодной воды, одетое лаконским мрамором. Здесь два изваяния из белого мрамора старинной работы: одно — Гигиен, богини здоровья, другое — Асклепия.

6. Потом вы попадаете в умеренно нагретую комнату, продолговатую и с двух сторон закругленную, встречающую вас ласковым теплом. За нею, направо, комната, — очень хорошо освещенная, готовая к услугам тех, кто хотел бы быть умашенным, — принимает возвращающихся с палестры. Оба входа в нее, с двух сторон, облицованы прекрасным фригийским мрамором. К ней примыкает далее новый покой, из всех покоев прекраснейший: и постоять в нем можно, и посидеть с величайшими удобствами, и замешкаться без малейшего опасения, и поваляться с превеликой пользой, — он также весь, до самого потолка, сверкает фригийским мрамором. Сейчас же за этим покоем начинается нагретый проход, выложенный нумидийским камнем. Помещение, в которое он ведет, прелестно, все переполнено светом и как будто пурпуром изукрашено; оно также предлагает посетителю три теплые ванны.

7. Вымывшись, не надо возвращаться снова через те же самые комнаты, но можно выйти кратчайшим путем в прохладный покой через умеренно нагретое помещение. И на все эти покои льются обильные потоки света, и белый день проникает всюду. К тому же высота, ширина и длина соразмерены друг с другом, и повсюду встречается вы так много изящества и красоты. По прекрасному слову Пиндары:

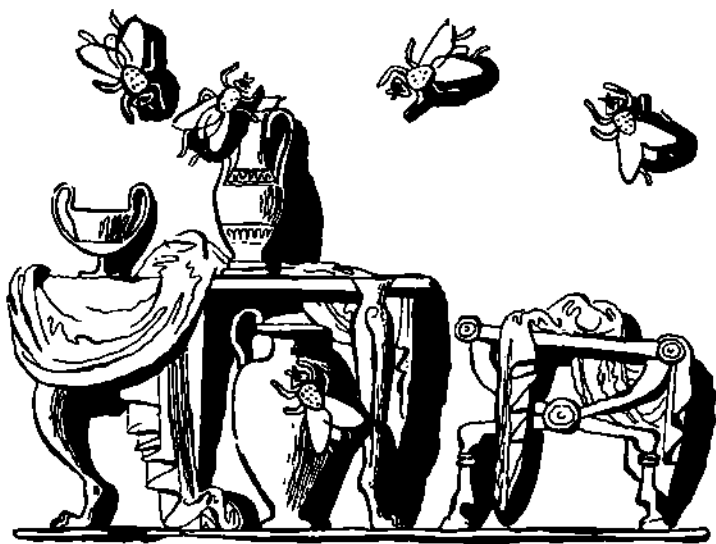
*Начиная, помни: лик творенья
Надо сделать светлым.*

Главным образом, пожалуй, это достигнуто здесь обилием яркого света и остроумным расположением окон. Ибо Гиппий, как настоящий мудрец, устроил так, что помещение с холодными водоемами выходит на север, хотя остается в то же время доступным и южному ветру, а те части, для которых нужно много тепла, обратил на юг, на восток и на запад.

8. Стоит ли после всего этого рассказывать еще о палестрах и общих раздевальнях, где хранится одежда, устроенных так, что из них вы быстро, кратчайшим путем, попадаете в самую баню удобно и безопасно для здоровья. И пусть никто не думает, что я выбрал для своей речи ничтожный предмет, задавшись целью приукрасить его своим словом. Ибо, по моему мнению, немалое нужно искусство, чтобы суметь в обыкновенном показать новые красоты. Так и удивительный Гиппий показал нам в этом своем произведении все достоинства, какими должны обладать бани: они благоустроены, удобны, светлы; все размеры отдельных частей и целого отвечают друг другу и занимаемому месту; кроме того, они вполне безопасны для здоровья посетителей. И всем прочим они снабжены с большим знанием дела: двумя помещениями, куда можно удалиться, если потребуется нужда; большим количеством выходных дверей и двумя часами,

показывающими время: одни — водяные, звучащие, другие — солнечные. Кто все это видел и не воздаст такому произведению должной похвалы, тот, по-моему, не только безрассудный, но и неблагодарный, даже более того — завистливый человек.

Я же, как мог, воздал моим словом должное и самому произведению, и создателю и строителю его. Если же бог приведет когда-нибудь еще и искупаться там, — я уверен, многие присоединятся к моим похвалам.



ПОХВАЛА МУХЕ

1. Отнюдь не малое место среди летающих занимает муха, если сравнить ее с комарами, мошками и прочей крылатой мелочью, которую настолько величиной превосходит муха, насколько сама она уступает пчеле. И крыльями муха снабжена не по общей мерке: одним дано сплошь зарастать волосами, другим же предоставлено пользоваться быстрыми крыльями, — нет, подобно саранче, цикадам и пчелам, из сетчатки крылья у мухи, но, по сравнению с ней, крылья других так же грубы, как греческие одежды против тонких и мягких тканей индийских. К тому же, если кто пристально взглянет, — крылья мухи расцвечены как у павлина, когда она, распростершись, взмахивает ими под лучами солнца.

2. И полет мухи не похож на быстрые взмахи летучей мыши, не похож на подпрыгивания кузнечиков или кружение осы — плавным поворотом стремится муха к некоей цели, намеченной в воздухе. И к тому же летит она не безмолвно, но с песней, однако не с враждебной песней комаров и мошек, не с тяжелым жужжанием пчел или ос, страшным и угрожающим, — нет, песнь мухи настолько звонче и слаще, как против труб и кимвалов медовые флейты.

3. Что же до других частей тела, то голова мухи наитончайше соединяется с шеей, легко поворачиваясь вокруг, а не сросшись, как у саранчи; выпуклые глаза с большим количеством роговицы; грудь, прекрасно сложенная, и ноги, прорастающие свободно, без излишней связанности, как у осы. Брюшко — крепкое и похоже на панцирь своими широкими поясками и чешуйками. Защищается муха не жалящим хвостом, как пчелы и осы, но губами и хоботком, таким же, как у слона; им-то она и разыскивает, и хватает пищу, и удерживает ее, крепко прильнув напоминающим щупаль-

цы полипа хоботком. Из него-то показывается зуб, прокусывая которым, пьет муха кровь; пьет она и молоко, но сладка ей и кровь, а боль пострадавшего невелика. Шестиногая, ходит муха только на четырех, пользуясь двумя передними, как руками. И можно видеть муху, шагающую на четырех и совершенно по-человечески, по-нашему держащую на весу в руках что-нибудь съестное.

4. Рождается же муха не сразу такой, но сначала червяком из погибших людей или других животных. Немного спустя муха выпускает лапки, отращивает крылья, сменяет пресмыкание на полет, беременеет и рождает маленького червячка — будущую муху. Пребывая и питаясь с людьми одними кушаньями, за одним столом, она отведывает все, кроме оливкового масла, ибо пить его для нее — смерть. И все же она недолговечна, ибо очень скупо отмерены ей пределы жизни. Потому-то больше всего любит она свет и на свету устраивает свои общественные дела. Ночь же муха проводит мирно, не летает и не поет, но притаясь и сидит неподвижно.

5. И еще буду я говорить о большом уме, когда избегает муха злоумышляющего и враждебного к ней паука: она подсматривает севшего в засаду и, смотря прямо на него, вдруг отклоняет полет, чтобы не попасться в расставленные сети, не опутаться сплетениями чудовища. О мужестве и отваге мухи не нам подобает говорить: красноречивейший из поэтов — Гомер — не со львом, не с леопардом и не с вепрем сравнивает отвагу лучшего из героев, желая его похвалить, но с дерзновением мухи, с неустрашимостью и упорством ее натиска. Ведь именно так он говорит: не дерзка она, но дерзновенна. Ибо, когда ее отгоняют, говорит поэт, она не отступает, но старается укусить. И вообще так восхваляет поэт и восторгается мухой, что не один только раз и не редко, но очень часто вспоминает ее: так, только упоминаемая, украшает она поэму. То рассказывает поэт, как толпами слетаются мухи на молоко, то говорит об Афине, когда отвращает она стрелу от Менелая, чтобы не нанесла ему смертельной раны; сравнивая ее с заботливой матерью, укладывающей своего младенца, снова сопоставляет с ней муху. Также прекрасным эпитетом украсил он мух, прозвав «крепкими», а рой их называя «народом».

6. И так сильна муха, что, кусая, прокалывает не только кожу человека, но и быка, и лошади, и даже слону она причиняет боль, забираясь в его морщины и беспокоя его своим, соразмерным по величине, хоботком. В любовных же и брачных сношениях у них большая свобода. Самец, подобно петуху, взойдя, не спрыгивает тотчас же, но мчится вдаль на своей подруге, она же несет возлюбленного. Так летят они вместе, и связь эта, заключенная в воздухе, не разрушается полетом. Если же ей отрезать голову, муха еще долго живет остальной частью тела и продолжает дышать.

7. Но сейчас о самом значительном в ее природе намереваюсь я говорить. Кажется, что только об одном забыл упомянуть Платон в слове о душе и ее бессмертии. А именно — умершая муха, посыпанная пеплом, воскресает, как бы снова возрождаясь, и снова сначала начинается новая жизнь. Уж это ли не убедит с несомненностью всех, что душа мух также бессмертна, если, удалившись, вновь возвращается, узнает и воскрешает тело и возвращает мухе полет? Не подтверждает ли это рассказ о Гермотиме из Кла-

зомен, будто часто покидавшая его душа блуждала сама по себе и затем, вновь возвращаясь, сразу наполняла его тело и воскрешала Гермотима?

8. Свободная, ничем не связанная, пожиная муха труды других, и всегда полны для нее столы. Ибо и козы доятся для нее, и пчелы на нее работают не меньше, чем на человека, и повара для нее услащают приправы. Пробует она их раньше царей: прогуливаясь по столам, муха угощается вместе с ними и наслаждается из всех блюд.

9. Муха не устраивает себе гнезда или крова, предпочтя, подобно скифам, блуждающие перелеты, и, где бы ни застала ее ночь, там она находит и пищу, и сон. Ибо, как я уже сказал, с наступлением темноты муха ничего не предпринимает, находя ниже своего достоинства скрытно что-либо совершать, — она считает, что нет ничего постыдного в ее делах и не принесет ей стыда ничто, совершенное при свете.

10. Одно предание рассказывает, что в древние времена жила Муха — прекрасная женщина, певунья и с языком болтливым как мельница, и были они вместе с Селеной влюблены в одного и того же Эндимиона. И вот постоянно будила она спящего юношу, болтая, напевая и подсмеиваясь над ним, и так рассердила его однажды, что Селена в гневе превратила женщину вот в эту муху. Поэтому-то и теперь, вспоминая Эндимиона, она словно заводит сну спящих, особенно молодых и нежных. Укус ее и жажда крови — знак не свирепости, но любви и ласки, ибо стремится она, по возможности, отведать от всего и добыть меда с красоты.

11. По уверениям древних, была также и некая женщина, называвшаяся Мухой, — поэтесса, прекрасная и мудрая, и другая еще — знаменитая в Аттике гетера, о которой комический поэт сказал:

Ну, укусила Муха, так до сердца дрожь.

Веселая комедия также не пренебрегала и не закрывала доступ на сцену имени Мухи. Не стыдились его и родители, Мухой называя своих дочерей. Да и трагедия с великой похвалой вспоминает муху в стихах:

*Какой позор! Бесстрашно муха на людей
Стремит полет отважный, жаждет смерти их,
И воины робеют пред копьем врага.*

Многое мог бы я рассказать также о Мухе Пифагора, если бы всем не была хорошо известна ее история.

12. Существуют еще и особые большие мухи, которых многие называют «солдатами», другие же — «собаками», с суровейшим жужжанием и быстрейшим полетом. Эти долговечнее других и всю зиму переносят без пищи, но большей частью притаившись под крышей. Удивительно и то, что эти мухи свершают положенное для обоих — и женского и мужского родов, попеременно в них выступая, по следам сына Гермеса и Афродиты с его смешанной природой и двойственной красотой.

Но я прерываю мое слово, — хотя многое еще мог бы сказать, — чтобы не подумал кто-нибудь, что я, по пословице, делаю из мухи слона.



В ОПРАВДАНИЕ ОШИБКИ, ДОПУЩЕННОЙ В ПРИВЕТСТВИИ

1. Трудно, будучи человеком, избежать гнева какого-нибудь божества, но еще того труднее найти оправдание нелепой ошибке, на которую толкнуло это божество, — и как раз то и другое приключилось ныне со мной: я пришел к тебе утром, чтобы приветствовать тебя, и с языка моего должно было сойти принятое обычаем слово и прозвучать действительно так: «Радуйся» (χαῖρε); я же, с великолепной забывчивостью, пожелал тебе: «Здравствуй» (ὑγιαίνε), — и это слово тоже вещает благое, но не ко времени было оно, ибо оно не для утра. Тотчас вслед за этим я, конечно, и без того покраснел и совершенно смутился, а присутствующие, со своей стороны, стали подшучивать, как обычно бывает; другие, по младости лет, болтали пустяки, а иные думали, что еще наполняет меня хмель вчерашней пирушки, хотя сам ты с величайшей воспитанностью перенес случившееся и даже уголком рта не улыбнулся, не отметил оплошности моего языка. Поэтому я решил, что неплохо будет написать кое-что самому себе в утешение, чтобы не слишком уж огорчаться ошибкой и не прослыть человеком несносным за то, что в почтенном возрасте я сделал такой неприличный промах в присутствии стольких свидетелей. Ибо, думаю я, в подлинной защите не нуждается язык, который, запутавшись в пожелании, посулил так много хорошего.

2. Так вот, приступая к этому сочинению, я думал, что столкнусь с задачей весьма затруднительной, — в дальнейшем, однако, оказалось, что много есть такого, о чем следует поговорить. Впрочем, я скажу об этом не прежде, чем предположу должное разъяснение самих пожеланий «радо-

сти» и «здоровья». Итак, «радуйся» — это старинное приветствие не для утреннего только или вообще первого на дню свидания; нет, люди, впервые друг друга увидевшие, также произносили его, например:

Земли тиринфской повелитель, радуйся!

То же и после обеда, уже обращаясь к беседе за чашей вина:

Радуйся ныне, Ахилл! Ты в пирах недостатка не знаешь, —

это говорит Одиссей в порученной ему посольской речи. Говорили и расставаясь уже друг с другом:

Радуйтесь, бог я блаженный для вас и уж больше не смертный.

К какому-нибудь одному часу дня это приветствие приурочено не было и не было, как сейчас, только утренним. И даже в зловещих, проклятием отмеченных случаях все-таки пользовались им, подобно Полинику Еврипида, который, уже расставаясь с жизнью, говорит:

Вы радуйтесь! Меня же обступает мрак.

И не только знаком дружеского расположения служило оно нашим предкам, но и неприязни и нежелания иметь дело друг с другом. Поэтому пожелать радости, добавив: «на долгие годы», означает: «мне нет до тебя больших дела».

3. Первым, говорят, произнес его Филиппид, в один день добежавший от Марафона с вестью о победе; обращаясь к архонтам, которые сидели, тревожимые исходом битвы, он воскликнул: «Радуйтесь, мы победили». Сказав это, с вестью на устах умер, в призыве к радости испустил дух. В начале же письма первым поставил его Клеон, демагог афинский, сообщая в письме с острова Сфактерии благую весть об одержанной там победе и о захвате спартиатов. Однако после него Никий, посылая письма из Сицилии, сохранил старинное построение письма, начиная прямо с изложения дел.

4. Но изумительный Платон, заслуживающий доверия законодатель в подобных вопросах, предлагает даже вовсе вывести из употребления «радуйся», как слово низменное и ничего дельного не выражающее, а вместо него вводит пожелание «успеха в делах», знаменующее разом добрый строй и тела, и души. И в письме к Дионисию Платон укоряет его тем, что, слагая гимн Аполлону, он обратился к богу со словом «радуйся», которое недостойно пифийца и не приличествует не только что богам, но и умным людям.

5. Божественный же Пифагор, хотя и не счел нужным оставить нам ни одного собственного своего сочинения, однако, поскольку свидетельствуют об этом Окелл луканец, Архит и другие ученики его, не предпосылал письму ни пожелания радости, ни «успеха в делах», но велел начинать пись-

ма приветствием «здравствуй». Поэтому все ученики его при переписке друг с другом, всякий раз как писали о чем-нибудь значительном, в самом начале письма ставили пожелание здоровья, как наиболее отвечающее ладу и души, и тела и обнимающее собою всю совокупность человеческих благ. Трижды повторенный треугольник пифагорейцев, образующий взаимосечениями пентограмму, которой они пользовались, как условным знаком, при встрече с единомышленниками, называлась у них тем же словом, что и здоровье, и вообще они полагали, что здоровье включает в себя и успех, и радость, тогда как ни успех, ни радость не предполагают непременно здоровья. А некоторые из пифагорейцев и четверицу, бывшую величайшей их клятвой и осуществлявшую, по их мнению, совершенное число, называли также началом здоровья, — к таким принадлежал, между прочим, Филолай.

б. Но для чего мне ссылаться перед тобою на древних, когда Эпикур, муж, хорошо умеющий радоваться радости и всему предпочитающий наслаждение, в более глубоких своих посланиях — таковых, впрочем, немного — к наиболее близким друзьям в самом начале ставит пожелание «полнейшего здоровья»? И в трагедии также, и в древней комедии мы часто найдем, что слово «здравствуй» произносится первым, раньше, чем «радуйся», так:

Здрав будь и радуйся много...

явно высказывает предпочтение приветствию «здравствуй» перед «радуйся». У Алексиды читаем:

Владыка, здравствуй: как ты запоздал!

У Ахея:

Пришел, свершив ужасное... Но, здравствуй, друг!

У Филемона:

*Здоровье — первое, затем — успех в делах,
Да радоваться, в-третьих, да не знать долгов.*

А что говорит автор сколия, о котором упоминает и Платон: «Здоровье — высшее благо, второе — красота, третье — богатство»; о радости же он не упомянул вовсе. Не говорю уж об известнейшем стихе, который у всех на устах:

*О Здравье, старшая из богинь, как хотел бы я
дней остаток с тобой
Провести...*

Таким образом, если Здравье — старшая из богинь, то и дар ее — обладание здоровьем — следует предпочесть всем другим благам.

7. Я мог бы привести тебе тысячи других мест из поэтов, историков и философов, отдающих предпочтение здоровью, но я воздержусь от этого: я не хочу впасть с моим сочинением в безвкусие и ребячество и не отваживаюсь «клин клином вышибать». Но я полагаю, что будет не худо добавить к уже написанному несколько подходящих для настоящего случая рассказов из древней истории, какие помню.

8. Когда Александр собирался дать сражение при Иссе, — так рассказывает Евмен из Кардии в письме к Антипатру, — то утром вошел к нему в палатку Гефестион и, то ли по забывчивости, то ли от смущения, подобно мне, а может быть и по внушению какого-нибудь бога, сказал то же, что и я: «Здравствуй, царь! Время — строиться к битве». И между тем как присутствующие были приведены в смятение неожиданностью этого приветствия и сам Гефестион чуть не умер со стыда, Александр произнес: «Принимаю доброе предзнаменование. Я получил сейчас обещание, что целыми вернемся мы из битвы».

9. Антиоху Сотеру перед сражением, в которое он собирался вступить с галатами, приснился сон, будто предстал ему Александр и велел дать перед битвой войску условным возгласом слово «здоровье», — под знаменем этого слова он и одержал свою замечательную победу.

10. Так же и Птолемей, сын Лага, явно отступил от установившегося обычая в письме к Селевку, обратившись к нему в начале письма с приветствием «здравствуй», а в конце вместо «будь здоров» — поставив «будь радостен», — так рассказывает собравший его письма Дионисодор.

11. Достойн упоминания и Пирр, царь эпирский, муж, занимающий, как полководец, второе место после Александра и тысячу раз подвергавшийся превратностям судьбы. Так вот, он, всегда молившийся богам, приносивший им жертвы и посвящения, никогда не просил у них ни победы, ни возвышения власти царя, ни славы, ни чрезмерного богатства, — но молил их только об одном: о здоровье, говоря, что пока оно с ним, все остальное легко к нему присоединится. И очень правильно, я полагаю, он рассуждал, считая, что никакой нет пользы в прочих благах, если нет одного — здоровья.

12. «Верно! — скажут мне. — Но в настоящее время для каждого приветствия у нас установлен определенный срок; ты же, нарушив его, хотя и не сказал ничего дурного, но все же, по правде говоря, не избежал ошибки, вроде той, как если бы кто-нибудь надел шлем на ногу или поножи на голову». — «Но, добрейший, — мог бы ответить на это я, — слова твои были бы уместны, если бы вообще какой-нибудь час дня не нуждался в здоровье, но в настоящее время и утром, и в полдень, и ночью здоровье необходимо, а в особенности вам, людям, стоящим у власти и много имеющим хлопот, поскольку для многих бывают нужны вам телесные силы. Кроме того, говорящий «радуясь» всего лишь пользуется для начала речи словом, сулящим благое; дело ограничивается тут пожеланием, тогда как желающий здравствовать совершает и нечто полезное, напоминая о том, что содействует здоровью; он не просто желает, но и советует».

13. Да что там! Разве в грамотах, которые вы получаете от императора, не предписывается вам прежде всего заботиться о собственном здоро-

вье? И весьма правильно: ведь в противном случае не будет от вас и в прочих делах никакой пользы. Да и вы сами, если я хоть сколько-нибудь понимаю латинскую речь, приветствием воздавая за приветствие, часто вспоминаете в ответе слово «здоровье».

14. Все это я сказал не потому, что намеренно устранил «радуясь» и стараюсь ввести вместо него «здравствуй», но потому, что случилось это со мной помимо моего желания, — да и смешно было бы с моей стороны заводить новшества и изменять часы, установленные для различных приветствий.

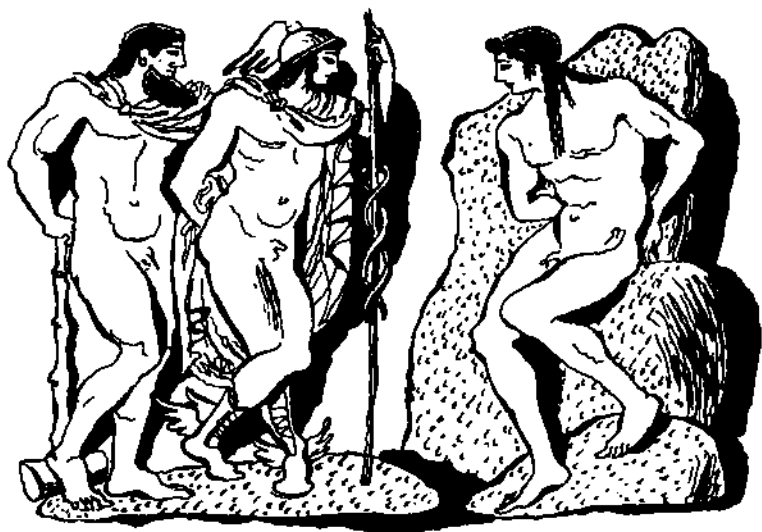
15. Однако я безоговорочно благодарю богов за то, что ошибка моя обратилась в предвещание, еще более счастливое, за то, что я поскользнулся удачно; и скорее всего по внушению Гигией, богини здоровья, или самого Асклепия совершилось это, и через меня ты получил обещание здоровья. Ибо как могло бы без вмешательства бога случиться это со мной, который никогда еще, за всю долгую жизнь, не бывал в такой рассеянности?

16. Если же нужно в извинение случившемуся привести и чисто человеческие оправдания, то ничего нет странного в том, что я, усиленно стремясь показать себя с самой лучшей стороны, от излишнего усердия спутался и впал прямо в противоположное. А возможно и то, что мысль моя была сбита с правильного пути множеством солдат, из которых одни подталкивали вперед, а другие не хотели ждать, пока до них дойдет очередь тебя приветствовать.

17. И я уверен, что если даже другие станут объяснять происшедшее моей глупостью, невоспитанностью или даже прямым безумием, ты принял его как знак застенчивости и простоты души, не искушенной в светских тонкостях: ибо излишняя смелость при подобных обстоятельствах граничит с наглостью и бесстыдством. Мне хотелось бы в дальнейшем не делать больше такого промаха, а уж если случится, пусть обратится он в благое предзнаменование.

18. При первом Августе, говорят, случилось однажды нечто подобное. Он только что произнес правый приговор по одному делу и снял тяжелое обвинение с несправедливо оклеветанного человека; тогда оправданный, громким голосом выражая благодарность, воскликнул: «Благодарю тебя, император, за то, что лицепрятно и несправедливо рассудил!» И когда окружившие Августа, исполненные негодования, хотели на части разорвать этого человека, император произнес: «Перестаньте сердиться: надо смотреть, что у него на уме, а не на языке». Так решил Август. Ты же и на уме у меня, если согласишься, найдешь лишь самые хорошие чувства, и на языке — слова, предвещающие доброе.

19. Но, мне кажется, я договорился уже до того, что естественно возникает новое опасение: как бы не подумал кто-нибудь, будто я ошибся намеренно, чтобы написать это оправдательное слово. Так пусть же, любезный Асклепий, речь моя покажется не оправданием, но лишь выступлением оратора, желающего показать свое искусство.



ПРОМЕТЕЙ, или КАВКАЗ

Гермес, Гефест и Прометей

Г е р м е с. Вот тот Кавказ, Гефест, к которому нужно пригвоздить этого несчастного титана. Посмотрим кругом, нет ли тут какого-нибудь подходящего утеса, не покрытого снегом, чтобы покрепче вделать цепи и повесить Прометея так, чтобы он был хорошо видим всеми.

Г е ф е с т. Посмотрим, Гермес. Нужно его распять не слишком низко к земле, чтобы люди, создание его рук, не пришли ему на помощь, но и не близко к вершине, так как его не будет видно снизу; а вот, если хочешь, распнем его здесь, посредине, над пропастью, чтобы его руки были распростерты от этого утеса до противоположного.

Г е р м е с. Правильно ты решил. Эти скалы голы, отовсюду недоступны и слегка покаты, а тот утес имеет такой узкий подъем, что с трудом можно стоять на кончиках пальцев: здесь было бы самое удобное место для распятия... Не медли же, Прометей, всходи сюда и дай себя приковать к горе.

2. П р о м е т е й. Хоть бы вы меня, Гефест и Гермес, пожалели: я страдаю незаслуженно!

Г е р м е с. Хорошо тебе говорить: «пожалейте»! Чтобы мы были преданы пытке вместо тебя, как только ослушаемся приказания? Разве тебе кажется, что Кавказ недостаточно велик и на нем не будет места, чтобы приковать к нему еще двоих? Но протяни же правую руку. А ты, Гефест,

замкни ее в кольцо и прибей, с силой ударяя по гвоздю молотом. Давай и другую! Пусть и эта рука будет получше закована. Вот и отлично! Скоро слетит орел разрывать твою печень, чтобы ты получил полностью оплату за свое прекрасное и искусное изобретение.

3. Прометей. О, Крон, Иапет, и ты, моя мать, посмотрите, что я, несчастный, терплю, хотя не совершил ничего преступного!

Гермес. Ничего преступного, Прометей? Но ведь когда тебе поручили раздел мяса между тобой и Зевсом, ты прежде всего поступил совершенно несправедливо и бесчестно, отобрав самому себе лучшие куски, а Зевсу отдав обманно одни кости, «жиром их белым покрывши»? Ведь, клянусь Зевсом, помнится, так говорил Гесиод. Затем ты изваял людей, эти преступнейшие существа, и, что еще хуже всего, женщин. Ко всему этому, ты похитил ценнейшее достояние богов, огонь, и дал его людям. И, совершив подобные преступления, ты утверждаешь, что тебя заковали в цепи без всякой вины с твоей стороны?

4. Прометей. По-видимому, Гермес, и ты хочешь, по словам Гомера, «невинного сделать виновным», если упрекаешь меня в подобных преступлениях. Что касается меня, то я за совершенное мной считал бы себя достойным почетного угощения в пританее, если бы существовала справедливость. Право, если бы у тебя было свободное время, я бы охотно произнес речь в защиту от возводимых на меня обвинений, чтобы показать, как несправедлив приговор Зевса. А ты ведь речист и кляузник, — возьми на себя защиту Зевса, доказывая, будто он вынес правильный приговор о распятии меня на Кавказе, у этих Каспийских врат, как жалостное зрелище для всех скифов.

Гермес. Твое желание пересмотреть дело, Прометей, запоздало и совершенно излишне. Но все-таки говори. Все равно мне нужно подождать, пока не слетит орел, чтобы заняться твоей печенью. Было бы хорошо воспользоваться свободным временем, для того чтобы послушать твою софистику, так как в споре ты изворотливее всех.

5. Прометей. В таком случае, Гермес, говори первым и так, чтобы обвинить меня сильнейшим образом и не упустить ничего в защите твоего отца. Тебя же, Гефест, я беру в судьи.

Гефест. Нет, клянусь Зевсом, я буду не судьей, а также обвинителем: ведь ты похитил огонь и оставил мой горн без жара!

Прометей. Ну так разделите ваши речи: ты поддерживай обвинение о похищении огня, а Гермес пусть обвиняет меня в создании человека и дележе мяса. Ведь вы оба, кажется, искусны и сильны в споре.

Гефест. Гермес и за меня скажет. Я не создан для судебных речей, для меня все в моей кузнице. А он ритор и основательно занимался подобными вещами.

Прометей. Я бы не подумал, что Гермес захочет говорить также и о похищении огня и порицать меня, так как в этом случае я его товарищ по ремеслу.

Но, впрочем, сын Май, если ты берешь на себя и это дело, то пора уже начать обвинение.

6. Г е р м е с. Право, Прометей, нужно много речей и хорошую подготовку для выяснения всего, что ты совершил. Ведь достаточно перечислить главнейшие твои беззакония: именно — когда тебе было предоставлено разделить мясо, ты лучшие куски для себя приберег, а царя богов обманул; ты изваял людей, вещь совершенно ненужную, и принес им огонь, похитив его у нас. И, мне кажется, почтеннейший, ты не понимаешь, что испытал на себе безграничное человеколюбие Зевса после таких поступков. А если ты отрицаешь, что делал все это, то придется доказать это в обстоятельной речи и постараться обнаружить истину. Если же ты признаешь, что совершил дележ мяса, что своими людьми ввел новшество и похитил огонь, — с меня довольно обвинения, и я не стал бы говорить дальше; это была бы пустая болтовня.

7. П р о м е т е й. Мы увидим немного позднее, не болтовня ли также и то, что ты сказал; а теперь, если ты говоришь, что обвинение достаточно, я попробую, насколько смогу, разрушить его.

Прежде всего выслушай дело о мясе. Хотя, клянусь Ураном, и теперь, говоря об этом, мне стыдно за Зевса! Он так мелочен и злопамятен, что, найдя в своей части небольшую кость, посылает из-за этого на распятие такого древнего бога, как я, забыв о моей помощи и не подумав, как незначительна причина его гнева. Он, как мальчик, сердится и негодует, если не получает большей части.

8. Между тем, Гермес, о подобных застольных обманах, мне кажется, не следует помнить, а если и случалась какая-нибудь погрешность, то нужно принять это за шутку и тут же на пирушке оставить свой гнев. А приберегать ненависть на завтра, злоумышлять и сохранять какой-то вчерашний гнев — это совсем богам не пристало и вообще это не царское дело.

Право, если бы лишить пирушки этих забав — обмана, шуток, поддразнивания и насмешек, то останется только пьянство, пресыщение и молчание — все вещи мрачные и безрадостные, весьма не подходящие к пирушке. И я никак не думал, что Зевс еще будет об этом помнить на следующий день, начнет гневаться и станет считать, что он подвергся страшному оскорблению, если при разделе мяса кто-нибудь сыграет с ним шутку, чтобы испытать, различит ли он при выборе лучший кусок.

9. Предположи, однако, Гермес, еще худшее: что Зевсу при дележе не только досталась худшая часть, а она у него была совсем отнята. Что же? Из-за этого следовало бы, по пословице, небу смешаться с землей, придумывать цепи и пытки, и Кавказ, посылать орлов и выклеивать печень? Смотри, чтобы это негодование не уличило Зевса в мелочности, бедности мысли и раздражительности. Действительно, что стал бы делать Зевс, потеряв целого быка, если из-за небольшой доли мяса он так сердится?

10. Все-таки насколько справедливее относятся к подобным вещам люди, а ведь, казалось бы, им естественнее быть более резкими в гневе, чем боги! Между тем никто из них не осудит повара на распятие, если, варя мясо, он опустил бы палец в навар и облизал его или, поджаривая, отрезал бы себе и проглотил кусок жаркого, — люди прощают это. А если они чересчур рассердятся, то пустят в дело кулаки или дадут пощечину, но никого не подвергнут пытке за такой ничтожный проступок.

Ну, вот и все по поводу мяса; мне стыдно оправдываться, но гораздо стыднее ему обвинять меня в этом.

11. Но пора уже держать речь о моем ваянии и создании людей. В этом проступке, Гермес, заключается двойное обвинение, и я не знаю, в каком смысле вы мне его вменяете в вину. Заключается ли она в том, что не нужно было вовсе создавать людей, и было лучше бы, если б они продолжали оставаться землей; или вина моя в том, что людей изваять следовало, но нужно было придать им иной вид? Но я скажу о том и о другом. И сначала я постараюсь показать, что богам не принесло никакого вреда появление на свет людей; а потом — что богам оно было гораздо выгоднее и приятнее, чем если бы земля продолжала оставаться пустынной и безлюдной.

12. Итак, было некогда (таким образом будет легче и яснее видно, погрешил ли я чем-нибудь в устройстве человеческих свойств), был, значит, только божественный род небожителей, а земля представляла собой нечто дикое и неустroенное. Она вся поросла непроходимыми лесами и на ней не было ни алтарей богов, ни храмов, — откуда им было взяться? Не было также изваяний, ни мраморных, ни деревянных, ничего того, что теперь повсюду встречается в большом числе и окружено всяческим почетом и вниманием. Но так как я всегда думаю об общем благе и стремлюсь увеличить значение богов и способствовать тому, чтобы и все остальное достигало порядка и красоты, то мне пришло на ум, что было бы хорошо, взяв немного глины, изготовить какие-нибудь живые существа и придать им вид, похожий на нас самих. Мне казалось, что божественному началу чего-то недостает, если ему ничего не противопоставлено, по сравнению с чем оно должно оказаться более счастливым. Однако это начало должно было быть смертным, но впрочем в высшей степени изобретательным, разумным и чувствующим лучшее.

13. И вот, согласно словам поэта, «смешав с водой землю» и размягчив ее, я вылепил людей, пригласив Афины помочь мне в моей работе. Вот то великое преступление, которым я оскорбил богов. Ты видишь, какой ущерб я причинил тем, что из глины создал живые существа и прежде неподвижное привел в движение! По-видимому, с этого времени боги стали в меньшей степени богами, потому что на земле появились смертные существа. Ведь Зевс негодует теперь, думая, будто богам стало хуже от появления людей. Неужели он боится, что они замыслили восстать против него и, как Гиганты, начнут войну с богами? Но, Гермес, что вы ничуть не обижены ни мной, ни моими поступками, это ясно. В противном случае укажи мне хоть на малейший ущерб, и я замолчу, а то, что претерпел от вас, признаю справедливым наказанием.

14. А что мое создание оказалось даже полезным для богов — в этом ты убедишься, если взглянешь на землю: она изменила свое первобытное и необработанное состояние, украсилась городами, полями и полезными растениями. Море, если посмотришь на него, сделалось доступным для кораблей, острова стали обитаемы, и повсюду встречаются алтари и храмы, жертвоприношения и всенародные праздники —

*Все улицы, все площади городов
Наполнены Зевсом...*

Другое дело, если бы я создал эти вещи для себя одного и извлек из них особенную выгоду, — но я, принеся их в общее пользование, предоставил их вам самим. Больше всего везде видны храмы Зевса, Аполлона, Геры и твои собственные, Гермес, а храма Прометея нет нигде.

15. Можешь ли ты заметить, чтобы я преследовал только свои выгоды, а общей пользой пренебрегал или поступался? Подумай также о том, Гермес, считаешь ли ты благом что-нибудь, чему нет свидетеля, будь то движимое или недвижимое имущество, которое никто не увидит и не похвалит. Доставляет ли оно, несмотря на это, радость и утеху его обладателю? Для чего это я спросил? Потому, что если бы не было людей, красота всех вещей оказалась бы без свидетеля, и нам пришлось бы стать богатыми таким богатством, которое никого бы не удивляло и для нас самих не имело никакой цены. Потому что не существовало бы ничего худшего, с чем можно было сравнить богатство, и мы не могли бы понять степени своего блаженства, если бы не видели тех, кто лишен наших преимуществ. За такое общепользное дело следовало воздавать почести, а вы распяли меня и таким способом отплатили за мое благое намерение.

16. Но ты скажешь, среди людей есть злодеи, которые развратничают, воюют, женятся на сестрах и злоумышляют против родителей. Да разве среди нас не встречаются подобные явления, и притом в большом изобилии? Конечно, из-за этого никто не обвинит Урана и Гею, что они создали нас. Ты мог бы также сказать, что нам приходится много заботиться о людских делах. В таком случае, пожалуй, пусть и пастух негодует на то, что у него есть стадо, о котором ему необходимо заботиться. Однако хотя это и хлопотливо, зато и приятно.

К тому же, и сама забота не без отрады, так как доставляет некоторое занятие. Что бы мы делали, не имея никого, о ком позаботиться? Мы бездействовали бы, пили нектар и насыщались амброзией, ничего не делая.

17. Но в особенности меня сокрушает то, что, обвиняя в создании людей и, пожалуй, главным образом, женщин, вы тем не менее влюбляетесь в них и не перестаете сходить к ним, то в виде быков, то становясь сатирами и лебедями, и считаете смертных женщин достойными рождать вам богов. Но, может быть, ты скажешь, что нужно было создать людей в каком-нибудь другом виде, а не подобных нам? Но какой же другой образец лучше этого я мог бы себе представить, какой более прекрасный во всех отношениях? Разве следовало сотворить существо неразумное, звероподобное и дикое? Каким же образом такие существа приносили бы жертвы богам или воздавали им другие почести? Но когда вам приносят в жертву гекатомбы, вы не медлите, хотя бы вам нужно было к Океану, «к безупречным идти эфиопам». А виновника получаемых вами почестей и жертвоприношений вы распяли. Относительно людей и сказанного достаточно.

18. Теперь же, если позволишь, я перейду к огню и к его позорному похищению. Но, ради богов, ответь мне, нисколько не смущаясь, на сле-

дующее: разве мы потеряли хоть сколько-нибудь огня, с тех пор как он имеется у людей? Ведь ты этого не мог бы сказать? Мне кажется, сама природа этого предмета такова, что он не уменьшается, если им будет пользоваться еще кто-нибудь другой. Ведь огонь не потухает от того, что от него зажгут другой. Следовательно, это одна лишь жадность — запрещать передавать огонь тем, кто в нем нуждается, если от этого вам нет никакого ущерба. Между тем богам-то нужно быть добрыми, «подателями благ» и следует находиться вне всякой зависти. Если бы я похитил даже весь огонь и снес его на землю, ничего не оставив вам, то и этим я бы не очень вас обидел. Огонь ведь вам совсем не нужен, так как вы не забнете, не варите амбросии и не нуждаетесь в искусственном освещении.

19. А людям огонь постоянно необходим, в особенности для жертвоприношений, чтобы чадить по улицам, курить фимиам и жечь бедра жертвенных животных на алтарях. Ведь я вижу, как вы наслаждаетесь жертвенным дымом и считаете самым приятным угощением, когда жертвенный чад достигает неба «и вьется кольцами дыма». Следовательно, самый упрек в похищении огня был бы высшим противоречием вашим вкусам. Я удивляюсь, как это вы еще не запретили солнцу освещать людей: ведь и оно тоже огонь, только гораздо более божественный и пламенный, чем обыкновенный. Не обвиняете ли вы и солнце в том, что оно расточает ваше достоинство?

Я сказал. А вы оба, Гермес и Гефест, если находите что-либо неправильным в моей речи, поправьте и опровергните меня, и я опять начну оправдываться.

20. Г е р м е с. Нелегко, Прометей, состязаться с таким превосходным софистом. Впрочем, счастье твое, что Зевс не слышал твоих речей! Я отлично знаю, что он шестнадцать бы коршунов приставил к тебе разрывать внутренности: так сильно ты его обвинил, делая вид, что оправдываешься. Но я удивляюсь несколько тому, что ты, будучи пророком, не предугадал предстоящих тебе пыток.

П р о м е т е й. Я предвидел это, Гермес, но мне известно также, что я буду освобожден. Скоро придет некто из Фив, — он будет тебе братом, — и застрелит орла, который, как ты говоришь, подлетит ко мне.

Г е р м е с. Так пусть же это случится, Прометей, и я увижу тебя освобожденным и пирующим среди нас, — однако так, чтобы ты уже не делил мяса.

П р о м е т е й. Не бойся. Я буду пировать с вами, и Зевс освободит меня за небольшую услугу.

Г е р м е с. За какую такую услугу? Скажи не медля.

П р о м е т е й. Ты знаешь Фетиду, Гермес?.. Но не следует рассказывать, лучше сохранить тайну, чтобы она для меня послужила расплатой и выкупом за освобождение от наказания.

Г е р м е с. Да, береги ее, титан, если это для тебя лучше... Но пойдем, Гефест. Вот орел уже близко... Итак, терпи с твердостью. И пусть, как ты говоришь, скоро уже явится фиванский стрелок, чтобы прекратить расчленение тебя орлом.



РАЗГОВОРЫ БОГОВ

1

Прометей и Зевс

1. Прометей. Освободи меня, Зевс: довольно я уже натерпелся ужаса.

Зевс. Тебя освободить, говоришь ты? Да тебя следовало бы заковать в еще более тяжелые цепи, навалив на голову весь Кавказ! Тебе шестнадцать коршунов должны не только терзать печень, но и глаза выклеивать за то, что ты создал нам таких животных, как люди, похитил мой огонь, сотворил женщин! А то, что ты меня обманул при разделе мяса, подсунув одни кости, прикрытые жиром, и лучшую часть сохранил для себя, — что об этом нужно говорить?

Прометей. Разве я недостаточно уже поплатился, терпя столько времени мучения, прикованный к скалам Кавказа, и питая собственной печенью эту проклятую птицу, орла?

Зевс. Это даже не самая малая часть того, что ты заслужил.

Прометей. Но ты меня не даром освободишь: я тебе, Зевс, открою нечто весьма важное.

2. Зевс. Ты со мной хитришь, Прометей.

Прометей. Что же я этим выиграю? Ты ведь будешь прекрасно знать, где находится Кавказ, и у тебя не будет недостатка в цепях, если я попадусь, что-нибудь замыслив против тебя.

Зевс. Скажи сначала, какую важную услугу ты мне окажешь?

Прометей. Если я скажу тебе, куда ты сейчас идешь, согласишься ли ты мне, что и в остальном мои прорицания будут правдивы?

Зевс. Конечно.

Прометей. Ты идешь к Фетиде на свидание.

Зевс. Это ты верно угадал; что же дальше? Тебе, кажется, действительно можно верить.

Прометей. Не ходи, Зевс, к этой нереиде: если она родит тебе сына, то он сделает с тобой то же, что ты сделал...

Зевс. Ты хочешь сказать, что я лишусь власти?

Прометей. Да не сбудется это, Зевс. Но сочетание с ней угрожает тебе этим.

Зевс. Если так — прощай, Фетида. А тебя за это пусть Гефест освободит.

2

Эрот и Зевс

1. Эрот. Но если я даже провинился в чем-нибудь, прости меня, Зевс: ведь я еще ребенок.

Зевс. Ты ребенок? Ведь ты, Эрот, на много лет старше Иапета. Оттого, что у тебя нет бороды и седых волос, ты хочешь считаться ребенком, хотя ты старик и притом негодяй?

Эрот. Чем же, по-твоему, я, старик, обидел тебя так сильно, что ты хочешь меня связать?

Зевс. Посмотри сам, бесстыдник, мало ли ты меня обидел: ведь ты так издеваешься надо мной, что нет ничего, во что ты не заставил меня превратиться: ты делал меня сатиром, быком, золотом, лебедем, орлом! А ни одной женщины не заставил влюбиться в меня, ни одной я при твоём содействии не понравился, и должен прибегать к колдовству, должен скрывать себя. Они же влюбляются в быка или в лебедя, а когда увидят меня, умирают от страха.

2. Эрот. Это вполне естественно: они, как смертные, не переносят твоего вида, Зевс.

Зевс. Отчего же Аполлона любят Бранх и Гиацинт?

Эрот. Однако Дафна бежала от него, хотя у него длинные волосы и нет бороды. Если ты хочешь нравиться, то не потрясай эгидой, не носи с собой молнии, а придай себе возможно более приятный вид, прибрав с обеих сторон свои курчавые волосы и надев на голову повязку; носи пурпуровое платье, золотые сандалии, ходя изящной поступью под звуки флейты и тимпанов, и тогда ты увидишь, что у тебя будет больше спутниц, чем менад у Диониса.

Зевс. Убирайся! Не хочу нравиться, если для этого нужно сделаться таким.

Э р о т. В таком случае, Зевс, не стремись больше к любви: это ведь нетрудно.

З е в с. Нет, от любви я не откажусь, но хочу, чтоб это мне стоило меньше труда; под этим условием отпускаю тебя.

3

Зевс и Гермес

1. З е в с. Гермес, ты знаешь красавицу-дочь Инаха?

Г е р м е с. Знаю; ты ведь говоришь об Ио.

З е в с. Представь себе: она больше не девушка, а телка.

Г е р м е с. Вот чудо! Каким же образом произошло это превращение?

З е в с. Превратила ее Гера, из ревности. Но этого мало: она придумала для несчастной девушки новое мучение: приставила к ней многоглазого пастуха, Аргосом зовут его — и вот он неусыпно стережет телку.

Г е р м е с. Что же нам делать?

З е в с. Лети в Немею: там пасет ее Аргос; его убей, а Ио проводи через море в Египет и сделай ее Изидой. Пусть она там впредь будет богиней, производит разливы Нила, распоряжается ветрами и охраняет моряков.

4

Зевс и Ганимед

1. З е в с. Ну вот, Ганимед, мы пришли на место. Поцелуй меня, чтобы убедиться, что у меня нет больше кривого клюва, ни острых когтей, ни крыльев, как раньше, когда я казался тебе птицей.

Г а н и м е д. Разве ты, человек, не был только что орлом? Разве ты не слетел с высоты и не похитил меня из середины моего стада? Как же это так вдруг исчезли твои крылья и вид у тебя стал совсем другой?

З е в с. Милый мальчик, я не человек и не орел, а царь всех богов, и превратился в орла только потому, что для моей цели это было удобно.

Г а н и м е д. Как же? Ты и есть тот самый Пан? Отчего же у тебя нет свирели, нет рогов и ноги у тебя не косматые?

З е в с. Так, значит, ты думаешь, что кроме Пана нет больше богов?

Г а н и м е д. Конечно! Мы всегда приносим ему в жертву нехолощенного козла у пещеры, где он стоит. А ты, наверно, похитил меня, чтобы продать в рабство?

2. З е в с. Неужели ты никогда не слышал имени Зевса и никогда не видал на Гаргаре алтаря бога, посылающего дождь, гром и молнию?

Г а н и м е д. Так это ты, милейший, послал нам недавно такой ужасный град? Это про тебя говорят, что ты живешь на небе и производишь там шум? Значит, это тебе отец принес в жертву барана? Но что же я сделал дурного? За что ты меня похитил, царь богов? Мои овцы остались одни; на них, наверно, нападут волки.

З е в с. Ты еще беспокоишься об овцах? Пойми, что сделался бессмертным и останешься здесь вместе с нами.

Г а н и м е д. Как же? Ты меня сегодня не отведешь обратно на Иду?

З е в с. Нет! Мне тогда незачем было бы из бога делаться орлом.

Г а н и м е д. Но отец станет меня искать и, не находя, будет сердиться, а завтра побьет меня за то, что я бросил стадо.

З е в с. Да он тебя больше не увидит.

3. Г а н и м е д. Нет, нет! Я хочу к отцу. Если ты отведешь меня обратно, то обещаю, что он принесет тебе в жертву барана, как выкуп за меня; у нас есть один трехлетний, большой, — он ходит вожаком стада.

З е в с. Как этот мальчик прост и невинен! Настоящий ребенок! Послушай, Ганимед, все это ты брось и позабудь обо всем, о стаде и об Иде. Ты теперь небожитель — и отсюда можешь много добра ниспослать отцу и родине. Вместо сыра и молока ты будешь есть амбросию и пить нектар; его ты будешь всем нам разливать и подавать. А что всего важнее: ты не будешь больше человеком, а сделаешься бессмертным, звезда одного с тобой имени засияет на небе, — одним словом, тебя ждет полное блаженство.

Г а н и м е д. А если мне захочется поиграть, то кто будет играть со мной? На Иде у меня было много товарищей.

З е в с. Здесь с тобой будет играть Эрот, видишь его? А я дам тебе много-много бабок для игры. Будь только бодр и весел и не думай о том, что осталось внизу.

4. Г а н и м е д. Но на что я вам здесь пригожусь? Разве и здесь надо будет пасти стадо?

З е в с. Нет, ты будешь нашим виночерпием, будешь разливать нектар и прислуживать нам за столом.

Г а н и м е д. Это нетрудно: я знаю, как надо наливать и подавать чашку с молоком.

З е в с. Ну вот, опять он вспоминает молоко и думает, что ему придется прислуживать людям! Пойми, что мы сейчас на самом небе, и пьем мы, я говорил тебе уже, нектар.

Г а н и м е д. Это вкуснее молока?

З е в с. Скоро узнаешь и, попробовав, не захочешь больше молока.

Г а н и м е д. А где я буду спать ночью? Вместе с моим товарищем Эротом?

З е в с. Нет, для того-то я тебя и похитил, чтобы мы спали вместе.

Г а н и м е д. Ты не можешь один спать и думаешь, что тебе будет приятнее со мной?

З е в с. Конечно, с таким красавцем, как ты.

Г а н и м е д. Какая же может быть от красоты польза для сна?

З е в с. Красота обладает каким-то сладким очарованием и делает сон приятнее.

Г а н и м е д. А мой отец, как раз наоборот, сердился, когда спал со мной, и утром рассказывал, что я не даю ему спать, ворочаюсь и толкаю его и что-то говорю сквозь сон; из-за этого он обыкновенно посылал меня спать к матери. Смотри, если ты меня похитил для этой цели, то лучше верни обратно на Иду, а то тебе не будет сна от моего постоянного ворочания.

З е в с. Это именно и будет мне приятнее всего; я хочу проводить с тобой ночи без сна, целуя тебя и обнимая.

Г а н и м е д. Как знаешь! Я буду спать, а ты можешь целовать меня.

З е в с. Когда придет время, мы сами увидим, как нам быть. Гермес, возьми его теперь с собой, дай ему испить бессмертия, научи, как надо подавать кубок, и приведи к нам на пир.

5

Гера и Зевс

1. Г е р а. С тех пор как ты похитил с Иды и привел сюда этого фригийского мальчишку, ты охладел ко мне, Зевс.

З е в с. Гера, ты ревнуешь даже к этому невинному и безобидному мальчику? Я думал, что ты ненавидишь только женщин, которые сходились со мной.

2. Г е р а. Конечно, и это очень дурно и неприлично, что ты, владыкя всех богов, оставляешь меня, твою законную супругу, и сходишь на землю для любовных походов, превращаясь то в золото, то в сатира, то в быка. Но те, по крайней мере, остаются у себя на земле, а этого ребенка, почтеннейший из орлов, ты с Иды похитил и принес на небо, и вот, свалившись мне на голову, он живет с нами и на словах является виночерпием. Очень уж тебе не хватало виночерпия: разве Геба и Гефест отказались нам прислуживать? Нет, дело в том, что ты не принимаешь от него кубка иначе, как поцеловав его на глазах у всех, и этот поцелуй для тебя слаще нектара; поэтому ты часто требуешь питья, совсем не чувствуя жажды. Бывает, что, отдавая лишь немножко, ты возвращаешь мальчику кубок, даешь ему испить и, взяв у него кубок, выпиваешь то, что осталось, когда он пил, губы прикладывая к тому месту, которого он коснулся, чтобы таким образом в одно время и пить, и целовать. А на днях ты, царь и отец всех богов, отложив в сторону эгиду и перун, уселся с ним играть в бабки, — ты, с твоей большой бородой! Не думай, что все это так и проходит незамеченным: я все прекрасно вижу.

3. З е в с. Что же в этом ужасного, Гера, поцеловать во время питья такого прекрасного мальчика и наслаждаться одновременно и поцелуем,

и нектаром? Если я ему прикажу хоть раз поцеловать тебя, ты не станешь больше бранить меня за то, что я ценю его поцелуй выше нектара.

Г е р а. Ты говоришь как развратитель мальчиков. Надеюсь, что я до такой степени не лишусь ума, чтобы позволить коснуться моих губ этому изнеженному, женоподобному фригийцу.

З е в с. Почтеннейшая, перестань бранить моего любимца; этот женоподобный, изнеженный варвар для меня милее и желаннее, чем... Но я не хочу договаривать, не стану раздражать тебя больше.

4. Г е р а. Мне все равно, хоть женись на нем; я только тебе напоминаю, сколько оскорблений ты заставляешь меня сносить из-за твоего виночерпия.

З е в с. Да, конечно, за столом нам должен прислуживать твой хромым сын Гефест, приходящий прямо из кузницы, еще наполненный искрами и только что оставивший щипцы, а мы должны принимать кубок из его милых ручек и целовать при этом, — а ведь даже ты, его мать, не очень-то охотно поцеловала бы его, когда все его лицо вымазано сажей. Это приятнее, не правда ли? Такой виночерпий гораздо более подходит для пира богов, а Ганимеда следует отослать обратно на Иду: он ведь чист, и пальцы у него розовые, и он умело подает кубок, и, это тебя огорчает больше всего, целует слаще нектара.

5. Г е р а. Теперь Гефест у тебя и хром, и руки его недостойны твоего кубка, и вымазан он сажей, и при виде его тебя тошнит, и все с тех пор, как на Иде вырос этот кудрявый красавец; прежде ты ничего этого не видел, и ни искры, ни кузница не мешали тебе принимать от Гефеста напиток.

З е в с. Гера, ты сама себя мучаешь, — вот все, чего ты достигаешь, а моя любовь к мальчику только увеличивается от твоей ревности. А если тебе противно принимать кубок из рук красивого мальчика, то пусть тебе прислуживает твой сын; а ты, Ганимед, будешь подавать напиток только мне и каждый раз будешь целовать меня дважды, один раз подавая, а второй — беря у меня пустой кубок. Что это? Ты плачешь? Не бойся: плохо придется тому, кто захочет тебя обидеть.

6

Гера и Зевс

1. Г е р а. Какого поведения, Зевс, Иксион?

З е в с. Человек он хороший и прекрасный товарищ на пиру; он не находился бы в обществе богов, если бы не был достоин возлежать за нашим столом.

Г е р а. Именно как раз недостойн: он бесстыдник, и нельзя ему общаться с нами.

Зевс. Что же он такого сделал? Я думаю, что мне тоже нужно знать об этом.

Герас. Что же, как не... Но мне стыдно сказать, на такое дело он решился.

Зевс. Тем более ты должна мне все сказать, если его поступок так позорен. Не хотел ли он соблазнить кого-нибудь? Я догадываюсь, в каком роде этот позорный поступок, о котором тебе неловко говорить.

2. Герас. Меня хотел он соблазнить, Зевс, — меня, а не какую-нибудь другую, и это началось уже давно. Сперва я не понимала, отчего он так пристально, не отводя глаз, смотрел на меня: он при этом вздыхал и глаза его наполнялись слезами. Если я, испив, отдавала Ганимеду кубок, он требовал, чтобы для него налили в него же, и, взяв кубок, целовал его и прижимал к глазам и опять смотрел на меня, — тогда я стала понимать, что он делает все это из-за любви. Я долго стыдилась рассказать тебе об этом и думала, что его безумие пройдет. Но вот он осмелился уже прямо объяснить мне в любви; тогда я, оставив его лежащим на земле в слезах, зажала уши, чтобы не слышать оскорбительных молений, и пришла к тебе рассказать все. Реши теперь сам, как наказать этого человека.

3. Зевс. Вот как! Негодяй! Против меня пошел и посягнул на святость брака с Герой? До такой степени опьянел от нектара? Мы сами виноваты: мы слишком далеко зашли в нашей любви к людям, делая их своими сотрапезниками. Людей нельзя винить за то, что, отведав нашего напитка и увидев небесные красоты, каких никогда не видали на земле, они пожелали вкусить их, объятые любовью; а любовь ведь — большая сила и владеет не только людьми, но иногда и нами.

Герас. Тобой любовь действительно владеет и водит, как говорится, за нос, куда захочет, и ты идешь, куда ни поведет тебя, и беспрекословно превращаешься, во что ни прикажет она. Ты настоящий раб и игрушка любви. Да и сейчас я прекрасно понимаю, почему ты прощаешь Иксиона: ты ведь сам когда-то соблазнил его жену, и она родила тебе Пиритоя.

4. Зевс. Ты еще помнишь все мои шалости на земле? Но знаешь, что я сделаю с Иксионом? Не будем его наказывать и гнать из нашего общества: это неудобно. Если он влюблен и плачет, говоришь ты, и очень страдает...

Герас. Что же тогда? Не хочешь ли и ты сказать что-нибудь оскорбительное?

Зевс. Да нет же. Мы сделаем из тучи призрак, совсем похожий на тебя; когда пир окончится, и он, по обыкновению, будет лежать, не смыкая глаз от любви, опустим этот призрак к нему на ложе. Таким образом он перестанет страдать, думая, что достиг утоления своих желаний.

Герас. Перестань! Пусть он погибнет за то, что сделал предметом своих желаний тех, кто выше его.

Зевс. Согласись, Герас. Что же ты потеряешь от того, что Иксион овладеет тучей?

5. Герас. Но ведь ему-то будет казаться, что туча — это я; сходство ведь будет полное, так что свой позорный поступок он совершит как бы надо мной.

Зевс. Не говори глупостей! Никогда туча не будет Герой, а Гера тучей; только один Иксион будет обманут.

Гера. Но люди грубы и невежественны. Вернувшись на землю, он, пожалуй, станет хвастаться и расскажет всем, что разделял ложе с Герой, пользуясь правами Зевса; он, чего доброго, скажет даже, что я в него влюбилась, а люди поверят, не зная, что он провел ночь с тучей.

Зевс. А если скажет он что-нибудь подобное — тогда другое дело: он будет брошен в Аид, привязан к колесу и будет всегда вращаться на нем, терпя непрекращающиеся муки в наказание не за любовь — в этом нет ничего дурного, — а за хвастовство.

7

Гефест и Аполлон

1. Гефест. Аполлон, ты видел новорожденного ребенка Майи? Как он красив! И всем улыбается. Из него выйдет что-нибудь очень хорошее: это уже видно.

Аполлон. Ты ожидаешь много хорошего от этого ребенка? Да ведь он старше Иапета, если судить по его бессовестным проделкам!

Гефест. Что же дурного мог сделать новорожденный ребенок?

Аполлон. Спроси Посейдона, у которого он украл трезубец, или Ареса: у него он тайком вытащил меч из ножен; не говоря уже обо мне, у которого он стащил лук и стрелы.

2. Гефест. Как! Новорожденный ребенок, еще с трудом держащийся на ногах?

Аполлон. Сам можешь убедиться, Гефест, пусть он только к тебе подойдет.

Гефест. Ну, вот он и подошел.

Аполлон. Что же? Все твои орудия на месте? Ничего не пропало?

Гефест. Все на месте, Аполлон.

Аполлон. Посмотри хорошенько.

Гефест. Клянусь Зевсом, я не вижу щипцов!

Аполлон. Увидишь их — в пеленках мальчика.

Гефест. Вот ловкий на руку! Словно он уже в утробе матери изучил воровское искусство.

3. Аполлон. Ты не слышал еще, как он уже говорит, быстро и красноречиво. И прислуживать нам уже начинает. Вчера он вызвал Эрота на борьбу и в один миг победил его, не знаю каким образом подставив ему подножку; а потом, когда все стали его хвалить и Афродита взяла его за победу к себе на руки, он украл у нее пояс, а у Зевса, пока он смеялся, стащил скипетр; и если бы перун не был слишком тяжел и не был таким огненным, он, наверно, стащил бы и его.

Гефест. Да это какой-то чудесный мальчик!

Аполлон. Мало того: он уже и музыкант.

Гефест. А это ты из чего заключаешь?

4. Аполлон. Нашел он где-то мертвую черепаху — и вот сделал себе из нее музыкальный инструмент: прикрепил два изогнутых бруса, соединил их перекладной, вбил колки, вставил кобылку, натянул семь струн и стал играть очень складно, Гефест, и умело, так что мне приходится завидовать ему, а ведь сколько времени я уже упражняюсь в игре на кифаре! Это еще не все: Мая рассказывала, что он ночью не остается на небе, а от нечего делать спускается в преисподнюю, очевидно с тем, чтобы и оттуда что-нибудь стащить. И крылья есть у него, и он сделал какой-то жезл, обладающий чудесной силой; с его помощью он ведет души и спускает умерших в подземное царство.

Гефест. Я дал ему этот жезл поиграть.

Аполлон. За это он прекрасно отблагодарил тебя: щипцы...

Гефест. Хорошо, что ты мне напомнил. Пойду отберу у него щипцы, если, как ты говоришь, они спрятаны в его пеленках.

8

Гефест и Зевс

1. Гефест. Что мне прикажешь делать, Зевс? Я пришел по твоему приказанию, захватив с собой топор, очень сильно наточенный, — если понадобится, он камень разрубит одним ударом.

Зевс. Прекрасно, Гефест; ударь меня по голове и разруби ее пополам.

Гефест. Ты, кажется, хочешь убедиться, в своем ли я уме? Прикажи мне сделать то, что тебе действительно нужно.

Зевс. Мне нужно именно это — чтобы ты разрубил мне череп. Если ты не послушаешься, тебе придется, уже не в первый раз, почувствовать мой гнев. Нужно бить изо всех сил, не медля! У меня невыносимые родильные боли в мозгу.

Гефест. Смотри, Зевс, не вышло бы несчастья: мой топор остер, — без крови дело не обойдется, — и он не будет тебе такой хорошей повивальной бабкой, как Илития.

Зевс. Ударь смело, Гефест; я знаю, что мне нужно.

Гефест. Что же, ударю, не моя воля; что мне делать, когда ты приказываешь? Что это такое? Дева в полном вооружении! Тяжелая штука сидела у тебя в голове, Зевс; не удивительно, что ты был в дурном расположении духа: носить под черепом такую большую дочь, да еще в полном вооружении, это не шутка. Что же у тебя, военный лагерь вместо головы? А она уже скачет и пляшет военный танец, потрясает щитом, поднимает

копье и вся сияет от божественного вдохновения. Но, главное, она настоящая красавица, и в несколько мгновений сделалась уже взрослой. Только глаза у нее какие-то серовато-голубые, — но это хорошо идет к шлему. Зевс, в награду за мою помощь при родах позволь мне на ней жениться.

Зевс. Это невозможно, Гефест: она пожелает вечно оставаться девой. А что касается меня, то я ничего против этого не имею.

Гефест. Только это мне и нужно; я сам позабочусь об остальном и постараюсь с ней справиться.

Зевс. Если это тебе кажется легким, делай, как знаешь, только уверяю тебя, что ты желаешь неисполнимого.

9

Посейдон и Гермес

1. Посейдон. Гермес, можно повидать Зевса?

Гермес. Нельзя, Посейдон.

Посейдон. Все-таки ты доложи.

Гермес. Не настаивай, пожалуйста: сейчас неудобно, ты с ним не можешь увидаться.

Посейдон. Он, может быть, сейчас с Герой?

Гермес. Нет, совсем не то.

Посейдон. Понимаю: у него Ганимед.

Гермес. И не это тоже: он нездоров.

Посейдон. Что с ним, Гермес? Ты меня пугаешь.

Гермес. Это такая вещь, что мне стыдно сказать.

Посейдон. Нечего тебе стыдиться: я ведь твой дядя.

Гермес. Он, видишь ли, только что родил.

Посейдон. Что такое? Он родил? От кого же? Неужели он двуполое существо, и мы ничего об этом не знали? По его животу совсем ничего не было заметно.

Гермес. Это правда; но плод-то был не здесь.

Посейдон. Понимаю: он опять родил из головы, как некогда Афину. Плодовитая же у него голова!

Гермес. Нет, на этот раз он в бедре носил ребенка от Семелы.

Посейдон. Вот молодец! Какая необыкновенная плодовитость! И во всех частях тела! Но кто такая эта Семела?

2. Гермес. Фиванка, одна из дочерей Кадма. Он с ней сошелся, и она забеременела.

Посейдон. И теперь он родил вместо нее?

Гермес. Да, это так, хоть и кажется тебе невероятным. Дело в том, что Гера, ты знаешь ведь, как она ревнива, пришла тайком к Семеле и убедила ее потребовать от Зевса, чтобы он явился к ней с громом и молнией.

Зевс согласился и пришел, взяв с собой перун, но от этого загорелся дом, и Семела погибла в пламени. Тогда Зевс приказал мне разрезать живот несчастной женщины и принести ему еще не созревший, семимесячный плод; когда же я исполнил это, он разрезал свое бедро и положил туда плод, чтобы он там созрел. И вот теперь, на третий месяц, он родил ребенка и чувствует себя нездоровым от родильных болей.

П о с е й д о н. Где же сейчас этот ребенок?

Г е р м е с. Я отнес его в Нису и отдал нимфам на воспитание; назвали его Дионисом.

П о с е й д о н. Так значит, мой брат приходится этому Дионису одновременно и матерью, и отцом?

Г е р м е с. Так выходит. Но я пойду: надо принести ему воды для раны и сделать все, что нужно при уходе за родильницей.

10

Гермес и Гелиос

1. Г е р м е с. Гелиос, Зевс приказывает, чтобы ты не выезжал ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, но оставался бы дома, и да будет все это время одна долгая ночь. Пусть же Горы распрягут твоих коней, а ты потуши огонь и отдохни за это время.

Г е л и о с. Ты мне принес совсем неожиданное и странное приказание. Не считает ли Зевс, что я неправильно совершал свой путь, позволил, быть может, коням выйти из колеи, и за это рассердился на меня и решил сделать ночь в три раза длиннее дня?

Г е р м е с. Ничего подобного! И все это устраивается не навсегда: ему самому нужно, чтобы эта ночь была длиннее.

Г е л и о с. Где же он теперь? Откуда послал тебя ко мне с этим приказанием?

Г е р м е с. Из Беотии, от жены Амфитриона: он с любовью разделяет с ней ложе.

Г е л и о с. Так разве ему мало одной ночи?

Г е р м е с. Мало. Дело в том, что от этой связи должен родиться некто великий, который совершит множество подвигов, и вот его-то в одну ночь изготовить невозможно!

2. Г е л и о с. Пусть себе изготавливает, в добрый час! Только во время Крона этого не бывало, Гермес, — нас здесь никто не слушает: он никогда не бросал ложа Реи, не уходил с неба с тем, чтобы проводить ночь в Фивах. Нет, тогда день был днем, ночь по числу часов ему в точности соответствовала, — не было ничего странного, никаких изменений, да и Крон никогда в жизни не имел дела со смертной женщиной. А теперь что? Из-за одной жалкой женщины все должно перевернуться вверх дном, лошади

должны от бездействия стать неповоротливыми, дорога — сделаться неудобной для езды, оставаясь пустой три дня подряд, а несчастные люди должны жить в темноте. Вот все, что они выиграют от любовных похождений Зевса; им придется сидеть и выжидать, пока под покровом глубокого мрака будет изготовлен твой великий атлет.

Г е р м е с. Замолчи, Гелиос, а то тебе может плохо прийти за такие речи. А я теперь пойду к Селене и Сну и сообщу им приказания Зевса: Селена должна медленно подвигаться вперед, а Сон — не выпускать людей из своих объятий, чтобы они не заметили, что ночь стала такой длинной.

11

Афродита и Селена

1. А ф р о д и т а. Что это, говорят, ты делаешь, Селена? Ты, достигнув пределов Кариин, останавливаешь свою колесницу и смотришь вниз на Эндимиона, спящего под открытым небом, так как он охотник. А иногда ты посредине дороги даже спускаешься к нему на землю.

С е л е н а. Спроси твоего сына, Афродита: он во всем этом виноват.

А ф р о д и т а. Вот как! Да, он действительно большой бездельник. Подумай только, что он проделывал со мной, своей собственной матерью! То водил меня на Иду к троянцу Анхису, то на Ливан к тому, знаешь, ассирийскому юноше, любовь которого я, вдобавок, должна была разделять с Персефоной: он ведь и ее заставил в него влюбиться. Я много раз уже грозила Эроту, что если он не прекратит своих проделок, я поломаю его лук и колчан и обрежу ему крылья, — один раз даже я его отшлепала по заднице сандалией. А он — странное дело! — сразу начинает бояться меня и просит не наказывать, а в следующее мгновение уже забывает обо всем.

2. Но, скажи мне, красив ли этот Эндимион? Ведь тогда это большое утешение в несчастии.

С е л е н а. Мне он кажется необычайно красивым, Афродита. В особенности когда он, разостлав на скале свой плащ, спит, держа в левой руке дротик, выскальзывающие незаметно у него из руки, а правая, загнутая вверх около головы, красиво обрамляет лицо. Так лежит он, объятый сном, и дышит своим небесным дыханием. Тогда я бесшумно спускаюсь на землю, иду на цыпочках, чтобы не разбудить и не напугать его... Что следует дальше, ты сама знаешь, мне незачем тебе говорить. Одно знаю: я погибаю от любви.

12

Афродита и Эрот

1. *А ф р о д и т а*. Эрот, дитя мое, смотри, что ты творишь! Я не говорю уже о том, что ты творишь на земле, какие вещи заставляешь людей делать с собой и с другими, но подумай, как ты ведешь себя на небе! Зевс по твоей воле превращается во все, что тебе ни вздумается, Селену ты низводишь с неба на землю, — а сколько раз случилось, что Гелиос по твоей милости оставался у Климены, забывая про коней и колесницу; а со мной, твоей родной матерью, ты совсем уж не стесняешься. И ведь ты уже дошел до такой дерзости, что даже Рею, в ее преклонных летах, мать стольких богов, заставил влюбиться в мальчика, в молодого фригийца. И вот она, благодаря тебе, впала в безумие: впрягла в свою колесницу львов, взяла с собой корибантов, таких же безумцев, как она сама, и они вместе мечутся сверху донизу по всей Иде: она скорбно призывает своего Аттиса, а из корибантов один ранит мечом себе руки, другой с распущенными по ветру волосами мчится в безумии по горам, третий трубит в рог, четвертый ударяет в тимпан или кимвал; все, что творится на Иде, это сплошной крик, шум и безумие. А я боюсь, — мать, родившая тебя на горе всему свету, должна всегда бояться за тебя, — боюсь, как бы Рея в порыве безумия, или, скорее, напротив — придя в себя, не отдала приказа своим корибантам схватить тебя и разорвать на части или бросить на съедение львам; ведь ты подвержен этой опасности постоянно.

2. *Э р о т*. Успокойся, мама, — я даже с этими львами в хороших отношениях: часто влезаю им на спину и правлю ими, держась за гриву, а они виляют хвостами, позволяют мне совать им в пасть руку, лижут ее и отпускают. А сама Рея вряд ли найдет время обратить на меня внимание, так как она совершенно занята своим Аттисом. Но, в самом деле, что же я дурного делаю, обращая глаза всех на красоту? Отчего же тогда вы все стремитесь к красоте? Меня в этом винить не следует. Сознайся, мама: хотела бы ты, чтобы ты и Арес никогда друг друга не любили?

А ф р о д и т а. Да, ты могуч и владеешь всеми; но все-таки тебе придется когда-нибудь вспомнить мои слова.

13

Зевс, Асклепий и Геракл

1. *З е в с*. Асклепий и Геракл, перестаньте спорить друг с другом, как люди! Это неприлично и недопустимо на пиру богов.

Г е р а к л. Зевс, неужели ты позволишь этому колдуну возлежать выше меня?

А с к л е п и й. Клянусь Зевсом, так и должно быть: я это заслужил больше тебя.

Г е р а к л. Чем же, ты, пораженный молнией? Не тем ли, что Зевс убил тебя за то, что ты делал недозволенное, и что только из жалости тебе дали теперь бессмертие?

А с к л е п и й. Ты, Геракл, кажется, уже позабыл, как сам горел на Эте, иначе ты не попрекал бы меня огнем.

Г е р а к л. Да, но жизнь моя уж во всяком случае не похожа на твою. Я — сын Зевса, я совершил столько подвигов, очищая мир от чудовищ, сражаясь с дикими зверями и наказывая преступных людей! А ты что? Знахарь и бродяга! Быть может, ты и сумеешь помочь больному какими-нибудь своими лекарствами, но совершить подвиг, достойный мужа, — этим ты не можешь похвастаться.

2. А с к л е п и й. Ты не говоришь о том, как я вылечил тебя, совсем еще недавно, когда ты прибыл к нам наполовину изжаренный, с телом, обожженным сперва злосчастливым хитомом, а потом огнем. Если даже не говорить ни о чем другом, то с меня достаточно уже того, что я не был рабом, как ты, не чесал шерсти в Лидии, одетый в женское платье, и Омфала не била меня золотой сандалией; я в припадке безумия не убил детей и жены.

Г е р а к л. Если ты не перестанешь оскорблять меня, я тебе сейчас покажу, что твое бессмертие не много тебе поможет: схвачу тебя и брошу с неба головой вниз, так что даже сам Пэан не сумеет починить твой разбитый череп.

З е в с. Довольно, слышите вы! Не мешайте нашему собранию, а не то я вас обоих прогоню с пира; однако, Геракл: приличие требует, чтобы Асклепий возлежал выше тебя — он ведь умер раньше.

14

Гермес и Аполлон

1. Г е р м е с. Отчего так мрачен, Аполлон?

А п о л л о н. Ах, Гермес! Несчастье преследует меня в любовных делах.

Г е р м е с. Да, это действительно грустно. Но что именно огорчает тебя? Не случай ли с Дафной все еще тебя мучит?

А п о л л о н. Нет, не то; я оплакиваю моего любимца, сына Эбала из Лаконии.

Г е р м е с. Что такое? Разве Гиацинт умер?

А п о л л о н. Да, к сожалению.

Г е р м е с. Кто же его погубил? Разве нашелся такой бесчувственный человек, который решился убить этого прекрасного юношу?

Аполлон. Я сам его убил.

Гермес. Ты впал в безумие, Аполлон?

Аполлон. Нет, это несчастье произошло против моей воли.

Гермес. Каким же образом? Скажи мне, я хочу знать.

2. Аполлон. Он учился метать диск, и я бросал вместе с ним. А Зефир, проклятый ветер, давно был влюблен в него, но без всякого успеха, и не мог перенести того, что мальчик не обращает на него никакого внимания. И вот, когда я, по обыкновению, бросил диск вверх, Зефир подул с Тайгета и понес диск прямо на голову мальчика, так что от удара хлынула струя крови, и мой любимец умер на месте. Я бросился в погоню за Зефиром, пуская в него стрелы, и преследовал его вплоть до самых гор. Мальчику же я воздвиг курган в Амиклах на том месте, где поразил его диск, и заставил землю произвести из его крови чудный цветок; этот цветок прекраснее всех цветов мира, Гермес, и на нем видны знаки, выражающие плач по умершему. Разве я не прав, томясь скорбью?

Гермес. Нет, Аполлон: ты знал, что сделал своим любимцем смертного; так не следует тебе страдать из-за того, что он умер.

15

Гермес и Аполлон

1. Гермес. Подумай только, Аполлон: он хром, ремесло у него презренное, и все-таки получил в жены красивейших из богинь — Афродиту и Хариту.

Аполлон. Везет ему, Гермес! Меня удивляет только одно: как они могут с ним жить, в особенности, когда видят, как с него струится пот, как все лицо у него вымазано сажей от постоянного заглядывания в печь. И, несмотря на это, они обнимают его, целуют и спят с ним.

Гермес. Это и меня злит и заставляет завидовать Гефесту. Ты, Аполлон, можешь преспокойно носить длинные волосы, играть на кифаре, можешь сколько угодно гордиться своей красотой, а я — моей стройностью и игрой на лире: все равно, когда придет время сна, мы ляжем одни.

2. Аполлон. Я вообще несчастлив в любви: больше всех я любил Дафну и Гиацинта, и вот Дафна так возненавидела меня, что предпочла скорее превратиться в дерево, чем быть моей, а Гиацинта я сам убил диском; теперь у меня вместо них обоих — венки.

Гермес. Я, признаться, однажды уже Афродиту... Но не буду хвастаться.

Аполлон. Знаю, — и говорят, что она родила тебе Гермафродита. А ты скажи мне вот что, если знаешь: как это происходит, что Афродита и Харита не ревнуют одна другую?

З. Г е р м е с. Оттого, Аполлон, что Харита живет с ним на Лемносе, а Афродита — на небе; да кроме того, она так занята своим Аресом и так влюблена в него, что ей не очень-то много дела до нашего кузнеца.

А п о л л о н. Как ты думаешь, Гефест знает об этом?

Г е р м е с. Знает; но что же ему поделать с таким благородным и воинственным юношей? Он предпочитает сидеть тихо; но зато грозит смастерить какие-то сети, в которые думает поймать их обоих на ложе.

А п о л л о н. Увидим. А я бы с удовольствием согласился быть пойманным...

16

Гера и Латона

1. Г е р а. Нечего сказать, Латона, прекрасных детей родила ты Зевсу!

Л а т о н а. Не всем же, Гера, дано производить на свет таких детей, как твой Гефест.

Г е р а. Во всяком случае, он, хотя и хром, все-таки полезен: он искусный мастер, разукрасил нам все небо, женился на Афродите и пользуется у нее большим уважением. А твои дети каковы? Дочь мужеподобна сверх меры и обитательница гор, а в последнее время ушла в Скифию и там — всем известно — питается, убивая чужестранцев и подражая нравам людоедов-скифов. Аполлон же притворяется всезнающим: он и стрелок, и кифарист, и лекарь, и прорицатель; открыл себе прорицательские заведения — одно в Дельфах, другое в Кларе, третье в Дидимах — и обманывает тех, кто к нему обращается, отвечая на вопросы всегда темными и двусмысленными изречениями, чтобы таким образом оградить себя от ошибок. И он при этом порядочно наживает: на свете много глупых людей, которые дают обманывать себя. Зато более разумные люди прекрасно понимают, что ему нельзя верить; ведь сам прорицатель не знал, что убьет диском своего любимца, и не предсказал себе, что Дафна от него убежит, хотя он так красив и у него такие прекрасные волосы. В самом деле, я не понимаю, почему ты считала, что твои дети прекраснее детей Ниобы?

2. Л а т о н а. О, янисколько не удивляюсь, что мои дети — дочь, убивающая чужестранцев, и сын-лжепророк — огорчают тебя, когда ты видишь их среди богов и в особенности когда ее все восхваляют за красоту, а он во время пира играет на кифаре, возбуждая всеобщий восторг.

Г е р а. Я не могу удержаться от смеха, Латона. Он возбуждает восторг, он, с которого, если бы Музы судили справедливо, Марсий, наверно, содрал бы кожу, победив его в музыкальном состязании! К сожалению, несчастному Марсию самому пришлось погибнуть из-за пристрастного суда. А твоя прекрасная дочь так прекрасна, что, узнав, что Актеон ее видел, напустила на него своих собак, из страха, чтобы он не рассказал

всем об ее безобразии. Я уж не стану говорить о том, что она не помогала бы родильницам, если бы сама была девой.

Л а т о н а. Очень уж ты гордишься, Гера, тем, что живешь с самим Зевсом и царствуешь вместе с ним. Но погоди немного: придет время, и я опять увижу тебя плачущей, когда Зевс оставит тебя одну, а сам сойдет на землю, превратившись в быка или в лебедя.

17

Аполлон и Гермес

1. А п о л л о н. Чего ты смеешься, Гермес?

Г е р м е с. Ах, Аполлон, потому, что видел такое смешное!

А п о л л о н. Расскажи-ка, — я сам хочу посмеяться.

Г е р м е с. Гефест поймал Афродиту с Аресом и связал их вместе на ложе.

А п о л л о н. Как же он это сделал? Ты, кажется, можешь рассказать что-то очень забавное.

Г е р м е с. Я думаю, он знал об их связи уже давно и следил за ними; и вот сегодня, прикрепив к ложу невидимые сети, он ушел в свою кузницу. Пришел Арес, думая, что никто его не заметил, но Гелиос его видел и донес Гефесту. Тем временем Арес с Афродитой легли на ложе и только что принялись за дело, как попали в сети и почувствовали себе крепко связанными. Тогда явился Гефест. Афродита, совсем обнаженная, не знала, чем прикрыть свою наготу, а Арес сначала пытался было бежать, думая, что ему удастся разорвать сети, но вскоре, поняв, что это невозможно, стал умолять освободить его.

2. А п о л л о н. Что же? Освободил их Гефест?

Г е р м е с. Нет, он созвал богов поглядеть на их прелюбодеяние; а они, оба обнаженные, совсем пали духом и лежали связанные вместе, краснея от стыда. Они представляют, кажется мне, приятнейшее зрелище: ведь у них почти что вышло дело...

А п о л л о н. И наш кузнец не стыдится показывать всем позор своего брака?

Г е р м е с. Клянусь Зевсом, он стоит над ними и хохочет. А мне, правду говоря, показалась завидной судьба Ареса: не говорю уже о том, чего стоит обладание прекраснейшей из богинь, но и быть связанным с ней вместе — тоже хорошее дело.

А п о л л о н. Ты, кажется, не прочь дать себя связать при таких условиях?

Г е р м е с. А ты, Аполлон? Пойдем туда: если ты их увидишь и не пожелаешь того же, я преклонюсь перед твоей добродетелью.

18

Гера и Зевс

1. *Г е р а*. Мне было бы стыдно, Зевс, если б у меня был сын такой женоподобный, преданный пьянству, щеголяющий в женской головной повязке, постоянно находящийся в обществе сумасшедших женщин, превосходя их своей изнеженностью и пляшущий с ними под звуки тимпанов, флейт и кимвалов; вообще он похож скорее на всякого другого, чем на тебя, своего отца.

З е в с. И тем не менее этот бог с женской прической, более изнеженный, чем сами женщины, не только завладел Лидией, покорил жителей Тмола и подчинил себе фракийцев, но пошел со своей женской ратью на Индию, захватил слонов, завоевал всю страну, взял в плен царя, осмелившегося ему сопротивляться, — и все это он совершил среди хороводов и пляски, с тирсами, украшенными плющом, пьяный, как ты говоришь, и объятый божественным безумием. А тех, кто осмелился оскорбить его, не уважая таинств, он сумел наказать, связав виноградной лозой или заставив мать преступника разорвать своего сына на части, как молодого оленя. Разве это не мужественные деяния и не достойные меня? А если он и окружающие его при этом преданы веселью и немного распущены, то невелика в том беда, в особенности когда подумаешь, каков он был бы в трезвом состоянии, если пьяный совершает такие подвиги.

2. *Г е р а*. Ты, кажется, не прочь похвалить Диониса и за его изобретение — виноградную лозу и вино, хотя сам видишь, какие вещи делают опьяненные, теряя самообладание, совершая преступления и прямо впадая в безумие под влиянием этого напитка. Вспомни, что Икария, который первый из людей получил от него в дар виноградную лозу, убили мотыгами собственные сотрапезники.

З е в с. Все это пустяки! Во всем виновато не вино и не Дионис, а то, что люди пьют, не зная меры, и, переходя всякие границы, без конца льют в себя вино, не смешанное с водой. А кто пьет умеренно, тот только становится веселее и любезнее и ни с одним из своих сотрапезников не сделает ничего похожего на то, что было сделано с Икарием. Но, Гера, ты, кажется, ревнуешь, не можешь забыть Семелы, и оттого бранишь прекраснейший из даров Диониса.

19

Афродита и Эрот

1. *А ф р о д и т а*. Что же это значит, Эрот? Ты поборол всех богов, Зевса, Посейдона, Аполлона, Рею, свою собственную мать, а щадишь одну

Афину: для нее твой факел не горит, в колчане нет у тебя стрел, ты перестаешь быть стрелком и не попадаешь в цель.

Э р о т. Я боюсь ее, мама: она страшная, глаза у нее такие блестящие, и она ужасно похожа на мужчину. Когда я, натянув лук, приближаюсь к Афине, она встряхивает султаном на шлеме и этим так меня пугает, что я весь дрожу, и лук и стрелы выпадают у меня из рук.

А ф р о д и т а. Да разве Арес не страшнее? А ты все-таки обезоружил его и победил.

Э р о т. Нет, он позволяет подойти к себе и даже сам зовет, а Афина всегда смотрит на меня исподлобья. Я как-то раз случайно пролетал мимо нее, держа близко факел, а она тотчас закричала: «Если ты ко мне подойдешь, то, клянусь отцом, я тебя проколю копьем или схвачу за ноги и брошу в Тартар, или собственными руками разорву на части!» И много еще грозила в том же духе. Смотрит она всегда сердито, а на груди у нее какое-то страшное лицо со змеями вместо волос; его я больше всего боюсь: оно всегда пугает меня, и я убегаю, как только увижу его.

2. А ф р о д и т а. Афины с ее Горгоной ты, значит, боишься, хотя несколько не боялся Зевса с его перуном. Но отчего же Музы для тебя неприкосновенны и застрахованы от твоих стрел? Разве и они встряхивают султанами и носят на своей груди Горгон?

Э р о т. Их я слишком уважаю, мама: они так степенны, всегда над чем-то думают и заняты песнями; я сам часто подолгу простаиваю подле них, очарованный их пением.

А ф р о д и т а. Ну, пусть их, если они так степенны. Но почему ты не стреляешь в Артемиду?

Э р о т. Ее я совсем поймать не могу: она все бежит по горам; к тому же, у нее есть своя собственная любовь.

А ф р о д и т а. Какая же, дитя?

Э р о т. Она влюблена в охоту, в оленей и ланей, за которыми постоянно гоняется, то ловя их, то убивая из лука; она вся только и занята этим. Но зато в ее брата, хоть он и сам стрелок и далеко разит...

А ф р о д и т а. Да, сынок, в него ты много раз попадал.

20

Суд Париса

Зевс, Гермес, Гера, Афина, Афродита, Парис или Александр

1. З е в с. Гермес, возьми это яблоко и отправляйся во Фригию к сыну Приама, который пасет стадо в горах Иды, на Гаргаре. Скажи ему вот что: «Тебе, Парис, Зевс поручает рассудить богинь, спорящих о том, которая из них наикрасивейшая: ты ведь сам красив и сведущ в делах любви; побе-

дившая в споре пусть получит это яблоко». Пора и вам, богини, отправляться на суд: я отказываюсь рассудить вас, так как люблю всех одинаково и хотел бы, если б это было возможно, видеть вас всех победительницами. К тому же, я уверен, что если присужу одной из вас награду за красоту, две остальные сделаются моими врагами. Оттого-то я не гоюсь вам в судьи; а этот фригийский юноша, к которому вы обратитесь, происходит из царского рода и родственник моему Ганимеду, — а впрочем, это простой, неспорченный житель гор, вполне достойный того зрелища, которое ждет его.

2. А ф р о д и т а. Что касается меня, Зевс, то я не колеблясь готова идти на суд, если бы даже ты поставил судьей самого насмешника — Мома: во мне ему никак не найти повода для насмешки. Но необходимо, чтобы избранный тобою судья понравился также им.

Г е р а. Мы тоже, Афродита, и не думаем бояться, даже если бы суд был поручен твоему Аресу. И против Париса, кто бы он ни был, мы ничего не имеем.

З е в с. Ну, а ты, дочка, тоже согласна? Что скажешь? Отворачиваешься и краснеешь? Вы, девушки, всегда краснеете, когда речь идет о таких вещах; но ты все-таки кивнула головой, — значит, согласна. Идите же; только смотрите, пусть побежденные не сердятся на судью и не делают бедному юноше зла: ведь невозможно, чтобы все были одинаково красивы.

3. Г е р м е с. Мы, значит, направимся прямо во Фригию; я вас поведу, а вы следуйте за мной и не отставайте. Идите смело: я знаю Париса; это очень красивый юноша и в любви знает толк; к такому суду он подходит как нельзя лучше и, наверно, рассудит вас справедливо.

А ф р о д и т а. Это все очень хорошо, а для меня особенно выгодно то, что судья справедлив. Ну, а как он, не женат еще или у него уже есть жена?

Г е р м е с. Нельзя сказать, чтобы он совсем был не женат.

А ф р о д и т а. Как же это?

Г е р м е с. С ним, кажется, живет одна женщина с Иды, ничего себе, но слишком деревенская, простая девушка с гор; он, кажется, не особенно сильно к ней привязан. Но зачем тебе это нужно знать?

А ф р о д и т а. Я так только спросила.

4. А ф и н а. Милейший, ты преступаешь свои полномочия, разговаривая с ней наедине.

Г е р м е с. Ничего дурного, Афина, ничего против вас; она спросила, женат ли Парис.

А ф и н а. Отчего же это ее так занимает?

Г е р м е с. Не знаю; она говорит, что спросила не с какою-нибудь целью, а так, случайно.

А ф и н а. Так как же, он женат?

Г е р м е с. Кажется, нет.

А ф и н а. Ну, а насчет военных подвигов? Любит ли он их, стремится ли к славе или же он только простой пастух?

Гермес. С уверенностью я тебе ответить не могу, но можно догадываться, что он, как человек молодой, стремится и к этому и хотел бы быть первым в битвах.

Афродита. Вот видишь, я не сержусь и не делаю тебе выговоров за то, что ты с ней разговариваешь наедине; это — дело не Афродиты, а тех, кто вечно ворчит.

Гермес. Она спросила меня приблизительно о том же, о чем и ты; не сердись и не думай, что терпишь обиду, если я и ей ответил совсем просто.

5. Но мы среди разговора и не заметили, что оставили далеко за собой звезды и находимся у самой Фригии. Я вижу уже Иду и весь Гаргар как на ладони и даже, если не ошибаюсь, вижу нашего судью Париса.

Гера. Где же он? Я ничего не вижу.

Гермес. Посмотри, Гера, туда, налево, не на вершину горы, а на ее склон, где видно пещеру и перед ней стадо.

Гера. Да я не вижу никакого стада.

Гермес. Как же? Не видишь коров, вот там, по направлению моего пальца? Они выходят из скал, а с горы бежит человек с посохом в руке и гонит стадо назад, не давая ему разбрестись.

Гера. Да, теперь я его вижу, если это он.

Гермес. Он, он! Но мы уже близко; я думаю, нам нужно спуститься и пойти по земле, а то мы его напугаем, слетев внезапно с высоты.

Гера. Ты прав: спустимся на землю. Теперь, Афродита, ты должна идти впереди и вести нас; тебе, наверно, хорошо знакома эта местность: ведь ты, говорят, много раз побывала здесь у Анхиса.

Афродита. Не думай, Гера, что твои насмешки могут меня очень раздражить.

6. Гермес. Я сам вас поведу. Здесь, на Иде, я уже бывал; это было в то время, когда Зевс был влюблен в того маленького фригийца: он часто посылал меня сюда посмотреть, что делает мальчик. А когда он превратился в орла, я летел рядом с ним и помогал ему нести маленького красавца; если меня память не обманывает, он похитил его как раз с этой скалы. Мальчик был тогда у своего стада и играл на свирели; как вдруг Зевс налетел на него сзади и, схватив очень бережно когтями, а клювом держа за головную повязку, поднял его на воздух, а он, отогнув голову назад, глядел с испугом на своего похитителя. Тогда я, подняв свирель, которую мальчик со страху выронил... Но наш судья уже перед нами, так близко, что можно с ним заговорить.

7. Здравствуй, пастушок!

Парис. Здравствуй и ты, юноша! Кто ты? Откуда пришел к нам? Что это с тобой за женщины? Они настолько красивы, что не могут быть жительницами этих гор.

Гермес. Это не женщины, Парис: ты видишь перед собой Геру, Афину и Афродиту; а я — Гермес, и послал меня к тебе Зевс. Но чего же ты дрожишь и весь побледнел? Не бойся, ничего ужасного нет: Зевс поручил

чае тебе быть судьей в споре богинь о том, которая из них самая красивая. Так как ты и сам красив и сведущ в делах любви, то я, говорит Зевс, предоставляю тебе разрешить их спор; а что будет победной наградой, ты узнаешь, прочитав надпись на этом яблоке.

П а р и с. Дай посмотрю, что там такое. Написано: «Прекрасная да возьмет меня!» Как же я, владыка мой Гермес, смертный человек и необразованный, могу быть судьей такого необыкновенного зрелища, слишком высокого для бедного пастуха? Это скорее сумел бы рассудить человек тонкий, образованный. А я что? Которая из двух коз красивее или которая из двух телок, это я мог бы разобрать как следует.

8. А эти все три одинаково прекрасны, и я не знаю даже, как можно оторвать взор от одной и перевести на другую; глаза не хотят оторваться, но куда раз взглянули, туда и глядят и восхищаются; а когда, наконец, перейдут к другой, то опять впадают в восторг и останавливаются, и потом опять их увлекают все новые и новые красоты. Я весь утопаю в их красоте, она меня совсем околдовала! Я хотел бы смотреть всем телом, как Аргус! Я думаю, что единственный справедливый суд — это отдать яблоко всем трем. Да к тому же такое совпадение: эта — сестра и супруга Зевса, а те — его дочери; разве это не затрудняет еще больше и без того трудное решение?

Г е р м е с. Не знаю; только должен тебе сказать, что исполнить волю Зевса ты обязан непременно.

9. П а р и с. Об одном прошу, Гермес: убеди их, чтобы две побежденные не сердились на меня и видели бы в этом только ошибку моих глаз.

Г е р м е с. Они это обещали... Но пора приступать к делу, Парис.

П а р и с. Попробуем; что ж поделаты! Но прежде всего я хотел бы знать, достаточно ли будет осмотреть их так, как они сейчас стоят, или же для большей точности исследования лучше, чтобы они разделись.

Г е р м е с. Это зависит от тебя как судьи; распоряжайся, как тебе угодно.

П а р и с. Как мне угодно? Я хотел бы посмотреть их нагими.

Г е р м е с. Разденьтесь, богини; а ты смотри внимательно. Я уже отвернулся.

10. А ф р о д и т а. Прекрасно, Парис; я первая разденусь, чтобы ты убедился, что у меня не только белые руки и не вся моя гордость в том, что я — волоокая, но что я повсюду одинаково прекрасна.

А ф и н а. Не вели ей раздеваться, Парис, пока она не снимет своего пояса: она волшебница и с помощью этого пояса может тебя околдовать. И затем, ей бы не следовало выступать со всеми своими украшениями и с лицом, накрашенным, словно у какой-нибудь гетеры, но ей следует открыто показать свою настоящую красоту.

П а р и с. Относительно пояса она права: сними его.

А ф р о д и т а. Отчего же ты, Афина, не снимаешь шлема и не показываешь себя с обнаженной головой, но трясешь своим султаном и пугаешь судью? Ты, может быть, боишься, что твои серовато-голубые глаза не

произведут никакого впечатления без того строгого вида, который придает им шлем?

А ф и н а. Ну вот тебе, я сняла шлем.

А ф р о д и т а. А я вот сняла пояс. Пора раздеваться.

11. П а р и с. О, Зевс-чудотворец! Что за зрелище, что за красота, что за наслаждение! Как прекрасна эта дева! А эта как царственно и величественно сияет, действительно как подобает супруге Зевса! А эта как чудно смотрит, как прекрасно и заманчиво улыбается! Но я не могу перенести всего этого блаженства. Я бы вас попросил позволить мне осмотреть каждую отдельно: сейчас я совсем потерялся и не знаю, куда раньше смотреть, так все с одинаковой силой притягивает мой взор.

Б о г и н и. Хорошо, сделаем так.

П а р и с. Тогда вы обе отойдите; а ты, Гера, останься.

Г е р а. Я остаюсь; осмотри меня хорошенько, а потом подумай, как тебе понравятся мои дары. Послушай, Парис, если ты мне присудишь награду, я тебя сделаю господином над всей Азией.

П а р и с. Дарами ты меня не прельстишь. Можешь идти; будет сделано, как мне покажется справедливым.

12. А ты, Афина, подойди сюда.

А ф и н а. Я здесь, Парис; если ты мне присудишь награду, ты впредь никогда не уйдешь из битвы побежденным, а всегда будешь победителем; я тебя сделаю воинственным и победоносным героем.

П а р и с. Мне, Афина, не нужны военные подвиги; ты видишь, что мир царит во Фригии и Лидии, и мой отец правит без всяких войн. Не беспокойся: ты не потерпишь обиды, даже если я буду судить не обращая внимания на подарки. Можешь одеться и надеть шлем: я достаточно тебя видел. Теперь очередь Афродиты.

13. А ф р о д и т а. Вот и я рядом; осмотри меня точно и подробно, ничего не пропуская, но подолгу останавливаясь на каждой из частей моего тела, и, если хочешь, послушай, красавец, что я тебе скажу. Давно уже, видя, как ты молод и прекрасен, — во всей Фригии вряд ли найдется тебе соперник, — я считаю тебя за такую красоту счастливым, но, однако, не могу простить того, что ты не покидаешь этих гор и скал и не отправляешься жить в город, а здесь, в глуши, теряешь напрасно свою красоту. Что могут дать тебе эти горы? На что пригодится твоя красота коровам? Тебе бы следовало найти себе жену, но не грубую деревенскую женщину, каковы все здесь на Иде, а какую-нибудь из Эллады, из Аргоса, из Коринфа, или, например, лаконянку, вот такую, как Елена: она молода, красива, совсем не хуже меня, и, что всего важнее, вся создана для любви; я уверена, что ей стоит только увидеть тебя, и она бросит дом и, готовая на все, пойдет за тобой. Но ведь невозможно, чтобы ты не слышал про нее.

П а р и с. Никогда не слышал. Расскажи мне все, Афродита; я с удовольствием послушаю.

14. А ф р о д и т а. Она дочь Леды, известной красавицы, к которой Зевс спустился в образе лебедя.

П а р и с. Какова же она собой?

А ф р о д и т а. Бела, как и следует быть дочери лебедя, нежна — недаром же родилась из яйца, стройна и сильна и пользуется таким успехом, что из-за нее уже велась война, когда Тесей похитил ее еще совсем молодой девушкой. А когда она выросла и расцвела, тогда все знатные ахейцы стали добиваться ее руки, и был избран Менелай из рода Пелопидов. Хочешь, я ее сделаю твоей женой?

П а р и с. Как же? Она ведь замужем.

А ф р о д и т а. Как ты еще молод и неопытен! Это уж мое дело, как все устроить.

П а р и с. Да каким же образом? Я и сам хочу узнать.

15. А ф р о д и т а. Нужно, чтобы ты уехал отсюда, как будто ради обозрения Эллады. Когда ты прибудешь в Лакедемон, Елена тебя увидит, а там уж я позабочусь о том, чтоб она влюбилась и ушла с тобой.

П а р и с. Вот это и кажется мне невероятным: неужели она согласится покинуть мужа и пойти за чужестранцем и варваром?

А ф р о д и т а. Об этом не беспокойся. У меня есть два сына-красавца, Гимерос и Эрот; их я пошлю с тобой в путь проводниками. Эрот завладеет всем ее существом и заставит ее влюбиться в тебя, а Гимерос, пролив на тебя всю свою привлекательность, сделает тебя желанным и привлекательным. Я сама тоже буду помогать и попрошу Харит отправиться со мной, чтобы общими силами внушить ей любовь.

П а р и с. Что из всего этого выйдет, я не знаю, Афродита, — знаю только, что я уже влюблен в Елену, и не понимаю, что со мной, но мне кажется, что вижу ее, плыву прямо в Элладу, прибыл в Спарту, и вот возвращаюсь на родину с Еленой... Как меня раздражает, что все это еще не сбылось!

16. А ф р о д и т а. Парис, не отдавайся любви раньше, чем разрешишь спор в мою пользу, в благодарность за то, что я буду твоей свахой и отдам тебе в руки невесту; нужно ведь, чтобы я явилась к вам победительницей и отпраздновала вместе вашу свадьбу и мою победу. Ценой этого яблока ты можешь купить себе все: любовь, красоту, брак.

П а р и с. Я боюсь, что ты, получив от меня яблоко, забудешь о своих обещаниях.

А ф р о д и т а. Хочешь, я поклянусь?

П а р и с. Нет, этого не надо; повтори только обещание.

А ф р о д и т а. Обещаю тебе, что Елена будет твоей и вместе с тобой отправится к вам в Трою; я сама займусь этим делом и устрою все.

П а р и с. И возьмешь с собой Эрота и Гимероса и Харит?

А ф р о д и т а. Непременно; и Потоса, и Гименея возьму впридачу.

П а р и с. Значит, под этим условием я даю тебе яблоко, под этим условием оно — твое.

21

Арес и Гермес

1. *А р е с.* Гермес, ты слышал, чем нам пригрозил Зевс? Какие надменные угрозы и вместе с тем какие неразумные! Если я, говорит, захочу, то спущу с неба цепь, а вы все, ухватившись за нее, будете стараться стащить меня вниз, но это вам не удастся: ведь не перетянете! а если б я пожелал потянуть цепь, то поднял бы к небу не только вас, но вместе с вами и землю и море, — и так дальше, ты ведь сам слышал. Я не буду спорить против того, что он могущественнее и сильнее каждого из нас в отдельности, но будто он настолько силен, что мы все вместе не перетянем его, даже если земля и море будут с нами, этому я не поверю.

2. *Г е р м е с.* Перестань, Арес: такие вещи опасно говорить, эта болтовня может нам стоить больших неприятностей.

А р е с. Неужели ты думаешь, что я сказал бы это при всех? Я говорю только тебе, зная, что ты не разболтаешь. Но знаешь, что мне показалось более всего смешным, когда я слушал его угрозу? Я не могу не сказать тебе. Я вспомнил еще совсем недавний случай, когда Посейдон, Гера и Афина возмутились против него и замыслили схватить его и связать. Как он тогда от страха не знал, что делать, хотя их было всего трое, и если бы не Фетида, которая сжалась над ним и призвала на помощь сторукого Бриарея, он так и дал бы себя связать вместе с громом и молнией. Когда я это вспомнил, я чуть было не расхохотался, слушая его горделивые речи.

Г е р м е с. Замолчи, советую я; небезопасно тебе говорить такие вещи, а мне — их слушать.

22

Пан и Гермес

1. *П а н.* Здравствуй, отец Гермес.

Г е р м е с. Здравствуй и ты. Но какой же я тебе отец?

П а н. Ты, значит, не килленский Гермес?

Г е р м е с. Он самый. Но отчего ты называешь себя моим сыном?

П а н. Да я твой незаконный сын, неожиданно для тебя родившийся.

Г е р м е с. Клянусь Зевсом, ты скорее похож на сына блудливого козла и козы. Какой же ты мой сын, если у тебя рога и такой нос, и лохматая борода, и ноги, как у козла, с раздвоенными копытами, и хвост сзади?

П а н. Ты смеешься надо мной, отец, над твоим собственным сыном; это очень нелестно для меня, но для тебя еще менее лестно, что ты производишь на свет таких детей; я в этом не виноват.

Г е р м е с. Кого же ты назовешь своей матерью? Что же я, с козой, что ли, нечаянно сошелся?

П а н. Нет, не с козой, но заставь себя вспомнить, не соблазнил ли ты некогда в Аркадии одной благородной девушки? Что же ты кусаешь пальцы, раздумывая, как будто не можешь вспомнить? Я говорю о дочери Икария — Пенелопе.

Г е р м е с. Так отчего же она родила тебя похожим не на меня, а на козла?

2. П а н. Вот что она сама мне об этом сказала. Посылает она меня в Аркадию и говорит: «Сын мой, твоя мать — я, спартанка Пенелопа, что же касается твоего отца, то знай, что он бог, Гермес, сын Маи и Зевса. А что у тебя рога и козлиные ноги, этим ты не смущайся: когда твой отец сошелся со мной, он был в образе козла, не желая, чтобы его узнали; оттого ты и вышел похожим на козла».

Г е р м е с. Клянусь Зевсом, ты прав: я что-то такое припоминаю. Так, значит, я, гордый своей красотой, сам еще безбородый, должен называться твоим отцом и позволять всем смеяться над тем, что у меня такой хорошенький сыночек?

3. П а н. Тебе, отец, нечего стыдиться из-за меня. Я музыкант и очень хорошо играю на свирели. Дионис без меня обойтись не может: он сделал меня своим товарищем и участником таинств, я стою во главе его свиты. А если бы ты видел, сколько у меня стад около Тегеи и на склонах Парте-ния, ты был бы очень рад. Мало того: я владею всей Аркадией; я недавно так отличился в Марафонской битве, помогая афинянам, что в награду за мои подвиги получил пещеру под Акрополем, — если ты будешь в Афинах, увидишь, каким почетом там пользуется имя Пана.

4. Г е р м е с. Скажи мне, Пан, так, кажется, зовут тебя, — ты женат уже?

П а н. О нет, отец. Я слишком влюбчив, одной для меня мало.

Г е р м е с. Тебя, наверно, услаждают козы?

П а н. Ты надо мной смеешься, а я живу с Эхо, с Питией, со всеми менадами Диониса, и они меня очень ценят.

Г е р м е с. Знаешь, сыночек, о чем я тебя прежде всего попрошу?

П а н. Приказывай, отец: я постараюсь все исполнить.

Г е р м е с. Подойди поближе и обними меня; но смотри не называй меня отцом при посторонних.

23

Аполлон и Дионис

1. А п о л л о н. Странное дело, Дионис: Эрот, Гермафродит и Приап — родные братья, сыновья одной матери, а между тем они так непохожи друг

на друга и по виду, и по характеру. Один — красавец, искусный стрелок, облечен немалой властью и всеми распоряжается; другой — женоподобный полумужчина, такой с виду неопределенный и двусмысленный, что нельзя с уверенностью сказать, юноша он или девушка; а зато Приап уже до такой степени мужчина, что даже неприлично.

Дионис. Ничего удивительного, Аполлон: в этом виновата не Афродита, а различные отцы. Но ведь бывает даже, что близнецы от одного отца рождаются разного пола, как, например, ты с твоей сестрой.

Аполлон. Да, но мы похожи друг на друга, и занятия у нас одинаковые: мы оба стрелки.

Дионис. Только что и есть у вас общего, все же остальное совсем различно: Артемида в Скифии убивает чужестранцев, а ты предсказываешь будущее и лечишь больных.

Аполлон. Не думай, что моя сестра хорошо себя чувствует среди скифов: ей так опротивели убийства, что она готова убежать с первым эллином, который случайно попадет в Тавриду.

2. Дионис. И хорошо сделает. Но о Приапе: я тебе расскажу про него нечто очень смешное. Недавно я был в Лампсаке; Приап принял меня у себя в доме, угостил, и мы легли спать, подвыпив за ужином. И вот, около полуночи мой милый хозяин встает и... мне стыдно сказать тебе.

Аполлон. Хотел тебя соблазнить?

Дионис. Да, именно.

Аполлон. А ты что тогда?

Дионис. Что ж было делать? Расхохотался.

Аполлон. Очень хорошо, что ты не рассердился и не был с ним груб; ему можно простить попытку соблазнить такого красавца, как ты.

Дионис. По этой самой причине он может и к тебе, Аполлон, пристать: ты ведь так красив, и у тебя такие прекрасные волосы, что Приап даже в трезвом виде может тобой прельститься.

Аполлон. Он не осмелится: у меня не только прекрасные волосы, но имеются также лук и стрелы.

24

Гермес и Майя

1. Гермес. Мать моя! Есть ли во всем небе бог несчастнее меня?

Майя. Не говори, Гермес, ничего такого.

Гермес. Как же не следует говорить, когда меня совсем замучили, завалив такой работой, — ярываюсь на части от множества дел. Лишь только встану поутру, сейчас надо идти выметать столовую. Едва успею привести в порядок места для возлежания и устроить все, как следует, нужно являться к Зевсу и разносить по земле его приказания, бегая без

устали туда и обратно; только это кончится, я, весь еще в пыли, уже должен подавать на стол амбросию, — а раньше, пока не прибыл этот вновь приобретенный виночерпий, я и нектар разливал. И ужаснее всего то, что я, единственный из всех богов, по ночам не сплю, а должен водить к Плутону души умерших, должен быть проводником покойников и присутствовать на подземном суде. Но всех моих дневных работ еще мало; недостаточно, что я присутствую в палестрах, служу глашатаем на народных собраниях, учу ораторов произносить речи, — устраивать дела мертвецов — это тоже моя обязанность!

2. Сыновья Леды сменяют друг друга: когда один находится на небе, другой проводит день в преисподней. Только я один принужден каждый день делать и то, и другое. Сыновья Алкмены и Семелы, рожденные от жалких женщин, живут в свое удовольствие, не зная никаких забот, а я, сын Майи, дочери Атланта, должен им прислуживать! Вот сейчас я только что вернулся из Сидона, от сестры Кадма, куда Зевс послал меня посмотреть, как поживает его любимица; не успел еще я перевести дух, а он уже посылает меня в Аргос навестить Данаю, а на обратном пути оттуда «зайди, — говорит, — в Беотию повидать Антиопу». Я не могу больше! Если бы было возможно, я с удовольствием заставил его продать меня кому-нибудь другому, как это делают на земле рабы, когда им служить неумоготу.

М а й я. Оставь эти жалобы, сынок. Ты еще молод и должен прислуживать отцу, сколько он ни пожелает. А теперь, раз он посылает тебя, беги поскорее в Аргос и затем в Беотию, а то он, пожалуй, побьет тебя за медлительность: влюбленные всегда очень раздражительны.

25

Зевс и Гелиос

1. З е в с. Что ты наделал, проклятый Титан? Ты погубил все, что ни есть на земле, доверив свою колесницу глупому мальчишке; он сжег одну часть земли, слишком приблизившись к ней, а другую заставил погибнуть от холода, слишком удалив от нее огонь. Он решительно все перевернул вверх дном! Если бы я не заметил, что делается, и не убил его молнией, от человеческого рода и следа бы не осталось. Вот какого милого возницу ты послал вместо себя!

Г е л и о с. Да, Зевс, я виноват; но не сердись так на меня за то, что я уступил настойчивым мольбам сына: откуда же я мог знать, что из этого выйдет такое несчастье?

З е в с. Ты не знал, какое нужно умение в твоем деле, не знал, что стоит только немножко выйти из колеи, и все пропало? Тебе не была известна дикость твоих коней, которых постоянно надо сдерживать поводья-

ми? Дать им только немножко свободы, и они сейчас становятся на дыбы; Так случилось и с ним: кони бросались то влево, то вправо, то назад, вверх и вниз, куда только сами хотели, а он не знал, что с ними поделать.

2. Г е л и о с. Я знал все это и оттого долго не соглашался доверить ему коней; но когда он стал меня молить со слезами и его мать Климена вместе с ним, я посадил его на колесницу и все объяснил: как надо стоять, до каких пор нужно подняться вверх, не сдерживая коней, а затем направить колесницу вниз, как надо держать вожжи и не давать коням воли; я сказал ему также, какая опасность грозит, если он сойдет с прямого пути. Но понятное дело, что он, совсем еще мальчик, очутившись среди такого ужасного огня и видя под собой бездонную пропасть, испугался; а кони, как только почували, что не я правлю, свернули с дороги, презирая молодого возницу, и призвели весь этот ужас. Он, вероятно, опасаясь, что упадет вниз, бросил вожжи и ухватился за верхний край колесницы. Бедняга достаточно уже наказан, а с меня, Зевс, хватит собственного горя.

3. З е в с. Хватит, говоришь ты? За такое дело? На этот раз я тебя прощаю, но если ты еще раз сделаешь что-нибудь подобное и пошлешь на свое место такого заместителя, я тебе покажу, насколько сильнее твоего огня жжет мой перун! А твоего сына пусть сестры похоронят на берегу Эридана, в том месте, где он упал с колесницы; пусть слезы их, пролитые на его могиле, превратятся в янтарь, а сами они от горя сделаются тополи. Ну, а ты, починив колесницу, — дышло ведь поломано и одно колесо совсем испорчено — запрягай коней и отправляйся в путь. Только помни обо всем, что я тебе сказал.

26

Аполлон и Гермес

1. А п о л л о н. Гермес, не можешь ли ты мне сказать, который из этих двух юношей Кастор и который Полидевк? Я их никак не могу различить.

Г е р м е с. Тот, то был с нами вчера, это Кастор, а вот этот — Полидевк.

А п о л л о н. Как же ты это узнаешь? Они ведь так похожи друг на друга.

Г е р м е с. А вот как, Аполлон: у этого на лице следы от ударов, которые он получил в кулачном бою от противников, особенно от бебрикийца Амика, во время морского похода с Язоном; а у другого ничего подобного нет — лицо у него чистое, без всяких увечий.

А п о л л о н. Ты оказал мне услугу, научив, как их различать. Но все остальное у них совсем одинаково: и шляпа в пол-яйца, и звезды над головой, и дротик в руке и белый конь, так что мне нередко случалось в разговоре назвать Полидека Кастором, а Кастора Полидевком. Но скажи мне

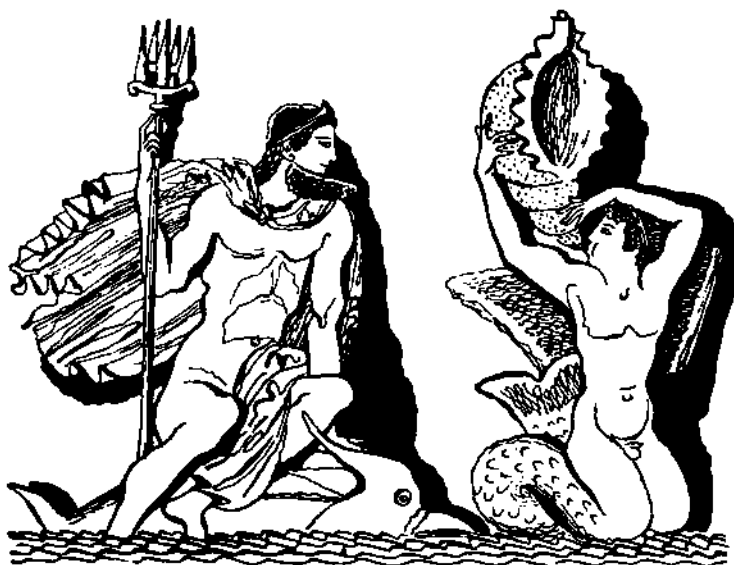
дну вещь: отчего они никогда не являются к нам оба вместе, но каждый из них поочередно делается то мертвецом, то богом?

Г е р м е с. Это от их взаимной братской любви. Когда оказалось, что из сыновей Леды должен умереть, а другой — стать бессмертным, каким образом разделили между собой бессмертие.

п о л л о н. Не понимаю я, Гермес, такого раздела: они ведь так ни друг друга не увидят, — а этого, я думаю, они меньше всего желали. Не им встретиться, если один пребывает в царстве богов, а другой в царстве мертвых? Но вот что меня еще интересует: я представляю будущее, Асклепий лечит людей, ты, как превосходный воспитатель, обучаешь гимнастике и борьбе, Артемида помогает роженицам, и каждый из нас занимается чем-нибудь, приносящим пользу богам людям, — а они что же делают? Неужели они, совсем уже взрослые, ничего не делают?

е р м е с. Ничего подобного: они прислуживают Посейдону; на них лежит обязанность объезжать верхом море и, если где-нибудь увидят морскую опасность, садиться на корабль и приносить плывущим спасение.

п о л л о н. Да, Гермес, это очень хорошее и полезное занятие.



МОРСКИЕ РАЗГОВОРЫ

1

Дорида и Галатейя

Дорида. Прекрасный поклонник, Галатейя, этот сицилийский пастух! Говорят, он без ума от тебя.

Галатейя. Не дразни меня, Дорида, повторяя чужие шутки. Все же он сын Посейдона, каков бы он ни был.

Дорида. Так что же? Если бы сын самого Зевса оказался таким волосатым дикарем и к тому же, что хуже всего, одноглазым, то неужели ты думаешь, происхождение могло бы хоть сколько-нибудь скрасить его безобразие?

Галатейя. Ни его волосатость, как ты выражаешься, ни дикость несколько не портят его: все это свойственно мужчине. А что касается его глаза, то он очень хорош посреди лба, и видеть им можно не хуже, чем если бы их было два.

Дорида. Кажется, Галатейя, что не Полифем влюблен в тебя, а ты сама любишь его: так ты его расхваливаешь.

Галатейя. Вовсе не люблю, но не переношу ваших грубых насмешек; и мне кажется, что вы делаете это просто из зависти! Ведь однажды, пася свое стадо и видя с вершины скалы, как мы играем у подножия Этны — там, где берег тянется между горой и морем, — Полифем не обратил внимания на вас, меня же счел самой красивой и только на меня на-

правлял взгляд своего глаза. Это-то вас и огорчает, так как доказывает, что я прекраснее вас и более достойна любви, а вами пренебрегают.

Д о р и д а. Если пастуху с плохим зрением ты и показалась красивой, так неужели этому можно завидовать? Ведь в тебе ему нечего хвалить, разве что белизну кожи; да и это, я думаю, понравилось ему потому, что он постоянно возится с сыром и молоком. Ну и конечно, все, что их напояет, он считает прекрасным.

3. А если ты хочешь изучить себя подробнее, какова ты на самом деле, то, наклонившись в тихую погоду над водой со скалы, присмотришься к своему отражению, и увидишь, что в тебе нет ничего привлекательного, кроме нежно-белого цвета кожи; но ведь этого не любят, если нет в должной мере румянца.

Г а л а т е я. И все же моя неподражаемая белизна дала мне хоть этого поклонника, тогда как у вас нет никого — ни пастуха, ни моряка, ни корабельщика, кому бы вы понравились. А Полифем к тому же еще и музыкант.

4. Д о р и д а. Помолчи, Галатее! Мы слышали, как он недавно пел, прославляя тебя в песенке. О милая Афродита! Казалось, будто ревет осел. А лира-то у него какая? Череп оленя, очищенный от мяса, оленьи рога вместо рогов лиры; связав их, он прикрепил к ним струны и, даже не настроив лиры повертыванием колков, затянул что-то нескладное и безобразное; сам он вопил одно, другое подыгрывал на лире, так что мы не могли сдерживать смеха, слушая его любовную песнь. Сама Эхо, уж на что она болтлива, не захотела отвечать на его мычание, стыдясь подражать этой дикой и смешной песне.

5. А этот прелестник, играя, держал на руках лохматого медвежонка, своего вылитого двойника. И в самом деле, Галатее, кто не приревнует твоего любовника?

Г а л а т е я. Так покажи нам своего, Дорида; уж, наверное, он красивее и музыкальнее моего и лучше владеет лирой.

Д о р и д а. Но у меня нет любовников, да я и не считаю себя стоящей чьей-либо любви; а такого, как твой Киклоп, с козлиным запахом, пожирающего, говорят, сырое мясо, питающегося прибывшими к нему чужестранцами, оставь себе и сама отвечай на его любовь.

2

Киклоп и Посейдон

1. К и к л о п. Отец, смотри, что сделал со мной проклятый чужестранец! Он напоил меня и выколол глаз, напав на меня во время сна.

П о с е й д о н. Но кто же осмелился сделать это, Полифем?

К и к л о п. Сначала он назвался «Никем», а потом, когда убежал и я не мог его уже ранить, сказал, что его зовут Одиссеем.

Посейдон. Знаю, о ком ты говоришь. Это — Одиссей, итакиец. Он плыл из-под Илиона. Но как же он изувечил тебя? Ведь он не очень-то храбр.

2. Киклоп. Вернувшись с пастбища, я застал в пещере многих людей, очевидно, замышлявших что-то недоброе против моих стад. Я заложил вход в пещеру — для этого у меня припасен огромный камень, — развел огонь, поджегши принесенное в горы дерево, и вижу, пришельцы стараются куда-нибудь спрятаться. Схватив несколько человек, я, как и подобало, съел этих разбойников. Тут-то вот этот негодяй, уж не знаю — «Никто» или Одиссей — налил какого-то зелья и подал мне его выпить; зелье было сладкое и благовонное, но коварнейшее и путающее мысли. Не успел я еще его выпить, как все передо мной закружилось, сама пещера перевернулась, — словом, я был сам не свой, а в конце концов меня одолел сон. А тот, заострив бревно и зажегши его, ослепил меня, пока я спал; и с тех пор я ничего не вижу, Посейдон!

3. Посейдон. Как глубоко ты спал, дитя, если не вскочил, пока тебя ослепляли! Ну, а тот, Одиссей, как же он убежал? Я не пойму, как он мог отодвинуть от выхода камень.

Киклоп. Я сам отвалил камень, рассчитывая легче поймать его при выходе. Я сел у двери и, протянув руки, охотился за ним, пропуская лишь овец на пастбище, поручив барану позаботиться обо всем, что обычно лежало на мне.

4. Посейдон. Понимаю! Твои гости незаметно вышли из пещеры, подвесившись снизу к овцам; но ты должен был позвать на помощь других киклопов.

Киклоп. Их созвал, отец. Они сбежались и стали спрашивать, кто обидчик. Когда же я ответил: «Никто», они приняли меня за сумасшедшего и ушли. Так-то перехитрил меня этот проклятый, назвавшись таким именем. Но всего больше огорчило меня то, что он, издеваясь над моим несчастьем, крикнул мне: «Сам отец твой, Посейдон, не вылечит тебя!»

Посейдон. Не унывай, сын мой: я отомщу ему! Пусть он узнает, что если и не в моей власти возвращать зрение, то судьба моряков в моих руках. А он еще плавает по морю.

3

Посейдон и Алфей

1. Посейдон. Что это значит, Алфей, что из всех рек ты один, впадая в море, не сливаешься с ним, как это делают все реки, и не прекращаешь своего течения, растворившись в соленой морской влаге, а напротив, сохраняя свои воды неизменно пресными, течешь несмешанный и чистый. И кажется, что ты, словно чайка или цапля, то скрываешься, ныряя в глубину, то снова появляешься, выплывая на поверхность.

А л ф е й. Это делает любовь, Посейдон, и не тебе меня укорять: ведь ты и сам часто влюбляешься.

П о с е й д о н. Кем же ты пленен, Алфей: женщиной или нимфой, или одной из nereид?

А л ф е й. Нет, Посейдон, она — речка.

П о с е й д о н. По какой же земле она протекает?

А л ф е й. В Сицилии; она островитянка, а зовут ее Аретузой.

2. П о с е й д о н. А, знаю, она очень мила, Алфей! Лучи солнца пронизывают ее, она весело вытекает, и вода ее поблескивает над камешками, принимая от них серебристый цвет.

А л ф е й. Как хорошо, Посейдон, ты знаешь мою речку! К ней-то я и спешу.

П о с е й д о н. Что ж, ступай и будь счастлив в любви. Только скажи мне вот что: откуда ты знаешь Аретузу? Ведь сам-то ты житель Аркадии, а она сиракузянка!

А л ф е й. Я тороплюсь, Посейдон, а ты меня задерживаешь пустыми вопросами.

П о с е й д о н. Верно, ты прав. Беги к своей возлюбленной и, вынырнув из моря, слейся с ней в дружном созвучии, и пусть ваши воды смешаются воедино.

4

Менелай и Протей

1. М е н е л а й. Я охотно верю, Протей, что ты превращаешься в воду, — ведь ты морское существо, — и даже в дерево; это тоже можно допустить... Наконец, что ты принимаешь вид льва, хоть это и удивительно, все же не выходит за пределы вероятного; но если ты действительно способен, живя в море, превращаться в огонь, то этому я весьма удивляюсь и просто отказываюсь верить.

П р о т е й. Не стоит удивляться, Менелай: ведь это несомненно так.

М е н е л а й. Не спорю, я и сам это видел, но, говоря между нами, мне кажется, что в этом деле замешано какое-то колдовство, то есть, что ты, оставаясь все тем же, лишь обманом зрения действуешь на зрителя.

2. П р о т е й. Но о каком же обмане можно говорить при столь очевидных явлениях? Разве не с открытыми глазами ты наблюдал за всеми моими превращениями? А если ты все-таки не веришь и думаешь, что все это обман, какое-то видение, встающее перед глазами, то приблизись ко мне, когда я превращусь в огонь, и коснись меня рукой. Вот ты и узнаешь, имею ли я только вид огня или обладаю также его свойством обжигать.

М е н е л а й. Этот опыт, Протей, не совсем безопасен!

П р о т е й. Ты, Менелай, говоришь так, словно никогда не видел полипа и не знаком со свойствами этой рыбы.

Менелай. Полипа, положим, я видел, но об его свойствах охотно бы послушал твое повествование.

З. Протей. Так вот. К какой бы скале полип ни приблизился и ни приладил к ней, присосавшись, чашечек своих щупальцев, он становится подобен ей и меняет свою кожу, делая ее похожей на цвет камня; таким образом полип укрывается от рыбаков, совсем не выделяясь на скале и обманывая ловцов своим полным сходством с ней.

Менелай. Это я слышал; но ведь твое превращение в огонь куда менее вероятно, Протей!

Протей. Уж не знаю, Менелай, кому ты и веришь, если не доверяешь своим глазам.

Менелай. Да, я сам видел твое превращение, но уж слишком оно изумительно: ты — и вода, и огонь в одно время!

5

Панопа и Галена

1. Панопа. Ну как, Галена, видела ты, что вчера во время обеда в Фессалии устроила Эрида в отместку за то, что ее не пригласили на пир?

Галена. Нет, Панопа: ведь я не обедала с вами. Посейдон приказал мне следить, чтобы море не разбушевалось. Так что же устроила Эрида, которую обошли приглашением?

Панопа. Фетида и Пелей уже удалились в опочивальню в сопровождении Амфитриты и Посейдона, когда Эрида, никем не замеченная, — это ей не стоило большого труда, потому что одни пили, другие рукоплескали игре Аполлона на кифаре или прислушивались к пению Муз, — вдруг бросила в помещение яблоко, удивительно красивое, все из золота, милая Галена, и с надписью: «Прекрасная да возмет себе!» Яблоко покатилося и, словно нарочно, остановилось там, где возлежали Гера, Афродита и Афина.

2. Гермес взял его и прочел надпись. Ну, конечно, мы, nereиды, молчим: что нам было и делать в присутствии богинь! А они... каждая из них стремилась получить яблоко, считая себя достойной его. И дело у них дошло бы до драки, если бы не Зевс, который рознял их, сказав: «Я сам не хочу быть вашим судьей, — а они уже предлагали ему их рассудить — отправляйтесь лучше на Иду, к сыну Приама: он хорошо умеет ценить все прекрасное, а потому и вас неплохо рассудит».

Галена. Ну и что же богини?

Панопа. Да они, кажется, сегодня пошли на Иду, и уж кто-нибудь скоро сообщит нам имя победительницы.

Галена. Я и сейчас скажу, что никому не устоять в борьбе с Афродитой, лишь бы только судья не страдал глазами.

6

Тритон, Амимона и Посейдон

1. Т р и т о н. Посейдон! К Лерне ~~ка~~ каждый день приходит за водой девушка. Прекраснейшее создание, — я, ~~я~~ по крайней мере, никого не встречал красивее ее.

П о с е й д о н. Что ж, она свободная? Тритон, или чья-нибудь рабыня, которую посылают за водой?

Т р и т о н. Нет, она дочь известного Даная, одна из пятидесяти, по имени Амимона. Я уже справился об ~~ее~~ имени и происхождении. Оказывается, Данай сурово обращается со ~~своими~~ дочерьми: заставляет выполнять тяжелую работу, посылает черпать воду и вообще не позволяет сидеть без дела.

2. П о с е й д о н. Она совершает в ~~о~~ одиночестве весь длинный путь из Аргоса в Лерну?

Т р и т о н. Да, одна. И как ты ~~знаешь~~, Аргос «многожаждущ», так что приходится постоянно носить туда ~~воду~~.

П о с е й д о н. О Тритон! Ты ужасно взволновал меня рассказом об этой девушке. Пойдем к ней!

Т р и т о н. Идем. Как раз в это время она ходит за водой, и теперь она уже, пожалуй, на полдороге к Лерне.

П о с е й д о н. Ну так закладывай колесницу! Впрочем, пока лошадей будут запрягать да готовить колесницу, пройдет много времени; лучше подай мне одного из самых быстрых дельфинов. Верхом на нем я доплыву скорее всего.

Т р и т о н. Изволь, вот самый быстр~~о~~ходный дельфин!

П о с е й д о н. Хорошо. Ну, в путь! Ты, Тритон, плыви рядом. Когда мы будем в Лерне, я спрячусь куда-нибудь ~~и~~ в засаду, а ты следи... И как только заметишь, что она идет...

Т р и т о н. Вот она, совсем близко!

3. П о с е й д о н. Да ведь это красавица, Тритон, и в самом прелестном возрасте! Нужно похитить ее.

А м и м о н а. Эй, отпусти меня, куда ты меня влечешь? Работоторговец, ты подослан нашим дядей Египтом. Я ~~крикну~~ отца на помощь!

Т р и т о н. Молчи, Амимона! Это ~~П~~Посейдон.

А м и м о н а. При чем тут Посейдон? Зачем ты прибегаешь к силе и тащишь меня в море? Ах я несчастная! ~~В~~Ведь я задохнусь, захлебнувшись в море.

П о с е й д о н. Не бойся, я не причиню тебе никакого вреда. На этом месте, близ пены прибоя, я ударом ~~тр~~езубца заставляю бить ключ из скалы, и он будет носить в твою честь имя, созвучное твоему. А ты сама будешь блаженна и после смерти одна ~~среди~~ сестер не будешь носить воду.

7

Нот и Зефир

1. Нот. Правда ли, Зефир, что Зевс сочетался в любовном порыве с телкой, которую Гермес ведет теперь через морскую пучину в Египет?

Зефир. Правда, Нот. Только это была не телка, а дочь реки Инаха; теперь же Гера обратила ее в телку из ревности к Зевсу, воспылавшему к ней сильной страстью.

Нот. Что же, Зевс и теперь продолжает любить ее, превратившуюся в телку?

Зефир. И даже очень! Ведь поэтому он и отправил ее в Египет, а нам велел следить, чтобы море было спокойно, пока она не кончит своего плавания. Там, в Египте, она должна будет родить: она уже беременна. А потом и мать, и дитя станут богами.

2. Нот. Телка станет богиней?

Зефир. Вот именно, Нот, и будет — как говорил Гермес — владичицей моряков и нас, ветров: будет посылать из нас, кого захочет, или, напротив, запрещать нам дуть.

Нот. К ней следовало бы подслужиться, Зефир, раз она наша повелительница.

Зефир. Ты прав, клянусь Зевсом: ведь тогда она будет к нам благосклонна!.. Смотри, она кончила свое путешествие и вышла на землю. Но что это? Она уже не ходит на четырех ногах! Неужели Гермес выпрямил ее и снова сделал прекрасной женщиной?

Нот. Все это невероятно, Зефир! Исчезли рога, хвост, ноги с раздвоенными копытами, и перед нами снова прелестная девушка! Но что это с Гермесом? Он изменяется и вместо юноши делается похожим с лица на собаку.

Зефир. Не вмешивайся в чужие дела: он лучше нас знает, что ему надлежит делать.

8

Посейдон и дельфин

1. Посейдон. Хорошо это, дельфины, что вы всегда человеколюбцы. Некогда вы доставили к Истму сына Ино, упавшего вместе с матерью в воду со Скиронидских скал; вот и теперь ты донес на своей спине до Тенара кифареда из Метимны с его одеждой и лирой, не допустив его гибели по жестокому умыслу моряков.

Дельфин. Не удивляйся, Посейдон, нашему сочувствию людям: ведь сами мы превратились в рыб из людей.

Посейдон. Знаю и порицаю за это Диониса. Зачем после морской победы над вами он превратил вас в дельфинов? Довольно было подчинить вас, как он это сделал с другими людьми. Но расскажи, дельфин, каким образом ты оказал услугу Ариону?

2. Дельфин. Арион нравился, по-видимому, Периандру, и тот частенько посылал за ним ради его искусной игры. И вот, разбогатев от подарков тирана, Арион захотел вернуться морем к себе домой в Метимну, чтобы похвастаться своим богатством. Он сел на первый попавшийся корабль, принадлежавший, очевидно, каким-то разбойникам, и дал им понять, что у него много золота и серебра; и вот когда корабль достиг середины Эгейского моря, мореходы задумали против него злое дело. Тогда Арион — я все это слышал, плывя рядом с кораблем, — сказал: «Если вы решили погубить меня, то позвольте мне, по крайней мере, одеться в платье певца, спеть себе напутственную погребальную песнь и затем добровольно броситься в море». Матросы согласились на его просьбу. Тогда он надел платье, пропел звучную песнь и бросился в море навстречу близкой и неминуемой смерти. Но я подхватил его, посадил к себе на спину и доплыл с ним до Тенара.

Посейдон. Хвалю твою любовь к Музам. Ты достойно отплатил Ариону за его пение, прослушанное тобой.

9

Посейдон и nereиды

1. Посейдон. Пусть пролив, в который упала эта девушка, зовется отныне в ее честь морем Геллы. А вы, nereиды, возьмите ее тело и перенесите в Троаду: пусть его погребут местные жители.

Амфитрита. Нет, Посейдон, пусть она лучше будет похоронена в названном по ее имени море! Мы тронуты ее горькими страданиями, которые причиняла ей мачеха.

Посейдон. Это невозможно, Амфитрита: нехорошо, если Гелла останется лежать где-нибудь на песке... Она, как я уже сказал, должна быть погребена или в Троаде, или в Херсонесе. К тому же немалым утешением для нее будет то, что Ино в скором времени подвергнется тем же страданиям: преследуемая Атамантом, она бросится в море с нависших над водой высот Киферона, держа в объятиях своего сына. Впрочем, следовало бы все же ее спасти ради Диониса: ведь она была его нянькой и кормилицей.

2. Амфитрита. Совсем не стоит спасать эту негодную женщину.

Посейдон. Но ведь неудобно же причинять огорчение Дионису, Амфитрита!

Нерейда. Но скажи, Посейдон, каким образом Гелла упала с барана? Ведь брат ее, Фрикс, благополучно доехал на нем.

Посейдон. Очень просто! Ведь Фрикс — юноша, и ему удавалось справляться со скоростью движения, тогда как Гелла, непривычная к столь странному способу передвижения, неосторожно взглянула в разверстую под нею бездну и была охвачена страхом; ее бросило в жар, голова закружилась от быстроты полета, руки выпустили рога барана, за которые она до того времени держалась, и девочка упала в море.

Нерейда. Но ведь должна же была ее мать, Нефела, оказать ей помощь, когда она падала.

Посейдон. Конечно! Но Мойра куда могущественнее Нефелы.

10

Ирида и Посейдон

Ирида. О Посейдон! Блуждающий подводный остров, оторвавшийся от Сицилии и все еще свободно плавающий, — этот остров Зевс повелевает остановить, сделать видимым и поместить в середине Эгейского моря, прикрепив его твердо и надежно. Этот остров нужен Зевсу!

Посейдон. Воля Зевса будет исполнена, Ирида! Однако скажи, Ирида, на что может пригодиться Зевсу этот остров, когда он сделается видимым и перестанет блуждать с места на место?

Ирида. На нем должна будет разрешиться от бремени Латона: она уже чувствует болезненное приближение родов.

Посейдон. Так что же? Разве небо неудобно для родов? А если не небо, то неужели мало всей земли, чтобы принять ее плод?

Ирида. Мало. Посейдон, потому что Гера связала землю великой клятвой в том, что она не даст Латоне никакого пристанища во время родов. Между тем этот остров не включен в клятву, так как он был до сих пор невидим.

2. Посейдон. Понимаю... Стой, остров! Вынырни из водной пучины, более не двигайся под волнами, но твердо пребывай на месте, и прими, о наивлаженный, двух младенцев моего брата, прекраснейших среди богов. А вы, Тритоны, переправьте Латону в ее новое жилище, и пусть повсюду на море наступит затишье. А что касается дракона, который теперь устрашает и преследует ее, то новорожденные, лишь только появляясь на свет, настигнут его и отомстят за мать. Ты же, Ирида, возвести Зевсу, что все готово: Делос водружен! Пусть прибудет Латона и родит детей.

Ксанф и Море

1. К с а н ф. О Море, прими меня, несчастного страдальца, и успокой мои раны от ожогов!

М о р е. Что это, Ксанф? Кто опалил тебя?

К с а н ф. Гефест! Я весь обуглился, горе мне! Во мне все кипит.

М о р е. Но за что же он низвел на тебя огонь?

К с а н ф. Из-за этого самого сына Фетиды. Он умерщвлял фригийцев, моливших о пощаде, и мои попытки смягчить его гнев ни к чему не приводили: он продолжал заваливать мое течение трупами. Сжалившись над несчастными, я бросился топить его, рассчитывая, что он в страхе оставит людей в покое.

2. Тогда Гефест, — он случайно находился недалеко, — собрав, я думаю, весь огонь, какой только был у него, и из Этны и отовсюду, напал на меня, сжег мои вязы и кусты тамариска, сварил бедных рыб и угрей, а меня заставил кипеть, да так, что чуть совсем не высушил меня. Ты сам видишь, что сделали со мной его ожоги.

М о р е. Ты весь замутился, Ксанф, и разгорячился. В тебе кровь от убитых и жар от огня. Но ведь ты пострадал справедливо: зачем было бросаться на моего внука, забыв должное уважение к сыну неренды?

К с а н ф. Так неужели же мне не следовало пожалеть своих соседей, фригийцев?

М о р е. А Гефест? Разве не должен он был сжалиться над сыном Фетиды, Ахиллом?

Дорида и Фетида

1. Д о р и д а. О чем ты плачешь, Фетида?

Ф е т и д а. Знаю все. Ах, Дорида, я только что видела молодую красивую женщину, запертую отцом в ящик, и с ней ее новорожденного младенца. Отец велел мореходам взять ящик, отъехать с ним далеко от берега и сбросить его в море, чтобы погибли и женщина, и ее сын.

Д о р и д а. За что же это, сестрица? Скажи, если знаешь что-нибудь достоверное.

Ф е т и д а. Акрисий, ее отец, видя, что она красавица, воспитал ее в строгом целомудрии, заключив в обитую медью горницу. Тогда, — уж не знаю, верно ли, но так, по крайней мере, рассказывают, — Зевс спустил к ней под видом золота через крышу, а она, приняв в свое лоно падавшего золотым дождем бога, забеременела от него. Заметив это, отец, жес-

токий и ревнивый старик, разгневался и, убежденный, что она согрешила со смертным, запер ее немедленно после родов в этот ящик.

2. *Дорид а*. Что же она делала, Фетида, когда ее сажали туда?

Ф е т и д а. О себе она не заботилась, Дорида, и терпеливо снесла приговор, но молила за ребенка, прося пощадить его, и вся в слезах показывала младенца дедушке, надеясь смягчить его красотой ребенка. Милотка, не подозревая о своем несчастии, приветливо улыбался морю. Слезы застилают глаза, когда вспомнишь обо всем этом.

Д о р и д а. Ты и меня своим рассказом довела до слез! Но что же, они уже умерли?

Ф е т и д а. Никким образом. Ящик все еще плавает возле Серифа, сохраняя их в живых.

Д о р и д а. А что, не спасти ли нам их, загнав ящик в сети к серифийским рыбакам? Они его вытащат и спасут таким образом несчастных?

Ф е т и д а. Ты права! Мы так и сделаем. Не дадим погибнуть ни ей самой, ни ее прелестному ребенку.

13

Энипей и Посейдон

1. *Э н и п е й*. Говоря правду, Посейдон, это нехорошо с твоей стороны. Приняв мой образ, ты подкрадываешься к моей возлюбленной и овладеваешь ею; а она, думая, что отдается мне, нисколько не сопротивляется твоим ласкам.

П о с е й д о н. А все потому, Энипей, что ты слишком надменен и в то же время медлителен! Ты пренебрегал этой прекрасной девушкой, хотя она и приходила ежедневно к тебе, изнемогая от любви; тебя же только радовали ее страдания. А она бродила в тоске по твоим берегам; входила иногда к тебе в воду, купалась — и все это лишь из желания твоей близости, тогда как ты только жеманился перед ней.

2. *Э н и п е й*. Так что же? Неужели из этого следует, что ты должен был похитить мою возлюбленную, превратить Посейдона в Энипея и обмануть, таким образом, неопытную девушку?

П о с е й д о н. Поздно ты начал ревновать, Энипей! Зачем было раньше пренебрегать ею? Впрочем, Тирó нисколько не пострадала! Ведь она думала, что разделяет любовь не со мной, а с тобой!

Э н и п е й. Да нет же! Ведь, расставаясь с ней, ты назвал себя своим именем, Посейдон! И это причинило ей большое огорчение. Да и я тобою обижен, так как ты наслаждался моей радостью, облекшись в высоко набежавшую блещущую волну, скрыл под ней себя и Тирó и соединился с нею вместо меня.

П о с е й д о н. Да, но ведь ты не хотел, Энипей!

14

Тритон и nereиды

Т р и т о н. Ваше чудовище, nereиды, которое вы послали на Андромеду, дочь Кефея, не только не причинило ей никакого зла, но, вопреки вашим ожиданиям, само погибло.

Н е р е и д а. От чьей руки, Тритон? Или Кефей посадил свою дочь в виде приманки, а сам, выждав со своими товарищами чудовище, убил его из засады?

Т р и т о н. Нет, Ифианасса! Но, я думаю, вы помните сына Данаи, Персея, который вместе с матерью был заключен в ящик и брошен в море своим дедом, а вы еще спасли их, сжалившись над несчастными?

И ф и а н а с с а. Конечно, помним. Теперь Персей должен быть уже юношей, и притом весьма благородным и красивым.

Т р и т о н. Вот он-то и убил ваше чудовище!

И ф и а н а с с а. Но за что же, Тритон? Плохую благодарность за свое спасение воздал он нам этим убийством.

Т р и т о н. Я вам расскажу, как все случилось. Персей снарядился в поход против Горгон — на этот подвиг он шел по приказанию царя — и уже прибыл в Ливию...

И ф и а н а с с а. Как, Тритон? Один? Или с ним были соратники? Ведь дорога туда очень тяжела.

Т р и т о н. Он переправился по воздуху: Афина дала ему крылья. Так вот, прибыв туда, где жили Горгоны, Персей застал их, по-видимому, спящими, отрубил Медузе голову и полетел обратно.

И ф и а н а с с а. Но как же он смотрел на них? Ведь это невозможно: раз увидавший Горгон не в состоянии потом что-либо видеть.

Т р и т о н. Афина поставила перед его глазами щит, — так, по крайней мере, я слышал, он рассказывал Андромеде, а затем Кефею, — и дала ему возможность видеть в гладкой задней стороне щита, как в зеркале, отражение Медузы. И вот, схватив ее левой рукой за волосы, видимые ему в щите, и держа кривой нож в правой, Персей отсек ей голову и улетел, прежде чем сестры успели проснуться.

З. Когда он уже пролетал над эфиопским берегом и начинал спускаться на землю, он увидел лежащую Андромеду, пригвожденную к высокому утесу. Боги! Как она была хороша со своими развевавшимися волосами, обнаженная значительно ниже груди! Охваченный вначале состраданием, Персей спросил о причине ее наказания, а вскоре, охваченный любовью, — девушка должна была быть спасена, — решил помочь ей. Как только появилось страшное чудовище, чтобы проглотить Андромеду, юноша Персей поднялся в воздух с обнаженным оружием, одной рукой поразил чудовище, а другой, показав ему Горгону, превратил его в камень. Чудовище погибло, а большая половина его, обращенная в сторону Медузы, со-

вершенно закоченела. Затем Персей развязывает на девушке оковы, протягивает руку и помогает ей спуститься на кончиках пальцев со скользской скалы. И вот теперь они празднуют свадьбу в доме Кефея, а оттуда Персей уведет ее к себе в Аргос, так что Андромеда вместо смерти нашла себе мужа, и притом не первого встречного.

И ф и а н а с с а. Я совсем не огорчена таким поворотом дела. Разве, в конце концов, виновата девушка перед нами в том, что ее мать в своей гордости считала себя красивее нас?

Д о р и д а. Нет, но ведь в таком случае страдала бы мать, видя несчастье дочери.

И ф и а н а с с а. Не будем вспоминать, Дорида, о том, что наболтала о себе не по заслугам эта варварка. Она достаточно наказана всем тем, что перестрадала в страхе за свою дочь. Будем лучше радоваться брачному союзу Персея и Андромеды.

15

Зефир и Нот

1. З е ф и р. Нет, никогда еще, с тех пор как я живу и дышу, я не видел более прекрасного шествия на море! А ты, Нот, видел его?

Н о т. Нет, Зефир! О каком это шествии ты говоришь и кто принимал в нем участие?

З е ф и р. Ну, значит, ты пропустил приятнейшее зрелище, какое вряд ли удастся тебе еще когда-нибудь увидеть!

Н о т. Я был занят на Черном море и захватил своим дуновением также часть Индии, ту, что ближе к морю, поэтому совершенно не знаю, о чем ты говоришь.

З е ф и р. Но ты ведь знаешь Агенора из Сидона?

Н о т. Как же, отца Европы. Так что же?

З е ф и р. Вот о ней-то я и хочу рассказать тебе!

Н о т. Уж не то ли, что Зевс давно уже любит эту девушку? Это я и сам давно знаю.

З е ф и р. Раз ты знаешь о любви к ней Зевса, то послушай, что было дальше.

2. Европа прогуливалась по берегу моря, играя со своими сверстницами; Зевс, приняв вид быка, подошел к ним, будто для того, чтобы поиграть с ними. Бык был прекрасен, безукоризненно бел, рога красиво изгибались, и взор был кроток! Он прыгал по берегу и так сладко мычал, что Европа решила сесть к нему на спину. Как только она это сделала, Зевс бегом устремился с ней к морю, бросился в воду и поплыл. Европа, испуганная таким оборотом дела, хватается левой рукой за рог быка, чтобы не упасть, а правой сдерживает раздуваемую ветром одежду.

3. Н о т. О Зефир, что за сладостное и любовное зрелище! Плывущий Зевс, несущий свою возлюбленную!

З е ф и р. Но то, что последовало за этим, было во много раз приятнее, Нот! Внезапно улеглись волны, и мягкая тишина спустилась на море; мы все, сдерживая дыхание, в качестве простых зрителей сопровождали шествие. Эроты же, едва касаясь воды ногами, летели над самым морем с зажженными факелами в руках и пели свадебные гимны. Нереиды вынырнули из воды, сидя на дельфинах, все наполовину обнаженные, и рукоплескали шествию. А Тритоны и все остальные морские существа, на которых можно смотреть с удовольствием, составили хоровод вокруг девушки. Впереди всех мчался на колеснице Посейдон с Амфитритой, прокладывая дорогу плывшему за ним брату. Наконец, на двух Тритонах, лежа в раковине, ехала Афродита и осыпала всевозможными цветами невесту.

4. В таком порядке шествие двигалось от Финикии до самого Крита. Когда вступили на остров, бык внезапно исчез, и Зевс, взяв Европу за руку, ввел ее, краснеющую и опускающую глаза, в диктейскую пещеру: она уже знала, что ее ожидало. А мы все разбежались в разные стороны и подняли бурю на море.

Н о т. Какое счастье было видеть все это, Зефир! А я-то тем временем видел грифов, слонов и чернокожих людей!



ДИАЛОГИ ГЕТЕР

1

Гликера и Таис

Г л и к е р а. Знаешь ли ты, Таис, того воина из АкARNании, который раньше содержал Габротону, а потом увлекся мной? Я говорю про одетого нарядно в плаще — знаешь его или позабыла?

Т а и с. Нет, не забыла, я его хорошо знаю, милая Гликера. Он пил с нами в прошлом году на празднике Галой. Ну, так что же! Кажется, ты хочешь о нем что-то рассказать?

Г л и к е р а. Горгона бессовестная, а я-то считала ее подругой, отняла его у меня, переманив на свою сторону.

Т а и с. Так он теперь живет не с тобой, а Горгону сделал своей подругой?

Г л и к е р а. Да, Таис, и это меня немало печалит.

Т а и с. Это нехорошо, конечно, милая Гликера, но не удивительно: так постоянно делается между нами, гетерами. Не нужно чересчур горевать и очень бранить Горгону. Габротона в свое время не бранила тебя из-за него, хотя вы и были подругами.

2. Но я удивляюсь, что в Горгоне понравилось этому воину, если только он не совсем ослеп — как он проглядел, что волосы у Горгоны редкие и оставляют лоб чересчур открытым, губы уже посинелые, как у мертвеца, шея худая и жилы выступают, а нос велик. Одно только, что она высока ростом и стройна, да еще улыбается привлекательно!

Г л и к е р а. Так ты думаешь, Таис, что акарнанец увлекся красотой Горгоны? Разве тебе не известно, что ее мать, Хрисария, — колдунья и знает какие-то фессалийские заклинания и сводит луну на землю? Говорят, будто она даже летает по ночам. Горгона свела с ума человека, опоив его зельем, и теперь они обирают его.

Т а и с. И ты милая Гликера, обирай кого-нибудь другого, а этому скажи «прощай».

2

Миртия, Памфил и Дорида

1. М и р т и я. Ты женишься, Памфил, на дочери судовладельца Филона и даже, говорят, уже женился? А все клятвы, которыми ты клялся, и слезы твои — все это сразу исчезло? Ты забыл свою Миртию, Памфил, и это теперь, когда я беременна вот уже на восьмом месяце. Только всего и приобрела я от твоей любви, что ты сделал мне такой живот, и мне скоро придется воспитывать ребенка, самое тяжелое дело для гетеры. Ведь я не подкину его, особенно если родится мальчик. Я назову его Памфилом, чтобы иметь утешение в любви, а он, когда-нибудь встретясь с тобой, будет упрекать тебя за то, что ты не остался верен его несчастной матери.

Не очень-то красивую девушку берешь ты в жены, — я видела ее недавно на празднике Тесмофорий с матерью, не зная еще, что из-за нее я никогда больше не увижу Памфила. Посмотри на нее раньше и погляди на ее лицо и глаза, чтобы не сердиться потом, если у нее окажутся слишком светлые и косые глаза, которые смотрят друг на друга; впрочем, раз ты видел отца невесты, Филона, — незачем видеть дочь.

2. П а м ф и л. Долго мне еще придется слушать твои бредни, Миртия, о девушках и свадьбах у владельцев кораблей? Точно я знаю, красива или курноса чья-то невеста? Или что у Филона из Алопеки, — я думаю, ты говоришь о нем, — дочь достигла уже брачного возраста. Ведь он даже не друг моему отцу: я помню, он недавно судился с Филоном из-за какого-то контракта. Филон, кажется, был должен отцу талант и не хотел платить, а отец привлек его к морскому коммерческому суду, и Филон еле заплатил, но, как рассказывал отец, не весь долг.

Если бы я решил жениться, то разве после того как я отказался от дочери Демея, — бывшего в прошлом году стратегом, — вдобавок приходившейся мне двоюродной сестрой со стороны матери, я женился бы на дочери Филона? И откуда ты это слышала? Охота тебе, Миртия, с теньями сражаться, выдумывая себе пустые поводы к ревности?

3. М и р т и я. Так ты не женишься, Памфил?

П а м ф и л. С ума ты сошла или пьяна, Миртия? А ведь вчера мы не очень много выпили.

Миртия. Это Дорида привела меня в отчаяние. Я ее послала купить мне шерсти на живот и помолиться за меня Родильнице. И встретила ее, говорит, Лесбия... Но лучше ты сама, Дорида, расскажи, что ты слышала, если только ты не выдумала всего этого.

Дорида. Чтобы я пропала, хозяйка, если в чем-нибудь соврала! Когда я была подле пританея, встретила мне Лесбия и говорит улыбаясь: «Любовник-то ваш, Памфил, женится на дочери Филона!» А на случай, если я не поверила бы, она послала меня заглянуть в ваш переулок, посмотреть, как все там в венках, флейтистки, шум, кто-то поет гименей.

Памфил. Ну и что же? Ты заглянула, Дорида?

Дорида. Еще бы! И увидела все, как она говорила.

4. Памфил. Я понимаю ошибку. Не все Лесбия тебе наврала, Дорида, и ты сказала Миртии правду. Только напрасно вы обеспокоились: свадьба ведь не у нас. Я теперь припоминаю то, что я слышал от матери вчера, когда вернулся от вас. «Памфил, — сказала она, — вот сверстник твой Хармид, сын Аристенета, соседа, уже стал благоразумен и женится, а ты до каких же пор будешь жить с любовницей!» Не вслушиваясь в ее слова, я крепко заснул. Потом рано поутру я ушел из дому, так что ничего не видел из того, что позднее видела Дорида. Если же ты не веришь, Дорида, пойди сейчас же и осмотри внимательно не переулок, а дверь, которая увенчана венком, — и ты найдешь, что это дверь соседа.

Миртия. Ты спас меня, Памфил: ведь я бы повесилась, если бы что-нибудь подобное случилось.

Памфил. Но ведь этого не случилось! И я не мог бы стать настолько безумным, чтобы забыть мою Миртию, особенно теперь, когда она мне вынашивает ребенка.

3

Мать и Филинна

1. Мать. С ума ты сошла, Филинна, или что с тобой случилось вчера на пирушке? Пришел ко мне поутру Дифил в слезах и рассказал, что он вытерпел от тебя. Будто ты напилась и, выступив на середину помещения, стала плясать, хотя он тебе запрещал, а потом целовала Ламприя, его товарища. Когда же Дифил рассердился на тебя, ты, не обращая на него внимания, подседа к Ламприю и обняла его, а Дифил при виде всего этого готов был повеситься. А ты, кажется, и ночи не провела с ним, но оставила его плакать, а сама лежала на соседней постели, напевая и огорчая его.

2. Филинна. А то, что он сделал, матушка, он не рассказал тебе? Иначе б ты не защищала его, такого обидчика! Ведь он, бросив меня, вступил в разговор с Таис, подругой Ламприя, пока тот не пришел. Когда же он

увидел, что я рассердилась и стала делать ему знаки перестать, он взял Таис за кончик уха и, запрокинув ей голову, поцеловал так крепко, что с трудом оторвал свои губы. Тогда я стала плакать, а он засмеялся и долго говорил Таис на ухо, про меня, конечно, и Таис улыбалась, глядя на меня. Когда они заметили, что идет Ламприй, то перестали целоваться, и я все-таки легла рядом с Дифилом, чтобы у него не было после повода для ссоры, а Таис, поднявшись, стала плясать первая, высоко обнажая свои ноги, как будто у нее одной они красивы. Когда она кончила, Ламприй молчал и не сказал ничего, а Дифил стал расхваливать ее изящество и искусство — как согласны ее движения с музыкой кифары, как стройны ноги, и тысячу подобных вещей, словно хвалил Сосандру, дочь Каламида, а не Таис, которую ты ведь знаешь, какова она: мы ведь купались вместе.

Таис же тотчас бросила мне такую насмешку: «Если кто, — сказала она, — не стыдится, что у него худые ноги, пусть встанет и протанцует».

Что же еще сказать, матушка? Я поднялась и стала плясать. Что же мне было делать? Не плясать и оправдать насмешку и позволить Таис царствовать на пирушке?

З. М а т ь. Ты слишком самолюбива, дочка. Не нужно было обращать на это внимания. Но скажи все-таки, что было после.

Ф и л и н н а. Ну, другие меня хвалили, а Дифил один, лежа на спине, смотрел в потолок, пока я не остановилась от усталости.

М а т ь. А правда ли, что ты целовала Ламприя и, перейдя к нему со своего места, обнимала его? Что же ты молчишь? Это уж совсем непорочно.

Ф и л и н н а. Мне хотелось в отместку рассердить его.

М а т ь. Потом ты не спала с ним и даже пела, когда он плакал. Не знаешь ты разве, дочка, что мы нищие? Забыла ты, сколько мы от него получили и какую зиму мы провели бы в прошлом году, если бы нам его не послала Афродита?

Ф и л и н н а. Что же, поэтому мне терпеть от него оскорбления?

М а т ь. Сердись, но не отвечай ему оскорблениями. Разве ты не знаешь, что оскорбленные любовники порывают связь и упрекают себя за нее? Ты же постоянно бываешь слишком сурова с человеком — смотри, как бы мы, по пословице, слишком натягивая, не порвали веревочку.

4

Мелитта и Бакхида

1. М е л и т т а. Если ты знаешь, милая Бакхида, какую-нибудь старуху-фессалианку, которые, говорят, умеют ворожить и делать любимой женщину самую ненавистную, то, на счастье, приходи ко мне вместе с ней. Платья и все эти золотые украшения я с радостью отдам, лишь бы

только мне довелось увидеть, что Харин опять ко мне вернулся и возненавидел Симику, как ненавидит теперь меня.

Б а к х и д а. Что ты говоришь! Он больше не живет с тобой, Мелитта, а сошелся с Симихой? Харин, который из-за тебя навлек такой гнев своих родителей, не желая жениться на богатой невесте, у которой было, говорят, пять талантов денег в приданое? Ведь, помнится, я слышала это от тебя.

М е л и т т а. Все это прошло, Бакхида. Вот уже пятый день, как я не видела его вовсе, а они пьют у товарища Харина, Паммена, — он и Сими-ха.

2. Б а к х и д а. Тяжело это тебе, Мелитта! Что же вас поссорило? Вероятно, не пустяки?

М е л и т т а. Я сама тебе всего сказать не сумею. Недавно, вернувшись из Пирея, — он отправился туда, кажется, взыскать какой-то долг по поручению своего отца, — он даже не взглянул на меня, когда вошел, даже не позволил мне подбежать к нему, как бывало, и отстранился от меня, когда я хотела его обнять. «Иди, — сказал он, — к владельцу кораблей Гермотиму и прочти то, что написано на стене в Керамике, где вырезаны ваши имена».

«Какой, — говорю, — такой Гермотим, и про какую надпись ты говоришь?»

Но он, ничего не отвечая и не пообедав, лег спать, отвернувшись к стене. Чего я тут только ни делала, ты не можешь себе представить! И обнимала его, и старалась повернуть его к себе, и целовала его между плечами, а он нисколько не смягчился и сказал: «Если ты будешь еще приставать, я сейчас уйду, хоть теперь и полночь».

3. Б а к х и д а. Но, однако, ты знала прежде этого Гермотима?

М е л и т т а. Да пусть ты меня увидишь живущей еще хуже, чем теперь, Бакхида, если я знаю какого-нибудь судовладельца Гермотима!.. И вот, на заре, как только пропел петух, Харин проснулся и ушел, а я припомнила, что он говорил, будто в Керамике на какой-то стене написано мое имя, и послала Акиду посмотреть. Но она ничего не нашла, кроме одной только надписи по правую руку, если идти к Дипилону: «Мелитта любит Гермотима», и еще немного ниже: «Судовладелец Гермотим любит Мелитту».

Б а к х и д а. Ах, эта беспутная молодежь! Я все понимаю. Кто-нибудь, зная, как Харин ревнив, написал это, желая его подразнить, а он сейчас же и поверил. Если бы мне удалось где-нибудь его увидеть, я бы с ним поговорила. Он ведь еще настоящий ребенок и неопытен.

М е л и т т а. Да где же ты его можешь увидеть? Ведь он заперся вместе с Симихой, а родители ищут его все еще у меня! Но, повторяю, Бакхида, если бы найти какую-нибудь старуху, она своим появлением поистине спасла бы меня.

4. Б а к х и д а. Есть, милочка, удивительная колдунья, сириянка родом, женщина еще сильная и крепкая. Однажды, когда Фаний рассердил-

ся на меня понапрасну, как теперь на тебя Харин, она изменила его после целых четырех месяцев разлуки. Я уже совсем отчаялась, а он благодаря заклинаниям снова вернулся ко мне.

Мелитта. Что же взяла с тебя за это старуха, если помнишь?

Бакхида. Она берет небольшую плату, Мелитта: одну драхму и хлеб. И нужно еще прибавить соли и семь оболов, серу и факел: все это старуха себе берет. Надо еще разбавить вина в чаше, и она одна должна его выпить. Да еще следует иметь что-нибудь от него самого — платье или сандалии, немного волос или что-нибудь подобное.

Мелитта. У меня есть сандалии, Харина.

Бакхида. Повесив их на гвоздь, она обкурит их серой, бросая соль в огонь и приговаривая при этом ваши имена, свое и его. Потом, достав из-за пазухи волчок, она станет вертеть его, быстро нашептывая какой-то заговор и какие-то варварские, ужасные имена. Вот все, что она делала тогда для меня. А немного времени спустя Фаний, несмотря на все упреки товарищей и упрямиванья Фебиды, с которой он жил, пришел ко мне, привлеченный заговором.

Колдунья, сверх того, научила меня сильному заклятью против Фебиды, чтобы вызвать к ней ненависть, именно: подстеречь следы ее ног и, как только она пройдет, затоптать их, став правой ногой на левый след, а левой, наоборот, на правый, и произнести: «Я наступила на тебя, и я выше тебя». Я сделала все, как она приказала.

Мелитта. Не медли, не медли, Бакхида, позови сириянку. А ты, Акида, приготовь хлеб, серу и все остальное для ворожбы.

5

Клонария и Лезна

1. Клонария. Новости про тебя мы слышали, Лезна: будто богатая лесбиянка Мегилла влюбилась в тебя, как мужчина, что вы живете вместе, и неизвестно, какие вещи делаете между собой. Что это? Ты покраснела? Скажи, правда ли это?

Лезна. Правда, Клонария. Но мне стыдно: ведь это так странно.

Клонария. Но, во имя Детопитательницы, в чем же дело и чего хочет эта женщина? И что вы делаете, когда бываете вместе? Видишь, ты не любишь меня, иначе не стала бы скрывать все это от меня.

Лезна. Нет, я люблю тебя, даже если бы любила кого-нибудь другого. Знаешь, в этой женщине ужасно много мужского.

2. Клонария. Не понимаю, что ты говоришь! Быть может, она гетера вроде тех, каких на Лесбосе называют мужеподобными женщинами, так как они не хотят отдаваться, а сами пользуются женщинами как мужчины.

Л е э н а. Так оно и есть.

К л о н а р и я. Ну, Лезна, вот это и расскажи: как она тебя сперва соблазняла, как уговорила и что было после.

Л е э н а. Устроили они как-то попойку, она и Демонасса, коринфянка, тоже богатая и такая же, как и Мегилла, и взяли меня играть им на кифаре; когда же я поиграла, стало уже поздно, и пора было ложиться спать, а они обе были хмельны.

«Ну, — говорит Мегилла, — теперь было бы хорошо заснуть; ложись здесь, Лезна, посередине между нами обеими».

К л о н а р и я. И ты легла? А что было потом?

3. Л е э н а. Сначала они стали меня целовать, как мужчины: не только касаясь губами, но слегка приоткрывая рот, обнимали меня и мяли груди. А Демонасса даже кусала меня среди поцелуев. Я же все не могла еще понять, в чем дело. Потом Мегилла, разгорячившись, сняла накладные волосы с головы, покрытой совершенно ровными, короткими волосами, и тело показала обритое совсем, как у самых мужественных атлетов.

Я была поражена, когда посмотрела на нее. А она говорит мне:

— Видала ли ты, Лезна, когда-нибудь такого красивого юношу?

— Но я не вижу здесь, — говорю, — Мегилла, никакого юноши.

— Не делай из меня женщину, — говорит она, — мое имя — Мегилл, и я давным-давно женат на этой Демонассе, и она моя жена.

Я засмеялась на это и говорю: «Итак, ты — Мегилл, мужчина, и обманул нас, подобно Ахиллу, который, как говорят, скрывался среди девушек? И мужскую силу имеешь, и с Демонассой ты делаешь то же, что и мужчина?»

— Мужской силы, — говорит, — у меня нет, Лезна, да мне ее и не нужно вовсе. Ты увидишь, что я особенным образом достигну еще большего наслаждения.

— Но ты ведь не гермафродит, — говорю, — которые часто обладают, как говорят, и теми и другими средствами? — Ведь я еще не знала, в чем дело.

— Нет, — говорит, — я совсем мужчина.

4. — Я слышала, — говорю, — как Исмения, флейтистка из Беотии, передавала распространенное у них предание, будто кто-то в Фивах из женщины стал мужчиной, и это был тот самый знаменитый прорицатель — Тиресий, кажется, по имени. Не случилось ли и с тобой чего-нибудь подобного?

— Вовсе нет, — говорит, — я родилась такой же, как и вы все, Лезна, но замыслы и страсти и все остальное у меня мужские.

— И достаточно у тебя страсти? — спрашиваю.

— Отдайся мне, — говорит, — если ты не веришь, Лезна, и увидишь, что я ничуть не уступаю мужчинам: у меня ведь есть кое-что вместо мужских средств. Ну, попробуй же, и ты увидишь.

Я отдалась, Клонария, — так она меня просила, и ожерелье какое-то дорогое мне дала, и тканей тонких подарила. Тогда я обняла ее, как муж-

чину, а она целовала меня и делала свое дело, задыхаясь и, мне кажется, испытывала необычайное наслаждение.

К л о н а р и я. Но что же она делала и каким образом? Больше всего об этом расскажи.

Л е з н а. Не расспрашивай так подробно: ведь это неприлично! Клянусь Уранней, я не могу тебе ничего сказать.

6

Кробила и Коринна

1. К р о б и л а. Ну, Коринна, теперь ты знаешь, что это не так страшно, как ты думала, из девушки стать женщиной, побыв вдвоем с красивым юношей! А из мины, которую ты принесла как первую плату, я куплю тебе теперь ожерелье.

К о р и н н а. Да, матушка. Пусть только оно будет из каких-нибудь камней огненного цвета, как ожерелье Филениды.

К р о б и л а. Такое и будет. Но послушай от меня, что тебе нужно делать и как вести себя с мужчинами. Ведь другого выхода у нас нет, дочка; эти два года, с тех пор как умер, блаженной памяти, твой отец, разве ты не знаешь, как мы скверно прожили? Когда отец был жив, всего у нас было вдоволь, потому что он был медником и имел крупное имя в Пирее. И надо было слышать, как все клялись, что, конечно, после Филина не будет уже другого такого медника! А после его смерти сначала я продала щипцы, наковальню и молот за две мины, и на это мы жили семь месяцев. Затем, я, то тканьем, то пряжей или вязаньем едва-едва добывая на хлеб, вскормила тебя, дочка, лелея надежду.

2. К о р и н н а. Ты говоришь о мне?

К р о б и л а. Нет, но я рассуждала, что ты, достигнув зрелости, станешь меня кормить, а сама будешь богата, и тебе будет нетрудно наряжаться и иметь пурпуровые платья и слуганок.

К о р и н н а. Каким же образом, мать? Что ты хочешь сказать?

К р о б и л а. Если ты будешь бывать среди молодежи, участвовать в их пирушках и проводить с ними ночи за плату.

К о р и н н а. Как Лира, дочь Дафниды?

К р о б и л а. Да.

К о р и н н а. Но ведь она гетера!

К р о б и л а. В этом нет ничего ужасного. Притом же ты ведь будешь богата, как она, и у тебя будет много любовников. Что же ты плачешь, Коринна? Разве ты не видишь, как много гетер, в какой они чести и какие деньги получают? Ведь вот я знаю Дафниду. Ах, милая Адрастея, она в лохмотья одевалась, пока не пришла в возраст. А теперь, посмотри, чего она достигла: деньги, цветные наряды и четыре служанки.

3. К о р и н н а. Как же Лира все это приобрела?

К р о б и л а. Прежде всего она принаряжалась как можно лучше, была предупредительна и весела со всеми, не так, чтоб сейчас же громко хохотать, как ты обыкновенно делаешь, а улыбаясь приятно и привлекательно. Потом, она держалась с людьми пристойно и не обманывала их ожидания, если кто-нибудь хотел встретить ее или проводить, но сама не приставала к мужчинам. А если когда-нибудь она отправлялась на пирушку, взяв за это плату, то она не напивалась допьяна — потому что таких мужчины высмеивают и не любят — и не обедалась кушаньями непристойным образом, но до всего едва дотрагивалась и ела молча и маленькими кусками, а не набивала себе щеки, и пила умеренно, потихоньку, не одним духом, а с передышкой.

К о р и н н а. Даже если ей хотелось пить, матушка?

К р о б и л а. Тогда в особенности, Коринна. Она не разговаривала больше, чем следует, не вышучивала никого из присутствующих, только смотрела на одного того, кто ей заплатил. И за это мужчины ее любят. И всякий раз, когда нужно было ей провести ночь с кем-нибудь, она не делала ничего бесстыдного и небрежного, но изо всего стремилась только к одному, что могло очаровать человека и сделать его любовником. И это ведь все в ней хвалят. Если ты также научишься этому, то и мы будем счастливы, так как во всех отношениях ты ее превосходишь. Но я ничего не говорю, милая Адрастея, — живи только.

4. К о р и н н а. Скажи мне, матушка, плательщики все ли таковы, как Эвкрит, с которыми я вчера спала?

К р о б и л а. Не все; но некоторые даже лучше, другие — уже люди взрослые, ну, а некоторые не имеют красивой внешности.

К о р и н н а. И нужно будет с ними проводить ночи?

К р о б и л а. Еще бы, дочка: ведь эти-то больше всего и платят! Красивые же хотят одного только — быть красивыми. А ты имей всегда в виду большую выгоду, если хочешь, чтобы скоро все женщины говорили, показывая на тебя пальцем: «Не видишь разве Коринну, дочь Кробилов, как она разбогатела и как сделала свою мать трижды счастливой?» Что скажешь? Сделаешь ты это? Сделаешь, я знаю, и быстро превзойдешь всех. Ну, а теперь иди помыться, на случай если и сегодня придет молодой Эвкрит: ведь он обещал.

7

Мать и Музария

1. М а т ь. Если бы мы нашли, Музария, такого любовника как Херей, стоило бы принести в жертву Афродите Всенародной белую овцу, а Урании, «что в огородах» — телку, и почтить венком Благ Подательницу и будем мы совершенно счастливы и довольны. А пока ты видишь, сколько

мы получаем от этого юноши — он еще ни разу не дал тебе ни обола, ни платья, ни сандалий, ни благовоний. Все у него предлоги да широковещающие обещания и обнадеживанья, и многое тому подобное, дескать, «если только отец...», «как только я буду сам хозяин отцовского имущества, все будет твоё». А ты еще говоришь, что он поклялся тебе сделать тебя законной женой!

Музария. Ведь он поклялся, мать, обеими богинями и Покровительницей города.

Мать. И ты, конечно, веришь! И потому вчера, когда ему было нечем заплатить взнос на пирушку, ты дала ему кольцо без моего ведома, а он, продавши его, пропил; да еще два ожерелья ионических, каждое весом в два дарика, которые тебе привез хиосский судовладелец Праксий, заказав их в Эфесе: Херею нужно было внести свою долю товарищам. А о белле и хитонах что можно сказать? Действительно, попалась нам находка, велика прибыль от него!

Музария. Но зато он красивый и безбородый, говорит, что любит меня, и плачет. К тому же он сын Диномахи и Лахета, члена Ареопага, и уверяет, что мы поженимся. Мы возлагаем на него большие надежды, если бы только старик умер.

Мать. Ну так, значит, Музария, когда нам нужна будет обувь, и сапожник станет требовать две драхмы, мы ему скажем, что денег у нас нет, но ты, мол, возьми у нас несколько надежд; и мучному торговцу скажем то же, а если у нас потребуют плату за помещение — подожди, скажем, пока Лахет из Колюта умрет. Ведь мы отдадим тебе, когда будет свадьба. И не стыдно тебе, что у тебя одной из всех гетер нет ни серег, ни ожерелья, ни тонкого тарентинского платья?

Музария. Ну так что же, мать, разве они счастливее меня или красивее?

Мать. Нет, но они предусмотрительны и умеют быть гетерами и не верят всяким словечкам юношей, у которых клятвы постоянно на губах. А ты верна и постоянна в любви и не приближаешь никого другого, кроме одного только Херея. Еще недавно, когда земледелец, ахарнянин, тоже безбородый, явился к тебе с двумя минами (так как по поручению отца он получил плату за вино), ты его прогнала, а сама проводишь ночи со своим Адонисом Хереем.

Музария. Ну так что же? Следовало бросить Херея и отдаться этому рабочему, пахнущему козлом? Чтобы говорили, что мои любовники — безбородый Херей и свинка ахарнянин?

Мать. Пусть так. Он деревенщина и от него дурно пахнет. Но почему же ты не приняла Антифонта, сына Менекрата, который обещал тебе мину? Он тоже был нехорош для тебя, хотя он и городской житель и ровесник Херею?

Музария. Но Херей пригрозил, что зарежет нас обоих, если поймает меня когда-нибудь с ним вместе.

Мать. А сколько других грозят тем же? Право, ты останешься без любовников и будешь так скромна, как будто ты не гетера, а какая-то жри-

ца Тесмофоры. Но оставим это. Сегодня Галон. Что же он тебе дал к празднику?

Муза р и я. У него нет ничего, матушка.

Ма т ь. Он один не нашел средств против отца, не подослав раба, который бы обманул отца, не вытребовал у матери, угрожая отплыть на военную службу, если не получит денег, а все сидит и трется около нас и сам ничего не дает и от других, дающих, брать не позволяет. Ты думаешь, Музария, что всегда тебе будет восемнадцать лет? Или что Херей останется по-прежнему при том же положении, когда сам сделается богатым, а мать устроит ему многотысячный брак? Ты думаешь, что он вспомнит про свои слезы, поцелуй и клятвы, глядя на приданое, может быть, в пять талантов?

Муза р и я. Он вспомнит. И доказательство этому то, что он еще не женился, а отказался, несмотря на приказания и принуждения.

Ма т ь. Ах, пусть бы я ошиблась! Но я напомним тебе тогда, Музария.

8

Ампелида и Хризидида

1. А м п е л и д а. Какой же это любовник, милая Хризидида, — не ревнует и не сердится, не прибил никогда, не обрезал волосы и не разодрал платья?

Х р и з и д а. Разве в этом только признаки любовника, Ампелида?

А м п е л и д а. Да, если он человек горячий. Потому что остальное — поцелуй, слезы, клятвы и частые посещения — это все знаки любви начинающейся и все еще растущей. А настоящий огонь весь от ревности. Так что если тебя, как ты говоришь, Горгий бьет и ревнует, то надейся на лучшее и желай, чтобы он всегда делал то же самое.

Х р и з и д а. То же самое? Что ты говоришь! Чтобы он всегда меня бил?

А м п е л и д а. Нет, но чтобы он обижался, если ты не на него одного смотришь. Ведь если бы он тебя не любил, зачем ему сердиться, если у тебя будет еще другой любовник?

Х р и з и д а. Но ведь у меня-то его нет. Горгий напрасно подозревает, что меня любит один богатый человек, — только потому, что я случайно как-то упомянула его имя.

2. А м п е л и д а. Но приятно ведь думать, будто за тобой ухаживают богатые люди; таким образом Горгий будет больше сердиться и стараться из самолюбия, чтобы соперники в любви не превзошли его.

Х р и з и д а. Но он только сердится и дерется, а ничего ведь не дает.

А м п е л и д а. Ну так даст, ибо он ревнует, и больше всего даст, если будешь огорчать его.

Х р и з и д а. Не знаю, милая Ампелида, почему ты хочешь, чтобы я принимала побой.

А м п е л и д а. Я вовсе этого не хочу, — мне только кажется, что сильная любовь возникает, если он думает, что им пренебрегают. Если же он будет уверен, что только один обладает тобой, то страсть как-то начинает гаснуть. Это тебе говорю я, которая целых двадцать лет была гетерой, — а тебе, я думаю, всего восемнадцать лет или даже меньше.

Если хочешь, я сама расскажу тебе, что я когда-то перенесла, несколько лет тому назад. Полюбил меня Демофант, ростовщик, что живет за Пестрым Портиком. Он никогда больше каких-нибудь пяти драхм не давал и хотел быть господином надо мной. А любил он, Хризиде, какой-то поверхностной любовью, не вздыхал и не плакал, не приходил в неурочное время, но только изредка проводил со мною ночи, да и то через большие промежутки. Когда же как-то он пришел, а я его не впустила (потому что Каллид, художник, был у меня, приславши мне вперед десять драхм), то он сперва ушел от меня, ругаясь. Потом, когда прошло много дней, а я не посылала за ним, так как Каллид оставался у меня, тут уж Демофант разгорячился и воспылил страстью на деле и постоянно стоял у дома, подстерегая, не откроется ли когда-нибудь дверь, просил, стучал, грозил убить, рвал на себе платье — словом, делал все, что мог, и в конце концов дал мне талант и был моим единственным любовником целых восемь месяцев. А жена его всем говорила, будто я с ума его свела волшебным зельем. А зелье то было — ревность.

Так что и ты, Хризиде, пользуйся тем же средством относительно Горгия: ведь он будет богатым юношей, если что-нибудь случится с его отцом.

9

Доркада, Паннихис, Филострат и Полемон

Д о р к а д а. Мы пропали, госпожа, пропали! Полемон из похода возвратился, разбогатев, как говорят. Я сама его видела закутанного в пурпуровый плащ, в сопровождении большой толпы прислужников. А друзья, как его увидели, сбежались, чтобы обнять его. Я, между тем, заметив шедшего за ним слугу, который отправился вместе с ним в поход, спросила его после приветствия: «Скажи мне, — говорю, — Парменон, что вы поделывали и вернулись ли с чем-нибудь, из-за чего стоило воевать?»

П а н н и х и с. Не нужно было говорить всего этого сразу, а лучше было сказать что-нибудь в таком роде: «Великое благодарение богам, что вы уцелели, в особенности Зевсу Гостеприимцу и Афине Воительнице. А госпожа, мол, все спрашивала, что-то вы делаете и где-то вы». Если бы

ты еще прибавила, что я, дескать, плакала и все вспоминала Полемона, было бы еще лучше.

2. Доркада. Я все тотчас же сказала в самом начале; но я не про это хотела тебе сказать, а про то, что я слышала. Потому что разговор я ведь начала так с Парменоном: «Право, Парменон, не звенело ли у вас в ушах? Ведь госпожа постоянно вспоминала вас со слезами, в особенности если кто-нибудь вернется с войны и рассказывает, что многие убиты, — она рвет тогда на себе волосы, бьет себя в грудь и горюет по поводу каждого известия».

Паннихис. Ну, вот и хорошо, Доркада, так и следовало говорить.

Доркада. Потом, немного спустя, я спросила уже то, что я тебе сказала. А он говорит: «В весьма блестящем виде мы возвратились».

Паннихис. Так что он ничего не сказал, вспоминал ли меня Полемон, тосковал ли по мне, надеялся ли найти живой?

Доркада. О да, он говорил многое в этом роде. Но, кроме того, он рассказал главное: про большое богатство, золото, платье, свиту, слоновую кость; говорил, что денег привезли с собой без счета — на меры считать, то много мер.

А у самого Пармено́на на мизинце кольцо громадное, многогранное, и в нем камень с красной поверхностью трехцветный вделан. Я пропустила, что он мне хотел было рассказать, как он перешли Галис, как убили какого-то Тиридата и как отличился Полемон в битве с писидами: я побежала объявить тебе это, чтобы ты подумала о теперешнем положении вещей. Ведь если Полемон придет, — а он придет во всяком случае, как только освободится от своих знакомых, — и, если, осведомившись, найдет у нас Филострата, что тогда он сделает, как ты полагаешь?

3. Паннихис. Ну, Доркада, давай изыщем выход из настоящего положения. Ведь некрасиво будет с моей стороны отослать Филострата, когда он совсем недавно дал талант, — притом же он купец и обещает многое; но и возвратившегося в таком блеске Полемона было бы невыгодно не принять. Вдобавок он ведь ревнив и, когда был беден, был невыносим. А теперь чего он только не сделает!

Доркада. Смотри, вот он подходит.

Паннихис. Я совсем потеряла силы, Доркада, от безвыходного положения и вся дрожу.

Доркада. А вот и Филострат подходит.

Паннихис. Что-то со мной будет! Хоть бы меня земля поглотила!

4. Филострат. Почему мы не пьем, Паннихис?

Паннихис. Человек, ты погубил меня! А ты, Полемон, здравствуй! Поздно же ты являешься.

Полемон. Кто это такой к вам подходит?.. Молчишь? Ну хорошо, Паннихис. А я-то в пять дней примчался из Пил, торопясь к подобной женщине! Впрочем, я терплю по заслугам и благодарен тебе: уж больше ты меня грабить не будешь.

Филострат. А ты кто, почтеннейший?

Полемон. Я — Полемон Стирнец, из филы Пандиониды, слышал? Сначала был хилиархом, а теперь начальствую над пятью тысячами щитов; был любовником Паннихис, когда еще думал, что у нее есть человеческие чувства.

Филострат. Но теперь, начальник, Паннихис — моя, она получила от меня один талант; получит и другой, когда распродадим товары. А теперь ступай за мной, Паннихис, — пусть он командует над одрисами.

Доркада. Она свободна и, если захочет, пойдет.

Паннихис. Что мне делать, Доркада?

Доркада. Лучше выйти, а не оставаться с разгневанным Полемоном: ведь из ревности он решится на крайнее.

Паннихис. Выйдем, пусть будет по-твоему.

5. Полемон. Но я вам обещаю, что вы будете пить сегодня в последний раз. Зря, что ли, я, испытанный в стольких убийствах, пришел сюда?.. Парменон! Фракийцев сюда! Пусть они придут загородить переулок своей фалангой, спереди тяжеловооруженные, с боков пращники и лучники, а прочие сзади.

Филострат. Ты, наемник, говоришь это нам, точно младенцам, и букой пугаешь. Да убил ли ты сам когда-нибудь хоть петуха и видел ли сражение? Скорее ты сидел в маленьком укреплении с полуотрядом, — да и это я говорю, чтобы только польстить тебе.

Полемон. Ну, ты это скоро узнаешь, когда увидишь нас едущими с копьями наперевес и сверкая оружием.

Филострат. Приходи, хорошенько подготовившись: я да вот Тибий, — ведь он один сопровождает меня, — бросая в вас камнями да черепками, рассеет так вас, что не будете знать, куда бежать.

10

Хелидония и Дросида

1. Хелидония. Что это, Дросида, молодой Клиний больше не показывается у тебя? Давно уж я что-то не видела его у вас!

Дросида. Да, Хелидония, потому что учитель не позволил ему больше подходить ко мне.

Хелидония. Кто такой? Уж не говоришь ли ты что-нибудь против воспитателя Диотима? Он мне друг.

Дросида. Нет, не он, а проклятый Аристенет, худший из философов.

Хелидония. Ты говоришь про такого угрюмого, взъерошенного и длиннородого, который обыкновенно гуляет с юношами в Пестром Портике?

Дросида. Да, я говорю про этого обманщика, — чтоб я дождалась его гибели, когда палач потащит его за бороду!

Хелидония. Что же с ним случилось, что он сумел переубедить Клиния?

Дросида. Не знаю, Хелидония. Но Клиний, который ни одной ночи не проводил без меня с тех пор, как узнал женщину, — а ведь он узнал меня первую, — последние эти три дня он даже не подходил к моему перу. Когда же мне стало грустно, — не знаю сама, почему-то я беспокоилась о нем, — я послала Небриду высмотреть Клиния, когда он будет на площади либо в Пестром Портике. И она говорит, что видела его прогуливающимся с Аристенетом и кивнула ему издали, а он покраснел, опустив глаза, и больше их уже не поднимал. Потом они пошли вместе в Академию, она же следовала за ними до самого Дипилона, но так как он совсем не оборачивался, то она воротилась домой, не будучи в состоянии рассказать мне ничего определенного.

Подумай, как я жила после этого, не умея представить даже, что случилось с моим милым мальчиком! Уж не обидела ли его, говорила я себе, или он полюбил другую, а меня разлюбил? А может быть отец запретил ему? И много подобных мыслей приходило мне на ум. Но вот, поздно вечером пришел Дромон и принес от него это письмецо. На, прочти, Хелидония, ведь ты-то грамотная.

Хелидония. Давай посмотрим. Буквы не очень разборчивы и ясно показывают небрежность и некоторую торопливость писавшего. Гласит же оно вот что: «Как сильно я тебя любил, Дросида, беру богов в свидетели!...»

Дросида. Ах, я несчастная: он даже «здравствуй» не приписал.

Хелидония. «И теперь я еще держусь вдаль не из-за нелюбви к тебе, но по необходимости. Потому что отец поручил меня Аристенету, чтобы он научил меня философии, а так как он узнал все о наших отношениях, то очень меня упрекал за них, говоря, что непристойно мне, будучи сыном Архитела и Эрасikleи, посещать гетеру. Гораздо лучше предпочитать удовольствию добродетель...»

Дросида. Чтоб он умер в недобрый час, этот пустозвон, за то, что учит юношу подобным вещам!

Хелидония. «Я принужден повиноваться ему, потому что он сопровождает меня всюду и строго следит за мной; даже нельзя мне посмотреть ни на кого другого, кроме него. Если я буду благоразумен и во всем буду его слушаться, он обещает мне совершенное благополучие, когда наставит меня в добродетели и подготовит к труду. Я тебе пишу это, с трудом скрывшись от него. Ты же будь счастлива и не забывай Клиния».

Дросида. Как ты находишь это письмо, Хелидония?

Хелидония. Все мне непонятно как скифский язык; ну, а «не забывай Клиния» содержит еще кое-какой небольшой остаток надежды.

Дросида. И мне так кажется. Но все же я погибаю от любви. А Дромон, к тому же, говорил, что Аристенет — подозрительный любитель юношей и под предлогом преподавания заводит связи с самыми красивыми юношами; что он ведет разговоры с Клинием наедине, давая ему всякие

обещания, будто сделает его равным богам; что он даже читает с Клинием всякие эротические речи древних философов к ученикам и вообще увивается за юношей. Так что Дромон даже грозил ему довести все это до сведения отца Клиния.

Хелидония. Следовало угостить Дромона, Дросида.

Дросида. Я и угошала; да и без этого он мой, потому что влюбен в Небриду.

Хелидония. Ну так не бойся: все будет отлично. Я думаю написать на стенке в Керамике, где Архител обыкновенно гуляет: «Аристенет развращает Клиния». Так что еще и с этой стороны помогу сплетне Дромона.

Дросида. Как же ты это сделаешь незаметно?

Хелидония. Я это ночью сделаю, Дросида, достав где-нибудь уголь.

Дросида. Ну и отлично! Помоги мне только, Хелидония, выступить в поход против этого шута Аристенета.

11

Трифена и Хармид

Трифена. Ну разве берут гетеру и платят ей пять драхм, а потом проводят ночь, отвернувшись, плача и вздыхая? А ты пил, кажется, без удовольствия и один есть не хотел, так как плакал и за пирушкой, — ведь я видела. Даже теперь ты не перестаешь еще всхлипывать как младенец. Чего же ради, Хармид, все это делаешь? Не таись от меня, чтобы я хоть так получила пользу от ночи, проведенной с тобой без сна.

Хармид. Меня губит любовь, Трифена, и я не могу больше выдерживать, так она сильна.

Трифена. Ясно, что ты любишь не меня, так как иначе, имея меня, ты бы не был равнодушен и не отталкивал меня, когда я хотела обнять тебя, и, наконец, ты не отгородился бы одеждой, как стенкой между нами, из боязни, чтобы я тебя не коснулась. Но все-таки, кто она, скажи! Может быть, я смогу помочь твоей любви, так как знаю, как нужно обделывать подобные дела.

Хармид. Конечно, ты ее знаешь, и даже очень хорошо; да и она знает тебя, потому что она не безызвестная гетера.

Трифена. Скажи ее имя, Хармид!

Хармид. Филематия, Трифена.

Трифена. О которой ты говоришь? Ведь их две, — о той, что из Пирея, которая в прошлом году потеряла девственность и которую любит Дамилл, сын теперешнего стратега; или же о другой, что прозвали «Ловушкой»?

Хармид. Именно про нее. И я, несчастный, действительно захвачен и запутался в ее сетях.

Т р и ф е н а. Ты, конечно, ее умолял?

Х а р м и д. Еще бы!

Т р и ф е н а. И с давних пор у тебя эта любовь или недавно?

Х а р м и д. Не так недавно — почти семь месяцев уже прошло с праздника Дионисий, когда я впервые ее увидел.

Т р и ф е н а. А рассмотрел ли ты ее внимательно всю или только лицо и открытые части тела, что следует показывать женщине, которой теперь уже сорок пять лет?

Х а р м и д. А ведь она клялась, что ей исполнится двадцать два в будущем Элафеболлоне!

3. Т р и ф е н а. Да чему же ты будешь больше верить: клятвам ее или своим собственным глазам? Посмотри-ка хорошенько хоть на ее виски, — у нее только тут свои волосы, а остальное — обильная накладка. А у висков, когда прекращается действие снадобья, которым она красится, виднеется много седеющих волос. Но это еще что! А вот заставь ее как-нибудь показаться тебе голой.

Х а р м и д. Ни разу еще она мне этого не позволила.

Т р и ф е н а. Понятно: ведь она знала, что ты почувствовал бы отвращение к ее белым пятнам, как от проказы. Вся она от шеи до колен похожа на леопарда. А ты еще плакал, что не был ее любовником! Так она, может быть, тебя обидела и огорчила и отнеслась с презрением?

Х а р м и д. Да, Трифена, хотя столько от меня получила! И теперь, когда я не мог с легкостью отдать ей тысячу, которой она требовала, — отец воспитывает меня скупой, — она приняла к себе Мосхиона, а мне отказала. За это в отместку я и хотел ее посердить, взяв тебя.

Т р и ф е н а. Нет, клянусь Афродитой, я бы не пришла, если бы мне сказали, что меня берут для того, чтобы огорчить другую, и вдобавок Филематию, погребальный горшок! Но я уйду, так как петух пропел уже в третий раз.

4. Х а р м и д. Не торопись уж так, Трифена. Ведь если правда все то, что ты говоришь о Филематии, — про накладные волосы, что она красит их, и про белые пятна, то я не могу больше видеть ее.

Т р и ф е н а. Спроси мать, если она когда-нибудь купалась с ней; а о годах тебе дед твой мог бы порассказать, если он еще жив.

Х а р м и д. Ну если она, действительно, такова, так пусть же исчезнет препятствие между нами; обнимемся, будем целовать друг друга и проведем ночь по-настоящему! А Филематия пусть себе живет на здоровье!

12

Иоэсса, Питиада и Лисий

1. И о э с с а. Что за гордеца ты разыгрываешь передо мной, Лисий? Как это хорошо с твоей стороны! Ведь я ни разу еще не требовала у тебя

денег, а сама, если ты приходил, никогда перед тобой не закрывала дверей, говоря, что у меня кто-нибудь другой, и никогда я не заставляла тебя обманывать отца или обкрадывать мать, чтобы только принести мне какой-нибудь подарок, как другие делают; но с самого начала принимала тебя даром, без вознаграждения. Ты знаешь, сколько любовников я отослала: Теокла, который теперь притан, судовладельца Пасиона и твоего сверстника Мелисса, хотя у него недавно умер отец, и он сам хозяин всего имущества.

Ты был мой единственный Фаон, и я не глядела ни на кого другого и не допускала к себе никого, кроме тебя. Я думала, неразумная, что все, в чем ты клялся, было правдой! И поэтому я была тебе предана и скромна, как Пенелопа, несмотря на крики моей матери и ее жалобы подругам. А ты, как только понял, что я в твоих руках, потому что такую перед тобой, — ты стал заигрывать с Ликеной на моих глазах, чтобы огорчить меня, а недавно, лежа подле меня, стал расхваливать арфистку Магидию. Вот и вчера, когда вы устроили пирушку, — Трасон, ты и Дифил, — была также флейтистка Кимбаля и Пираллида, мой враг. А ты, зная это, — ты Кимбаля поцеловал пять раз, что меня еще не так задело: целуя подобную женщину, ты себя унижил. Сколько раз ты кивал Пираллиде и, каждый раз как пил, показывал ей потихоньку чашу, а отдавая ее слуге, шептал ему на ухо, чтобы он не наливал никому другому, если не захочет Пираллида! И, наконец, надкусив яблоко, когда увидел, что Дифил не обращает внимания, — он болтал с Трасоном, — ты слегка наклонился вперед и метко пустил яблоко ей в грудь, даже не стараясь сделать это незаметно для меня. А она, поцеловав, опустила яблоко под пояс между грудей.

2. Скажи, для чего ты это делаешь? Чем я тебя в большом или малом обидела или огорчила? Разве я глядела на кого-нибудь другого? Разве не для тебя одного я живу? Нетрудное дело, Лисий, огорчать несчастную, беспомощную женщину, которая без ума от тебя! Но ведь есть еще богиня Адрастея, и она видит все это. Может быть, и ты когда-нибудь почувствуешь горе, услышав про меня, что я умерла, задушив себя веревкой или бросившись в колодезь головой вниз, или придумала еще какой-нибудь другой род смерти, чтобы больше не сердить тебя, попадаясь на глаза. Ты можешь тогда торжествовать, как будто сделал большое и славное дело. Что же ты смотришь на меня исподлобья, стиснув зубы? Ведь если ты в чем-нибудь упрекаешь меня — скажи: пусть нас рассудит Питиада. Что это? Ты уходишь, оставляя меня даже без ответа? Видишь, Питиада, что я переносю от Лисия!

П и т и а д а. Какая жестокость! Не быть тронутым даже ее слезами! Да это камень, а не человек! Но, впрочем, если говорить правду, ты сама, Иоэсса, испортила его, чрезмерно любя его и слишком обнаруживая это. Не следовало так много за ним ухаживать. Потому что, кто это замечает, тот сейчас же возгордится. Перестань же плакать, несчастная, и, если хочешь меня послушаться, раз или два захлопни дверь перед ним, когда он придет к тебе. И ты увидишь, что он снова сильно воспламенится и будет, в свою очередь, без ума от тебя.

И о э с с а. Да замолчи ты, перестань! Чтобы я отказала Лисию! Только бы он сам не покинул меня раньше!

П и т и а д а. Но он опять возвращается.

И о э с с а. Ты погубила нас, Питиада: может быть, он услышал, как ты сказала «захлопни дверь».

3. Л и с и й. Я вернулся не ради нее, Питиада, — я не стану и смотреть на такую женщину, — но ради тебя, чтобы ты не ожидала меня и не говорила: «Лисий безжалостен».

П и т и а д а. Но я именно это и говорю, Лисий.

Л и с и й. Ты, значит, сама хочешь, Питиада, чтобы я терпел эту Иоэсу, которая в слезах разливается теперь, а как-то недавно я сам ее, изменицу, застал спящей вместе с другим юношей.

П и т и а д а. Лисий! Ведь, в конце концов, она же гетера! Но когда ты, говоришь, застал их вместе?

Л и с и й. Примерно дней шесть тому назад... да, клянусь Зевсом, это было ровно шесть дней тому назад — во второй день этого месяца, а сегодня ведь седьмой. Отец, зная, что я издавна люблю эту добрую девушку, запер меня, запретив привратнику открывать мне дверь. Но так как я не мог вытерпеть, чтобы не провести ночи с ней, то я приказал Дромену стать, согнувшись, у стены двора, там, где она пониже, и подставить мне свою спину, чтобы таким образом я мог легко влезть. Что же тут долго рассказывать? Я перелез через стену, пришел сюда, нашел ворота тщательно запертыми, потому что дело было среди ночи. Я, стало быть, не постучал, но тихонько приподнял дверь, — я уже не раз это делал и раньше, — и, сняв ее с петель, бесшумно вошел. Все спали. Тогда, ошупью идя вдоль стены, я стал у постели...

4. И о э с с а. Договаривай! О, Деметра, я умираю от тревоги!

Л и с и й. Когда же я заметил не одно дыхание, — сначала подумал, что с ней спит Лида. Но это было не так, Питиада, так как, ошупывая рукой, я нашел, что то был кто-то без бороды, очень юный, остриженный догола и надушенный. Когда я это заметил, то, приди я с мечом, не стал бы колебаться, знайте это хорошо! Что же вы смеетесь, Питиада? Разве этот рассказ вам кажется смешным?

И о э с с а. Так тебя это огорчило, Лисий? Да ведь это же сама Питиада со мной спала!

П и т и а д а. Не говори ему, Иоэсса.

И о э с с а. Почему же не сказать? Это была Питиада, дорогой мой, которую я позвала, чтобы спать с ней вместе. Мне было так грустно, что тебя нет со мной.

5. Л и с и й. Как, Питиада — тот остриженный догола? Значит, через шесть дней она отрастила себе такие воосы?

И о э с с а. Она обрилась после болезни, Лисий, потому что у нее падали волосы. А теперь она носит парик. Покажи, Питиада, покажи, как это делается, убеди его. Смотри, вот юноша-прелюбодей, к которому ты меня ревновал!

Л и с и й. Не следовало, значит, Иоэсса, ревновать, даже когда я ощущал его рукой?

И о э с с а. Так, значит, ты уже убедился! А не хочешь ли, чтобы теперь я тебя огорчила в отместку? Я имею полное право теперь сердиться, в свою очередь.

Л и с и й. Ни в каком случае! Лучше будем пить теперь, и Питиада вместе с нами: ведь она заслужила участие в пирушке.

И о э с с а. Она будет. Но что я перенесла из-за тебя, Питиада, благороднейший из юношей!

П и т и а д а. Но зато я же вас и примирила, — так что не сердись на меня. Только вот что, Лисий: смотри не говори никому про мои волосы!

13

Леонтих, Хенид и Гимнида

1. Л е о н т и х. А как в сражении с галатами, расскажи-ка, Хенид, как я летел впереди других всадников на белом коне и как галаты, хоть и храбрые они люди, а дрогнули, едва меня увидели, так что никто из них не устоял. Тогда я, пустив копьё, пронзил начальника конницы галатов вместе с лошастью, а на остальных, которые еще держались, — некоторые оставались, расстроив фалангу и построившись четырехугольником, — на этих я устремился, сжимая в руке меч, со всем воодушевлением и опрокинул натиском коня, наверно, человек семь, стоявших впереди; потом я ударил мечом одного из начальников отряда и рассек ему надвое голову вместе со шлемом. Тут-то и вы, Хенид, немного спустя появились, когда враги уже бежали.

2. Х е н и д. А разве ты не показал себя блистательно, Леонтих, в Пафлагонии, в единоборстве с сатрапом?

Л е о н т и х. Хорошо, что ты припомнил это дело, выполненное не без доблести. Ведь этот сатрап был человек громадного роста и считался превосходным бойцом. Презирая греческое войско, он выступил на середину и крикнул клич, не захочет ли кто-нибудь вступить с ним в поединок. Ну, никто не двинулся с места, ни лохаги, ни таксиархи, ни даже сам предводитель, хоть он и был человек нетрусливый. Нами командовал этолиец Аристеихм, превосходно владевший копьём, а я еще был только хиляархом. И все-таки у меня хватило смелости, я вырвался от товарищей, которые меня удерживали из страха за меня, видя этого громадного, страшного варвара, сверкающего золоченым оружием, потрясающего султаном и копьём.

Х е н и д. Я боялся тогда за тебя, Леонтих Львиное Сердце, и ты знаешь, что я удерживал тебя, прося не подвергаться опасности. Нестерпима жизнь для меня, если бы ты умер!

3. Леонтих. Но я набрался храбрости и выступил на середину, вооруженный не хуже пафлагонца, потому что и я был весь раззолоченный, так что тотчас же крик поднялся и у нас, и у варваров. Они тоже меня узнали, как только увидели, особенно по щиту, нашечникам и султану. Скажи, Хенид, с кем меня тогда сравнивали?

Хенид. С кем же, как не с Ахиллом, сыном Фетиды и Пелея, клянусь Зевсом! К тебе так шел шлем, яркий пурпур и сверкающий щит...

Леонтих. Когда сошлись, варвар первый ранил меня, но слегка, задев копьем повыше колена; я же, пробив его щит длинной пикой, ударил его прямо в грудь, потом, подбежав, быстро отсек ему голову мечом и возвратился с его оружием и головой, укрепленной на копье, весь обгаренный кровью.

4. Гимнида. Поди же прочь, Леонтих, если ты рассказываешь такие ужасы и гадости про себя; никто не захочет на тебя смотреть и видеть твою любовь к убийствам, а не то что жить или проводить ночь с тобой. Я-то ухожу.

Леонтих. Возьми хоть удвоенную плату.

Гимнида. Я не в силах провести ночь с убийцей.

Леонтих. Не бойся, Гимнида! Все это было в Пафлагонии, а теперь я живу мирно.

Гимнида. Но ты человек запятанный, потому что кровь капала на тебя с головы варвара, которую ты нес на копье. И чтобы я такого человека обняла и поцеловала? Да не будет этого, Хариты! Ведь он ничуть не лучше палача!

Леонтих. А ведь если бы ты меня видела в вооружении, — я прекрасно знаю, ты меня полюбила бы.

Гимнида. От одних твоих рассказов, Леонтих, меня тошнит, я дрожу и будто вижу тени и призраки убитых, в особенности этого несчастного начальника с рассеченной надвое головой. Подумай только, если бы я видела само злодеяние и кровь, и мертвых, лежащих кругом! Право, мне кажется, я бы умерла: ведь я никогда не видела даже, как режут петуха.

Леонтих. Ты так робка и малодушна, Гимнида? А я-то думал, что ты будешь слушать с удовольствием!

Гимнида. Ну, ты можешь усладить такими рассказами, если встретишь каких-нибудь Лемниад или Данаид. А я бегу к матери, пока еще день не кончился. Иди и ты со мной, Граммида. А ты будь здоров, славный хилярик, и убивай людей, сколько хочешь!

5. Леонтих. Постой, Гимнида, подожди!... Ушла!

Хенид. Потому что ты сам, Леонтих, напугал неопытную девочку, потрясая султаном и рассказывая о невероятных подвигах. Я тотчас же заметил, как она побледнела еще тогда, когда ты рассказывал эту историю про начальника, и как менялась в лице и задрожала, когда ты сказал, что отрубил ему голову.

Леонтих. Я думал этим стать в ее глазах более достойным любви. Но ведь и ты, Хенид, меня толкнул на гибель, подсказав мне про поединок.

Х е н и д. Так что, не следовало поддерживать твою выдумку, если я видел причину твоего хвастовства? Но ты сделал ее уж чересчур страшной. Ну, пусть еще ты отрезал голову этому несчастному пафлагонцу, но зачем же было насаживать на копье, так что кровь лилась на тебя?

Л е о н т и х. Это, действительно, отвратительно, Хенид, но ведь остальное, пожалуй, недурно придумано. Ну, пойди и убеди ее провести ночь со мной.

Х е н и д. Значит, говорить, что ты солгал все это, желая показаться ей доблестным?

Л е о н т и х. Мне стыдно это, Хенид.

Х е н и д. Да ведь иначе она не придет. Выбирай, следовательно, одно из двух: или казаться героем, внушая Гимниде отвращение, или провести с ней ночь, признавшись, что ты солгал.

Л е о н т и х. Тяжело и то, и другое. Но все-таки я выбираю Гимниду. Пойди к ней, Хенид, и скажи, что хоть я и наврал, но не все однако.

14

Дорион и Миртала

1. Д о р и о н. Теперь ты у меня под носом дверь закрываешь, Миртала, — теперь, как только я стал беден из-за тебя? А когда я приносил тебе столько подарков, я был твой любовник, муж, господин, я был все! Так как теперь я совершенно ищейка, то ты нашла себе любовника, вифинского купца, а я выгнан и стою в слезах перед дверью, а он один все ночи напролет пользуется твоими ласками, один господствует в доме и проводит все ночи, и ты говоришь, что беременна от него.

М и р т а л а. Меня это злит, Дорион, особенно когда ты говоришь, что много мне подарил и стал бедняком из-за меня. Посчитай все, что ты мне приносил с самого начала.

2. Д о р и о н. Отлично, Миртала, посчитаем. Во-первых, сандалии из Сикиона — две драхмы. Клади две драхмы.

М и р т а л а. Но ты провел со мной две ночи.

Д о р и о н. Потом, когда я вернулся из Сирии, алебастровый сосуд с духами из Финикии, — это тоже две драхмы, клянусь Посейдоном.

М и р т а л а. А я при твоём отплытии дала тебе вон тот маленький хитон до бедер, чтобы ты пользовался им при гребле. Его забыл у нас рулевой Эпиур, когда проводил ночи у меня.

Д о р и о н. Твой Эпиур его узнал и отнял у меня недавно на Самосе, хотя и после сильной схватки, клянусь богами. Я привез тебе еще луку с Кипра и соленой рыбы пять штук и четыре камбалы, когда мы приплыли из Боспора. Что еще? Да, восемь морских сухарей в плетушке и горшок фиг из Кари, а недавно из Патар — позолоченные сандалии, неблагодарная! И еще припоминаю: большой сыр как-то из Гития.

М и р т а л а. Все это, может быть, драхм на пять, Дорион.

3. Д о р и о н. Ах, Миртала, но я давал, сколько в состоянии дать человек, плавающий в качестве наемного гребца. Ведь только теперь я стал управлять правым бортом, и ты все-таки меня презираешь. А недавно, когда был праздник Афродисий, разве я не положил к ногам Афродиты серебряную драхму ради тебя? Опять же матери твоей я дал на обувь две драхмы, и этой Лиде часто совал в руку то два, а то и четыре обола. Все это сложив, составляет целое состояние для простого морехода.

М и р т а л а. Лук и соленая рыба, Дорион?

Д о р и о н. Да, так как мне было больше нечего подарить. Ведь я, конечно, не служил бы гребцом, если бы стал богатым. А моей матери я ни разу не принес даже головки чеснока. Но я с удовольствием узнал бы, что за подарки ты получила от вифинца.

М и р т а л а. Прежде всего, видишь этот хитон? Это он купил, и ожерелье, что потолще.

Д о р и о н. Он купил? Да ведь мне известно, что оно у тебя давным-давно.

М и р т а л л а. Но то, которое тебе известно, было гораздо тоньше и без смарагдов. Потом еще вот эти серьги и ковер, и на днях дал две мины, и за помещение заплатил за нас, — это не то что патарские сандалии, гитийский сыр и прочий вздор.

4. Д о р и о н. Но каков из себя тот, с кем ты проводишь ночи, этого ты не говоришь. Лет ему, наверно, за пятьдесят, он с облыслым лбом и кожа у него как у морского рака. А видела ли ты его зубы? Сколько красоты, о Диоскуры, особенно когда он поет и хочет быть нежным, — осел, себе подыгрывающий на лире, как говорится. Ну и пользуйся им, — ты ведь достойна его, и пусть у вас родится сын, похожий на отца! А я найду какую-нибудь Дельфиду или Кимбалию по мне или соседку вашу, флейтистку, — словом, кого-нибудь другого. А ковров, ожерелий и подарков в две мины никто из нас давать не может.

М и р т а л а. Ах, счастливица — та, которая возьмет тебя в любовники! Ведь ты будешь ей привозить лук с Кипра и сыр, возвращаясь из Гития!

15

Кохлида и Партенида

1. К о х л и д а. Что ты плачешь, Партенида, и откуда идешь с поломанными флейтами?

П а р т е н и д а. Это все тот громадный этолийский солдат, любовник Крокалы. Я была нанята Горгом, его соперником, играть у нее на флейте. А он ворвался, прибил меня, разломал мои флейты, стол между гостей

перевернул, чашу с вином опрокинул. А деревенщину Горга вытащил из-за стола за волосы и избил сам воин, — Диномахом, кажется, его зовут, — и сослуживец его, так что не знаю даже, выживет ли Горг, Кохлида, потому что кровь у него сильно лилась из ноздрей и все лицо вспухло и посинело.

2. Ко х л и д а. С ума он сошел или пьян был и безумствовал от вина?

П а р т е н и д а. Ревность какая-то, Кохлида, и несоразмерная любовь. Крокала, кажется, требовала у него два таланта, если он хочет, чтобы она принадлежала только ему одному. Диномах не дал, и она выгнала его, когда он пришел, и даже захлопнула за ним дверь, как говорят; она приняла некоего Горга из Энои, богатого земледельца, который был с давних пор ее любовником, человека порядочного, стала с ним пить и меня пригласила, чтобы я им играла на флейте. Пирушка шла своим чередом, я начала наигрывать что-то лидийское, и земледелец уже встал, чтобы плясать, а Крокала хлопала в ладоши, — все шло прекрасно. Вдруг слышится шум и крик, ломают вход во двор, и вскоре врывается человек восемь дюжих молодых людей, и в числе их мегарец. Ну тут все мгновенно было опрокинуто, Горга, как я сказала, поколотили и лежащего затоптали. Крокала, не знаю как, успела потихоньку убежать к соседке своей Феспиаде. Мне же Диномах дал пощечину и, бросив мне переломанные флейты, сказал: «Пропади!» Вот я и бегу рассказать обо всем хозяйке. Поселянин тоже ушел повидать друзей в городе, чтобы они передали в руки судей этого мегарца.

3. Ко х л и д а. Вот какие радости доставляют эти любовные связи с солдатами: побои и тяжбы. Притом же все они говорят, что они предводители да тысяченачальники, а как только нужно что-нибудь подарить, так «подожди, — говорят, — выдачи, когда получу жалованье, тогда все сделаю». Да пусть они пропадут, эти хвастуны! Что до меня, то, право, я хорошо делаю, что совсем не пускаю их к себе. Для меня, пусть это будет рыбак, корабельщик или поселянин, все равно, лишь бы только он мало льстил и много дарил; а эти, что потрясают султанами да рассказывают про сражения, — нет, Партенида, все это пустое дело.



НИГРИН

Письмо к Нигрину

Лукиан желает счастья Нигрину

Пословица говорит: «сову в Афины», так как смешно, если кто-нибудь повезет туда сов, когда там их и без того много. Поэтому, если бы я, желая показать силу красноречия, написал книгу и затем отправил ее Нигрину, я был бы так же смешон, как если бы действительно привез сову в Афины; но так как я и хочу только высказать тебе мои теперешние взгляды и показать, что твои слова имели на меня сильное влияние, то несправедливо применять ко мне эту пословицу, а равно и известные слова Фукидида о том, что невежество делает людей смелыми, а размышление — нерешительными. Ведь ясно, что во мне не одно невежество является причиной такой решимости, но и любовь к твоим речам.

Будь здоров.

НИГРИН, ИЛИ О ХАРАКТЕРЕ ФИЛОСОФА

Друг и Лукиан

1. Друг. Каким важным ты вернулся к нам и как высоко держишь голову! Ты не удостоиваешь нас даже взгляда, не бываешь с нами и не принимаешь участия в общей беседе. Ты резко изменился и вообще стал каким-то высокомерным. Хотел бы я знать, откуда у тебя этот странный вид и что за причина всего этого?

Лукиан. Какая же может быть другая причина, мой друг, кроме счастья?

Друг. Что ты хочешь сказать?

Лукиан. Вкратце говоря, я к тебе являюсь счастливым и блаженным и даже, как говорят на сцене, «трижды блаженным».

Друг. Геракл! В такое короткое время?

Лукиан. Да, именно.

Друг. В чем же то великое, что тебя наполняет гордостью? Скажи, чтобы мы не вообще радовались, но могли узнать что-нибудь определенное, услышав обо всем от тебя самого.

Лукиан. Разве тебе не кажется удивительным, Зевс свидетель, что я вместо раба стал свободным, вместо нищего — истинно богатым, вместо неразумного и ослепленного — человеком более здравым.

2. Друг. Да, это великое дело, но я еще ясно не понимаю, что ты хочешь сказать.

Лукиан. Я отправился прямо в Рим, желая показаться главному врачу, так как боль в глазу все усиливалась.

Друг. Все это я знаю и от души желал тебе найти дельного врача.

Лукиан. Решив давно уже поговорить с Нигрином, философом-платоником, я встал рано утром, пришел к нему и постучался в дверь. После доклада слуги я был принят. Войдя, я застал Нигрина с книгой в руках, а кругом в помещении находилось много изображений древних философов. Перед Нигрином лежала доска с какими-то геометрическими фигурами и шар из тростника, изображающий, по-видимому, вселенную.

3. Порывисто и дружелюбно обняв меня, Нигрин спросил, как я поживаю. Я рассказал ему и, в свою очередь, пожелал узнать, как он поживает и решил ли он снова отправиться в Грецию. Тут, мой друг, начав говорить об этом и излагая свое мнение, он пролил передо мною такую амбросию слов, что Сирены, если они когда-нибудь существовали, и волшебницы-левицы и гомеровский лотос показались мне устарелыми — так божеественно вещал Нигрин.

4. Он перешел к восхвалению философии и той свободы, какую она дает, и стал высмеивать то, что обыкновенно считается благами — богатство, славу, царскую власть, почет, а также золото и пурпур и все то, чем

большинство так восхищается и что до тех пор и мне казалось достойным восхищения. Все его слова я воспринимал жадной и открытой душой, хотя и не мог отдать себе отчета в том, что со мной происходит. Испытывал же я всякого рода чувства: то был огорчен, слыша порицания того, что мне было дороже всего — богатства, денег и славы, и едва не плакал над их разрушением, то они мне казались низменными и смешными, и я радовался, как бы взглядывая после мрака моей прежней жизни на чистое небо и великий свет; и, что удивительнее всего, я даже забывал о болезни глаз, а моя душа постепенно приобретала все более острый взор. А я раньше и не замечал, что она была слепа!

5. Наконец я пришел в то состояние, за которое ты меня только что упрекал: я стал горд после речи Нигрина и как бы поднялся выше и вообще не могу думать ни о чем мелком. Мне кажется, что со мною, благодаря философии, случилось то же, что, как говорят, произошло с индийцами от вина, когда они в первый раз напились его: будучи уже от природы горячими, они, напившись крепкого, чистого вина, тотчас же пришли в сильное возбуждение и стали вдвойне, сравнительно с другими, безумствовать. Так вот и я воодушевлен и опьянен словами Нигрина.

6. Друг. Но ведь это не опьянение, а напротив, трезвость и воздержание. Я хотел бы, если можно, услышать эту речь. Я думаю, что нехорошо будет с твоей стороны отказать в этом, особенно если ее хочет услышать друг, стремящийся к тому же, что и ты.

Лукиан. Будь спокоен, мой милый, я могу ответить тебе словами Гомера:

Почто, как и сам я стараюсь, ты побуждаешь меня?

Если бы ты меня не опередил, я сам попросил бы тебя выслушать мой рассказ: я хочу, чтобы ты засвидетельствовал перед всеми, что я безумствую не беспричинно. Кроме того, мне приятно как можно чаще вспоминать слова Нигрина, и я выработал в себе привычку, даже если никого не встречаю, все-таки два или три раза в день повторять про себя его речь.

7. Влюбленные вдали от любимых вспоминают их поступки и слова и, проводя таким образом время, заглушают самообманом свое страдание, так как им кажется, что любимые находятся с ними; некоторые даже воображают, что разговаривают с ними и восхищаются тем, что слышали раньше, как будто это было сказано сейчас; занятые воспоминаниями прошлого, они не имеют времени тяготиться настоящим. Так и я, в отсутствие философии, восстанавливаю в памяти слова, которые я тогда слышал, и, снова передумывая их, испытываю большое утешение. Словом, как моряк, носимый в глубокую ночь по морю, ищет глазами маяка, так я ищу Нигрина, и мне кажется, будто он присутствует при каждом моем действии, и я постоянно слышу его речь, обращенную ко мне. Иногда же, особенно если душа моя находится в более напряженном состоянии, я вижу перед собой его лицо и звук его голоса отдается в ушах. Он действитель-

но, по выражению комического поэта, оставляет как бы жало в душах слушателей.

8. Д р у г. Прекрати, странный ты человек, длинное вступление и вступи, наконец, к передаче слов Нигрина с самого начала, а то я уже изнемогаю от того, как ты меня водишь вокруг да около.

Л у к и а н. Это правда. Так и сделаем! Только еще одно, мой друг: видал ты когда-нибудь плохих трагических актеров или, Зевс свидетель, комических, которых освищивают и которые так портят произведения, что их под конец прогоняют, хотя сами драмы часто бывают хорошими и раньше одерживали верх на состязаниях?

Д р у г. Я знаю много таких. Но при чем это тут?

Л у к и а н. Я боюсь, как бы тебе во время моего рассказа не показалось, что я воспроизвожу слова Нигрина то бессвязно, то даже искажая, вследствие моего неумения, самый смысл, и что ты невольно осудишь самую речь. За себя лично я нисколько не обижусь, но за содержание моей речи мне будет, конечно, очень больно, если, искаженное по моей вине, оно провалится вместе со мною.

9. Помни в продолжение всей моей речи, что автор не ответствен за все погрешности и находится где-то далеко от сцены, и ему нет никакого дела до того, что происходит в театре. А на меня смотри как на актера, показывающего образчик своей памяти; ведь я, в общем, ничем не буду отличаться от вестника в трагедии. Поэтому, если тебе покажется, будто я что-нибудь плохо говорю, помни, что слова автора были лучше и что, наверно, он изложил это иначе. Я же совсем не буду огорчен, если ты меня даже освищешь.

10. Д р у г. Клянусь Гермесом, ты предпослал своей речи хорошее введение, вполне согласное с риторическими законами. Ты, конечно, прибавишь еще и то, что ты недолго общался с Нигрином, и что ты не приготовился к речи, и что лучше было бы услышать ее от него самого, так как ты удержал в своей памяти только немного, что был в состоянии усвоить. Разве не правда, что ты собирался это сказать? Итак, нет надобности говорить. Считай, что ты все это уже сказал и я готов кричать и хлопать тебе; если же будешь еще медлить, я не прошу этого в продолжение всего представления и буду пронзительно свистать.

11. Л у к и а н. Я действительно хотел сказать то, что ты перечислил, а также, что я не буду все передавать в том порядке, как говорил Нигрин, и, одним словом, не скажу обо всем: это свыше моих сил. Кроме того, я не буду говорить от его имени, чтобы еще и в этом отношении не оказаться похожим на тех актеров, которые, надев личину Агамемнона и Креонта или самого Геракла и накинув тканые золотом одежды, со страшным взором и широко открытым ртом говорят беззвучным голосом, как женщины, гораздо смиреннее Гекабы или Поликсены. Чтобы и меня нельзя было уличить в том, что я надел личину, которая гораздо больше моей головы, и позорю свою одежду, я хочу говорить с открытым лицом, — если я провалюсь, то не хочу провалиться вместе с собою и героя, которого изображаю.

12. Друг. У этого человека сегодня, кажется, не будет конца сценическим и трагическим сравнениям.

Лукиан. Ну, хорошо, я кончаю и перехожу к словам Нигрина. Он начал свою речь с похвалы Элладе и афинянам за то, что они воспитаны в философии и бедности и не радуются, когда видят, что кто-нибудь из граждан или чужестранцев хочет насильно ввести у них роскошь. Если и является человек с такими намерениями, они постепенно переделывают его, перевоспитывают и обращают на путь умеренности.

13. Нигрин упомянул, например, об одном из богатеев, который, явившись в Афины, обращал на себя всеобщее внимание толпой своих спутников и блестящей одеждой; он думал, что все афиняне ему завидуют и смотрят на него как на счастливицу, — им же этот человек казался жалким, и они принялись его воспитывать. При этом афиняне не действовали резко и не запрещали ему жить в свободном государстве так, как он хочет. Но когда он надоедал в гимназиях и банях, а большое количество его рабов производили тесноту и загоразивали путь встречным, кто-нибудь спокойно говорил вполголоса, как бы не замечая его и говоря с самим собою: «Он, по-видимому, боится быть убитым во время мытья, а между тем в бане царит глубокий мир; нет никакой нужды в охране». Тот, слыша это, понемногу учился. Афиняне отучили носить пеструю и пурпуровую одежду, остроумно высмеивая яркость ее красок. Они говорили: «Уже весна?» или: «Откуда этот павлин?» или: «Может быть, это платье его матери», и тому подобное. Так же афиняне осмеивали и все остальное — множество его колец, вычурность прически, неумеренность в образе жизни. Благодаря насмешкам он постепенно стал скромнее и уехал, сделавшись благодаря общественному воспитанию гораздо лучше.

14. А как пример того, что афиняне не стыдятся сознаваться в своей бедности, Нигрин привел возглас всего народа, который он слышал, по его словам, во время панафинейского состязания. Какой-то гражданин был схвачен и приведен к распорядителю состязания за то, что пришел на празднество в цветной одежде. Видевшие это сжалились и стали просить за него; когда глашатай объявил, что он поступил против закона, явившись на зрелище в такой одежде, афиняне закричали в один голос, как будто сговорившись, что следует его простить, ибо у него нет другой одежды.

Нигрин хвалил все эти качества, а также господствующую в Афинах свободу и возможность жить, не подвергаясь пересудам, и превозносил тишину и спокойствие, которыми отмечена вся их жизнь. Нигрин указал также, что такое препровождение времени согласуется с требованиями философии и способствует сохранению чистоты нравов и что тамошняя жизнь как нельзя более подходит для дельного человека, умеющего презирать богатство и избравшего прекрасную жизнь, согласную с природой.

15. Тому же, кто любит богатство, кого прельщает золото и пурпур и кто измержает счастье властью, кто не отведал независимости, не испытал свободы слова, не видел правды, кто всецело воспитан в лести и в рабстве или кто, отдав всю свою душу наслаждению, умеет служить только ему;

кто друг излишества в пирах, друг попок и любовных наслаждений, кто находится во власти шарлатанства, обмана и лжи, или тот, кто наслаждается легкомысленной музыкой или безнравственными песнями, — тому более подходит здешний образ жизни.

16. В Риме все улицы и все площади полны тем, что таким людям дороже всего. Здесь можно получать наслаждение через «все ворота» — глазами и ушами, носом и ртом и органами сладострастия. Наслаждение течет вечным грязным потоком и размывает все улицы; в нем несутся прелюбодеяние, сребролюбие, клятвопреступление и все роды наслаждений; с души, омываемой со всех сторон этим потоком, стираются стыд, добродетель и справедливость, а освобожденное ими место наполняется илом, на котором распускаются пышным цветом многочисленные грубые страсти. Таким Нигрин выставил Рим, изобразив его учителем подобных благ.

17. Когда я, сказал Нигрин, впервые сюда прибыл из Эллады, то, будучи здесь поблизости, остановился и постарался отдать самому себе отчет, зачем я сюда пришел, и произнес про себя слова Гомера:

*Что, злополучный, тебя побудило, покинув пределы
Светлого дня,*

Элладу и господствующие там счастье и свободу, «прийти, чтобы увидеть» здешнюю суету, донощиков, гордое обращение, пиры, льстецов, убийства, домогательства наследств путем происков, ложную дружбу? Что ты собираешься здесь делать, раз ты не в состоянии уйти отсюда и примириться к здешним нравам?

18. После таких размышлений я решил укрыться «от стрел», — так и Зевс, как говорят, укрыл Гектора «от резни, крови и бурной тревоги», — и сидеть впредь дома, избрав такой образ жизни, который большинству кажется достойным женщин и трусов. Я беседую с самой философией, с Платоном и с истиной и, сидя как бы в театре, наполненном десятитысячной толпой, с высоты наблюдаю за происходящим, которое иногда бывает забавно и смешно, иногда же дает случай узнать и истинно надежного человека.

19. Однако можно найти хорошие стороны и в дурном: не думай, что может существовать лучшее место для упражнения добродетели и более верное испытание для души, чем этот город и его жизнь. Немалого труда стоит противодействовать желаниям, зрелищам и соблазнам для слуха, которые отовсюду надвигаются и овладевают человеком. Приходится плыть мимо, поступая совершенно так, как Одиссей, но не со связанными руками — это было бы трусостью — и не закрывая уши воском, но с открытыми ушами, свободным и гордым в истинном смысле этого слова.

20. При этом представляется случай восхищаться философией, видя кругом общее безумие, и учиться презирать случайные блага, наблюдая как бы драму с множеством действующих лиц: один из раба превращается в господина, другой — из богатого в бедняка, третий — из нищего в сатра-

па или царя, четвертый становится его другом, пятый — врагом, шестой — изгнанником. Это ведь и является удивительнее всего: хотя судьба сама свидетельствует, что она играет людьми, и напоминает, что они ни на что не могут полагаться, наблюдая это каждый день, тем не менее стремятся к богатству и власти и все бродят полные неосуществляющихся надежд.

21. Нигрин сказал также, что можно смеяться и забавляться происходящим; перескажу тебе теперь и это. Разве не смешны богачи, показывающие пурпуровые одежды, выставливающие напоказ свои кольца и делающие еще много других глупостей? Удивительнее всего то, что они приветствуют встречаемых при помощи чужого голоса и требуют, чтобы все довольствовалось тем, что они взглянули на них. Более высокомерные ждут даже земного поклона, но не издали и не так, как это обычно у персов: надо подойти, склониться к земле, выразить свою приниженность и свои душевные чувства соответствующим движением и поцеловать плечо или правую руку; и подобное кажется достойным зависти и восхищения тому, кому не удается даже это. А богач стоит, предоставляя подольше себя обманывать. Я же благодарю богачей за то, что при своем презрении к людям они, по крайней мере, не прикасаются к нам своими губами.

22. Еще более смешны сопровождающие их и ухаживающие за ними. Они встают среди ночи, оббегают кругом весь город, и рабы закрывают перед ними двери; часто им приходится слышать, как их называют собаками и лъстецами. Наградой за этот тяжелый обход служит обед, на котором проявляется столько высокомерия и который оказывается причиной стольких несчастий; сколько они на нем съедают, сколько выпивают против воли, сколько болтают такого, о чем надо было бы молчать, и, наконец, уходят или недовольные, или браня обед, или осуждая гордость и скупость. Переулки полны ими, страдающими рвотой и дерущимися у непотребных домов. На следующий день большинство из них, лежа в постели, дают врачам повод их навещать; а у некоторых ведь, как это ни странно, нет времени даже болеть.

23. Я, по крайней мере, считаю, что лъстецы гораздо вреднее тех, кому они лъстят, и что они являются виновниками их высокомерия: если они восхищаются богатством, восхваляют золото, наполняют с раннего утра передние и, приветствуя богачей, называют их господами, что эти, естественно, должны думать? Поверь мне: если бы лъстецы сообща решили, хотя бы на короткое время, воздержаться от своего добровольного рабства — сами богатые пришли бы, в свою очередь, к дверям бедняков и стали бы их просить не лишать их счастья иметь зрителей и свидетелей и не делать бесполезными и бесцельными красоту пиров и великолепие домов. Ведь богачи не столько любят самое богатство, как то, что за их богатство их называют счастливыми. Великолепный дом с его золотом и слоновой костью ни на что не нужен живущему в нем, если никто этим не восхищается. Следовало бы сломить и унижить власть богачей, выставив в качестве оплота против их богатства свое презрение к нему, — теперь же бедные своим поклонением приводят их к безумной гордости.

24. Но еще до некоторой степени вполне естественно и простительно, что люди простые и откровенно сознающиеся в том, что не получили образования, ведут себя так, — хуже всего, что многие из тех, которые выставляют себя философами, поступают гораздо хуже. Как ты думаешь, что я испытываю, когда вижу, как кто-нибудь из них, особенно, если это пожилой человек, смешивается с толпой льстецов, прислуживает кому-нибудь из знатных и сговаривается с рабом, приглашающим на пиры? Его ведь сейчас же можно заметить и узнать среди других по внешности. А больше всего меня сердит, что такие люди не меняют заодно и одежды, раз они во всем остальном похожи на лиц из комедии.

25. А то, что они делают во время пиров, с чем приличным мы сравним? Разве они не наедаются еще более некрасивым образом, не напиваются еще более явно, не встают из-за стола последними и не стараются унести с собою больше других? А желающие показать себя наиболее воспитанными доходят даже до того, что затягивают песни.

Все это Нигрин считал смешным. Но чаще всего он упоминал тех, которые занимаются философией за плату и выставляют свою добродетель, как товар на рынке. Их школы он называл мастерскими и харчевнями. Нигрин требовал от того, кто учит презирать богатство, чтобы он прежде всего доказал, что сам стоит выше наживы.

26. Действительно, Нигрин и сам всю жизнь поступал так, не только безвозмездно занимаясь с желающими, но и помогая нуждающимся; презирая всякое богатство, он настолько был далек от того, чтобы желать чужого, что даже не заботился о своем собственном, если оно гибло. Так, имея землю недалеко от города, Нигрин в течение многих лет не нашел нужным ни разу ее посетить и даже вообще не признавал, чтобы она принадлежала ему, желая этим показать, как я думаю, что по природе мы ничем не владеем, а только по закону и по наследству: получив что-либо в пользование, якобы на неограниченный срок, мы считаемся временными господами; когда же истинный срок пройдет, тогда другой, получив имущество, пользуется им, как своим.

Есть у Нигрина и другие, ценные для учеников, черты: умеренность в пище, соразмерность физических упражнений, стыдливость во внешности, скромность в одежде, проявляющаяся во всем этом внутренняя гармония и спокойствие характера.

27. Он советовал своим ученикам не откладывать в делании добра, как поступают многие, назначая себе сроками какие-нибудь праздники или собрания, начиная с которых они предполагают не говорить неправды и исполнять свой долг, — он считал, что стремление к добру не терпит никакого промедления. Понятно, что Нигрин осуждал тех философов, которые считали полезным упражнением в добродетели, если юноши будут приучаться к воздержанию всевозможными принудительными и суровыми мерами. Многие заставляли юношей сидеть взаперти, другие — приучали бичеванием, а самые хитроумные даже наносили раны железом.

28. Нигрин считал, что гораздо важнее закалять душу и делать ее выносливой и что тот, кто берется хорошо воспитывать людей, должен считаться с их душой и телом, с возрастом и прежним воспитанием, чтобы не возложить на них непосильной задачи. Многие, как он говорил, даже умирали от такой трудной школы. Одного я сам видел; он испытал тяжесть учения у других философов и, как только услышал истинное слово, без оглядки убежал, пришел к Нигрину, и было очевидно, что он почувствовал себя легче.

29. От этих людей Нигрин перешел к другим, говорил о шуме и толкотне в городе, о театре и ипподроме, о статуях возниц и именах лошадей, о постоянных разговорах о них во всех переулках. Страсть к лошадям, действительно, велика и заражает даже людей с виду дельных.

30. Затем он коснулся забот о похоронах и завещаниях. Нигрин сказал, между прочим, что римляне, чтобы не пострадать за откровенность, только раз в жизни бывают искренни, — он разумел завещания. Я даже засмеялся, когда он говорил, что они желают хоронить вместе с собой свою глупость и письменно удостоверяют свое тупоумие: одни — приказывая сжигать вместе с собою любимые при жизни одежды, другие — требуя, чтобы рабы сторожили их могилу, некоторые — желая, чтобы их надгробные памятники украшались цветами; таким образом эти люди и умирая остаются глупыми.

31. Нигрин предложил подумать, как они проводят свою жизнь, если, умирая, заботятся о таких вещах: это те люди, которые покупают дорогие кушанья и наливают себе на пирах вино с шафраном и ароматами, зимой наслаждаются розами и ценят их тогда потому, что они редки и что это не их время: ведь когда они появляются в свое время и согласно с природой, эти люди их презирают как дешевый товар; наконец, это те люди, которые пьют одобренные благовониями вина. Больше всего он порицал их за то, что они не умеют находить удовлетворение своих желаний, но нарушают все законы и преступают границы, предаваясь излишеству и губя свою душу. К этим людям можно применить выражение трагедии и комедии, что они врываються в дом мимо двери. Он назвал это солицизмом в наслаждении.

32. Сюда же относились и дальнейшие слова Нигрина, в которых он подражал Мому: тот порицал бога, создавшего быка, за то, что он не поместил рогов перед глазами. Нигрин же обвинял украшающих себя венками в том, что они не знают места венка. Если, говорил он, им доставляет наслаждение благоухание фиалок и роз, — они, чтобы получать возможно большее наслаждение, должны были бы помещать венки под носом, как можно ближе к струе вдыхаемого воздуха.

33. Нигрин осмеивал также тех, кто слишком заботится о пирах, готовя разнообразные подливки и обильные яства: по его словам, им приходится переносить столько хлопот ради непрочного и кратковременного наслаждения. Из-за каких-то четырех пальцев длины, как он говорил, — даже самое большое человеческое горло не длиннее этого, — они несут

всяческий труд. Пока они не едят, они не наслаждаются купленным; также и после того, как оно съедено, чувство сытости не приятнее от того, что оно достигнуто дорогими вещами. Остается думать, что так дорого платят за наслаждение, получаемое во время прохождения пищи через горло. Причина всему этому та, что, вследствие своего невежества, они не знают истинных наслаждений. Философия для тех, кто готов трудиться, является руководительницей в этой области и предоставляет в их распоряжение имеющиеся у нее средства.

34. Нигрин много говорил также о том, что творится в банях, о многочисленной свите некоторых людей, об их наглядности, о том, что рабы вносят их на носилках, напоминая погребальное шествие. Одно явление, частое в Риме и обычное в банях, особенно заслуживает порицания: идущие впереди рабы должны кричать и предупреждать их, чтобы они берегли ноги, если им надо перейти какое-нибудь возвышение или углубление, и, что особенно странно, обязаны напоминать им, что они идут. Нигрина сердило, что во время еды они не нуждаются в чужом рте или чужих руках, также и пока слушают — в чужих ушах, но, несмотря на то, что здоровы, нуждаются в чужих глазах, которые бы смотрели за них, и, точно несчастные калеки, останавливаются, слыша предупреждение. То же самое делают среди дня на рынке даже должностные лица.

35. Сказав все это и многое подобное, Нигрин окончил речь. До сих пор я, пораженный, слушал, в страхе, чтобы он не замолчал. Когда же он кончил, со мною произошло то же, что с феаками: я долго смотрел на Нигрина как очарованный, потом меня охватило сильное смущение и закружилась голова; у меня то выступал пот, то я хотел говорить, но путался и останавливался — у меня не хватало голоса и язык не слушался; наконец я от смущения заплакал. Речь Нигрина коснулась меня не поверхностно и не вскользь, — это был глубокий и решающий удар. Эта речь, метко направленная, — если можно так выразиться, — пронзила самую душу. Если будет мне позволено высказать свое мнение о философских речах, я так себе представляю дело.

36. Душа человека, одаренного хорошими природными качествами, похожа на мягкую мишень. В жизни встречается много стрелков с колчанами, полными разнообразных и всевозможных речей, но не все они одинаково метко стреляют; одни из стрелков слишком натягивают тетиву, и потому стрела летит с излишней силой; направление они берут верно, но стрела не остается в мишени, а в силу движения проходит насквозь и оставляет душу только с зияющей раной. Другие поступают как раз наоборот: вследствие недостатка силы и напряжения их стрелы не достигают цели и часто бессильно падают на полпути, а если иногда и долетают, слегка только ранят душу, но не наносят глубокого удара, так как им вначале не было сообщено достаточной силы.

37. Хороший же стрелок, подобный Нигрину, прежде всего основательно осматривает мишень, не слишком ли она мягка или не слишком ли тверда для данной стрелы, — так как есть такие мишени, которых нельзя

пробить. Посмотрев это, он смазывает стрелу, но не ядом, как скифы, и не соком смоковницы, как куреты, а постепенно проникающим, сладким лекарством и после этого искусно стреляет. Стрела летит с силой и пробивает мишень лишь настолько, чтобы из нее не вылететь, и выпускает большое количество лекарства, которое, растворяясь, проникает всю душу. Тогда слушающие радуются и плачут, как я это и сам испытал в то время, как лекарство постепенно разливалось по моей душе. Мне вспомнились как раз слова: «Так поражай, и успеешь и светом ахейцам ты будешь». Но, подобно тому как слушающие фригийскую флейту не все начинают безумствовать, а только находящиеся во власти Реи благодаря звукам вспоминают пережитое состояние, так и не все слушатели покидают философов вдохновенными и ранеными, но только те, у кого в душе есть какое-нибудь сродство с философией.

38. Д р у г. Какие величественные, удивительные и божественные вещи ты рассказал! А я сначала и не заметил, что ты, действительно, насытился амбросией и лотосом. Пока ты говорил, моя душа испытывала какое-то особое состояние, и я жалею, что ты кончил; употребляя твое выражение, я ранен. Не удивляйся этому: ведь ты знаешь, что укушенные бешеными собаками не только сами беснуются, но если они кого-нибудь укусят в своем безумии, и те теряют рассудок; это состояние передается вместе с укусом, болезнь распространяется, и безумие переходит все дальше.

Л у к и а н. Значит, ты утверждаешь, что и ты охвачен болезнью?

Д р у г. Несомненно, и прошу тебя изобрести для нас общее лечение.

Л у к и а н. Тогда нам приходится поступить так же, как поступил Телеф.

Д р у г. Что ты хочешь этим сказать?

Л у к и а н. Пойти к ранившему нас и попросить нас вылечить.



ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Л и к и н. Увидевшие Горгону испытывают, Полистрат, приблизительно то же самое, что я недавно испытал, увидев одну совершенной красоты женщину; это было совсем как в известном мифе: твой Ликин едва не обратился в камень, остоленев от изумления.

П о л и с т р а т. Геракл! Ты говоришь о каком-то сверхъестественном зрелище, чрезвычайно сильно действующем, если даже Ликина поразила незнакомка, хотя она и женщина! Если дело идет об отроках, — с тобою подобное случается слишком даже легко, и скорее, пожалуй, удастся целый Сипил с места сдвинуть, чем тебя увести прочь от красавца, когда ты остановишься напротив него, раскрыв рот и нередко проливая от восхищения слезы — совсем как дочь Тантала... Но скажи мне, кто она и откуда, наша новая Медуза камнетворческая, чтобы я мог посмотреть на нее. Надеюсь, ты не поскупишься показать ее и не исполнишься ревности, если мы тоже вознамеримся застыть где-то подле тебя, увидав ее?

Л и к и н. Однако ты должен твердо помнить: даже если ты только издали, с высоты, взглянешь на женщину, — она сомкнет уста твои и сделает тебя неподвижнее изваяния! Но все это еще довольно мирные занятия, и полученное ранение не угрожает жизни, если ты сам на нее взглянешь. Если же она кинет взор на тебя, — какие ухищрения помогут оторваться от нее? Ведь она поведет тебя связанным куда пожелает, так точно, как камень Геракла увлекает железо.

2. П о л и с т р а т. Ну, довольно, Ликин, выдумывать какую-то чудовищную красоту. Скажи лучше, кто эта женщина?

Л и к и н. Ты считаешь мои слова преувеличенными, а я боюсь, не покажусь ли я тебе бессильным с моими похвалами, когда ты сам увидишь эту женщину, — настолько она покажется тебе лучше. Впрочем, кто она такая, я не мог бы сказать. Однако прислуга ее многочисленна, ее окружает всяческий блеск, вокруг — толпа евнухов и бесчисленные горничные; вообще, казалось, что положение ее выше, чем простой горожанки.

П о л и с т р а т. И ты, ты не узнал имени, не узнал, как ее зовут?

Л и к и н. Ничего! Узнал только, что она из Ионии. Дело в том, что когда женщина проходила мимо, один из зрителей, обращаясь к соседу, сказал: «Однако вот она — Смирнская красота! И ничего нет удивительного, если прекраснейший из городов Ионии дал нам прекраснейшую из женщин». Мне казалось, что и сам говоривший был родом из Смирны, до такой степени он был горд красотой незнакомки.

3. П о л и с т р а т. Итак, поскольку ты поступил действительно как настоящий камень, не последовав за нею и не спросив того человека из Смирны, кто она такая, — по крайней мере, насколько возможно, изобрази мне ее наружность словами: быть может, так я быстро узнаю ее.

Л и к и н. А ты знаешь, чего ты требуешь? Не под силу человеческой речи, а моей в особенности, нарисовать столь дивный образ! Изобразить ее едва оказались бы способны Апеллес или Зевксис, или Паррасий, либо какой-нибудь Фидий или Алкамен. Я же лишь оскверню подлинник бессилием моего словесного искусства.

П о л и с т р а т. Но все же, Ликин: какова она была с виду? Не такой ведь это дерзкий поступок, если ты отважишься показать другу ее изображение, каков бы ни вышел рисунок.

Л и к и н. Но все-таки я думаю, что безопаснее мне будет сделать это, призвав в помощь кого-либо из старинных мастеров: пусть они восстановят образ этой женщины.

П о л и с т р а т. Что ты говоришь! Каким образом они, столько лет тому назад умершие, смогут прийти тебе на помощь?

Л и к и н. Легко смогут, если только ты не остановишься перед тем, чтобы отвечать мне на кое-какие вопросы.

П о л и с т р а т. Спрашивай, пожалуйста.

4. Л и к и н. Был ты когда-нибудь в городе кндян, Полистрат?

П о л и с т р а т. Еще бы!

Л и к и н. Значит, видел, наверно, там их Афродиту?

П о л и с т р а т. О да! Прекраснейшее из творений Праксителя.

Л и к и н. Следовательно, слышал ты и рассказ, который передают о богине местные жители: как один человек влюбился в изваяние и, незаметно оставшись в святилище, соединился с ней, насколько это возможно было сделать с изваянием. Впрочем, это все праздные речи. Ты же, поскольку говоришь, что видел Афродиту, ответь мне теперь еще на один вопрос: Афродиту Алкамена, что «в садах», ты тоже видел?

П о л и с т р а т. Легкомысленнейший бы это был с моей стороны поступок, Ликин, просмотреть самое прекрасное произведение Алкамена.

Л и к и н. Ну, о том, созерцал ли ты Сосандру Каламида при частых посещениях Акрополя, — об этом, Полистрат, я, конечно, и спрашивать тебя не стану.

П о л и с т р а т. Видел и ее не раз.

Л и к и н. Но — довольно и этого... А из произведений Фидия какое тебе больше всех понравилось?

П о л и с т р а т. Какое же другое, как не Афина Лемносская, на подножье которой сам Фидий счел достойным надписать свое имя? И еще, Зевсом клянусь, Амазонка, опирающаяся на копье.

5. Л и к и н. Прекраснейшие произведения, друг мой, — так что ни в каких других мастерах нам больше и нужды не будет. Итак, я попробую теперь представить тебе единый образ, составленный из всех этих образов, по возможности согласовав их друг с другом и взяв от каждого самое выдающееся.

П о л и с т р а т. Каким же образом можно осуществить это?

Л и к и н. Без труда, Полистрат. Отдадим в дальнейшем все эти образы во власть слова и предоставим ему право перестраивать, соединять и связывать с наивозможной стройностью эти образы, соблюдая разом и единство, и разнообразие.

П о л и с т р а т. Ты прав. Итак, пусть слово овладеет образом и покажет свое искусство. Хотел бы я знать, как слово использует изображения и из столь многих образов, сложив их вместе, создаст один, единый и стройный.

6. Л и к и н. Итак, слово начинает свою работу. Смотри, как, постепенно возникая, будет созидаться перед тобой этот образ. От Афродиты, бывшей из Книда, возьмем только голову, так как остальное тело, поскольку оно изображено обнаженным, нам не понадобится. Прическу, лоб и красиво очерченные брови оставим в том виде, как Пракситель их создал. Равно и влажный взор с его сиянием и приветливостью сохраним в том виде, как решил Пракситель. Щеки, очертания лица сбоку возьмем у Аламена от Афродиты «в садах». Оконечности рук, стройные кисти и нежные, тонко сбегающие к концам пальцы — и это тоже возьмем от нее, от той, что находится «в садах». Общий же очерк лица и нежность ланит и соразмеренность носа дадут нам лемноская Афина и творец ее, Фидий. Затем он же даст нам прекрасно сложенный рот и шею, взяв его у своей Амазонки. Сосандра же Каламида украсит ее скромностью, и та же будет у нее улыбка, спокойная и чуть заметная. От Сосандры же возьмем простые и в порядке лежащие складки покрывала, — с тем только отличием, что голова у нашей женщины останется непокрытой. А меру лет ее, какого возраста ей быть, — полагаем, лучше всего по годам Афродиты книдской: пусть возраст будет тоже отмерен согласно творению Праксителя. Ну, как тебе кажется, Полистрат? Разве не прекрасный сложится у нас образ?

П о л и с т р а т. Прекрасный, в особенности когда он будет завершен до мельчайших подробностей.

7. Я говорю это потому, что ты, почтеннейший художник, создавая свое изваяние, упустил все-таки еще одну сторону прекрасного, хотя с таким старанием соединил в нем все остальное.

Л и к и н. Какую же это?

П о л и с т р а т. Немаловажную, дорогой мой, если ты не думаешь, что мало содействуют красоте целого краски, передающие должным образом цвет каждой его части: надо, чтобы черным было точно все, что черно в действительности, и белым — что бело, и чтобы румянец расцвел, где следует, и так далее. Я боюсь, что самого-то главного нам еще и не хватает.

Л и к и н. Откуда же нам это бы взять? Я думаю, не пригласить ли нам живописцев, в особенности тех из них, кто прославился искусством смешивать краски и умением надлежащим образом накладывать их? И, конечно, должен быть приглашен Полигнот и знаменитый Эвфранор, и Апеллес, и Аетион. Художники разделят между собою работу: Эвфранор пусть напишет волосы того же цвета, как у Геры, Полигнот — замечательные брови и румянец, проступающий на щеках, как у Кассандры, которую он изобразил в сокровищнице в Дельфах; он же пусть выполнит одежду, отделив ее до тончайших подробностей так, чтобы одежда, насколько нужно, прилегала к телу, но в большей своей части развевалась свободно. Остальное тело пусть изобразит Апеллес, прежде всего, по образцу своей Пакаты — не слишком бледным, но просто полнокровным. Губы же пусть создаст Аетион — как у Роксаны.

8. Но всем предпочтем мы лучшего из живописцев, включая Эвфранора и Апеллеса, именно — Гомера: краска, которую он наложил на бедра Менелая, сравнив их со слоновою костью, слегка окрашенной пурпуром, пусть будет господствующим оттенком в нашей картине. Тот же Гомер пусть напишет глаза, сделав «волоокой» ту, о которой мы сейчас говорим. Вместе с ним пусть примет участие в работе и фиванский поэт, чтобы изготвить стрельчатые ресницы. А Гомер ей даст и «ласковую усмешку», и «белые локти», и «розовые персты» и сделает ее полным подобием «золотой Афродиты» с гораздо большим правом, чем дочь Бриса.

9. Так вот, все это сработают мастера ваяния, живописи и слова. Но тот цветок очарования, который распускается над всем этим, тот хоровод, который ведут вокруг нее все Хариты и все Эроты, — кто в силах передать?

П о л и с т р а т. Необыкновенные какие-то вещи рассказываешь ты, Лукин! Поистине это, должно быть, что-то неземное, упавшее к нам с неба, от Зевса... А что она делала, когда ты ее увидел?

Л и к и н. В руках женщина держала книгу, свернутую надвое. Вторую половину она, по-видимому, еще собиралась читать, первую же прочла. В то время как она проходила мимо меня, она разговаривала с некоторыми из спутников, — не знаю о чем, так как говорила она вполголоса. Однако она улыбнулась, Полистрат, и я увидел ее зубы. Ах, как рассказать тебе? Они были такие белые, такие ровные, один к другому, как на подбор. Если когда-нибудь пришлось тебе видеть прекрасное ожерелье из

самых сверкающих ровных жемчужин, — так в ряду расположились эти зубы. И еще усиливалась их красота алым цветом губ: зубы являлись взо-рам подобно сверкающей слоновой кости Гомера; ни один не был шире другого, ни один не выступал, не отделялся от других, как бывает обычно, но все были равно безукоризненны, одного цвета, одной величины, одинаково примыкая друг к другу, — вообще настоящее чудо и зрелище, превосходящее всякую человеческую соразмерность форм.

10. П о л и с т р а т. Довольно! Я понял, и мне совершенно ясно, кто эта женщина, о которой ты говоришь: я узнал ее по указанным тобою признакам и по ее родине. Ты говорил ведь, что за ней следовало также несколько внухов?

Л и к и н. Именно так, и кроме того — воины.

П о л и с т р а т. Преславная супруга императора, друг мой, вот кто эта женщина!

Л и к и н. А как же имя ей?

П о л и с т р а т. Имя также полно высокого изящества и прелести: ее зовут, как ту знаменитую красавицу, жену Абрадата. Ты знаешь его, ибо не раз слушал, как восхвалял Ксенофонт скромность и красоту этой женщины.

Л и к и н. Знаю! И мне кажется, я вижу ее перед собою всякий раз, как, читая, дойду до этого места, и почти слышу, как говорит она то, что вложил ей в уста историк. Кажется, я вижу, как снаряжала она супруга, вижу такую, какую была она, провожая его на битву.

11. П о л и с т р а т. Но ты, мой дорогой, видел ее лишь раз, как мимолетную молнию, и, естественно, хвалишь то, что первое бросается в глаза, — я разумею ее телесную красоту. Но ты не был зрителем высоких качеств души ее и не знаешь, как она прекрасна, гораздо прекраснее и богоподобнее, чем ее тело. Но я это знаю, будучи хорошо знаком с ней. Я не раз беседовал с ней, являясь ее земляком. Ты знаешь сам: нрав кроткий и любвеобильный, великодушие, скромность и воспитанность я ставлю выше красоты, ибо эти достоинства заслуживают того, чтобы предпочесть их телесным. Нелепо и смешно было бы противное, как если бы кто-нибудь стал дивиться одежде, забывая о теле. Совершенная же красота, полагаю, состоит в том, чтобы воедино слились добродетель души с соразмерной красотой тела. Я без труда мог бы указать тебе много женщин, обладающих счастливо наружностью; но в остальном они оскорбляют свою красоту: стоит таким женщинам произнести одно слово, и красота блекнет и увядает, опозоренная, обезображенная, не по заслугам связанная с негодною госпожою — душой. И такие вот женщины похожими кажутся мне на святилища египтян: и у них ведь самый храм прекрасен и величествен, камнями драгоценными разубран, золотом и росписью расцвечен, но внутри, если будешь стремиться увидеть само божество, представит обезьяна, ибис, козел или кошка. Таких женщин можно часто видеть. Итак, недостаточно одной красоты, если не приукрашена она достойным убором, — я разумею, конечно, не пурпурную одежду, не драгоценные оже-

релья, но то, о чем только что говорил, — добродетель: благоразумие, скромность, благорасположение к людям и все остальные качества, составляющие пределы добродетели.

12. Л и к и н. Ну что же, Полистрат: воздай мне словом за слово, полной мерой, как говорится, или даже с избытком, — ты ведь в состоянии это сделать! Нарисовав как бы изображение души ее, покажи мне, чтобы мое удивление перед нею не останавливалось на половине.

П о л и с т р а т. Нелегкое, друг мой, состязание ты предлагаешь мне: ведь не одно и то же — хвалить ли то, что у всех на виду, или невидимое сделать зримым при помощи слова. И мне тоже, я думаю, понадобятся сотрудники для создания этого изображения, и при этом: не одни лишь ваятели или живописцы, но и философы, чтобы по их образцам воссоздать мое изваяние и представить его исполненным по всем правилам старинного мастерства.

13. Итак, за работу! Прежде всего, ее голос певуч и звонок, и Гомер, пожалуй, скорее про нее сказал бы свое «слаще меда речь с языка», чем про знаменитого старца из Пилоса. Звук ее голоса чрезвычайно мягок: он не настолько низок, чтобы приближаться к мужскому, и не чрезмерно нежен, чтобы казаться слишком уж женственным и вовсе расслабленным; он напоминает голос юноши еще не возмужавшего, — сладостный, ласковый, с нежною вкрадчивостью овладевающий слухом, так что, даже если умолкнет она, напев голоса продолжает звучать и какой-то обрывок его все еще живет в твоих ушах и, звеня, вьется около, словно отголосок, длящий впечатление слуха и оставляющий в душе следы слов, успокаивающих и полных убедительности. Но когда этим прекрасным голосом она начнет петь, в особенности под сопровождение кифары, тогда наступает время немедля умолкнуть зимородкам, цикадам и лебедям: ибо по сравнению с ней недостойной Муз становится всякая песня. Даже дочь Пандиона, и та покажется невеждой в искусстве песнопенья, как бы ни были громогласны издаваемые ею звуки.

14. Сам Орфей или Амфион, больше всех других певцов умевшие пленить слушателей до того, что даже бездушные вещи увлекали они своей песней, если бы услышали ее, — я уверен, бросив свои кифары, стали бы они подле певицы безмолвными слушателями. Безукоризненное соблюдение строя, ни малейшего нарушения ритма, совершенно точно размеренное дыхание, то повышающее, то понижающее звук, умение настроить кифару в лад песни и заставить удары плектра вторить движениями рта, мягкость в касаниях пальцев и изящная гибкость мелодии, — откуда могло бы взяться все это у знаменитого фракийца или у пастуха, который, бродя со своими стадами по Киферону, между делом упражнялся в игре на кифаре? И если когда-нибудь, Ликин, доведется тебе услышать ее поющей, — ты испытаешь на себе не только силу Горгон, о которой говорил, обратившись из человека в камень, но изведает и власть Сирен, знаешь, что это была за власть. Да, я знаю: ты не сойдешь с места, зачарованный, забывший и родину, и своих близких. И если ты воском закроешь

себе уши, то и сквозь воск проникнут в тебя звуки мелодии. Такова эта песня, Терпсихорой, должно быть, Мельпоменой или самой Каллиопой внушенная, бесчисленные и многообразные несущая в себе очарования. Одним словом, представь себе, что ты услышишь такую песню, какая подобает подобным устам, какой приличествует исходить через такие зубы. Ты сам видел ту, о ком я говорю, — значит, можешь представить, будто и слышал ее...

15. Совершенной правильности ее речи, ее чисто ионическому говору, а равно тому, что она мастерица вести беседу и владеет в высокой степени аттическим изяществом разговора, удивляться не стоит: это она получила от отцов и дедов, да иначе и не должно было быть, поскольку она сопричастна афинянам, происходя из их колонии. Не склонен я удивляться и тому, что она находит удовольствие в поэзии и хорошо с ней знакома, будучи соотечественницей Гомера... Так вот тебе, Ликин, первое, несколько напоминающее действительность изображение. Оно рисует прекрасный голос ее и песню. Посмотри теперь на остальные изображения. Ибо я решил показать тебе не одно, построенное, как это ты сделал, из многих: бессильно было бы такое изображение, несмотря даже на его художественность, передать столько красот и многообразие черт, отовсюду собранных, и не могло бы оно слить их воедино, с самим собою соперничая. Нет, сколько ни есть добродетелей души, с каждой из них будет списано ее изображение, которое будет пытаться передать породивший ее образ.

Л и к и н. Праздник, роскошный пир обещаешь ты мне, Полистрат. Повидимому, ты действительно вернешь мне мое, воздав с избытком. Приступай же: ничем другим ты не смог бы доставить мне большей радости.

16. П о л и с т р а т. Итак, поскольку во главе всех прекрасных качеств должно идти воспитание, а в особенности во главе тех свойств, которые требуют упражнения, — давай я нарисую тебе образ женщины и с этой стороны, образ сложный и многогранный, который тоже не уступит созданному тобою. Мы напишем ее обладающей совокупно всем, что дарит нам прекрасного Геликон. В отличие от Клио, Полигимнии, Каллиопы и прочих муз, из которых каждая ведает лишь чем-нибудь одним, эта женщина владеет дарами всех муз и, сверх того, дарами Гермеса и Аполлона. Ибо все, что произвели в размеренных строфах поэты или ораторы, овладевшие искусством слова, все, о чем рассказали историки и чему научили философы, пусть этим наша картина будет расцвечена, но не слегка и не поверхностно только, — нет: из глубины своей красящими средствами должна быть она насыщена цветом. Простительно, если не смогу я указать никакого прообраза для такого изображения: ибо ничего подобного мы не найдем в писании древних о воспитании художника. Ну что ж? Если ты согласен, выставим ее такой, как она есть: ведь она не заслуживает порицания и в таком виде, как мне представляется.

Л и к и н. Конечно, Полистрат: она прекрасна и безупречна до мельчайших подробностей.

17. П о л и с т р а т. Вслед за нею надлежит изобразить в картине мудрость и ум этой женщины. Здесь нам потребуются многочисленные

образы, древние по большей части, а один пример — из самой Ионии. Художниками и творцами его были Эсхин, друг Сократа, и сам Сократ — мастера, которые вернее всех передавали действительность, тем более, что они писали свои картины с любовью. Знаменитую Аспасию из Милета, на которой был женат сам изумительный олимпиец Перикл, мы поставим как неплохой образец ума; все, чем отличалась она: знание жизни, острое понимание дел общественных, ум быстрый и проницательный, — все это мы с совершенной точностью перенесем на нашу картину, с одной лишь разницей: образ Аспазии был написан на небольшой табличке, образ же этой женщины по своим размерам будет колоссальным.

Л и к и н. Что ты хочешь этим сказать?

П о л и с т р а т. А то, Ликин, что картины эти — различной величины, хотя и схожи друг с другом. Ибо далеко не равны между собою афинское государство тех времен и нынешняя римская держава. Поэтому, повторяя во всех чертах образ Аспазии, наша картина все же является величественней той, так как написана на таблицу обширнейшего размера.

18. Вторым и третьим прообразом будут для нас знаменитая Феанó, слагавшая песни Сафо с Лесбоса и кроме них еще — Диотима. Феанó представляет для нашей картины свой огромный ум, Сафо — изящество мысли, с Диотимой же она будет сходна не только теми чертами, которые заслужили одобрение Сократа, но и по всему прочему: по уму и уменью дать добрый совет. Вот тебе, Ликин, еще одна картина, которую мы можем выставить.

19. **Л и к и н.** Клянусь Зевсом, Полистрат, изумительная картина! Продолжай же, пиши остальные.

П о л и с т р а т. В одной из картин соединю я, мой друг, доброту и любовное отношение к людям; эта картина покажет всем нам кроткий нрав этой женщины и благосклонность к тем, кто находится в нужде. Пусть эта женщина будет походить на славную Феанó, супругу Антенора, на Арету и дочь ее, Навзикаю, и на других женщин, которые, занимая высокое положение, не возгордились своей судьбой и сохранили скромность.

20. Затем, после этой, пусть будет написана еще картина: изобразим самую скромность этой женщины и любовь ее к супругу, чтобы изображение походило больше всего на дочь Икария, скромницу и разумницу, описанную Гомером, — таков ведь созданный им образ Пенелопы, — или на соименную ей супругу Абрадата, о которой мы вспомнили несколько раньше.

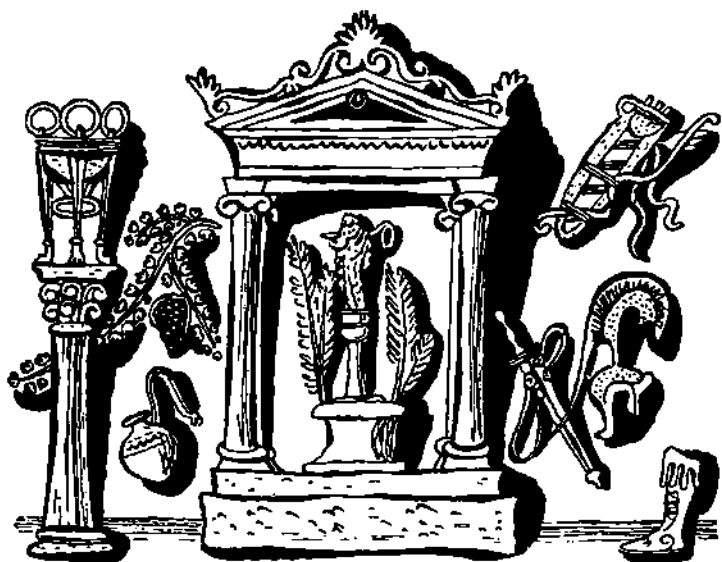
Л и к и н. Прекраснейшей вышла у тебя и эта работа, Полистрат! Пожалуй, подходят уже к концу твои картины: поочередно ты обошел все части души, хвалу им воздавая.

21. **П о л и с т р а т.** Нет, не все: еще остается невысказанной величайшая из похвал. Я говорю о том, что, достигнув такого величия, она не облекла свое благополучие спесью и не вознеслась превыше меры человеческой, доверившись счастливой судьбе, но продолжает держаться на общем уровне со всеми, без грубой и оскорбительной надменности. Всех,

кто к ней обращается, встречает она просто, как равная, оказывая прием ласковый и приветливый и тем более радостный для собеседников, что, исходя от человека высокопоставленного, этот прием тем не менее не обнаруживает никакого высокомерия. Так было всегда: люди, которые обращают свое могущество не на чванство, а на добрые дела, считаются особенно достойными благ, даруемых им судьбою. Только они одни могут заслуженно избегать зависти: ибо никто не станет завидовать человеку, выше стоящему, если замечает, что он сохраняет умеренность, невзирая на свои удачи, и не следует гомеровской Ате, шагая по головам людей и попирая слабейшего; так поступают только люди с умом низменным, управляемые душой, чуждой прекрасного. Когда судьба, вопреки всяким ожиданиям, вдруг подхватит их на свои крылья и вознесет под облака, они не останавливаются на этом, не оглядываются вниз, но силятся все выше забраться на кручу. И вот очень скоро у этих икаров воск тает, перья дождем падают с крыльев, и, при смехе зрителей, такие люди летят вниз головою и ввергаются в морскую пучину. Те же, кто пользуется крыльями подобно Дедалу, и не поднимаются на них чересчур высоко, помня, что из воска они у них сделаны, кто на человеческие силы рассчитывает свой полет и довольствуется тем, что несется над поверхностью морских волн, так что крылья его все время охлаждаются влагой и не подвергаются всецело действию солнца, — такие люди безопасно совершают перелет и тем самым обнаруживают свое благоразумие; и за это именно достойна величайшей похвалы та, о ком мы говорим. Поэтому заслуженный эта женщина снимает плод, когда слышит она общие мольбы: да сохраняются у ней и впредь эти крылья и да прольются на нее еще большие блага.

22. Л и к и н. Так пусть и будет, Полистрат: эта женщина достойна их, ибо не только тело ее прекрасно, как у Елены, но еще прекраснее, еще большую вызывает любовь сокрытая в этом теле душа. И наш великий император, добрый и милостивый, вполне заслужил сверх прочих благ, коими он наделен, еще и это счастье: в его царствование родилась эта женщина, и он стал для нее желанным супругом: ибо не малое это счастье — жена, о которой по праву можно сказать словами Гомера, что красотою поспорит она с золотой Афродитой, а в рукодельи может сравниться с самой Афиной. Ибо ни одна женщина не может быть сопоставлена с нею «стройностью стана и ростом, — как говорит Гомер, — и разумом и рукодельем».

23. П о л и с т р а т. Ты прав, Ликин. А потому, если ты согласен, соединим теперь изображения: ее телесный облик, изваянный тобою, с теми картинами души ее, которые написал я. Сложим из всех изображений единый образ и, дав его в книге, передадим на всеобщее изумление тем, кто ныне живет, и тем, кто будет жить позже. И, может быть, образ этот окажется более долговечным, чем творения Апеллеса, Парразия и Полигнота, и ей самой намного более приятным, чем они, поскольку не сделан он из дерева, воску и красок, но создан внушением Муз. А это и есть изображение самое верное, являющее взорам в едином целом и красоту тела, и высокие качества души.



В ЗАЩИТУ «ИЗОБРАЖЕНИЙ»

1. Полистрат. «Я, любезный Ликин, — говорит женщина, — убедилась в твоём большом расположении и уважении ко мне. Такие сверхмерные возносить похвалы может лишь тот, кто пишет с любовью. Но мой взгляд на все это, если хочешь знать, таков: я вообще не радуюсь образу действий льстецов, и такие люди представляются мне пустословами, по природе своей не способными мыслить так, как подобает свободному человеку. В особенности же, когда я слышу похвалы, которые кто-нибудь расточает мне, тяжеловесные и чрезмерные строя преувеличения, — я краснею, я готова зажать себе уши, и происходящее кажется мне скорее насмешкой, чем похвалою.

2. Ведь похвалы можно вынести лишь до тех пор, пока тот, кого хвалят, сознает, что все, о чем говорится, действительно присуще ему; но все, что сверх этого, — уже чужое, уже очевидная лесть. И, однако, я знаю многих людей, которых радует, когда кто-нибудь, расхваливая их, прихватит к слову и то, чем они вовсе не обладают. Когда, например, старика величают цветущим или урода облачают красотой Нирея или Фаона, эти люди довольны, ибо они думают, что наружность их от похвал переменится, и сами они помолодеют снова, как надеялся Пелий.

3. Но ведь дело обстоит совсем не так: какую огромную ценность имела бы похвала, если бы возможно было на деле вкусить плоды подобных преувеличений. Сейчас же, мне кажется, то, что происходит с этими людьми, напоминает положение безобразного человека, к лицу которого кто-нибудь приложил бы прекрасную маску, и тот возомнил бы о своей красоте, хотя первый встречный может маску снять и уничтожить, и только

большой смех возбудит он, когда окажется с собственным лицом и все увидят, какое уродство было прикрыто красивым обличем. Или еще: если кто-нибудь, сам будучи малорослым, подвязал бы себе котурны и вздумал соперничать в росте с теми, кто от земли на целый локоть выше его».

4. Вспомнила женщина и еще кое-что в том же роде. Она рассказала, как одну женщину из знатных, красивую, в общем, и скромную, но малорослую и очень несоразмерно сложенную, какой-то поэт воспел в своем стихотворении за многие достоинства, и в том числе за прекрасную, величественную наружность: с тополем сравнивал поэт ее, высоким и стройным. Женщина была очень обрадована этой похвалой, как будто вырастая с песней, и рукоплесканием выражала свое одобрение, а поэт, видя, что женщина довольна похвалами, несколько раз повторил то же самое, пока, наконец, один из присутствующих, нагнувшись к его уху, не сказал: «Довольно, любезный, а то, пожалуй, ты заставишь эту женщину встать во весь рост».

5. Близкий к этому, но гораздо более смешной поступок совершила Стратоника, супруга Селевка: она устроила состязание поэтов, назначив большие деньги в награду тому, кто сумеет лучше воспеть ее волосы, хотя была она как раз лысой и не имела ни одного собственного волоса. И, хотя она обладала такой головой, хотя все знали, что волосы выпали после долгой болезни, Стратоника все же слушала бесстыдных поэтов, которые рассказывали о ее «гиацинтовых локонах», заплетали ей пышные кудри и курчавую сельдерей уподобляли не существующие вовсе волосы.

6. Женщина, нами возносимая, подсмеивалась над всеми, кто так предается льстецам, и прибавила, что многие желают быть обманутыми такою же лестью не только в хвалебных речах, но и в живописи. Такие женщины благоволят, говорила она, больше всего тем художникам, которые сумеют изобразить их в наиболее привлекательном виде. А есть и такие даже, что приказывают мастеру убрать часть носа, или потемнее написать глаза, или добавить еще что-нибудь, чем хотелось бы им обладать. Потом, забывая себя, увенчивают чуждые им изображения и нисколько на них не похожие.

7. Говорила она и другое в этом же роде, одобряя в целом твоё сочинение и одно лишь считая для себя неприемлемым: что ты сравнил ее с богинями Герой и Афродитой. «Это превышает, — говорила она, — мою или, лучше сказать, вообще природу всякого человека. Я считала бы даже излишним, чтобы ты сравнивал меня с героинями: Пенелопой, Аретой, Феаной, не говоря уже о высших богинях». Потом она добавила: «Что касается богов, я испытываю перед ними почтительный страх, даже несколько суеверный. Вот я и боюсь, не показалась бы я им вроде Кассиопей, если допущу в отношении себя подобную похвалу. Да к тому же Кассиопея поставила себя вровень лишь с nereидами, а Геру и Афродиту почитала благочестиво».

8. Итак, Ликин, женщина велела тебе изменить написанное, иначе она призовет богинь в свидетели того, что ты написал это против ее воли: «Ты

же, — сказала она, — должен помнить, что оскорбит ее эта книжка, если останется в том виде, какой ты сейчас ей придад, то есть не слишком-то благочестивой и почтительной к богам». Она полагает, что нечестием и пренебрежением с ее стороны будет, если она потерпит, чтобы о ней говорили, как о равной богине Книда и той, «что в садах». И тебе женщина просила напомнить, что говорится про нее в последних строках книжки, именно там, где ты называешь ее умеренной и чуждою всякой спеси, женщиной, которая не тянется за тем, что превышает человеческую меру, но ближе к земле направляет полет свой. Между тем тот, кто говорит слова, подобные твоим, превыше самих небес возносит женщину, доводя до уподобления ее богиням.

9. Она просила тебя не считать ее менее рассудительной, чем Александр: когда один строитель обещал Александру совершенно изменить внешний вид горы Афон и придать ей облик Александра, так что вся гора явит собою изображение царя, держащего в руках два города, то Александр отверг это чудовищное предложение, счел его непомерно дерзостью и запретил этому человеку создавать неправдоподобно огромные кумиры; Афон же велел оставить на месте и не принижать огромную гору до сходства с малым человеческим телом. Женщина хвалила возвышенную душу Александра и говорила, что превыше Афона воздвиг он себе памятник в умах тех, кто никогда его не забудет: свойства немелкого ума позволили ему презрительно отнестись к выражению столь чудовищного вида почести невероятной.

10. Женщина одобряет твоё произведение и остроумие твоих образов, но не находит в них сходства с собою: ибо она недостойна, хотя бы отдаленно, таких сравнений, как недостойна их вообще ни одна смертная женщина. Таким образом, она возвращает тебе эту честь, преклоняясь пред теми, кто послужил тебе образцами для твоей картины. Тебе же надлежит хвалить ее, как подобает хвалить человека, и не давать ей обуви не по ноге. «Как бы не сомкнулись уста мои, — сказала она, — если я буду прогуливаться на котурнах». Далее она просила передать тебе следующее.

11. «Слышала я, — сказала она, — от многих, а правда ли это, о том лучше знать вам, мужчинам, будто не разрешается победителям на олимпийских играх ставить изваяния выше их действительного роста. Элланодики должны следить за тем, чтобы ни одно из этих изображений не превысило истинных размеров тела. Проверка изваяний совершается даже с большею тщательностью, чем отбор самих атлетов при допущении их к состязанию. Смотри же, — добавила она, — как бы не обвинили нас во лжи относительно размера и элланодики вслед за тем не сбросили наземь наше изваяние».

12. Вот что она говорила. Итак, подумай, Ликин, как переделать книжку, убрать все такие места, и не впадать в соблазн в делах божественных. Право, она очень была смущена всем этим, дрожь пробегала по ней во время чтения, и она молила богинь быть к ней милостивыми, и вполне простительно, если она испытала такое, чисто женское, чувство. Говоря

правду, и во мне возникло какое-то сходное решение. Когда я первый раз слушал тебя, я не разглядел в написанном никаких промахов, но теперь, когда эта женщина их отметила, я и сам начинаю думать то же самое. Случилось нечто похожее на то, что случается с теми, кто предается внимательному рассматриванию: когда мы смотрим на что-либо очень близкое, находящееся перед самыми нашими глазами, мы ничего не можем различить как следует; если же отойдем и взглянем с соответствующего расстояния, все выступает с полной ясностью: что — хорошо и что — не так.

13. Итак, смертную женщину сравнить с Афродитой или Герой — разве это не значит прямо в лицо унижать богинь? Ибо в подобных случаях не столько малое делается большим под влиянием сравнения, сколько большее умалывается низведением к менее значительному. Представим себе, что два человека идут рядом: один — высокий, другой — приземистый; если им захочется сравняться друг с другом так, чтобы ни один не превосходил ростом другого, это осуществится не тем путем, что маленький сверх возможного вытянется в высоту, хотя бы он из всех сил старался, поднимаясь на кончики пальцев. Нет, если оба захотят казаться одного роста, то другой, более высокий, должен пригнуться и станет казаться ниже. Совершенно так же и в подобного рода сравнениях: не столько человек вырастает, если кто-нибудь уподобит его богу, сколько божественное начало с неизбежностью уменьшается, принижаясь до несовершенного. И если, вдобавок, кто-нибудь по недостатку земных сравнений к небесным направляет свое слово, то такого человека, пожалуй, будет труднее заподозрить в недостатке благочестия. Но ты, имевший столько образцов земной женской красоты, дерзнул сравнить эту женщину с Афродитой и Герой без всякой к тому необходимости.

14. Итак, Ликин, устрани эти вызывающие неудовольствие преувеличения. Да они и не в твоём духе, так как в других случаях ты как раз совсем не обнаруживаешь легкомысленной готовности к чрезмерным похвалам; ныне же, не знаю почему, ты совершенно переменился и, доселе скупой на похвалы, вдруг оказался расточительным, раздающим их больше, чем надо. И пусть не смущает тебя то, что ты будешь перерабатывать сочинение, уже ставшее известным читателю, потому что даже Фидий, как говорят, поступил подобным же образом, закончив для элейцев своего Зевса: он стал за дверью, когда в первый раз, распахнув ее, показывал зрителям свое произведение и прислушивался к словам порицавших и возносявших ему похвалы. Один порицал нос, как слишком толстый, другой находил чересчур длинным лицо, третий — еще что-нибудь иное. Затем, когда зрители разошлись, Фидий, снова запершись, исправил и привел в порядок изваяние в соответствии с мнением большинства, так как считал, что совет, поданный столькими людьми, — дело немалое и что многие всегда и неизбежно видят больше, чем один человек, даже если он — Фидий. Вот то, что она поручила передать тебе и что я сам советую тебе сделать как друг твой и благожелатель.

15. Л и к и н. Полистрат! Я и не знал, что ты так красноречив! Ты произнес такую длинную речь и столько выставил обвинений против моего

сочинения, что у меня и надежды уж никакой не остается на оправдание. А впрочем, не по правилам суда поступили в этом случае вы оба, а ты в особенности, вынеся приговор моей книжке заочно: так как на суде не присутствовал защитник ее. Чрезвычайно легко, полагаю я, одержать верх, когда, по пословице, «с самим собой бежишь взапуски». Ничего поэтому нет удивительного в том, что и мы оказались побежденными: ведь мы не располагали ни водяными часами, ни словом для защиты. Но наиболее странным во всем этом является то обстоятельство, что вы были одновременно и обвинителями, и судьями... Итак, чего же ты хочешь от меня? Чтобы я удовлетворился вашим решением и сохранил спокойствие? Или, следуя певцу из Гимеры, сочинил какую-нибудь песнь отречения? Или, наконец, вы предоставите мне право возражать, обжаловав ваше решение?

П о л и с т р а т. Предоставим, свидетель Зевс, если ты можешь привести какие-нибудь справедливые доводы. Будь уверен: не перед противниками, как ты утверждаешь, а перед друзьями выступишь ты со своею защитой. Что же касается меня, то я готов помочь тебе восстановить истину.

16. Л и к и н. Огорчает меня только то, Полистрат, что я буду говорить не в присутствии этой женщины: так было бы гораздо лучше. Теперь же я вынужден просить другого сообщить ей мою защитительную речь. Впрочем, если ты так же хорошо передашь ей мои слова, как передал мне ее решение, — я отважусь на эту ставку.

П о л и с т р а т. Смелее, Ликин! Смелей, потому что ты найдешь во мне неплохого исполнителя в качестве защитника. Но постарайся сказать покороче, чтобы мне лучше все запомнилось.

Л и к и н. Конечно, я должен был бы высказать многое против столь тяжелого обвинения. Но, тем не менее, ради тебя я сокращу оправдательное слово. Итак, передай ей от меня следующее.

П о л и с т р а т. Постой, Ликин! Говори так, как будто бы она сама здесь присутствовала, а я потом воспроизведу тебя перед нею.

Л и к и н. Пусть так, если ты того хочешь, Полистрат. Итак, она — здесь и высказала все то, что ты мне сообщил от ее имени. Теперь моя очередь начать свое слово. Однако тебе я не постесняюсь рассказать, что со мной происходит; ты представить себе не можешь, в какой мере сделал ты для меня мою задачу более страшной. Ты сам видишь: пот уже покрывает меня, я трепещу, я, кажется, собственными глазами вижу ее перед собой, и моя задача повергает меня в великое смущение. И все же — я начинаю. Ибо невозможно отступать, раз она присутствует.

П о л и с т р а т. И, великий Зевс, сколько милости отображается на лице ее! Посмотри, как оно светло и ласково. Будь же смелее и начинай свое слово.

17. Л и к и н. Ты говоришь, благороднейшая из женщин, что я воздал тебе великие и превышающие меру похвалы. Но я не знаю, какая из них может сравниться с тем словом, которое ты сама только что произнесла в свою честь, превыше всего поставив почтенье к богам. Это, пожалуй,

больше всего, сказанного мною о тебе, и да простится мне, если я не изобразил тебя и с этой еще стороны: я доселе не знал ее и потому упустил из виду. Иначе прежде всех других я изобразил бы именно эту сторону. Таким образом, полагаю, что я не только не превысил в моих похвалах надлежащую меру, но сказал даже гораздо меньше того, что ты заслужила. Посмотри сама, как значительна черта, мною опущенная, насколько всех важнее она для обрисовки нрава доброго и ума неискаженного: ибо тот, кто не мимоходом только чтит богов, тот и в отношениях к людям будет стоять выше всех. Поэтому, если мне следует совершенно перестроить свое сочинение, исправив данное мною изображение, то я не решусь, пожалуй, ничего в нем убавить, а, напротив, присоединю к нему и то, о чем сейчас говорил, чтобы вся работа получила тем самым некое возглавление и завершение. Более того: я должен даже принести тебе чрезвычайную мою благодарность. В самом деле: когда я сложил похвалу умеренности твоего нрава и тому, что высокое положение отнюдь не заставило тебя воспарить и преисполниться гордости, ты столь тяжелые выставила против моих речей обвинения и тем самым подтвердила справедливость заключенной в них похвалы: кто не старается использовать славословия, но смущается их и заявляет, что похвалы для него чрезмерны, тот обнаруживает этим умеренность и скромность своих мыслей. И чем больше ты проявляешь такое расположение духа, тем с большей очевидностью выступает, что не похвал, а сверхпохвал заслуживаешь ты. И, пожалуй, все происшедшее приобретает для тебя как раз обратный смысл, по известному изречению Диогена, который на чей-то вопрос: «Как человеку прославиться?» — ответил: «Пренебрегши славой». Вот так-то и я, если бы спросили меня: «Кто всех больше заслуживает похвалы?» — мог бы ответить: «Тот, кто не хочет, чтобы его хвалили».

18. Но все это отступления, не идущие прямо к делу. Оправдаться же мне надлежит, собственно говоря, в том, что, создавая твой облик, я сравнил его с богиней Книда и Афинских садов, и с Герой, и с Афиной: это ты признала нарушающей меру, «не по ноге». Итак, я выскажусь по самой сути дела. Не сегодня ведь сказано, что не должны давать отчета поэты и художники; а тем более, думаю я, слагатели похвальных слов, хотя бы, подобно мне, по земле ступали они, а не парили на крыльях размеренной речи; ведь похвалы есть нечто свободное, и нет законом положенной меры, быть ли ей выше или ниже, но об одном только думает похвала: как показать, что этот человек достоин зависти и сверхизумления. Однако я не пойду этим путем, чтобы и тебе не показалось, будто по скудости средств поступаю я таким образом.

19. Я скажу следующее: сочиняя такие хвалебные речи, мы исходим из того, что составитель должен использовать и образы, и уподобления, причем самым главным будет, пожалуй, умение хорошо сравнивать. А всего более такие сравнения могут быть признаны удачными тогда, когда не с подобным ему сравнивается восхваляемое, и не с тем, что ниже его, приводится в сопоставление, но возводится, насколько возможно, к выше-

му. Положим, например, что кто-нибудь, желая похвалить собаку, скажет, что она больше лисицы или кошки. Как по-твоему: разве такой человек знает толк в похвале? Даже если бы он сказал, что собака равняется волку — и тогда это еще не большая похвала. Чем же достичь, чтобы похвала была действительно похвалой? А тем, что мы скажем: собака подобна льву величиною и силой. Так поступил поэт, желавший воспеть пса Ориона: он назвал его «обуздателем львов», — вот похвала собаке, доведенная до конца. Или еще: допустим, хотя бы похвалить Милона кротонского, или Главка из Кариста, или Полидаманта и скажут, что каждый из них был сильнее, чем женщина. Скажи: не возбудит ли смех эта нелепая похвала? Равно, если скажем, что тот или другой был лучше любого мужчины, и это было бы еще недостаточной похвалой. Как воспеет Главка знаменитый поэт? Он сказал: «Ни Полидевк могучий, ни железный Алкмены сын не подняли б руки схватиться с ним». Ты видишь, с какими могучими богами он сравнил его? Более того: он изобразил его даже сильнее их. И что же? И сам Главк не был обеспокоен тем, что его сопоставили с богами — покровителями атлетов. И эти боги не стали мстить ни Главку, ни поэту за нечестивую, будто бы, похвалу; но оба они стяжали славу и уважение эллинов. Первый, Главк, — своей силой, а поэт — и многим другим, и в особенности как раз этим самым произведением. Итак, не удивляйся, если и я, желая сравнить тебя с кем-нибудь, сделал то, что было неизбежно для составления похвального слова: я использовал для сравнения образы более высокие, которые подсказывало мне само течение речи.

20. Но поскольку ты упомянула о лестях, я должен сказать: что ты ненавидишь льстецов — это я одобряю, иначе и быть не должно. Но я хочу разделить и разграничить перед тобою труд славословца и преувеличенья льстеца. Дело в том, что льстец ради собственных выгод расточает хвалы, об истине мало заботясь. Лстец считает нужным все перехвалить, измышляя и от себя прибавляя большую часть восхваляемых качеств: даже Ферсита не постесняется он объявить прекрасней Ахилла и сказать, что Нестор был всех моложе среди пришедших под Трою. Лстец поклонится в том, что у сына Креза слух острее, чем у Мелампода, и что Финей видит зорче Линкея, — если только он надеется что-нибудь выиграть ложью. Но тот, кто слагает всего лишь похвальное слово, ни в коем случае не станет лгать и приписывать хвалимому нечто, совсем ему не присущее, а выберет те качества, которыми наделила его природа — пусть они и не будут чересчур великими, и приумножит их и возвеличит. Желая похвалить коня, животное по природе своей, как известно, легкое и быстрое, он откажется сказать, что конь

Мчался, колосьев касаясь едва, и не гнулись стебли,

и не задумается назвать бег коней «буре подобным». Точно так же, восхваляя красивое, отлично устроенное жилище, он скажет:

Только в чертогах у Зевса подобное видеть возможно.

А льстец способен молвить такое слово даже о лачуге свинопаса, если только он рассчитывает что-нибудь от свинопаса получить. Так, Кинет, состоявший льстецом при Димитрии Полиоркете, исчерпав весь запас лести, похвалил Димитрия, которого мучил кашель, за то, что он отхаркивается очень музыкально.

21. Однако отличительным признаком одного от другого является не только то, что льстец даже от лжи не отказывается, когда хочет угодить восхваляемому, — хвалящий без лести старается лишь возвеличить действительное. Нет, немалое различие между ними и в том, что льстецы полностью, насколько возможно для них, используют преувеличение, а составители похвальных речей даже и в преувеличениях скромны и не переходят границ. Из многочисленных признаков, отличающих лесть от искреннего восхваления, я привожу тебе эти немногие, чтобы ты не относилась подозрительно ко всякой похвале, но надлежащею мерой судила и отмеряла каждую.

22. Итак, если хочешь, сопоставь сочиненное мною с этими обоими образцами и посмотри, с которым из двух оно сходно. Я, со своей стороны, полагаю, что если бы безобразную какую-нибудь женщину я назвал похожей на изваяние в Книде, — тогда, действительно, меня стоило бы признать пустословом и льстецом, хуже Кинета. Но, сказав это о тебе, чья красота всем известна, я отважился сблизить совсем уж не так далеко отстоящие друг от друга сравниваемые образы.

23. Но, быть может, ты скажешь, — точнее, ты уже сказала, — что позволительно было похвалить твою красоту, но следовало сделать эту похвалу безупречной и не сравнивать с богинями ту, кто является всего только смертной. Но я, — придется мне, наконец, высказать правду, — я не с богинями сравнил тебя, лучшая из женщин, а с творениями славных мастеров, сделанными из камня, бронзы и слоновой кости. А то, что людьми создано, не нечестиво, я полагаю, равнять с людьми, если, конечно, ты не считаешь самою Афиной изваяние, исполненное Фидием, или Афродитой Небесной то, что изваял в Книде Пракситель не так много лет тому назад. Но подумай: разве не будет непочтительным судить о богах, коих истинные образы недоступны для человеческого искусства, — так, по крайней мере, думаю я.

24. Впрочем, если даже я и в самом деле сравнил тебя с самими богами, то не мое это изобретение, и не я первый проложил эту дорогу, но до меня многие славные поэты, и прежде всех твой соотечественник Гомер, которого и сейчас я вызову сказать за меня свое слово, иначе ничто не поможет, — и пусть вместе со мною будет осужден и он. Итак, я спрошу Гомера или, лучше, тебя вместо него, — ибо ты похвально хранишь в памяти прекраснейшие места его песен, — каково твое мнение о нем, когда про пленницу Брисенду Гомер говорит, что, оплакивая Патрокла, подобна она была золотой Афродите? Затем, немного дальше, как будто не достаточно было сравнить Брисенду с Афродитой, поэт говорит о ней:

Молвила в горе жена, подобная видом богиням.

Что же? Когда он произносит подобные речи, ты и на него негодуешь и отбрасываешь прочь книжку или предоставляешь поэту свободу в его похвалах? Но если даже ты этого не делаешь, то уже предоставили ему это право истекшие века и никто из людей не обвинил Гомера в этом, даже тот, кто дерзнул бичевать его образ, даже тот, кто много стихов в его песнях отверг, как неподлинные, и отметил их особенными значками. Так неужели Гомеру позволено будет сравнить с золотой Афродитой пленницу не эллинской крови, к тому же проливающую слезы, а я не посмею сравнить с изображениями богинь — не скажу красоту, ибо ты не хочешь слышать об этом, но женщину с сияющим взором и неизменной улыбкой, которая как раз и делает человека подобным богам?

25. А на примере Агамемнона, посмотри, как мало Гомер шадит богов и как распорядился их изображениями для создания цельного образа: поэт говорит, что лицом и главою Агамемнон подобен Зевсу, Аресу — чреслами, грудью же — Посейдону. Так распределяет Гомер члены человеческого тела между изображениями многих богов. И в другом месте снова поэт называет равным губителю смертных — Аресу — Гектора. Также и других героев: фригийца, Приамова сына, зовет «богоподобным» и «богоравным» нередко зовет Пелеева сына. Но я возвращусь опять к женским образам Гомера. Ты, конечно, слыхала не раз от него:

Артемиде подобная или златой Афродите.

и

Как Артемиду шествует с гор...

26. И не только самих людей Гомер сравнивает с богами, но даже волосы Эвфорба, и притом омоченные кровью, сравнил с Харитами. И вообще подобные сравнения у Гомера столь многочисленны, что нет ни одного места в его поэмах, которое не было бы украшено образами богов. Так что, или пусть будут вычеркнуты все эти места у Гомера, или и нам да будет разрешено отважиться на такие же действия. И до такой степени поэт не обязан отчетом в своих образах и сравнениях, что Гомер не поколебался даже возвести похвалы богиням, основываясь на сравнении с низшим. Так, глаза Геры Гомер сравнил с глазами вола; другой поэт дал Афродите «фиалковые очи». Наконец, кто не знает «розоперстую Эос», если он хоть немного знаком с поэмами Гомера?

27. Однако это еще большая умеренность, если кто-нибудь за свою наружность называется богоподобным. Но сколько людей и самые имена свои построили подражая именам богов: все эти Дионисии, Гефестионы, Зеноны, Посейдонии и Гермии. Латоной называлась жена Эвагора, царя кипрского, и все же богиня не прогневалась на нее, хотя могла обратить ее в камень, как Ниобею. Я не говорю уже об египтянах, которые являют-

ся самым богобоязненным народом и все же широко пользуются именами богов: почти все их имена небесного происхождения.

28. Таким образом, не подобает тебе так боязливо вздрагивать от моей похвалы. Ибо если и допущены в этом сочинении какие-нибудь ошибки в отношении дел божественных, то ты не ответственна за них, если вообще не думаешь, что кто-нибудь может быть ответствен за услышанное им. Меня же накажут боги лишь после того, как накажут сначала Гомера и прочих поэтов. Впрочем, они еще до сих пор не отомстили лучшему из философов, сказавшему, что «человек есть образ божества».

Много еще я мог бы тебе сказать, однако закончу на этом мое слово, ради Полистрата, чтобы он мог припомнить все сказанное.

29. П о л и с т р а т. Не знаю, Ликин, возможно ли еще это для меня: так пространно ты сказал, — отмеченное водяными часами время уже истекло. Однако я попытаюсь припомнить все. Как видишь, я уже устремляюсь к ней, заткнув уши, чтобы другое что-нибудь, попав по дороге, не смешало строй твоих слов и не пришлось бы мне слушать свистки моих зрителей.

Л и к и н. Это уж твое дело, Полистрат, позаботиться о том, чтобы сыграть как можно лучше. Я же, предоставив тебе действие, отойду теперь в сторону. Когда будут объявлять, как распределились голоса судей, тогда я появлюсь посмотреть, каков окажется исход состязания.



ТОКСАРИД, или ДРУЖБА

1. М н е с и п п. Что ты говоришь, Токсарид? Вы, скифы, приносите жертву Оресту и Пилладу и признаете их богами?

Т о к с а р и д. Да, Мнесипп, мы приносим им жертвы, считая их, однако, не богами, но лишь доблестными людьми.

М н е с и п п. Разве у вас существует обычай приносить жертвы умершим доблестным людям как богам?

Т о к с а р и д. Мы не только приносим жертвы, но и справляем в их честь праздники и торжественные собрания.

М н е с и п п. Чего же вы добиваетесь от них? Ведь не ради приобретения их расположения вы приносите им жертвы, раз они покойники?

Т о к с а р и д. Не худо, если и мертвые будут к нам благосклонны; но, конечно, мы поступаем так не только поэтому: мы думаем, что делаем добро живым, напоминая о доблестных людях и почитая умерших. Мы полагаем, что, пожалуй, благодаря этому многие у нас пожелают быть похожими на них.

2. М н е с и п п. Это вы придумали верно. Почему же Орест и Пиллад так сильно возбудили ваше удивление, что вы сделали их равными богам, хотя они были чужестранцами и, более того, вашими врагами?

Ведь они, потерпев кораблекрушение, были захвачены скифами и отведены для принесения в жертву Артемиде. Однако, напад на тюремщи-

ков и перебив стражу, они убили и царя; более того, захватив с собою жрицу и похитив вдобавок изображение Артемиды, они бежали, насмевшись над общиной скифов. Если вы почитаете их ради всего этого, то вы не замедлите создать много им подобных. Поэтому теперь же подумайте, вспоминая давнишнее событие, хорошо ли будет, если в Скифию начнут приплывать многочисленные Оресты и Пиллады. Мне кажется, что этим способом вы очень скоро перестанете почитать богов и лишитесь их, так как последние оставшиеся у вас боги при таком образе действия будут уведены из вашей страны. Затем, я полагаю, вы вместо всех богов начнете обожествлять людей, пришедших похитить их, и будете святотатцам приносить жертвы как богам.

3. Если же вы почитаете Ореста и Пиллада не ради подобных действий, то скажи мне, Токсарид, какое еще добро они сделали вам? Ведь в старину вы их не считали богами, а теперь, наоборот, признав богами, совершаете в их честь жертвоприношения. Раньше они едва сами не стали жертвами, а теперь вы приносите им жертвенных животных. Все это может показаться смешным и противным древним обычаям.

Т о к с а р и д. Все то, что ты, Мнесипп, изложил, показывает благородство этих людей. Они вдвоем решились на крайне смелое предприятие и отплыли очень далеко от родной земли в море, не исследованное еще эллинами, если не считать тех, которые некогда отправились на корабле Арго в Колхиду. Они ничуть не боялись рассказов о море, не испугались и того, что оно называлось «негостеприимным», по причине, думаю я, диких народов, живших на его берегах. Захваченные в плен, они с большим мужеством воспользовались обстоятельствами и не удовлетворились одним бегством, но отомстили царю за его дерзкий поступок и бежали, захватив с собой Артемиду. Неужели все это не удивительно и не является достойным божественного почитания со стороны всех, кто вообще одобряет добродетель? Тем не менее не этому мы удивляемся в Оресте и Пилладе, считая их героями.

4. М н е с и п п. Может быть, ты расскажешь, что же еще они совершили божественного или священного. Что касается плавания вдали от родины и далеких путешествий, то я мог бы тебе указать много купцов, гораздо более божественных, особенно из Финикии, плавающих не только по Понту до Меотиды и Боспора, но и по всем уголкам эллинского и варварского морей. Осмотрев, можно сказать, все берега и каждый мыс, они ежегодно возвращаются домой глубокой осенью. Их, по-твоему, и считай богами, это торгашей-то по большей части и торговцев соленой рыбой!

5. Т о к с а р и д. Выслушай же меня, почтеннейший, и посмотри, насколько мы, варвары, судим о хороших людях правильнее, чем вы. В Арго-се или Микенах, например, нельзя увидеть славной могилы Ореста или Пиллада, а у нас вам покажут их общий, как и подобает, храм, воздвигнутый им как друзьям. Им приносятся жертвы, и они получают все прочие почести; а то, что они были не скифами, но чужестранцами, совсем не служит препятствием считать их доблестными людьми.

Мы ведь не наводим справок, откуда пришли к нам прекрасные и доблестные люди, и не относимся к ним с пренебрежением, если они совершат какой-нибудь добрый поступок, не будучи нашими друзьями. Восхваляя их деяния, мы считаем таких людей своими близкими на основании их поступков. Более же всего в этих людях вызывает наше удивление и похвалу то, что они, по нашему мнению, являются наилучшими друзьями из всех людей, законодателями в делах о том, как нужно делить с друзьями превратности судьбы и как быть в почете у лучших скифов.

6. Наши предки написали на медной доске все то, что они претерпели оба вместе или один за другого, и пожертвовали ее в храм Ореста, издав закон, чтобы началом учения и воспитания детей служила эта доска и заучивание того, что на ней было написано. И вот, ребенок скорее позабудет имя своего отца, чем деяния Ореста и Пилада. Кроме того, на храмовой огаде все, что написано на медной доске, изображено было в картинах, написанных еще в древние времена: Орест, плывущий вместе со своим другом, затем его пленение, после того как корабль разбился об утесы, и приготовления к принесению в жертву Ореста. Тут же изображена Ифигения, собирающаяся поразить жертву. Против этих картин, на другой стене, Орест изображен уже освободившимся из оков и убивающим Тоанта и множество других скифов и, наконец, отплывающим вместе с Ифигенией и богиней. Вот скифы хватаются за плывущий уже корабль; они висят на руле, стараются взобраться на него. Наконец, изображено, как скифы, ничего не добившись, плывут обратно к берегу, одни — покрытые ранами, другие — боясь их получить. Тут каждый может убедиться в силе привязанности друг к другу, которую друзья выказывали в схватке со скифами. Художник изобразил, как каждый из них, не заботясь об угрожающем ему неприятеле, отражает врагов, нападающих на друга. Каждый бросается навстречу вражеским стрелам и готов умереть, спасая своего друга, приняв своим телом направленный на другого удар.

7. Подобная привязанность, стойкость среди опасностей, верность и дружелюбие, истинная и крепкая любовь друг к другу не являются, как мы решили, простым человеческим свойством, но составляют достояние какого-то лучшего ума. Ведь большинство людей, пока во время плавания дует попутный ветер, сердятся на друзей, если они не разделяют с ними в полной мере удовольствий; когда же хотя немного подует противный ветер, они уходят, бросая своих друзей среди опасностей.

Итак, знай, что скифы ничего не признают выше дружбы, что ни один скиф ничего не станет так восхвалять, как разделение с другом его трудов и опасностей; равным образом у нас считается самой тяжелой обидой, если тебя сочтут изменником дружбе. Оттого мы и почитаем Ореста с Пиладом, выдававшихся в этой близкой скифам добродетели и отличавшихся дружбой, — этим мы более всего восхищаемся. Поэтому мы прозвали их «Кораки» — на нашем языке это все равно, что сказать «божества, покровители дружбы».

8. М н е с и п п. Да, Токсарид, действительно скифы были не только искусными стрелками из лука, не только превосходили других в воинском

деле, но умели также убеждать своей речью. Хотя до сих пор я держался другого мнения, но теперь я убедился, что, воздавая божеские почести Оресту и Пиладу, вы поступаете справедливо. Не знал я также и того, почтеннейший, что ты хороший художник. Право, ты нам как наяву показал картины в храме Ореста, сражение обоих друзей и раны, полученные ими друг за друга. Но я совсем не думал, что дружба у скифов в таком почете.

Я считал их негостеприимными и дикими, думал, что они постоянно враждуют, легко поддаются гневу и злобе и не выказывают дружбы даже по отношению к близким людям. Я основывался на том, что мы о скифах обычно слышим, будто они даже поедают своих отцов после их смерти.

9. Т о к с а р и д. Являемся ли мы лучше эллинов и в других отношениях, справедливее ли мы к родителям и более почитаем богов, — пожалуй, я в настоящее время не хотел бы этим хвастаться.

А что скифы являются более верными друзьями, чем эллины, и что законы дружбы у нас более чтимы, чем у вас, это легко доказать. И, ради эллинских богов, выслушай меня без тяжелого чувства, если я тебе расскажу свои наблюдения, которые я сделал, находясь в течение долгого времени среди вас. Мне кажется, что вы лучше других можете произносить речи о дружбе, — о делах же ее вы не только не заботитесь, но для вас вполне достаточным является только восхвалять дружбу и показывать, какое великое благо она составляет. В нужде же вы становитесь изменниками своим собственным словам и убегаете, не знаю как быстро, в самый разгар действия.

Когда ваши трагические поэты, выводя на сцену, показывают пример выдающейся дружбы, вы хвалите и рукоплещете ей; многие из вас проливают слезы, когда друзья подвергаются опасности ради друг друга. Но сами вы не решаетесь совершить ради своих друзей ничего, достойного похвалы. Если же друг окажется в нужде, то все эти трагедии, хотя их и много, тотчас же уходят далеко и разлетаются, как сны, оставляя вас похожими на те маски без слов и ролей, которые, разевая рот, не произносят ни звука, хотя рот их широко раскрыт. Мы же, напротив, насколько отстаем в рассуждениях о дружбе, настолько же превосходим вас в делах ее.

10. Впрочем, если хочешь, сделаем так: оставим в покое древних друзей, — которых и мы, и вы могли бы насчитывать немало, — так как в этом отношении вы, пожалуй, будете иметь над нами перевес, обладая большим числом достовернейших свидетелей — поэтов. Они в прекраснейших словах и стихах воспевают дружбу Ахилла и Патрокла, Тезея и Перифоя и других. Лучше расскажем о друзьях, которых встречали мы сами: я — среди скифов, ты — между эллинов, и опишем их дела. Кто из нас представит лучших друзей, тот и возьмет верх и провозгласит победителем свое отечество, как одержавший победу в самом прекрасном и священном состязании.

Мне кажется, что я с большей охотой потерял бы в единоборстве правую руку (это служит в Скифии наказанием), чем, будучи сам скифом, в споре о дружбе уступил другому, притом эллину.

11. М н е с и п п. Да, Токсарид, это не простое дело — сразиться один на один с таким противником, как ты, так умело находящим меткие и подходящие слова. Тем не менее я не отступлю перед тобою, предав сразу всех эллинов. Всего лишь два эллина победили столько скифов, как об этом рассказывают мифы и ваши старинные картины, которые ты мне только что так живо и так хорошо описал, точно трагический поэт. Поэтому было бы прямо чудовищно, если бы все эллины, столько племен и городов, были тобой побеждены за невякою ответчика. Случись это, мне следовало бы отрезать не правую руку, как в обычае у вас, а мой язык.

Нужно ли нам ограничить перечисление деяний дружбы или будем считать, что каждый из нас, чем больше случаев он может рассказать, тем более приближается к победе?

Т о к с а р и д. Никоим образом! Пусть превосходство будет не в количестве; пусть, чем лучше и острее окажутся твои примеры, хоть и равные моим по числу, тем способнее они окажутся в нанесении ран и тем скорее принудят пасть под ударами.

М н е с и п п. Ты правильно говоришь. Определим, сколько примеров будет достаточно. Мне кажется, на каждого по пяти.

Т о к с а р и д. Я согласен. Говори первым, но предварительно поклянись, что будешь говорить правду. Нетрудно ведь выдумать подходящий пример, отрицать который будет невозможно. После твоей клятвы я не смогу уже тебе не доверять.

М н е с и п п. Я поклянусь, если это необходимо. Но, кто же для тебя из наших богов... Пожалуй, самый подходящий Зевс — покровитель дружбы.

Т о к с а р и д. Конечно! Я же, когда придет мой черед говорить, поклянусь своим отечественным богом.

12. М н е с и п п. Пусть ведает Зевс, покровитель дружбы, что я буду рассказывать только о том, что сам видел, или на основании самой строгой проверки чужих слов, без всяких прикрас.

Прежде всего я расскажу тебе о дружбе Агафокла и Диния, получившей громкую известность среди ионян.

Этот Агафокл, самосец, еще недавно был жив. Он был славен своей дружбой, в остальном — ни знатностью рода, ни богатством он не выделялся среди большинства самосцев. Был он с детства другом Динию, сыну Лисона, эфесца. Диний был невероятно богат. Как это обычно бывает, будучи богатым молодым человеком, он имел вокруг себя много друзей, готовых и выпить вместе, и принять участие во всяком развлечении, но стоявших совсем в стороне от истинной дружбы. До поры до времени среди них находился и Агафокл. Он принимал участие в их попойках и развлечениях, не находя, впрочем, большого удовольствия в таком времяпрепровождении. Диний выказывал к нему ничуть не больше внимания, чем к приятелям-льстецам. Под конец Агафокл надоел Динию своими частыми попреками, постоянно напоминая ему о его предках и совету беречь богатство, с большим трудом накопленное его отцом. Кончилось тем,

что Диний перестал брать Агафокла с собой на пирушки и веселился с остальными один, стараясь, чтобы Агафокл ничего не знал.

13. И вот как-то раз приятели убедили несчастного Диния, что в него влюбилась Хариклея, жена Демонакта, человека знатного, занимавшего высокое положение в Эфесе. Диний получал от этой женщины записочки, полужавшие венки, надкушенные яблоки и прочее, что с умыслом посылают молодым людям развратные женщины, разыгрывая картину любви, возбуждая страсть и заставляя думать, что они любят в первый раз. Это является самым лучшим средством соблазна, особенно для тех, кто считает себя красавцем. Так молодые люди и попадают в сети, сами того не замечая.

Хариклея была женщина красивая, но чрезвычайно развратная, готовая сойтись с первым встречным. Достаточно было выразить желание или только взглянуть на нее, как она сейчас же давала знак согласия, и нечего было бояться, что Хариклея ответит отказом. Она умела лучше всякой гетеры завлечь любовника: если он колебался, — знала, как полностью себе подчинить, а того, кто был уже в ее власти, удерживала и воспламеняла то гневом, то лестью и тут же высокомерием, то делая вид, что увлекается другим. Одним словом, эта женщина всюду возбуждала ссоры и устраивала козни своим возлюбленным.

14. Ее-то и взяли приятели Диния соучастником своих козней против юноши. Они постоянно потешались над ним, общими усилиями толкая Диния в объятия Хариклеи.

Хариклея, это хитрое и искусное чудовище, свернула шею уже многим молодым людям, бесчисленное множество раз изображала любовь и разорила богатейшие дома. Теперь она захватила в свои руки простого и неопытного юношу и не выпускала из своих когтей. Всецело им завладев и развратив, она, после славной победы, сама погибла от своей добычи и причинила неисчислимые несчастья бедному Динию.

Прежде всего она стала посылать ему любовные записочки, затем непрерывно передавала через свою служанку, что она исходит слезами, лишилась сна и, наконец, что она, несчастная, готова повеситься от любви. Все это продолжалось до тех пор, пока счастливец не поверил, что он в самом деле красавец и что в него влюблены все эфесские женщины. После долгих упрашиваний он вступил с нею в связь.

15. Затем, понятно, он должен был уже без сопротивления подчиниться этой женщине. Она ведь была красива, умела быть приятной, умела в нужное время заплакать, во время разговора самым жалостным образом вздохнуть. Когда он уходил, она удерживала его в своих объятиях, и бежала навстречу, лишь только он показывался в дверях. Умела она принарядиться с целью понравиться, спеть что-нибудь и сыграть на кифаре. Всем этим она воспользовалась во вред Динию.

Когда она заметила, что несчастный преисполнен любовью и от страсти сделался мягким, как воск, она придумала ему на погибель нечто новое. Она сделала вид, будто беременна от него. Это является хорошим

средством усилить страсть любовника, потерявшего здравый разум. Затем она перестала приходить к нему на свидание, говоря, что муж заметил ее любовь.

Диний был не в состоянии перенести такое положение. Не видя ее, он не мог уже сдерживаться. Он плакал, посылал к ней своих приятелей, громким голосом звал Хариклею по имени, рыдал, обняв ее статую (он заказал себе ее изображение из мрамора), наконец, бросаясь на землю, метался, и безумство его вполне соответствовало безрассудству поступков. Он делал Хариклее подарки — не венки да яблоки, а целые дома, поля и рабынь, цветные платья и золото, сколько бы она ни пожелала. И что же? В короткое время дом Лисона, бывший некогда самым славным в Ионии, был разорен и лишился всех своих богатств.

16. Когда же Диний совсем иссяк, Хариклея стала охотиться за каким-то юношей с большими деньгами с Крита. Она сошлась с ним, влюбилась в него, и тот этому начал верить. И вот Диний, покинутый не только Хариклеей, но и приятелями (так как и они перекочевали к влюбленному критянину), отправился к Агафоклу, уже давно знавшему о его плохом положении. Диний, хоть и стыдился, рассказал другу все по порядку: о своей любви и разорении, о высокомерии женщины, о счастливом сопернике-критянине; а под конец заявил, что, лишившись Хариклеи, он не останется и жить.

Агафокл счел несвоевременным при таких обстоятельствах напомнить Динию, как тот некогда оттолкнул его одного из всех друзей, предпочитая ему лстивых прихлебателей. Он продал единственное свое имущество — отцовский дом на Самосе, и принес Динию три таланта — все, что выручил от продажи.

Как только Диний получил эти деньги, Хариклее тотчас же стало известно, что он вновь представляет выгоду. Снова появилась служанка с письмами и упреками, что он так долго не заходил. Сбежались и приятели, чтобы поживиться кое-чем, видя, что Диний — блюдо еще съедобное.

17. Однажды он пришел к ней, по уговору, около того времени, когда люди видят первый сон. Демонакт, муж Хариклеи, случайно его заметив (а может быть и по уговору с женой — говорят и то, и другое), выскочив из засады, приказывает запереть дверь во двор и схватить Диния. Он угрожает огнем и плетью и даже обнажает меч, как бы против прелюбодея.

Увидев, какой опасности он подвергается, Диний хватает дверной засов, лежащий тут же, и ударом в висок убивает Демонакта и Хариклею, ударив ее при этом несколько раз засовом, а потом мечом Демонакта. Слуги, пораженные неожиданным поворотом дела, первое время стояли безмолвно, затем сделали попытку его схватить, но Диний кинулся на них с мечом. Слуги бежали, а Диний, совершив такое дело, незаметно ускользнул. До рассвета Диний находился у Агафокла. Оба они рассуждали о совершившемся, размышляя о том, что ожидает Диния впереди. Утром пришли стратеги, так как дело уже получило огласку. Они взяли под стражу Диния, не отрицавшего свою виновность, и отвели к наместнику, управ-

лявшему Азией. Тот отослал его к императору. Немного времени спустя Диний, приговоренный императором к пожизненному изгнанию, был отправлен на Гиар, один из Кикладских островов.

18. Агафокл все время не покидал Диния, отправлялся вместе с ним в Италию и один из всех друзей присутствовал с ним на суде, всегда и во всем стараясь ему помочь. Когда же Диний отправился в изгнание, то и это не лишило Агафокла его товарища: он сам себя приговорил к изгнанию и поселился вместе с Динием на Гиаре. Когда к ним пришла нужда, он нанялся к ловцам пурпура, нырял за раковинами и этим заработком кормил Диния.

Во время долгой болезни Диния он ухаживал за ним, а когда Диний умер, не захотел возвращаться на родину и остался на острове, стыдась покинуть своего друга даже после смерти.

Вот пример эллинской дружбы, имевший место не так давно: не знаю, прошло ли и пять лет, как умер на Гиаре Агафокл.

Т о к с а р и д. Жалко, Мнесипп, что ты рассказал это под клятвой. Охотно бы я не поверил! Так этот Агафокл похож на скифского друга. Кроме того, я боюсь, что ты расскажешь и второй пример вроде первого.

19. М н е с и п п. Теперь послушай, Токсарид, про Евтидика, халкидца. Рассказывал мне о нем Симил, мегарский корабельщик, что сам был очевидцем происходящего. Он говорил, что ко времени захода Плеяд пришлось ему плыть из Италии в Афины с путниками, собравшимися из разных городов. Среди них был и Евтидик со своим другом Дамоном, тоже халкидцем. Они были сверстниками, но Евтидик был сильный и здоровый человек, Дамон же бледен и слаб: он только что, по-видимому, встал после тяжелой болезни.

До Сицилии плавание продолжалось благополучно, рассказывал Симил. Но потом, когда они миновали пролив и плыли уже по Ионийскому морю, их захватила страшная буря. К чему описывать вихрь, громадные волны, град и прочие ужасы бури?

Когда они плыли уже мимо Закинфа, убрав паруса и спустив в море несколько канатов, чтобы замедлить стремительный бег корабля, Дамон около полуночи, страдая морской болезнью (что вполне понятно при такой качке), нагнулся над водой, так как его тошнило. В это мгновение, по-видимому, корабль, подхваченный волной, нагнулся бортом, через который перевесился Дамон, и он упал стремглав в море, в одежде, мешавшей ему плыть. Дамон закричал, захлебываясь и с трудом держась на поверхности.

20. Евтидик, как только услышал крик, — он случайно, раздевшись, лежал на постели, — бросился в море, схватил выбивавшегося из сил Дамона и поплыл вместе с ним, помогая ему. Их долго можно было видеть при ярком свете луны.

Спутники не могли облегчить участь несчастных, — хоть и желали им помочь, — так как корабль гнало сильным ветром. Удалось сбросить только большое число спасательных принадлежностей и несколько жердей,

чтобы с их помощью они могли плыть, если бы им удалось ухватиться. Наконец корабельщики бросили в море небольшие сходни.

Подумай хорошенько, ради самих богов, как мог бы Евтидик выказать сильнее свое расположение к упавшему ночью в разъяренное море другу, чем разделив с ним смерть.

Представь себе вырастающие волны, шум сталкивающихся вод, кипящую пену, ночь и отчаяние захлебывающегося, с трудом держащегося на воде Дамона, протягивающего к товарищу руки. Нарисуй в своем воображении, как Евтидик, не медля, бросается в море, плывет рядом, в страхе, что Дамон пойдет ко дну раньше его. Ты можешь убедиться, что Евтидик, о котором я тебе рассказал, — тоже пример благородного друга.

21. Т о к с а р и д. Они погибли, Мнесипп, или, против ожидания, спаслись? Меня очень волнует их судьба.

М н е с и п п. Не беспокойся, Токсарид: они были спасены, и теперь еще оба живут в Афинах, занимаясь философией. Симил ведь мог рассказать только то, что он тогда видел ночью. А именно, что один упал, а его друг бросился за ним, и что их можно было некоторое время видеть плывущими. То, что произошло дальше, рассказали знакомые Евтидика. Сперва, поймав несколько спасательных принадлежностей, друзья держались за них и плыли, хоть и с трудом. Наконец, на рассвете, заметив сходни, подплыли к ним и, взобравшись на них, легко доплыли до Закинфа.

22. После рассказа об этих людях, неплохих, как я полагаю, выслушай третий, ничем не хуже предыдущих.

У Евдамида, коринфянина, человека очень бедного, было двое богатых друзей — коринфянин Аретей и Хариксен из Сикиона. Умирая, Евдамид оставил завещание, которое для других, быть может, покажется смешным. Не думай, однако, чтобы оно показалось таковым тебе, человеку хорошему, почитающему дружбу и вступившему даже из-за нее в состояние.

В завещании было написано: «Завещаю Аретею питать мою престарелую мать и заботиться о ней. Хариксену же завещаю выдать замуж мою дочь с самым большим приданым, какое он может дать (у Евдамида оставалась престарелая мать и дочка-невеста); если же кто-нибудь из них в это время умрет, пусть другой возьмет его часть». Когда это завещание читалось, те, кто знал бедность Евдамида (о дружбе с его приятелями никто ничего не слыхал), сочли все это шутовством и, уходя, смеялись: «вот так наследство получают эти счастливицы, Аретей и Хариксен, если только они пожелают отплатить и Евдамиду, наградив его, мертвого, наследством, сами будучи еще живы!»

23. Наследники же, которым было отказано такое наследство, как только услышали об этом, явились принять его. Но тут умирает Хариксен, прожив всего пять дней. Аретей же, приняв на себя и свою долю, и Хариксена, становится прекраснейшим наследником: он стал кормить мать Евдамида, а недавно выдал замуж дочку. Из своих пяти талантов два он отдал за своей родной дочерью, а два — за дочерью друга; он нашел также подходящим справить свадьбу обеих в один и тот же день.

Ну, Токсарид, как тебе нравится Аретей? Значит ли это показать плохой пример дружбы, приняв такое наследство и не отвергнув завешания друга? Не сочтем ли мы, что и этот пример является законным камешком, одним из пяти?

То к с а р и д. Конечно, он хороший человек; однако меня гораздо больше восхитила смелость Евдамида, с которой он отнесся к друзьям. Ясно, что и сам он сделал бы ради них то же самое, даже если бы этого и не было написано в завещании; он прежде всех других, не будучи даже назван по имени, явился бы в качестве наследника.

24. М н е с и п п. Справедливо! Теперь четвертый пример. Я расскажу тебе про Зенотемида, сына Хармолея, родом из Массалии.

Когда я был в Италии в качестве посла, мне указали на него, человека красивого, рослого и, по-видимому, богатого. С ним рядом, когда он проезжал по дороге в парной повозке, сидела некрасивая женщина, имевшая, кроме того, правую половину тела сухой и лишенная одного глаза, — одним словом, совершенно обиженное природой отталкивающего вида пугало. Я удивился, что такой красивый мужчина, во цвете лет, принужден сидеть рядом с такой безобразной женщиной. Тогда мой спутник, указавший мне на него, рассказал о его вынужденной женитьбе, так как знал все в подробностях, будучи сам родом из Массалии.

Зенотемида, сказал он, был так же богат и пользовался таким же почетом, как и его друг Менекрыт, отец этого несчастного уродца. Когда Совет шестисот лишил ее отца гражданской чести за то, что он будто бы обнаружил противозаконный образ мыслей, он, согласно судебному постановлению, лишился состояния. «Мы, массалийцы, — добавил он, — так наказываем того, кто сделает противозаконное предложение».

Менекрыт, конечно, был очень опечален как приговором суда, так и тем, что в короткое время из знатного богача стал бедняком и незначительным человеком; особенно же его огорчала дочь, взрослая, восемнадцатилетняя девушка, на которой ни один даже из бедных благородного происхождения граждан не захотел бы жениться, даже получив в приданое все состояние отца, которое тот имел до осуждения: так ужасна была ее внешность. Кроме того, рассказывали, что с ней, когда луна прибывает после новолуния, бывают припадки.

25. Однажды, когда Менекрыт жаловался на это, Зенотемида сказал: «Будь спокоен, Менекрыт: ты не будешь испытывать нужды ни в чем насущном, да и дочка твоя найдет жениха, достойного ее по происхождению». Сказав это, он взял его за правую руку, отвел в свой дом и отделил ему часть своего большого состояния. Приказав затем приготовить ужин, он стал угощать своих друзей и Менекрыта, как будто предстояло одному из них жениться на девице.

И вот, когда они отужинали и совершили возлияние богам, Зенотемида, протянув Менекрыту наполненную чашу, сказал: «Прими ее, Менекрыт, от своего зятя в знак дружбы. Сегодня я женюсь на твоей дочери Кидимахе. Приданое, двадцать пять талантов, я получил давеча». Не успел

он произнести этих слов, как Менеkrat сказал: «Перестань, Зенотемид; нельзя нам с тобой совершить такого безумия; невозможно тебе, молодому и красивому, жениться на такой безобразной и убогой девушке». Но Зенотемид при этих словах ушел с невестой в опочивальню и вскоре исполнил свое решение, лишив ее девства.

С этого времени он не расстается с женой, чрезвычайно ее любит и, как видишь, повсюду возит с собой.

26. Зенотемид не только не стыдится своего брака, — наоборот, он, кажется, хвастает им, показывая, что для него не имеют значения ни внешняя красота, ни безобразие, ни богатство, ни мнение толпы; обращает же Зенотемид внимание лишь на друга своего Менеkrата; он не думает, что его друг стал хуже после приговора Шестисот.

Да, кроме того, и судьба наградила его за этот поступок: от такой безобразной жены родился у него ребенок необыкновенной красоты. Недавно, когда отец принес его, увенчанного оливковым венком и одетого в черное, в Совет, чтобы возбудить этим большую жалость к его делу, младенец засмеялся, увидя членов Совета, и начал бить в ладоши. Совет умилился при этом и сложил с Менеkrата наказание. Благодаря такому защитнику перед Советом Менеkrat опять стал полноправным гражданином. Ты сам видишь, согласно рассказу массалийца, Зенотемид совершил немалое дело; не многие из скифов поступили бы так; ведь не даром говорят, что они стараются выбирать себе в наложницы самых красивых.

27. Теперь пятый, последний рассказ. Я не в состоянии обойти молчанием Димитрия, сунийца, рассказав вместо него о ком-либо другом. Димитрий отплыл в Египет с Антифилом из Алопеки, своим другом детства, с которым вместе он вырос и получил образование. В Египте Димитрий ревностно занимался кинической философией под руководством знаменитого родосского софиста, в то время как Антифил изучал врачебное искусство. Однажды Димитрий отправился путешествовать по Египту, чтобы посмотреть пирамиды и Мемнона; он слышал, что пирамиды, несмотря на свою высоту, не дают тени, Мемнон же издает громкий звук при восходе солнца. И вот, желая посмотреть пирамиды и послушать Мемнона, он уже шестой месяц как плыл по Нилу, покинув своего друга, тяготившегося долгим путем и жарой.

28. С Антифилом в это время случилось несчастье, в котором помощь друга была необходима. Его раб Сир (он назывался так по месту происхождения), присоединившись к каким-то святотатцам, забрался вместе с ними в храм Анубиса; они украли у бога две золотые чаши, жезл — тоже из золота, серебряных псиголовцев и другие предметы в том же роде. Все это они спрятали у Сира. Стараясь продать что-то из вещей, воры были пойманы и, как только их подвергли пытке на колесе, тотчас же во всем сознались; приведенные к жилищу Антифила, они достали краденые вещи, запрятанные в темном углу под кроватью. Сир сейчас же был схвачен, а заодно и его господин, как раз когда он слушал своего учителя. Никто не пришел Антифилу на помощь. Все прежние товарищи отвернулись

от него как от святотатца, ограбившего храм Анубиса. Те, которые раньше с ним вместе пили и ели, думали, что осквернили себя этим. Остальные слуги, которых у Антифила было двое, захватив из дома все имущество, бежали.

29. Несчастный Антифил очень долго сидел в тюрьме; его считали самым гнусным из злодеев, которые были заключены вместе с ним. Тюремщик, египтянин родом, человек богобоязненный, думал угодить божеству и отомстить за него, жестоко обращаясь с Антифилом; если же тот начинал оправдываться, говоря, что он ничего подобного не совершал, это казалось бесстыдством с его стороны, и Антифила начинали еще больше ненавидеть.

К тому же он заболел, и притом тяжко, что и понятно: ему приходилось лежать на голой земле; ночью он не мог даже вытянуть ног, так как они были забиты в колодку, — днем довольствовались железным ошейником и приковыванием одной руки, на ночь же его постоянно заковывали всего. К тому же дурной запах в помещении, духота от большого числа заключенных, находившихся в тесноте и почти не имевших возможности дышать, лязг железа, недостаток сна — все это было тягостно и невыносимо для непривычного, никогда не испытывавшего столь суровой жизни человека.

30. Антифил пал духом и не хотел уже принимать пищи, когда возвратился Димитрий, ничего не зная о происшедшем. Как только он узнал, в каком положении дело, он бегом бросился прямо к темнице, однако не был впущен, так как был уже вечер; смотритель тюрьмы давно замкнул ворота и ушел спать, приказав охранять тюрьму слугам.

Ранним утром, после долгих просьб, Димитрий попадает в тюрьму; войдя, он долго искал Антифила, который сильно изменился лицом после таких несчастий; обходя, Димитрий стал рассматривать по очереди каждого из заключенных, как это обыкновенно делают, разыскивая на поле битвы родных покойников, уже обезображенных смертью. И если бы он не назвал друга по имени: «Антифил, сын Диномена!» — никогда бы не узнал, который Антифил, так тот изменился от всех этих ужасов.

Услышав голос Димитрия, Антифил вскрикнул и, когда тот подошел, отбросил с лица спутавшиеся и ссохшиеся волосы и обнаружил, кто он такой. Оба лишились чувств при этом неожиданном зрелище. Спустя немного времени Димитрий пришел в себя, привел в чувство Антифила и, разузнав у него в подробностях о случившемся, советовал не терять мужества; разорвав пополам свой плащ, половину он набросил на себя, остаток же отдал Антифилу, сняв с него бывшие на нем грязные и изорванные лохмотья.

31. С этого времени Димитрий, сколько мог, оставался при Антифиле, заботясь и ухаживая за ним. Он нанялся в гавани к купцам и зарабатывал значительные деньги, таская груз с утра до полудня. Возвращаясь затем с работы, он отдавал часть заработка смотрителю, делая его таким путем кротким и миролюбивым; остальной части заработка ему хватало, чтобы

помогать другу. В течение дня Димитрий был с Антифилом и утешал его; когда же наступала ночь, он ложился спать неподалеку от ворот тюрьмы, устроив себе жалкую подстилку из листьев. Так продолжалось некоторое время, — Димитрий приходил невозбранно, Антифил же переносил несчастье легко.

32. Но затем умер в тюрьме какой-то разбойник, по-видимому — от яда; охрана стала более строгой, и в помещение к заключенным не стали допускать никого из желавших.

Находясь в затруднении и печали и не видя другого способа быть вместе с товарищем, Димитрий, придя к наместнику, делает на себя донос, говоря, что будто он был соучастником святотатственного замысла против Анубиса. Как только он это сказал, его тотчас же отвели в тюрьму; с большим трудом удалось Димитрию упротить смотрителя приковать его рядом с Антифилом, к одной и той же колодке. Здесь он и доказал свою особенную любовь к товарищу. Димитрий заболел сам, но, не обращая внимания на собственное тяжелое положение, все время заботился, чтобы Антифил мог побольше спать и поменьше страдать. Так они сообща переносили несчастье.

33. С течением времени одно событие положило конец их бедствиям. Кто-то из узников, не знаю откуда, добыл напильник и, подговорив многих из заключенных, распилил цепь, к которой они все были прикованы (цепь была пропущена сквозь все оковы). Таким путем он освободил всех. Заключенные без труда перебили малочисленную стражу и сразу разбежались. Они тотчас же рассеялись, кто куда мог; однако большинство их было вслед за тем переловлено. Димитрий и Антифил оставались на месте и, кроме того, задержали Сира, когда он бросился бежать.

Когда наступил день и была послана за беглецами погоня, префект Египта, узнав о происшедшем, отправил за Димитрием своих приближенных. Он приказал освободить их от оков и похвалил за то, что они одни не убежали. Однако наши друзья не захотели получить свободу таким путем. Димитрий стал громко возмущаться, говоря, что с ними поступают очень несправедливо, так как будет казаться, что их, как разбойников, освобождают из милости или в награду за то, что они не убежали. Наконец они принудили судью подробно рассмотреть их дело. Когда тот увидел, что они не совершили никакого преступления, он стал их хвалить и выражать свое удивление, в особенности Димитрию. Он отпустил их, извиняясь за то, что они без вины понесли наказание и были заключены в оковы, и, кроме того, подарил от себя Антифилу десять тысяч драхм, Димитрию же — вдвое.

34. Антифил и сейчас еще живет в Египте; Димитрий же, отдав ему свои двадцать тысяч, отправился в Индийскую землю, к браминам. Антифилу он сказал, что, покидая товарища, заслуживает извинения: сам он не нуждается в деньгах, пока он таков, каков есть, то есть умеет довольствоваться немногим, да и Антифил не нуждался в друге, ибо дела его устроились.

Вот каковы эллинские друзья, Токсарид. Если бы ты не обвинил нас сначала, что мы любим высокое только на словах, я подробно привел бы тебе все речи, пространные и прекрасные, которые Димитрий произносил в судилище. Защищал он исключительно Антифила, со слезами, мольбами, принимая всю вину на себя до тех пор, пока Сир, подвергнутый бичеванию, не освободил их обоих от обвинения.

35. Из многих примеров доброй и надежной дружбы я привел тебе лишь несколько, которые мне первые пришли на память.

Мне остается теперь только, сойдя с кафедры, передать тебе слово. Тебе придется позаботиться, чтобы скифы, о которых ты расскажешь, оказались бы не худшими, а гораздо лучшими, чем эллинские друзья. Если тебя заботит твоя правая рука, — смотри, как бы тебе не потерять ее. Тебе придется постоять за себя: было бы смешно, если бы ты, защищая Скифию, оказался плохим оратором, тогда как Ореста и Пилада ты восхвалял очень искусно.

Т о к с а р и д. Хорошо, Мнесипп, что ты меня побуждаешь взять слово, как будто тебя не беспокоит возможность лишиться языка, если ты будешь побежден в споре.

Впрочем, я сейчас начинаю, но не буду витийствовать, как ты, — это не в обычае у скифов, особенно, когда дела кричат громче всяких слов. Не ожидай услышать от меня что-нибудь вроде того, о чем ты рассказывал с такой похвалой: что один женится на некрасивой женщине без приданого; другой подарил денег два таланта дочери своего друга, собравшейся выйти замуж; третий предал себя в оковы, зная наверное, клянусь Зевсом, что вскоре он будет освобожден. Всему этому грош цена и в этом нет ничего величественного или мужественного.

36. Я же тебе расскажу о многочисленных убийствах, войнах и смерти за друзей. Ты убедишься, что дела эллинской дружбы по сравнению со скифскими — детская забава. Впрочем, ваши чувства имеют разумное основание, и вполне естественно, что вы восхваляете незначительные деяния: ведь у вас, живущих в глубоком мире, не может быть выдающихся своей необычностью случаев выказать дружбу. Так и во время затишья не узнаешь, хорош ли кормчий: для этого нужна буря. У нас же непрерывные войны: мы или сами нападаем на других, или обороняемся от набега, участвуем в схватках из-за пастбищ и сражаемся из-за добычи: тут-то по преимуществу и нужны добрые друзья. Вот при каких условиях мы заключаем самую надежную дружбу, считая только ее одну оружием непобедимым и непреодолимым.

37. Прежде всего, я хочу тебе рассказать, каким образом мы находим себе друзей. Не на попойках, как вы, или из тех, что росли вместе или были соседями. Нет, когда мы видим какого-нибудь человека, доблестного и способного совершать великие подвиги, мы все спешим к нему, и то, что вы считаете необходимым делать при сватовстве, то мы делаем, ища друзей. Мы усердно сватаемся, делаем все, чтобы добиться дружбы и не показаться недостойными ее.

И вот когда кто-нибудь избран в друзья, происходит заключение союза и величайшая клятва: жить друг с другом и умереть, если понадобится, друг за друга.

При этом мы поступаем так: надрезав себе пальцы, собираем кровь в чашу и, обнажив острия мечей, оба, держась друг за друга, пьем из нее; после этого нет ничего, что могло бы нас разъединить. Дозволяется же заключать дружбу, самое большее, с тремя; если же у кого-нибудь окажется много друзей, то он для нас — все равно что доступная для всех развратная женщина: мы думаем, что дружба не может быть одинаково сильной, раз мы делим свое расположение между многими.

38. Начну я с того, что недавно случилось с Дандамидом. Дандамид в схватке с савроматами, когда друг его Амизок был уведен в плен... Однако я раньше поклянусь: по нашему обычаю, как мы вначале условились. Клянусь Ветром и Акинаком, скифским Мечом, я ничего тебе не поведаю, Мнесипп, ложного о скифских друзьях.

М н е с и п п. Я не очень нуждался в твоей клятве, но все же ты хорошо сделал, что не поклялся никем из богов.

Т о к с а р и д. Что ты говоришь? Или ты думаешь, что Ветер и Акинак — не боги? Неужели ты не знаешь, что для человека нет ничего важнее жизни и смерти? Мы же, всякий раз как клянемся Ветром и Мечом, клянемся Ветром, как виновником жизни, Мечом же — так как он приносит смерть.

М н е с и п п. Если так, то вы могли бы иметь много и других богов, подобных Мечу: стрелу, копье, цикуту, петлю и тому подобное; смерть — многообразное ведь божество и предлагает оно нам бесчисленное множество к нему ведущих путей.

Т о к с а р и д. Разве ты не видишь, как ты со своим искусством спорить и придираться к мелочам прерываешь мой рассказ? Я ведь хранил полное молчание, пока ты говорил.

М н е с и п п. Ну, больше я не буду этого делать, ты пожурил меня справедливо. Итак, говори смело, как будто меня нет, пока ты держишь речь. Я буду молчать.

39. Т о к с а р и д. Был четвертый день дружбы Дандамида и Амизока — с того времени, как они выпили крови друг друга. Пришли на нашу землю савроматы в числе десяти тысяч всадников, пеших же, говорили, пришло в три раза больше. Так как они напали на людей, не ожидавших их прихода, то и обратили всех в бегство, что обыкновенно бывает в таких случаях; многих из способных носить оружие они убили, других увели живьем, кроме тех, которые успели переплыть на другой берег реки, где у нас находилась половина кочевья и часть повозок. В тот раз наши начальники решили, не зная по какой причине, расположиться на обоих берегах Танаиса. Тотчас же савроматы начали сгонять добычу, собирать толпой пленных, грабить шатры, овладели большим числом повозок со всеми, кто в них находился, и на наших глазах насиловали наших наложниц и жен. Мы были удручены этим событием.

40. Амизок, когда его тащили (он тоже был взят в плен), начал громко звать своего друга по имени и напоминать о крови и чаше. Услышав свое

имя, Дандамид, не задумываясь, на глазах у всех плывет к врагам. Савроматы, подняв копья, бросились к нему, чтобы убить; он же закричал: «Зирин!» Того, кто произнесет это слово, савроматы не убивают, но задерживают, считая, что он пришел для выкупа. Приведенный к их начальнику, Дандамид просит освободить друга, а савромат требует выкупа: этому-де не бывать, если он не получит за Амизока большого выкупа. Дандамид на это говорит: «Все, что я имел, вами разграблено. Если же, лишенный всего, я могу вам заплатить чем-нибудь, то готов предоставить залог, — прикажывай, что ты хочешь получить. Если желаешь, возьми меня вместо него и делай со мной, что тебе угодно». На это савромат сказал: «Невозможно задержать тебя всего, раз ты пришел, говоря: “Зирин”; оставь нам часть того, чем обладаешь, и уведи своего друга». Дандамид спросил, что же он желает получить. Тот потребовал глаза. Дандамид тотчас же предоставил их вырезать. Когда глаза были вырезаны и савроматы получили, таким образом, выкуп, Дандамид, получив Амизока, пошел обратно, опираясь на него, и, вместе переплыв реку, спасся у нас

41. Случившееся воодушевило всех скифов, и они более не признавали себя побежденными. Мы видели, что враги не захватили величайшего нашего добра и у нас есть еще добрый разум и верность к друзьям. То же самое событие, то есть превосходство, выказанное нами даже при неожиданном нападении, сильно напугало савроматов, понявших, с какими людьми предстоит сражаться, если враги, даже застигнутые врасплох, превосходили их. Действительно, когда наступила ночь, они бежали, бросив большую часть скарба и поджегши повозки. Но, конечно, Амизок не мог допустить, чтобы он оставался зрячим, раз Дандамид ослеп, и поэтому также лишил себя зрения, и они стали кормиться на общественный счет скифского племени, пользуясь чрезвычайным почетом.

42. Что похожего могли бы вы, эллины, рассказать, Мнесипп, если бы даже кто-нибудь предоставил тебе присоединить к пяти рассказам еще десять, притом без клятвы, так, чтобы ты мог прибавить от себя, что хочешь? При этом я рассказал тебе голое событие. Я знаю хорошо, сколько бы ты, рассказывая о чем-нибудь подобном, прибавил к рассказу украшений: какими словами умолял Дандамид, как его ослепляли, что он говорил, как он возвратился, с какими криками удивления приняли его скифы — и все прочее, что вы привыкли придумывать для большего оживления.

43. Выслушай же теперь и другого рассказ, столь же достойный удивления, — про Белитта, двоюродного брата этого самого Амизока.

Однажды, когда он охотился со своим другом Бастом, он увидел, что лев стащил с коня его друга и, схватив лапами, вцепился в горло и начал разрывать когтями. Белитт соскочил с коня, бросился на зверя сзади, схватил руками, желая привлечь его внимание на себя, и всунув леву между зубов свои пальцы, стараясь, насколько мог, избавить Баста от укусов. Наконец лев, бросив того уже полумертвым, обратился на Белитта и, схватив когтями, убил его. Белитт, умирая, успевает, однако, ударить льва мечом в грудь, так что все трое умирают одновременно. Мы их похо-

ронили в двух курганах, насыпанных рядом: в одном — друзей, в другом, напротив, — льва.

44. Расскажу я тебе, Мнесипп, третий рассказ про дружбу Макента, Лонхата и Арсакома. Арсаком влюбился в Мазаю, дочь Левканора, царствовавшего на Боспоре. Он был отправлен туда с поручением относительно дани, которую боспорцы всегда нам исправно платили, но тогда уже третий месяц как просрочили. Увидев на пиру Мазаю, высокую и красивую девушку, он страстно в нее влюбился. Вопрос о дани был уже разрешен, царь дал ему ответ и, отправляя его обратно, устроил пир.

На Боспоре в обычае, чтобы женихи просили руки девиц во время пира и рассказывали, кто они такие и почему считают себя достойными свататься. На пиру присутствовало тогда много женихов — царей и царских сыновей: был Тиграпат, владыка лазов, Адирмах, правитель Махлиены, и многие другие. Полагается, чтобы сначала каждый из женихов объявлял, что он приходит свататься, а затем пировал бы, возлежа вместе с другими в молчании. Когда пир окончится, следовало попросить чашу и, совершив возлияние на стол, сватать девицу, усердно выхваляя себя самого, свое происхождение, богатство и имущество.

45. Многие, согласно обычаю, совершали возлияние и просили руки царской дочери, перечисляя свои царства и сокровища. Последним попросил чашу Арсаком, но возлияния делать не стал (у нас не в обычае проливать вино: это считается нечестием по отношению к богу). Выпив залпом, он сказал: «Выдай за меня, царь, твою дочь Мазаю, так как я гораздо более подходящий жених, чем они, по своему богатству и имуществу». Левканор изумился, — он знал, что Арсаком беден и происходит из незнатных скифов, — и спросил: «Сколько же у тебя имеется скота и повозок, Арсаком? Ведь ваше богатство состоит в этом». — «Нет у меня ни повозок, — возразил Арсаком, — ни стад, но есть у меня двое доблестных друзей, каких нет ни у кого из скифов».

При этих словах над ним стали смеяться и косо на него смотреть и решили, что он пьян. Адирмах, предпочтенный всем прочим, собрался наутро увезти невесту в Меотиду к махлийцам.

46. Арсаком же, возвратившись домой, рассказал друзьям, как он был оскорблен царем и высмеян на пиру за свою будто бы бедность.

— Однако, — добавил он, — я рассказал Левканору, какое имею богатство — именно вас, Лонхат и Макент; сказал и то, что ваша дружба гораздо лучше и сильнее всего могущества боспорцев. Но когда я это произнес, он начал надо мною смеяться и выражать свое презрение: царь отдал дочь свою Адирмаху, махлийцу, чтобы он увел ее как невесту, так как тот сказал, что имеет десять золотых чаш, восемьдесят четырехместных повозок, много мелкого и крупного скота. Таким образом Левканор предпочел доблестным людям изобилие скота, ненужно-дорогие кубки и тяжелые повозки. Меня, друзья, угнетают две вещи: во-первых, я люблю Мазаю; во-вторых, меня сильно задело высокомерное обращение в присутствии многочисленных гостей. Я думаю, что и вы в равной мере оскорблены.

На долю каждого из вас пришлось по третьей части бесчестия. Ведь с того времени как мы сошлись вместе, мы живем как один человек, огорчаясь одним и тем же и радуясь одному и тому же.

— Этого мало, — добавил Лонхат, — каждому из нас обида нанесена полностью тем, что ты перенес.

47. — Как нам поступить при таких обстоятельствах? — спросил Макент.

— Разделим труд, — ответил Лонхат, — я обещаю доставить Арсакому голову Левканора, тебе же предстоит привести ему невесту.

— Пусть будет так, — согласился Макент.

— Ты же, Арсаком, оставаясь здесь, собирай и готовь оружие, коней и все необходимое для войны в возможно большем количестве, так как, наверное, после этого начнется война, и нам понадобится войско. Ты легко наберешь воинов; ведь и сам ты человек доблестный, и родственников у нас немало, в особенности если сядешь на шкуру быка.

Так и решили. Лонхат тотчас, как был, отправился на Боспор, а Макент — к махлийцам, оба верхом. Арсаком же, оставаясь дома, уговаривался со сверстниками, собирав среди родственников вооруженную силу и, наконец, уселся на шкуру.

48. Обычай же, касающийся бычачьей шкуры, состоит у нас в следующем. Если кто-нибудь, желая себя защитить от обиды, увидит, что у него не хватает достаточно сил, то приносит в жертву быка и, нарезав мясо, варит его; затем, расстелив шкуру на земле, садится на нее, заложив обе руки за спину, как если бы они были связаны в локтях. Этим выражается у нас самая сильная мольба. Когда мясо быка разложено, родственники и просто желающие подходят и берут каждый по куску. При этом они ставят правую ногу на шкуру и обещают доставить, кто сколько в силах: кто пять всадников на своем хлебе и жаловании, кто — десять, другой же и большее число, иной — тяжеловооруженных или пехотинцев, сколько может, а самый бедный только самого себя. Собирается таким путем на шкуре иногда большое число воинов. Такое войско самым стойким образом остается в строю и непобедимо для врагов, будучи связано клятвой: поставить ногу на шкуру является у нас клятвой.

Итак, Арсаком был занят этим делом; и собралось к нему около пяти тысяч всадников, тяжеловооруженных же и пехотинцев вместе двадцать тысяч.

49. Лонхат, прибыв неузнанным на Боспор, является к царю, занимавшемуся делами управления, и говорит, что прибыл с поручением от общины скифов, а также имеет сообщить важные новости частным образом.

Когда царь приказал ему говорить, он сказал: «Скифы считают, что ни в данное время, ни впредь ваши пастухи не должны переходить на равнину, но пусть пасут стада до границы каменистой почвы. Грабители же, на которых вы жалуетесь, что они делают набеги на вашу землю, посылаются не по общему решению, но каждый грабит за свой страх. Если кто-ни-

будь из них будет захвачен, то ты вправе его наказать. Вот что скифы поручили мне передать.

50. Я же могу тебе сообщить что на вас готовится большой набег Арсакомом, сыном Марианта, который недавно приходил к тебе послом. Сердит он на тебя, по-моему, за отказ, который получил, когда сватался к твоей дочери. Уже седьмой день сидит он на шкуре и собирается к нему немалое войско».

— Я и сам слышал, — ответил Левканор, — что собирается вооруженная сила с помощью шкуры, но не знал, что она готовится против нас и что Арсаком — ее вождь.

— Да, — сказал Лонхат, — приготовления эти — против тебя. Арсаком — мой враг, и ненавидит меня за то, что старики меня более уважают, и за то, что я считаюсь во всем лучше его. Если же ты обещаешь мне свою вторую дочь, Баркетиду, — так как я и во всем прочем вполне достоин вас, — то я в скором времени принесу тебе его голову.

— Обещаю, — ответил царь, очень испугавшись. Он ведь знал причину гнева Арсакома, касавшуюся брака, и вообще всегда дрожал перед скифами.

Тогда Лонхат добавил:

— Поклянись, что будешь соблюдать договор и не отречешься от него.

Тут царь, подняв к нему руки, собирался уже поклясться, когда Лонхат сказал: «Как бы кто-нибудь из присутствующих и видящих нас не догадался, о чем мы клятву произносим; войдем сюда, в святилище Ареса, и запрем двери; пусть никто нас не слышит. Если об этом узнает Арсаком, как бы он, имея уже немало войска, не принес меня в жертву перед войной». — «Войдем, — сказал царь. — Вы же отойдите подальше. И пусть никто не входит в храм, пока не позову».

Когда они вошли, а копьеносцы стали в отдалении, Лонхат, выхватив меч, одной рукой зажимает Левканору рот, чтобы он не кричал, и поражает его в грудь, затем, отрезав голову и держа ее под плащом, выходит, как бы разговаривая с царем и обещая скоро вернуться, как будто он был им послан за чем-то. Таким образом, дойдя до того места, где он оставил привязанным своего коня, он вскочил на него и ускакал в Скифию. За ним не было погони, так как боспорцы долгое время не знали о случившемся, а когда узнали, стали спорить о выборе царя.

51. Вот что сделал Лонхат. Он выполнил свое обещание, передав Арсакому голову Левканора.

Мамент в пути услышал о том, что произошло на Боспоре; придя к махлийцам, он первый принес им весть об убийстве царя. «Город, — сказал он, — призывает тебя, Адирмах, на царство, так как ты зять покойного. Поезжай вперед и прими власть, явившись, пока еще город в смятении; твоя молодая жена пусть следует позади в повозке: ты легко привлечешь на свою сторону большинство боспорцев, когда они увидят дочь Левканора. Сам я родом алан и родственник этой молодой женщины со стороны матери: ведь Левканор взял себе жену Мاستиру у нас, и теперь я прихожу

к тебе от братьев Мاستиры, которые живут в Алании. Они советуют тебе как можно скорее отправиться на Боспор и не оставаться равнодушным к тому, что власть перейдет к Евбиоту, незаконнорожденному брату Левканора. Он ведь всегда дружит со скифами и ненавистен аланам».

Так говорил Макент, одетый в наряд аланов и говоря на их языке. Ибо и то, и другое одинаково у алан и у скифов; аланы не носят только таких длинных волос, как скифы. Макент, чтобы походить на них, подстриг свои волосы, сколько нужно было, чтобы уничтожить разницу между аланом и скифом. Поэтому и поверили, что он родственник Мастиры и Мазаи.

52. — Я, — сказал Макент, — готов отправиться сейчас вместе с тобой, Адирмах, на Боспор, как ты этого желаешь, или, если нужно, могу остаться и сопровождать твою жену.

— Я предпочитаю, чтобы ты сопровождал Мазаю, так как ты ее родственник. Если ты вместе с нами поедешь на Боспор, у нас будет только одним всадником больше, если же ты повезешь мою жену, то ты будешь заменять многих.

Так и произошло. Адирмах ускакал, поручив Макенту везти Мазаю, которая была еще девицей.

В течение дня он ее вез в повозке, когда же настала ночь, Макент посадил Мазаю на коня (он позаботился, чтобы за ним следовал еще один всадник), вскочил сам и поехал далее не к Меотиде, а свернул в глубь страны, оставив с правой руки Митрейские горы, по временам останавливаясь в дороге, чтобы дать отдых молодой женщине; в три дня совершил он весь путь от махлийцев к скифам. Конь Макента, когда окончил пробег, немного постояв, пал.

53. Макент, вручив Арсакому Мазаю, сказал: «Прими от меня невесту во исполнение обещания». Когда тот, пораженный неожиданным зрелищем, стал выражать свою признательность, Макент возразил: «Перестань считать меня кем-то другим, чем ты сам: благодарить меня за мой поступок — то же самое, как если бы левая рука стала выражать свою признательность правой за то, что та ухаживала за ней, когда она была ранена, и дружески заботилась во время ее болезни. Ведь мы поступили бы смехотворно, если бы стали считать чем-то великим, что одна часть нашего тела сделала нечто полезное всему телу; мы ведь уже давно смешили свою кровь и стали как бы одним целым. Часть поступила так, чтобы целому было хорошо». Так Макент ответил Арсакому, благодарившему его.

54. Адирмах, когда услышал о злодеянии, оставил путь на Боспор, где уже правил Евбиот, призванный от савроматов, у которых он жил. Возвратившись в свою землю и собрав большое войско, он через горы вступил в Скифию. Евбиот в непродолжительном времени тоже напал на скифов, ведя с собой всенародное ополчение греков и призванных им аланов с савроматами, имея тех и других по двадцать тысяч. Евбиот и Адирмах соединили свои отряды, и у них получилось войско общей численностью в девяносто тысяч человек, из которых третью часть составляли конные

стрелки. Мы же, собранные в числе немного меньше тридцати тысяч, считая и всадников, ожидали нападения. И я тогда принимал участие в этом походе, выставив для них на шкуре за свой счет сто всадников. Начальствовал Арсаком.

Увидя, что неприятель приближается, мы послали вперед для первого нападения конницу. После продолжительного и горячего сражения наша фаланга подалась назад, была разорвана, и все скифское войско в конце концов было разрезано на две части. Половина бежала, впрочем, не совсем разбитая, и бегство казалось отступлением: аланы не осмеливались преследовать нас далеко. Другую же половину, меньшую, аланы и махлийцы, окружив со всех сторон, рубили и поражали множеством стрел и дротиков, так что тем из нас, которые были окружены, приходилось очень тяжело, и большинство уже готово было положить оружие.

55. Среди них оказались Лонхат и Макент. Оба они были ранены, сражаясь в самых опасных местах: Лонхат — копьем в бедро, Макент же — секирой в голову и дротиком в плечо. Арсаком, заметив это (он был среди нас), считая ужасным, если он спасется, покинув друзей, дал шпоры коню, с криком бросился сквозь врагов, подняв меч. Махлийцы не выдержали его мужественного порыва, бросились в сторону и позволили ему проскочить. Он, пробившись к друзьям и собрав всех остальных, кинулся на Адирмаха и, ударив его мечом, разрубил от шеи до пояса. После гибели предводителя все махлийское войско рассеялось, немного спустя и аланское, а затем и эллины.

Таким образом мы в свою очередь победили и могли бы их далеко преследовать, убивая, если бы не помешала ночь. На следующий день пришли от врагов послы, усиленно упрашивая заключить дружбу. Боспорцы обязались выплачивать дань в двойном размере, махлийцы говорили, что дадут заложников, аланы же обещали за этот набег подчинить нам синдов, давно уже отложившихся от нас. На этом мы согласились, предварительно узнав мнение Арсакома и Лонхата. Был заключен мир, отдельные условия которого были выработаны ими же.

Вот какие дела держат совершать скифы ради друзей.

56. М н е с и п п. Очень уж это трагично, Токсарид, и похоже на миф. Пусть будут Меч и Ветер, которыми ты клялся, милостивы. Если кто-нибудь этому и не поверит, он не должен казаться слишком презренным.

Т о к с а р и д. Смотри, почтеннейший, как бы это недоверие не оказалось просто завистью к нам; да, кроме того, хоть ты и не веришь, все же и остальные примеры скифских деяний, о которых я расскажу, будут в том же роде.

М н е с и п п. Только не говори слишком пространно, милейший; пользуйся не столь длинными речами. Вот и теперь ты, носясь туда и сюда, то в Скифию, то в Махлиену, то отправляясь на Боспор, то возвращаясь оттуда, злоупотреблял моим молчанием.

Т о к с а р и д. Мне необходимо повиноваться твоему приказанию и рассказывать кратко, чтобы ты не утомился, странствуя вместе с нами с помощью своих ушей.

57. Лучше послушай, какую услугу оказал мне самому друг по имени Сисинн.

Когда я отправлялся из дома в Афины, желая познакомиться с эллинским образованием, я приплыл в Понтийскую Амастриду. Этот город, расположенный неподалеку от Карамбы, лежит на пути плывущих из Скифии. Со мною был Сисинн, мой товарищ с детства. И вот, найдя у гавани какую-то гостиницу и перенеся туда с корабля свои вещи, мы пошли погулять, не предвидя никакой неприятности. Воспользовавшись этим, какие-то воры, вытащив у двери засов, унесли у нас все, не оставив даже столько, чтобы хватило на один день. Придя домой и увидев, что произошло, мы не нашли возможным жаловаться властям ни на своих соседей, которых к тому же было много, ни на хозяина, из страха показаться большинству обманщиками-вымогателями, рассказывая, что кто-то похитил у нас четыреста дариков, много одежды и ковров и остальное имущество, какое у нас было.

58. Мы стали обдумывать, что нам в таком положении делать: мы ведь остались совершенно без средств на чужбине. Я решил тут же, как был, вонзить в бок свой меч и уйти из жизни, чтобы не быть вынужденным, теснимый голодом и жаждой, приняться за какой-нибудь унижительный труд.

Но Сисинн ободрял меня и уговаривал не делать этого. Он нашел самый подходящий способ найти необходимое пропитание: Сисинн нанялся таскать в гавани лес и возвратился, купив на свой заработок припасов для нас. Следующим утром, проходя по площади, он увидел шествие, состоявшее, по его словам, из видных юношей благородной осанки. На самом деле это были нанятые за плату гладиаторы, которые через два дня выступали во время представления. Разузнав относительно них все, что было надо, Сисинн, придя ко мне, сказал:

— Токсарид, не называй себя больше бедным, ведь через два дня я сделаю тебя богачом.

59. Так он сказал. С трудом просуществовав два дня, — когда наступил назначенный день, мы отправились посмотреть обещанное зрелище. Сисинн захватил меня с собой в театр, как будто с целью показать приятное и своеобразное эллинское представление.

Усевшись, мы видели, как охотились с дротиками на диких зверей, как их травили собаками; как выпускали зверей на каких-то связанных людей, по-видимому, злодеев. Наконец выступили гладиаторы. Глашатай, выведя весьма рослого юношу, объявил, чтобы всякий желающий сразиться с ним один на один выходил на середину, — за это он получит десять тысяч драхм — плату за бой.

При этих словах Сисинн вскочил и, сбегав на арену, изъявил желание сражаться и потребовал оружия. Получив десять тысяч драхм, он принес их и отдал мне. «Если я окажусь победителем, — сказал он, — мы уйдем вместе, будучи обеспечены средствами; если же я паду — похорони меня и возвращайся обратно в Скифию». Тут я громко зарыдал.

60. Сисинн, получив оружие, надел его, только не взял шлема, а сражался с непокрытой головой. Он получил рану, задетый кривым мечом под коленом, так что кровь обильно заструилась; я же со страху чуть не умер раньше него. Но Сисинн подстерег своего противника, кинувшегося слишком смело, и пронзил его насквозь, поразив в грудь. Гладиатор тут же пал к его ногам. Сисинн, страдая и сам от раны, сел на убитого и едва не лишился жизни; я подбежал, поднял его и стал ободрять. Когда же Сисинн был провозглашен победителем, я поднял его и доставил в наше жилище. После долгого лечения он оправился и сейчас еще живет в Скифии, женившись на моей сестре, — хотя все-таки хромает от раны.

Это, Мнесипп, случилось не среди махлийцев и не в Алании, где не было бы свидетелей и можно было бы не доверять мне; многие из амастрийцев и сейчас еще помнят о бое Сисинна.

61. Напоследок я расскажу пятый рассказ, о поступке Абавха. Пришел как-то этот Абавх в город борисфенитов, приведя с собой жену, которую он любил, и двух детей: грудного еще мальчика и семилетнюю девочку. Вместе с ним странствовал и товарищ его Гиндап, страдавший от раны, которую он получил в пути во время нападения разбойников. Сражаясь с ними, он был ранен в бедро, так что не мог стоять от боли. Ночью, когда они спали (им пришлось поместиться в верхней части дома), начался страшный пожар; пламя, окружая дом со всех сторон, преградило все выходы. Проснувшись, Абавх бросает плачущих детей, отталкивает ухватившуюся за него жену, приказав ей спастись самой, и, схватив на руки друга, выбегает с ним. Он с трудом успевает спастись в ту сторону, где еще не все было объято пламенем. Жена его, неся младенца, бежала за ним, приказав девочке следовать за ней. Полуобгорелая, она выпустила из рук младенца и с трудом спаслась от огня, а за нею и дочка, тоже едва не погибшая.

Когда потом кто-то стал упрекать Абавха за то, что он, оставив жену и детей, старался о спасении Гиндапа, он возразил: «Детей мне легко вновь прижить, еще неизвестно, будут ли они хорошими, а такого друга, как Гиндап, мне не найти и после долгих поисков; он дал мне много свидетельств своего расположения».

62. Я сказал, Мнесипп. Из многих примеров я привел тебе эти пять. Теперь, пожалуй, пришло время рассудить, кому из нас следует отрезать язык или правую руку. Кто же наш судья?

Мне с и п п. Его нет. Ведь мы не выбрали никакого судьи в нашем споре. Знаешь, что мы сделаем? Так как мы стреляли не в цель, то, избрав третейского судью, расскажем при нем о других друзьях, и, кто тогда окажется побежденным, пусть тому и отрежут или язык, или правую руку. Но, может быть, это слишком жестоко? Ты так горячо хвалишь дружбу, и я считаю, что у людей нет лучшего и прекраснейшего достоинства, чем она. Не заключить ли нам лучше союз и не быть ли друзьями с этого времени и всегда любить друг друга? Так как мы оба победили, то каждый из нас получил величайшую награду: вместо одного языка и одной правой руки

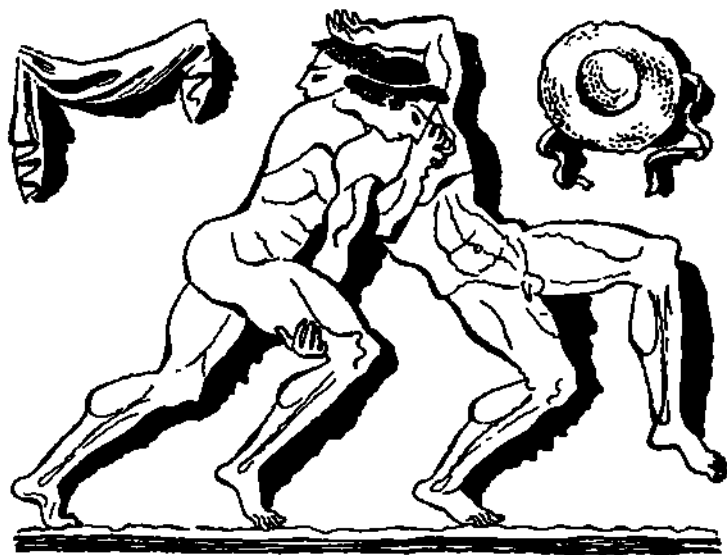
каждый приобрел по две, да сверх того четыре глаза, четыре ноги и вообще всего вдвойне. Двое или трое друзей представляют собой нечто, подобное шестирукому и трехголовому Гериону, как его изображают художники; а мне кажется, что это было изображение трех существ и они совершали все дела вместе, как и следует друзьям.

63. Токсарид. Ты прав; так и поступим.

Мнесипп. Но не нужно нам ни крови, Токсарид, ни меча, чтобы закрепить дружбу. Наш спор и стремление к одному и тому же гораздо надежнее той чаши, которую вы осушаете, потому что дружба, по-моему, нуждается не в принуждении, а в единомыслии.

Токсарид. Я это вполне одобряю. Будем же друзьями и гостеприимцами; ты — для меня здесь в Элладе, я же — для тебя, если ты когда-нибудь приедешь в Скифию.

Мнесипп. Будь уверен, что я не замедлю отправиться даже еще дальше, если мне представится случай встретиться с такими друзьями, каких ты показал мне в твоих рассказах.



АНАХАРСИС, или ОБ УПРАЖНЕНИИ ТЕЛА

1. А н а х а р с и с. Скажи мне, Солон, для чего юноши проделывают у вас все это? Одни из них, перевившись руками, подставляют друг другу ножку, другие давят и вертят своих товарищей, валяются вместе в грязи и барахтаются в ней, как свиньи. А между тем сначала, как только они разделись, ведь я сам это видел, они жирно намазались маслом и совсем мирно по очереди натирали друг друга; потом, неизвестно, что случилось, они стали толкать друг друга и, наклонившись, начали сшибаться головами, как бараны. И вот один из них, схватив другого за ноги, бросает его на землю, затем, насадея на него, не позволяет поднять голову, толкая его обратно в грязь; наконец, обвив ногами живот и подложив локоть под горло, душит несчастного, а тот толкает его в плечо, как мне кажется, умоляя, чтобы первый не задушил его насмерть. Хотя бы ради масла избегали они пачкаться, — нет, они вымазались так, что масла от грязи совсем не стало видно, все оказались в поту и представляют очень смехотворное зрелище, выскальзывая из рук подобно угрям.

2. Другие же делают то же самое во дворе на чистом воздухе, только уже не в грязи, но, набросав в яму много песка, они сами охотно посыпают себя им, как петухи, для того чтобы труднее было вырываться из рук, так как песок, по-видимому, делает тело менее скользким и дает возможность прочнее ухватиться за сухое тело.

3. Третьи, тоже обсыпанные песком, стоя на ногах, бьют друг друга и, падая, лягают ногами. Вот этот несчастный, кажется, сейчас выплюнет свои зубы — так его рот полон кровью и песком: его, как видишь, ударили кулаком в подбородок. Надзиратель и не думает различать юношей и прекратить борьбу, — судя по пурпуровой мантии, я предполагаю, что это был один из надзирателей.

4. Наоборот, он подзадоривает дерущихся и хвалит ударившего. Другие же стараются вон там и прыгают, точно в беге, оставаясь при этом на том же месте, и, подскакивая вверх, ударяют ногами в воздухе.

5. И вот, мне хотелось бы знать, чего ради они так поступают: по-моему, все это похоже на безумие, и нелегко будет разубедить меня, что люди, поступающие так, не сумасшедшие.

6. С о л о н. И понятно, Анахарсис, что это тебе кажется так: ведь это чуждо тебе и очень не похоже на скифские обычаи; точно так же, надо полагать, и многое из того, чему вы учитесь и что вы делаете, нам, эллинам, показалось бы странным, если бы кто-нибудь из нас, подобно тебе, отправился наблюдать ваши обычаи. Однако не унывай, мой хороший: это не безумие, и не со зла эти молодые люди бьют друг друга, кувыркаются в грязи и посыпают себя песком — это занятие полезно и приятно, и благодаря ему тело достигает немалого развития. И если ты останешься в Греции подольше, — я думаю, что ты это сделаешь, — скоро и сам будешь одним из загрязненных глиною или песком: настолько приятным и полезным тебе покажется это занятие.

А н а х а р с и с. Полно, Солон, пусть это будет полезно и приятно для вас. Если же кто-нибудь поступит так со мной, он узнает, что я не напрасно опоясан скифским мечом.

7. Все же скажи мне, как вы называете происходящее здесь или как мы назовем то, что они делают...

С о л о н. Это место, Анахарсис, мы называем гимназией, и оно посвящено Аполлону Ликийскому. Ты видишь здесь также изображение бога, прислонившегося к колонне, — в левой руке у него лук, правая же покоится на голове, как бы указывая на то, что он отдыхает от большой усталости.

8. Что же касается гимнастических упражнений, то эта возня в грязи называется «борьбой»; борются также и в песке. Когда же юноши бьют друг друга, стоя на ногах, мы называем это панкратием. Есть у нас и другие гимназии — для кулачного боя и метания диска и для прыганья, и в них во всех мы устраиваем состязания, а победивший признается нами лучшим из сверстников и получает награду.

9. А н а х а р с и с. Каковы же у вас награды?

С о л о н. На олимпийских играх венок из дикой маслины, на истмийских — из сосновых ветвей, в Немее — венок из сельдерея, в Дельфах — яблоки с деревьев, которые посвящены богу. У нас же на панафинейских играх мы даем масло от священного оливкового дерева. Почему ты засмеялся, Анахарсис? Или тебе это кажется незначительным?

Анахарсис. Нет, Солон, ты перечислил почтенные награды и достойные того, чтобы раздавшие их гордились своей щедростью и чтобы состязающиеся прилагали много усердия для получения их, положив столько труда ради яблок или сельдерея и подвергаясь опасности быть задушенными или искалеченными своим противником. Как будто Сы желающие не могли бы и так добыть себе яблок или увенчать себя сельдереем или сосновыми ветвями, не пачкая себе лица глиной и не получая от соперника ударов в живот!

Иолон. Но, лучший из людей, мы смотрим не только на то, что делается. Ибо это лишь отличительные признаки победы, дороже же все-го для победителей *слава*, сопровождающая эти признаки побед, и ради нее деятельному и честолюбивому человеку кажется прекрасным подвергаться даже ударам: ведь эта слава достается не без труда, и каждый, кто ее добывается, сначала должен перенести много неприятного и лишь тогда может ожидать полезного и приятного завершения своих трудов.

Анахарсис. Итак, Солон, ты называешь приятным и полезным завершением трудов то, что все увидят их увенчанными и будут хвалить их за победу, между тем как раньше они очень жалели их за полученные удары, а сами победители будут счастливы, получая за труды и опасности сельдерей и яблоки?

Солон. Я повторяю, что ты еще не понимаешь наших обычаев. Скоро ты будешь думать совсем иначе, когда увидишь, какое множество народу собирается на игры, для того чтобы посмотреть на состязания, и театры, наполненные тысячами людей, и услышишь, как все хвалят состязающихся, а победителя считают равным богу.

И. **Анахарсис.** Вот это-то, Солон, и кажется мне самым жалким, что юноши подвергаются таким мучениям не при небольшом количестве людей, но тогда, когда они окружены таким множеством зрителей и свидетелей их оскорблений. Очевидно, присутствующие считают их счастливыми, видя, как юноши истекают кровью или как их душат противники: а ведь это и есть самое большое счастье, которое присоединяется к их победе. У нас же, скифов, Солон, если кто-нибудь из граждан побьет другого или повалит на землю, или порвет его одежды, старцы назначают ему строгое наказание, даже если это случится при немногих свидетелях, а не при таком множестве зрителей, какое, по твоему описанию, бывает в Коринфе или в Олимпии. По-моему, все-таки следует жалеть агонистов за то, что они переносят; на лучших же из граждан, которые, по твоим словам, со всех сторон собираются на состязания, я удивляюсь, и даже очень, — удивляюсь, что, оставив свои неотложные дела, они остаются долгое время, глядя на подобное зрелище. Я никак не могу понять, чтобы им доставляло удовольствие смотреть, как люди бьют и ударяют о землю и мучат друг друга.

И. **Солон.** Если бы, Анахарсис, теперь было время олимпийским, истмийским или панафинейским состязаниям, то происходящее там показало бы тебе, что не напрасно мы так заботимся о состязаниях; ибо ника-

кие слова не могли бы так убедить тебя в том, какое наслаждение доставляет все происходящее на играх, но если бы ты сам, поместившись среди зрителей, посмотрел на доблесть мужей, на красоту тел, на удивительную их стройность, на изумительную ловкость и непреодолимую силу, на смелость, соревнование, непобедимую настойчивость и на непрерывное стремление к победе, — я хорошо знаю, что ты не переставал бы хвалить, кричать и рукоплескать.

13. А н а х а р с и с. Без сомнения, Солон, но при этом я продолжал бы насмехаться и издеваться: ибо все, что ты перечислил, — доблесть и крепость, смелость и красоту — я вижу, что вы расходуете их и тратите не ради чего-нибудь великого: ни родина ваша не находится в опасности, ни страна не разоряется, ни друзья и родственники не уведены в плен. И тем более смешным кажется мне, что эти лучшие, как ты их называешь, переносят так много страданий и несчастий и позорят свою красоту и свой рост синяками и песком, стремясь, в случае победы, получить в награду яблоки или венок из дикой маслины. Право, мне всегда будет весело вспоминать об этих наградах. Скажи мне — все состязающиеся получают их?

С о л о н. Ни в коем случае, из всех лишь один, превзошедший остальных.

А н а х а р с и с. Итак, Солон, значит, ради неверной и сомнительной победы трудится столько народу, зная, что победит один, а остальные состязающиеся, несчастные, понапрасну будут получать удары, а иные из них даже раны?

14. С о л о н. По-видимому, Анахарсис, ты еще ничего не понимаешь в жизни благоустроенного государства, иначе ты не порицал бы прекраснейших из его обычаев. Если же ты когда-нибудь захочешь узнать, каким образом лучше всего управляется государство и совершенствуются граждане, ты похвалишь и эти упражнения и проявляемое нами в отношении их честолюбие и поймешь пользу соединения с трудностями, если даже тебе теперь и кажется, что мы стараемся понапрасну.

А н а х а р с и с. Но ведь я, Солон, прибыл к вам из Скифии, пройдя через такие огромные земли и переплыв через великое и суровое Эвксинское море, не для чего другого, как для того, чтобы узнать законы эллинов, понять их обычаи и изучить основательно наилучшее устройство государства. И я выбрал другом и товарищем из всех афинян именно тебя, потому что я слышал, будто ты сочинил законы, изобрел лучшие обычаи и ввел полезные занятия и вообще устроил все государство. Поэтому научи меня поскорее и сделай своим учеником. С радостью, без питья и пищи, я стану сидеть возле тебя, пока ты будешь в состоянии говорить, и с открытым ртом слушать твои рассуждения о государстве и законах.

15. С о л о н. Рассказать все в немногих словах нелегко, мой друг, но мало-помалу ты узнаешь, что мы думаем о богах, о родителях, о браке и прочем. Что же касается нашего отношения к юношам и нашего обращения с ними с того возраста, как они начинают понимать выгоду закалять тело и подвергаться трудам, — об этом я расскажу тебе теперь же, чтобы

ты знал, для чего мы заставляем их выступать на состязаниях и переносить страдания. Мы делаем это не только ради самих состязаний, чтобы юноши могли получать награды, — ибо на состязания идут лишь немногие, — но ради той большой пользы, которая проистекает из этого для всего государства и для них самих. Ибо их упражнения являются также и общим состязанием всех хороших граждан, и венец этого состязания сплетен не из сосновых или масличных ветвей или из сельдерея, — нет, кто получит венок, получит в нем все доступное человеку счастье: я говорю о свободе каждого человека в частной жизни и в жизни его родины, говорю о богатстве и славе, о наслаждении отеческими праздниками, о спасении своих домашних и вообще о самом прекрасном, чего каждый мог бы себе вымолить у богов; все это вплетено в тот венок, о котором я говорю, и является наградой того состязания, ради которого происходят все эти упражнения и эти труды.

16. Анахарсис. Что же, удивительный ты человек, имея в запасе столь ценные и значительные награды, рассказывал мне о яблоках, сельдее, о ветке дикой маслины или сосны?

Солон. И это, Анахарсис, не покажется тебе малым, когда ты поймешь хорошо, что я тебе говорю: ибо и это рождается из той же самой мысли, и все это малая часть большого состязания и венца счастья, о котором я говорил. Однако я не знаю, каким образом наш разговор, уклонившись от дела, коснулся прежде того, что происходит в Коринфе, в Олимпии и в Немее. Но так как мы оба теперь свободны и ты, по-видимому, не прочь послушать, — мы легко можем вернуться к главному вопросу — к речи об общем состязании, ради которого, как я говорю, установлено вышесказанное.

Анахарсис. Тем лучше, Солон. Если мы будем разбирать вопрос последовательно, — пожалуй, тебе удастся этим меня настолько убедить, что я не буду смеяться, увидев какого-нибудь атлета, гордо увенчанного ветвями маслины или сельдеем. Если ты ничего не имеешь против, пойдем в тень и присядем на скамью, чтобы нам не мешал крик тех, что высказывают свое одобрение борцам. К тому же, по правде сказать, мне нелегко сносить палящее солнце, падающее на мою обнаженную голову: я еще дома решил отказаться от своей шапки, чтобы не отличаться от вас своим чужеземным видом. А время теперь как раз самое знойное: созвездие, которое вы называете Псом, все сжигает, делает воздух сухим и раскаленным, а полуденное солнце, подымаясь над головой, невыносимо печет тело. Я очень удивляюсь, каким образом ты, уже старик, не обливаешься потом, как я, не испытываешь, по-видимому, никаких неудобств и не ищешь тени, где бы можно было присесть, и совсем легко переносишь солнце.

17. Солон. Эти самые бесполезные упражнения, Анахарсис, беспорывные кувыркания в грязи, эти занятия на песке под открытым небом дарят нам защитительное средство от палящих лучей солнца, и мы не нуждаемся в шапке, которая мешала бы солнцу коснуться нашей головы. Все же пойдем. И, пожалуйста, не считай всего, что я тебе говорю, законами,

которым надо безусловно доверять: если тебе покажется что-нибудь неправильным, возражай и исправляй сказанное, ибо тогда мы добьемся по крайней мере одного из двух: или ты окончательно согласишься со мной, после того как приведешь все возражения, какие только можно привести, или мне придется признать, что я неправильно сужу о деле. И за это все афиняне поспешат оказать тебе благодарность. Ибо, если ты чему-нибудь меня научишь или покажешь мне что-нибудь лучшее, этим ты принесешь большую пользу государству. Я ведь не стану держать это в тайне, но сейчас же сделаю всеобщим достоянием и, став на Пниксе, скажу всем: «Афиняне, я написал для вас законы, которые считал наиболее полезными для государства, этот же чужестранец, — при этом я укажу на тебя, Анахарсис, — хотя он и скиф, однако мудр и перевоспитал меня, снабдил лучшими сведениями и научил лучшим обычаям. Считайте же этого мужа своим благодетелем и поставьте ему медную статую рядом с изображениями эпонимов или в городе около Афины». И знай, что афиняне не постыдятся того, что научились полезному от чужестранца и варвара.

18. А н а х а р с и с. Должно быть, правду я слышал про вас, афинян, будто вы насмешники в своих речах. Как это я, кочевник и скиталец, прошедший свою жизнь в телеге, постоянно переезжавший из одной земли в другую, никогда не живший в городе и увидевший его впервые только здесь, — как я могу рассуждать о государственных делах, учить исконных жителей такого старинного и давно уже благоустроенного государства, особенно же тебя, Солон, который, говорят, с самого начала занимался вопросом, как лучше управлять государством и при каких законах оно станет наиболее счастливым? Конечно, я готов тебе повиноваться как законодателю и буду тебе возражать, если что-нибудь в твоих речах покажется мне неправильным, для того чтобы лучше научиться. Однако мы уже скрылись от солнца и зашли в тень, и вот удобное сиденье на холодном камне. Итак, начни свое поучение с главного, а именно — для чего вы так заботливо учите юношей с детства и каким образом люди становятся лучше, когда побывают в глине и проделают все эти упражнения, и что прибавляет к их добродетелям песок и кувырканье в нем. Именно это хотелось мне услышать с самого начала; все же другое расскажи мне потом, при удобном случае. И помни во время своей речи, что ты говоришь с варваром, Солон; я говорю об этом для того, чтобы твои слова были проще и не слишком растянуты. Ибо я боюсь, как бы мне не позабыть сказанного в начале, если после того ты скажешь еще многое.

19. С о л о н. Ты сам, Анахарсис, лучше сумеешь позаботиться о том, чтобы моя речь была для тебя ясной и не уклонялась в стороны: ведь ты всегда можешь прервать меня и спросить, что захочешь, и остановить речь, если она тебе покажется длинной. Однако, если в ней не будет ничего не относящегося к делу и она не уклонится от своей задачи, — я думаю, что не будет вреда, даже если я буду говорить много. Ведь и в совете, заседающем на Ареопаге и судящем дела об убийствах, существует такой обычай. Всякий раз, когда разбираются дела об убийствах и умышленных

ранениях или поджогах, дается слово каждому из тяжущихся, и по очереди говорят обвинитель и обвиняемый — или сами, или их заменяют ораторы, которые говорят вместо них. И если они говорят относящееся к делу, совет слушает их, соблюдая тишину. Если же кто-нибудь начинает с длинного вступления, для того чтобы расположить судей в свою пользу, или же подпускает слезу или старается вызвать ужас, — ведь этим часто занимаются наши ораторы, — выступает вперед глашатай и заставляет замолчать, не позволяя говорить пустяки перед советом и обволакивать дело словами; ибо ареопагиты должны смотреть только на голые события. Так же и тебя, Анахарсис, я на этот раз сделаю ареопагитом, и ты, согласно обычаю совета, слушай меня и приказывай замолчать, если заметишь, что я пытаюсь заговорить тебя. Пока же я не уклоняюсь от дела, мне можно быть многословным. Мы ведь будем вести нашу беседу не на солнце, при котором длинная речь действительно могла бы показаться тягостной: здесь густая тень, и у нас много свободного времени.

А н а х а р с и с. Твои слова благожелательны, Солон, и я уже немало благодарен тебе за то, что ты мимоходом рассказал мне об удивительных обычаях Ареопага, помогающих хорошо совещаться о делах и исходить в своих суждениях из одной истины. Говори же, а я буду ареопагитом — по твоему назначению — и буду слушать тебя, согласно обычаю этого совета.

20. С о л о н. Прежде всего тебе нужно вкратце выслушать, что мы думаем о государстве и о гражданах: государством мы считаем не строение — стены, храмы, верфи, хотя и они, как крепкое и неподвижное тело, служат для поддержки и безопасности граждан, но главное внимание мы обращаем на самих граждан: они-то все исполняют и совершают и обо всем заботятся, подобно тому как в каждом из нас это делает душа. Сознавая это, мы, как видишь, заботимся также о теле города, стараясь, чтобы оно было возможно красивее; мы снабжаем его внутри зданиями, а снаружи — возможно более крепкими стенами. Но более всего мы стараемся, чтобы граждане были прекрасны душою и сильны телом: ибо именно такие люди хорошо живут вместе в мирное время и во время войны спасают государство и охраняют его свободу и счастье. Начальное воспитание мы поручаем вести матерям, кормилицам и дядькам так, чтобы с детства с будущими гражданами обращались как со свободными; когда же дети уже начнут понимать прекрасное, в них зародится стыдливость, страх и стремление к добру и тело их окрепнет и покажется нам способным переносить большее напряжение, тогда только мы, взяв их в свои руки, начинаем их учить, заботясь об образовании и развитии души и приучая к труду тело. Нам кажется недостаточным оставить тело и душу детей в таком состоянии, в каком они даны природою, — мы заботимся об их воспитании и обучении, чтобы хорошее стало много лучшим, а плохое изменилось и стало хорошим. Примером же нам служат земледельцы, которые оберегают растения, пока они еще мало поднялись от земли и слабы, и огораживают их, чтобы им не повредил ветер. Когда деревцо уже

подрастет, они срезают с него лишние ветви и, предоставляя ветрам трести и раскачивать дерево, добиваются того, чтобы оно приносило лучшие плоды.

21. Душу мы прежде всего совершенствуем, обучая юношей музыке, счету и грамоте; мы учим их писать и повторять все отчетливо; затем они учат изречения мудрецов и рассказы о древних подвигах и полезные мысли, изложенные в стихотворных размерах, чтобы юноши лучше запомнили их. Слушая о наградах и достойных деяниях, юноши понемногу вырастают душою и чувствуют стремление подражать им, для того чтобы впоследствии и их воспевали и восхищались ими потомки, как мы восхищаемся предками благодаря творениям Гесиода и Гомера. Когда же юноши приближаются к надлежащему возрасту и пора приучать их к делам управления государством и заботиться об общем благе... Однако все это не касается предмета нашей беседы: ведь мы с самого начала решили говорить не о том, как развиваем их душу, но о том, ради чего мы считаем полезным упражнять их в названных трудах. Таким образом я сам приказываю себе молчать, не ожидая запрещения глашатая или твоего, ареопита, который, я думаю, из уважения ко мне столько времени терпел мою болтовню, не относящуюся к делу.

А н а х а р с и с. Скажи мне, Солон: а если кто-нибудь на Ареопаге, произнося речь, умалчивает о самом необходимом, совет не налагает на него наказания?

С о л о н. Почему ты спросил меня? Мне не ясно.

А н а х а р с и с. Ведь ты, оставив в стороне самое прекрасное и наиболее приятное для моего слуха — то, что касается души, хочешь говорить о гораздо менее нужном — о гимназиях и упражнении тела.

22. С о л о н. Но я помню, благородный человек, о том, что говорилось с самого начала, и не хочу уклоняться от цели, чтобы не обременять твоей памяти многословием. Впрочем, и об этом расскажу вкратце, насколько можно; более же подробное рассмотрение отложим до другого раза. Итак, мы направляем к лучшему мысли юношей, обучая их законам государства, которые написаны большими буквами, для того, чтобы все их знали, и указывают, что надо делать и от чего следует воздерживаться. Мы даем юношам общество хороших людей, от которых они учатся говорить и поступать справедливо, жить, не обижая друг друга, не поддаваться злу, стремиться к прекрасному и не совершать никаких насилий. Эти люди называются у нас софистами и мудрецами. Также мы водим юношей за счет государства в театр; там они смотрят в комедиях и трагедиях на доблести древних и на пороки для того, чтобы стремиться к первым и воздерживаться от вторых. Комическим же поэтам мы позволяем даже высмеивать граждан, которых они замечают в совершении постыдных и недостойных государства поступках, — частью ради них самих, ибо эти насмешки исправляют их, частью ради толпы, чтобы она избегала подобных упреков.

23. А н а х а р с и с. Я видел, Солон, тех, которых ты называешь трагиками и комиками — если только это они: у них была тяжелая и высокая

обувь, одежды, украшенные золотыми лентами, на головах какие-то смещенные личины с огромными отверстиями для рта, из которых они издавали ужасный крик; я не понимаю, как они ходили и могли твердо ступать в своей обуви. Я думаю, что в это время город справлял праздник в честь Диониса. Комики же были пониже, ходили на своих собственных ногах, более походили на людей и меньше кричали, но их личины были много смешнее, и весь театр смеялся над ними; тех же, что выступали на высоких подошвах, все слушали мрачно, жалея их, думаю я, что они должны были ходить в таких колодках.

С о л о н. Не их, мой хороший, жалели зрители. Поэт, по-видимому, открыл перед ними какие-нибудь древние страдания и сочинил для театра жалостные речи, от которых прослезилась аудитория. Наверно, ты видел также и флейтистов и других исполнителей, которые пели, расположившись кругом. Не бесполезно, Анахарсис, и это пение и эта игра, ибо и то, и другое обостряет наши чувства и улучшает нашу душу.

24. Тела же, — об этом ты больше всего хотел послушать, — мы упражняем следующим образом: как я говорил, мы обнажаем их, когда они уже перестали быть нежными и слабыми, и прежде всего считаем нужным приучать их к воздуху, заставляя их быть снаружи во все времена года, чтобы они не томились от жары и не страдали от холода; затем умащаем их оливковым маслом и растираем, чтобы тела стали более упругими. Было бы странно, если бы мы, зная, что даже необделанная кожа, смазанная маслом, становится прочнее и переносит большее напряжение, хотя она и мертвая, не признавали бы, что живое тело станет лучше от оливкового масла. Затем мы придумываем различные упражнения и для каждого назначаем учителей и обучаем: одного — кулачному бою, другого — панкратию, для того чтобы юноши привыкли преодолевать трудности и не избегали ударов и ран. Этим мы достигаем двух очень важных целей — приучая их быть смелыми и самоотверженными в опасностях и делая их здоровыми и сильными. Те же из них, которые борются, опустив головы, приучаются падать, не причиняя себе вреда, легко подниматься на ноги и легко переносить, когда их обвивают руками, сгибают и душат, а также учатся и сами подбрасывать противника вверх. И это бесполезно, но главное безусловно в том, что от упражнения тело делается выносливее и сильнее. Не менее важно и другое последствие: юноши приобретают навык на случай, если им придется применить свои знания в сражении. Вступив в рукопашный бой с врагом, очевидно, что привычный скорее вырвется и подставит врагу ногу или, очутившись под ним, скорее сумеет встать на ноги. Со всем этим мы готовим юношей к важнейшему состязанию — к войне, Анахарсис. Мы полагаем, что пользуемся при этом наилучшими упражнениями, закаляя нагое тело и делая его более здоровым и сильным, легким и стройным и непреодолимым для противников.

25. Я думаю, ты понимаешь, насколько хороши будут с оружием те, кто даже нагие внушили бы ужас противникам, не обнаруживая дряблую белизну и тучность или же бледность и худобу, как женские тела, вяну-

щие в тени и потому дрожащие, обливающиеся потом и задыхающиеся под шлемом — особенно, когда солнце жжет в полуденную пору, как теперь. Кому нужны такие воины, которые не переносят жажды и пыли, трепещут при виде крови, готовы умереть, прежде чем их коснется оружие и они схватятся врукопашную с врагом? Наши же юноши румяны и смуглы от горячего солнца, сильны и полны жара и мужества благодаря тому, что наслаждаются блестящим здоровьем; они не худы до сухости и не тучны до полноты, но сложены вполне соразмерно. Ненужное и лишнее выходит из их тела потом, — то же, что дает силу, упругость, прекрасно сохраняется без всякой дурной примеси. Гимнастические упражнения делают с нашим телом то же, что человек, веющий пшеницу, делает с зерном, отбрасывая пыль и мякину и отделяя чистый плод.

26. Благодаря этому-то юноши здоровы и очень выносливы в трудах: ведь такие люди не скоро начинают обливаться потом и редко слабеют. Представь себе, что человек, неся огонь, уронит искры туда, где насыпаны зерна пшеницы, и туда, где лежат мякина и солома, — я снова возвращаюсь к веятелю, — гораздо скорее, я полагаю, вспыхнет солома, пшеница же не загорится сразу даже и от большого огня, но лишь постепенно, и раньше будет долго дымиться. Точно так же болезнь и усталость, обрушившись на закаленное тело, не легко торжествуют над ним и с трудом овладевают: внутри все хорошо устроено, и снаружи тело может сильно сопротивляться невзгодам, не пропуская их вглубь; также ни солнце, ни холод не имеют силы для осквернения тела. А если тело и ослабевает в труде, то изнутри приливает теплота, давно уже накопившаяся там и сохранявшаяся до тех пор, пока не окажется в ней нужда. Теплота увлажняет силу и делает ее в высшей степени неутомимой, — ибо, если человек много потрудится и устанет, от этого не убавятся его силы, а придут, и то, что испытывает наибольшее напряжение, становится всего сильнее.

27. Точно так же мы заставляем юношей упражняться в беге как на большие расстояния, так и на скорость; и этот бег производится не на твердом месте, а на глубоком песке, где трудно прочно встать и нелегко упереться ногами, так как они вязнут в мягкой почве. Далее они упражняются в прыгании через ров и через другие препятствия — на случай, если это когда-нибудь им может понадобиться, — иногда со свинцовыми шарами в руках. Затем они состязаются в метании дротика на далекое расстояние. Ты видел также в гимназии медный круглый предмет, подобный маленькому щиту, не имеющему рукоятки и перевязи; ты еще взял его в руку, он лежал свободно и показался тебе тяжелым и неудобным в силу своей гладкости. Юноши подбрасывают его вверх, в воздух и вдаль, соперничая в том, кому удастся забросить выше или дальше; и это упражнение укрепляет их плечи и делает более упругими их конечности.

28. Грязь же и песок, показавшиеся тебе сначала самым смешным, дорогой мой, заготавливаются вот ради чего. Во-первых, для того, чтобы юноши падали не на твердую, а на мягкую почву, не причиняя себе вреда. Далее, и скользкость их неизбежно увеличивается от того, что они поте-

ют в глине, — ты еще сравнил их с угрями, — и это не бесполезно и не смешно, ибо немало увеличивает силу и упругость членов, так как при таких обстоятельствах юношам приходится сильнее схватывать и держать выскальзывающих из их рук противников. Не думай, что легко поднять с земли человека, вспотевшего и намазанного маслом, старающегося вырваться из рук. И все это, как я сказал уже раньше, полезно на войне, когда надо удобнее перенести в безопасное место раненого друга или вскинуть на воздух врага. Для того-то мы и даем юношам чрезмерно трудные упражнения, чтобы они еще легче переносили более легкое.

29. Песок служит совершенно для обратных целей — чтобы борцы, сплетающиеся руками, не выскальзывали друг у друга: подобно тому как юноши упражняются в глине удерживать выскальзывающего, так здесь они приучаются сами вырваться из рук, когда это наиболее трудно. Кроме того, по-видимому, песок задерживает в себе весь изливающийся пот, сохраняет силу и мешает ветрам вредить телу, поры которого открыты; с другой стороны, песок очищает грязь и делает тело более блестящим. Я бы охотно поставил перед тобою одного из бледных юношей, выросших в тени, и любого, кого ты выберешь из ликейского гимназия, и, смыв с последнего песок и глину, спросил бы, на кого из них ты хотел бы походить. Я знаю, что ты с первого взгляда, сейчас же, даже не испытывая на деле того и другого, захотел бы быть крепким и ловким, а не изнеженным, ослабленным и белым от недостатка крови или от того, что вся она сбежала внутрь тела.

30. Это и есть, Анахарсис, то, в чем мы упражняем юношей, полагая, что они будут хорошо охранять наше государство и его свободу, и мы будем властвовать над врагами и будем страшными для соседей, имея их своими подчиненными и данниками. В мирное же время такие юноши наиболее приятны для нас потому, что они не стремятся ни к чему дурному, не становятся от праздности насильниками, но занимаются своими упражнениями, употребляя на них весь свой досуг. И, как я уже сказал, общее благо и высшее счастье государства состоит в том, чтобы молодежь оказалась наиболее подготовленной к мирным занятиям и к войне и была занята самыми полезными для нас делами.

31. А н а х а р с и с. Итак, Солон, если на вас пойдут войной враги, вы выйдете им навстречу, умащенные маслом и обсыпанные песком, и будете угрожать кулаками. Враги, конечно, испугаются вас и побегут, боясь, чтобы вы не набросали им песка в рот, если им придется зевнуть, или не забежали бы сзади, чтобы вскочить им на спину, не прижали бы им бедра к животу или не начали бы их душить, подложив им локоть под подбородок. И, клянусь Зевсом, враги будут пускать стрелы и копья, вас же, как изваяния, стрелы не пронзят, потому что вы загорели от солнца и в вас много крови. Вы ведь не солома и не мякина и не скоро погибнете от ударов, но лишь спустя много времени, да и то от самых глубоких ран потеряете лишь немного крови. Именно это ты говоришь, если только я правильно понял твои примеры.

32. Или вы облечетесь в одежды комиков и трагиков и, собираясь выступать, наденете на себя эти личины с разинутыми ртами, для того чтобы казаться страшнее противникам, и подвяжете обувь на подставках? Она и бегство вам облегчит, если понадобится, и врагам бежать от вашего преследования уж никак не удастся, так как ваши шаги станут слишком крупными. Смотри, однако, чтобы все эти ваши хитрости не оказались вздором и забавами юношей, которые хотят бездельничать и проводить время в праздности! Если же вы хотите быть совершенно свободными и счастливыми, вам надо завести другие гимназии и настоящие упражнения с оружием, а не состязания друг с другом в шутку; пусть юноши сражаются с врагами и в этих сражениях стяжают себе доблесть. Итак, оставив песок и оливковое масло, учите их стрельбе из лука и метанию копий и давайте при этом копья не легкие, какие может подхватить ветер, но пусть они будут длинны и тяжелы и при вращении производят свист в воздухе, или дайте им камень, заполняющий всю руку, секиру и плетеный щит в левую руку, и панцирь, и шлем.

33. С тем, что у вас есть теперь, мне кажется, вы спасаетесь по какой-то особой милости богов и потому не погибли до сих пор от нападения небольшой шайки легко вооруженных людей. И в самом деле: если я извлеку из ножен вот этот самый мой маленький кинжал, который ношу у пояса, один напад на всех ваших юношей, я с первого же натиска захвачу весь гимназий, так как никто из них не решится смотреть на железо и все будут прятаться за статуи и колонны и станут смеить меня своими слезами и дрожью. И сейчас же ты увидишь, что их тела перестанут быть красными и сразу станут белыми от страха. На вас так подействовал глубокий мир, что вам нелегко перенести вид даже султана с настоящего шлема.

34. С о л о н. Не то говорили, Анахарсис, фракийцы, которые сражались с нами под предводительством Евмолпа, и ваши женщины, нагрянувшие на нас вместе с Ипполитою, и все другие, когда-либо выходившие на нас с оружием. Ведь мы, дорогой мой, если и заботимся об упражнении нагих тел наших юношей, то не для того, чтобы выводить их на бой безоружными, — когда они окрепнут от этих упражнений, мы начинаем приучать их обращаться с оружием, и благодаря этому юноши гораздо лучше умеют им пользоваться.

А н а х а р с и с. А где же у вас гимназий для состязания с оружием? Такого я не нашел во всем городе, а я обошел его кругом.

С о л о н. Еще увидишь, Анахарсис, если поживешь с нами подольше. Увидишь множество оружия у каждого, которое мы употребляем в случае необходимости, — султаны, шлемы, коней и всадников, составляющих почти четвертую часть граждан. Однако мы считаем совершенно лишним в мирное время ходить вооруженными и носить меч. Законом даже налагается пеня на того, кто без нужды носит в городе оружие или приходит с ним в народное собрание. Вам еще можно извинить то, что вы не расстаетесь с оружием: на неукрепленном месте легче можно ожидать коварства,

врагов у вас очень много, и вам никогда нельзя быть уверенным в том, что во время сна кто-нибудь не стащит вас с телеги с намерением убить. Недоверие друг к другу, происходящее от того, что вы живете всякий как хочет, без законов, заставляет вас носить оружие, для того чтобы защищаться от нападений.

35. А н а х а р с и с. Итак, Солон, вам кажется лишним носить оружие, и вы боитесь, чтобы оно не портилось от употребления, и храните его для того, чтобы пользоваться им в случае надобности. Тела же юношей, без всякой угрожающей им опасности, вы заставляете переносить удары и обливаясь потом и не бережете их силу на случай необходимости, но расточаете ее понапрасну в глине и в песке!

С о л о н. По-видимому, Анахарсис, ты думаешь, что сила подобна вину, воде или какой-либо другой жидкости: ты боишься, как бы она, словно из глиняного сосуда, не вытекла потихоньку, оставив тело пустым и сухим, ничем не наполненным. Но это не так обстоит: к тому, кто тратит силу на работу, она приливает в большей мере, как в мифе о гидре, — если ты слышал такой, — у которой вместо одной срезанной головы постоянно вырастают две новые. Если же человек не упражнял свою силу с самого начала и не создал ей этим прочного основания, она будет истощаться от труда и изнуряться. Примером может служить огонь очага и огонь светильника. От одного и того же дуновения огонь очага разгорается сильнее, огонь же светильника гаснет, так как в нем слишком мало материи, которая могла бы сопротивляться дуновению: вырастает он, по-видимому, от недостаточно сильного корня.

36. А н а х а р с и с. Все это, Солон, я понимаю не совсем хорошо: слишком уж тонкие для меня вещи ты излагаешь, и они требуют особенного внимания и зоркой мысли. Все же скажи мне, почему на олимпийских, истмийских, пифийских и других играх, когда многие, по твоим словам, сходятся, чтобы посмотреть на состязания юношей, — почему вы никогда не заставляете их померяться оружием, но выводите их нагими на середину, чтобы они лягали и били друг друга и победителям даете яблоки и ветви маслины? Хотелось бы мне знать, почему вы так поступаете.

С о л о н. Потому, что мы думаем, Анахарсис, что склонность юношей к гимнастическим упражнениям станет еще больше, если они увидят, как будут прославлять и чествовать победителей по всей Элладе. А так как им придется быть обнаженными перед таким множеством народа, юноши заботятся о красоте и хорошем сложении своего тела, чтобы им не пришлось стыдиться своей наготы, и каждый старается сделать себя наиболее достойным победы. И награда им за то, как я уже сказал, немалая: они услышат похвалы зрителей, каждый будет их знать и показывать на них пальцем, считая их лучшими из сограждан. И многие из зрителей, которые по возрасту еще способны к атлетическим состязаниям, уходят отсюда со страстным стремлением к подобным же подвигам и трудам. Если бы кто-нибудь, Анахарсис, удалил из жизни стремление к славе, что же осталось бы у нас хорошего? И кто бы стал стараться сделать что-нибудь великое?

Теперь ты можешь уже судить, каковы будут против врагов, сражаясь с оружием за отечество, детей, жен и святыни, те, которые так стремятся к победе, состязаясь нагими ради яблока или ветки дикой маслины.

37. А что скажешь ты, глядя на состязания у нас перепелов и петухов и на внимание, с которым мы к ним относимся? Конечно, ты будешь смеяться, особенно, если узнаешь, что мы делаем это по приказанию закона, повелевающего всем достигшим известного возраста присутствовать на состязаниях и смотреть, как птицы дерутся до полного упадка сил. Но и это не смешно; ибо незаметно в душе у человека растет жажда к опасностям, и людям не хочется быть малодушнее или трусливее петухов, отказываясь от ран или трудов или других неприятностей. Но сохрани нас бог от того, чтобы испытывать юношей в оружии или смотреть на их раны: это было бы дико и бессмысленно, да к тому же и не доставляло бы никакой пользы — убивать лучших людей, которые могли бы помочь в войне с врагами.

38. Так как, по твоим словам, Анахарсис, ты хочешь посетить и остальную Элладу, то, конечно, не забудешь побывать в Спарте. И ты, будучи там, не смейся над спартянцами и не думай, что они трудятся понапрасну, когда в театре бросаются друг на друга и дерутся из-за мяча, или, уйдя в место, огороженное рвом с водою, разделяются на отряды и, обнаженные, нападают друг на друга, пока, наконец, один отряд не прогонит другого — геракловцы ликурговцев или наоборот — и не столкнет его в воду. А после этого наступает мир, и никто не дерется. Особенно же не смейся, если увидишь, как спартанских юношей бичуют перед алтарями, и они обливаются кровью, а матери и отцы стоят здесь же и не жалеют их, а угрожают им, если они не выдерживают ударов, и умоляют их дольше терпеть боль и сохранять самообладание. Многие умерли в этом состязании, не желая при жизни сдаться на глазах у своих домашних или показать, что они ослабели, — ты увидишь статуи, поставленные в их честь на средства государства. Итак, когда ты увидишь все это, не думай, что юноши безумствуют, и не говори, что они терпят мучения без всякой надобности, по повелению тирана или под давлением врагов. Законодатель спартанский, Ликург, конечно, сумел бы сказать тебе по этому поводу много разумного и объяснил бы, что он так терзает юношей не из вражды или ненависти к ним и не для того, чтобы истреблять молодое поколение, но полагая, что те, которые будут защищать отечество, должны быть сильными и презирать мучения. И даже без слов Ликурга ты поймешь, я думаю, и сам, что, попав в плен, такой юноша не выдаст тайн отечества, даже если враги будут его мучить, и с насмешкою будет переносить удары бича, состязаясь с будущим его, кто из них первый устанет.

39. А н а х а р с и с. Что же, Солон, и самого Ликурга тоже бичевали в молодости или он издал этот закон, уже выйдя из-под его власти, так что уловка сошла безнаказанно?

С о л о н. Ликург уже старцем написал эти законы, возвратясь с Крита. Отправился же он на Крит потому, что слышал об его благозаконии, которое там ввел законодатель Минос, сын Зевса.

А н а х а р с и с. Почему же и ты, Солон, не подражал Ликургу и не приказал бичевать юношей? Это было бы прекрасно и достойно вас.

С о л о н. Потому, Анахарсис, что нам достаточно своих состязаний и мы не особенно любим гоняться за чужими.

А н а х а р с и с. Но ты, я думаю, понимаешь, каково для человека — принимать удары с поднятыми вверх руками без всякой нужды для себя и для государства. И я думаю, если когда-нибудь попаду в Спарту в то время, как там будут заниматься этим делом, я скоро буду побит камнями по приговору народа, за насмешки при виде того, как юношей бьют, точно воров, грабителей или других преступников. Мне кажется, что государство, по прихоти подвергающее своих сограждан таким смехотворным оскорблениям, нуждается в чемеричном корне.

40. С о л о н. Не думай, благородный друг, что ты победил заочно, говоря и не слушая возражений: ибо есть люди, которые будут защищать и спартанские порядки. Я уже рассказал тебе о наших обычаях, но ты не особенно похож на человека, которому это понравилось; поэтому мне кажется справедливым попросить тебя, чтобы теперь ты рассказал мне, каким образом вы, скифы, упражняете ваших юношей и какими состязаниями добиваетесь того, чтобы они стали хорошими воинами.

А н а х а р с и с. Твое желание, Солон, совершенно справедливо, и я расскажу тебе о скифских обычаях, которые, пожалуй, не так почтенны, как ваши, и не пришлось бы вам по вкусу, — мы ведь не в состоянии перенести даже удара по щеке, до того мы трусливы. Но я расскажу все, каким бы оно ни было. Однако, если позволишь, отложим беседу на завтра, чтобы я мог на досуге лучше обдумать то, что ты рассказал, а также припомнил бы, что мне предстоит сказать самому. На сегодня же довольно; разойдемся, так как наступил уже вечер.



**ПАРАЗИТ,
или
О ТОМ, ЧТО ЖИЗНЬ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ
ЕСТЬ ИСКУССТВО**

Тихиад. Как же это так, Симон? Всякий человек, будь он свободным или рабом, знает какое-нибудь искусство, благодаря которому оказывается полезным и себе, и другим; у тебя же, по-видимому, нет никакого дела, которое или тебе самому приносило бы выгоду, или другому что-нибудь давало.

Паразит. О чем, собственно, ты спрашиваешь, Тихиад? Пока еще мне это непонятно. Постарайся задавать вопросы яснее.

Тихиад. Можно ли назвать такое искусство, в котором ты оказался бы сведущим, например, в музыке?

Паразит. Отнюдь нет.

Тихиад. Ну, а врачебное искусство?

Паразит. И его не знаю.

Тихиад. Тогда — геометрию?

Паразит. Ни в какой мере.

Тихиад. Так, может быть, риторику? О философии я уж не говорю: ты от нее так же далек, как сам порок.

Паразит. Я-то? Даже дальше, если можно быть дальше. Не воображай поэтому, что, выбрав меня, ты сообщил мне нечто новое, я заявляю сам: я дурной человек и даже хуже, чем ты думаешь.

Т и х и а д. Согласен. Но, может быть, перечисленных мною искусств ты не изучил потому, что они и велики, и трудны. А почему ты не изучил какого-нибудь простого ремесла, плотницкого, например, или сапожного? Ведь положение твое, вообще говоря, совсем не таково, чтобы ты не нуждался хотя бы в подобном ремесле?

П а р а з и т. Ты прав, Тихиад: ни в одном из этих искусств я ничего не смыслю.

Т и х и а д. Так в каком же тогда?

П а р а з и т. В каком? С моей точки зрения — в превосходном. Когда ты познакомишься с ним, то, я уверен, ты и сам одобришь его. К делу я его уже применяю с полным успехом, — это я с уверенностью могу сказать, — а сумею ли доказать тебе его преимущества, еще не знаю.

Т и х и а д. Что же это за искусство?

П а р а з и т. Мне кажется, я еще недостаточно подготовился к речам о нем. Таким образом, что я сведущ в некоем искусстве, это ты теперь уже знаешь и не должен поэтому ничего иметь против меня. А в каком именно — услышишь в другой раз.

Т и х и а д. Но мне не терпится.

П а р а з и т. Название моего искусства, пожалуй, покажется тебе странным, когда ты его услышишь.

Т и х и а д. Вот поэтому-то я и стремлюсь узнать его.

П а р а з и т. В другой раз, Тихиад!

Т и х и а д. Ни за что! Говори сейчас — если, конечно, ты не стыдишься назвать его.

П а р а з и т. Прихлебательство!

2. Т и х и а д. Что?! Но ведь надо же сумасшедшим быть, Симон, чтобы назвать это искусством!

П а р а з и т. И все-таки я называю. Если же я сумасшедший, по-твоему, — значит, в том, что я не знаю никакого иного искусства, повинно сумасшествие, а с меня обвинение ты уж, пожалуйста, сними. Говорят ведь, что богиня безумия вообще, конечно, тягостна для тех, кем овладевает, но зато освобождает их от ответственности за проступки, так как в качестве учителя и воспитателя их принимает вину на себя.

Т и х и а д. Итак, Симон, прихлебательство есть искусство?

П а р а з и т. Да, искусство, и я — слуга его.

Т и х и а д. Так ты, значит, прихлебатель?

П а р а з и т. Ты уверен, конечно, что выбранил меня, Тихиад.

Т и х и а д. И ты не краснеешь, сам величая себя прихлебателем?

П а р а з и т. Нисколько! Напротив, стыдно мне было бы не сказать этого.

Т и х и а д. Великий Зевс! И когда мы захотим представить тебя кому-нибудь, кто с тобой не знаком, но захочет тебя узнать, мы, очевидно, скажем: «Прихлебатель!»

П а р а з и т. И с гораздо большей уверенностью, чем называете Фидия ваятелем, потому что я нисколько не меньше горжусь моим искусством, чем Фидий гордился своим Зевсом.

Т и х и а д. А все-таки как подумаешь да представишь себе одну вещь, — то-то будет смех!

П а р а з и т. Какую это?

Т и х и а д. Если и в письмах сверху, как обыкновенно, мы надписали бы: «Симону, прихлебателю».

П а р а з и т. Между тем ты доставил бы мне этим большее удовольствие, чем Диону припиской: «философу».

3. Т и х и а д. Ну, какие прозвища тебя радуют, до этого мне нет никакого дела или, во всяком случае, мало дела. Обдумай, однако, насколько это неприлично и в другом отношении.

П а р а з и т. В каком бы это?

Т и х и а д. Если мы внесем это искусство в список прочих искусств и, когда кто-нибудь осведомится, что же это за искусство прихлебательство, ответим: такое, как грамматика или медицина.

П а р а з и т. Что касается меня, Тихиад, то я назвал бы его искусством скорее, чем какое-либо другое. И, если тебе угодно меня выслушать, я, пожалуй, скажу, что об этом думаю, хотя я, как сказал раньше, далеко не вполне к этому подготовлен.

Т и х и а д. Все равно: говори хоть вкратце, лишь бы это была правда.

П а р а з и т. Итак, если ты согласен, давай прежде всего рассудим относительно искусства вообще, каковы его родовые признаки. Отсюда мы могли бы перейти последовательно и к отдельным искусствам, как видам, и посмотреть, действительно ли они подходят под родовое понятие.

Т и х и а д. Скажи же, что такое — искусство вообще. Ты, конечно, знаешь это.

П а р а з и т. Еще бы не знать!

Т и х и а д. Так говори же, не раздумывая, если действительно знаешь.

4. П а р а з и т. Искусство — насколько я припоминаю слышанное мною от одного философа определение — есть совокупность навыков, приобретенных упражнением для некоей полезной в делах житейских цели.

Т и х и а д. Ты точно припомнил слова этого философа.

П а р а з и т. И если прихлебательство обладает всеми этими признаками, то чем же еще может оно быть, если не искусством?

Т и х и а д. Да, если так, то только искусством.

П а р а з и т. Давай же по очереди сопоставим его с каждым из видовых признаков искусства и посмотрим, согласно ли с ними звучит это понятие, и убедимся, что оно не издает, как дрянной горшок, если его пощелкать, нечистого звука. Итак, прихлебательство, подобно всякому искусству, должно быть совокупностью навыков и прежде всего уметь распознать и выбрать такого именно человека, около которого оказалось бы удобным кормиться, чтобы, раз начав кормиться на его счет, не пришлось бы потом раскаиваться... Или, признавая необходимость своего рода искусства для пробирщика, поскольку он умеет распознавать поддельные деньги от настоящих, мы решимся утверждать, что паразит не нуждается

ни в каком искусстве, чтобы различать в людях поддельную порядочность от настоящей? А не надо ведь забывать: люди — не то что деньги: их сразу не разглядишь. На это как раз жалуется и мудрый Еврипид, говоря:

*Но как узнать злодея? Никакой чекан
Не наложил клейма на тело злых людей.*

И тем выше, конечно, искусство паразита, которое даже столь тайные и сокровенные вещи определяет и распознает лучше всякого гадателя.

5. А умение слова говорить подходящие и поступки совершать надлежащие, чтобы своим стать для хлебосольного хозяина и доказать ему свою глубочайшую преданность, — разве это не является, по-твоему, признаками здорового ума и большой сообразительности?

Т и х и а д. Ну еще бы!

П а р а з и т. Далее, что касается самих угощений: встать из-за стола, получив от всех яств больше других и произведя лучшее впечатление, чем люди, не обладающие подобным искусством, — можно достичь этого без предварительного исследования и изучения? Как по-твоему?

Т и х и а д. Никоним образом.

П а р а з и т. Ну, а знать толк в достоинствах и недостатках кушаний и в изысканных приправах, — что же? И это, по-твоему, дело невежды? А между тем сам благородный Платон говорит так: «Если тот, кого ты собираешься угостить, несведущ в поварском искусстве, — его суждение о приготовленном тобой пиршестве не будет иметь значения».

6. Однако не на одном только изучении, но и на упражнении строится искусство паразита-прихлебателя, — и это ты легче всего уразумеешь из следующего: знания других искусств нередко остаются без упражнения дни и ночи, месяцы и годы и все же не погибают в тех, кто раз овладел ими; знания же, которыми обладает паразит, без ежедневного в них упражнения губят, я полагаю, не только искусство, но и самого мастера.

7. Наконец, было бы просто сумасшествием даже ставить вопрос о «некоей цели, полезной для жизни», ибо я не нахожу ничего, что было бы пригоднее для жизни, чем «есть» и «пить», так как и самая жизнь без этого невозможна.

Т и х и а д. Да, это, конечно, так.

8. П а р а з и т. К тому же, прихлебательство — совсем не то, что красота или сила, и нельзя считать его не искусством, а, подобно им, какой-то прирожденной способностью.

Т и х и а д. Правильно.

П а р а з и т. Однако и отсутствием знания его нельзя назвать, потому что незнание никогда никакой пользы не приносит своему владельцу. Например: если кто-нибудь в море в бурю положится на собственные силы, не умея управлять кораблем, разве он уцелеет?

Т и х и а д. Ни за что.

П а р а з и т. А почему? Не потому ли, что не владеет искусством, с помощью которого мог бы спасти свою жизнь?

Т и х и а д. Именно потому.

П а р а з и т. Значит, и паразит, если бы занятие его коренилось в невежестве, не нашел бы в нем себе спасения.

Т и х и а д. Не нашел бы.

П а р а з и т. Значит, спасает именно искусство, а отнюдь не отсутствие его.

Т и х и а д. Очевидно, да.

П а р а з и т. Итак, прихлебательство есть искусство.

Т и х и а д. Да, искусство, по-видимому.

П а р а з и т. И, однако, я знаю отличных кормчих, знаю искусных возничих, которые нередко падают с колесницы, и один разбивается, а другие так и совершенно гибнут, — но никто не сможет указать подобного же крушения паразита. Итак, если занятие паразита коренится не в отсутствии навыков и не в природной способности, но является совокупностью знаний, приобретенных упражнением, то, очевидно, мы должны сейчас прийти к общему мнению, признав его искусством.

9. Т и х и а д. Из предыдущего выходит, как будто — так. Но вот что: как бы тебе дать и достойное определение этому искусству?

П а р а з и т. Справедливо ты рассуждаешь. Так вот, мне кажется, что лучше всего будет определить его так: «Прихлебательство есть искусство пить и есть и потребные для сего слова говорить, а целью своей оно имеет наслаждение».

Т и х и а д. По-моему, ты более чем хорошо определил свое искусство. Смотри только, как бы кое-кто из философов не стал оспаривать у тебя твою цель.

П а р а з и т. Да большего и не надо, если общей окажется цель счастья и занятий паразита.

10. Дело же, как кажется, обстоит так: мудрый Гомер, дивясь жизни паразита, как единственно счастливой и заслуживающей зависти, говорит:

*Я же скажу, что великая нашему сердцу утеха
Видеть, как целой страной обладает веселье; как всюду
Сладко пируют в домах, песнопевцам внимая; как гости
Рядом по чину сидят за столами, и хлебом и мясом
Пышно покрытыми; как из кратера животворный напиток
Льет виночерпий и в кубках его опененных разносит.*

И, как будто не довольствуясь этим удивлением, он делает свою мысль более ясной в прекрасных словах:

Думаю я, что для сердца ничто быть утешней не может.

Причем из слов его явствует, что он понимает под счастьем не что иное, как жизнь паразита. И притом не первому попавшемуся вложил он в уста эти слова, но мудрейшему из эллинов.

Однако, если бы Одиссей хотел хвалить высшую цель стоиков, он мог бы сказать то же самое, когда он вернул с Лемноса Филоктета, когда разрушил Илион, когда удержал обратившихся в бегство эллинов, когда вошел в Трою, сам подвергнув себя бичеванию и облекшись в жалкое, стоическое рубище. Но тогда он не произнес этого своего «любезнейший жребий». Но в другой раз, очутившись в условиях эпикурейской жизни, — у Калипсо, — когда ему предоставлена была возможность жить в праздности и роскоши, со дочерью Атланта иметь сближения и вообще «делать легкие движения», — и тогда он не сказал, что это «любезнейший жребий», но назвал так жизнь паразитов. А назывались в то время паразиты «пиршествующими». В самом деле, как он говорит? Стоит еще раз припомнить его слова, так как отнюдь не часто приходится их слышать. «Пиршествующие» у него «сидят рядами», и пред ними

*...полнятся хлебом,
Полнятся мясом столы.*

11. Эпикур же с великим бесстыдством завладел конечной целью, которую ставит искусство паразита, и сделал из нее высшую цель своего «блаженства». И что это действительно есть кража, что «наслаждение» изобретено совсем не Эпикуром, а паразитом, я сейчас докажу тебе. Я, со своей стороны, полагаю «наслаждение» в том прежде всего, чтобы тело не знало никаких тягот, а затем, — чтобы душу не наполняли смутение и беспокойство. И вот обоими этими благами как раз и владеет паразит, Эпикур же ни одним из них. В самом деле: исследуя вопросы о виде Земли, о беспредельности миров, о размерах Солнца и о расстоянии между светилами, о первых основах сущего, о богах, — существуют они или нет, наконец о самом высшем благе, он пребывает в непрерывных раздорах и спорах с другими людьми и, следовательно, терпит не только человеческие, но и мировые беспокойства. Паразит же, считающий, что все идет прекрасно, убежденный, что оно и не могло бы идти лучше, чем идет сейчас, сохраняет полнейший мир и спокойствие; не тревожимый никакими подобными вопросами, он кушает и спокойно укладывается спать, раскинув руки и ноги, как некогда Одиссей, отплывая с острова Схерии домой.

12. Впрочем, не только в этом отношении «наслаждение» совсем не пристало Эпикуру, но еще и в следующем: каким бы ни был мудрецом этот Эпикур, он либо имеет пищу, чтобы поесть, либо не имеет. Если не имеет, то не сможет не только в наслаждении жить, но и вообще жить. Если же имеет, то опять-таки: он питается либо за свой собственный счет, либо за счет кого-нибудь другого. Если за счет другого, то он паразит, а не то, за что себя выдает; если же за собственный счет, то не прожить ему в наслаждении.

Т и х и а д. Почему не прожить в наслаждении?

П а р а з и т. Если он сам добывает себе пропитание, то такая жизнь, Тихиад, должна сопровождаться множеством хлопот. Рассуди сам: тому,

кто хочет жить наслаждаясь, надо иметь возможность сполна удовлетворять все возникающие у него стремления. Или, по-твоему, не так?

Т и х и а д. Нет, и по-моему — так.

П а р а з и т. Дальше. Для человека, обладающего достатком, это, может быть, и доступно, но для мало или вовсе не состоятельного — уже недоступно. Таким образом, бедняк не сможет стать мудрецом и достигнуть высшей цели, я разумею — наслаждения. Впрочем, и богатый человек, который от своих достатков, не скупясь, устраивает празднества собственным прихотям, — и он не сможет достигнуть этой цели. Разве нет? Ведь расточитель своего достоинства совершенно неизбежно впадает во множество неприятностей: то надо ссориться с поваром, плохо сделавшим подливку, или, если не поссоришься, кушать испорченную, отложив наслаждение до другого раза; то надо спорить с управляющим по поводу домашних дел, которые тот ведет не так, как нужно. Разве не так?

Т и х и а д. Клянусь Зевсом, именно так.

П а р а з и т. Итак, для Эпикура все естественно складывается так, что он никогда не достигнет своей цели. У паразита же ни повара нет, который мог бы его раздосадовать, ни полей, ни управляющего, ни денег, потеря которых причиняла бы огорчения, — а между тем всего у него вдоволь, и он один может есть и пить, не отягчаемый беспокойствами, неизбежными для тех людей.

13. Итак, что жизнь паразита есть искусство, можно считать достаточно доказанным этими и другими соображениями. Остается доказать, что она — наилучшее из искусств, — причем не сразу, но сперва докажем, что она выгодно отличается от всех искусств вообще, а затем и от каждого в частности. От всех вообще искусств наше отличается следующим: всякое искусство неизбежно влечет за собою ученье, труды, беспокойство, побои, — и не найдется человека, который бы все это не проклинал. И только этому одному искусству, по-видимому, можно выучиться без трудов. Разве когда-нибудь кто-нибудь уходит с обеда в слезах, как видим мы это подчас на выходящих из школы? И разве увидишь, чтобы отправляющийся на обед был насуплен, как бредущие в школу? И понятно: паразит сам, по доброй воле, идет на обед, чувствуя большое влечение к своему искусству, а те, кто изучает другие искусства, ненавидят их до того даже, что некоторые из них убегают из дому. Как не обратить внимания на то обстоятельство, что сыновей, пробивающих себе дорогу в прочих искусствах, отцы и матери поощряют как раз тем, что каждый день к услугам паразита: «Видит Зевс, мальчик сегодня написал отлично, — говорят отцы и матери, — дайте ему покушать». А написал плохо — «без обеда!» Так и в наградах, и в наказаниях обнаруживается важность того, о чем мы говорим.

14. Кроме того: в прочих искусствах это приходит позднее, и лишь после ученья снимают они сладостные плоды. Ибо длинна и «крута к ним стезя». И только одна жизнь на чужой счет немедленно, при самом обучении, пожинает плоды своего искусства, только она одна сопрягает начало

с конечною целью. А между тем прочие искусства, — и не отдельные среди них, но все они одинаково, — возникли и существуют с единственной целью: прокормить изучающего их, а паразит получает свое пропитание тут же, одновременно с началом ученья. Неужели ты не замечаешь, что земледelec обрабатывает землю не ради самого земледелия и строитель строит не ради строительства, паразит же не преследует ничего иного и работа его совпадает с целью этой работы?

15. И не найдется, конечно, человека, который не знал бы, что трудящиеся над другими искусствами все прочее время пребывают в лишениях и только один-два дня в месяц проводят по-праздничному, и государства справляют праздники один раз в год, другие раз в месяц, и говорят тогда, будто они радуются. Паразит же тридцать дней в месяц проводит по-праздничному, ибо для него они все кажутся посвященными богам.

16. Затем, желающие достигнуть успеха в других искусствах прибегают к воздержанию от пищи и питья, словно больные; ибо трудно учиться тому, кто услаждается обилием еды и напитков.

17. Кроме того, прочие искусства при отсутствии орудий не могут сослужить своим обладателям никакой службы: нельзя ведь играть на флейте без флейты, бряцать на струнах без лиры или скакать верхом, не имея коня. Наше же искусство так удобно и не обременительно для мастера, что им можно пользоваться, не имея никакого орудия.

18. И в то время как, обучаясь другим искусствам, мы вносим плату за ученье, здесь мы сами получаем ее.

19. Для других искусств существуют особые учителя — для нашего же не найти ни одного, но, подобно поэзии, по слову Сократа, она достается в удел как некий божественный дар.

20. Наконец посмотри: мы не можем заниматься другими искусствами, находясь в дороге, на суше или в море, — наше же можно применять и в сухопутном странствии, и на корабле.

21. Т и х и а д. Совершенно верно.

П а р а з и т. Мало того, Тихиад, мне кажется, что другие искусства стремятся к нашему, — оно же не хочет знать никакого другого.

Т и х и а д. Но, однако: разве ты не думаешь, что берущие чужое поступают неправильно?

П а р а з и т. Думаю, конечно.

Т и х и а д. Почему же тогда один только паразит, берущий чужое, не совершает несправедливости?

22. П а р а з и т. Я считаю излишним отвечать. А впрочем, другие искусства возникают на низменных и ничтожных основах, и только искусство паразита — высокого рода: ведь основой его, если посмотришь, окажется не что иное, как так называемая дружба, о которой столько болтают.

Т и х и а д. Что ты говоришь?

П а р а з и т. Говорю, что никто своего врага или незнакомого и даже мало знакомого человека не пригласит к обеду; полагаю, нужно сначала сделаться другом, чтобы разделить возлияния, стол и таинства этого ис-

кусства. Я, по крайней мере, часто слышал, как люди говорят: «Что это за друг, который не ест, не пьет с нами», — очевидно, они считают верным другом лишь того, кто делит с ними еду и питье.

23. А что это — самое царственное из искусств, ты легко убедишься из следующего: над другими люди трудятся, не только терпя лишения и обливаясь потом, но, великий Зевс, даже сидят или стоят во время своей работы, как настоящие ее рабы, — паразит же приступает к своему занятию возлежа как царь.

24. Надо ли, говоря о блаженстве паразита, упоминать о том, что, по мудрому слову Гомера, он «не приложит руки к посадке деревьев или вспашке», но «без посева, без плуга снимает плоды»?

25. Наконец оратору, землемеру или кузнецу ничто не мешает заниматься его ремеслом, даже если он негодяй или глупец. Но никто, будучи негодяем или глупцом, не сможет жить на чужой счет.

Т и х и а д. Ай-ай-ай! Что за великолепная вещь, судя по твоим словам, это искусство! Мне кажется, я и сам уже испытываю желание стать паразитом, вместо того чтобы быть тем, чем я являюсь сейчас.

26. П а р а з и т. Итак, я считаю доказанным, что мое искусство превосходит вообще все прочие. Давай посмотрим теперь, чем превосходит оно всякое другое в отдельности. Сравнить его с занятиями ремесленников — бессмысленно, это значило бы принижать достоинство нашего искусства. Надо доказать, что оно превосходит самые прекрасные и высокие искусства. Но всеми признано, что таковыми являются риторика и философия, которые некоторые из-за их благородства именуют также науками. Если мне удастся показать, что жизнь на чужой счет гораздо выше их, то, очевидно, тем самым искусство паразита окажется превосходящим все прочие искусства, как Навсикая — своих служанок.

27. Итак, от обоих искусств, от риторики и философии, оно отличается прежде всего по самой своей сущности: дело в том, что оно действительно существует, те же два — нет. Мы ведь не имеем общего мнения по вопросу, что такое риторика, но одни считают ее искусством, другие, напротив, — безыскусственностью, третьи — дурной искусственностью, четвертые — еще чем-нибудь. В подобном же изменчивом и неодинаковом положении находится и философия: Эпикур держится на нее одних взглядов, стоики — других, академики — третьих, а перипатетики — четвертых, и вообще каждый предъявляет к философии свои особые требования. И до сего дня и сами философы не смогли преодолеть разногласий, и другим философия не кажется единой наукой. Вывод из сказанного совершенно очевиден. Я утверждаю, что несуществующее искусство — совершенно не искусство. В самом деле, что же это такое? Арифметика везде одна и та же, и дважды два и у нас также, и у персов составит четыре, и по этому вопросу существует только согласие между эллинами и варварами. Философий же мы видим много, и все они различны, и ни в основоположениях, ни в выводах их нет никакого согласия.

Т и х и а д. Ты прав. Философы заявляют, что философия — едина, а сами делают из нее множество философий.

28. П а р а з и т. Впрочем, в других науках и искусствах, если даже в них оказывается какое-нибудь противоречие, — можно пройти мимо этого, извинив тем, что они находятся на середине своего пути и положения их не являются непоколебимыми. Но кто потерпит, чтобы не была единой философия и чтобы в ней обнаруживалась разногласица хуже, чем в ненастроенных инструментах. Итак, нет единой философии, ибо я вижу, что их бесчисленное множество; но многих философий не может быть именно потому, что философия — едина.

29. Подобным же образом и то же самое можно сказать о сущности риторики. И здесь об одном и том же предмете никто не судит одинаково, но всегда возникает распря противоположных высказываний, — и это является несомненным доказательством: не существует вовсе то, для чего не имеется общего понятия. Ибо, когда о чем-нибудь бесконечно решают вопрос, то оно или это, и не могут прийти к соглашению об единой сущности, — этим упраздняется сама эта разыскиваемая сущность.

30. Не так обстоит, однако, дело с жизнью на чужой счет — она одна и та же, единая и неизменная, и среди эллинов, и среди варваров, и никто не скажет, что одни признают ее этим, другие — тем, и нет, как кажется, паразитов, которые, подобно стойкам или эпикурейцам, расходились бы в основных положениях; нет, они все и во всем между собою согласны, и полное соответствие существует между тем, что они делают и к чему стремятся. Так что, по-моему, можно отважиться на вывод из всего сказанного: жизнь на чужой счет — это мудрость.

31. Т и х и а д. Мне кажется, что ты весьма удовлетворительно разъяснил это. Но как ты доказываешь, что и в других отношениях философия уступает твоему искусству?

П а р а з и т. Итак, прежде всего нужно сказать, что никогда еще паразит не воспылал любовью к философии, а из философов можно припомнить очень много таких, что стремились к жизни на чужой счет и до сего дня питают любовное к ней влечение.

Т и х и а д. Кто же из философов мог, по твоему мнению, стремиться к жизни прихлебателя?

П а р а з и т. Кто именно, Тихиад? Да те самые, которых ты и сам знаешь и разыгрываешь предо мною незнайку, как будто отсюда возникает для них какой-то позор, а не слава.

Т и х и а д. Клянусь Зевсом, Симон, не знаю. Я нахожусь в совершенном недоумении: кого бы ты мог назвать...

П а р а з и т. Дорогой мой, ты, кажется, даже не слыхал о сочинениях, в которых описана жизнь этих людей, потому что иначе ты, конечно, припомнил бы тех, кого я имею в виду.

Т и х и а д. И все-таки, ради Геракла: я жажду услышать, кто же они?

П а р а з и т. Я перечислю их тебе и покажу, что это — не худшие, а напротив, по моему мнению, — лучшие из философов, и притом те, о ком ты менее всего думаешь.

32. Итак, сократовец Эсхин, тот самый, который, написав длинные и изящные рассуждения, когда-то прибыл на Сицилию, прихватив свои писа-

ния, рассчитывая, не сможет ли он, благодаря им, стать известным тирану Дионисию. Прочтя ему своего «Мильтиада» и добившись успеха, Эсхин в дальнейшем осел в Сицилии, кормясь от стола Дионисия и сказав «прости» своему сократовскому времяпрепровождению.

33. Ну, а Аристипп из Кирены — разве он не знаменитый, по-твоему, философ?

Т и х и а д. Еще бы не знаменитый!

П а р а з и т. А между тем и он, тогда же, проводил жизнь в Сиракузах, живя за счет Дионисия. Из всех нахлебников он пользовался наибольшим расположением Дионисия, и понятно: он больше, чем кто-нибудь, был рожден для этого искусства, так что Дионисий ежедневно посылал к нему своих поваров, чтобы они чему-нибудь от него научились. Аристипп, конечно, был достаточным украшением нашего искусства.

34. А ваш высокопочтенный Платон — и он с тою же целью прибыл в Сицилию. Однако, прожив немного дней за счет тирана, он пал по врожденной своей неспособности удержать место за чужим столом. Вернувшись обратно в Афины, подъявши новые труды и подготовив себя, Платон вновь, вторичным походом, поплыл на Сицилию; пообедав несколько дней, опять пал по собственному невежеству. Эта неудача Платона в Сицилии напоминает мне подобную же неудачу Никия.

Т и х и а д. А кто же, милейший Симон, все это рассказывает?

35. П а р а з и т. Многие, и, между прочим, писавший о музыке Аристоксен, достойный большого удивления, так как он и сам был паразитом при Нелее. О том, что Еврипид до самой смерти жил за счет Архелая, а Анаксарх — за счет Александра, ты, конечно, знаешь.

36. И Аристотель начинал заниматься искусством жить на чужой счет, но не пошел дальше начала, как и в других искусствах.

37. Итак, философов, усердно занимавшихся нашим искусством, я показал тебе, как было в действительности. Назвать же паразита, который пожелал бы заняться философией, не сможет никто.

38. Однако, если счастье в том, чтобы не голодать, не мучиться жаждой, не страдать от холода, то никто другой не обладает им, кроме паразита. Можно найти немало философов, мерзнущих и голодающих, паразита же такого не найдешь. Иначе он не был бы паразитом, а был бы жалким человеком, нищим и похожим на философа.

39. Т и х и а д. Об этом достаточно. Но как ты докажешь, что искусство паразита и в остальном превосходит риторику и философию?

П а р а з и т. В жизни людей, мой милый, времена меняются: бывает, полагаю я, время мирное, бывает — военное. В этих условиях со всей необходимостью должны проявлять себя искусства и люди, ими владеющие, показывать, что они собой представляют. Сначала, если угодно, рассмотрим время военное, рассудим, какие люди, кто в отдельности, будут наиболее полезны самому себе, и все вместе — государству.

Т и х и а д. Немалое ты объявляешь состязание между гражданами. И я заранее усмехаюсь про себя, представляя, каково будет положение паразита при сравнении с философом.

40. П а р а з и т. Так вот, чтобы ты не слишком уж удивлялся и чтобы все дело не казалось тебе заслуживающим насмешки, давай представим, что в нашем собственном городе получено известие о внезапном вторжении врагов в наши пределы; необходимо выступить им навстречу и не допускать врага опустошить нашу землю.

Военачальник объявил, что все, кому позволяет возраст, должны явиться, включиться в списки и выступить, в том числе некоторые философы, ораторы и паразиты. Итак, прежде всего разделим их: необходимо тем, кто собирается облечься в доспехи, сначала обнажиться. Рассмотрим же, дорогой мой, каждого из этих мужей поодиночке и оцени тела их. Ты видишь, наверно, что одни от нужды тощи, бледны и окоченели, словно уже ослаблены ранами. Не смешно ли было бы думать, что смогут вынести сражение, рукопашную схватку, натиск врага, пыль и раны такие люди, как эти, нуждающиеся скорее в лечении?

41. А теперь вновь перенесись на эту сторону и посмотри, каков паразит с виду. Прежде всего, разве паразит не полон телом, разве не приятен цветом кожи; он не слишком смугл, но и не бледен, — одно ведь приличествует женщине, другое — рабу; разве не выглядит паразит, как все мы, смелым, с отважным взором, грозным и налитым кровью? Нехорошо выносить на войну взгляд робкий и женственный. Что же? Разве не будет такой человек и при жизни прекрасным гоппитом и разве не останется он прекрасным, если найдет себе в бою смерть?

42. Но к чему строить эти предположения, когда у нас имеются действительные примеры? Коротко говоря, ораторы и философы, которые когда-либо попадали на войну, или вовсе не решались выйти за пределы укреплений, или, если кто-нибудь из них по необходимости и становился в ряды сражающихся, он, я утверждаю это, покинув строй, обращался в бегство.

Т и х и а д. Как все это удивительно! Как мало обещает обычного! Все же говори!

П а р а з и т. Из ораторов, например, Исократ не то что на войну никогда не выходил, но и в суде даже не выступал из робости, как я полагаю, так как от страха у него не хватало голоса. Кто еще? Разве Демад, Эсхин и Филократ тотчас же по объявлении войны Филиппом не предали из страха город и себя самих Филиппу и не остались в Афинах, постоянно держа сторону Филиппа в делах государственных? Подобно этому, если какой-нибудь другой афинянин вел бы войну с таким же успехом, то и он становился для них настоящим другом. А Гиперид, Демосфен и Ликург, казавшиеся такими храбрыми и в народных собраниях всегда подымавшие шум и брань против Филиппа, — что дельного совершили они в войне против него? Гиперид и Ликург не вступали в бой, более того — они совершенно не отваживались хотя бы немного выглянуть из-за городских ворот; так они и сидели внутривенными жителями, даже когда город уже был осажден врагами, и продолжали накапливать свои мыслишки и решения. А тот, кто возглавлял их всех и постоянно заявлял в народных собраниях:

«Филипп — чума, идущая из Македонии. Пусть никто не покупает даже раба из этой страны», — этот человек, отважившись выступить в Беотию, прежде чем оба лагеря встретились и перешли в рукопашную, бросил свой щит и бежал. Неужели ты никогда раньше ни от кого не слышал об этом, хотя это даже чересчур известно всем, и не только афинянам, но и фракийцам и скифам, — откуда был родом этот негодник?

43. Т и х и а д. Я знаю. Но все это — ораторы, упражнявшиеся в произнесении речей, а не в доблести. Посмотрим, что ты скажешь о философах. Я уверен, что у тебя нет оснований обвинять их, подобно первым.

П а р а з и т. Напротив, Тихиад, эти люди, ежедневно рассуждающие о храбрости и делающие избитым самое слово «добродетель», окажутся еще больше, чем ораторы, и трусливыми, и изнеженными. Рассуди сам. Прежде всего никто не назовет ни одного философа, который погиб бы в бою. Либо они вовсе не выступали в поход, либо, если и выступали, то все обращались в бегство. Антисфен, Диоген, Кратет, Зенон, Платон, Эсхин, Аристотель и всякий другой из их со товарищей — даже и не видели военного строя. Единственный же, отважившийся выступить в битву при Делии, их премудрый Сократ, обративший тыл перед Парнетом, сбежал оттуда в палестру Таврея: ему казалось гораздо приятнее, чем сражаться с храбрым спартиатом, сидя с юнцами, болтать и предлагать, кому придется, хитроумные вопросы.

Т и х и а д. Дорогой мой, это я слышал уже и от других, притом от людей, которые, клянусь Зевсом, не хотели ни высмеивать, ни бранить философов, — так что, по-видимому, ты нисколько не оклеветал их в угоду своему искусству.

44. Но сейчас, если можно, скажи также о том, каков оказывается на войне паразит и вообще сливет ли кто-нибудь из древних паразитом.

П а р а з и т. Однако, дружище, где же ты встретишь такого, — хотя бы вовсе необразованного человека, — который был бы столь мало сведущ в Гомере и не знал бы, что у него самые доблестные герои — паразиты? В самом деле: знаменитый Нестор, из уст которого лились медвяные речи, состоял паразитом за столом самого царя. И ни Ахилл, тот, кто казался, да и был, в самом деле, всех породистей телом, ни Диомед, ни Аякс не заслужили от Агамемнона таких похвал и такого восхищения, как Нестор: он не желает себе ни десять Аяксов, ни десять Ахиллов, но говорит, что давно бы уже была взята Троя, если бы было у него десять воинов таких, каков, несмотря на преклонные годы, был этот его паразит. Равно и об Идомее, правнуче Зевса, Гомер говорит как о паразите Агамемнона.

45. Т и х и а д. Читал я все это и сам. И, однако, не могу еще сказать, чтобы мне было ясно, каким образом оба названных тобой мужа состояли у Агамемнона в прихлебателях.

П а р а з и т. Припомни, дорогой мой, те слова, которые Агамемнон сам говорит Идомею.

Т и х и а д. Какие слова?

П а р а з и т.

*...Всегда твой кубок наполнен,
Так же, как мой, чтобы пить, когда того требует сердце.*

Ведь о «всегда наполненном кубке» сказано здесь не потому, что перед Идомением постоянно стояла наполненная вином чаша — сражался ли он или спал, но потому, что он один пользовался правом обедать вместе с царем пожизненно, а не по особым приглашениям в определенные дни, как остальные воины. Так, про Аякса поэт рассказывает, что после доблестного поединка с Гектором ахейцы его

В царский шатер повели к Агамемнону... —

где он и удостоился, наконец, чести отобедать за царским столом. Между тем Идоменией и Нестор, как я уже сказал, изо дня в день обедали вместе с царем. Нестор в особенности, кажется мне, был прекрасным мастером получать лакомые куски со столов царей, так как не при особе Агамемнона он впервые занялся этим делом, но много раньше, при Кенее и Эксадии. И можно думать, что он не расстался бы с жизнью паразита, если б не умер Агамемнон.

Т и х и а д. Это, действительно, достойный уважения паразит! Может быть, ты знаешь и еще кое-кого в том же роде — тогда, пожалуйста, расскажи и о них.

46. П а р а з и т. Разве, Тихиад, Патрокл не был паразитом при столе Ахилла, хотя он был юношей, который и духом, и телом не уступал никому из прочих эллинов? И мне кажется, что, судя по его подвигам, Патрокл был не хуже самого Ахилла: ведь это он отбросил Гектора, когда тот уже выломал ворота и бился внутри стены, у самых кораблей. Патрокл потушил огонь, уже охвативший корабль Протесилая, хотя на нем находились герои не из последних: сын Теламона Аякс и Тевкр, один — славный копье-еносец, а другой — лучник. Он убил многих варваров, — среди них Сарпедона, рожденного Зевсом, он, кормившийся от трапезы Ахилла! И умер он не так, как другие: в то время как даже Гектора убил Ахилл, один на один, а самого Ахилла — Парис, этого прихлебателя сразили бог и двое мужей. Испуская последнее дыхание, Патрокл вымолвил слово не такое, как богоравный Гектор, который, припадая к Ахиллу, молил, чтобы труп его был отдан домашним, — нет, речи того были достойны паразита. Ты их помнишь?

*Если бы двадцать подобных тебе супротив меня стали,
Все от копья моего погибли, легли бы на месте.*

47. Т и х и а д. Все это так. Но попытайся доказать, что Патрокл не был другом Ахилла, а именно состоял паразитом при нем.

П а р а з и т. Я могу, Тихиад, предложить тебе подлинные слова самого Патрокла о том, что он был паразитом.

Т и х и а д. Удивительные ты говоришь вещи!

П а р а з и т. Так вот, послушай:

*Кости мои, о Ахилл, не клади от своих в отдаленны:
Вскормленный в вашем доме, пусть лягу я рядом с тобою.*

И другой раз, несколько ниже:

*«Я, — говорит он, — был принят Пелеем,
Вырос на хлебе его и на службу поставлен к Ахиллу»,*

то есть стал выполнять обязанности паразита. Ведь если бы Гомер хотел назвать Патрокла другом Ахилла, он не говорил бы о «службе», так как Патрокл был свободным человеком. Кого же разумеет поэт под «служителями», раз он не называет их ни рабами, ни друзьями? Паразитов, — это очевидно. Так и Мериона, что состоял при Идомеене, он тоже называет «служителем», как, я полагаю, называли тогда паразитов. Но посмотри: и в этом случае Идомеене, бывшего сыном Зевса, он не удостоивает названия: «равный Аресу», а говорит это о Мерионе, его паразите.

48. Да что там! Аристокитон, человек простой и небогатый, как утверждает Фукидид, — разве не был он паразитом при Гармодии? Больше того: его возлюбленным? Ибо это вполне естественно, чтобы разделяющие трапезу делили и ложе тех, кто их кормит. Итак, вот еще один паразит, который вырвал для свободы город афинян из рук тирана и ныне, отлитый в бронзе, стоит на площади рядом с тем, кого любил. Ты видишь теперь, какие люди встречались среди прихлебателей.

49. А как ты предполагаешь: каков окажется паразит на войне? Не кажется ли тебе, прежде всего, что такой человек, только плотно позавтракав, явится занять свое место в боевом строю, как это признает Одиссей: он говорит, что на войне идущего сражаться надо накормить, если даже ему сейчас же, с зарею, придется вступить в сражение. И в то время как другие воины заняты от страха кто чем: один поплотнее прилаживает шлем, другой надевает свой панциришко, третий просто дрожит, предвидя ужасы сражения, — паразит спокойно кушает, светел лицом и с выступлением войска тотчас оказывается в первых рядах сражающихся. А хлебосольный хозяин, глядишь, пристроился позади паразита, и, как Аякс Тевкра, прикрывает его плетеным щитом и защищает от летящих стрел, открывая себя самого: ибо он стремится спасти своего прихлебателя скорее, чем самого себя.

50. И если даже случится паразиту пасть в битве, то, уж конечно, ни начальнику, ни рядовому воину не придется стыдиться за его труп: кажется, что, дородный и рослый, он возлежит прекрасно среди прекрасно-го пира. И очень стоит взглянуть на растянувшееся рядом с ним тело фи-

лософа: сухой, грязный, с длинной и тощей бородой, тщедушный человек, который умер раньше, чем началась битва. Кто не почувствует презрения к такому городу, видя, сколь злосчастны его щитоносцы? Кто не подумает, видя расprostертыми этих людишек, желтых и волосатых, что город, имея недостаток в защитниках, освободил для войны заключенных в тюрьмах негодяев? Так вот каковы оказываются на войне прихлебатели по сравнению с риториками и философами.

51. И в мирное время, на мой взгляд, расстояние между прихлебательством и философией увеличивается настолько же, насколько сам мир выгодно отличается от войны.

Начнем, если хочешь, с обзора различных областей, где пребывает мир.

Т и х и а д. Пока еще не понимаю, к чему ты, собственно, клонишь речь. Но посмотрим тем не менее.

П а р а з и т. Итак, разве не прав я буду, назвав такими местами в городе рынок, суды, палестры, гимназии, охоты и пиршества?

Т и х и а д. Совершенно правильно.

П а р а з и т. Ну, на рынок и в суды, конечно, не пойдет паразит, потому что, полагая я, каждое из этих мест больше подходит для кляузников, и вовсе нет надлежащей меры в том, что там совершается; напротив, паразит ищет случая быть в палестре, гимназии, на пирах и является единственным украшением этих мест. В самом деле: кто из философов или раторов, обнажив свое тело в палестре, выдержит достойно сравнение с паразитом? Кто из них, если встретить его в гимназии, не окажется, напротив, позором для этого места? И, уж конечно, никто из них не выдержит уединенной встречи с глазу на глаз со зверем, тогда как паразит спокойно выжидает его приближения и без затруднения оказывает врагу прием, так как он привык на обедах глядеть на него свысока; ни олень, ни ошетилившийся кабан не лишат его присутствия духа, и если кабан острит клык против паразита, то и паразит ответно точит зубы на кабана. Зайцев он преследует лучше, чем борзые. А на пиру? Кто решится соперничать с паразитом в уменьи и пошутить, и покушать? Кто лучше развеселит гостей? Он ли, этот запевала и остряк, или угрюмый человек, возлежащий в грубом плаще, смотрящий в землю, как будто пришел он на похороны, а не на веселую пирушку? Что до меня, то философ среди пира кажется чем-то вроде собаки в бане.

52. Но оставим это и перейдем теперь к рассмотрению самой жизни паразита, сравнивая ее с существованием философа. Итак, прежде всего мы увидим, что паразит всегда презирает славу и ему нет никакого дела до того, что думают о нем люди. Напротив, риторы и философы, и притом не отдельные среди них, но решительно все, терзаемы сомнением и честолюбием, — да не только честолюбием, но, что еще того позорнее, жаждою денег. Паразит относится к деньгам с таким равнодушием, какого другой не проявит, пожалуй, даже к камешкам на морском берегу. Паразит не видит никакой разницы между презренным золотом и блеском огня.

А риторы и, что еще ужаснее, люди, выдающие себя за философов, питают к золоту такую несчастную страсть, что среди наиболее знаменитых философов настоящего времени, — о риториках уж и говорить нечего, — один, творя суд, уличен был во взятках, другой требует от императора платы за общение с ним и не стыдится, будучи уже в преклонном возрасте, покидать ради платы родину и, как какой-нибудь пленный индус или скиф, превращаться в наемника, не стыдясь этого имени, но принимая его.

53. Найдутся, впрочем, кроме этих, и другие страсти, владеющие философами: печаль и гнев, зависть и всяческие вожеления. А паразит стоит вне всего этого: он не гневается, терпеливо переносит неприятности и не имея никого, против кого бы он мог вспылать гневом, а если иногда и рассердится, то гнев паразита никого не тяготит, не делает угрюмым, но, напротив, вызывает смех и развлекает собравшихся. Впрочем, огорчаться паразиту всего менее свойственно; это — услуга, которую оказывает ему его искусство: не иметь предлога для огорчения. В самом деле, нет у прихлебателя ни денег, ни имени, ни рабов, ни жены, ни детей, — словом, ничего такого, утрата чего неизбежно огорчает всякого, кто обладает всеми этими благами. И паразит не ищет не только славы или богатства, но даже и юной красоты.

Т и х и а д. Ты упускаешь из виду, Симон, что свойственно огорчаться недостатком съестного.

П а р а з и т. Ты упускаешь из виду, Тихиад, что с самого начала не является паразитом тот, кто испытывает нужду в пище. Ведь и храбрец, нуждающийся в храбрости, — не храбрец, и разумник, которому недостает ума, — не разумен. Так и паразит: иначе он вовсе не был бы паразитом. А перед нами сейчас стоит исследование вопроса о том, кто действительно является паразитом, а не о том, кто им не является. И как храбрый только при наличии храбрости, а умный только при наличии ума, так и прихлебатель будет прихлебателем только при наличии прихлебательства. Ибо, если такового не имеется, значит, речь идет о чем-то другом, а не о паразите.

Т и х и а д. Итак, никогда паразит не будет испытывать нужды в пропитании?

П а р а з и т. Разумеется. А следовательно, ни в этом, ни в других случаях не возникает у него поводов к огорчению.

55. К тому же, все вообще философы и риторы одержимы постоянным страхом; ты встретишь их по большей части шествующих с дубинкой, которой они, конечно, не стали бы вооружаться, если б не боялись чего-то; и двери они запирают крепко-накрепко, очевидно, из боязни, как бы ночью кто-нибудь не замыслил против них дурного. А паразит притворяет дверь своего домишка кое-как, только бы не распахивалась она от ветра, и шум, возникший ночью, беспокоит его не больше, чем отсутствие всякого шума. Возвращаясь домой в безлюдьи, без меча совершает он путь свой, — ибо никогда не боится ничего. Философов же я не раз уже видел, как они снаряжали лук, хотя не было никакой опасности: недаром философы носят с собою дубинки, даже направляясь в бани или на завтрак.

56. Никто, впрочем, не может обвинить паразита в любодеении, насилии, грабеже или вообще в нанесении кому-нибудь какой-нибудь обиды: такой человек не был бы вовсе паразитом и его поступок был бы направлен против него самого. Так, если паразит окажется осквернителем брака, то, совершив преступление, получает он и новое наименование, соответствующее совершенному. Подобно тому как дурной человек приобретает прозвище не «хороший», но, напротив, «негодный», — так точно, полагаю я, и паразит, если он совершит преступление, теряет уже это прозвище, «паразит», и получает новое, смотря по содеянному. Подобным же преступлениям риторы и философов числа нет; мы и сами видим, как они совершаются в наши дни, но, помимо этого, и в книгах находим оставленные нам воспоминания об учиненных ими обидах. Недаром существуют защитительные речи Сократа, Эсхина, Гиперида, Демосфена и вообще чуть ли не всех ораторов и мудрецов, — но нет ни одного защитного слова паразита, и никто не сможет указать случая, когда бы против паразита было возбуждено обвинение.

57. Итак, видит Зевс, жизнь паразита лучше жизни ораторов и философов. Но, может быть, зато смерть паразита будет хуже? Разумеется, нет. Напротив: и смерть его гораздо счастливее. Мы ведь знаем, что если не все, то большинство философов злою за свое зло погибли смертью: одни по приговору суда, уличенные в тяжчайших преступлениях, умерли от яда, другие были сожжены заживо, третьи зачали от задержания мочи, четвертые погибли в изгнании. Однако никто не сможет сказать, чтобы когда-нибудь подобною смертью умер паразит, — напротив, он находит себе блаженнейший конец среди яств и питья. Правда, кажется иногда, что тот или другой погибает насильственной смертью, но в действительности это — несваренье желудка.

58. Т и х и а д. Довольно: ты выиграл свое дело против философов в защиту паразитов. Постарайся, однако, разъяснить мне еще следующее: является ли прихлебательство приятным и полезным делом также и для тех, кто кормит паразитов? Мне кажется, что богатые делают это, благодетельствуя им из милости, и это ложится позором на получающего пропитание.

П а р а з и т. Как ты недалек, Тихиад, если не можешь понять, что богатый человек, имея он сокровища самого Гига, является бедняком, если пищу вкушает он в одиночестве, и кажется нищим, когда выступает без сопровождения паразита. И как воину меньше чести без доспехов, одежде — без пурпуровой полосы, коню — без сбруи, так и богатч без паразита кажется незначительным и слишком простым. И, конечно, паразит украшает богача, богач же никогда не украшает паразита.

59. И вообще нельзя поставить в укор паразиту, как делаешь ты, что питается паразит от стола богача. Очевидно, ты думаешь, что здесь худший живет за счет лучшего, а между тем, в действительности, содержать паразита полезно для богатого человека, которому не только украшением служит паразит, но и доставляет ему большую безопасность, выступая

его телохранителем. Ибо не так-то легко осмелится кто-нибудь поднять руку на богача и напасть на него, видя стоящего подле него паразита; равно и от яда никогда не умрет тот, при ком состоит паразит: кто дерзнет умыслить на него злое, когда паразит первым пробует все кушанья и напитки? Таким образом богач находит в паразите не только свой блеск, но и спасение от величайших опасностей. Этот прихлебатель из преданности подвергает себя всяким опасностям и ни за что не согласится, чтобы богач принимал пищу один, но предпочтет лучше умереть, кушая с ним вместе.

60. Т и х и а д. Мне кажется, Симон, ты всесторонне исследовал вопрос и не упустил ничего, говоря про свое искусство. Однако ты утверждал, что выступаешь без подготовки, а между тем говорил как человек, прошедший школу у лучших ораторов. Мне хочется узнать еще только одно: не позорно ли самое название прихлебателя-паразита?

П а р а з и т. Я дам тебе ответ. Смотри сам, удовлетворит ли он тебя. Постарайся только опять ответить на мои вопросы, как ты сочтешь для себя лучше всего. Что называли наши предки словом «хлеб»?

Т и х и а д. Всякую вообще пищу.

П а р а з и т. Что же означает «хлебать»? Не то же ли самое, что «есть», «кушать»?

Т и х и а д. То же самое.

П а р а з и т. Но тогда и спорить не о чем. Разве «при-хлеб-ательствовать» не значит просто — «при» ком-нибудь «кушать»?

Т и х и а д. Вот это именно, Симон, и кажется мне позорным.

61. П а р а з и т. Ну, тогда снова ответь мне: что, по-твоему, почетнее и что ты предпочтешь, если, положим, на состязании будет предложено тебе на выбор: плыть или при-плыть?

Т и х и а д. Предпочту приплыть первым.

П а р а з и т. Бежать или при-бежать?

Т и х и а д. Прибежать.

П а р а з и т. Скакать верхом или при-скакать?

Т и х и а д. Прискакать.

П а р а з и т. Колоть или при-калывать?

Т и х и а д. Прикалывать.

П а р а з и т. Тогда, подобным же образом, не лучше ли будет не хлебать, а при-хлеб-ывать?

Т и х и а д. Я вынужден с тобой согласиться.

И на будущее время, как школьник, буду при-ходить к тебе, утром и после завтрака учиться у тебя твоему искусству. А ты не скупись на обучения, как требует справедливость, ибо я первый делаюсь твоим учеником. Недаром говорят, что даже матери больше любят своих первенцев.



УЧИТЕЛЬ КРАСНОРЕЧИЯ

1. Ты желаешь узнать, милый юноша, как тебе сделаться ритором и приобрести высокое и всеми чтимое имя «софиста». Ты говоришь, что не стоит жить, если не удастся тебе овладеть столь великою силою слова, чтобы необоримым стать и непобедимым противником, чтобы привлекать к себе восхищение и взоры всех, чтобы послушать тебя почиталось у эллинов достойным всяких усилий. Конечно, ведущие к этой цели пути, и как тебе вступить на них, хотел бы ты также узнать. Я не собираюсь делать из этого никакой тайны, мой мальчик, особенно, когда кто-нибудь, будучи сам еще молод и устремляясь к прекрасному, но не зная, как достигнуть его, придет и попросит, подобно тебе, о таком святом деле, как добрый совет. Итак, выслушай хотя бы то, чему в силах научить тебя я, и питай бодрую уверенность: скоро ты станешь искусным мужем, способным уразуметь все потребное и истолковать его. От тебя самого зависит, захочешь ли ты впредь оставаться верным тому, что услышишь от нас, трудолюбиво упражняться и смело идти своей дорогой, пока не достигнешь цели.

2. Немалую ты хочешь поймать добычу и не незначительного требующую рвения, но такую, ради которой стоит потрудиться усиленно и ночи не спать и все, что угодно, вытерпеть. Посмотри, сколько людей, бывших дотоле ничем, силою красноречия оказывались и славными, и богатыми, и, клянусь Зевсом, даже высокого происхождения.

3. Не бойся, однако, и не отчаивайся перед огромностью питаемых тобою надежд, думая, будто какие-то бесчисленные тяжелые труды лежат впереди. Мы поведем тебя не какой-нибудь каменистой стезей, кру-

тою и полною потом, чтоб, истомленный, ты повернул вспять с середины пути. Тогда мы ничем не отличались бы от прочих наставников, которые указуют ученикам обычную дорогу — долгий и тяжкий подъем, почти всегда родящий отчаянье. Нет, тем и отличен будет от прочих совет, преподанный нами, что будешь ты подыматься приятно и наикратчайшей дорогой, проезжей и ровной, с радостью и с негой, по цветущим лугам, в постоянной тени; шагая неспешно и не истекая потом, взойдешь на вершину. Ты победу одержишь без усталости и, Зевсом клянусь, возляжешь, пируя. С высоты будешь ты спокойно смотреть, как, задыхаясь, те, что обратились на иную стезю, карабкаются, выбиваясь из сил, находясь еще в самом низу, у подножья горы, опираясь на недоступные скользкие кручи, подчас низвергаясь вниз головою и многие раны приема на острых выступах скал. А ты, уже давно достигший вершины, увенчанный венком, блаженнейшим будешь из смертных, получив от искусства оратора все возможные блага в короткое время и только что не во время сна.

4. Обещанья мои, как ты видишь, обширны. Но ты, во имя Зевса нашей дружбы, не питай недоверья ко мне, когда я обещаю предоставить тебе все это и в наилегчайшем и, вместе, в наимприятнейшем виде. Ведь если Гесиод, взяв несколько лавровых листков с Геликона, тотчас же из пастуха превратился в поэта и, став одержимым, по внушению Муз воспел родословную богов и героев, то неужели оратором, далеко уступающим возвышенной речи поэта, стать невозможно в короткое время, если укажет тебе кто-нибудь самый короткий к этому путь?

5. Я хочу рассказать тебе вдобавок об открытии одного сидонского купца, которое не осуществилось из-за недоверия слушателя и пропало без пользы. Это случилось, когда уже властвовал над персами Александр, низложивши Дария после битвы при Арбелах, и когда во все концы царства должны были мчаться гонцы, разнося приказы Александра. А из Персии в Египет дорога была долгая: нужно было обходить горы, потом идти через Вавилонию в Аравию, затем пересекать большую пустыню, и только проделав двадцать длинейших переходов, проворный гонец достигал в конце концов Египта. Беспокойло это Александра, так как до него доходили слухи, что среди египтян происходит какое-то движение, и он не мог поскорее сообщить сатрапам свою волю относительно жителей. Вот тут-то один сидонец, купец, сказал: «Я, царь, обещаю тебе показать недолгий путь из Персии в Египет: надо перевалить через эти горы; а перевалить их можно в три дня, — тут тебе и будет Египет». Так это и было в действительности. Но только Александр не поверил купцу, а счел его пустым болтуном. Так необычность обещанья вызывает по большей части недоверие в людях.

6. Но да не случится с тобою этого! Испробуй, и убедишься, что без всякой помехи ты сможешь считать себя ритором, в один, да и то неполный, день перелетев через гору из Персии в Египет. Но сперва я намерен, как знаменитый Кебет, словами нарисовав картину, показать тебе обе дороги: ибо два пути ведут к Риторике, столь безмерно, как мне кажется,

тобою любимой. Итак, пусть Риторика пребывает на вершине горы, прекрасная ликом и телом, держа в правой руке рог сверхизобилия Амалфеи, отягченный всевозможными плодами; по другую же сторону от Риторики видится мне стоящим Плутос — Богатство, весь золотой и желанный. Также Слава и Сила пусть станут подле, а множество Похвал, подобных маленьким Эротам, пусть летят и сплетаются в венок, со всех сторон окруживший красавицу. Ты, наверное, видел на картинах изображения Нила? Сам он покоится на крокодиле или гиппопотаме, которых так много водится в нем, а вокруг него резвятся такие маленькие ребяташки, — «локотками» зовут их египтяне; вот так и наша Риторика окружена Похвалами. Приблизься же, страстный любовник, ты, который стремишься, конечно, как можно скорей очутиться на вершине, чтобы вступить в брак с любимой и овладеть всем, что видишь: и богатством, и славой, и хором похвал, — ибо по закону это все принадлежит супругу.

7. Но когда ты подойдешь ближе к горе, ты оставишь в первое мгновение всякую мысль о восхождении: гора покажется тебе такой же недоступной, какой представилась сначала гора Аорн македонянам, которые увидели ее отвесные со всех сторон скалы. Казалось просто, что даже и птице нелегко перелететь через скалы и, чтобы завладеть ими, нужен новый Дионис или Геракл. Так тебе покажется сначала. Но вот, немного спустя, ты замечаешь две разных дороги: одна из них — похожая скорее на тропинку, узкая, тернистая и каменистая, своим видом обьявляющая путнику об ожидающей его сильной жажде и обильном поте. Впрочем, Гесиод предупредил меня, изобразивши очень хорошо этот путь, так что в моем описании нет больше нужды. Вторая — широкая дорога, идущая по цветущим лугам, богатая влагой, — словом, такая, какую я тебе несколько раньше изобразил. А потому я не буду по нескольку раз повторять то же самое, чтобы не задерживать тебя, так как за это время ты можешь уже стать оратором.

8. Одно, Впрочем, я решаюсь добавить — именно: та, первая, каменистая и крутая тропинка имеет немногочисленные следы пешеходов, да к тому же очень давние. Я и сам, к сожалению, когда-то вступил на нее и претерпел без всякой нужды столько трудов! Вторая же дорога, ровная, без единого изгиба, издали открывалась мне. Я видел, какова она, но не пошел по ней, так как, будучи еще молод, не понимал лучшего и думал, что прав наш поэт, утверждающий, будто только из трудов рождаются блага. Но это не было правдой. Ибо я вижу, что многие без всяких усилий удостоились большего, нежели я, — одной лишь удачей в выборе слов и путей. И ныне ты, подойдя к началу, усомнишься, я знаю, — да ты уже сомневаешься, на какую из двух дорог тебе вступить. Что тебе сделать теперь, чтобы наилегчайшим путем взойти на вершину и стать блаженным, вступив в брак с милой, и начать во всех возбуждать восхищение? Я скажу тебе это. Ибо довольно того, что я сам обманул и пострадал. У тебя же да уродится жатва без сева, без вспашки, как в золотой век Крона!

9. В самом начале подойдет к тебе крепкий мужчина, жилистый, с твердою поступью, с сильным загаром от солнца на теле, с мужественным и бодрым взором, проводник по каменистой дороге, и станет болтать тебе всякий вздор, приглашая следовать за ним, показывая следы Демосфена, Платона и еще кое-кого — огромные следы, каких теперь не бывает, но уже полустертые от времени и большею частью еле заметные. Проводник станет говорить тебе о будущем счастье и законном браке с Риторикой, если только ты пойдешь по пути тех, уподобившись плясунам на канате: ибо стоит тебе лишь чуть-чуть оступиться, или сделать неверный шаг, или наклониться больше, чем надо, на одну сторону, потеряв равновесие, и ты полетишь вниз головою с этой прямой и к браку ведущей дороги. Затем проводник прикажет тебе преисполниться ревностью к тем знаменитым мужам далекого прошлого и предложит образцы речей, не первой уже свежести и нелегкие для подражания, как это свойственно произведениям старых мастеров, какого-нибудь Гегесия или школы Крития и Несиота: сжатым, крепким, сухим, с четко очерченным построением речи. Необходимыми и неизбежными условиями будет труд, бессонные ночи, вода вместо вина и упорство: без этого, скажет твой проводник, невозможно пройти эту дорогу. Но несносней всего то, что и срок странствия он поставит тебе очень большой — это будут долгие годы, исчисляя их не днями, не месяцами, а целыми олимпиадами, так что, послушав, можно заранее устать и с отчаянья сказать навсегда прости желанному блаженству! Проводник же, сверх того, и плату требует немалую за все эти беды, и даже не согласен вести тебя, не получив вперед значительной ее части.

10. Вот что скажет тебе этот хаустун, этот поистине древний человек, выходец из царства Крона, мертвецов далекого прошлого выставляющий для подражания, предлагающий откапывать слова, давно схороненные, будто какую-то высшую ценность, и призывающий к соревнованию с сыном мастера, выделяющего мечи, или с сыном учителя Атромета, — и когда же? Среди глубокого мира, когда не грозят нам ни Филипп своим наступлением, ни Александр своими указами, как во времена тех ораторов, что придавало некоторый смысл их выступлениям. Твой проводник не знает, какая ныне проложена новая дорога: краткая, легкая, прямая дорога ораторского искусства. Не слушайся же его и не обращай на него внимания, чтобы, уведя с собою, он не свернул тебе где-нибудь шею или не заставил, в конце концов, состариться до времени среди тяжких трудов. Но если ты действительно влюблен и хочешь скорее сочетаться с Риторикой, пока ты еще в расцвете сил, чтобы и ты для нее оказался желанным, то распростишься навсегда с этим волосатым и чересчур уж мужественным человеком. Оставь его! Пусть он карабкается кверху и тащит за собой, кого сможет обмануть, задыхающихся и обливающихся потом.

11. Ты же, вступив на другую дорогу, встретишь здесь много разных людей. Среди них встретится тебе некий муж, премудрый и преизящный, с раскачивающейся походкой, с опущенной шеей, с женственным взглядом и медовым голосом, дышащий благовониями, кончиком пальца поче-

сывающий голову, расправляя редкие, правда, но завитые и гиацинтово-темные волосы — словом, пренежнейший Сарданапал, Кинир или сам Агафон, прелестный поэт, сочинитель трагедий. Говорю тебе, чтобы ты узнал его по этим приметам и чтобы не осталось тобою незамеченным существо столь божественное и любезное Афродите и Харитам. Но что я? Пусть глаза твои будут закрыты: стоит ему подойти и сказать одно слово, открывши уста, преисполненные гиметтского меда, и произнося обычные слова, — и ты поймешь, что перед тобою не один из нас, питающихся плодами земли, но некое чудесное видение, вскормленное росой и амбросией. Приблизься к нему, предайся ему, и тотчас же ты станешь и оратором, и знаменитостью и, как выражается он, сделаешься владыкой слова, и притом без трудов, несясь во весь опор на четверке коней красноречия. Он примет тебя в число учеников и наставит прежде всего в следующем.

12. Впрочем, пусть лучше поэт сам говорит с тобою. Ибо смешно было бы мне слагать речь от лица такого оратора: я, конечно, слишком ничтожный актер, чтобы играть столь великих и необыкновенных людей, и, пожалуй, споткнувшись, в куски: разобью героическую маску принятой мною роли. Итак, вот что сказал бы Агафон тебе, расчесав остатки длинных кудрей, улынувшись, как всегда, изяшно и сладко, с ласкою в голосе, подражающей героиням комедии — какой-нибудь Автотаиде, Мальтаке или Гликере, ибо все, что мужественно, — неотесано, грубо и недостойно нежного и обаятельного оратора.

13. Итак, Агафон молвит, сверх меры скромно говоря о самом себе: «Уж не пифиец ли, мой милый, направил тебя ко мне, назвавши меня лучшим из ораторов, подобно тому как некогда Херефонту, его вопросившему, бог указал мудрейшего из живших в ту пору людей? Если же не богом ты послан, но сам пришел, привлеченный моею славой, слыша, что все находится в свержизумлении перед моими речами, воспевают хвалы мне, восторгаются молча или робко склоняются ниц, — о, тогда убедишься тотчас же, к какому одержимому богом мужу ты пришел! Не думай увидеть нечто такое, с чем сравняться могло бы то-то или то-то, — нет, пред тобою возникнут сверхгиганты, превыше Тития, Ота и Эфиальта, сверхприродные и чудовищные создания: ибо сверхгромогласно прозвучат мои речи, покрывая прочих ораторов, как труба заглушает флейту, кузнечик — пчелу и хор — запевалу.

14. Но ты ведь и сам хочешь сделаться ритором. Что же? И этому ты легче, чем от кого-нибудь, научишься от меня: только следуй, моя милая забота, тому, что скажу я, будь во всем ревностен и неукоснительно блюди мои правила, которыми я повелю тебе пользоваться. А главное, не медли: иди вперед без всяких стеснений и не робей, если ты не посвящен в те предварительные и подготовительные знания, из которых другие, безрассудные и глупые, люди с превеликим трудом строят себе дорогу к искусству оратора: ни одно из них тебе не понадобится. Нет, «входи с немтыми ногами» — поговорка гласит, — и никакого ты не потерпишь ущерба, если не будешь знать даже того, что знают все, — не сумеешь букв

написать. Ибо оратор — нечто совершенно иное, и подобные вещи его не касаются.

15. Но сначала скажу о том, что нужно тебе взять с собой в дорогу из дому, выступая в поход, и как снарядиться, чтобы в кратчайший срок дойти до конца. Затем, когда ты двинешься в путь, я сам пойду вместе с тобою и буду давать тебе по пути разъяснения и советы. Прежде чем солнце зайдет, ты сделаешься ритором, окажешься превыше всех прочих, подобным мне самому, который, бесспорно, является и началом, и серединой, и концом тех, чье занятие — слово. Итак, возьми с собою прежде всего запас невежества, затем — самоуверенности да еще наглости и беззастенчивости. Стыд, приличие, скромность, способность краснеть оставь дома, — это все бесполезно и даже вредит делу. Уменье кричать как можно громче и распевать без стыда и выступать походкой, подобной моей, — вот что единственно необходимо, а подчас и совершенно достаточно. И платье должно быть у тебя цветистое или белое, из тонкой, тарентской выделки, ткани, чтоб сквозь нее просвечивало тело; на ногах — аттические женские полусапожки с вырезом или сикионские башмачки, бросающиеся в глаза своим белым войлоком. Пусть за тобой следует толпа народу, — непременно держи книжку в руке. Вот что требуется от тебя самого.

16. Остальное узнаешь и услышишь уже дорогой, подвигаясь вперед. А теперь я изложу тебе правила, которым должен ты следовать, чтобы Риторика признала тебя и допустила к себе, а не заставила повернуть обратно и отправляться ко всем воронам как непосвященного и соглядатая ее таинств.

Итак, прежде всего, надо особенно позаботиться о своей наружности и о том, чтобы плащ твой был накинута красиво. Потом, набрав отовсюду пятнадцать-двадцать, не больше, аттических слов и тщательно их затвердив, держи их всегда наготове на кончике языка и, будто сладким порошком, посыпай ими всякую речь, не заботясь нисколько об остальном, даже если одно будет несходно с другим и разнородно и несозвучно. Лишь бы плащ был пурпурным и ярким, а исподнее платье может быть сшито из самой грубой шерсти.

17. Затем — непонятные и странные речения и выражения, лишь изредка употреблявшиеся старинными писателями, собери в кучу, чтобы всегда быть готовым выстрелить ими в своих слушателей. Тогда толпа будет взирать на тебя с изумлением и думать, что ты далеко превосходишь ее образованием, если баню станешь называть купелью, солнце — Ярилом, кунами — деньги, и утро — денницей. Иногда же и сам сочинишь новые и неслыханные слова, сам издавая соответственные законы для речи, чтобы тот, кто искусен в изложении мыслей, именовался благоречивым, человек рассудительный — мудродумом, а плясун — мудроруком. Если случится сделать ошибку или обмолвиться варварским словом, лечись только одним средством — бесстыдством: пусть будет у тебя всегда наготове имя какого-нибудь несуществующего и никогда не существовав-

шего поэта или историка, который-де узаконил такой оборот речи, сам будучи мужем мудрым и в безукоризненности языка достигшим высшей ступени. Впрочем, что касается старинных писателей — ты не читай их вовсе, ни болтуна Исократа, ни Демосфена, лишенного всякой прелести, ни холодного Платона, а читай произведения недавнего прошлого и так называемые «упражнения» в искусстве оратора, чтобы, запасшись ими, всегда мог кстати пустить их в дело, будто достав их из кладовой.

18. Когда же придется выступать тебе перед слушателями и присутствующие предложат составить речь такого-то содержания, на такой-то случай, — пусть все трудное у тебя порицается, представляется пустяками, за которые мужу вообще не стоит и браться; а взявшись, говори, ни о чем уже более не заботясь, все, что взбредет в голову и придет на язык, нисколько не заботясь о том, чтобы первое так и сказать во благовременьи первым, второе — следом за ним, а вслед за вторым — третье: нет, что попадаетея первым, то первое и говори, и, словом, если случится, то пусть на челе окажутся поножи, а на ноге вместо поножей — шлем. Знай погоняй, нанизывая одно на другое, только не молчи. И если в Афинах ты будешь говорить о каком-нибудь наглеце, осквернителе брака, то пусть речь идет о событиях в Индии и Экбатанах. При всяком случае должен быть Марафон и храбрец Кинегир — без них ни одна речь обойтись не может. Пусть всегда у тебя через Афон плывут корабли, а Геллеспонт переходят посуху. Пусть солнце покрывается стрелами мидян, Ксеркс обращается в бегство, Леонид возбуждает изумление всех, и пусть прочитывается надпись Отриада. Саламин и Артемисий, и Платея пусть выступают побольше и почаще. И над всем пусть господствуют и расцветают те несколько аттических слов, о которых я говорил, по-аттически такая и повторяя «конечно», хотя бы никакой в них не было надобности, ибо они хороши, даже если в них нет надобности.

19. Когда же, порою, окажется уместным запеть, пусть все у тебя поется и мелодией льется. Если же когда-нибудь случится испытать недостаток в подходящем для песни предмете, постарайся наполнить стройной гармонией хотя бы обращение к «гражданам судьям». Почаще зывай: «увы!» и «о горе!» и ударяй себя по бедрам, рычи, отхаркивайся, говоря свои речи и виляя на ходу задом. Не захотят слушатели хвалить тебя — ты начинай сердиться и бранить их; а если они подымутся с мест, в смущении, уже готовые направиться к выходу, — вели им сесть. Словом, держи себя со слушателями как настоящий тиран.

20. Для того же, чтобы слушатели дивились обилию твоих знаний, начинай свое слово с троянских дел, или, свидетель этому Зевс, еще лучше, пожалуй, — со свадьбы Девкалиона и Пирры, и потом постепенно спускайся к событиям нынешних дней. Ведь людей, понимающих дела, всегда бывает немного, и, конечно, они будут молчать из благодушия, а если и скажут что-нибудь, то покажутся прочим выступающими так из зависти. Большинство же будет дивиться твоему наряду, голосу, походке, расхаживанию взад и вперед, певучей речи, башмакам и аттическому

тканью. Видя, как ты обливаешься потом и задыхаешься, твои слушатели не смогут не поверить, что видят перед собою какого-то чрезвычайно опасного бойца словесных состязаний. Кроме того, самая быстрота речи послужит тебе немалой защитой и вызовет удивление толпы; а потому, смотри, никогда не пиши свои речи и не задумывайся во время выступлений, так как это явится несомненной уликой против тебя.

21. Твои друзья пусть всегда будут готовы вскочить с мест и уплатить за твои угощения, как только заметят, что ты близок к крушению: они должны протянуть тебе руку помощи и дать возможность в промежутке, пока будут звучать их похвалы, придумать, о чем говорить дальше: а потому позаботься и об этом, о хоре из своих людей, поющих в один голос с тобою. Так ты должен держать себя во время своих выступлений. По окончании пусть друзья провожают тебя домой как почетная стража, а ты шествуй, завернувшись в свой плащ, скрываясь от толпы и продолжая обсуждать, о чем только что говорил. При встрече с кем-нибудь наговори ему о себе всяких чудес, расхваливай себя сверх меры, надоедай вопросам и возгласами вроде следующих: «Что в сравнении со мной Пеаниец?» или: «Я, конечно, мог бы поспорить с любым из старинных ораторов!»

22. Но я чуть не упустил самого главного и необходимого для приобретения славы: надо осмеивать всех, кто выступает с речами. Если кто-нибудь говорит хорошо — утверждай, что это не его слова, а чужие, если же он говорит посредственно — брани решительно. На выступления других надо являться последним — это производит впечатление, и среди общего молчания вдруг произнести похвалу столь странную, чтобы внимание присутствующих обратилось к ней и было потревожено, чтобы все закачалось под грузом слов и почувствовали тошноту, заткнув себе уши; не часто делай одобрительные жесты рукою: это дешево. Равным образом не поднимайся с места больше, чем один-два раза, но сиди и посмеивайся, показывая тем, что тебе не очень-то нравится произносимая речь. Брань всегда найдет себе доступ к ушам ябедников, и тебе нужно только одно — действовать смелее: будь нагл и бесстыден, имей всегда наготове ложь, пусть клятва шевелится у тебя на губах, всем завидуй, всех ненавидь, пускай в ход злословие и правдоподобную клевету. И тогда ты в короткое время станешь знаменит и взоры всех обратишь на себя. Такова должна быть показная твоя сторона, вне дома.

23. В частной же своей жизни можешь делать все что угодно: играть, пить, развратничать, осквернять браки, или, во всяком случае, хвастаться и всем говорить, будто ты все это проделываешь. Показывай также записочки, полученные, разумеется, от женщин. Да старайся слыть красавцем и позаботься о том, чтобы думали, будто все женщины ищут тебя, так как и это толпа отнесет за счет твоего красноречия, благодаря которому слава твоя проникла и в женские покои. А кстати: не стыдись прослыть, с другой стороны, любовником мужчин, хотя ты бородач и, клянусь Зевсом, даже лыс. Но пусть и для этой цели будут у тебя всегда подходящие люди. Если же не окажется подходящих — можешь обойтись и рабами. И подоб-

ные вещи приносят немалую пользу тому, кто хочет быть ритором: они умножают бесстыдство и дерзость. Ты ведь знаешь, как болтливы женщины и сверх меры бранчливы, превосходя в этом искусстве мужчин? Если ты разделишь их участь, ты будешь и в этом иметь преимущество перед другими. Конечно, нужно с помощью смолы вытравить волосы лучше всего на всем теле или, во всяком случае, там, где это надо. И рот твой пусть равно открывается для всякой цели, и язык служит как для произнесения слов, так и для всего прочего, что может он делать; а может язык не только ошибаться, допускать варварские обмолвки, болтать вздор, давать лживые клятвы, бранить, клеветать и обманывать, но и ночью он может совершать еще кое-что, особенно, если не хватит тебя для столь многих любовных подвигов. Итак, твой язык должен всему научиться и производительней сделаться и ни перед чем не останавливаться.

24. Если этому, милый мальчик, ты хорошенько научишься, — а ты можешь это сделать, потому что ничего в этом нет трудного, — я смело обещаю тебе в скором времени сделать из тебя превосходного оратора, такого же, как мы сами. О дальнейшем нет мне нужды говорить тебе, сколько в скором времени ты получишь благ от прекрасной Риторике. Погляди на меня: я родился от человека незнатного и даже не вполне свободного: мой отец был рабом в Египте, близ Ксоиса и Тмуиса, а мать — швеей из бедного городского участка. Сам же я, убедившись, что моя красота чего-нибудь да стоит, сначала жил за скудное пропитание с одним жалким и скаредным любовником. Затем я увидел, что эта дорога очень легка, а потому, выйдя из детского возраста и очутившись на вершине, ибо было у меня взято с собою в дорогу — я не хважусь, да пощадит меня Адрастея — все, о чем я говорил раньше: были у меня и дерзость, и невежество, и бесстыдство... так вот, прежде всего я стал называться уже не просто "Желанным", но назван тем же именем, что сыновья Зевса и Леды, — Диоскоридом. Потом я стал жить с одной старухой, наполняя близ нее свой желудок и притворяясь влюбленным в семидесятилетнюю женщину, у которой оставалось всего лишь четыре зуба, да и те держались на золоте. Однако, по бедности моей, я выдержал это испытание, и эти холодные мертвецкие поцелуи голод превращал в сладчайшие. Затем я едва не сделался наследником всего ее достояния, но один проклятый раб донес ей, будто я покупал для старухи яд.

25. Меня вытолкали в шею, однако и после этого я не испытывал затруднений в необходимом. Напротив, я считаю оратором, выступаю в судах — обычно предавая моих доверителей и обещая этим глупцам, что суд будет на их стороне. Я проигрываю большинство дел, но тем не менее пальмовые ветви при входе зеленеют и украшаются венками: я пользуюсь ими как приманкой для жалких дураков. Но немалую службу мне служит и то, что никто меня терпеть не может, что я всюду известен порочностью моего поведения, а еще больше — моих речей, что все указывают на меня пальцем, как на человека, всех превзошедшего во всяких пороках... Вот мой совет тебе; клянусь богиней разврата, я много раньше тот же совет дал себе самому и немалую чувствую к самому себе благодарность!»

26. Но довольно! Пусть этот благородный муж, произнеся свои наставления, теперь умолкнет. Ты же, если сказанное им тебя убедило, — считай, что ты уже там, куда стремился взойти. Ты без помех сможешь, следуя правилам учителя, одерживать победы в судах, пользоваться славой и любовью толпы. Ты женишься не на какой-нибудь старухе из комедии, как твой наставник и учитель, но на прекраснейшей женщине — Риторике. Так что ты мог бы с гораздо большим правом сказать о самом себе, что ты несешься на знаменитой крылатой колеснице Платона, чем сам Платон, сказавший это про Зевса. Я же — по простоте моей и робости — отойду перед вами в сторону от дороги и откажусь от моего стремления к Риторике, так как не могу принести ей ничего, похожего на ваши дары. Вернее сказать, я уже отказался... А потому без помех возглашайте о вашей победе, пожинайте восторги и только об одном не забудьте: вы одолели скорее нас не потому, что оказались проворнее, но в силу того, что повернули на более легкий и пологий путь.



ГЕРМОТИМ, или О ВЫБОРЕ ФИЛОСОФИИ

1. Л и к и н. Судя по книжке в руках и быстрой походке, похоже на то, что ты спешишь к учителю, Гермотим. Я видел: ты что-то обдумывал на ходу и губами пошевеливал, тихонько приговаривая, и рукою вот так и этак двигал, точно слагал про себя какую-то речь. Дело ясное: ты придумываешь какой-то своему собеседнику крючковатый вопрос или повторяешь про себя некое хитроумное рассуждение, — и все-то тебе некогда; даже когда шагаешь по дороге, всегда ты занят каким-то спешным делом и самую дорогу превращаешь в ученье.

Г е р м о т и м. Клянусь Зевсом, Ликин, так это и есть. Я обдумывал снова вчерашнюю беседу с учителем и то, что он говорил нам, перебирая в памяти каждое слово. И я думаю, что всякое время и место удобны для тех, кто знает истину, высказанную косским врачом: «Жизнь коротка, а наука долга». А ведь он говорил это о врачевании, искусстве гораздо более легком; философию же не одолеть и в долгий срок без напряженного, непрерывного бдения, без внимательного и неустрашимого созерцания ее. Право же, стоит отважиться, ибо дело идет не о малом: погибнуть ли жалко, затерявшись в невежественной толпе, или стать философом и достигнуть блаженства.

2. Л и к и н. Чудесная, конечно, Гермотим, награда за подвиг. И я вполне уверен, что ты недалек от нее, если позволительно судить по тому,

сколько времени ты философствуешь, и еще по тому неумеренному, на мой взгляд, труду, который ты уж так давно несешь. Насколько ведь я припоминаю, прошло уже почти двадцать лет, как я вижу тебя занятым все одним и тем же делом: бродишь по учителям или сидишь, уткнувшись в книжку, да переписываешь свои заметки к их беседам, всегда бледный от размышлений и весь иссохший. Мне кажется, что и сон-то к тебе никогда не приходит, до такой степени ты весь ушел в свои занятия. Вот, поскольку я это вижу, мне и думается, что скоро ты поймаешь свою блаженную долю, если только ты не сочтешься с нею уже давно, тайком от нас.

Гермотим. Откуда же, Ликин? Я только сейчас начинаю внимательно рассматривать мой путь. А Добродетель живет очень далеко, как говорит Гесиод, путь к ней и долог, и крут, и кремнист, и стоит для путников немалого пота.

Ликин. Неужели же еще недостаточно ты пропотел и отшагал, Гермотим?

Гермотим. Да, недостаточно: ведь мне ничто не мешало, и сейчас я мог бы уже достигнуть вершины и полного блаженства, — а я, Ликин, вот еще только в начале пути.

Ликин. Ну, про начало тот же самый Гесиод сказал, что оно — половина всего дела; значит, мы не ошибемся, сказавши, что ты уже на середине своего восхождения.

Гермотим. О нет, еще нет: как это было бы много!

Ликин. Где же ты сейчас? В каком месте пути? Не знаешь, что и сказать!

Гермотим. Ликин! Говори, что я еще внизу, у подошвы, только силушь выступить в путь, путь скользкий и каменистый, на котором нужна поддержка дружеской руки.

Ликин. Ну, чтобы сделать это, хватит тебе твоего учителя! Как гомеровский Зевс, он спускает вниз с вершины златую цепь своих речей и на них тащит тебя неуклонно кверху, вознося к себе и к Добродетели, — туда, куда сам уже давно взошел.

Гермотим. Так все и есть, Ликин, как ты сейчас сказал. И что до него, то он, конечно, давно бы уже втащил меня на вершину, и я был бы с ними. Но сам я еще не готов.

Ликин. Не беда; надо быть смелым и сохранять настроение, имея в виду конечную цель пути и блаженство, которое ждет наверху, — особенно при усердной поддержке этого человека. А когда же все-таки, в конце концов, он подает тебе надежду взойти наверх? Как он предполагает: к новому году будешь ты на вершине? Примерно после мистерий или по окончании панафинейских праздников?

Гермотим. Слишком скоро ты хочешь, Ликин.

Ликин. Ну, к следующей олимпиаде?

Гермотим. И это скоро, чтобы усовершенствоваться в Добродетели и стяжать блаженство.

Л и к и н. Так через две олимпиады — это уже обязательно. А то придется признать вас большими лентяями, если вы не управитесь даже и в этот срок, за который легко бы трижды дойти от Геракловых столпов до Индии и вернуться обратно, — и не то что прямым путем, без всяких задержек, а еще и постранствовать среди живущих по дороге народов. Однако что же это за гора, на которой обитает ваша Добродетель? Насколько, по-твоему, следует считать ее выше и глаже, чем та вершина Аорна, которую Александр занял с боем в несколько дней?

Б. Г е р м о т и м. Ни малейшего сходства, Ликин. И самое дело это не таково, как полагаешь ты, чтобы совершить его в малое время; гору не взять силой, хотя бы тысячи Александров двинулись на приступ: иначе многие доходили бы доверху. Ныне же немало людей, очень крепких, начинают подъем и проходят какое-то расстояние — одни очень немного, другие — побольше. Но, подходя к половине дороги, они наталкиваются на множество опасностей и затруднений, приходят в отчаянье и поворачивают обратно, задыхаясь, обливаясь потом, не вынеся тяжести пути. Те же, кто будет стоек до конца, достигают вершины и с этой поры становятся блаженными; они живут отныне такою чудесною жизнью, и муравьями кажутся им с высоты виднеющиеся внизу люди.

Л и к и н. Ай-ай-ай, Гермотим, какими, однако, ты насставляешь: не пигмеями даже, а просто ползунами по земле. Что ж, оно и понятно: высоко уже ты летаешь мыслью, свысока и глядишь. А мы — жалкое отребье, ползающие по земле, — вместе с богами вознесем свои моления и к вам, ставшим заоблачными и поднявшимся туда, куда так долго стремились.

Г е р м о т и м. Ах, Ликин, если бы это восхождение уже свершилось! Но оно еще все впереди.

Б. Л и к и н. А все-таки ты так и не сказал, какой же срок, сколько времени оно займет.

Г е р м о т и м. Да потому, что точно я и сам этого не знаю, Ликин. Предполагаю, однако, что не более двадцати лет, по прошествии которых мы, во всяком случае, очутимся на вершине.

Л и к и н. О, Геракл! Срок — большой.

Г е р м о т и м. Но велика ведь и цель, Ликин, ради которой мы несем труды.

Л и к и н. Это, конечно, верно... Но вот относительно двадцати лет: учитель твой, что ли, будучи не только мудрецом, но и пророком, ниспослал тебе обещание, что ты проживешь столько времени? Или какой-нибудь предсказатель? Или кто-нибудь, сведущий в халдейской науке? Говорят, что они знают такие вещи. Ведь не стоит же тебе возлагать на себя столь великие труды втемную, не зная, доживешь ли ты до добродетелитю; и не стоит мучиться денно и ночью, если неизвестно, не предстанет ли тебе судьба, когда ты будешь уже совсем близок к вершине, и не стащит ли она тебя вниз, ухватив за ногу, прочь от несбывшейся надежды.

Г е р м о т и м. Перестань, Ликин: твои слова зловещи. Я готов всю жизнь положить на то, чтобы один только день побыть блаженным и мудрым.

Л и к и н. И тебя удовлетворит, в награду за все усилия, этот единственный день?

Г е р м о т и м. Меня удовлетворит любой самый короткий срок.

7. Л и к и н. Хорошо! А о том, что на вершине такое блаженство, ради которого можно было бы претерпеть что угодно, — об этом откуда ты знаешь? Ведь сам ты, наверное, еще не бывал наверху?

Г е р м о т и м. Не бывал, но верю словам учителя; а он, уже достигший вершины, знает о том очень хорошо.

Л и к и н. Ради богов, что же он рассказывал? Что там делается? В чем состоит блаженство? Поди, что в богатстве, в славе и в удовольствиях, которым нет равных?

Г е р м о т и м. Умолкни, мой друг! Все это прах пред лицом Добродетели.

Л и к и н. Тогда что же он говорит? Какие блага — если не эти — получают подвижники, прошедшие путь до конца?

Г е р м о т и м. Эти блага — Мудрость и Смелость, сама Красота и сама Справедливость и твердое, уверенное Знание всех вещей в их подлинной сущности. А разные там богатства, славу, наслаждения — все вообще, что связано с телом, — человек оставляет внизу и обнаженным восходит кверху; так, говорят, и Геракл, предав себя сожжению на Эте, сделался богом. И он сбросил с себя все человеческое, полученное от матери, а его божественное начало, отделившееся в огне от всяких примесей, очищенным вознеслось к богам. Вот и этих людей философия, как некий огонь, освобождает от всего того, что неправильное суждение толпы считает удивительным, и, взойдя на вершину, они ведут там блаженную жизнь, а о богатстве, славе и наслаждениях даже и не вспоминают больше, и смеются над теми, кто думает, будто все это действительно существует.

8. Л и к и н. Клянусь сгоревшим на Эте Гераклом, Гермотим, в твоих речах мужественны эти люди и блаженны. Однако скажи мне вот что: спускаются они иногда, если захочется, со своей вершины — попользоваться тем, что оставили внизу, или, раз поднявшись, навеки они должны пребывать здесь, сочетавшись с Добродетелью и осмеивая богатства, славу и наслаждения?

Г е р м о т и м. Гораздо больше того, Ликин: тот, кто достиг совершенства в Добродетели, уже не может быть рабом гнева, страха, желаний; ему чуждо огорчение, и он уже не способен всецело больше страдать от подобных страстей.

Л и к и н. Однако... если сказать правду, без всяких стеснений... Но нет... Замкну уста мои и не стану судить нечестиво о деяниях мудрых.

Г е р м о т и м. Да нет же! напротив: говори все, что угодно.

Л и к и н. Но видишь ли, друг мой, уж на что я, — а вот: никак не решаюсь.

Г е р м о т и м. А ты решишь, дорогой мой: ты ведь только со мной говоришь.

9. Л и к и н. Ну хорошо! Пока ты, Гермотим, рассуждал о других вещах, твои слова убеждали меня, и я верил, что так оно и есть: что и мудрыми-то они становятся, и смелыми, и справедливыми, и прочее. Я был прямо-таки очарован твоей речью. Но когда ты сказал, что они презирают и богатство, и славу, и наслаждения, что они не знают ни гнева, ни печали, вот тут я, — ну, мы ведь одни, — тут я сильно споткнулся, вспомнив, что третьего дня видел, как он... сказать, кто? Или лишнее?

Г е р м о т и м. Нисколько не лишнее. Договаривай: кто же он?

Л и к и н. Да этот самый, твой учитель, муж, вообще достопочтенный и в годах уже весьма преклонных.

Г е р м о т и м. Итак, что же он делал?

Л и к и н. Знаешь ли ты этого, нездешнего, из Гераклеи, который давно уже занимался с ним философией в качестве ученика? Светловолосый такой, большой спорщик?

Г е р м о т и м. Я знаю, о ком ты говоришь: Дион — его имя.

Л и к и н. Он самый. Так вот, недавно плату он, что ли, не принес своевременно, — только старик закрутил ему шею плащом и свел к архонту, с криком, с бранью. И, право, если бы не вмешались кое-какие друзья и не отняли у него из рук юношу, — я уверен, тот набросился бы на него и отгрыз бы ему нос, даром что старик: до такой степени он обозлился.

10. Г е р м о т и м. И понятно: тот всегда был негодяем и нечестен в расплате. Ведь учитель ссужает многих — и никогда ни с кем из них он еще так не поступал, оттого что они вовремя уплачивают ему проценты.

Л и к и н. Ну, мой милый, а если не выплатят, тогда что? И какое ему до этого дело, если он уже очищен философией и ничуть не нуждается в том, что оставил на Эте?

Г е р м о т и м. Значит, по-твоему, он хлопочет обо всем этом из собственных выгод? Совсем нет: у него дети маленькие. Это о них он заботится, чтобы им прожить, не зная нужды.

Л и к и н. Нужно, Гермотим, и их возвести к Добродетели, да блаженствуют вместе с ним, предавая осмеянию богатство.

11. Г е р м о т и м. Некогда мне, Ликин, поговорить с тобою об этом: уже пора, тороплюсь; надо послушать его, а то и сам не заметишь, как совсем отстанешь.

Л и к и н. Не бойся, дружище: дело в том, что на сегодня объявлено перемирие. И вот я освобождаю тебя от оставшейся части пути.

Г е р м о т и м. Что ты говоришь!

Л и к и н. Говорю, что сейчас тебе не увидаться с ним, — если, конечно, верить объявлению. Я видел: при входе висела дощечка, которая гласила крупными буквами: «Сегодня философствовать не будем». Говорят, он вчера славно пообедал у Евкрата — у него были гости по случаю дня рождения дочери; за столом он много философствовал и за что-то рассердился на перипатетика Евтидема: разошелся с ним во взглядах на те вопросы, по которым перипатетики обычно выступают против стоиков; от

крика у него в голове помутилось, и, кроме того, он крепко вспотел, так как вечеринка, говорят, затянулась до полуночи. К тому же выпил он, я думаю, больше, чем нужно, так как присутствующие, по обыкновению, произносили здравицы, да и пообедал не по возрасту плотно. По возвращении его, говорят, сильно рвало; дома он только пересчитал куски мяса, которые передавал во время обеда стоявшему сзади мальчику, тщательно все переметил и тотчас лег спать, приказав никого не принимать. А слышал я это от его слуги Миды, который рассказывал о происшедшем кое-кому из учеников; я видел многих из них, как они тоже поворачивали домой.

12. Гермотим. Но кто же одержал верх, Ликин: учитель или Евтидем? Не говорил ли Мида и об этом чего-нибудь?

Ликин. Сначала, говорят, силы их оказались равными, но в конце победа склонилась на вашу сторону, и большой перевес остался за твоим стариком. Так что для Евтидема, говорят, дело даже не обошлось без крови, и он ушел с большущей раной на голове. Все потому, что он оказался хвастуном: начал обличать, не желая соглашаться, и сам не сдавался легко на опровержения. И тут-то твой почтенный учитель схватил свой кубок, вроде кубка Нестора, и двинул им того, возлежавшего по соседству. Этим и победил.

Гермотим. И хорошо сделал! Иначе и нельзя было с теми, кто хочет равняться с лучшими.

Ликин. Совершенно правильное рассуждение, Гермотим. Ведь из-за чего, спрашивается, этот Евтидем взял и рассердил старца, человека спокойного, умеющего обуздывать свой гнев, да еще с таким тяжелым кубком в руках?

13. Но вот что: делать нам сейчас нечего, — почему бы тебе не рассказать своему приятелю, то есть мне, что подвинуло тебя впервые на занятия философией? Да пойду отныне и я, если еще возможно, одною дорожкой с вами. Ибо я уверен, что вы, мои друзья, не отринете меня.

Гермотим. Только захоти, Ликин, и очень скоро увидишь, как непохож ты станешь на других. Будь уверен, что все тебе будут казаться ребятами по сравнению с тобой, так высоко ты будешь ценить себя самого.

Ликин. С меня довольно, если через двадцать лет я смогу стать таким, каков ты сейчас.

Гермотим. Будь покоен: я и сам приступил к занятиям философией в твоем возрасте — под сорок лет, — тебе ведь сейчас, я полагаю, около того?

Ликин. Как раз столько, Гермотим. Итак, возьми меня с собой и води тем же путем, ибо это — правый путь! Но прежде всего скажи мне: даете вы ученикам право возражать, если что-нибудь из сказанного покажется им неправильным, или новичкам вы этого не разрешаете?

Гермотим. Конечно, нет. Но ты, если захочется, задавай время от времени вопросы и возражай, потому что таким образом ты скорее научишься.

Л и к и н. Прекрасно, Гермотим, — сам Гермес свидетель, именем которого ты как раз прозываешься.

14. Скажи, однако: одна только и есть дорога, ведущая к философии, — ваша, стоическая, — или правду мне говорили, что много есть других направлений?

Гермотим. Очень много: перипатетики, эпикурейцы и те, что идут под вывеской Платона, и такие, что являются ревнителями Диогена и Антисфена, и еще — возводящие себя к Пифагору, и множество других.

Л и к и н. Значит, правду я слышал: действительно много. И что же, Гермотим, все они говорят одно и то же или разное?

Гермотим. И очень даже разное.

Л и к и н. Но, во всяком случае, истиной-то, я полагаю, является какое-нибудь одно из них, а не все, так как они различны?

Гермотим. Само собою разумеется.

15. Л и к и н. Объясни же мне в таком случае, друг мой: на что ты полагался тогда, в самом начале, когда только пошел, чтобы заниматься философией? Перед тобою было распахнуто настежь множество дверей, но ты прошел мимо остальных, подошел к двери Стои и решил, что через нее должно входить к Добродетели, ибо только она одна — истина и укажет прямой путь, другие же заводят в тупик и в слепоту. Какими признаками ты тогда руководился? И, пожалуйста, забудь сейчас нынешнего себя, вот этого, то ли полумудреца, то ли уже настоящего мудреца, который может решать вопросы лучше, чем большинство из нас. Нет, отвечай так, как будто ты обыкновенный человек, каким был тогда и каким я являюсь сейчас.

Гермотим. Не понимаю, что это значит, Ликин!

Л и к и н. А между тем я вовсе не задаю тебе хитроумных вопросов. Дело вот в чем — философов много. Платон, например, Аристотель, Антисфен и ваши прародители, Хризипп и Зенон, и не знаю, сколько еще других... На чем же основал ты свое решение, если, отвергая остальных и выбрав из всего именно то, что выбрал, ты считаешь, что философия должна идти по этому пути? Пифиец, что ли, направил тебя, как Херифонта, к стоикам, указав на них как на лучших? У него ведь такой обычай: обращает одного к тому, другого к этому виду философии, зная, по-видимому, какой кому подходит.

Гермотим. Да ничего подобного, Ликин: я даже не вопрошал бога об этом.

Л и к и н. Почему же? Полагал, что это дело недостойно божественного совета, или просто считал себя способным самостоятельно, без содействия бога, выбрать, что получше?

Гермотим. Ну да, считал способным.

16. Л и к и н. Так, быть может, и меня ты прежде всего научишь, как с самого же начала отличить наилучшую философию, которая ведет к истине и которую надо избрать, оставив в стороне все другие?

Гермотим. Изволь, я скажу: я видел, что большинство стремится к ней, и предположил поэтому, что она лучше.

Л и к и н. Насколько же именно их было больше, чем эпикурейцев, платоников и перипатетиков? Ты ведь, наверно, подсчитал их, как при голосованиях.

Г е р м о т и м. И не думал я подсчитывать, — я предполагал.

Л и к и н. Обманываешь ты меня, не хочешь научить: уверяешь, что такое важное решение ты строил на кажущемся большинстве, а правду мне не говоришь, скрываешь.

Г е р м о т и м. Не на одном этом, Ликин, но и на том, что слышал отовсюду: что эпикурейцы добродушны и падки до удовольствий, перипатетики корыстолюбивы и большие спорщики, платоники надменны и честолюбивы; о стоиках же я от многих слышал, что они люди мужественные и все знают и что только идущий их путем — царь, только он — богач, только он — мудрец и все что угодно.

17. Л и к и н. Наверно, это говорили тебе о них другие; ведь если бы они сами стали расхваливать собственное учение, ты вряд ли поверил бы им.

Г е р м о т и м. Ни в коем случае; но другие говорили это.

Л и к и н. Однако их противники, естественно, этого не говорили. А они-то и были философы иных направлений.

Г е р м о т и м. Не говорили, нет.

Л и к и н. А значит, говорили это люди, не причастные к философии.

Г е р м о т и м. И притом усиленно.

Л и к и н. Вот видишь: ты опять меня обманываешь и говоришь неправду. Ты думаешь, что разговариваешь с каким-то Маргитом — дурачком, способным поверить, будто Гермотим, человек умный и уже в ту пору лет сорока от роду, в вопросе о философии и философам доверился людям, к философии не причастным, и на основе их слов учинил свой выбор, признав их наилучшими судьями. Ни за что тебе в этом не поверю, сколько бы ты ни говорил.

18. Г е р м о т и м. Знаешь, Ликин, я не только другим верил, но и себе самому: я видел философов, как скромно они выступали в красиво накиннутых плащах, всегда рассудительные, мужественные видом, большинство — коротко стриженные; в одежде у них — никакой роскоши, а с другой стороны, нет и того излишнего безразличия, которое било бы в глаза, как у киников. Нет, эти философы держатся той середины, которую все признают наилучшей.

Л и к и н. Я только что рассказывал о поступках твоего учителя, которые видел своими глазами. Ты видел, конечно, и такие дела философов? Знаешь, как они дают под проценты и как горько приходится должникам? Как вздорно ссорятся на попойках? И все остальное, что бросается в глаза? Или тебя это мало касается, до тех пор пока плащ прилично закинут, борода отпущена по пояс и голова коротко острижена? Итак, мы должны впрямь применять, как говорит Гермотим, в этих делах точный уровень и отвес и распознавать лучших людей по наружности, по их походке и стрижке. И кто не подойдет под эту мерку, у кого не будет мрачного вида

и озабоченности на лице, — за того мы не подадим своего голоса, долой его! Ой, смотри, Гермотим!

19. Ты опять подшучиваешь надо мной — пробуешь, замечу ли я обман.

Гермотим. Что тебе вздумалось говорить так?

Ликин. Потому что, добрейший, ты предлагаешь мерку, которая годится для статуй: судить по наружности. Конечно, по внешнему виду и по складкам плаща гораздо красивее статуи какого-нибудь Фидия, Алкамена или Мирона, искусного в изображении красоты. И если надлежит судить прежде всего по этим признакам, то что же делать слепому, которому захотелось бы заняться философией? Как отличит он сделавшего лучший выбор, если он не может увидеть ни наружности, ни походки?

Гермотим. Но я ведь говорю не для слепых, Ликин, и мне нет до них никакого дела.

Ликин. Дорогой мой, все же следовало бы установить какой-то общий признак для этих людей, великих и полезных для всех. Впрочем, если хочешь, пусть слепые останутся у нас вне философии, раз они не видят, — хотя им-то было бы всего нужнее философствовать, чтобы не слишком чувствовать тяжесть своего несчастья, — но ведь и зрячие, будь они даже чрезвычайно зоркими, — что смогут они охватить взором качества души человека, основываясь на этой совершенно внешней оболочке?

20. А в общем, я хочу сказать следующее: не в том ли дело, что ты подходил к ним, любя человеческую мысль и стремясь стать сильнее в сфере мысли?

Гермотим. Как раз в этом.

Ликин. Итак, неужели ты мог по указанным тобой признакам различить, правильно ли кто философствует? Подобные действия не так-то легко выступают наружу; они ведь нечто сокровенное, пребывающее в темноте, и лишь поздно открываются в словах, беседах и соответствующих делах, да и то с трудом. Я думаю, ты слышал рассказ про Мома, как он упрекал Гефеста? А если не слышал, так послушай теперь. Предание гласит, что Афина, Посейдон и Гефест поспорили однажды, кто из них искусней. И вот Посейдон сотворил быка, Афина изобрела дом, Гефест же устроил человека. Когда они пришли к Мому, которого выбрали судьей, тот осмотрел их произведения и в каждом нашел недостатки; о двух первых произведениях говорить, пожалуй, не стоит. Человек же вызвал его издевательством и навлек порицание на своего творца, Гефеста, тем, что в груди у человека не было устроено дверцы, которая, открываясь, позволяла бы всем распознать, чего человек хочет, что он замышляет, лжет ли он или говорит правду. Вот как думал о людях Мом — потому, конечно, что слаб был глазами; ты же у нас, как кажется, зорче самого Линкея, видишь насквозь, что делается в груди. Перед тобою все до такой степени раскрыто, что ты не только знаешь мысли и желания каждого, но можешь судить, у кого они лучше, у кого — хуже.

21. Гермотим. Ты шутишь, Ликин. Я же с божьей помощью сделал свой выбор и не раскаиваюсь в нем. Довольно и этого с меня.

Л и к и н. Однако, дружище, ты так-таки ничего мне и не скажешь? Ты будешь равнодушно глядеть, как я погибаю окончательно в презренной толпе?

Г е р м о т и м. Но что же делать: ни одно мое слово тебя не удовлетворят.

Л и к и н. Вовсе нет, мой милый; это ты не хочешь сказать ни одного слова, которое могло бы меня удовлетворить. Но поскольку ты хочешь скрытничать из зависти к нам, боясь, что мы, пожалуй, станем философами и сравняемся с тобой, — что же, я попытаюсь, как смогу, собственными силами изыскать и правильное решение вопроса, и надежное обоснование для выбора. Послушай и ты, если хочешь.

Г е р м о т и м. Хочу, Ликин, очень хочу. Я не сомневаюсь, что ты скажешь что-то значительное.

Л и к и н. Итак, слушай внимательно, да не насмехайся, если я буду рассуждать совсем не по-ученому. Ничего не поделаешь, раз ты, более знающий, не желаешь меня просветить.

22. Итак, допустим, что Добродетель представляет собой нечто похожее на город, обитаемый блаженными гражданами, — так начал бы речь твой учитель, прибывши когда-то из этого города. Граждане эти — существа высочайшей мудрости. Они все отважны, справедливы, благорассудительны и лишь немного уступают богам. В этом городе не увидишь, как говорят, ни одного из тех дерзких деяний, которые во множестве совершаются у нас, где грабят, насилуют и надувают, — нет, в мире и согласии протекает там совместная жизнь граждан; да оно и понятно: ибо то, что в других городах, как я думаю, возбуждает раздоры и ссоры и то, из-за чего люди строят ковы друг другу, — все это убрано прочь с их пути. Эти обитатели уже не видят денег, не знают ни наслаждений, ни славы, из-за которых могла бы возникнуть рознь, но давно их изгнали из города, не имея нужды в них для жизни совместной. Итак, живут они жизнью ясной и всеблаженной, наслаждаясь законностью, равенством, свободой и прочими благами.

23. Г е р м о т и м. Так что же, Ликин? Не достойно ли всякого человека стремление стать гражданином такого города, невзирая на трудности пути и не отговариваясь длительностью срока, если предстоит по прибытии быть занесенным в списки и получить права гражданства?

Л и к и н. Бог свидетель, Гермотим, ради этого больше, чем ради чего другого, стоит постараться, и следует оставить все другие заботы, не придавать большого значения помехам, чинимым здешним отечеством. Не следует склонять слуха к хныканью хватающих за плащ детей и родителей, — у кого они есть, — а лучше и их звать с собою на ту же дорогу. Если же они не захотят или не смогут, то отряхнуть их с себя и не мешкая идти прямо туда, в тот блаженный город, бросив и плащ, если они, ухватившись, стащат его с плеч: ибо даже если ты придешь туда голым, не бойся: никто не захлопнет перед тобою дверей.

24. Говорю это уверенно, ибо я уже слышал когда-то рассказ одного старца про то, что делается там; старец и меня склонял последовать за ним в тот город: он-де лично меня проводит, занесет по прибытии в списки, сделает членом филы и включит в одну фратрию с собою, да разделю общее блаженство. «Но не послушался я» по неразумию и молодости, — около пятнадцати лет назад это было, — а то, пожалуй, был бы теперь уже в предместье, у самых ворот. Вот он, этот старец, и рассказывал мне немало об этом городе и, между прочим, насколько припоминаю, говорил, что все население в нем — пришлое, из иностранцев; в городе нет ни одного местного уроженца, гражданами же являются в большом числе и варвары, и рабы, уроды, и карлики, и бедняки, и вообще всякий желающий может вступить в общину. Ибо у них положено производить запись не по имуществу, не по наружности — по росту или красоте, — не по роду, не по знатности предков, — все это они не ставят ни во что, — но гражданином может стать всякий, кто обладает умом и стремлением к прекрасному, кто упорен в труде и не сдаётся, не раскисает при многочисленных трудностях, встречающихся в пути. Поэтому всякий, кто бы он ни был, проявивший эти качества и прошедший путь до самого города, немедленно становится гражданином, равноправным со всеми. А такие понятия, как «подлый» и «знатный», «благородный» и «безродный», «раб» и «свободный», отсутствуют в городе совершенно, и даже слов таких в нем не услышишь.

25. Г е р м о т и м. Теперь ты видишь, Ликин, что я не напрасно, не из-за пустяков трачу силы, стремясь войти в число граждан такого прекрасного, блаженного города?

Л и к и н. Так я ведь, я сам, Гермотим, охвачен той же страстью, что и ты, и ничего так не желаю, как этого. И будь этот город расположен по соседству, на виду у всех, — можешь быть уверен: я бы не колеблясь давным-давно сам отправился туда и был бы теперь уже его гражданином; но вы — то есть ты с Гесиодом, рапсодом, — утверждаете, что он находится очень далеко. Поэтому приходится искать и дорогу к нему, и проводника самого надежного. Ведь надо? Как по-твоему?

Г е р м о т и м. Разумеется, надо: иначе и не дойдешь.

Л и к и н. Так вот, обещающих проводить и заверяющих, что они знают дорогу, хоть отбавляй: столько их стоит, готовых к твоим услугам, и каждый твердит, что он — оттуда, из местных жителей. Однако оказывается, что дорога-то у них не одна и та же, но что имеется множество дорог, и все разные, и друг на друга ничуть не похожи: одна дорога ведет на запад, другая, по-видимому, — на восток, третья — на север, а четвертая — прямехонько к полудню. И еще: одна пролегла по лугам и рощам, с тенью и с ручейками, приятная и легкая дорога, без всяких препятствий; другая же — кремнистая, жесткая, сулящая много солнца, жажды и трудов. И все же, по словам проводников, все эти дороги ведут к тому же городу, — выходит, что он лежит в прямо противоположных направлениях.

26. Вот в этом и заключается для меня все затруднение; в самом деле: в начале каждой тропинки, к какой ни подойди, стоит при входе муж, внушающий всяческое доверие, протягивает руку и приглашает идти по его стезе; причем каждый из них утверждает, что только он один знает прямой путь, другие же все блуждают, потому что и сами не нашли дороги, и не пошли за другими, которые могли бы их провести. Подойдешь к соседнему — и он сулит то же относительно своей дороги, браня остальных; то же и следующий; и так все, один за другим. Вот это множество дорог, таких непохожих друг на друга, смущает меня безмерно и приводит в недоумение, а еще больше — проводники, которые из кожи лезут, восхваляя каждый свое, — потому что я не знаю, куда же обратиться и за кем из них последовать, чтобы добраться до этого города.

27. Гермотим. А я выведу тебя из этого затруднения: доверься проводникам, и ты не собьешься с пути.

Ликин. Кого ты имеешь в виду? Идущих по какой дороге? Или кого-нибудь из проводников? Ты видишь: перед нами встает снова то же затруднение, только в иной форме, перенесенное с вещей на людей.

Гермотим. То есть?

Ликин. То есть тот, кто обратился на стезю Платона и пошел с ним, очевидно, будет расхваливать эту дорогу, кто с Эпикуром — ту, третий — третью, а ты — свою. Вот так-то, Гермотим! Разве не правда?

Гермотим. Конечно, правда.

Ликин. Итак, ты не вывел меня из затруднения, и я по-прежнему все еще не знаю, на кого из путников мне лучше положиться. Ведь я вижу, что каждый из них, не исключая и самого проводника, испробовал лишь одну дорогу, которую и расхваливает, уверяя, что только она одна ведет к городу. Но у меня нет способов узнать, правду ли он говорит. Что он дошел до какого-то конца дороги и видел какой-то город — это я охотно готов допустить. Но видел ли он именно тот город, какой нужно, гражданинами которого мы с тобой хотим сделаться, или он, нуждаясь попасть в Коринф и прибыв в Вавилон, думает, что видел Коринф, — вот это остается для меня все еще неясным. Во всяком случае, видеть какой-нибудь город — совсем не значит видеть Коринф, если только Коринф — не единственный город на свете. Но в наибольшее затруднение меня ставит, конечно, то, что истинной-то — я это знаю — может быть только одна дорога: ведь и Коринф — один, и другие дороги ведут куда угодно, только не в Коринф, — если не додуматься до такой совершенно сумасшедшей мысли, будто дорога к Гипербореям и дорога в Индию направляются в Коринф.

Гермотим. Ну, как это можно, Ликин! Ясно: одна дорога ведет в одно место, другая — в другое.

28. Ликин. Итак, любезный Гермотим, немало надо порассудить, прежде чем выбрать дорогу и проводника. Конечно, мы не признаем разумным идти куда глаза глядят, потому что так можно вместо коринфской дороги незаметно попасть на вавилонскую или бактрийскую. Нехорошо также было бы довериться судьбе, как будто она непременно обернется

счастливо, и без разбора пуститься по одной из дорог, все равно — какой. Конечно, возможны и такие случаи, — они и бывали некогда в глубокой древности. Но нам-то, я думаю, не подобает в таком большом деле полагаться отважно на поворот кости и оставлять для надежды совсем узенькую щелку, намереваясь, по пословице, переплыть Эгейское или Ионийское море на рогожке. А нам неразумно было бы жаловаться на судьбу за то, что ее стрела или дротик бьет вовсе не без промаха, ибо истинная цель — одна, а ложных — мириады, и не миновал этого даже Гомеровский стрелок, перебивший стрелю бечевку, когда надо было попасть в голубя, — я говорю о Тевкре. Напротив, гораздо разумнее ожидать, что под выстрел судьбы попадет и получит рану какая-нибудь ложь, одна из многочисленных, чем одна-единственная правда. И немалая грозит нам опасность, что мы заблудимся в незнакомых дорогах и не попадем на прямую, понадеявшись на судьбу, которая-де сделает для нас наилучший выбор. Мы будем похожи на того, кто, отпустив причалы, отдался ветрам: раз вышедши в море, ему нелегко уже будет вернуться обратно в спасительную гавань, и неизбежно придется носиться по морю, болея от качки, со страхом в сердце и тяжестью в голове. Поэтому должно с самого начала, прежде чем пускаться в путь, подняться куда-нибудь повыше и посмотреть, попутный ли дует ветер, благоприятствующий намеренью совершить переезд в Коринф. Надо и кормчего выбрать получше и корабль, сколоченный крепко, способный выдержать такой сильный напор волн.

29. Гермотим. Конечно, Ликий, так будет гораздо лучше. Но только я знаю, что, обойди ты по очереди всех, ты не найдешь проводников лучше и кормчих опытнее стойков. Если когда-нибудь тебе действительно захочется добраться до Коринфа, последуй за ними, идя по стопам Хризиппа и Зенона. Иного выхода нет.

Ликин. Видишь ли, Гермотим, то, что сейчас высказал ты, говорят все: то же самое могут сказать спутники Платона, и последователи Эпикура, и все остальные. Каждый заявит, что не дойти мне до Коринфа иначе, как по его дороге. Таким образом, нужно или всем верить, — что может быть смешнее? — или никому не верить; второе, конечно, пока мы не найдем истины, будет всего вернее.

30. В самом деле: положим, что я, в теперешнем моем состоянии, то есть еще не зная, кто именно из всех философов является вещателем истины, выбрал бы ваше направление, положившись на тебя, человека, конечно, мне дружественного, однако знающего лишь стоическое учение и прошедшего только один путь — путь стойков. Положим далее, что кто-нибудь из богов оживил бы Платона, Пифагора, Аристотеля и прочих, — клянусь Зевсом, они, обступив меня, начали бы спрашивать или, приводя меня на судилище, принялись бы каждый в отдельности обвинять в высокомерии, говоря так: «Добрейший Ликий, что с тобою случилось и кому это ты поверил, оказав предпочтение перед нами Хризиппу и Зенону: ведь они только вчера или позавчера появились на свет, а мы гораздо старше их. Почему ты не дал нам слова и не сделал ни малейшей попытки узнать,

что же именно мы говорим?» Что бы я стал отвечать им на это? Или достаточно будет заявить, что я поверил моему другу, Гермотиму? Но я знаю, они сказали бы: «Мы, Ликин, не знаем этого Гермотима, кто он и откуда, — не знает и он нас; а потому не следовало осуждать нас огулом и выносить нам заочный приговор, поверив человеку, который изучил в философии лишь один путь, да и тот, вдобавок, недостаточно тщательно. Между тем законодатели, Ликин, предписывают судьям поступать иначе: не так, чтобы одного — слушать, а другому — не давать говорить в свою защиту того, что он считает для себя выгодным, но выслушивать обе стороны, чтобы, сопоставляя их речи, легче распознать истину и ложь. Если же судьи будут поступать иначе, то закон дает право перенести дело в другой суд».

31. Философы, естественно, будут говорить нечто в этом роде... А кто-нибудь из них мог бы обратиться ко мне и с такими словами: «Скажи-ка, Ликин, вот что: положим, некий эфиоп, никогда не выдавший других людей, таких, как мы, поскольку он ни разу не выезжал из своей страны, выступил бы в каком-нибудь собрании эфиопов с утверждением, что нигде на земле нет людей ни белых, ни желтых, вообще никаких, кроме черных, — неужели слушатели поверят ему? Разве кто-нибудь из старших эфиопов не скажет ему: "Да ты-то, самонадеянный человек, откуда это знаешь? Ведь ты же никуда от нас не выезжал и, бог свидетель, не видал, что делается у других!"» Что мне сказать на это? Прав ли был старик, задавший вопрос? Посоветуй, Гермотим.

Г е р м о т и м. Разумеется: он, как мне кажется, выбрал эфиопа совершенно справедливо.

Л и к и н. Да, Гермотим. Но что касается дальнейшего, — я еще не уверен, покажется ли оно тебе справедливым. Что до меня, оно кажется мне совершенно справедливым.

32. Г е р м о т и м. Что же именно?

Л и к и н. Несомненно, такой человек начнет нападать и скажет мне приблизительно вот что: «Аналогично, Ликин, этому будет обстоять дело и с человеком, знающим только одно учение стоиков, как Гермотим, твой друг, который ни разу не побывал во владениях Платона, ни у Эпикура и вообще не был у кого-либо другого. Так вот, если Гермотим станет говорить, что у большинства философов нет ни истины, ни такой красоты, как в Стое и в ее учении, — разве твой разум не признает его человеком самонадеянным и берущимся судить обо всем, хотя знает только одно, не сделав никогда и шагу за пределы Эфиопии?» Что мне отвечать ему? Как по-твоему?

Г е р м о т и м. Это, конечно, совершенная правда: мы изучали взгляды стоиков, и весьма основательно, поскольку считаем, что должно философствовать в этом именно направлении, но мы не являемся невеждами и в том, что говорят другие. Ибо учитель, между прочим, излагает нам и их учения, присоединяя к ним собственные опровержения.

33. Л и к и н. Неужели ты думаешь, что последователи Платона, Пифагора, Эпикура и других промолчат в ответ, а не скажут мне, рассмеяв-

шись: «Что он делает, Ликин, приятель твой, Гермотим? Он находит возможным верить тому, что говорят о нас наши противники, и полагает, что наше учение действительно таково, как утверждают они, не зная правды или скрывая ее? Ну, а если ему доведется быть судьей на состязании и он увидит, как атлет, упражняясь перед борьбой, дает пинки ногой в воздух или поражает кулаком пустоту, как будто наносит удары воображаемому противнику, — неужели он тут же объявит его непобедимым? Или же подумает, что все это пустяки и дерзкие выпады безопасны, пока никто на них не отвечает? Победу же провозглашать следует тогда, когда атлет одолеет соперника и, оказавшись сильнее, принудит к сдаче, — никак не раньше. Пусть же и Гермотим не заключает по призрачным сражениям, которые дают нам заочно его учителя, как будто они сильнее и как будто опрокинуть такие учения, как наши, не представляет труда! Ведь, право, это значило бы уподобиться детям, которые возводят свои домики и тотчас же сами их с легкостью разрушают; или походит на стрелков, упражняющихся в стрельбе, посадив на шест связанное из соломы чучело; они отходят на несколько шагов, прицеливаются, спускают тетиву и, если попадут, пронзивши чучело, тотчас поднимают крик, как будто совершили нечто великое оттого, что стрела прошла сквозь пучок соломы. Совсем не так поступают персы и скифские лучники: сначала они стреляют, на конях двигаясь сами, а потом заставляют двигаться и свою цель, чтобы она не стояла на месте, дожидаясь, пока в нее попадет стрела, но убегала бы насколько можно быстрее; по большей части они подстреливают животных, иные же и в птиц попадают. Если же понадобится испытать силу удара на неподвижной цели, то они ставят перед собою крепкое бревно или щит из сырой кожи, пробивают его и таким способом удостоверяются, смогут ли их стрелы пройти сквозь доспехи врага.

Итак, Ликин, передай от нас Гермотиму, что его учителя обстреливают выставленные ими же чучела и заявляют потом о победе над вооруженными мужами. Сделав наши подобию, эти учителя набрасываются на них с кулаками и, естественно, их одолевши, думают, что одолели нас. Но каждый из нас мог бы повторить им слова, сказанные Ахиллом о Гекторе:

Пока не блеснет им Ахиллова шлема забрало».

С подобными речами обратился бы ко мне по очереди каждый из философов.

34. А Платон мог бы, я думаю, рассказать кое-что из сицилийских происшествий, хорошо зная страну. Дело в том, что у Гелона сиракузского, как говорят, шел дурной запах изо рта, и он долго не знал об этом, так как никто не решился осрамить тирана, пока, наконец, одна женщина, иностранка, сошедшись с ним, не набралась храбрости и не сказала ему про это. Тот явился к своей жене, гневный на то, что она, прекрасно зная про зловоние, не открыла ему это. Та же стала просить прощения: она-де, не испытав близкого общения с другим мужчиной, думала, что все они испускают изо рта тяжелый дух. «Вот так-то, — скажет Платон, — и Гермо-

тим: находится в связи только с одними стоиками и, разумеется, не знает, каковы рты у других». Нечто подобное и, может быть, даже еще больше сказал бы и Хризипп, если бы я, не рассудив, обошел его и двинулся к Платону, доверившись кому-нибудь из тех, кто имел дело только с одним Платоном. Одним словом, я утверждаю, что не следует делать в философии никакого выбора, пока остается неясным, какой выбор будет правильным. И было бы дерзостью по отношению к другим направлениям поступать иначе.

35. Гермотим. Ну, ради Гестии, Ликин, оставим в покое Платона, Аристотеля, Эпикура и прочих, потому что не по мне дело — бороться с ними. Мы же с тобой, я да ты, собственными силами разберем, так ли обстоят дела с философией, как я это утверждаю. А эфиопов и Гелонову жену к чему было приглашать из Сиракуз на нашу беседу?

Ликин. Хорошо, пусть они идут прочь, если тебе кажется, что для беседы они излишни. Тогда говори ты: по-видимому, речи твои будут изумительны.

Гермотим. Мне кажется, Ликин, вполне возможным, изучив только взгляды стоиков, узнать от них истину, не касаясь иных взглядов и не пытаясь изучить все. Рассуди сам: положим, кто-нибудь скажет тебе, что дважды два — четыре, и ни слова больше. Неужели надо будет тебе обходить всех других, сколько есть людей, сведущих в числах, осведомляясь, не скажет ли кто-нибудь, что получится пять или семь? Или ты сейчас же поймешь, что человек этот говорит правду?

Ликин. Сейчас же пойму, Гермотим.

Гермотим. Почему же тогда тебе кажется невозможным, что некто, встречаясь только со стоиками, говорящими истину, верит им и не нуждается больше в других, поскольку знает, что никогда четыре не станут пятью, хотя бы тысячи Платонов и Пифагоров стали утверждать это?

36. Ликин. Но ведь речь совсем не о том, Гермотим; ты сопоставляешь положения, в которых все согласны, с такими, которые вызывают споры. Это совершенно различные вещи. Скажи-ка: встречал ли ты кого-нибудь, кто утверждал бы, что два да два будет семь или одиннадцать?

Гермотим. Не встречал. С ума надо сойти, чтобы утверждать, будто не получится четырех.

Ликин. А теперь: встречал ли ты когда-нибудь, — только, ради Харит, говори правду, — двоих, стоика и эпикурейца, которые не расходились бы во взглядах в понимании начала и конца?

Гермотим. Ни разу.

Ликин. Смотри, дорогой мой, уж не хочешь ли ты провести меня, своего друга! Ведь мы как раз исследуем, кто в философии говорит правду! Ты же, предвосхитив ответ, взял и решил, что это — стоики, говоря, будто именно они утверждают, что дважды два — четыре; но в этом-то и заключается неясность, не так ли? Ибо эпикурейцы или платоники сказали бы, что это у них получается четыре, а у вас — пять либо семь. Разве тебе не кажется, что так же обстоит дело у них, поскольку вы признаете добром только красоту, эпикурейцы же — наслаждение? Или когда вы

утверждаете, что все телесно, Платон же думает, что в мире сущего имеется и бестелесное? Но, повторяю: ты с жадностью наложил лапу на то, что вызывает разногласия, как на бесспорную собственность стойков, и отдал в их руки, хотя и другие притязают на то же и говорят, что это — их достояние. Здесь-то, я полагаю, и требуется прежде всего решение суда. В самом деле: если заранее ясно, что только одни стойки считают дважды два — четыре, то другим остается только молчать. Но пока именно из-за этого происходят битвы, следует выслушивать всех одинаково и помнить, что в противном случае нас сочтут лицеприятными судьями.

37. *Гермотим. Ликин!* Мне кажется, ты не понимаешь, что я хочу сказать.

Ликин. Тогда надо говорить яснее, — но только ничего другого ты ведь не скажешь.

Гермотим. Сейчас тебе станет ясным, о чем я говорю. Итак, положим, что два человека побывали в святилище Асклепия или в храме Диониса, а затем была обнаружена пропажа одной из священных чаш. Конечно, придется обоих подвергнуть обыску, чтобы узнать, у кого из них за пазухой чаша.

Ликин. Несомненно, придется.

Гермотим. Находится же чаша непременно у одного из них.

Ликин. Если только она пропала, — иначе и быть не может.

Гермотим. Значит, если ты найдешь ее у первого, то второго уже и раздевать не станем, так как заранее ясно, что у него ее нет.

Ликин. Заранее ясно.

Гермотим. И точно так же, если не найдем ее за пазухой у первого, — значит, наверно, она у второго, и в этом случае тоже повторять обыск будет лишним.

Ликин. Потому что чаша у него.

Гермотим. Вот так-то и мы: если уже найдем чашу у стойков, будем считать ненужным продолжать обыскивать других, получив то, чего давно добивались. Для чего еще, в самом деле, мы будем тратить свои силы?

38. *Ликин.* Не для чего, если действительно найдете, а нашедши, сможете установить, что это и есть пропавшее приношение, — другими словами, если оно будет вам совершенно известно. В данном же случае, мой милый, в храме побывали не двое, — что необходимо, чтобы у одного из них должно было непременно оказаться украденное, — но перебивало множество разного люда. Затем и относительно самого пропавшего предмета — не ясно, что он, собственно, собою представляет: то ли чашу, то ли кубок, или венок: ведь жрецы, сколько их ни есть, называют предмет так, другие — иначе; даже относительно материала, из которого он сделан, нет согласия, но одни говорят, что он медный, другие — серебряный, третьи — золотой, а четвертые — оловянный. Таким образом, чтобы обнаружить пропажу, необходимо раздеть всех входивших, и если бы даже это сделать сразу и у первого ты нашел бы золотую чашу, — все-таки придется и дальше раздевать остальных.

Гермотим. Для чего же, Ликин?

Ликин. Да потому, что не ясно, был ли пропавший предмет чашей. Но пусть даже в этом нет разногласий, — не все, однако, показывают, что чаша была именно золотой. Но если бы это и было вполне известно, то есть что пропала именно золотая чаша, и если бы у первого же нашли золотую чашу, — мы все-таки еще не могли бы отменить обыск для остальных, поскольку остается неясным, принадлежала ли богу именно эта чаша. Разве золотая чаша только одна? Как ты думаешь?

Гермотим. Конечно, не одна.

Ликин. Придется таким образом обойти и обыскать всех, потом снести в одно место все найденное и, сравнив, решить, чему подобает быть достоянием бога.

39. Ибо, помимо прочего, огромное затруднение представляет то обстоятельство, что у каждого из тех, кого мы будем обыскивать, обязательно что-нибудь найдется: у одного кубки, у другого чаша, у третьего венок, и притом у одного вещь из меди, у другого из золота, у третьего из серебра. Но что именно эта вещь принадлежит храму — остается неясным. Таким образом неизбежно возникнет затруднение: кого же считать святоотатцем? И если бы все имели одинаковые вещи, — все равно неясным остается, кто обокрал бога, потому что вещь может быть и частной собственностью. Причина же нашего незнания, по-моему, одна: пропавшая чаша, — предположим, что пропала именно чаша, — не подписана, так как, будь на ней написано имя бога или имя посвятившего ее, мы не трудились бы столько и, нашедши подписанную чашу, перестали бы раздевать и беспокоить остальных. Я думаю, что ты, Гермотим, часто видел атлетические состязания...

Гермотим. Ты правильно думаешь: видел часто и во многих местах.

Ликин. А если так, то, наверно, сиживал иногда около самих судей?

Гермотим. Клянусь Зевсом: на последних олимпийских играх я сидел слева от элланодиков благодаря Евандрию из Элеи, который предоставил мне место среди своих сограждан; очень уж мне хотелось поглядеть поближе на все, что совершается элланодиками.

Ликин. Стало быть, знаешь ты и то, как они мечут жребий, кому и с кем следует бороться или участвовать в кулачном бою?

Гермотим. Прекрасно знаю.

Ликин. Тогда, пожалуй, ты это лучше расскажешь, поскольку видел все вблизи.

40. Гермотим. В древности, когда Геракл устраивал состязания листовую лавра...

Ликин. Не надо мне древности, Гермотим; то, что ты видел недавно своими глазами, — про то и рассказывай.

Гермотим. Выставляется серебряная кружка, посвященная богу. В нее бросают маленькие, величиною с боб, жребии с надписями. На двух написана буква альфа; на двух — бета, на двух следующих — гамма. Если же борцов окажется больше, то и далее так, по порядку, причем всегда

два жребия обозначены одной и той же буквой. И вот, каждый из борцов подходит, опускает, помолившись Зевсу, руку в кружку и вытаскивает один из жребиев; за ним — другой. Около каждого из атлетов стоит слушатель с бичом и поддерживает его руку, не позволяя прочесть, что за букву он вытащил. Когда у всех уже имеется жребий, то, кажется, надзиратель, а может быть, один из самих элланодиков, — сейчас уж не помню, — обходит состязающихся по кругу и осматривает жребии. Того, у кого альфа, ставит бороться или биться с другим, тоже вытащившим альфу; у кого бета — с получившим бету, и тем же порядком остальных, по одинаковым буквам. Так делается, если число участников состязания равное: восемь, четыре, двенадцать. Если же один лишний, — при пяти, семи, девяти, — то один жребий помечается какой-нибудь буквой и бросается в кружку вместе с остальными, не имея себе соответствующего. Тот, кто вытащит этот жребий, остается в запасе и сидит, выжидая, пока первые окончат борьбу, — ибо для него не имеется соответствующей буквы. Для борца это немалая удача — выступить в дальнейшем со свежими силами против уже утомленных.

41. Л и к и н. Умолкни: вот это мне и было главным образом нужно. Итак, все борцы, в количестве девяти человек, вытащили жребии и держат их. А ты, — я хочу превратить тебя из зрителя в элланодика, — обходишь их и осматриваешь буквы; однако я думаю, ты сможешь узнать, кто из борцов в запасе, не прежде, чем всех обойдешь и соединишь в пары.

Г е р м о т и м. То есть как это так, Ликин?

Л и к и н. Невозможно сразу найти эту букву, означающую того, кто в запасе, или, точнее сказать, букву-то ты, конечно, найдешь, но никак не узнаешь, что это именно она, так как заранее не объявляется, что в запас назначается К или М, или Х. Встретив альфу, ты ищешь второго с альфой, и, найдя, из этих двух уже составляешь пару; затем, встретив бету, ищешь, где вторая бета, противник уже найденной, и со всеми остальными поступаешь подобным же образом, пока не окажется у тебя в остатке тот, кто имеет непарную букву, букву без противника.

42. Г е р м о т и м. Ну, а если она попадется тебе первой или второй, что ты станешь делать?

Л и к и н. Я-то — ничего, а вот ты, элланодик, как поступишь, хотел бы я знать: объявишь ли сразу, что такой-то в запасе, или должен будешь обойти по кругу всех, чтобы посмотреть, нет ли ему одинаковой буквы? Итак, пока не просмотришь все жребии, ты не можешь определить, кто остается в запасе.

Г е р м о т и м. Да нет же, Ликин, определяю без труда. Так, при девяти участниках, обнаружив первой или вторую букву Е, — уже знаю, что тот, у кого она в руках, и есть запасной.

Л и к и н. Как же это, Гермотим?

Г е р м о т и м. А вот так: альфу имеют двое из состязающихся, и бету — тоже двое. Остается четверо; из них одна пара вытащила гамму, другая — наверняка дельту, — на восемь человек нам потребовалось че-

тыре буквы. Ясно таким образом, что лишней при этом положении может оказаться только следующая по порядку буква Е, а тот, кто ее вытащил, и становится запасным.

Л и к и н. Не знаю, Гермотим, хвалить ли мне твой ум или высказывать приходящие мне в голову возражения, каковы бы они ни были? Что ты предпочитаешь?

Г е р м о т и м. Пожалуйста, возражай, — хотя я не понимаю, какие разумные доводы ты мог бы выставить против моих соображений.

43. Л и к и н. Дело в том, что ты рассуждаешь так, как будто буквы обязательно писать по порядку: первая — альфа, вторая — бета и так далее, пока на одной из них не окажется исчерпанным число борцов. И я согласен с тобой, что на олимпийских играх так это и делается. Но что будет, если, выбрав наудачу из всех букв пять — Х, Σ, Ζ, К и Θ, мы четыре из них напишем по два раза на восьми жребиях, а только один раз — на девятом, который и должен будет у нас показывать, кому быть в запасе, — что ты станешь делать, когда тебе в первый раз попадется Ζ? По какому признаку ты распознаешь, что вытащивший ее идет в запас, пока не обойдешь всех и не обнаружишь, что этой букве не отвечает другая? Ведь порядок букв уже не поможет тебе, как прежде.

Г е р м о т и м. Трудно что-нибудь на это ответить.

44. Л и к и н. Ну, так я представлю тебе то же самое несколько иначе. Подумай-ка, что случится, если мы поместим на жребиях не буквы, а какие-нибудь значки и насечки, — вроде тех, что во множестве употребляются вместо букв египтянами: например, изобразим людей с песьими или львиными головами? Или, пожалуй, оставим эти диковинные образы, а давай нанесем на жребии цельные и простые, по возможности, верные изображения: нарисуем людей на двух жребиях, двух петухов — на двух других, лошадей и собак — тоже два раза; на девятом же жребии пусть будет изображен лев. Так вот, положим, в самом начале тебе попадется жребий со львом. Как ты сможешь сказать, что именно он направляет борца в запас, если не пересмотришь предварительно все жребии по порядку, нет ли там еще одного, тоже со львом?

Г е р м о т и м. Положительно не знаю, Ликин, что тебе отвечать.

45. Л и к и н. Вполне понятно: ничего не скажешь, что не было бы истинным только по внешности. Итак, если мы хотим найти похитителя священной чаши, или запасного борца, или лучшего проводника в город, о котором мы говорили, — в Коринф, мы необходимо должны будем обойти всех и расследовать точно, допрашивая, раздвывая и осматривая, потому что только таким образом, да и то с трудом, мы, может быть, узнаем истину. Поэтому кто собирается давать мне советы по философии, какого направления в ней следует держаться, и хочет заслужить мое доверие, — тот должен один знать все ее течения. Каждый другой советчик будет несовершенным, и я не поверю ему, пока для него остается неизвестным хотя бы одно направление, — потому что оно же и может легко оказаться наилучшим. Ведь если кто-нибудь покажет нам красивого человека и ска-

жет, что красивее его нет никого, — мы вряд ли поверим ему, не убедившись, что он видел всех людей. Правда, красив и этот человек, но что он всех красивее, может знать только тот, кто видел всех. Мы же нуждаемся не просто в красивом, но в прекраснейшем. Если же мы его не найдем, значит, ничего не достигли. Мы не сочтем себя удовлетворенными, если случайно где бы то ни было мы встретим какую-нибудь красоту, — мы ищем той высочайшей красоты, которая по необходимости является единой.

46. *Гермотим*. Ты прав.

Ликин. Так что же? Можешь ты назвать мне кого-нибудь, испытавшего в философии все пути? Кто, зная учения Пифагора, Платона, Аристотеля, Хризиппа, Эпикура и других, в конце концов выбрал из всех путей один, признав его истинным, и пошел по этому пути, убежденный, что только он один прямо ведет к блаженству? Если бы мы отыскиали такого человека, наши затруднения были бы окончены.

Гермотим. Нелегко, Ликин, найти такого человека.

47. *Ликин*. Что же нам делать, Гермотим? Не отказываться же, я думаю, потому только, что сейчас мы не можем добыть себе ни одного подходящего проводника? И не будет ли тогда лучше и надежнее всего каждому начать дело собственными силами, проникнуть в основы философии и подвергнуть тщательному рассмотрению все, что об этом говорится?

Гермотим. Да, по-видимому, с этого надо начать. Не помешало бы только то, о чем ты сам недавно говорил: не так это сделать легко — решился, распустил паруса да тотчас и вышел в море. Как тут пройти все пути, если на первом же, как ты сам утверждаешь, нас задержат препятствия?

Ликин. Слушай же меня. Воспользуемся знаменитым примером Тезея и, взявши нить трагической Ариадны, войдем в любой из лабиринтов, зная, что, свертывая нить, сможем без труда выйти обратно.

Гермотим. Но кто же будет нашей Ариадной и откуда добудем мы эту нить?

Ликин. Не робей, дружище! По-моему, я уже знаю, за что нам держаться, чтобы найти выход.

Гермотим. За что же?

Ликин. Я скажу сейчас не свои слова, а слова одного мудреца: «Будь трезв и умеи сомневаться». Так вот, если мы не будем легковверными слушателями, но станем держаться, как судьи, давая высказываться всем философам по порядку, — мы, несомненно, без труда выберемся из лабиринтов.

Гермотим. Прекрасно сказано! Так и сделаем.

48. *Ликин*. Быть по сему. Итак, с кого бы из них нам начать наш путь? Или это безразлично? Но начнем с любого, кто попадется, — с Пифагора, например. Сколько же нам положить времени на то, чтобы изучить все, изложенное Пифагором? Не забыть бы прибавить и знаменитые пять лет молчания... Что же? С этими пятью, я думаю, довольно будет тридцати лет. Или много? Ну уж, во всяком случае — двадцать.

Затем, по порядку, на Платона надо положить, очевидно, еще столько же, потом на Аристотеля тоже, конечно, не меньше.

Гермотим. Никак не меньше.

Ликин. Что касается Хризиппа, то я даже и спрашивать тебя не буду, сколько на это надо времени. С твоих собственных слов я знаю, что сорока лет и то, пожалуй, мало.

Гермотим. Так оно и есть.

Ликин. Затем у нас пойдут Эпикур и остальные. А что я кладу не слишком много — это станет тебе, наверно, понятным, если примешь во внимание, сколько восьмидесятилетних стоиков, эпикурейцев и платоников в один голос говорят, что они еще не знают полностью содержания выбранного каждым направления и что нет недостатка у них в том, чему поучиться. А промолчи они, — об этом, конечно, заявили бы и Хризипп, и Аристотель, и Платон, и раньше их всех — Сократ, который был ничуть не хуже их и кричал во всеуслышанье, что он не только не знает всего, но и вообще не знает ничего, кроме одного: что он ничего не знает. Теперь подсчитаем с самого начала: двадцать лет мы положили на Пифагора, затем столько же на Платона, затем, по порядку, на остальных. Итак, сколько же получится в общем, если сложить, считая в философии всего лишь десять разных направлений?

Гермотим. Свыше двухсот лет, Ликин.

Ликин. Не убавим ли на четверть, удовлетворившись полуторастами лет? А может быть, даже вдвое? Как ты думаешь?

49. Гермотим. Тебе самому лучше знать... Я же вижу одно: что даже и тогда лишь немногим, пожалуй, удастся пройти все пути, хотя бы они пустились в дорогу сразу после рождения.

Ликин. Так как же быть, Гермотим, в столь затруднительном положении? Неужели отказаться от того, в чем мы уже пришли к соглашению, а именно: что нельзя выбрать из многого лучшее, не подвергнув испытанию все, и что тот, кто делает выбор без испытания, скорее гадает про истину, чем судит о ней как исследователь? Так ведь мы говорили?

Гермотим. Так.

Ликин. Значит, нам совершенно необходимо так долго прожить, если мы намерены сделать правильный выбор, испробовав все направления; потом, сделавши выбор, начать философствовать и, отфилософствовав, достичь блаженства. И пока мы этого не сделаем, мы, как говорится, будем плясать в темноте, натываясь на что попадется, и будем принимать за искомое первое, что попадет нам в руки, из-за незнания истины. Но пусть даже мы каким-то образом найдем искомое, обнаружив его по счастливой случайности, — мы все-таки не можем сказать уверенно, то ли это именно, что мы отыскиваем. Многочисленны подобия, представляющие одно и то же, и каждое из них утверждает о себе, что оно-то и есть сама истина.

50. Гермотим. Ах, Ликин, я просто не знаю, до чего разумными кажутся мне твои слова, но... надо сказать правду — ты безмерно огорчаешь меня, излагая все это и уточняя без всякой надобности. Да! видимо,

не к добру вышел я сегодня из дому и, выйдя, встретил тебя! Я был уже так близко к цели моих надежд — и вот, ты взял и поверг меня в сомнения, раскрывая невозможность отыскания истины, раз на ее поиски требуется столько лет.

Л и к и н. Ну, мой друг, с гораздо большим правом ты мог бы бранить своего отца, Менекрата, и мать, — как ее звали, не знаю, — или, — это даже прежде всего, — посетовать на свою природу за то, что никто не дал тебе долгой, многолетней жизни Тифона, а очертили человеку пределы жизни в сто лет, не больше. А я в нашем совместном рассуждении только сделал вытекавшие из беседы выводы.

51. Г е р м о т и м. Неправда, ты всегда был дерзким человеком, ты ненавидишь философию, — за что, не знаю, — и насмехаешься над теми, кто занимается ею.

Л и к и н. Эх, Гермотим! Что такое правда, это вы, то есть ты со своим учителем, люди мудрые, определите, наверно, лучше меня. А я только знаю, что выслушивать ее не очень-то сладко. Ложь пользуется гораздо большим почетом: она красивее лицом, а потому и приятнее. Правда же, которой незачем скрывать подделки, беседует с людьми со всей жесткостью, и за это они на нее обижаются. Так вот и ты сейчас недоволен мной, потому что я нашел правильное решение вопроса и показал, как нелегко удовлетворить страсть, которой мы с тобою охвачены. Это то же самое, как если бы ты влюбился в статую и, считая ее человеком, думал достичь своей цели, а я, обнаружив, что она из камня или бронзы, сообщил бы тебе по дружбе, что страсть твоя невозможна. Ты после этого стал бы подозревать меня в плохом к тебе отношении только из-за того, что я помешал тебе обманывать себя, питая надежду чудовищную и безнадежную.

52. Г е р м о т и м. Итак, ты утверждаешь, Ликин, что ни к чему нам философствовать, а следует предаться праздности и вести жизнь неучей?

Л и к и н. Когда же я тебе это говорил? Я отнюдь не утверждаю, что надо бросить философию. Я говорю: если в конце концов философствовать нужно, пути к философии различны и каждый выдается за путь к добродетели, причем остается неясным, какой из путей правилен, то надлежит тщательно провести разграничения. Мы обнаружили далее, что, имея перед собою множество философских учений, невозможно выбрать лучшее, если не обойти все, испытывая их. Ну и, наконец, оказалось, что испытание будет длительным. А что предлагаешь ты? Я повторяю мой вопрос: что, кто первый попадется, с тем ты и пойдешь, с тем и будешь философствовать, а он тебя использует как счастливую находку?

53. Г е р м о т и м. Что еще я могу тебе ответить, когда ты утверждаешь, будто самостоятельно сделать выбор можно, только прожив век Феникса, обойдя и испытав всех кругом? Будто тем, кто раньше производил испытание, доверять не должно, равно как и похвалам многочисленных свидетелей.

Л и к и н. Кого же ты разумеешь под этим множеством все знающих и все испытывавших? Если есть хоть один такой, — с меня довольно: больше и

е понадобится. А если ты говоришь о незнающих, то, как бы их ни было много, это не может заставить меня верить им, пока я буду видеть, что они либо ничего не знают, либо из всего знают только что-нибудь одно.

Г е р м о т и м. Ты только один разглядел истину, а остальные философы, сколько их ни на есть, ничего все не понимают.

Л и к и н. Напраслину ты на меня возводишь, Гермотим! Ты говоришь, что я хочу как-то выдвинуть себя перед другими или вообще причисляю себя к знающим. Ты забыл, очевидно, что я не лез выше других, заявляя, будто я сам знаю истину, но согласился, что, подобно всем, не знаю ее.

54. Г е р м о т и м. Ты говоришь, Ликин: нужно обойти всех и разузнать, чему они учат, иначе нам этим способом не избрать лучшего пути, — это, конечно, правильно. Но положительно смешно отводить на каждое испытание столько лет, как будто нельзя вполне понять целое по малой части. Мне такая задача кажется даже очень легкой и не требующей большой затраты времени. Рассказывают же, что один ваятель, Фидий, кажется, увидав только коготь льва, рассчитал по нему, каков должен быть весь лев, восстановленный соразмерно с когтем. А показать тебе одну лишь руку, закрыв остальное тело, ты сейчас же, я думаю, узнаешь, что под покрывалом скрыт человек, хотя бы ты и не видел всего тела. Следовательно, главное в каждом учении можно без труда усвоить в несколько часов. Твоя сверхточность, требующая длительного исследования, вовсе не является необходимой, чтобы выбрать лучшее. Можно рассудить и на основании того, что знаешь.

55. Л и к и н. Ой-ой-ой, Гермотим! Вот это — сильный довод: по части можно познать целое. Но я, впрочем, помнится, слышал обратное: знающий целое, может знать и его часть, но знающий только часть еще не знает целого. Вот ответ-ка на такой вопрос: мог бы этот Фидий, увидавший львиный коготь, узнать, что он — львиный, если бы никогда не видал льва целиком? Или ты, увидавши человеческую руку, мог бы сказать, что она — человеческая, если бы раньше не знал и не видал человека? Что же ты молчишь? Ну, хочешь, я за тебя отвечу, если у тебя не находится нужных слов? Я боюсь, что Фидию придется уйти ни с чем, напрасно изваяв льва: «ничто не указывало на Диониса» по его словам. И разве можно сравнивать эти два положения? Ведь и Фидию, и тебе только знание целого — человека или льва — позволило распознать отдельную часть, но в философии, в стоической, например, каким образом по части ты мог бы разглядеть остальное? И как мог бы открыть, что оно — прекрасно? Ибо здесь ты не знаешь целого, частями которого является известное тебе.

56. Возьмем теперь твоё утверждение, будто главное в любом философском учении можно прослушать в течение неполного дня. Каковы, по мнению философов, начала и цели сущего, что такое боги и что такое душа, кто из философов все считает телесным, а кто допускает и бестелесное бытие, кто полагает добро и блаженство в наслаждении, а другие видят его в красоте, — такие истины выслушать и потом изложить легко и не стоит труда. Но смотри, не понадобилось бы вместо неполного дня

много дней, чтобы узнать, кто же из них говорит истину! Из каких побуждений все они написали об этих вопросах сотни и тысячи книг? Разве не для того, чтобы убедить в истинности того немногого, что кажется тебе легким и простым? Ныне же, кажется, тебе опять придется прибегнуть к гадателю, чтобы выбрать лучшее учение, если не захочешь тратить время на то, чтобы, для точности выбора, самостоятельно продумать все по частям и каждое в целом. Для тебя было бы кратчайшим путем, без путаницы и задержки, пригласить гадателя, прослушать основы всех учений и в честь каждого принести жертву. Бог избавил бы тебя таким образом от тысячи хлопот, показав по печени животного, что надлежит тебе выбрать.

57. *Л и к и н.* А то, если хочешь, я предложу тебе другой, еще более спокойный способ. Не надо никому совершать заклятия животного в жертву, ни приглашать дорогого жреца. Гораздо проще: брось в кружку записочки с именами всех философов, потом вели отроку, не оскверненному сиротством, приблизиться к сосуду и вынуть записочку — первую, какая попадет под руку. Дальше останется — каково бы не было учение, на которое пал жребий, — философствовать.

58. *Г е р м о т и м.* Все это одно шутовство, Ликин, и совсем не к лицу тебе. Ты лучше скажи: приходилось тебе когда-нибудь самому покупать вино?

Л и к и н. И частенько даже.

Г е р м о т и м. И что же? Ты обходил по очереди всех торговцев в городе, пробуя, сравнивая и сопоставляя вина?

Л и к и н. Отнюдь нет.

Г е р м о т и м. Вполне понятно: как только тебе попадется доброе, подходящее вино, — его и надо покупать.

Л и к и н. Именно так.

Г е р м о т и м. И по небольшому глотку ты сумел бы сказать, каково все вино?

Л и к и н. Сумел бы, конечно.

Г е р м о т и м. А если бы, подойдя к торговцам, ты стал говорит им: «Эй вы! я хочу купить кружку вина. Эй, вы! дайте мне выпить по целой бочке, чтобы, ознакомившись со всеми, я мог узнать, у кого вино лучше и где мне следует его купить». Как ты думаешь, не осмеяли бы они тебя за такие речи? А если бы ты продолжал надоедать и дальше, то, пожалуй, облили бы тебя водой.

Л и к и н. Я думаю, и поделом было бы мне.

Г е р м о т и м. Вот точно таким же образом обстоит дело и с философией. Для чего выпивать бочку, если можно по небольшому глотку узнать, каково все содержимое?

59. *Л и к и н.* Какой ты скользкий, Гермотим, — так и уходишь из рук. Да только это не помогло тебе: думал убежать, а попал в ту же самую сеть.

Г е р м о т и м. Каким же это образом?

Л и к и н. А таким, что взял ты нечто, не вызывающее разногласий, — взял всем знакомое вино, а сравниваешь с ним вещи совершенно не похо-

жие, из-за которых все спорят ввиду их неясности. Так что я, например, даже сказать не могу, в чем ты видишь сходство между философией и вином. Разве в том только, что и философы, продавая свои учения, подобно купцам, подмешивают, подделывают и обмеривают. Подвергнем, однако, твои слова дальнейшему рассмотрению. Ты утверждаешь, что все вино, находящееся в бочке, совершенно однородно и одинаково, — утверждение, клянусь Зевсом, вполне уместное. Должно согласиться и с тем, что, зачерпнув немного и отведав, мы тотчас узнаем, какова вся бочка. С моей, по крайней мере, стороны это не встречает никаких возражений. Пойдем, однако, дальше. Возьмем философию и тех, кто ею занимается, например, твоего учителя, — говорят ли они вам ежедневно все то же и о том же или один раз об одном, другой — о другом? Заранее можно сказать, дружище, что о разном. Иначе, если бы он говорил всегда одно и то же, ты не провел бы с ним двадцать лет, странствуя и скитаясь, подобно Одиссею, — с тебя было бы довольно и один раз послушать учителя.

60. Гермотим. Разве я это отрицаю?

Ликон. А разве мог ты, в таком случае, узнать все с первого глотка? Не одно ведь и то же он говорил, но все время иное, за новым новое. Это совсем не то, что вино, которое оставалось у нас все тем же самым. Таким образом, мой друг, если ты выпьешь не всю бочку, ты будешь кружиться пьяным, но без всякого проку. Ибо, как мне кажется, бог скрыл блага философии попросту на дне, в винном осадке. Придется, значит, вычерпать все до последней капли, иначе ты так и не найдешь божественного напитка, которого, кажется, давно жаждешь. А ты думаешь, он таков, что стоит только его попробовать, глотнуть чуть-чуть, и ты тотчас сделаешься премудрым, как дельфийская пророчица, про которую говорят, что она, напившись из святого источника, тотчас становится боговдохновенной и начинает давать предсказания приходящим к ней. Однако дело обстоит иначе. Ты, по крайней мере, хотя выпил уже больше половины бочки, сам говорил, что стоишь еще в самом начале.

61. Но, посмотри, не больше ли подойдет к философии вот какое сравнение: сохраним по-прежнему твою бочку, оставим и купца, но внутри пусть будет не вино, а смесь разных семян: сверху — пшеница, за ней — бобы, дальше — ячмень, под ячменем — чечевица, затем горох и разные другие. И вот ты подходишь купить семян, а купец, взяв немного имеющейся у него пшеницы, насыпает тебе в руку как пробу, чтобы ты посмотрел, каково зерно. Так разве, глядя на пшеницу, ты мог бы сказать заодно, чист ли горох, не пересохла ли чечевица и не пусты ли бобовые стручки?

Гермотим. Ни за что не сказал бы.

Ликон. Вот так и философия: не выслушав всего, что скажет человек, по одному лишь началу не узнаешь, пожалуй, какова она вся, ибо, как мы видели, она — не единое что-то, подобно вину, с которым ты ее сравниваешь, считая всю одинаковой с первым глотком; она оказалась, напротив, чем-то неоднородным, требующим исследования, и притом не поверхностного. Ведь при покупке плохого вина всей-то опасности на два

обола, но себя самого потерять среди человеческого сброда, — как и сам ты говорил в начале беседы, — немалая будет беда. К тому же тот, кто до дна пожелает выпить бочку, чтобы купить одну кружку, причинит, я думаю, убыток купцу такую неслыханной пробой; с философией же ничего такого не случится, и ты можешь сколько угодно ее пить: ни на каплю не уменьшится содержимое бочки и не понесет ущерба купец. Тут, по пословице «дела не убудет, сколько ни черпай», как раз наоборот бочке Данаид, которая даже того, что в нее наливали, не могла удержать, и оно вытекало тотчас же, — из этой бочки зачерпни, сколько хочешь: останется больше, чем было.

62. Приведу тебе еще одно сравнение о пробе философии, и не сочти меня клеветником на нее, если скажу, что напоминает она ядовитое зелье — болиголов, например, или волчий корень, или еще какое-нибудь в том же роде. И они ведь, хотя и смертоносны, не убивают, однако, если чуть-чуть поскоблить их и попробовать на кончике ногтя; нужно определенное количество, определенный способ и раствор, только так принявший останется жив. Ты же считал, что достаточно самого ничтожного приема, чтобы до конца познать целое.

63. Г е р м о т и м. Что до этого — пусть будет по-твоему, Ликин. Так, значит, как же? Сто лет надо прожить и столько перенести хлопот? Неужели же нельзя иначе философствовать?

Л и к и н. Никак нельзя, Гермотим; и ничего в этом нет странного, если только ты был прав, сказавши в начале беседы, что жизнь коротка, а наука долга. А сейчас что-то, не знаю, с тобою случилось, и ты уже недоволен, если сегодня же, прежде чем зайдет у нас солнце, ты станешь Хризиппом, Платоном или Пифагором.

Г е р м о т и м. Обойти меня хочешь, Ликин, и загоняешь в тупик, хотя я тебе ничего плохого не сделал; очевидно, ты завидуешь мне, потому что я пробивался вперед в науках, а ты вон до какого возраста пренебрегал самим собою.

Л и к и н. Тогда сделай знаешь что? На меня ты не обращай внимания, как на сумасшедшего корибанта, и предоставь мне молоть вздор, а сам иди себе вперед своей дорогой и доведи свое дело до конца, не меняя своих первоначальных взглядов на эти вопросы.

Г е р м о т и м. Но ты же насильно не даешь мне сделать какой-нибудь выбор, пока я всего не подвергну испытанию.

Л и к и н. И я никогда не отступлюсь от своих слов, можешь быть в этом совершенно уверен. А что насильником ты меня называешь, то, мне кажется, ты обвиняешь меня безвинно, — сошлюсь на самого поэта, уже приводимого нами, пока другое его слово, выступив моим союзником, не лишит тебя силы. Только смотри: сказанное в этом слове будет, пожалуй, еще большим насилием, — но ты, оставив в стороне поэта, станешь, разумеется, обвинять меня.

Г е р м о т и м. Что же именно? Ведь это удивительно, если какое-нибудь слово его осталось неизвестным.

64. Л и к и н. Недостаточно, говорит он, все увидеть и через все пройти, чтобы суметь уже выбрать наилучшее, — нужно еще нечто, и притом самое важное.

Г е р м о т и м. Что же такое?

Л и к и н. Нужна, странный ты человек, некая критическая и исследовательская подготовка, нужен острый ум да мысль точная и неподкупная, какую она должна быть, собираясь судить о столь важных вещах, — иначе все виденное пропадет даром. Итак, нужно отвести, говорит он, и на это немалый срок и, разложив все перед собою, следует выбирать не торопясь, медленно, взвешивая по несколько раз и не забывая ни на возраст каждого из говорящих, ни на его осанку, ни на славу мудреца, но брать пример с членов Ареопага, которые творят суд по ночам, в темноте, чтобы иметь перед собою не говорящих, но их слова; и вот тогда, наконец, ты сможешь произвести надежный выбор и начать философствовать.

Г е р м о т и м. То есть распрощавшись с жизнью? Ведь при этих условиях никакой человеческой жизни, полагаю, не хватит на то, чтобы ко всему подойти и все тщательно в отдельности разглядеть, да разглядевши — рассудить, да рассудивши — выбрать, да выбравши — зафилософствовать: ведь только таким образом и может быть найдена, по твоим словам, истина, иначе же — никак.

65. Л и к и н. Не знаю, Гермотим, сказать ли тебе, что и это не все; думаю, что мы и сами не заметили, как допустили, будто и в самом деле что-то нашли, хотя, может быть, не нашли ничего, подобно рыбакам: они тоже часто закидывают сети и, почувствовав какую-то тяжесть, вытаскивают их, надеясь, что поймали множество рыбы, а когда извлекут сети с великим трудом, то взорам их предстает какой-нибудь камень или набитый песком горшок. Смотри, как бы и нам не вытащить чего-нибудь в этом роде.

Г е р м о т и м. Не понимаю, к чему тебе понадобились эти сети. Кажется, просто ты хочешь поймать меня в них.

Л и к и н. Так попытайся из них ускользнуть: ты ведь, с божьей помощью, умеешь плавать не хуже других; я же, со своей стороны, полагаю, что мы сможем обойти всех с целью испытать их и, в конце концов, выполнить это, — и все-таки останется по-прежнему неясным, владеет ли кто-нибудь тем, что нам нужно, или все одинаково не знают его.

Г е р м о т и м. Как? Даже из этих людей решительно никто им не владеет?

Л и к и н. Неизвестно. Разве тебе не кажется возможным, что все они лгут, а истина есть нечто иное, ненайденное, чего ни у кого из них еще нет?

66. Г е р м о т и м. Но как это так?

Л и к и н. А вот так: допустим, у нас будет истинным число двадцать. Пусть, например, кто-нибудь, взявши двадцать бобов в руку и зажавши их, будет спрашивать десять человек, сколько у него в руке бобов; они будут отвечать наугад, кто — семь, кто — пять, а кто пусть скажет трид-

цать; еще кто-нибудь назовет десять или пятнадцать и вообще один — одно число, другой — другое. Может оказаться, что и случайно кто-нибудь все-таки скажет правду. Не так ли?

Гермотим. Так.

Ликин. Но, конечно, не исключена возможность и того, что каждый назовет какое-нибудь число неправильное, не то, какое есть в действительности, и никто из них не скажет, что бобов у этого человека двадцать. Разве ты не согласен?

Гермотим. Да, вполне возможно.

Ликин. Вот точно так же и философы: все они исследуют блаженство, что это, собственно, такое, и каждый определяет его по-иному: один как наслаждение, другой — как красоту, третий утверждает о нем еще что-нибудь. И возможно, конечно, что блаженство совпадает с одним из этих определений, но не является невозможным, что оно заключается в чем-то другом помимо перечисленного. И похоже на то, что мы переворачиваем должный порядок и, не найдя начала, торопимся сразу к концу. А нужно было, я полагаю, сначала выяснить, известна ли истина и владеет ли ею, познав ее, вообще кто-нибудь из философов, а потом уже, после этого, можно было бы по порядку искать, кому следует верить.

Гермотим. Таким образом, Ликин, ты утверждаешь, что, если даже мы пройдем через всю философию, мы и тогда все-таки не сможем открыть истину?

Ликин. Дорогой мой, обращай свой вопрос не ко мне, но опять-таки к самим исследуемым понятиям, и, без сомнения, получишь ответ: да, не сможем, пока будет неясным, является ли истина именно тем, о чем говорит один из этих людей.

67. Гермотим. Никогда, разумеется, судя по твоим словам, мы не найдем ее и не станем философами, но придется нам проводить жизнь как-нибудь, в невежестве, отойдя от философии. Так, по крайней мере, выходит из твоих слов, что стать философом невозможно и недостижимо, — для человека, во всяком случае. В самом деле: ты требуешь от того, кто намеревается философствовать, чтобы он прежде всего выбрал наилучшую философию; выбор же этот, по-твоему, мог бы выйти безошибочным лишь при условии, если мы, пройдя все виды философии, выберем самый истинный; затем, подсчитывая количество лет, достаточное для каждого, ты растянул задачу и, перешагнув свое, скатился в чужие поколения, так что для истины, оказалось, не хватит дней никакой жизни. А в конце концов даже и это ты ставишь под сомнение, объявляя неизвестным, найдена ли истина уже давно и находится у философов или еще вовсе не найдена.

Ликин. Ну, а ты, Гермотим, мог бы клятвенно заверить, что найдена и находится у них?

Гермотим. Я? Нет, я не дал бы клятвы.

Ликин. А скольким еще я умышленно пренебрег ради тебя, хотя оно тоже требует длительного исследования!

68. Гермотим. Что же это?

Л и к и н. Разве ты не слыхал, что среди причисляющих себя к стоикам или к эпикурейцам, или к платоникам одни знают любое положение этой философии, другие же — нет, хотя в прочих отношениях заслуживают доверия?

Г е р м о т и м. Это верно.

Л и к и н. Итак, определить тех, кто знает, и отличить их от незнающих, хотя они и говорят, будто знают, — не кажется ли это тебе делом очень трудным?

Г е р м о т и м. Еще бы!

Л и к и н. Итак, если ты захочешь узнать, кто лучший стоик, ты должен будешь обратиться, — ну, пусть не ко всем, но, во всяком случае, к большинству из них, испытать их и лучшего поставить своим учителем, предварительно поупражнявшись и приобретя способность разбираться в этих вещах, чтобы незаметно для себя самого не предпочесть худшего. Вот и на это — посмотри сам — сколько еще понадобится времени, которое я умышленно опустил, боясь, как бы не рассердить тебя, — хотя самым-то важным и вместе с тем самым необходимым в таких вопросах, то есть в вопросах неясных и спорных, и будет, по моему мнению, это одно. Нет для тебя иного средства к разысканию истины, кроме одного, но верного и надежного: обладай способностью судить и отделять ложь от истины, отличай, подобно пробирщикам, полноценное и настоящее от поддельного — и, вооруженный этой способностью и знанием, приступай к исследованию предмета нашей беседы, а не то, будь уверен, ничто не помешает всякому провести тебя за нос или приманить свежей веточкой, как барана. Как воду за столом, каждый кончиком пальца будет передвигать тебя, куда захочет, и, клянусь Зевсом, ты станешь подобен прибрежному тростнику, растущему у реки, который гнется под всяким дуновением, когда даже легкий ветер, повеяв, волнует его.

69. Поэтому, если только ты найдешь какого-нибудь учителя, который, владея неким искусством неопровержимого доказательства и разрешения сомнений, согласится учить тебя, — ты, конечно, покончишь со своими затруднениями. Ибо тотчас тебе откроется лучшее и истинное пред лицом этого искусства доказательство, а ложь будет изобличена. Сделав надежный выбор и произнеся свой суд, ты начнешь философствовать и, добившись желанного, будешь жить блаженным, обладая всеми благами!

Г е р м о т и м. Правильно, Ликий! Вот это лучше и совсем не так безнадёжно. Очевидно, надо нам поискать какого-нибудь мужа в этом роде: пусть он сделает нас способными распознавать, различать и, самое главное, доказывать, потому что дальнейшее уже легко, хлопот не представляет и времени много не требует. Я уже заранее благодарю тебя за найденный тобою наикратчайший и наилучший путь.

Л и к и н. Правильнее тебе подождать еще благодарить меня. Ничего ведь я не нашел и не показал тебе такого, чтобы приблизить тебя к исполнению надежды, — напротив, мы очутились гораздо дальше, чем были ранее, по пословице: «трудились много, а толку мало».

Гермотим. О чем это ты? Я чувствую: что-то горестное и безнадежное собираешься ты сказать.

70. Ликин. А вот о чем, друг: если даже мы найдем кого-нибудь, кто станет заверять нас, будто он и сам сведущ в доказательствах и другого научит, — мы не поверим ему, думается мне, сразу, но станем искать другого, который мог бы решить, правду ли говорит этот человек. И если добудем такого судью, опять получаем неясность: умеет ли он распознать человека, правильно судящего, или не умеет; и для него самого, я думаю, снова нужен иной судья. Ведь самим-то нам откуда же знать, как судить о способности человека к наилучшему суждению? Видишь, куда заводят нас поиски истины и каким бесконечным становится это занятие: ведь остановить его и овладеть истиной никогда не удастся, так как и сами доказательства, сколько их ни найдется, при ближайшем рассмотрении окажутся спорными и не имеющими ничего прочного. Большая часть доказательств при помощи столь же спорных посылок направлена на то, чтобы насильно убедить нас, будто мы достигли знания. Другие присоединяют к соображениям очевидным другие, вовсе не ясные и ничем с ними не связанные, и утверждают, что первые являются доказательством вторых. Это то же самое, как если кто-нибудь задумал бы доказать бытие богов тем, что их жертвенники явно существуют. И вот, Гермотим, не знаю, как это вышло, но только мы, словно бегая по кругу, снова пришли к исходному положению и пребываем в прежнем затруднении.

71. Гермотим. Что ты со мною сделал, Ликин! В угли обратил ты мое сокровище! Очевидно, годы напряженного труда окажутся для меня потерянными напрасно.

Ликин. Однако, Гермотим, ты будешь гораздо меньше огорчен, если примешь в соображение, что не один ты остаешься за пределами тех благ, которых надеялся достигнуть, — ведь и все философствующие, как говорится, борются за тень осла. Разве кто-нибудь сможет пройти через все затруднения, о которых я говорил? Что это невозможно, ты и сам признаешь. А сейчас твое поведение напоминает мне человека, который стал бы плакать и жаловаться на судьбу за то, что он не может взойти на небо, или, опустившись в морскую глубь у Сицилии, вынырнуть около Кипра, или, поднявшись птицей, перенестись в один день из Эллады в Индию. А причина его огорчения — надежда, которую он питал, увидев, как думается, или какой-то сон, или нечто подобное и не исследовав раньше, достижимо ли то, чего он хочет, и согласно ли с человеческой природой. Вот так и ты, мой друг, спал и видел много чудес во сне, но наша беседа поразила тебя и заставила пробудиться. Теперь, едва открыв глаза, ты сердишься, не желая стряхнуть сон и расстаться с радостями, которыми грезил. Такое же недовольство испытывают люди, создающие себе в мечтах призрак счастья. Если, пока они становятся богачами и откапывают клады и владеют царствами или вкушают иные радости, — подобное легко и в изобилии создает богиня Мечта, которая в великой щедрости своей никому ни в чем не откажет, даже хотя бы пожелай он стать птицей или вели-

каном или найти золотую гору, — так вот, если среди таких помыслов придет к мечтателю раб с вопросом о чем-нибудь жизненно необходимом, например, где купить хлеба или что ответить домохозяину, который требует плату и давно дожидается ее, — как сердятся тогда за то, что спросивший потревожил углубленного в мечты и лишил разом всех благ; кажется, еще немного — и откусили бы рабу нос!

72. Но ты, дорогой мой, не питай таких чувств против меня за то, что я сделал: ты ведь тоже откапывал клады и носился на крыльях. Ты тоже думал думы необычайные и надеялся на надежды несбыточные, а я как друг не мог оставить тебя всю жизнь проводить во сне, — пусть сладком, но все-таки во сне, — и потребовал, чтобы ты встал и занялся чем-нибудь полезным, что ты будешь делать всю остальную жизнь, о деле общем заботясь. То, что ты до сих пор делал, и то, о чем думал, ничуть не отличается от Гиппокентавров, Химер и Горгон, от всего того, что создают свободно сны, поэты и художники и что никогда не существовало и существовать не может. И все-таки толпа всему этому верит и, как очарованная, глазает и выслушивает выдумки за их новизну и необычайность.

73. Так вот и ты: услышал от какого-нибудь слагателя басен, будто есть на свете какая-то женщина, не превзойденная красотой, превыше самих Харит и Афродиты Небесной, и, признав ненужным проверить, правду ли тот говорит и живет ли действительно где-нибудь на земле такая женщина, тотчас же влюбился, как Медея, которая, как говорят, влюбилась в Язона, увидев его во сне. Скорее всего привело к этой страсти тебя и всех прочих, подобно тебе влюбленных в этот же призрак, как, кажется, нужно предположить, то, что человек, рассказывавший о женщине, раз было признано достоверным начало, добавил и остальное. Вы взирали только на одно, а слагатель басен, пользуясь этим, стал тащить вас за нос, раз вы дали за что ухватиться, и он повел вас к любимой тем путем, который именвал прямым. Дальнейшее, я полагаю, было для проводника легким делом. Никто из вас не пытался, вернувшись к началу, выяснить, верен ли путь и не пошел ли он, не заметив того, не по тому пути, по которому надлежало идти. Напротив, все вы шли по следам ушедших вперед, будто стадо баранов за вожаком, вместо того чтобы в самом начале, при входе, тотчас посмотреть, надо ли вступить на эту дорогу.

74. Смысл моих слов лучше тебе уяснится, если ты рассмотришь попутно еще одно вот такое сравнение: если кто-нибудь из поэтов, полных великой отваги, будет рассказывать, что когда-то уродился человек о трех головах и шести руках, и если ты беззаботно примешь эту основную посылку просто на веру, не исследовав, возможен ли такой случай, — рассказчик тотчас же сделает отсюда и все остальные выводы: окажется, что этот человек имел шесть глаз, шесть ушей, и голосов испускал он по три разом, и ел тремя ртами, и пальцев имел тридцать, а не так, как мы — каждый по десять на обеих руках, а когда приходилось сражаться, то этот человек в каждой из трех рук держал по щиту, а из других трех одна рубила секирой, другая метала копье, третья действовала мечом. Кто мог бы

отказаться поверить подобным его рассказам? Ведь они — лишь следствие из основного положения, которое надо было сразу рассмотреть, подлежит ли оно принятию и следует ли допускать, что сказанное действительно является таковым. Но если первое — дано, остальные положения вытекают из него без всякой задержки, и не поверить им будет уже нелегко, так как они являются следствиями и согласованы с принятым основным положением. Как раз это случилось и с вами. Движимый страстным желанием, каждый из вас при выходе на дорогу не исследовал, как, собственно, обстоит с ней дело, и вы идете дальше, следуя за увлекающими вас выводами, и не задумываетесь над тем, случится ли, что вывод окажется ложью. Например, если кто-нибудь скажет, что дважды пять — семь, и мы поверим ему, не сосчитавши сами, то он сделает очевидный вывод, что и четырежды пять будет ровно четырнадцать, и так далее, сколько пожелает. То же делает и удивительная геометрия: и она выставляет сначала какой-нибудь нелепый постулат и требует принять положения, несовместимые даже одно с другим, как то о неделимой точке или линиях, не имеющих ширины, и тому подобное. Добившись согласия, на этой негодной основе возводится построение. Начав с ложной посылки, геометрия заставляет строгим доказательством признать выставленное утверждение истинным.

75. Так и вы, приняв за данное основные положения той или иной философской школы, верите и последующим, считая признаками их истины то, что они являются выводами, — хотя, по существу, эти выводы ложны. Затем, одни из вас умирают, не утратив надежд, не успев разглядеть правды и понять, что философы обманули. Другие хотя и замечают обман, но поздно, уже став стариками, и не решаются повернуть обратно из чувства стыда, как это им в таком возрасте признать, что они забавлялись как дети и не поняли этого. Так-то они остаются при том же, боясь позора, и продолжают восхвалять все, как было. Всех, кого могут, обращают в свое учение, чтобы не одним быть обманутыми, но иметь утешение, видя, что и со многими другими случилось то же самое. Кроме того, эти философы видят также и то, что, скажи они правду, их перестанут считать, как сейчас, людьми значительными, стоящими выше других, и не будет им оказываться уже такого почета. Философы ни за что не скажут правды, зная, с какой высоты им придется упасть и что они станут такими же, как все. Иногда, правда очень редко, ты можешь встретить смелого человека, который решается признать, что он был обманут, и старается отвратить других от подобных же опытов. Так вот, если придется тебе встретиться с одним из таких людей, зови его правдолюбом, человеком достойным и справедливым, даже, если хочешь, философом: только за ним одним я готов признать право на это имя. Остальные же или не знают вовсе правды, думая, что обладают знаниями, или знают, но скрывают из трусости, из чувства стыда и желания быть окруженными особым почетом.

76. Но, во имя Афины, бросим сейчас все, что я говорил, и оставим здесь, — да будет оно предано забвению, как то, что совершалось до ар-

хонта Евклида. Предположим, что есть только одна правильная философия — философия стойков, другой же никакой не существует, и посмотрим, говорит ли она о достижимом и возможном или же трудятся ее последователи напрасно. Что касается обещаний, то, как я слышал, это какие-то чудеса, поскольку стойки сулят блаженство тем, кто войдет на самую вершину: взшедшие будут единственными людьми, которые соберут все подлинные блага и будут владеть ими. Что же касается дальнейшего, то тут, пожалуй, ты осведомлен лучше меня: пришлось ли тебе когда-нибудь встретить стойка, который не печалился бы, не увлекался радостями, не испытывал гнева, человека выше зависти, презирающего богатство и в полной мере блаженного? Имеется ли такой строгий образец жизни, построенный по правилам Добродетели? Ведь тот, которому недостает самого малого, не достиг совершенства, хотя бы он во всем и превосходил других, если же этого нет — он еще не достиг блаженства.

77. *Гермотим*. Ни одного такого стойка не видел.

Ликин. Это очень хорошо. *Гермотим*, что ты сам не хочешь говорить неправду. Но тогда что же ты смотришь, занимаясь философией, если для тебя ясно, что ни учитель твой, ни его учитель, ни учитель того, и никто из десяти поколений учителей не сделался подлинно мудрым и через то блаженным? Ты, может быть, скажешь, что достаточно приблизиться к блаженству, но ты будешь не прав, так как это делу не помогает. Одинаково находятся в пути и под открытым небом и тот, кто остановился у двери, не войдя в дом, и остановившийся дальше — ведь разница между ними только в том, что первый будет больше тосковать, видя вблизи то, чего он лишен. Допустимо, что, ради того чтобы приблизиться к блаженству, ты так мучишь и изнуряешь себя, упуская столько лет жизни, пренебрегая собою, проводя время в бессонных трудах и бродя с поникшей от усталости головой? И ты говоришь, что будешь мучить себя и дальше, по меньшей мере еще лет двадцать, чтобы восьмидесятилетним стариком, — если есть у тебя, кто поручится, что ты доживешь до таких лет, — оказаться всего лишь среди тех, кто еще не достиг блаженства? Или, может быть, ты надеешься, что тебе одному удастся, преследуя, догнать и схватить то, за чем до тебя очень многие люди, храбрые и более быстрые, чем ты, гнались долго, но так и не поймали ничего?

78. Но пусть так: лови, хватай и держи, — и все-таки я не знаю такого блага, чтобы оно могло уравновесить столько мучительных трудов. А потом: сколько же лет тебе останется на то, чтобы насладиться достигнутым благом, если ты будешь уже стариком, переросшим всяческую радость и стоящим, как говорят, одной ногой в гробу? Одно разве только остается, милейший: может быть, ты приготавливаешь себя для жизни иной, чтобы, придя туда, прожить там лучше, зная, как надо жить, — подобно человеку, который, чтобы получше пообедать, стал бы до тех пор все готовить к пиршеству и устраивать, пока незаметно не умер бы с голоду?

79. И еще ты, мне кажется, не принял во внимание, что Добродетель, конечно, заключается в делах, например в поступках справедливых, муд-

рых и смелых. Вы же — под вами я разумею величайших из философствующих, — пренебрегая поисками Добродетели и ее осуществлением, занимаетесь жалкими речами, силлогизмами и трудноразрешимыми проблемами и тратите на эти занятия большую часть жизни. А того, кто окажется в этом сильнее, славите как победителя. Я думаю, вы удивляетесь и этому учителю, престарелому мужу, потому что он умеет завести в тупик собеседника, знает, как надо задать вопрос, заниматься софизмами и замышлять злые козни, чтобы ввергнуть человека в безвыходное положение. Пренебрегая совершенно плодами, плоды — это дела, вы занимаетесь только внешней оболочкой и в ваших беседах засыпаете друг друга листьями. Разве не этим занимаетесь вы все, Гермотим?

Гермотим. Этим самым и ничем иным.

Ликин. Тогда разве не прав будет тот, кто скажет, что вы гонитесь за тенью, забывая тело, или за шкуркой змеи, позабыв о самом гаде, или, пожалуй, поступаете подобно тому, кто, наполнив водою ступку, начал бы толочь ее железным пестом, думая, что он занимается каким-то нужным делом, и не подозревая, что можно, как говорится, оттолочь себе плечи, — вода все останется водой?

80. Позволь, наконец, спросить тебя, хочешь ли ты, помимо учености, и в остальном стать похожим на учителя, быть таким же сердитым, таким же мелочным, сварливым и падким до чувственных удовольствий — Зевс тому свидетель, хотя большинство и не считает это достоинством? Что же ты примолк, Гермотим? Хочешь, расскажу тебе, что, как я слышал третьего дня, говорил о философии какой-то человек в весьма преклонных летах, к которому за мудростью прибегает вся молодежь? Так вот, требуя плату с одного из учеников, он выражал неудовольствие, говоря, что срок пропущен и за опоздание полагается пеня, так как уплатить следовало шестнадцать дней назад, в полнолуние. Так ведь было условлено.

81. Пока он бранился, подошел почтеннейший дядюшка юноши, деревенский житель и, по-вашему, невежественный, и сказал: «Брось, чудака, уверять, будто мы жестоко тебя обидели, не уплатив до сих пор за купленные у тебя словечки. Того, что ты продал нам, у тебя еще осталось достаточно, учености у тебя ничуть не убавилось. А в том, чего я с самого начала так хотел, когда посылал к тебе юнца, — то в этом он с твоей помощью ничуть не стал лучше: он похитил дочку соседа Эхекрата, испортил девушку, и не ушел бы он от суда как насильник, если бы я за талант не выкупил греха у бедняка Эхекрата. Затем, третьего дня он дал пощечину матери за то, что та его задержала, когда он уносил подмышкой кадучку, — наверно, чтобы иметь чем внести вклад в попойку. По части злобы, буйства, бесстыдства, дерзости и вранья он раньше был куда лучше, чем теперь. Я очень хотел бы, чтобы он в этом отношении получил от тебя пользу, а не учился бы тому, о чем он распространяется каждый день за обедом, хотя нам в этом нет нужды: как крокодил утащил ребенка и обещает отдать его, если отец ответит не знаю что. Или доказывает, что раз сейчас день, не может быть ночи. А иной раз молодчик рога нам хочет от-

растить, когда не знаю как начнет наворачивать слова. Ну, мы над этим смеемся, особенно когда он заткнет уши и твердит про себя разные «случайное» и «постоянное», и «понимание», и «воображение», и всякие такие слова произносит. Слышали мы от него тоже, будто бог не на небе живет, а прогуливается по всем вещам, например, по деревьям, по камням, по животным, — вплоть до всякой дряни. А когда мать спросила его, что за вздор он несет, он засмеялся над ней и сказал: «Вот выучу этот вздор как следует, и ничто уж не помешает только одному мне быть богачом и царем, а всех других по сравнению со мною буду почитать за рабов и за нечисть».

82. Так сказал этот человек. А теперь послушай, какой ответ, достойный старика, возвестил философ. Он сказал: «Если бы твой племянник не сблизился со мной, — почем ты знаешь, может быть, он наделал бы дел гораздо худших и даже — да сохранит нас Зевс — был бы передан в руки палача? Теперь же, так как философия и стыд перед нею набросили на него некую узду, он благодаря этому стал более умерен, и вы легче можете его выносить. Позором ведь будет, если мой ученик окажется недостойным одеянья и званья, которые, ему сопутствуя, воспитывают его. Итак, справедливо было бы мне получить с вас плату если не за то, в чем я вашего сына сделал лучше, так за то, чего он не сделал из чувства уважения к философии. Даже кормилицы уже говорят о своих питомцах, что надо их посылать в школу: если они и не смогут еще научиться там чему-нибудь доброму, то, во всяком случае, находясь в школе, не будут делать ничего плохого. Итак, я считаю, что мною все выполнено. Ты можешь прийти ко мне завтра и взять себе любого из выучившихся у меня мудрости, — ты увидишь, как он ставит вопросы, как отвечает, сколько он выучил и сколько уже прочел книг об аксиомах, силлогизмах, о понимании, обязанностях, а также о многом другом. А то, что он ударил мать или похитил девушек, — какое это имеет ко мне отношение? Вы не нанимали меня к нему в воспитателя».

83. Вот что говорил старец в защиту философии. Но ты, пожалуй, и сам скажешь, Гермотим: достаточно ли этого, чтобы начать философствовать и не попасть в худшее положение? Или же мы с самого начала считали нужным философствовать, питая иные надежды, а не стремились к тому, чтобы, прохаживаясь, выглядеть приличнее простых смертных? Неужели и на этот вопрос ты не ответишь?

Гермотим. Что мне ответить кроме того, что я готов заплакать? Так глубоко проникли в меня твои речи, открывшие истину! Я горько жалею о том времени, которое я, несчастный, затратил! А я, вдобавок еще, и плату вносил немалую за свои немалые труды. И сейчас, словно протрезвев после опьянения, вижу, что я так страстно любил и сколько выстрадал ради него.

84. Л и к и н. Но к чему плакать, друг мой? Ведь очень легко понять смысл басни, которую рассказывал Эзоп. Один человек, говорил он, сидя на берегу, считал набегающие волны и, сбившись, стал тужить и горе-

вать, пока не подошла к нему лиса и не сказала ему: «Что ты, мой милый, горюешь о волнах, которые протекли, когда можно начать считать сызнова, не заботясь о прошедших?» Вот так и ты: раз таково твое решение, лучше всего сделаешь, если в дальнейшем будешь считать, что надо жить жизнью общей со всеми, и станешь таким же гражданином, как большинство людей, не питая никаких несбыточных и высокомерных надежд. Начни рассуждать здраво, и ты не будешь стыдиться, если тебе в преклонных летах придется переучиваться и переходить на лучший путь.

85. И не думай, мой милый, что все сказанное я говорил из предубеждения к Стое или питая какую-то особую вражду к стоикам. Мои слова приложимы ко всем учениям. То же самое я сказал бы, если бы ты избрал учение Платона или Аристотеля и осудил все остальные направления, заочно и без разбора. В данном случае, так как ты предпочел стоиков, необходимо было направить мои слова против Стои, хотя я ничего особенного против нее не имею.

86. Г е р м о т и м. Ты прав. Итак, я отхожу прочь и даже изменю свой внешний вид. В недалеком будущем ты не увидишь больше ни густой и длинной, как сейчас, бороды, ни жизни умеренной — будет полная непринужденность и свобода. Может быть, я даже в пурпур облекусь, чтобы все видели, что мне нет никакого дела до всего этого вздора. Если бы можно было изрыгнуть из себя все, что я наслушался от философов, — будь уверен, я без колебания стал бы пить ради этого отвар чемерицы, в противоположность Хризиппу, чтобы не вспоминать никогда того, что говорят философы. А тебе, Ликин, я приношу немалую благодарность: какой-то мутный бурный поток уносил меня, и я уже отдавался ему, увлекаемый течением водяных струй, но ты вытащил меня, представ, как божество в трагедии, появляющееся на театральном приспособлении. Мне кажется, будет разумно, если я обрею себе голову, как это делают свободные, спасшиеся после кораблекрушения, и сегодня же принесу благодарственную жертву, отряхнув с глаз весь этот мрак.

Если когда-нибудь в будущем, идя по дороге, я встречу, вопреки моему желанию, с философом, я буду сворачивать в сторону и сторониться его, как обходят бешеных собак.



ЗЕВС УЛИЧАЕМЫЙ

1. К и н и с к. Я не буду надоедать тебе, Зевс, просьбами о богатстве, сокровищах и царской власти, обо всем, что другим так желанно, а тебе вовсе не легко выполнить: я, по крайней мере, не раз замечал, что ты делаешь вид, будто и не слышишь этих просьб. Я бы хотел от тебя только одной, да и то самой пустяшной вещи.

З е в с. Что же это такое, Киниск? Ты не потерпишь неудачи, особенно, если ты нуждаешься в скромном, как ты утверждаешь.

К и н и с к. Ответь мне на один нетрудный вопрос.

З е в с. Воистину невелика твоя просьба и легко ее исполнить! Спрашивай сколько хочешь.

К и н и с к. Вот в чем дело, Зевс. Ты, наверное, читал поэмы Гомера и Гесиода, — скажи мне, правду ли рассказывали нам эти рапсоды о Роке и Мойрах, будто неизбежно то, что они каждому назначат при его рождении.

З е в с. Все это совершенная правда. Ничто не случается без воли Мойр, но все возникшие имеет такую судьбу, какая предназначена их пряжею, — иначе и быть не может.

2. К и н и с к. Так что, когда тот же Гомер говорит в другом месте своей поэмы:

Или, судьбе вопреки, низойдешь ты в обитель Аида,

и тому подобное, мы можем утверждать, что все это вздор?

З е в с. Конечно, ибо ничто не может совершиться помимо Мойр и их законов, ничто вопреки их пряже. А поэты, если они вдохновлены Музами, поют правду; когда же богини их оставляют и они начинают сочинять

от себя, тут и возникают ошибки и противоречия; это простительно: ведь люди и не могут найти истины, когда их покидает то, присутствие чего творило.

К и н и с к. Пусть будет так. Но вот еще что мне скажи: ведь Мойр три — Клото, Лахеса и Атропа?

З е в с. Конечно.

З. К и н и с к. Ну, а Рок и Судьба, — ведь они также весьма известны, — кто они такие и в чем их власть? Равны они Мойрам или в чем-либо выше их? Я, по крайней мере, от всех слышу, что нет ничего могущественнее Рока и Судьбы.

З е в с. Не дозволено тебе все знать, Киниск. И чего ради расспрашиваешь ты меня о том, что касается Мойр?

4. К и н и с к. Скажи мне еще только одно: вами они тоже повелевают, и вам приходится висеть на их нити?

З е в с. Приходится, Киниск. Чему ты улыбаешься?

К и н и с к. Я вспомнил из Гомера те слова, которые ты говорил, когда держал речь в собрании богов и угрожал им, обещая повесить всю вселенную на золотую цепь. Ты сказал, что спустишь эту цепь с неба, и все боги, ухватившись за нее, при всем желании не будут в силах перетянуть ее к себе — тебе же легко удастся всех их повлечь «с самой землею и с самим морем». Как восхищался я твоей силой! Я дрожал, слушая эти слова! А теперь, после твоих объяснений, я вижу, что ты сам со всеми твоими угрозами и цепями висишь на тонкой ниточке. Мне кажется, у Клото больше права похваться своей силой, так как она поднимает тебя, вытягивая на своем веретене, как рыбаки добычу на удочке.

5. З е в с. Не понимаю, к чему все эти вопросы.

К и н и с к. А вот к чему, Зевс. Но, заклинаю тебя Мойрами и Роком, не гневайся и не будь недоволен, слушая эти правдивые и откровенные слова. Если дело обстоит так, что над всеми властвуют Мойры и никем не может быть ничто изменено из установленного ими однажды, то к чему же мы, смертные, совершаем жертвенные приношения и гекатомбы, прося вас о разных благодеяниях? Не понимаю, какая нам польза от этих забот, если мы не можем силою наших молитв ни избежать зла, ни воспользоваться какой-нибудь божеской милостью.

6. З е в с. Я знаю, где ты научился этим хитрым вопросам — у проклятых софистов, которые говорят, что мы не заботимся о людях; они ведь от нечестия задают подобные вопросы, отклоняя и других приносить жертвы и молиться, так как это, мол, бесполезно: мы и не заботимся о том, что у вас происходит, и совсем бессильны в делах земных. Но им не поздоровится от таких речей!

К и н и с к. Клянусь веретеном Клото, Зевс, я говорил не по их наущению и сам не знаю, как пришел наш разговор к тому, что жертвоприношения не нужны! Но все же, если можно, я задам тебе еще несколько кратких вопросов, а ты отвечай без страха и как можно увереннее.

З е в с. Спрашивай, если тебе не жалко тратить время на такую болтовню.

7. К и н и с к. Ты утверждаешь, что все совершается по воле Мойр?

З е в с. Да, я утверждаю это.

К и н и с к. А вы можете что-либо изменить или раскрутить веретено?

З е в с. Ни в каком случае.

К и н и с к. Хочешь, чтобы я вывел то, что из этого следует, или же все ясно и без моих слов?

З е в с. Вполне ясно. Но приносящие жертвы совершают это не в виде вознаграждения или покупки у нас чего-либо, но лишь почитая в нас нечто благое.

К и н и с к. Что ж, хорошо, если ты признаешь, что жертвоприношения совершаются не ради выгод, а из некоторого доброжелательства людей, почитающих высшее. Правда, если бы здесь оказался кто-нибудь из софистов, он, пожалуй, спросил бы тебя, почему ты считаешь, что боги представляют нечто благое, если они находятся в таком же рабстве, как и люди, и служат тем же властительницам, Мойрам. Ведь для софистов мало одного утверждения бессмертия, чтобы они вас за это считали высшими существами. Ваше положение гораздо хуже человеческого: нам хоть смерть дарует свободу, а ваше несчастье беспредельно, и ваше рабство, навитое на большое веретено, будет длиться вечно.

8. З е в с. Однако, Киниск, ведь блаженна эта вечность и беспредельность, и мы живем среди всяческих наслаждений.

К и н и с к. Не все, Зевс; и у вас в этом деле различия и большая путаница. Ты вот счастлив, потому что царь и можешь вздернуть землю и воды, словно ведро из колодца. А вот Гефест хром и должен заниматься ремеслом кузнеца, а Прометей был даже некогда распят. А что мне сказать о твоём отце, который и по сей час находится в Тартаре и закован в цепи? Говорят, будто вы страдаете от любви и от ран и бываете у людей рабами, как твой брат у Лаомедонта или Аполлон у Адмета. Подобная жизнь мне не кажется особенно блаженной; я думаю, что одни из вас счастливы и богато наделены, а другие, напротив, лишены всего. Я уж не говорю о том, что и грабят-то вас, словно людей, и святотатцы вас обкрадывают, и в одно мгновение вы из богачей становитесь нищими. А многие из вас, золотые или серебряные, были расплавлены, кому выпала, очевидно, такая участь.

9. З е в с. Однако! Это уж дерзко, что ты теперь говоришь, Киниск; ты раскаешься в этом.

К и н и с к. Не очень-то угрожай, Зевс. Ведь ты знаешь, что со мной ничего не случится не предпрешенного Мойрой раньше тебя. Ведь и святотатцы не все бывают наказаны, а большинство из них избегает вашего правосудия, потому что, по-видимому, вам не суждено их схватить.

З е в с. Ну разве я не говорил, что ты один из тех, которые в своих рассуждениях отрицают божий промысел?

К и н и с к. Не знаю, почему ты их так боишься; что бы я ни сказал, ты подозреваешь, что все это — их уроки.

10. Я же охотно спросил бы тебя еще: от кого могу я иначе узнать истину, что такое Промысел? Родственник он Мойрам или особое божество, ими повелевающее и выше их стоящее?

З е в с. Ведь я уже сказал, что не следует тебе всего знать. А ты, заявив мне сначала, что спросишь только об одном, не перестаешь теперь говорить о всяких пустяках. Я вижу, что для тебя главное в этом разговоре — доказать, что мы не печемся о людских делах.

К и н и с к. Но ведь это не мои слова, а ты сам только что утверждал, что Мойры всем повелевают. Или ты раскаиваешься в сказанном и берешь свои слова обратно? Или, быть может, вы, отталкивая Рок, оспариваете у него право на заботу о людях?

И. З е в с. Ничего подобного; но Мойра через нас выполняет свои замыслы.

К и н и с к. Теперь понимаю: вы, значит, слуги и подчиненные Мойр. Впрочем, и так ведь выходит, что они заведуют Промыслом, а вы являетесь как бы орудием в их руках.

З е в с. Что ты говоришь?

К и н и с к. Я думаю вот что: топор и бурав помогают плотнику при работе, но все же никто не называет эти орудия плотником, и корабль сделан не топором и буравом, а кораблестроителем. Так и Рок — кораблестроитель вселенной, а вы — только топоры и бурава Мойр. И, мне кажется, люди должны были бы приносить жертвы Року и у него испрашивать себе благодеяния, а они идут к вам в торжественных шествиях и вас почитают жертвоприношениями. Впрочем, если бы они и воздавали почести Року, то вряд ли поступали бы как должно. Я не думаю, чтобы даже Мойры могли что-либо изменить и повернуть в другую сторону из того, что установлено с самого начала. Я полагаю, по крайней мере, что Атропа не позволила бы никому дернуть веретено и распустить работу Клото.

И. З е в с. Ты уж считаешь, Киниск, что люди не должны почитать даже Мойр? Кажется, ты готов все смешать в одну кучу. Но мы должны быть почитаемы хотя бы за то, что предсказываем будущее и угадываем все, поставленное Мойрами.

К и н и с к. Совершенно бесполезно. Зевс, зная будущее, если нельзя его избежать. Или, по-твоему, тот, кто знает, что умрет от железного копья, может избежать смерти, заперев себя дома? Но ведь это невозможно. Мойра заставит его пойти на охоту и предаст удару копья. И Адраст, метя в кабана, промахнется и убьет сына Креза, словно властный приказ Мойр направляет его копье на юношу.

И. И смешон оракул, данный Лаю:

*Не думай род продлить ты вопреки богам!
Ведь коль родишь дитя, тебя убьет оно.*

Совершенно излишне, думается мне, предостерегать об опасности там, где все совершится как установлено заранее. И Лай, действительно, женился после предсказания и был убит своим сыном. Поэтому я не вижу, на каком основании вы требуете жалованья за пророчествования.

14. Я уж и не говорю о том, что вы постоянно вещаете двусмысленно и темно, не объясняя, как следует, свое ли разрушит царство перешедший через Галис или Кира, — ведь это пророчество может значить и то, и другое.

Зевс. Этому причиной, Киниск, был гнев Аполлона, ибо, испытывая его, Крез сварил баранье мясо вместе с черепахой.

Киниск. Ну, ему, как богу, не следовало бы сердиться. Впрочем, я думаю, лидийцу было суждено, чтоб его обманул оракул, и, видно, такова была пряжа Судьбы, что он не распознал будущего. Так что и пророческое ваше искусство — дело ее рук.

15. Зевс. А нам ты ничего не хочешь оставить? Мы просто ненужные боги, без власти над Промыслом, не достойные жертвоприношений, как бурава и топоры? Впрочем, ты вправе мною пренебрегать, если ты видишь, что я, готовый метнуть молнию, до сих пор выношу, как ты проходишься на наш счет.

Киниск. Что ж, срази меня, Зевс, раз мне суждено погибнуть от удара молнии. Не тебя обвиню я в этом, а Клото, которая поразит меня с твоей помощью: ведь не сама же молния будет причиной раны. Впрочем, я хочу спросить еще одну вещь у тебя и Судьбы. А ты уж ответь и за нее; ты напомнил мне об этом своими угрозами.

16. Почему вы оставляете в покое святотатцев, разбойников и подобных им насильников, дерзких и клятвопреступных людей, а молнию часто направляете на какой-нибудь дуб, камень, мачту судна, не сделавшего никакого зла, или даже на честных людей и благочестивых странников? Что же ты молчишь, о Зевс? Или мне не следует знать также и этого?

Зевс. Не следует, Киниск. Вообще ты слишком любопытен, и я не понимаю, откуда у тебя весь этот вздор, которым ты мне так надоедаешь.

Киниск. В таком случае я не буду спрашивать вас, тебя, Промысел, Судьбу, почему добродетельный Фокион умер в такой бедности, лишенный всего самого необходимого, как до него Аристид, а Каллий и Алкивиад, распущенные юнцы, утопали в богатстве, так же как и надменный Мидий и Хароп с Эгины, развратнейший человек, уморивший голодом родную мать. Почему, с другой стороны, Сократ был предан Одиннадцати, а Мелет не был? И почему изнеженный Сарданапал царствовал, а Гох, муж доблестный, был распят по его приказанию за то, что ему не нравилось положение вещей?

17. Но чтобы не входить в подобное обсуждение современного положения, я скажу вообще, что злые и жадные бывают счастливыми, а порядочных людей угнетает бедность, болезни и тысячи разных иных зол.

Зевс. Но ведь ты не знаешь, Киниск, каким наказаниям подвергнутся злые после смерти и в каком блаженстве будут проводить свою жизнь хорошие люди.

Киниск. Ты мне говоришь об Аиде, Титиях и Танталах. Но если и существует что-либо подобное, я об этом узнаю лишь после смерти. Теперь же я предпочитаю прожить счастливо назначенный мне срок жизни, дав потом шестнадцати коршунам клевать мою мертвую печень, и не хочу

страдать на земле от такой жажды, как Тантал, а впоследствии пить вместе с героями на островах блаженных, среди Елисейских полей.

18. Зевс. Что ты говоришь! Разве ты не знаешь, что существуют кары и награды и судилища, где оценивается жизнь каждого человека?

Киниск. Я постоянно слышу, что некий Минос с Крита судит в преисподней подобные дела. Но расскажи мне что-нибудь о нем: говорят, он твой сын.

Зевс. Что же ты хочешь о нем узнать, Киниск?

Киниск. Кого наказывает он главным образом?

Зевс. Дурных людей, конечно, например, убийц, святотатцев.

Киниск. А кого отсылает он к героям?

Зевс. Хороших, благочестивых, вообще живших добродетельно.

Киниск. А почему так, Зевс?

Зевс. Потому что эти достойны награды, а дурные — наказания.

Киниск. Но если кто-нибудь невольно совершил преступление, то Минос и его присуждает к наказанию?

Зевс. Никогда.

Киниск. А сделавший нечаянно добро считается ли достойным награды?

Зевс. Тоже нет.

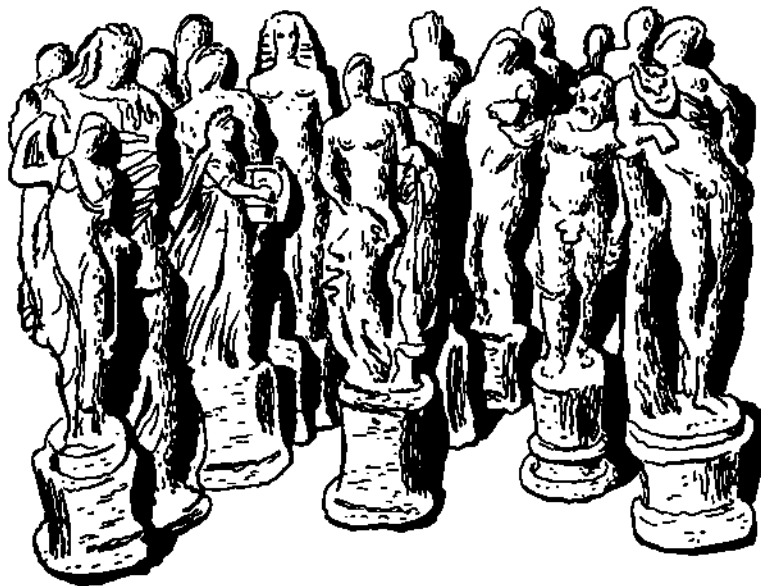
Киниск. Итак, Зевс, Миносу никого не подобает ни награждать, ни наказывать!

Зевс. Почему это никого?

Киниск. Потому что мы, люди, ничего не делаем по своей воле, но во всем покоряемся неизбежной необходимости, если только справедливо твое утверждение, что всему причиной — Мойра: если кто убивает, то это она убийца, и если кто оскорбляет святыню, то по ее решению. Итак, если Минос хочет быть справедливым судьей, то он накажет Судьбу вместо Сизифа, а вместо Тантала — Мойру. В чем их вина, если они покорились предустановленному?

19. Зевс. Не стоит отвечать на подобные вопросы; ты дерзкий софист. И я оставляю тебя и ухожу.

Киниск. А мне еще надо бы тебя спросить, где живут Мойры и как они, будучи только троим, поспевают обо всем до мелочей позаботиться. Это должна быть хлопотливая и несчастная жизнь, раз их обременяет столько дел! Не благоприятствовала им Судьба при рождении! По крайней мере, если бы мне предоставили выбирать, то я предпочел бы мою жизнь или даже еще более несчастную, но не сел бы за пряжу с таким множеством дел, требующих постоянного наблюдения. Впрочем, если тебе, Зевс, нелегко на все это ответить, я удовольствуюсь и тем, что ты мне сказал. И этого довольно, чтобы выяснить вопрос о Судьбе и Промысле, — остальное же мне, видно, не суждено было услышать.



ЗЕВС ТРАГИЧЕСКИЙ

Г е р м е с. О чем, Зевс, задумчиво бормочешь ты?

Разгуливаешь бледен, как философы.

Поведай мне, не презирая слов раба,

Чтоб в горе мог я быть твоим советником.

А ф и н а. О наш отец, о Кронид, средь властителей

высший властитель,

Вот светлоокая дочь пред тобою склоняет колени,

Ты нам скажи, не скрывай, чтоб все могли мы

услышать,

Что за горе грызет, о Зевс, твой разум и душу,

Что ты стонешь так тяжело и бледны так твои щеки?

З е в с. О, право, нет на свете слов столь тягостных,

Страданий нет, нет случаев трагических,

Которых бог не должен был бы вытерпеть.

А ф и н а. Каким ты сильным начал речь

вступлением!

З е в с. О жалкий род людской, землею

вскормленный,

О сколько бед наделал, Прометей, ты нам!

А ф и н а. В чем дело, хору выясни домашнему.

З е в с. О многошумно свистящая молния, что мне

свершишь ты!

Г е р а. Умерь свой гнев, Зевс; мы ведь не можем отвечать тебе, словно актеры в комедии или рапсоды, — мы не проглотили всего Еврипида, чтобы разыгрывать с тобой драмы.

2. Ты думаешь, что мы не знаем причины твоего горя?

З е в с. Не знаешь ты, а то б со мною плакала.

Г е р а. Я знаю, что главная причина твоих страданий — какая-нибудь любовь; а не плачу я, потому что привыкла к таким оскорблениям. Вероятно, ты снова нашел какую-нибудь Данаю, Семелу или Европу и, мучимый страстью, хочешь стать быком, сатиром или золотом, чтобы стечь с крыши в чрево твоей любовницы; ведь стенания, слезы и бледность лица — не что иное, как признаки влюбленного.

З е в с. Счастлива ты, если думаешь, что нам причиняет заботы любовь и подобные ребячества!

Г е р а. Что же другое, если не это, может огорчать тебя, как Зевса?

3. З е в с. Дела богов в большой опасности, Гера, и, как говорится, находятся на лезвии бритвы: либо нас будут уважать и впредь и воздавать почести на земле, либо же нами совершенно пренебрегут, и мы будем казаться несуществующими.

Г е р а. Разве земля снова родила каких-нибудь гигантов? Или Титаны, разорвав свои цепи и осилив стражу, вновь подняли на нас свое оружие?

З е в с. Дерзай, богам подземный не опасен мрак.

Г е р а. Что же случилось страшного? Я не могу понять — если тебя ничто подобное не огорчает, почему ты явился перед нами, вместо Зевса, в виде Пола или Аристодема?

4. З е в с. Стоик Тимокл и эпикуреец Дамид заговорили вчера, Гера, не знаю, с чего начав, о промысле в присутствии многих и притом знатных людей, что меня особенно огорчило. Дамид сказал, что богов не существует, не говоря уже о том, чтобы нам следить за тем, что совершается на земле и чем-либо распоряжаться; Тимокл же, милейший человек, попытался нас защитить. Собралась громадная толпа, и конца не было их спору. Они разошлись, условившись обсудить остальное в другой раз, так что теперь все возбуждены их речами и ждут, кто из них победит, чьи слова будут более походить на истину. Вы видите теперь, какова опасность, в какой тупик зашли наши дела, когда все зависит от одного человека? Теперь должно случиться одно из двух: либо нами станут пренебрегать и мы будем казаться пустыми именами, либо, если победит Тимокл, нас будут почитать как раньше.

5. Г е р а. Воистину это страшно, и ты не напрасно говорил об этом трагическим слогом.

З е в с. А ты думала, что весь шум из-за какой-нибудь Данаи или Антиопы? Что ж делать нам теперь, Гермес, Гера, Афина? Постарайтесь и вы со своей стороны найти какой-нибудь спасительный исход.

Г е р м е с. Мне кажется, надо сообща рассмотреть это дело, созвав собрание богов.

Г е р а. Я того же мнения, что и Гермес.

А ф и а. А я думаю, наоборот, отец, что ты не должен бы тормозить все небо, показывая этим, как ты встревожен, а лучше частным образом устроить так, чтобы Тимокл победил своими словами, а Дамид ушел бы из собрания осмеянным.

Г е р м е с. Но ведь это не останется безызвестным, Зевс, раз спор философов получил такую огласку; смотри, как бы не показалось, что ты поступаешь, как тиран, не сообщив всем богам о таких важных и общих делах.

З е в с. В таком случае возвести приглашение, и пусть все боги приходят на собрание; ты правильно говоришь.

Г е р м е с. Эй, боги, сходитесь на собрание; не медлите, собирайтесь все, сходитесь, — совещаться мы будем о важных делах.

З е в с. Как ты просто, невозвышенно и какой неразумной речью говоришь, Гермес, — и это, сзывая на важнейшие дела!

Г е р м е с. Но как же я должен говорить, Зевс?

З е в с. Как должен ты говорить? Возвешание должно быть провозглашено в стихах и с поэтическим благозвучием, чтобы все охотнее сходились.

Г е р м е с. Превосходно; но ведь это дело эпических стихотворцев и рапсодов, а я вовсе не способен к поэзии. Я испорчу все возгласие, соединяя то слишком много, то слишком мало слогов, и боги станут смеяться неблагозвучию моих слов. Я ведь знаю, что даже над Аполлоном смеялись за некоторые его пророчества, как он ни старался затемнять свои предсказания, чтобы не давать слушателям времени исследовать его стихи.

З е в с. В таком случае, Гермес, примешь к своему возвещанию побольше слов из Гомера, какими он нас сзывает. Ты их, вероятно, припомнишь.

Г е р м е с. С трудом и не совсем точно; однако все же попытаюсь.

*Пусть же никто из блаженных, ни бог, ни богиня, не медлит,
Ни многошумный поток, Океаном рожденный, ни нимфа:
Все поспешайте на вече в чертог многославного Зевса,
Те, что на пышном пиру вкушают теперь гекатомбы,
Боги средних размеров и даже последние боги,
Что безымянно сидят, наслаждаясь лишь дымом алтарным.*

7. З е в с. Прекрасно ты это возвестил, Гермес, и вот уже все сбегаются. Прими их и посади каждого по достоинству, приняв во внимание, из чего и как он сделан, — в первые ряды усади золотых, за ними серебряных, потом усади тех, что сделаны из слоновой кости, потом медных и мраморных, а среди них отдай предпочтение работам Фидия, Алкамена, Мирона, Евфранора или других подобных им художников; грубых же и сделанных неискусно сгони куда-нибудь подальше в одно место — пусть они молчат и только заполняют собрание.

Г е р м е с. Пусть будет так; я их посажу как подобает. Но вот что недурно бы знать: если кто вылит из золота и весом во много талантов, но сделан не тщательно, совсем неискусно и несоразмерно, — что же, и его

надо посадить перед бронзовыми произведениями Мирона и Поликлета и мраморными Фидия или Алкамена или же искусству следует отдать предпочтение?

З е в с. Следовало бы сделать так, но все же золотой бог предпочтительнее.

8. Г е р м е с. Понимаю: ты приказываешь мне рассаживать их по богатству, а не по знатности происхождения. Идите же на первые места вы, золотые! Кажется, только варварские боги займут первые места, Зевс. А эллинские, видишь, каковы: искусно сделаны, привлекательны и с красивыми лицами, но все мраморные или бронзовые; самые дорогие боги сделаны из слоновой кости и лишь немного поблескивают золотом, которое их покрывает легким слоем, внутри же они деревянные, и целые стаи мышей завоевали себе в них права гражданства. А вот эта Бендида, Анубис и Аттис и рядом с ними Митра и Мен сделаны целиком из золота; они тяжелы и действительно представляют ценность.

9. П о с е й д о н. Справедливо ли это, Гермес, сажать выше меня, Посейдона, этого египтянина с собачьей головой?

Г е р м е с. Конечно. Тебя, о колеблющий землю, Лисипп сделал бронзовым и бедным: ведь у коринфян тогда не было золота; а этот бог на целые рудники богаче тебя. Поэтому тебе следует терпеть, что тебя оттирают, и не гневаться, когда отдают предпочтение такому золотоносному богу.

А ф р о д и т а. Итак, меня ты посадишь в первые ряды, Гермес? Ведь я золотая.

Г е р м е с. На мой взгляд ты не такова, Афродита; если только глаза мои не слезятся, кажется мне, что ты была вырезана из белого пентеликонского мрамора и, став Афродитой, по решению Праксителя передана книйдцам.

10. А ф р о д и т а. Но я тебе приведу заслуживающего доверия свидетеля — Гомера; ведь он в своих песнях называет меня повсюду золотой Афродитой.

Г е р м е с. Так он и Аполлона называет многозлатным и богатым; а теперь, видишь, и он сидит среди мелких земледельцев, а разбойники сняли с него венки и ограбили его, вынув колки из его кифары. Так что и ты будь довольна тем, что сидишь не совсем между ремесленниками.

11. К о л о с с. Но кто осмелится спорить со мною, Солнцем, со мною, таким громадным? Если бы только родосцы не захотели соорудить меня сверхъестественным и чрезмерно великим, они могли бы за те же деньги сделать шестнадцать золотых богов; поэтому я могу считаться самым дорогим. К этому, при такой величине, присоединяется искусство и тщательность выделки.

Г е р м е с. Что же делать, Зевс? Я и сам в затруднении: взгляну на состав — он всего лишь бронзовый бог, а если подумаю, за сколько он выкован талантов, то ведь он стоит выше самых богатых граждан.

З е в с. Зачем это ему понадобилось явиться и смутить собрание? Все остальные боги перед ним совсем маленькие! Но все же, о сильнейший из родосцев, хотя ты и считаешь, что много предпочтительнее всех золотых

богов, как хочешь ты занять первое место? Ведь тогда всем придется встать, чтобы ты один мог усестись и занять весь Пникс половиной своего сидения. Уж ты лучше присутствуй на собрании стоя и наклонившись к сидящим.

12. Г е р м е с. И вот что еще так же трудно разрешить: эти оба из бронзы и одной работы, так как оба произведения Лисиппа, а главное, оба одинаково знатны по происхождению, ибо они дети Зевса — вот эти Дионис и Геракл. Кому же раньше дать место? Ты видишь, они спорят.

З е в с. Мы теряем время, Гермес, а давно уж следовало бы начать заседание; пускай поэтому садятся попеременно, где кто хочет, а после будет созвано особое собрание для решения этого вопроса, и тогда уж я буду знать, какой порядок надо установить среди них.

13. Г е р м е с. Геракл! как они шумят, выкрикивая свои обычные и ежедневные слова: «Раздачи, раздачи! Где же нектар, где же нектар? Амбросии мало, амбросии мало! Где гекатомбы, где гекатомбы! Жертвы для всех!»

З е в с. Заставь их замолчать, Гермес, чтобы боги, оставив болтовню, могли узнать, для чего они здесь собраны.

Г е р м е с. Но не все понимают по-эллински, Зевс, а я не знаю столько языков, чтобы провозгласить понятно для скифов и для персов, для фракийцев и для кельтов. Уж лучше, думается мне, подать им знак рукою, чтобы они замолчали.

З е в с. Сделай так.

14. Г е р м е с. Отлично! Они стали безгласнее софистов. Теперь пора держать речь. Ты видишь, они давно уж смотрят на тебя и ждут, что ты им скажешь.

З е в с. Тебе, как моему сыну, Гермес, я не побоюсь сознаться в том, что сейчас испытываю. Ты ведь знаешь, как я был всегда храбр и многоречив во время собраний.

Г е р м е с. Я знаю это и не раз дрожал от страха, слушая твои прежние речи, особенно, когда ты грозил вздернуть землю и море с их оснований, вместе с богами, спустив золотую цепь.

З е в с. Теперь же, дитя мое, не знаю, от громадности ли предстоящих бед или от количества присутствующих, — ибо, как видишь, собрание весьма многобожно, — мой ум смущен, сам я дрожу от страха, а мой язык как будто скован; но вот что самое главное: я забыл вступление, которое приготовил, чтобы начало речи вышло красивее.

Г е р м е с. Все погубил ты, Зевс! Твое молчание им кажется подозрительным, и они ожидают услышать о каком-нибудь чрезмерном зле, раз ты так медлишь.

З е в с. Хочешь, Гермес, я спою им обращение из Гомера?

Г е р м е с. Какое обращение?

З е в с. Слушайте слово мое, и боги небес и богини!

Г е р м е с. Перестань! Достаточно; надоел ты нам своим пением. Поверь мне, лучше оставь тяжеловесные стихи и, выбрав любую из речей Демосфена против Филиппа, произнеси ее, немного изменив. Так ораторствуют нынче многие.

15. З е в с. Ты правильно говоришь: короткая речь и беспечный вид хорошо помогают в затруднительном положении.

Г е р м е с. Начинай же, наконец.

З е в с. Граждане боги! Много сокровищ дали бы вы, думается мне, за возможность узнать, ради чего вы здесь собраны. И если так обстоит дело, то подобает вам усердно вслушаться в мои слова. Ибо теперешнее положение едва не вопиет, обращаясь к нам с тем, чтобы мы занялись делами весьма основательно; мы же, кажется, относимся к ним совсем небрежно. И вот я хочу — ибо Демосфен уже покидает меня — подробно рассказать вам, чем я был так потрясен, что созвал собрание. Вчера, как вы помните, Мнеситей приносил благодарственную жертву за спасение своего корабля, едва не погибшего около Кафрейского мыса, и все мы, кого он только позвал на жертвоприношение, пировали в Пирее. Когда, после возлияний, каждый пошел в свою сторону, куда кому хотелось, я поднялся в город (было еще не очень поздно), чтобы вечером прогуляться по Керамику, и стал размышлять о скупости Мнеситея: угощая шестнадцать богов, он принес им в жертву одного петуха, да и то старого и большого насморком, и дал всего четыре крупинки ладана, такие заплесневевшие, что они сразу потухли на угле, и мы даже кончиком носа не могли почувствовать запах дыма; а ведь он обещал нам целые гекатомбы, когда корабль несея на утес и находился уже между подводных камней.

16. Размышляя об этом, я вошел в Расписной Портик и увидел большую толпу людей, одних — в самом Портике, других — под открытым небом; некоторые со своих мест громко кричали и размахивали руками. Догадываясь, что это спорят философы, я, став поближе, захотел послушать, о чем они говорят. Я позаботился окружить себя самым густым облаком, принял подобный им вид и, отпустив длинную бороду, стал очень похож на философа. Растолкав толпу, я вошел неузнанный никем и застал пройдоху-эпикурейца Дамида в жарком споре со стойком Тимоклом, лучшим из людей; Тимокл вспотел и уже потерял голос от крика, Дамид же, ядовито насмехаясь, еще больше его подзадоривал.

17. Их спор касался нас. Проклятый Дамид утверждал, что мы не обращаем своего промысла на людей, не наблюдаем за тем, что у них происходит, и его речь клонилась к тому, что мы вообще не существуем: очевидно, такой смысл имели его слова. И находились люди, которые его одобряли. После этого стал говорить Тимокл, сражаясь за нас, сердясь, выводя в бой все доводы, хваля наше провидение и подробно рассказывая, как мы ведем и распределяем все в благоустройстве и подобающем порядке; и Тимокл нашел себе кое-каких сторонников, но он устал, почти потерял голос, и толпа обратила взоры на Дамида. Оценив всю опасность, я приказал Ночи спуститься и распустить собрание. Все разошлись, сговорившись рассмотреть на другой день вопрос до конца, а я сопровождал расходящихся по домам, подслушивал их слова и убедился, что большинство хвалит Дамида и предпочитает его речи. Были и такие, что не хотели предрешать исход спора, не выслушав того, что скажет завтра Тимокл.

18. Вот ради чего созвал я вас, боги. Ведь немалое это дело, если вы сообразите, что весь наш почет, доход и слава — люди. Если их убедят в том, что мы не существуем или не заботимся об их делах, то мы останемся без почестей, возлияний и даров земных и напрасно будем восседать на небе, терпя голод, без празднеств, торжественных собраний, игр и жертвоприношений, без всенюшных служений и пышных шествий. И в таких важных делах, утверждаю я, все должны подумать, как бы найти спасение и озаботиться, чтобы победил Тимокл и его слова показались более истинными, а Дамид был бы осмеян всеми слушателями; признаться, я не очень-то верю, чтобы Тимокл мог победить собственными силами, без какой-либо помощи с нашей стороны. Возгласи же, Гермес, законный возглас, чтобы желающие подать совет встали.

Г е р м е с. Слушай, молчи, не шуми! Кто хочет говорить из богов законных, из тех, кто имеет право голоса? Что это? Никто не встает, а все вы молчите и поражены важностью возвещенного Зевсом?

19. М о м. Но погибните все вы, рассыпьтесь водою и прахом! Я же, если мне позволено будет говорить откровенно, многое имел бы сказать, Зевс.

З е в с. Говори, Мом, не бойся; ведь очевидно, что ты будешь говорить откровенно для общей пользы.

М о м. Выслушайте же, боги, мои чистосердечные слова. Я давно уже ожидал, что мы попадем в столь затруднительное положение и что появится столько софистов, в дерзости которых мы сами виноваты. Но, клянусь Фемидой, мы не вправе сердиться ни на Эпикура, ни на его учеников и его последователей за их мысли о нас. Каких же суждений можем мы требовать от них, раз они видят такую неурядицу в жизни, если честные люди находятся в пренебрежении и гибнут в бедности, рабстве и болезнях, а самые дурные и негодные, пользуясь почестями и богатством, господствуют над лучшими; если святотатцы безнаказанно скрываются, а людей, не сделавших ничего неправого, распинают или ведут на пытки? Естественно, что, видя все это, люди отрицают наше существование.

20. Особенно, если они слушают прорицания, которые говорят, что перешедший Галис разрушит большое царство, но не объясняют, свое ли царство или вражеское; или предсказывают еще так: «Много, о Саламин, ты погубишь рожденных от женщин!» Ведь и персы, и эллины были, думается, рождены женщинами! И опять же, когда люди слышат от рапсодов, что мы страдаем и от страстей, и от ран, что мы попадаем в оковы, терпим рабство и поднимаем восстания, что мы попадаем в тысячу подобных неприятностей, желая, однако, называться блаженными и бессмертными, — не справедливо ли, что они над нами смеются и ни во что нас не ставят? А мы сердимся, если кто-нибудь из людей, не совсем лишенных разума, уличает нас во всем этом и не признает нашего провидения о людях, — сердимся, вместо того чтобы радоваться, что еще хоть кто-нибудь приносит нам жертвы после таких наших прегрешений.

21. И ответь мне по правде, Зевс, — ведь мы здесь одни и никто из людей не присутствует на нашем совещании, кроме Геракла, Диониса, Га-

нимеда и Асклепия, внесенных в наши списки, — заботился ли ты когда-нибудь о людях на земле настолько, чтобы исследовать, кто из них скверный, а кто порядочный человек; ведь ты бы этого не мог сказать. И если бы Тесей, идя из Трезена в Афины, не перебил мимоходом злодеев, то ты и твое провидение нисколько бы не помешали Скирону, Питиокамπτу, Керкиону и другим жить припеваючи и заниматься убийством прохожих. Или, если бы Еврисфей, предусмотрительный и осведомленный благодаря своему человеколюбию обо всем, что происходит вокруг, не посылал повсюду вот этого своего слугу Геракла, деловитого и трудолюбивого человека, то ведь ты, Зевс, не очень бы заботился о Гидре и стимфальских птицах, и фракийских лошадях, о дерзости пьяных и наглых Кентавров!

22. Но, если говорить правду, мы только сидим и наблюдаем, не совершает ли кто-нибудь жертвоприношение и не чадит ли жертвенным дымом у алтарей. Все же остальное несется по течению, увлекая каждого, куда попало. И поэтому мы теперь терпим заслуженно и будем терпеть еще и пренебрежение, если люди, подняв к небу голову, мало-помалу поймут, что им нет никакой пользы от жертвоприношений и торжественных шествий. И ты вскоре увидишь, как Эпикуры, Метродоры и Дамиды посмеются над нашими защитниками, победят их и заткнут им рот. Поэтому вам самим следовало бы прекратить и исправить то, что натворили. А Мому не очень страшно, если он окажется не в почете: ведь он и прежде не был в числе почитаемых; а вы одни блаженствуете и угощаетесь жертвоприношениями.

23. Зевс. Пусть он болтает, боги. Он всегда был грубияном и обличителем; недаром сказал достойный удивления Демосфен, что обвинять, порицать и обличать может с легкостью всякий, кто захочет, но, поистине, достойно разумного советника дать указание, как бы улучшить положение дел; и я не сомневаюсь, что вы все так и поступите, после того, как Мом замолчал.

24. Посейдон. Я, как вы знаете, подводник и управляю по-своему в морских глубинах, спасая, насколько возможно, плавающих, сопутствуя кораблям и умеряя силу ветров. Однако, так как и меня касаются здешние дела, я утверждаю, что необходимо убрать Дамида с дороги либо молнией, либо каким-нибудь иным приспособлением раньше, чем он явится на спор, чтобы он не одержал верх своими речами: ведь ты, Зевс, говоришь, что он умеет убеждать. Вместе с тем нам удастся показать, что мы наказываем тех, кто говорит против нас подобные вещи.

25. Зевс. Ты шутишь, Посейдон, или совсем забыл, что это не в нашей власти? Ведь Мойры прядут каждому его судьбу, назначая одному умереть от молнии, другому от меча, третьему от горячки или истощения. Или ты думаешь, что если бы я этим распоряжался, я позволил бы недавно святотатцам отрезать у меня два локона, каждый весом в шесть мин, и уйти из Писы, и не поразил бы их молнией? И разве ты сам пренебрег бы тем, что орейский рыбак похитил в Гересте твой трезубец? А кроме того, покажется, что мы разгневаны и огорчены этим делом и боимся речей Дамида и потому устранили этого человека, не решившись выждать его

встречи с Тимоклом. И выйдет так, что мы выиграли дело лишь за отсутствием противника.

П о с е й д о н. Все же мне казалось, что я нашел способ одержать победу.

З е в с. Поди ты, Посейдон: это какое-то рыбье и глупейшее предложение — заранее погубить противника, чтобы он умер непобежденным и оставил спор без окончательного решения.

П о с е й д о н. По-видимому, вы придумали что-нибудь лучшее, если с таким презрением отвергаете мой совет.

26. А п о л л о н. Если закон разрешает держать речь и безбородым юношам, я бы сказал нечто полезное для нашего обсуждения.

М о м. Вопрос поднят о столь важных вещах, Аполлон, что право говорить дается не по старшинству, а вообще всем; было бы смешно, если бы мы, находясь в чрезвычайной опасности, стали толковать о подробностях законов. К тому же ты законный оратор; ведь ты давно уже перестал быть эфебом, внесен в список Двенадцати и чуть ли не участвуешь в совете Крона; поэтому брось перед нами ребячиться, а говори прямо то, что думаешь, и не смущайся тем, что держишь речь, будучи безбородым, тем более что у тебя есть сын Асклепий с прекрасною и большою бородой. Кроме того, тебе надлежит проявить много мудрости, если ты не напрасно философствуешь с Музами, сидя на Геликоне.

А п о л л о н. Но ведь не твое дело разрешать мне это, Мом, а Зевса; и если он мне велит, то я, пожалуй, скажу нечто сладкогласное и достойное занятий моих на Геликоне.

З е в с. Говори, дитя мое, — я разрешаю тебе.

27. А п о л л о н. Этот Тимокл — человек прекрасный, благочестивый и сведущий в учении стоиков; поэтому он обучает мудрости многих юношей, берет с них немалые награды и бывает очень красноречив, особенно если рассуждает с ними частным образом. Говорить же перед толпой он боится, голос у него становится слабым и полуварварским, и он возбуждает смех в собраниях, говоря не плавно, а со страхом и заиканием, особенно если хочет при этом показать свой красивый слог. Понимает Тимокл все чрезвычайно быстро и тонко, по признанию лучших знатоков стоического учения. Когда же начинает говорить и истолковывать что-либо, то портит и смешивает все из-за своего недостатка: он не разъясняет того, что хочет разъяснить, но говорит загадками, и на вопросы отвечает так же туманно; его не понимают и смеются над ним. По моему мнению, надо говорить ясно и главным образом заботиться о том, чтобы всем слушателям было понятно.

28. М о м. Справедливо хвалишь ты, Аполлон, говорящих ясно, хотя ты сам и не отличаешься этим: ты даешь предсказания уклончиво и загадочно и осторожно обрываешь их на середине, так что слушающие нуждаются в новом пифийце для объяснения твоих слов. Но какое средство ты нам посоветуешь для исцеления Тимокла от немощи словесной?

29. А п о л л о н. Хорошо было бы, Мом, найти для него защитника из привычных ораторов, который излагал бы как следует то, что Тимокл, обдумав, ему будет внушать.

М о м. Это ты действительно сказал как безбородый мальчишка, которому еще нужен дядька! Ты советуешь приставить к философскому спору защитника, чтобы он истолковывал присутствующим мысли Тимокла! Дамид будет говорить сам, а Тимокл, пользуясь толкователем, станет ему сперва нашептывать на ухо свое мнение, после чего истолкователь начнет ораторствовать, даже не поняв хорошенько то, что услышал. И это не возбудит смех в толпе? Не стоит и думать о таком совете.

30. Ты же, о удивления достойный, ты, называющий себя пророком и собравший за это немалые награды, вплоть до золотых кирпичей, почему не покажешь ты нам теперь, и как раз вовремя, свое искусство, почему не предскажешь ты нам, какой из софистов одержит в споре победу? Ведь, как пророк, ты, очевидно, знаешь будущее.

А п о л л о н. Как же можно сделать это, Мом, когда здесь нет ни треножника, ни воскурений, ни пророческого Кастальского ключа?

М о м. Вот как? Попал в тупик и хочешь избегнуть испытания!

З е в с. Все же, дитя мое, дай пророчество, чтобы не было у этого сикофанта предлогов клеветать на тебя и насмехаться над тобой, что ты, дескать, зависишь от треножника, воды и благовоний и что без них ты лишен своего искусства.

А п о л л о н. Хотя и лучше, отец мой, было бы делать это в Дельфах или Колофоне, где, по обычаю, находится все мне необходимое, я все же, хотя и лишен всего и не вооружен, попытаюсь предсказать, за кем из двух останется победа; вы извините меня, если я скажу стихами.

М о м. Говори только ясно, Аполлон, чтобы мы не нуждались в толкователях и переводчиках. Ведь дело идет не о баранине или черепахе, которую варят в Лидии; ты ведь знаешь, о чем идет речь.

З е в с. Что же ты скажешь, дитя мое? Но вот они, страшные предвестники пророчества: бледность, вращение глаз, всклокоченные волосы, движения, бешеные как у корибанта, все приметы одержимого, таинственные и бросающие в дрожь!

31. А п о л л о н. Все вы услышите теперь слова

Аполлона-пророка.

Друг перед другом два мужа предстанут в

убийственном споре,

Громкоголосые оба, под броней слов хитроумных;

Гор вершины, заливы наполнятся сверху до низа

Шумом свалки жестокой, судьбу решающей схватки.

Но, когда схватит коршун кривыми когтями цикаду,

Лишь тогда начнут дожденосные каркать вороны.

И за мулами победа, осел же осленка лягает.

З е в с. Что ты хохочешь, Мом? Тут нет ничего смешного; перестань же, несчастный, — ты задохнешься от смеха!

М о м. Можно ли удержаться, Зевс, после такого ясного и очевидного пророчества!

З е в с. Ты можешь, значит, и нам истолковать то, что он сказал?

М о м. Это так ясно, что мы не нуждаемся в Фемистокле; это изречение совершенно определено говорит, что сам пророк — шут, а мы, право, выючные ослы и мулы, если верим ему, и разума у нас меньше, чем у цикады.

32. Г е р а к л. А я, отец мой, хоть и пришелец здесь, все же не побоюсь сказать то, что думаю: пусть они сходятся и начинают беседу, и если возьмет верх Тимокл, то оставим их рассуждать до конца, а если дело пойдет иначе, тогда, если хотите, я сотрясу Стою и опрокину ее на Дамида, чтоб этот проклятый не смеялся над нами.

М о м. Геракл, Геракл, какие ты деревенские и по-беотийски грубые говоришь слова: вместе с одним негодяем ты хочешь погубить столько порядочных людей, да еще и Стою вместе с Марафоном, Мильтиадом и Кинегиром! Если все это окажется разрушенным, как же риторы, лишенные главной темы для рассуждений, станут произносить свои речи? Кроме того, ты мог делать такие вещи, пока был жив, а с тех пор как стал богом, ты, я надеюсь, понял, что только Мойры могут творить такие дела, — мы же никакой власти над ними не имеем.

Г е р а к л. Значит, когда я убил льва и Гидру, это Мойры сделали через меня?

З е в с. Конечно.

Г е р а к л. И если кто-нибудь теперь оскорбит меня, осквернив мой храм или опрокинув мою статую, я не могу уничтожить его, если это издавна так не решено Мойрами?

З е в с. Ни в коем случае.

Г е р а к л. Услышь же мои откровенные слова, Зевс. Я, как сказано в комедии, человек деревенский: лодкой лодку и называю. И если таково ваше положение, то я прощаюсь со всеми небесными почестями, воскурениями, жертвенной кровью и пойду в Аид; там меня все же будут бояться тени убитых мною чудовищ, даже если в руках у меня будет только лук.

З е в с. Вот, можно сказать, домашний обличитель; ты предупредил Дамида и избавляешь его от необходимости говорить все это.

33. Но кто это спешно к нам приближается? Кто этот бронзовый бог, хорошо очерченный и размеренный, с древней прической? Да это, Гермес, твой брат, стоящий на площади около Расписного Портика; он весь в смоле, потому что ваятели ежедневно снимают с него отпечатки. Что ты бежишь к нам, дитя мое? Или что-нибудь новое случилось на земле?

Г е р м а г о р. Нечто огромное и требующее гораздо большей торопливости.

З е в с. Говори скорее; быть может, еще где-нибудь втайне на нас восстали?

Г е р м а г о р. В тот миг как раз работали литейщики,
Смолою грудь и спину покрывая мне,
Всего с искусством, точно подражающим,
Забавно облепили, словно латами,
И меди очертанья отпечатали.

Как вдруг толпу я вижу и каких-то двух
Кричащих, бледных, бьющихся софизмами,
Один из них Дамид...

З е в с. Милейший Гермагор, довольно трагедии. Я знаю, о ком ты говоришь. Скажи мне только, давно ли у них начался спор.

Г е р м а г о р. Нет еще, пока завязалась лишь перестрелка, и они перebrаниваются издали.

З е в с. Что ж осталось нам, боги, как не слушать их слова, наклонясь к ним? Засов да отодвинут Горы и, разогнав тучи, пусть распахнут небесные врата!

34. Геракл! что за толпа собралась для слушанья! Однако Тимокл мне не очень нравится: он испуган, дрожит и все дело нам сегодня погубит, потому что он, очевидно, не сумеет сопротивляться Дамиду. Единственно, что мы можем сделать, это помолиться за него, но только — тихо будем молиться, чтоб нас Дамид не услышал.

35. Т и м о к л. Что говоришь ты, о Дамид святотатствующий? Нет богов, и они не заботятся о людях?

Д а м и д. Вот именно; но сперва ты ответь мне, какой довод убедил тебя в их существовании.

Т и м о к л. Нет, не я, а ты ответь мне, негодный!

Д а м и д. Нет, не я, а ты!

З е в с. Пока что наш воюет гораздо лучше и голосистее. Молодцом, Тимокл, обливай его ругательствами! В этом твоя сила, а во всем остальном он заткнет тебе рот и сделает немым как рыба.

Т и м о к л. Клянусь Афиной, я не отвечу тебе первый!

Д а м и д. В таком случае спрашивай, Тимокл; ты победил меня своей клятвой. Только без ругани, пожалуйста.

36. Т и м о к л. Верно говоришь. Ответь же мне, проклятый, по-твоему, боги не заботятся о нас?

Д а м и д. Нет.

Т и м о к л. Как же так? Все на свете происходит без их заботы?

Д а м и д. Вот именно.

Т и м о к л. И попечение над вселенной не находится в руках некоего бога?

Д а м и д. Не находится.

Т и м о к л. Значит, все как бы несется по какому-то неразумному течению?

Д а м и д. Да.

Т и м о к л. О люди, как терпите вы такие слова и не бьете преступника камнями?

Д а м и д. Зачем, Тимокл, хочешь ты натравить на меня этих людей? И сам кто ты такой, что сердишься за богов, когда они сами вовсе не сердятся? Они, по крайней мере, не сделали мне никакого зла, хотя давно уже слушают меня, — если только они действительно слушают.

Т и м о к л. Слушают, Дамид, — слушают и отомстят тебе скоро!

37. Д а м и д. Когда ж найдут они для этого время, если у них столько забот, как ты это говоришь, если они заведуют всем бесконечным множеством дел во вселенной? Вот почему они и тебя не наказывают за многие твои клятвопреступления и еще за другие вещи, о которых не буду говорить, чтобы и самому, против уговора, не начать браниться. Впрочем, я не вижу, какое они могли бы найти лучшее доказательство своего попечения о людях, чем если бы они тебя, скверного, скверным образом уничтожили. Видно, они отправились за Океан, к «Эфиопам безупречным»: ведь они привыкли постоянно ходить туда на пир, иногда даже по собственному приглашению.

38. Т и м о к л. Что могу я сказать в ответ на такое бесстыдство, Дамид?

Д а м и д. А вот то самое, что я давно уже хотел от тебя услышать, Тимокл: почему убежден ты в божеском попечении о вселенной?

Т и м о к л. Во-первых, убедил меня в этом порядок явлений: солнце, совершающее всегда один и тот же путь, и луна, возвращающиеся времена года, произрастающие растения и возникающие живые существа. Все это устроено столь искусно, что может и питаться, и мыслить, и двигаться, и ходить, и быть строителем, сапожником и всем другим; это не кажется тебе делом Промысла?

39. Д а м и д. Но ведь это «предрешение основания», Тимокл! Совсем еще не ясно, совершает ли все это промысел богов. А что все эти явления таковы, скажу и я; я не вижу необходимости считать их действием чьей-то заботливости. Быть может, явления возникли случайно и остаются все такими же. А ты называешь их порядок необходимостью. И, наверное, рассердишься, если кто-нибудь с тобой не согласится, когда ты, перечисляя и восхваляя явления, каковы они суть, считаешь их доказательством того, что все устраивается промыслом богов. Итак, повторю слова комика: «Нет, не годится так, скажи иное что».

Т и м о к л. А я не нахожу, что нужны еще какие-нибудь доказательства. Но все же я задам вопрос, а ты отвечай мне. Гомер не кажется ли тебе прекраснейшим поэтом?

Д а м и д. И даже очень.

Т и м о к л. Так вот кто убедил меня, говоря о промысле богов.

Д а м и д. Да ведь все с тобой согласится, удивительный ты человек, в том, что Гомер — прекрасный поэт, но ни он, ни другой какой-либо поэт не является достоверным свидетелем в таких делах; ведь им важно сказать не истину, а только очаровать слушателей, и поют они в мерных стихах свои мифы только ради наслаждения.

40. Но все же я бы охотно услышал, чем именно так убедил тебя Гомер. Не тем ли, что он говорит о Зевсе, когда его дочь, брат и жена устроили заговор, чтоб его связать? И если бы Фетида, сожалея о происходящем, не позвала Бриарея, был бы наш милейший Зевс схвачен и закован. В благодарность за это он ради Фетиды обманул Агамемнона, ниспослав ему лживый сон, и погубил этим многих ахейцев. Каково? Он не мог даже сжечь Агамемнона молнией, чтобы не стать обманщиком. Или, может быть, тебя сделало особенно верующим то, что Диомед ранил с поощре-

ния Афины сперва Афродиту, потом Ареса и что вскоре после того схватились в рукопашном бою боги и богини, что Афина победила Ареса, вероятно, ослабевшего уже после раны, полученной от Диомеда, и что

Противу Леты стоял благодетельный Гермес крылатый.

Или кажется тебе убедительным то, что ты узнал об Артемиде, как эта обидчивая богиня рассердилась на Ойнея, когда он не позвал ее на пир, и из мести послала на его землю сверхъестественного и неодолимого кабана? Не такими ли рассказами убедил тебя Гомер?

41. **З е с.** Ай-ай, как кричит народ, одобряя Дамида! А наш, по-видимому, в затруднительном положении; видно, он испугался: дрожит, готов уронить свой щит и уже осматривается, куда бы ему убежать и скрыться.

Т и м о к л. Разве не кажется тебе, что Еврипид говорит здравые слова, когда он выводит на сцену богов, которые спасают добрых людей и героев, а негодяев и нечестивцев вроде тебя истребляют?

Д а м и д. Но, благороднейший из философов, если трагики этим тебя убеждают, то придется выбрать одно из двух: либо считать Пола, Аристодема и Сатира богами, либо видеть в них личины богов, котурны, длинные хитоны, плащи, рукавицы, подушки на живот, различные одежды и все остальное, чем они возвеличивают трагедию; но это кажется мне очень смешным. Однако послушай откровенные слова Еврипида, в которых он высказывает свое мнение, даже если этого не требует ход драматического действия:

*Вверху ты видишь небо беспредельное,
Во влажных землю видишь ты объятиях —
Вот это Зевсом, богом можешь ты считать.*

Или еще:

*О Зевс, а кто есть Зевс, того не знаю я,
Лишь имя слыша...*

и тому подобное.

42. **Т и м о к л.** Так что же, значит, все люди и народы ошибаются, признавая богов и устраивая в их честь празднества?

Д а м и д. Вот это хорошо, что ты мне напомнил о мнениях различных народов, Тимокл, ибо ничто так ясно не показывает, как мало твердого в рассуждениях о богах. Много здесь путаницы, и различные люди почитают разное: скифы приносят жертвы кривому мечу, фракийцы Замолкису, беглому человеку, пришедшему к ним с Самоса, фригийцы Месяцу, эфиопы Дню, киллены Фалету, ассирийцы голубю, персы огню, а египтяне воде. Впрочем, вода — это общеегипетское божество; в частности же, в Мемфисе чтут богом быка, в Пелузнии лук, а в других местах ибиса, крокодила или существо с собачьей головой, кошку или обезьяну; и для од-

них деревень правое плечо — бог, а для соседних — левое, и некоторые молятся надвое рассеченной голове, другие же — глиняному кубку или чаше. Не смешно ли все это, Тимокл?

М о м. Разве я не говорил вам, боги, что все это выйдет наружу и будет тщательно исследовано?

З е в с. Да, да, ты верно говорил и правильно укорял нас, Мом, и я постараюсь все исправить, только бы нам избежать опасности.

43. Т и м о к л. Но чем же считаешь ты, о ненавистный богам, изречения, предвещающие будущее, как не делом божественного промысла?

Д а м и д. Лучше уж молчи, милейший, о предсказаниях; не то я спрошу тебя: о каком из них ты особенно желал бы вспомнить? Быть может, о том, которое дал пифиец царю Лидии и которое было обоюдоостро и двулично, наподобие герм, имеющих два изображения, совершенно одинаковых, в какую сторону их ни повернешь? Ведь что более вероятно: свое ли царство разрушит Крез, перейдя через Галис, или Кирово? А ведь немало талантов стоило это ловкое слово несчастному царю Сард.

М о м. О боги, этот человек разбирает как раз то, чего я больше всего опасался! Но где же наш прекрасный Кифаред? Спустись к нам и оправдайся во всем этом!

З е в с. Не вовремя добиваешь ты нас своими упреками, Мом.

44. Т и м о к л. Смотри, что ты делаешь, преступный Дамид! Своими словами ты едва не опрокидываешь храмы и алтари богов.

Д а м и д. Не все алтари, Тимокл. Ведь что же в них дурного, если они полны благовоний и фимиама? Но я увидел бы охотно свергнутых со своих оснований алтари Артемиды в Тавриде, на которых эта дева наслаждалась известными всем жертвоприношениями, радовавшими ее.

З е в с. Откуда на нас надвигается такое непреодолимое зло? Этот человек не щадит ни одного из богов и, словно с воза, говорит без стеснения:

Всех по порядку сразил он, виновных, равно как невинных.

М о м. Ну, невинных ты найдешь среди нас немного, Зевс; и скоро нападет он на кого-нибудь из высших богов, дойдя и до них.

45. Т и м о к л. Или ты, Дамид богопротивный, не слышал Зевса громыхающего?

Д а м и д. Как мог бы я не слышать грома, Тимокл? Но громыхает ли Зевс, тебе лучше знать: ведь ты, по-видимому, пришел к нам от богов; впрочем, жители Крита рассказывают нам нечто другое: у них можно видеть могилу и столб с надписью, из которой ясно, что Зевс вряд ли будет громыхать, ибо давно он умер.

М о м. Я давно знал, что он это скажет. Но что ты побледнел, Зевс, и у тебя от страха зуб на зуб не попадает? Надо мужаться и презирать все эти человеческие дразги.

З е в с. Как же ты говоришь, Мом, презирать? Разве ты не видишь, сколько народу его слушает, как он убедил их и приковал их слух?

М о м. Но ведь если ты захочешь, Зевс, ты спустишь к ним золотую цепь и сможешь всех их «поднять с самой землей и с самим морем».

46. Т и м о к л. Скажи мне, проклятый, плавал ты когда-нибудь по морю?

Д а м и д. И очень много, Тимокл.

Т и м о к л. Не правда ли, вас нес ветер, дувший в паруса и натягивавший их, либо подвигали гребцы, а один кто-нибудь управлял, стоя у руля, и спасал корабль от опасностей?

Д а м и д. Конечно.

Т и м о к л. Итак, корабль не может плыть без управления, а вселенная несется, по-твоему, никем не управляемая и без кормчего?

З е с. Прекрасно сказал ты это, Тимокл. Очень сильное сравнение!

47. Д а м и д. Но ведь ты же всегда видел, боголюбивейший Тимокл, что кормчий печется о пользе корабля, вовремя все приготовляет и отдает приказания мореходам, так что ничего не совершается на корабле бесцельно и неразумно, ничего, что бы не было полезно и даже необходимо для плавания. Твой же кормчий, который, как ты думаешь, управляет этим большим кораблем, и его корабельщики ничего не делают разумно и так, как бы следовало: носовые канаты они протягивают к корме, кормовые — к носу; якоря у них сделаны из золота, а украшения на носу — из свинца; подводная часть корабля расписана, а верхняя безобразна.

48. И посмотри, что делается среди мореходов: какой-нибудь бездельник, неопытный и нерешительный, распоряжается двумя или тремя отделениями, а человека, умеющего прекрасно нырять и ловко взбираться на реи, знающего много полезного, заставляют только вычерпывать воду. А разве не то же самое среди едущих на корабле? Какой-нибудь негодяй сидит на первом месте, около кормчего, принимая всяческие услуги, а другие развратники, отцеубийцы, святотатцы, рассевшись на палубе, окружают себя чрезвычайными почестями и обижают многих хороших людей, которые теснятся по углам корабля; подумай только, как совершали свое плавание Сократ, Аристид и Фокион, не имевшие ни достаточно пропитания, ни места, чтобы протянуть ноги, — они лежали на голых досках среди отбросов; а в какой роскоши утопали Каллий, Мидий и Сарданапал, насмехаясь над ними!

49. Вот какие дела бывают на твоём корабле, мудрейший Тимокл! Поэтому и бесчисленны кораблекрушения. А если бы кормчий, стоя у руля, наблюдал за всем и все приводил бы в порядок, то он прежде всего не мог бы не знать, кто из путешествующих человек порядочный, а кто негодяй, затем уделил бы каждому по заслугам то, что ему подобает, и лучшие, верхние, места дал бы лучшим, а нижние — худшим, и лучших сделал бы сотрапезниками и советниками. Так же и среди мореходов: усердный был бы назначен надсмотрщиком над носом или над бортом или вообще над другими, а ленивого и легкомысленного били бы веревкой по голове пять раз в день. Выходит, что твое сравнение с кораблем, о, удивления достойный, получило, чего доброго, обратный смысл при таком плохом кормчем.

50. М о м. Течение благоприятно Дамиду, и он уже на всех парусах несется к победе.

З е в с. Правильное предположение, Мом. Тимокл не придумал ничего толкового; все его возражения обычны, обыденны и легко опровержимы.

51. Т и м о к л. Итак, сравнение с кораблем не кажется тебе доказательным. Так слушай: вот, как говорится, священный якорь, который не оборвешь никаким измышлением.

З е в с. Что-то он скажет?

Т и м о к л. Выслушай следующий силлогизм и опровергни меня, если можешь. Если существуют алтари, существуют и боги; но алтари существуют — следовательно, и боги существуют. Что ты на это скажешь?

Д а м и д. Дай мне сперва досыта насмеяться, тогда я тебе отвечу.

Т и м о к л. Да ты, кажется, не можешь остановиться; скажи, что нашел ты смешного в моих словах?

Д а м и д. А то, что ты не заметил, на какую тонкую нить повесил свой якорь, да еще священный; ты связал бытие богов с существованием алтарей, и думаешь, что сделал из этого крепкую цепь. И если ты ничего не имеешь сказать более священного, то лучше уйдем.

52. Т и м о к л. Значит, ты уходишь и тем признаешь себя побежденным?

Д а м и д. Да, Тимокл; ведь ты, словно побитый, ищешь спасения у алтарей. А потому, клянусь священным якорем, я хотел бы совершить возлияния вместе с тобой у одних и тех же алтарей, чтобы больше не вести споров.

Т и м о к л. Ты смеешься надо мной, — ты, грабитель могил, негодный, презренный, достойный петли, все оскверняющий человек! Разве мы не знаем, каков был твой отец, что за продажная женщина была твоя мать? Разве мы не знаем, что ты удушил своего брата, что ты прелюбодействуешь и развращаешь мальчиков, — ты, прожорливейший и бесстыднейший человек? Подожди уходить, чтобы я мог тебе надавать ударов и пришибить тебя, наигнуснейшего человека, этим черепком.

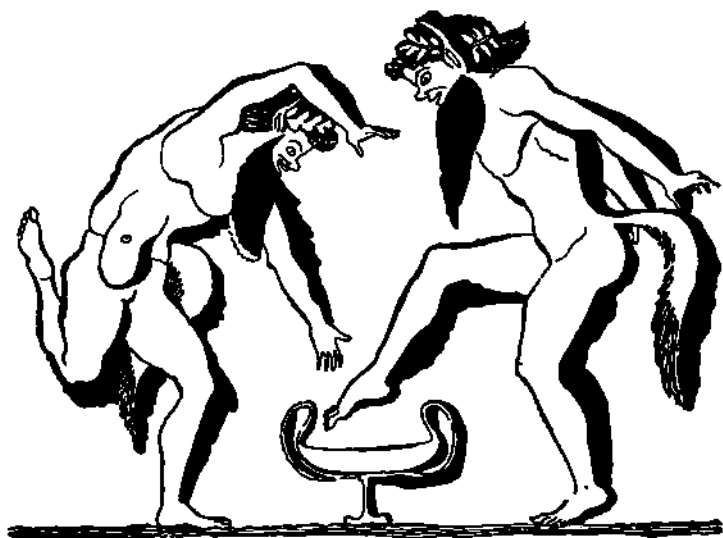
53. З е в с. Смотрите, боги: Дамид уходит со смехом, а Тимокл преследует его своей руганью, вне себя от его насмешек, и готов разбить ему голову глиняным черепком. Что же нам после этого делать?

Г е р м е с. Мне кажется, правильно сказал комический поэт:

Ты зла не претерпел, коль не признался в нем.

И разве это большая беда, если несколько человек удалилось, убежденных этим спором? Немало ведь думающих иначе: большинство эллинов, толпа простого народа и все варвары.

З е в с. Мне же, Гермес, прекрасными кажутся слова Дария о Зопире: я предпочел бы иметь помощником одного Зомира, чем повелевать тысячами вавилонян.



СОБРАНИЕ БОГОВ

1. Зевс. Довольно вам, боги, ворчать и шептаться по углам! Вы сердитесь на то, что многие участвуют в нашем пире недостойно? Но из-за них ведь и созвано собрание; пусть же каждый открыто выскажет, что он думает, и начнет обвинение. Ты же, Гермес, возгласи законный возглас.

Гермес. Слушай! Молчи! Кто из богов истинных, имеющих право голоса, хочет держать речь? Рассмотрению подлежит вопрос о метэках и чужеземцах.

Мом. Я, Мом, хотел бы говорить, если ты мне позволишь, Зевс.

Зевс. Провозглашение сделано, так что ты не нуждаешься в моем разрешении.

2. Мом. В таком случае я скажу, что дурно поступают те из нас, которые, став богами из людей, не удовольствовались этим, но считают, что они не совершили ничего великого, ничего славного, если не сделали равными нам своих слуг и спутников. Прошу тебя, Зевс, позволь мне говорить откровенно, иначе я не могу; ведь все знают, что я вольноречив, что я не умею молчать, видя неладное. Я все обличаю и громко говорю то, что думаю, никого не боясь, не скрывая и не стыдясь своего мнения. Поэтому многим кажусь я несносным и природным доносчиком, и они называют меня общественным обвинителем. Но теперь, когда слова глашатая и твои, Зевс, разрешают мне говорить свободно, я поведу речь без страха.

3. Итак, говорю я, многие не удовольствовались тем, что сами участвуют в наших собраниях и угощаются вместе с нами, — и все это, будучи полусмертными! Они привели на небо своих слуг и сотрапезников и записали их в наши ряды, так что теперь все они участвуют в раздачах угоще-

ний и в жертвоприношениях и не платят нам налога, назначенного метэкам.

З е в с. Не загадывай, Мом, загадок, а говори ясно и точно и назови имена. Сейчас ты свою речь вывел на середину, так что она подходит ко многим, и разные твои слова можно приноровить к различным лицам. Кто называет себя вольноречивым, тот не должен бояться.

4. М о м. Вот это хорошо, что ты даже побуждаешь меня к откровенности, Зевс; воистину, поступаешь ты так благородно и по-царски, что я назову также и имена.

Прежде всего назову я Диониса, этого получеловека, который с материнской стороны даже не эллин, а внук какого-то Кадма, купца из Сирофиникии. Я не буду говорить о том, каков он, раз он был удостоен бессмертия; не скажу ничего ни об его митре, ни о пьянстве, ни о походе, ибо все вы, думается мне, видите, что он изнежен и женственен, что он почти безумен, что от него с утра несет неразбавленным вином. Но ведь он привел сюда всю свою фратрию и свиту, сделав богами Пана, Силена и сатиров, каких-то деревенских парней, пасущих коз, противных с виду плясунов. У Пана рога, нижняя половина тела козлиная, да и вообще он со своей густой бородой немногим отличается от козла; Силен же — плешивый старик, курносый, все время разъезжающий на осле; к тому же родом он лидиец; а сатиры — фригийцы с острыми ушами, тоже лысые, с рогами, вроде тех, какие бывают у новорожденных козлят, и все с хвостами. Видите, каких богов привел нам этот благородный Дионис?

5. Надо ли удивляться, что люди нас презирают, видя таких смешных и чудовищных богов? Я уже не говорю о том, что он привел к нам и двух женщин: дочь Икария, землепашца, и свою любовницу Ариадну, присоединив даже венок ее к числу созвездий. Но вот что всего смешнее, боги: собаку Эригоны — и ту привел он, чтобы девочка не соскучилась на небе без своей любимой собачки, к которой она привыкла. Это ли не наглость, не сумасшествие, не посмешище? Но послушайте и про других.

6. З е в с. Но, смотри, Мом, ничего не говори об Асклепии и Геракле; я уж вижу, куда клонятся твои слова. Но Асклепий лечит, исцеляет от болезней, «и многих один он достоин», а Геракл — мой сын и немалыми трудами добыл себе бессмертие; поэтому их ты уж не обвиняй.

М о м. Ради тебя смолчу, Зевс, хотя и многое имею сказать. Однако замечу, что они еще и сейчас носят на теле следы ожогов. Но если и против тебя можно говорить откровенно, то немало мог бы я сказать и по этому поводу.

З е в с. Конечно, можно и против меня. Не хочешь ли ты уж и меня обвинить в том, что я тоже пришелец?

М о м. Ну, на Крите можно не только это услышать; там и многое другое говорят и могилу твою показывают. Но я не буду доверять ни этим свидетельствам, ни жителям Эгия в Ахаве, которые утверждают, что ты был подкидышем.

7. Я скажу лишь то, что мне кажется наиболее волиющим: ибо главная причина того, что собрание наше наполнилось незаконнорожденными

ми, — ты, Зевс, ты, вступавший в связь со смертными, и сходявший к ним, и принимавший для этого самые различные образы; нам приходилось даже бояться, как бы кто тебя не схватил и не зарезал, пока ты был быком, или как бы не обработал тебя какой-нибудь золотых дел мастер, пока ты был золотом, — осталось бы у нас тогда вместо Зевса ожерелье, запястье или серьга. И вот, ты заполнил нам все небо этими полубогами — иначе я их и назвать не могу. И крайне забавным казалось бы это обстоятельство тому, кто вдруг услышал бы, что Геракл назначен богом, а Еврисфей, им повелевавший, умер, и что близко друг от друга находятся храм раба Геракла и могила его владыки Еврисфея. Так же и в Фивах: Дионис сделался богом, а родственники его Пенфей, Актеон и Леарх стали несчастнейшими из людей.

8. И с того дня, как ты, обратив свой взор на смертных женщин, открыл им двери, все стали подражать тебе, и не только боги, но и богини, что всего постыднее. Ибо кто же не знает Анхиза, Титона, Эндимиона, Иазiona и других; но довольно о них, а то обвинение выйдет слишком длинным.

З е в с. Но ни слова не говори о Ганимеди, Мом. Я рассержусь, если ты огорчишь этого мальчика, порицая его происхождение.

М о м. Поэтому нельзя говорить и об орле, который также находится на небе, сидит на царском скипетре и только что не вьет гнезда на твоей голове, считая себя богом?

9. Или и его поощади ради Ганимеда? Но Аттис, о Зевс, но Корибант и Сабазий, — откуда они приведены к нам вместе с этим мидийцем Митрой, в персидской одежде и с тиарой, даже не говорящим по-гречески, не понимающим, когда пьют за его здоровье? Недаром скифы и геты, увидев такие дела, распрощались с нами и кого хотят делают бессмертными и выбирают в боги; вписался же в наши ряды и раб Замолксис, не знаю уж как сюда пробравшись.

10. Но это еще что, боги! Ты же, египтянин с собачьей мордой, завернутый в пеленки, — ты кто таков, милейший, и как можешь ты, лающий, считать себя богом? И почему пятнистому быку из Мемфиса воздаются почести, почему вещает он, окруженный пророками? Уж об ибисах, обезьянах и многом другом, еще более нелепом, что неизвестно как проползло к нам из Египта и заполнило все небо, мне и говорить стыдно. О боги, как вы все терпите, что им поклоняются в равной мере или даже больше, чем вам? Как терпишь ты, Зевс, бараны рога, которые выросли у тебя?

11. З е в с. Действительно, ты рассказываешь постыдные вещи о египтянах; но все же многое здесь — тайны, над которыми не следует смеяться непосвященному.

М о м. Конечно, без тайных учений нам не понять, что боги суть боги, а павианы — павианы!

З е в с. Довольно о египтянах, говорю я тебе; в другой раз обсудим это на досуге. Ты же рассказывай об остальных.

12. М о м. Прежде всего скажу о Трофонии, Зевс, и об Амфилохе, который меня особенно угнетает, — этот сын отверженного и матереубий-

цы, этот милейший человек, который пророчествует в Киликии, обманывая и пророка ради двух оболов. И уж не в чести ты больше, Аполлон, когда всякий камень и всякий алтарь дает прорицания, если он полит маслом, украшен венками и обзавелся каким-нибудь способным к обману человеком, — ведь их теперь много на земле! Уже статуи атлета Полидаманта в Олимпии и Теагена на Фасосе стали лечить больных лихорадкой, а Гектору в Илионе и Протесилаю в Херсонесе напротив совершаются возлияния. С тех пор, как нас стало столько, все сильнее увеличиваются клятвопреступления и святотатства, и справедливо поступают люди, презирая нас.

13. Все это о незаконнорожденных и неправильно вписанных в наши списки. Но когда я слышу незнакомые имена таких, которых у нас нет, которые даже не могут принять определенного образа, — я смеюсь и над ними, Зевс. Ибо где же находятся пресловутая Добродетель, Природа, Рок или Судьба, все эти ни на чем не основанные и пустые названия вещей, выдуманных тупоумными философами? Но эти на скорую руку состряпанные слова настолько убедили неразумных, что никто не хочет совершать нам возлияний, полагая, по-видимому, что и десять тысяч гекатомб не изменят того, что установили и направили каждому Парки и что выполнит Судьба. Я бы охотно спросил себя, Зевс, видел ли ты где-нибудь Добродетель, Природу или Рок. Я ведь знаю, что ты, если не глух, должен был постоянно слышать о них во время философских бесед, которые так крикливы. Но я смолкаю, хотя и мог бы еще много сказать; ибо вижу, что многие на меня сердятся и готовы меня освистать, те особенно, которых задела откровенность моих речей.

14. А для конца, если хочешь, Зевс, я прочту постановление, уже составленное.

З е в с. Прочти. Твое обвинение было не совсем бессмысленно; против многих непорядков следует принять меры, чтобы они не стали еще больше.

Постановление

В час добрый! В законном собрании, созванном в седьмой день этого месяца, Зевс был пританом, проездом — Посейдон, Аполлон — эпистатом, Мом, сын Ночи, — письмоводителем, а Сон выступил со следующим заявлением:

«Ввиду того, что многие чужеземцы, не только эллины, но и варвары, отнюдь не достойные делить с нами права гражданства, неизвестно каким способом попали в наши списки, приняли вид богов и так заполнили небо, что пир наш стал теперь похожим на сборище беспорядочной толпы, разноречивой и сбродной, что начало не хватать амбросии и нектара и кубок стал стоять целую мину из-за множества пьющих; ввиду того, что они самоуправно вытолкали богов древних и истинных, требуя первых мест,

вопреки отцовским обычаям, и желая большого почитания на земле, — постановил совет и народ созвать собрание на Олимпе около времени зимнего солнцеворота и выбрать семь судей из богов истинных: трех из древнего совета Кроноса, четырех же из числа Двенадцати и среди них Зевса. Судьи эти должны заседать по закону, поклявшись присягой Стикса. Гермес же пусть созывает всех, кто только хочет участвовать в собрании. Пришедшие пусть приведут готовых присягнуть свидетелей и принесут доказательства своего происхождения. После этого пусть они выходят поодиночке, а судьи, произведя расследование, либо объявят их богами, либо отошлют обратно в их могилы и семейные гробницы. Если же будет замечено, что кто-нибудь из отвергнутых и однажды исключенных судьями снова попытается проникнуть на небо, пусть сбросят его в Тартар.

И каждый пусть делает только свое дело: Афина не должна исцелять, Асклепий — пророчествовать. Аполлон пусть не исполняет сразу столько разных дел, но, выбрав что-нибудь одно, да будет пророком или музыкантом, или врачом.

Философам пусть запретят выдумывать праздные имена и болтать о том, чего они не знают.

У тех же, кто раньше был несправедливо удостоен храмов и жертвоприношений, изображения отнять и поставить статуи Зевса, Геры, Аполлона или кого-нибудь другого; им же город пусть насыплет могильный холм и поставит надгробный памятник вместо алтаря. Если же кто не послушается приказаний и не захочет предстать судьям, то его осудят заочно».

Таково наше постановление.

З е в с. Справедливейшее постановление, Мом, и кто с ним согласен, пусть поднимет руку; или нет, пусть просто оно будет выполнено. Я знаю, что большинство стало бы голосовать против. Теперь же уходите. Когда возвестит Гермес, то придите все с очевидными приметами и убедительными доказательствами вашего происхождения, с именем отца и матери, с объяснениями, откуда вы и каким способом стали богами и какой филы и фратрии. А если кто не предъявит всего этого, то судьи даже и не посмотрят на то, что у него на земле много храмов и что люди считают его богом.



**МЕНИПП,
или
ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОДЗЕМНОЕ ЦАРСТВО**

Менипп и Филонид

М е н и п п. Приветствую тебя, родного дома кров.

Ты — радость мне, увидевшему солнце свет.

Ф и л о н и д. Да никак это Менипп-собака? Он самый, если только глаза меня не обманывают. Как есть Менипп! Но что означает этот странный наряд, дорожная шляпа, лира, львиная шкура? Однако подойду-ка я к нему поближе. Здравствуй, Менипп. Откуда ты? Уж давно, как ты не появлялся в этом городе!

М е н и п п. Я здесь, покинув мертвых дом и
мрачный свод.

Где царствует один Аид, вдали богов.

Ф и л о н и д. Геракл! Менипп без нашего ведома умер и затем снова воскрес?

М е н и п п. Аид еще живому мне врата отверз.

Ф и л о н и д. Но что побудило тебя предпринять это необычное и невероятное путешествие?

М е н и п п. И молодость, и дерзость смелого ума.

Ф и л о н и д. Прекрати, дорогой, трагические выступления и говори проще, спустись с ямбов. Что это за одеяние на тебе, затем тебе понадобилось спускаться под землю: ведь дорога туда не из приятных?

М е н и п п. Друг мой, в мрачный Аид я сошел,
чтоб услышать там правду;

Я оракула ждал от фиванца Тиресия тени.

Ф и л о н и д. Да ты с ума сошел! Нельзя же, в самом деле, обращаться к друзьям с пением стихов.

М е н и п п. Не удивляйся, мой друг. Я только что был в обществе Еврипида и Гомера и незаметно для себя весь наполнился поэтическими оборотами, так что ритмы сами собой просятся на язык.

2. Впрочем, оставим это. Скажи лучше, что делается на земле и что нового у вас в городе.

Ф и л о н и д. Нового — ничего: все так же грабят, лжесвидетельствуют, проценты наживают, деньги взвешивают.

М е н и п п. Жалкие и одержимые! Они не знают, какие решения недавно приняты среди подземных теней против богатых. Постановления эти уже утверждены, и, клянусь Кербером, нет средства избежать их.

Ф и л о н и д. Что ты говоришь! Неужели там изданы какие-нибудь новые постановления, касающиеся живых?

М е н и п п. Да, и даже немало. Но запрещено рассказывать о них и разглашать эти тайны под страхом обвинения перед Радамантом в нечестии.

Ф и л о н и д. Ради самого Зевса, Менипп, не откажи другу, расскажи обо всем; ведь я умею молчать, да к тому же я и сам посвящен в мистерии.

М е н и п п. Ты возлагаешь на меня тяжелую обязанность и далеко не благочестивую; однако ради тебя я осмелюсь выполнить ее. Итак, было постановлено, чтобы богачи, крупные собственники, дрожащие над запертым золотом, как над Данаей...

Ф и л о н и д. Постой, дорогой; прежде чем ты станешь рассказывать о состоявшихся постановлениях, я с удовольствием выслушал бы от тебя, что вызвало твое путешествие в Аид и кто был в пути твоим проводником. Затем расскажи, что ты там видел и что слышал; ведь такой любитель всего достойного внимания, как ты, без сомнения, не пропустил ничего, что стоило бы посмотреть или послушать.

3. М е н и п п. Надо будет уж и это сделать для тебя. На какие только мучения не согласишься, если тебя заставляет друг! Итак, прежде всего расскажу тебе о своем решении посетить Аид, а затем укажу и место, откуда я начал свое путешествие.

Пока я был еще ребенком и слушал рассказы Гомера и Гесиода о войнах и возмущениях, происходящих не только между полубогами, но и между великими богами, об их прелюбодеяниях, насилиях, похищениях, тяжбах, об изгнании ими своих отцов, об их браках с сестрами, — все это казалось мне прекрасным и весьма глубоко задевало меня. Однако позднее, вступив в зрелый возраст, я заметил, что законы предписывают как раз обратное тому, о чем говорят поэты: они запрещают разврат, восстания и грабеж. Я оказался в большом затруднении, совершенно не зная, какой из двух противоположностей следовать. Ибо, думал я, боги никогда

бы не стали прелюбодействовать и восставать друг против друга, если бы не признали этого хорошим; но и законодатели, со своей стороны, не стали бы одобрять противоположного поведения, не считай они его полезным.

4. В своем недоумении я решил обратиться к так называемым философам, чтобы отдать свое воспитание в их руки и просить их сделать из меня что им будет угодно, и указать мне простой и прочный путь в жизни. С такими-то мыслями я и пришел к ним, даже не подозревая, что вызову, как говорится, огонь из дыма. Действительно, присматриваясь к ним, я чаще всего находил в них только незнание и сомнение, так что очень скоро жизнь невежд показалась мне золотой в сравнении с ними. Один из них, например, восхвалял наслаждение, советуя брать его где только возможно, так как в нем одном счастье; другой, напротив, учил постоянно работать и трудиться и держать в повиновении тело, живя в грязи и смраде, как предмет отвращения и глумления для всех, причем он не переставал повторять известные стихи Гесиода о добродетели, о труде в поте лица, о восхождении на вершину; третий повелевал пренебрегать имущественными благами и относиться безразлично к их приобретению; а иной, напротив, объявлял богатство само по себе благом. А нужно ли говорить об их взглядах на мир? Каждый день до тошноты я слышал от них мнения об идеях и бестелесных сущностях, об атомах, и пустоте, и о целом множестве подобных вещей. И несноснее всего было то, что каждый в защиту своего исключительного мнения приводил решающие и убедительнейшие доводы, так что нечего было возразить ни тому, кто доказывал, что данный предмет — горячий, ни тому, кто утверждал противное, а между тем ведь очевидно, что не может же одна и та же вещь быть одновременно и горячей, и холодной. Поэтому понятно, что я имел вид засыпающего человека, который то клонит голову вниз, то снова вздымает ее.

5. Но еще удивительнее у этих господ то, что они, как я заметил при своих наблюдениях, заботятся в жизни о противоположном тому, чему учат: так, те из них, которые восхваляют пренебрежение богатством, сами оказываются крепко привязанными к нему — враждуют из-за прибылей, воспитывают за плату и ради денег готовы все претерпеть. С другой стороны, отрицающие за славой всякое значение говорят и делают все ради достижения ее; наконец все, которые порицают наслаждение открыто, наедине только ему одному и предаются.

6. Обманутый в своих надеждах, я стал еще печальнее, слегка утешаясь лишь тем, что блуждаю невеждой, не зная истины, не один, но вместе с многочисленными мудрыми и весьма прославленными людьми. И вот, в одну из ночей, проведенных, благодаря всем этим мыслям, без сна, я решил отправиться в Вавилон и обратиться за помощью к какому-нибудь магу, ученику и последователю Зороастра. Я слышал, будто они в состоянии известными заклинаниями и тайными обрядами открыть врата Аида, кого угодно провести в него и невредимым вывести обратно. Я думал, что будет очень хорошо, если мне удастся при содействии одного из них со-

вершить путешествие в подземное царство и, встретившись там с беотийцем Тиресием, узнать от этого прорицателя и мудреца, в чем состоит добродетельная жизнь, которую должен избрать благомыслящий человек. Вскочив, я, как мог быстрее, направился прямо в Вавилон.

Прибыв на место, я сблизился там с одним халдеем, человеком мудрым и глубоко изучившим свое искусство; это был уже седой старик с благородной бородой по имени Митробарзан. Долгими просьбами и мольбами мне удалось, наконец, достигнуть того, чтобы он, за какую ему угодно будет плату, согласился быть моим проводником в Аид.

7. Приняв на себя заботу обо мне, этот человек прежде всего в течение двадцати девяти дней, начиная с новолуния, обмывал меня по утрам при восходе солнца на берегу Евфрата. При этом всякий раз он обращался к восходящему солнцу с длинным заклинанием, которого я, впрочем, хорошенько и не понимал: подобно плохим глашатаям на состязаниях, он говорил очень скоро и невнятно; впрочем, видимо, он призывал каких-то богов. Затем, после своих заклинаний, от трижды плевал мне в лицо, после чего я возвращался домой, не смотря ни на кого из встречающих. Питались мы все это время плодами, пили молоко, медовую сыту и воду из Хоаспа, а ночевали на траве под открытым небом. Когда подготовительный искуc был пройден, мой учитель в полночь привел меня к реке Тигру. Там он омыл меня, вытер и совершил вокруг меня очищение дымом зажженного факела, морским луком и множеством других вещей, бормоча все то же самое заклинание; затем, совершив надо мной заклятие и обойдя вокруг меня, чтобы я не пострадал от подземных теней, маг отвел к себе домой, причем я должен был всю дорогу пятиться задом; дома у нас было все нужное для нашего путешествия.

8. Сам он надел на себя какое-то платье магов, сильно напоминающее мидийскую одежду, а меня украсил вот тем, что и сейчас на мне — дорожной шляпой, лвиной шкурой и лирой, и приказал, чтобы на вопросы о своем имени я отвечал не «Менипп», а называл себя Гераклом, или Одисеем; или Орфеем.

Ф и л о н и д. Это-то зачем, Менипп? Я не вижу смысла ни в этих нарядах, ни в именах.

М е н и п п. А между тем все это очень ясно и вовсе не заключает в себе тайны: ведь эти лица задолго до нас сходили живыми в Аид; вот он и думал, что, если сделать меня похожим на них, мне будет легче скрыться от стражи Эака и беспрепятственно пройти в Аид, точно своему человеку, под охраной трагического наряда.

9. Уже наступил день, когда мы спустились к реке, чтобы отплыть. Нам была приготовлена лодка, жертвы, мед с молоком, — словом, все нужное для совершения тайного обряда. Все это мы уложили в лодку и, наконец, сами вступили в нее, «проливая обильные слезы». Некоторое время мы спускались вниз по течению, затем проплыли болотистое озеро, в котором исчезает Евфрат. Переправившись через озеро, мы прибыли, наконец, в какую-то дику, лесистую, недоступную солнечным лучам

местность; здесь мы сошли с лодки — Митробарзан шел впереди; затем, выкопав яму, заклали ягнят так, чтобы кровь их стекла в нее. Тогда маг, держа в руке зажженный факел, голосом уже не тихим, а насколько возможно сильным, стал взывать к подземным богам, призывая вместе с тем Кары, Эриннии и ночную Гекату, и мрачную Персефону, и много других божеств с варварскими, мне неизвестными и многосложными именами.

10. И вдруг все вокруг заколебалось, земля силой этого заклинания разверзлась, вдали послышался лай Кербера, стало мрачно и страшно.

Страх охватил в преисподней Аида, владыку усопших,

ибо перед нами уже открылась значительная часть Аида с его озером, Пирифлегетонем, и царством Плутона. Все же мы спустились в зияющую бездну и застали Радаманта, полумертвого от страха. Кербер лаял и метался, но лишь только я ударил по струнам лиры, как он мгновенно был околдован мелодией. Затем мы приблизились к озеру, и только с большим трудом нам удалось переправиться через него, так как лодка была уже переполнена и полна стонов: все плыли покрытые ранами, одни в бедро, другие в голову или еще куда-нибудь, и я подумал, что, должно быть, они явились с какой-нибудь войны. Однако милейший Харон, заметив мою львиную шкуру, принял меня за Геракла, впустил в ладью, охотно переправил на другой берег и при высадке указал нам тропинку.

11. Мы шли в полном мраке: Митробарзан шел впереди, а я, держась за него руками, следовал за ним, пока, наконец, мы не приблизились к огромному лугу, на котором росли асфodelи; здесь нас окружили, оглашая воздух своим писком, тени мертвых. Пройдя еще немного, мы оказались перед судилищем Миноса; сам судья восседал на высоком троне, а по сторонам стояли Кары, Мстители и Эриннии. С противоположной стороны подводили одного за другим мертвецов, скованных длинной цепью: как говорили, это были развратники, сводники, откупщики, лстецы, доносчики — словом, целая толпа лиц, которые всем мешали в жизни. Отдельно подходили богачи и стяжатели, бледные, с отвислыми животами подагрики; на каждом из них был ошейник с привешенным грузом в два таланта. Мы остановились, чтобы посмотреть, что будет дальше, и выслушали их самооправдания; обвиняли же их какие-то совсем новые и необычные ораторы.

Ф и л о н и д. Кто такие? Ради самого Зевса, не медли рассказать мне и это!

М е н и п п. Знаешь ли ты, какие тени бросает солнце от наших тел?

Ф и л о н и д. Конечно.

М е н и п п. Так вот они-то после нашей смерти выступают в качестве наших обвинителей, свидетельствуя против нас и обличая все совершенное нами при жизни. И действительно, тени являются самыми верными свидетелями, так как они постоянно находятся при нас и никогда не отходят от нашего тела.

12. Итак, Минос после тщательного следствия отправил всех их в область нечестивцев, чтобы они претерпели наказания, каждый по размеру

своих преступлений, причем наиболее жестоким наказаниям он подверг тех, которые, в ослеплении своим богатством и могуществом, требовали для себя чуть ли не преклонения; ибо он ненавидел их кратковременную гордость, наглость и забвение ими того, что они, будучи смертными, пользовались лишь преходящими благами. Лишенные всего этого блеска, — я говорю о богатстве, родовитости и власти, — они стояли перед ним нагие, с опущенными головами, вспоминая, как во сне, оставленное на земле благополучие. Я очень радовался при виде всего этого, и если узнавал кого-нибудь из них, подходил к нему и спокойно напоминал, каков он был при жизни, каким пользовался влиянием, какая толпа с утра стояла у дверей его дома в ожидании его выхода — толпа, которую теснили его рабы, перед которой запирались двери, пока он, наконец, не выходил, весь в пурпуре, золоте или в расшитой одежде, думая, что делает приветствующих его блаженными, если позволяет им целовать свою грудь или протянутую руку. Выслушивать все это было крайне тягостно моим богачам.

13. Впрочем, одно дело Минос решил в пользу обвиняемого: Дионисия сицилийского обвинял Дион в целом ряде ужасных и нечестивых преступлений, совершение которых подтверждала и тень Дионисия. Однако тут подошел Аристипп киренский — он пользуется в Аиде большим почетом и влиянием — и, указывая на то, что Дионисий был весьма щедр ко многим образованным людям, освободил его от обвинительного приговора, хотя Дионисий уже едва не был отдан Химере.

14. Покинув судилище, мы направились к месту наказания преступников. Там, дорогой мой, мы увидели и услышали очень много достойного сострадания: можно было слышать удары бичей вместе со стонами поджариваемых на огне и звуки орудий пыток, железных ошейников и колес. Химера разрывала, Кербер пожирал. Все вместе — цари, рабы, сатрапы, бедняки, богачи, нищие — подвергались истязаниям, жестоко раскаиваясь в своих прегрешениях. Некоторых из них мы узнали, так как они лишь недавно умерли; но они старались скрыться и отворачивались от нас, а если и взглядывали, то по-рабски — лъстиво. Подумать только, как при жизни они были могущественны и наглы. Что касается бедных, то на них возлагалась лишь половина этих мучений: они на время освобождались от них, но затем снова подвергались истязаниям. Видел я и прославленных в мифах Иксиона, Сизифа, фригийца Тантала, которому приходилось нелегко, земнородного Тития... Геракл! какой он огромный! Он один, лежа, покрывал целое поле!

15. Пройдя дальше, мы выбрались в долину Ахеронта, где застали полубогов, героинь и остальную толпу мертвых, поделенных по народам и филам: одни были уже стары, заплесневели и, как говорит Гомер, бессильны, другие — моложе и более крепки, особенно египтяне вследствие тщательного бальзамирования.

Впрочем, узнать среди них кого-нибудь далеко не так просто: все они совершенно похожи друг на друга — одни обнаженные кости. Однако после долгого присматривания мы с большим трудом узнали иных: они лежа-

ли друг на друге и, тусклые и неясные, не сохранили ничего от былой красоты. В этой огромной куче скелетов, похожих один на другого, бросавших на нас страшные взгляды из пустых глазных впадин и показывающих свои обнаженные зубы, — в этой толпе, конечно, трудно было отличить Терсита от прекрасного Нирея, нищего Ира от царя феаков, или повара Пиррия от Агамемнона. Действительно, у них не сохранилось ни одной из старых примет, но все превратилось в скелеты, без отличий, без надписей — словом, без всякого признака, который позволил бы отличить одного от другого.

16. И вот, глядя на все это, я решил, что человеческая жизнь подобна какому-то длинному шествию, в котором предводительствует и указывает места Судьба, определяя каждому его платье. Выхватывая кого случится, она надевает на него царскую одежду, тиару, дает ему копьеносцев, венчает главу диадемой; другого награждает платьем раба, третьему дает красоту, а иного делает безобразным и смешным: ведь зрелище должно быть разнообразно! Часто во время шествия она меняет наряды некоторых участников, не позволяя закончить день в первоначальном виде. При этом она заставляет Креза взять одежду раба или пленного; Меандрию, шедшему прежде вместе со слугами, она вручает царство Поликрата, разрешая некоторое время пользоваться царской одеждой. Но лишь только шествие закончено — все снимают и возвращают свои одеяния вместе с телом, после чего их внешний вид делается таким, каким был до начала, ничем не отличаясь от вида соседа. И вот иные, по неведению, огорчаются, когда Судьба повелевает им возвратить одежды, и сердятся, точно их лишают какой-нибудь собственности, не понимая, что они лишь возвращают то, что им дано во временное пользование.

Я думаю, тебе часто приходится видеть на сцене, как трагические актеры, сообразно с требованием драмы, изображают то Креонтов, то Приамов, то Агамемнонов; иногда же случается, что один и тот же актер, едва успев разыграть благородную роль Кекропа или Эрехтея, возвращается на сцену, по требованию автора, в качестве слуги. Наконец, когда действие окончено, каждый из них снимает свое театральное позолоченное платье и маску, спускается с котурнов и превращается в бедного и незнатного. И нет больше ни Агамемнона, сына Атрея, ни Креонта, сына Менекея, а лишь Пол, сын Харикла, суниец, или Сатир, сын Теогитона из Марафона. Вот таким-то и мне представилось положение людей, когда я видел их тени в Аиде.

17. Ф и л о н и д. Скажи мне, Менипп, те из мертвых, которые имеют здесь, на земле, роскошные и высокие гробницы, надгробия, статуи, надписи, — неужели они не пользуются там внизу большим почетом, чем простые смертные?

М е н и п п. Ты шутишь, мой друг! Если бы ты видел Мавзола, — я говорю о Мавзоле, карийце, прославленном своим погребальным памятником, — я уверен, что тебе не удалось бы удержаться от смеха: так жалок он в своем заброшенном углу, затерянный в толпе покойников; и, мне

кажется, вся радость у него от памятника в том, что он давит его всей своей тяжестью. Да, дорогой мой, после того как Эак отмерил каждому его участок — а дает он, в лучшем случае, не больше одного фута, — приходится довольствоваться им и лежать на нем, съезжившись до установленного размера. И еще сильнее рассмеялся бы ты при виде царей и сатрапов, нищенствующих среди мертвых и принужденных из бедности или продавать соленье, или учить грамоте; и всякий встречный издевается над ними, ударяя по щекам, как последних рабов. Я не мог справиться с собой, когда увидел Филиппа Македонского: я заметил его в каком-то углу — он чинил за плату прогнившую обувь. Да, на перекрестках там нетрудно видеть и многих других, собирающих милостыню, — Ксеркса, Дария, Поликрата...

18. Ф и л о н и д. Странные вещи рассказываешь ты о царях — я с трудом верю. Ну, а что делают там Сократ, Диоген и другие мудрецы?

М е н и п п. Сократ и там прогуливается и спорит со всеми; рядом с ним были Паламед, Одиссей, Нестор — словом, все речистые мертвецы. Ноги у него все еще больны и вздуты от выпитого яда. А милейший Диоген находится в соседстве с Сарданапалом ассирийским, Мидасом фригийским и некоторыми другими богачами. Слушая их жалобы и подсчеты былых богатств, он весело смеется, а чаще всего, лежа на спине, поет таким резким и суровым голосом, что заглушает их стоны; это пение очень огорчает богачей, так что они решили переселиться, не будучи в состоянии сносить присутствие Диогена.

19. Ф и л о н и д. Однако довольно рассказов! Так в чем заключается то постановление, о котором ты говорил в начале нашего разговора, будто оно было объявлено против богачей?

М е н и п п. Хорошо, что ты напомнил мне. Я и не заметил, что, предполагая рассказать о нем, в разговоре совершенно отвлекся в сторону. А дело было вот как: во время моего пребывания в подземном царстве пританы созвали народное собрание для обсуждения общегосударственных дел. Видя огромную толпу сбежавшегося отовсюду народа, я смешался с мертвецами, так что оказался одним из участников собрания. Уже были вынесены некоторые решения, когда, наконец, собрание приступило к вопросу о богачах. Их обвиняли в большом числе преступлений, в насилии, в гордости, в наглости, в несправедливости. Под конец поднялся один из народных вождей и прочел следующее постановление:

Постановление

20. «Ввиду того, что богатые, совершая грабежи, насилия и всячески раздражая бедных, поступают во многом противно законам, совет и народ постановили:

Пусть после смерти тела их будут мучимы, подобно другим преступникам, а души их да будут отправлены назад, на землю, и да вселятся в

ослов и пребывают в них в течение двухсот пятидесяти тысячелетий, переходя из одних ослов в других, и пусть они носят тяжести, подгоняемые ударами бедняков; и только по истечении указанного срока да будет позволено им умереть.

Данное предложение внес Черепник, сын Скелетона, Трупоградец из филы Безжизненносочных».

По прочтении этого декрета стали подавать за него голоса, сначала власти, затем народ; потом грозно заворчала Бримо и залаял Кербер — таков у них способ придания внесенным предложениям силы закона.

21. Так вот что произошло на этом народном собрании. Я же подошел к Тиресию — главной причине моего путешествия, — рассказал ему о моих сомнениях и попросил указать мне, какую жизнь он считает более достойной.

Тиресий — слепой он теперь старикашка, бледно-желтый, со слабым голосом — рассмеялся и сказал: «Дитя, я отлично понимаю причину твоих сомнений: происходят они от тех мудрецов, которые и сами не могут столкнуться друг с другом; однако больше я ничего тебе сказать не могу: это запрещено Радамантом» — «Нет, нет, дедушка! — воскликнул я, — скажи мне и не допусти, чтобы я блуждал в жизни еще более слепым, чем ты!» Тогда, взяв меня за руку и отведя далеко в сторону, он тихо шепнул мне на ухо: «Лучшая жизнь — жизнь простых людей; она и самая разумная. Оставь нелепые исследования небесных светил, не ищи целей и причин и наплюй на сложные построения мудрецов. Считая все это пустым вздором, преследуй только одно: чтобы настоящее было удобно; все прочее минуй со смехом и не привязывайся ни к чему прочно».

Так он сказал и на луг асфодельский направился молча.

22. А я, так как уже становилось поздно, сказал своему спутнику: «Зачем медлить, Митробарзан; вернемся лучше к жизни!»

Тот ответил: «Будь уверен, Менипп. Я укажу тебе близкий и нетрудный путь».

Затем, проведя меня к месту, где мрак был еще гуще, он указал мне рукой на едва заметный, точно сквозь замочную скважину брезживший луч света и сказал: «Вот там храм Трофония, откуда беотийцы спускаются в подземное царство. Ступай в этом направлении вверх, и ты скоро будешь в Элладе!» Обрадованный словами мага, я обнял его на прощанье и, с трудом пробравшись сквозь узкое отверстие, очутился, сам не знаю как, в Лебадее.



ИКАРОМЕНИПП, или ЗАОБЛАЧНЫЙ ПОЛЕТ

1. М е н и п п. Итак, три тысячи стадиев было от земли до луны; это — первый переход. Оттуда вверх к солнцу около пятисот парасангов; наконец, от солнца до самого неба с акрополем Зевса... да, пожалуй, быстрокрылый орел пролетел бы это у нас расстояние не скорее чем за день.

Д р у г. Ради Харит! Что это ты, Менипп, звезды изучаешь и производишь про себя какие-то вычисления? Вот уже довольно долго я слежу за тобою и слышу о солнцах и лунах и, вдобавок, еще что-то о каких-то непонятных переходах и парасангах...

М е н и п п. Не удивляйся, дорогой! Если тебе и кажется, что я говорю о предметах слишком возвышенных и заоблачных, то дело лишь в том, что я составляю приблизительный подсчет пути, пройденного в последнее путешествие.

Д р у г. Так разве ты, подобно финикийцам, определяешь свой путь по светилам?

М е н и п п. Нет, клянусь Зевсом! Но я путешествовал среди них.

Д р у г. Геракл! Однако длинный же сон ты видел, если, сам того не замечая, проспал целые парасанги.

2. М е н и п п. Ты думаешь, дорогой, что я говорю о каком-то сновидении, а между тем я только что спустился от Зевса.

Д р у г. Что ты говоришь! Менипп пред нами, слетевший от Зевса с неба?

Менипп. Да, и я стою перед тобою, вернувшись только сегодня от великого Зевса, где я видел и слышал много удивительного. А если ты не веришь, то я этому могу только чрезмерно радоваться: значит действительно я испытал нечто поразительное.

Друг. Как могу я не верить, о божественный олимпиец Менипп, я — всего лишь жалкий смертный, живущий на земле, — не верить тебе, мужу заоблачному или «одному из небожителей», по выражению Гомера! Но скажи мне, если тебе нетрудно, каким образом поднялся ты с земли на небо, где сумел ты найти такую высокую лестницу? Ведь ты далеко не похож с лица на пресловутого Ганимеда фригийца, так что довольно трудно предполагать, чтобы орел восхитил тебя, дабы ты стал виночерпием Зевса.

Менипп. Я давно замечаю, что ты смеешься надо мною, и нисколько не удивляюсь, что мой необычный рассказ представляется тебе похожим на сказку. И все же восхождение обошлось без всякой лестницы и без того, чтобы быть возлюбленным орла: у меня были свои крылья!

Друг. Это уж слишком! Ты превзошел Дедала, если, сверх всего прочего, сумел скрыться от нас, превратившись из человека в ястреба или в галку.

Менипп. Правильно, дорогой мой! Твое сравнение не так уж далеко от истины: я осуществил Дедалову затею и сам смастерил себе крылья.

З. Друг. Но как же, о величайший храбрец, ты не побоялся того, что и ты упадешь в море и дашь ему от своего имени название Мениппийского, как тот его сын — Икарийскому?

Менипп. Совсем нет! Икар прикрепил свои крылья воском, который очень скоро растаял от солнечных лучей; понятно, что Икар растерял перья и, как и следовало ожидать, упал. У меня же крылья были без воска.

Друг. Что ты говоришь! Не знаю почему, но понежному ты заставляешь меня верить в правдивость твоего рассказа.

Менипп. Так вот, я и говорю: во-первых, поймав огромного орла, а также коршуна, из самых сильных, я отрезал им крылья у самой спины... Впрочем, если тебе некуда спешить, я лучше расскажу тебе обо всей затее с самого начала.

Друг. Нисколько не спешу! От твоих слов я весь превратился в ожидание и с открытым ртом жду, чем кончится твой рассказ. Ради Зевса, покровителя дружбы, не бросай меня привешенным за уши в самом начале своего рассказа!

Менипп. Ну хорошо! В самом деле, некрасиво оставлять друга с разинутым ртом, да еще подвешенного, как ты говоришь, за уши. Слушай же!

Присматриваясь к всевозможным житейским явлениям, я очень скоро стал понимать, насколько они смешны, жалки и непостоянны, — я говорю о богатстве, власти и могуществе; презирая все эти блага и считая тщетную погоню за ними препятствием для истинных занятий, я попытался вынырнуть из этой тины и оглянуться на все окружающее. Сперва я

был охвачен сомнениями; об этом мире, который философы именуют космосом, мне долго не удавалось узнать ничего — ни как он произошел, ни кто его создатель. Не ведал я также, где его начало и какова его конечная цель. Тогда я стал рассматривать мир по частям, но это только увеличило мой недоумения: глядя на звезды, рассыпанные в беспорядке по небу, на самое солнце, я сгорал желанием узнать, что они такое. Но наиболее непонятным и загадочным представлялось мне все, что касалось луны: многообразие ее видоизменений, казалось мне, вызывается какою-то тайною причиной. Наконец, молния, пронизывающая тучи, низвергающийся гром, дождь, снег, падающий град — все это было для меня неразрешимой загадкой.

5. Вот в этом настроении я и подумал, что лучше всего будет обратиться к философам за разрешением всех этих вопросов, так как полагал, что они сумеют возвестить мне полную правду.

Я выбрал среди них лучших — если свидетелями достоинства считать угрюмое лицо, бледный цвет кожи и густую бороду, — и действительно, на первый взгляд они показались мне людьми красноречивыми и знакомыми с небесными явлениями. Отдав в их распоряжение себя и изрядное количество денег, — часть я выплатил сразу, а остальное условился внести по окончании занятий, — я попросил их объяснить мне небесные явления и устройство Вселенной. И с таким рвением принялись они считать с меня мое прежнее невежество, что привели меня в еще большее замешательство, окатив целым дождем первопринципов, целей, атомов, пустоты, материй, идей и прочего. Но всего печальнее было то, что мои наставники ни в чем не соглашались друг с другом; напротив, каждый из них оспаривал мнение другого, утверждая противоположное и стремясь к тому, чтобы я признал его правоту и проникся его взглядами.

Друг. Странные ты вещи рассказываешь, будто мудрецы спорят друг с другом о существующем и об одном и том же не имеют одинакового мнения!

6. М е н и п п. Да, дорогой! А как бы ты смеялся, если бы послушал их речи, полные обмана и чудачества! Прочно ступая по земле, ничем не возвышаясь над нами, ползающими по ней, философы видят не лучше своих соседей, а иные, вследствие старости и немощности, и вовсе близоруки. И, тем не менее, они утверждают, что различают границы неба; указывают размеры солнца, проходят по надлунным пространствам и, точно свалившись со звезд, определяют их величину и вид. Часто, наконец, не будучи в состоянии ответить даже на такой простой вопрос, какое расстояние от Мегар до Афин, они точно знают, каково расстояние между луною и солнцем; дерзают определять его в локтях, измеряют толщу воздуха, глубину океана, окружность земли, чертят круги, нагромождают треугольники на квадраты, изучают всевозможные сферы, даже само небо.

7. И разве не доказывает тупости философов и их самомнения то, что, говоря о далеко не ясных предметах, они не довольствуются догадками, а с настойчивостью поддерживают свой взгляд, и, отрицая за противопо-

ложным всякое значение, чуть не клянутся, что солнце есть раскаленный шар, что луна обитаема, что звезды пьют воду, которую солнце, словно на колодезной веревке, черпает из моря и поровну распределяет между ними?

8. Нетрудно заметить, насколько противоположны их взгляды. Ради Зевса, посмотри сам, близки ли их учения и не совершенно ли они противоречивы. Прежде всего, у них замечается полное разномыслие по вопросу о мире: одни утверждают, что он не создан и никогда не погибнет, другие дерзают говорить о творце и о самом способе создания им мира. Но всего больше я удивлялся тем, которые, признавая некоего бога, творца всего, не могут объяснить ни того, откуда он явился, ни того, где бог находился, когда творил мир: ведь невозможно мыслить время и пространство прежде всякого бытия...

Д р у г. Но ведь ты рассказываешь про дерзких людей, про обманщиков.

М е н и п п. А что бы ты сказал, если б послушал их рассуждения об идеях, о бестелесных сущностях или их речи о конечном и бесконечном? К тому же, между философами разгораются жестокие споры, так как они видят во всем существующем только конечное; другие, напротив, полагают, что оно бесконечно. Далее, многие утверждают, что существует большое число миров, и обрушиваются на тех, которые думают, что мир един. Наконец один из них, далеко не миролюбивый человек, считает раздор отцом всего миропорядка.

9. А боги? Не знаю, стоит ли даже вспоминать взгляды этих людей на них! Одним божество представляется числом, другие клянутся собаками, гусями и платанами, третьи, наконец, изгнав всех других богов, передают власть над миром единому божеству, так что мне оставалось лишь огорчаться такой бедности в богах. Впрочем, менее жадные признают многих богов, причем делят их на разряды, называя одного бога первым и указывая остальным вторые и третьи места, в соответствии со степенью их божественности. Иные, опять же, считают божество бестелесным и бесформенным, а другие, напротив, не мыслят его иначе, как вещественным. Главным образом далеко не все из них признают промысел богов в человеческих делах: некоторые освобождают богов от всяких забот, поступая с ними подобно нам, когда мы устраним стариков от несения общественных тягот. Словом, боги у них ничем не отличаются от телохранителей, которых комические поэты выводят на сцену. Но все это пустяки в сравнении с теми, которые вовсе отрицают существование богов и, бросая мир на произвол судьбы, лишают его владыки и вождя.

10. Однако, выслушивая все это, я не дерзал оказывать недоверие столь высокогромающим и прекраснородым людям; но в то же время, соглашаясь со словами одного, я не находил в них ничего, что не опровергалось бы речами другого. И я оказывался в таком состоянии, о котором говорит Гомер: часто я решался поверить одному из них, как уже мною

Все это приводило меня в полное недоумение, и я не видел, от кого бы на земле мне узнать истину. Тогда-то я и решил, что единственный способ избавиться от моего невежества — вооружившись крыльями, самому подняться на небо. Надежду в этом деле давали мне главным образом сила желания, а также баснописец Эзоп, который утверждает, что небо доступно не только орлам и навозным жукам, но подчас даже верблюдам. Впрочем, я совершенно ясно понимал, что я никаким способом не смогу отпустить себе крылья; если же приспособлю крылья коршуна или орла, — ведь только они способны выдержать тяжесть человеческого тела, — смогу скоро осуществить свое намеренье.

Итак, поймав этих двух птиц, я старательно отрезал у орла правое крыло, у коршуна — левое, и привязал их крепкими ремнями к плечам. Приладив к концам крыльев две петли для рук, я стал испытывать свою силу; сначала просто подпрыгивал, помогая себе руками, затем, подобно гусям, летал над самой землей, слегка касаясь ее ногами во время полета. Однако, заметив, что дело идет на лад, я решился на более смелый шаг: взойдя на Акрополь, я бросился с утеса и... долетел до самого театра.

11. Так как мой полет прошел благополучно, я задумал подняться выше в небеса: поднявшись не то с Парнета, не то с Гиметта, я перелетел на Геранею, оттуда на Акрокоринф; затем, через Фолою и Эриманф, я достиг Тайгета. Вскоре я уже настолько свыкся со своим дерзким занятием, что в совершенстве выполнял смелые полеты и, не довольствуясь высотой, доступною птенцам, решил подняться на Олимп; оттуда, запасшись по возможности самой легкой едой, я пустился прямо на небо. В первую минуту у меня закружилась было голова от огромной высоты, но и это я перенес с легкостью. Прорвавшись сквозь густые облака и очутившись, наконец, возле луны, я почувствовал некоторую усталость, особенно в левом крыле, отрезанном у коршуна. Ввиду этого я подлетел к луне и, присев на нее, дал себе передышку, посматривая вниз на землю и, подобно Зевсу у Гомера, обращая взоры на Фракию с ее наездниками, на землю мизов, или, по желанию, рассматривая Элладу, Персию и Индию. От всего этого я преисполнился самой разнообразной радостью.

Д р у г. Не расскажешь ли, Менипп, также о том, что ты оттуда видел, чтобы нам ничего не пропустить из твоего путешествия и узнать даже мелкие подробности. Думаю, что я мог бы услышать от тебя много любопытного о том, в каком виде представились тебе сверху земля и все, что на ней существует.

М е н и п п. Ты совершенно прав, дорогой мой! Чтобы тебе легче было понимать меня, поднимись мысленно на луну, соверши со мной это путешествие и, поставив себя на мое место, охвати взором общее расположение вещей на земле.

12. Прежде всего, земля показалась мне очень маленькой, значительно меньше луны, так что при первом взгляде я, как ни нагibalся, не мог найти ни высоких гор, ни огромных морей. Если бы я не заметил Колосса Родосского и башни на Фаросе, то я бы и вовсе не узнал земли; только

огромная высота этих сооружений и переливы океана под лучами солнца ясно указывали мне, что я вижу перед собою действительно землю. Однако, присмотревшись пристальней, я вскоре стал различать на ней человеческую жизнь, и не только жизнь целых народов и городов, но и деятельность отдельных людей; и я видел, как одни плыли по морю, другие сражались, третьи обрабатывали землю, четвертые судились; видел женские дела, животных и вообще все, что питается от плодородной земли.

Д р у г. Совершенно невероятно, и ты сам себе противоречишь! Ведь раньше ты говорил, что тебе пришлось разыскивать землю, так как, вследствие своей отдаленности, она казалась тебе чуть ли не точкою, и если бы Колосс не указал ее, то ты бы думал, что видишь перед собою что-то другое. Так каким же образом ты, подобно какому-нибудь Линкею, внезапно оказался в состоянии все рассмотреть на земле — людей, животных, чуть ли не гнезда комаров?

13. М е н и п п. Хорошо, что ты мне напомнил об этом, а то я и не заметил, что забыл упомянуть о самом важном обстоятельстве. Когда я понял, что вижу перед собою землю, но не могу ничего рассмотреть на ней из-за большого расстояния, затруднявшего мое зрение, то был крайне удручен и смущен своею беспомощностью. Я приходил в отчаяние и уже готов был заплакать, как вдруг сзади подошел ко мне философ Эмпедокл: весь в пепле и словно поджаренный, он весьма напоминал собою головню. Сознаюсь, при виде его я перепугался, приняв его за духа луны. Впрочем, он поспешил успокоить меня и сказал: «Мужайся, Менипп!

Я ведь не бог — и бессмертным меня ты считаешь напрасно.

Я — Эмпедокл, философ. Лишь только я бросился в кратер Этны, как дым вулкана охватил меня и забросил сюда. С тех пор я живу на луне, питаюсь росой, и странствую все больше по воздуху; я пришел, чтобы вывести тебя из затруднения: я вижу, тебя огорчает и мучает то, что ты не можешь ясно разглядеть землю». — «Милейший Эмпедокл, — воскликнул я, — ты хорошо поступаешь! Лишь только я вернусь в Элладу, я не премину совершить тебе возлияние на моем очаге и во время новолуний буду обращаться к луне с троекратным молитвенным возгласом». — «Клянусь Эндимионом, — ответил Эмпедокл, — не ради платы я пришел сюда, но потому, что, видя твои страдания, я от всей души сочувствовал тебе... Так вот, знаешь ли, что должен ты сделать, чтобы приобрести остроту зрения?»

14. «Нет, клянусь Зевсом, — возразил я, — разве что ты каким-нибудь образом снимешь пелену, застилающую мои глаза, так как сейчас точно ячмень на них сидит». — «А между тем, — сказал Эмпедокл, — моя помощь вовсе и не нужна тебе: ты явился с земли, имея прекрасное зрение...» — «Что ты хочешь этим сказать, я не понимаю тебя?» — «А разве ты не знаешь, — продолжал он, — что к твоему правому плечу привязано крыло орла?» — «Отлично знаю, — сказал я. — Но что общего между этим крылом и моим зрением?» — «А то, что орел далеко превосходит сво-

им зрением всех живых тварей: лишь он один может прямо смотреть на солнце. Настоящий царь, орел способен не моргая выносить яркий свет солнечных лучей».

«Так говорят, — сказал я, — и я уже начинаю жалеть, что, поднимаясь сюда, не вырвал своих глаз и не вставил на их место орлиных. Вообще я явился сюда наполовину готовым и был снаряжен далеко не по-царски; я скорее похож на незаконнорожденного орленка, лишенного наследства». — «Ни от кого другого, как от тебя, зависит, — сказал мне Эмпедокл, — чтобы один из твоих глаз стал совершенно царским. Если бы ты согласился немного привстать и, удерживая в покое крыло ястреба, взмахивать только другим, то твой правый глаз, соответствующий орлиному крылу, тотчас же стал бы дальнорезким. Ну, а другой глаз, слабейшей твоей половины, никоим образом не будет видеть острее». — «Довольно мне и одного правого глаза, если он будет зорек по-орлиному. Это мне не мешает хорошо видеть. Мне приходилось не раз наблюдать, как плотники, выравнивая балки по отвесу, прищуривают один глаз, чтобы лучше видеть».

С этими словами я сделал то, что мне посоветовал Эмпедокл; он же, медленно удаляясь, незаметно рассеялся, обратившись в дым.

15. И лишь я ударил крылом, яркий свет озарил меня, освещая передо мною все скрытое ранее. Нагнувшись вниз, я превосходно видел землю, города, людей. Я увидел все, что они делали не только под открытым небом, но и в своих домах, считая себя хорошо скрытыми: Птолемей спал со своей сестрой; сын Лизимаха злоумышлял против своего отца; Антиох, сын Селевка, потихоньку подмигивал Стратонику, своей мачехе; я видел, как жена Александра-фессалийца убивала мужа, Антигон развратничал с женой своего сына. Сын же Аттала отравлял своего отца. Далее, Арсак убивал женщину в то время, как евнух Арбак заносил над ним свой меч. Спатина-мидийца, убитого золотой чашей в бровь, волочили за ноги с пиршества телохранители. Подобное же происходило во дворцах ливийских, скифских и фракийских царей, — тот же разврат, те же убийства, заговоры, грабежи, клятвопреступления и опасения быть преданными своими же домашними.

16. Вот какое зрелище представляли дела царей! А жизнь частных лиц казалась еще более смешной: ведь я и их видел. Здесь я увидел Гермодора-эпикурейца, приносящего ложную клятву из-за тысячи драхм; стойка Агафокла, который обвинял перед судом одного из своих учеников за неуплату денег; оратора Клиния, крадущего чашу из храма Асклепия; киника Герофила, спавшего в публичном доме... Впрочем, стоит ли рассказывать обо всех этих грабителях, сутягах, ростовщиках, взыскивающих свои ссуды? Пестрое, разнообразное зрелище!

Д р у г. Было бы очень хорошо, Менипп, если б ты рассказал мне все это; по-видимому, это зрелище доставляло тебе редкое удовольствие.

М е н и п п. Рассказать все подробно, любезный друг, невозможно. Даже и рассмотреть-то это было делом нелегким. Впрочем, все наиболее существенное напоминало собою то самое, что, по словам Гомера, было

изображено на щите Ахилла. Здесь были пиршества и браки, там суд, народные собрания; далее, кто-то совершал жертвоприношение; рядом другой предавался горю. Всякий раз, взглядывая на Гетику, я замечал сражающихся гетов, когда же оборачивался на скифов, то видел их кочующими с их кибитками. Слегка переведя взгляд в сторону, я мог наблюдать обрабатывающих землю египтян; финикийцы путешествовали, киликийцы совершали разбойничьи набеги, лаконцы сами себя бичевали, афиняне... судились.

17. Так как все, что я видел, происходило одновременно, — ты можешь себе представить, какая получилась мешанина. Все равно, как если бы, набрав большое количество певцов, еще лучше несколько хоров, приказывать каждому участнику вместо общей стройной мелодии тянуть свою арию; тогда всякий из соперничества и желания выделить свою часть стремился бы во что бы то ни стало перекричать своего соседа. Клянусь Зевсом, ты и представить себе не можешь, что это было бы за песнопение!

Д р у г. Совершенно верно, Менипп: смешное и бестолковое.

М е н и п п. Так вот, дорогой мой, все жители земли являются подобными певцами; из этой нескладницы и составляется жизнь людей — они не только поют нестройно, но они различны даже по своим одеждам, да и идут-то они все вразброд; их мысли противоречивы, и все это до тех пор, пока руководитель хора не сгонит кого-нибудь из них со сцены, сказав ему, что он здесь более не нужен. С этого времени люди теряют свои прежние различия и, умокая, перестают тянуть свою бестолковую и нестройную песню. И все, что происходит на этой пестрой и разнохарактерной сцене, действительно достойно смеха.

18. Но больше прежнего я смеялся над теми, которые спорят о границах своих владений и гордятся тем, что обрабатывают равнину Сикиона, владеют землею у Марафона, в соседстве с Эноей, и обладают тысячью плетров в Ахарнах. В самом деле, вся Эллада представлялась мне сверху величиною пальца в четыре, а Аттика, соответственно с этим, выглядела, по-моему, прямо точкой. И я задумался над тем, на каком пустяке строят наши богачи свои гордые замашки: действительно, самый крупный землевладелец, казалось мне, обрабатывает всего лишь эпикуровский атом. Бросил я взгляд и на Пелопоннес и, заметив Кинурию, вспомнил, как много аргивян и лакедемонян пало в однодневной битве за обладание клочком земли, размером не более зерна египетской чечевицы. И если я видел человека, гордого своим золотом, своими восемью кольцами и четырьмя часами, я не мог удержаться от смеха, так как весь Пангей со всеми своими рудниками был не больше просяного зерна.

19. Д р у г. Какой ты счастливiec, Менипп! Что за поразительное зрелище! Но скажи, бога ради, какими казались тебе сверху города и люди?

М е н и п п. Я думаю, тебе не раз приходилось видеть собрание муравьев: одни решают государственные дела у входа в нору, другие выходят из муравейника или возвращаются в свой город; тот тащит из дома кусочек навоза, этот торопливо несет подобранную где-то кожуру боба или поло-

вину пшеничного зерна. Есть у них, по-видимому, в соответствии с их муравьиной жизнью и строители, и народные вожди; есть пританы, музыканты и философы. Так вот, города, населенные людьми, показались мне более всего похожими на муравейники. Если же тебе это сравнение людских общежитий с муравьиным царством кажется унижительным, то вспомни о старых преданиях фессалийцев, и ты увидишь, что мирмидоняне, этот воинственный народ, превратились в людей из муравьев.

Между тем, насмотревшись достаточно на все это и от всего сердца насмеявшись, я ударил крыльями и полетел

...в чертоги

Зевса Эгидодержавного, к сонмищу прочих бессмертных.

20. Однако не успел я еще взлететь на высоту одного стадия, как Селена сказала мне женским голосом:

«Счастливого пути, Менипп! Исполни для меня небольшое поручение, когда будешь у Зевса». — «Охотно, — ответил я, — это не доставит мне никакого труда, если только не придется чего-либо отнести ему». — «Поручение мое не тяжелое, Менипп, — возразила Селена, — это лишь просьба Зевсу с моей стороны. Видишь ли, я возмущена нескончаемой и вздорной болтовней философов, у которых нет иной заботы, как вмешиваться в мои дела, рассуждать о том, что я такое, каковы мои размеры, почему иногда я бываю рассечена надвое, а иногда имею вид серпа. Одни философы считают, что я обитаема, другие — что я не что иное, как зеркало, подвешенное над морем, словом, каждый говорит обо мне, что взбредет ему в голову. Наконец иные рассказывают, что самый свет мой — краденый и незаконный, так как он приходит ко мне сверху, от солнца. Этим они беспрестанно ссорят меня с Солнцем, моим братом, и восстанавливают нас друг против друга. Мало им разве тех небылиц, которые они рассказывают о солнце, что оно-де и камень, и раскаленный шар...

21. А между тем, разве я не знаю, какие позорные и низкие дела совершаются по ночам этими философами, которые днем выглядят такими угрюмыми и доблестными, что своей благородной внешностью привлекают внимание толпы? Я отлично вижу все их проделки и все же молчу, так как считаю неподобающим проливать свет на ночное времяпровождение философов и выводить напоказ их жизнь. Напротив, видя, как они развратничают, воруют, совершают под прикрытием ночного мрака всяческие преступления, я тотчас привлекаю облако и скрываюсь за ним, чтобы не выставлять на общий позор стариков, выделяющихся среди других своей добродетелью и своими длинными бородами. Они же, без всякого стеснения, продолжают терзать меня своими речами и всячески оскорбляют меня, так что, клянусь Ночью, я не раз хотела поселиться как можно дальше отсюда, чтобы избежать их нескромного языка.

Так вот, не забудь передать обо всем этом Зевсу и прибавь еще, что я не согласна оставаться дольше в этих местах, если он не разотрет в песок

философов и не заткнет рта этим болтунам; пусть Зевс разрушит Стою, поразит громом Академию и прекратит бесконечные разговоры перипатетиков. Только тогда я обрету покой и освобожусь от их ежедневных измерений».

22. «Все будет исполнено», — ответил я и с этими словами отправился прямо вверх к небу, по дороге,

Где не заметишь работ, ни людей, ни волов-землепашцев.

Скоро луна стала казаться мне маленькой, а земля исчезла из виду. Оставив вправо солнце и продолжая свой полет среди звезд, я на третий день приблизился, наконец, к небу. Я надеялся, что мне удастся сразу же проникнуть туда: мое превращение в орла, хотя и неполное, думал я, легко позволит мне пройти неузнанным, так как орел издавна близок Зевсу. Все же я опасался, что меня сейчас же выдаст мое левое крыло, крыло коршуна, а потому я счел за лучшее, не подвергая себя лишней опасности, подойти к дверям и постучаться.

Гермес услышал стук, спросил мое имя и торопливо пошел докладывать обо мне Зевсу. Немного спустя меня пригласили войти. Перепуганный и дрожащий, я вошел и застал всех богов: они восседали в креслах и следили за мною не без некоторого беспокойства. Их несколько смутило мое неожиданное прибытие, вызвавшее опасение, как бы таким же образом не прилетели к ним все люди.

23. И вот Зевс, грозно бросая на меня пронзительные и титанические взгляды, спросил:

Кто ты такой, человек, кто отец твой, откуда ты родом?

Я чуть не умер со страху, когда услышал его громогласные слова, и, точно пораженный громом, стоял с открытым ртом. Однако постепенно я собрался с духом и, начавши издалека, стал подробно рассказывать, как я желал познакомиться с небесными явлениями, как посещал философов и выслушивал их противоречивые объяснения, как страдал, терзаемый их речами, и какое принял ввиду этого решение; затем рассказал о крыльях и обо всем остальном, чем сопровождалось мое путешествие на небо, а под конец сообщил ему поручение Селены. В ответ на мое повествование Зевс улыбнулся и, слегка раздвинув брови, произнес: «Что сказать об Оте и об Эфиальте, после того как Менипп осмелился подняться на небо! Впрочем, сегодня мы приглашаем тебя на угощение, а завтра дадим объяснения, за которыми ты пришел, и отпустим тебя на землю». Затем он встал и направился к той части неба, откуда было лучше всего слышно, так как наступало время принимать молитвы людей.

24. По дороге Зевс стал расспрашивать меня о всевозможных обстоятельствах земной жизни: первым делом о покупке цены пшеницы в Элладе; спрашивал, была ли последняя зима сурова, нуждаются ли овощи в

более обильном дожде, остался ли кто-нибудь из рода Фидия, почему афиняне в течение стольких лет не справляли Диасии, думают ли они закончить постройку для него Олимпийского храма и задержаны ли ограбившие храм в Додоне. Когда я ответил на все эти вопросы, Зевс продолжал: «Скажи, Менипп, а обо мне... что думают люди?» — «О тебе, владыка, их мнение самое благочестивое. Люди считают тебя царем богов». — «Ты шутишь, — возразил Зевс, — я отлично знаю их непостоянство, хотя ты о нем и умалчиваешь. Ведь было время, когда я был для них и пророком, и целителем, — словом, когда

площади, улицы — все полно было именем Зевса.

Тогда и Додона, и Пиза блистали и пользовались всеобщим почетом, а жертвенный чад застилал мне глаза. Но с тех пор как Аполлон основал в Дельфах прорицалище, Асклепий в Пергаме лечебницу, во Фракии появился храм Бендиды, в Египте Анубиса, в Эфесе Артемиды — с этого времени все бегут к новым богам, справляют в их честь празднества, приносят им гекатомбы и посвящают золотые кирпичи... Что же касается меня, состарившегося бога, то они думают, что достаточно почитают меня, если раз в четыре года приносят мне жертвы в Олимпии. И мои алтари стали холоднее законов Платона или силлогизмов Хризиппа».

25. Беседуя таким образом, мы подошли к тому месту, где Зевсу следовало сесть, чтобы выслушивать молитвы. Здесь находился целый ряд покрытых крышками отверстий, весьма напоминающих колодцы; возле каждого из них стоял золотой трон. Сев на трон возле первого отверстия и сняв с него крышку, Зевс стал прислушиваться к молитвам, которые доносились к нему со всех мест земли и отличались большим разнообразием. Я сам мог слышать их, так как вместе с Зевсом наклонился над отверстием. Вот, например, каковы были эти молитвы: «О Зевс, дай мне достигнуть царской власти!», «О Зевс, пусть произрастут у меня лук и чеснок!», «О боги, да умрет мой отец как можно скорее!» А другой говорил: «О если бы я мог получить наследство после жены!», «О если бы мне удалось скрыть козни против брата!», «Дайте, боги, мне победить на суде», «Пусть я буду увенчан на олимпийских состязаниях». Возносили свои молитвы мореплаватели: одни молили о северном ветре, другие — об южном; земледelec просил о ниспослании дождя, суконщик — о солнечном свете.

Зевс все это выслушивал, тщательно взвешивая каждую молитву; он обещал исполнить их далеко не все, а

То благосклонно взирал на мольбу, то качал головою.

Справедливым молитвам он позволял подниматься вверх через отверстие и помещал их по правую сторону себя, а мольбы несправедливые отгонял назад неисполненными, сдувая их вниз, чтобы они не могли приблизиться

к небу. Между прочим, относительно одной молитвы я заметил в нем нерешительность: дело в том, что два человека молили Зевса как раз о противоположном, обещая принести одинаковые жертвы. И вот Зевс, не зная, чьей просьбе отдать предпочтение, испытывал чисто академическую нерешительность; не будучи в состоянии принять какое-либо решение, он предпочел, подобно Пиррону, «удержать суждение».

26. Достаточно позанимаясь молитвами, Зевс пересел на соседний трон, снял крышку с другого колодца и стал слушать произносивших клятвы. Покончив с этим делом и поразив громом эпикурейца Гермодора, Зевс перешел к следующему трону, где занялся предсказаниями, оракулами и знамениями. Затем он направился к колодцу с жертвоприношениями, через который поднимался дым от жертв и возвещал Зевсу имена всех совершавших жертвоприношения. Исполнив все это, Зевс дал указания ветрам и погодам, разъяснив, что надлежало им делать: «Сегодня пусть будет дождь в Скифии; в Ливии пусть гремит гром; в Элладе идет снег. Ты, Борей, дуй в Лидии, а ты, Нот, оставайся спокоен. Зефир же должен поднять бурю на Адриатическом море; и пусть около тысячи мер града выпадет в Каппадокии».

27. Приведя в порядок все свои дела, Зевс направился со мною на пир, так как уже наступило время обеда. Меня встретил Гермес и устроил на ложе возле Пана, Корибантов, Аттиса и Сабазия — богов, не пользующихся полными правами гражданства на небе, да и вообще довольно сомнительных. Деметра раздала нам хлеб, Дионис вино, Геракл мясо, Афродита миртовые ягоды, а Посейдон какую-то рыбешку. Потихоньку я отведал также и амбросии, и нектара. Милейший Ганимед, замечая, что Зевс не смотрит в мою сторону, всякий раз из человеколюбия наполнял для меня нектаром одну-другую чарочку. Боги, согласно словам Гомера (думаю, что он, как и я, сам наблюдал происходящее там), ни хлеба не едят, ни вина темного не пьют, но лишь угощаются амбросией и напиваются нектаром. Все же наибольшую радость им доставляет чад, поднимающийся от жертв, чад, смешанный с запахом сжигаемого мяса, и жертвенная кровь, которую совершающие жертвоприношение возлагают на алтари. Во время обеда Аполлон играл на кифаре, Силен плясал кордак, а Музы, стоя поодаль, пропели нам кое-что из «Теогонии» Гесиода и первую оду из гимнов Пиндара. Насытившись, мы встали из-за стола, чтобы отдохнуть, так как все уже изрядно подвыпили.

*28. Прочие боги, равно как и мужи, бойцы с колесницы,
Спали всю ночь; лишь меня не обрадовал сон безмятежный.*

Долго еще меня мучили разные мысли: смущало меня и то, почему у Аполлона за такое долгое время не отросла борода, и отчего на небе бывает ночь, хотя ведь там постоянно пребывает солнце: ведь и сейчас Гелиос присутствовал на обеде... Однако в конце концов мне удалось немного вздремнуть. Проснувшись на следующее утро, Зевс повелел созвать собрание.

29. Когда сошлись все боги, Зевс так начал свою речь: «Вчерашнее пребывание гостя-чужестранца послужило поводом настоящего собрания. Я уже давно собирался обсудить с вами поведение философов, а жалобы Селены заставили меня не откладывать далее рассмотрение этого вопроса. Дело заключается в следующем. Появился на земле сравнительно недавно особый вид людей, оказывающих воздействие на жизнь человека, — людей праздных, сварливых, тщеславных, вспыльчивых, любителей лакомств, глуповатых, надутых спесью, полных наглости, — словом, людей, представляющих, по выражению Гомера,

...земли бесполезное бремя.

Эти люди распределились на школы, придумали самые разнообразные лабиринты рассуждений и называют себя стоиками, академиками, эпикурейцами, перипатетиками и другими еще более забавными именами. Прикрываясь славным именем добродетели, приподнимая брови и наморщив лоб, длиннобородые, они гуляют по свету, скрывая свой гнусный образ жизни под прикрашенную внешностью. В этом они как нельзя более напоминают актеров в трагедиях: снимите с них маску и шитые золотом одеяния — и перед вами останется жалкий человек, который за семь драхм готов играть на сцене.

30. Несмотря на то, что они таковы, философы презирают всех людей, о богах толкуют самым неприличным образом и, окружая себя молодежью, легко поддающейся обману, с трагическим пафосом рассказывают общеизвестные истины о добродетели и учат искусству безнадежно запутывать рассуждения. При своих учениках они расхваливают постоянство, твердость, умеренность, поносят богатство и наслаждение. Но вот они остались наедине сами с собою... трудно описать, чего только они ни съедают, какому разврату ни предаются, с каким наслаждением обсасывают грязь с медных оболов!

Но возмутительнее всего то, что, совершенно не заботясь о пользе государства или частных лиц, оказываясь безусловно лишними и бесполезными,

Как на войне среди воинов, так и в собраньи народном,

философы осмеливаются осуждать поведение других, направляют против них жестокие речи, заботясь лишь о том, чтобы подбирать ругательства; порицают и бранят всех, кто приходит в соприкосновение с ними... В среде этих философов наибольшим уважением пользуется тот, кто громче кричит, отличается наибольшей дерзостью и ругается самым наглым образом.

31. А между тем спросите одного из этих многоречивых крикунов и порицателей: «А сам-то ты? ... Что ты делаешь, какую пользу ты приносишь в жизни?» И если ответ последует правильный и искренний, то вот что вы услышите: «Мореплавание, земледелие, военная служба, всякое другое ремесло кажутся мне бесцельными; я кричу, валяюсь в грязи, мо-

юсь холодной водою, зимою хожу босиком, одетый в грязный плащ, и, как Мом, доношу обо всем, что бы ни случилось. Если какой-нибудь богач слишком много тратит на свой стол или содержит любовницу, я вмешиваюсь в дела его и нападаю на него... а если кто из друзей или приятелей лежит больной, нуждаясь в помощи и уходе, то я делаю вид, что не знаком с ним». Вот каково, о боги, это отродье!

32. Но всех их своею наглостью превосходят так называемые эпикурейцы. Понося нас, богов, без всякого стеснения, они доходят до того, что осмеливаются утверждать, будто боги нисколько не заботятся о человеческих делах и совершенно не вникают в них. Вот почему не следует медлить с рассмотрением их поведения, ибо, если только философам удастся убедить человечество в своей правоте, все вы будете принуждены жестоко голодать. Кто же, в самом деле, станет приносить нам жертвы, если признает, что они не достигают цели? Что касается жалоб, представленных против философов Селеною, то вы все слышали их от нашего гостя. Обо всем этом предлагаю вам, боги, подумать и принять решение, наиболее полезное для людей и наиболее безопасное для нас».

33. Не успел Зевс кончить, как в собрании поднялся страшный шум и отовсюду стали раздаваться возгласы: «Порази их громом, сожги, уничтожь!», «В пропасть их!», «Низвергни их в Тартар, как Гигантов!» Восставив тишину, Зевс сказал: «Будет поступлено с ними согласно вашему желанию: все философы вместе с их диалектикой будут истреблены. Однако привести в исполнение кару сегодня же невозможно; как вы все знаете, ближайшие четыре месяца священны, и мною уже объявлен божий мир. В будущем же году, в начале весны, они жестоко погибнут от страшного перуна».

Молвил — и сдвинул Кронид в знак согласия темные брови...

34. «В отношении же Мениппа, — добавил Зевс, — я решил сделать следующее: необходимо отнять у него крылья, чтобы впредь он к нам больше не являлся, и пусть Гермес сегодня же спустит его на землю». Сказав это, Зевс распустил собрание, а Киллений, ухватив меня за правое ухо, доставил вчера вечером в Керамик.

Теперь, дорогой мой, ты услышал решительно все, что я видел и узнал на небе. Прощай! Я тороплюсь в Расписной Портик, чтобы сообщить прогуливающимся там философам все эти радостные известия.



ПЕРЕПРАВА,

или

ТИРАН

1. Х а р о н. Ну вот, Клото! Лодка давно уже у нас в порядке и вполне готова к отъезду: вода выкачана, мачта поставлена, парус натянут и каждое весло привязано; что касается меня, ничто не мешает поднять якорь и отплыть. А Гермес медлит, хотя ему давно пора быть здесь, — и вот наше судно, как ты видишь, еще пусто, хотя сегодня можно было бы уже три раза совершить переезд; время подходит к вечеру, а мы еще не заработали ни обола. Потом, я отлично знаю, Плутон будет меня обвинять в небрежности, хотя виноват другой. Наш милейший проводник душ сам выпил, вероятно, как это делают другие, воды земной Леты, забыл о возвращении к нам и, наверное, или борется с юношами, или играет на кифаре, или произносит какие-нибудь речи, выставляя напоказ свою болтливость; а то, пожалуй, наш почтеннейший ворует где-нибудь по дороге: ведь и это — одно из его занятий. Во всяком случае, он не стесняется с нами, — а ведь он наполовину считается нашим.

2. К л о т о. Почем знать, Харон? Быть может, ему некогда, так как он понадобился Зевсу для выполнения его земных дел. Ведь он тоже его хозяин.

Х а р о н. Но не настолько, Клото, чтобы распоряжаться сверх меры нашим общим достоянием. Ведь мы никогда не задерживали Гермеса, когда ему надо было уходить. Нет, я знаю истинную причину: у нас только

асфодел, возлияния, лепешки и заупокойные приношения, а все остальное — мгла, туман и мрак, на небе же все блестит, там много амброзии и в изобилии нектара; немудрено, что он с большим удовольствием задерживается там. И от нас Гермес мчится, словно вырвавшись из тюрьмы, а когда наступает время отправляться к нам, он тащится шагом и приходит с опозданием.

3. К л о т о. Не сердись, Харон! Как видишь, он уже приближается и ведет нам много каких-то незнакомцев. Гермес точно гонит их своим жезлом, как стадо коз. Но что это? Кто-то из них, я вижу, связан, другой смеется, один повесил на себя суму, смотрит сердито и с палкой в руке подгоняет других. Не видишь ли ты, что и сам Гермес обливается потом, его ноги в пыли и он тяжело дышит? Ведь он просто задыхается! Что такое, Гермес? Что за спешка? Ты чем-то расстроен?

Г е р м е с. Чем еще, кроме того, что, преследуя вот этого плута, пытавшегося убежать, я сегодня едва совсем не пропустил вашей лодки, Клото.

К л о т о. Кто он? Из-за чего хотел убежать?

Г е р м е с. Очевидно, он очень хотел остаться в живых. Это какой-то царь или тиран, судя по его рыданиям, воплям и словам о потере какого-то большого счастья.

4. К л о т о. Значит, глупец пытался бежать, надеясь, что ему еще можно будет пожить, хотя спряденная для него нить была уже на исходе?

Г е р м е с. Ты говоришь — «пытался»! Да если бы этот почтеннейший, вот этот с палкой, не помог мне и мы, схватив, не связали бы его, он, пожалуй, и совсем бы удрал от нас. С того часа, как мне его передала Атропос, он всю дорогу сопротивлялся, тянул в сторону, упирался ногами в землю, и вести его было не совсем-то легко. Иногда он умолял, неотступно прося отпустить его на короткое время и обещая за это много заплатить; я, конечно, не отпускал, зная невозможность этого. А когда мы находились уже у самого входа, — в то время как я, по обычаю, отсчитывал Эаку покойников, а он их принимал по счету, присланному ему твоею сестрою, этот треклятый, скрывшись не знаю как, ушел. Поэтому в счете не хватило одного покойника, и Эак, нахмутив брови, сказал: «Не всюду применяй свое воровское искусство, — довольно с тебя и небесных шалостей; у покойников все должно быть точно, и никоим образом ничто не может быть скрыто. Как видишь, в списке отмечено тысяча четыре покойника, а ты привел мне одним меньше, — если только ты не станешь говорить, будто тебя Атропос обсчитала!» Я покраснел при этих словах, быстро вспомнил все случившееся на пути и, посмотрев вокруг, нигде не заметил этого покойника. Я понял, что он убежал, и пустился ему вдогонку как мог скорее по дороге, ведущей к свету, а за мной добровольно последовал этот милый человек, и хотя мы бежали как на состязании, мы поймали покойника только на Тенаре — так скоро подошел он к тому месту, откуда мог и совсем уйти.

5. К л о т о. А мы, Харон, уже порицали невнимание Гермеса.

Харон. Так чего же медлить, — как будто нами мало потеряно времени!

Клото. Хорошо. Пусть влезают! Я, сидя у сходней со списком, стану, по обыкновению, спрашивать у каждого входящего, кто, откуда и каким образом он умер. А ты, принимая покойников, собирай в лодку и рассаживай по порядку. Ты, Гермес, сначала сажай этих новорожденных — что они могут мне сказать!

Гермес. Получай, перевозчик; их триста вместе с подкидышами.

Харон. Ба! Удачная охота! Ты нам привел незрелых покойников.

Гермес. Хочешь, Клото, после этих посадим неоплаканых.

Клото. Ты говоришь про стариков? Пусть так. Чего мне хлопотать, расспрашивая про доевклидовские времена. Идите же, которым за шестьдесят! Что это? Они не слышат, уши им заложило от старости. Пожалуй, их тоже придется принести на руках.

Гермес. Вот тебе еще эти; без двух чтыреста — все мягкие, зрелые, сорванные вовремя.

Харон. Ну вот, они все уже теперь в изюм превратились.

6. Клото. За ними, Гермес, веди умерших от ран. Скажите-ка мне сначала, как вы умерли. А то лучше я сама посмотрю, что о вас написано. Вчера в Мизии должны были пасть в битве восемьдесят чтыре человека, и в их числе Гобар, сын Оксиарта.

Гермес. Есть.

Клото. Покончили с собой из-за любви семеро, и философ Феаген из-за мегарской гетеры.

Гермес. И эти здесь.

Клото. А где те, которые убили друг друга из-за царской власти?

Гермес. Вот.

Клото. А убитый женой и ее любовником?

Гермес. Вот, недалеко от тебя.

Клото. Приведи теперь осужденных к смерти: я разумею умерших под пыткой и распятых. Где, Гермес, шестнадцать убитых разбойников?

Гермес. Вот эти раненые, как ты видишь. Не хочешь ли, я приведу и женщин?

Клото. Отлично; да заодно захвати погибших при кораблекрушениях: ведь и они умерли таким же образом; да присоедини умерших от лихорадки и с ними врача Агафокла.

7. А где философ Киниск, который должен был умереть, съев обед Гекаты — яйца из очистительных приношений и сырую каракатицу?

Киниск. Я давно уже стою возле тебя, милейшая Клото. За какую мою вину ты оставляла меня так долго наверху? Ты напряла на мою долю почти целое веретено. Хотя я часто пытался, перерезав пятку, прийти сюда, но, не знаю, почему-то это мне не удавалось.

Клото. Я оставила тебя быть наблюдателем и врачом человеческих проступков. Ну, полезай, в добрый час!

К и н и с к. Ни за что, пока не посадим вот этого связанного. Я боюсь, как бы он не убедил тебя своими просьбами.

8. К л о т о. Ну-ка посмотрю, кто он.

Г е р м е с. Тиран Мегапенф, сын Лакида.

К л о т о. Садись, ты!

М е г а п е н ф. Нет, владычица Клото! Раньше позволь мне на короткий срок уйти наверх; потом я сам приду без всякого зова.

К л о т о. Зачем ты хочешь удалиться?

М е г а п е н ф. Дай мне окончить дом: постройка ведь доведена до половины.

К л о т о. Не болтай вздора! Влезай.

М е г а п е н ф. Я прошу, Мойра, небольшой срок: дозвожь мне остаться только на сегодня, пока я дам жене одно поручение относительно денег: я там на земле закопал большое сокровище.

К л о т о. Конечно! Не получишь его.

М е г а п е н ф. Значит, погибать такому количеству золота?

К л о т о. Не погибнет! Не бойся! Его захватит твой двоюродный брат Мегакл.

М е г а п е н ф. Что за обида! Враг, которого я по лености не убил раньше?

К л о т о. Он самый. И переживет он тебя на сорок лет с небольшим, получив твоих любовниц, одежду и все твои деньги.

М е г а п е н ф. Ты несправедлива, Клото, распределяя мое достояние между моими злейшими врагами.

К л о т о. А разве ты, почтеннейший, не захватил такого же имущества у Кидимаха, убив его и зарезав детей, пока он еще дышал?

М е г а п е н ф. Да, но ведь теперь оно было мое.

К л о т о. Ну, а теперь уже прошло время для тебя владеть им.

9. М е г а п е н ф. Послушай, Клото, я хочу сказать тебе одно слово, чтобы никто не слышал. Отойдите немного. Если ты мне позволишь убежать, я тебе обещаю сегодня же выплатить тысячу талантов чистым золотом.

К л о т о. Ты все еще, чужак, помнишь о золоте и талантах!

М е г а п е н ф. Хочешь, прибавлю еще захваченные после убийства Клеокрита две чаши, по сто талантов чистого золота каждая?

К л о т о. Тащите его: по-видимому, добровольно он не влезет.

М е г а п е н ф. Будьте свидетелями: у меня остается неоконченной стена и верфь. Я бы их окончил, проживи я еще пять дней.

К л о т о. Не заботься: другой достроит.

М е г а п е н ф. Ну, а вот эта моя просьба вполне разумна.

К л о т о. Что за просьба?

М е г а п е н ф. Прожить до тех пор, пока я не покорю писидийцев, не наложу податей на лидян и, поставив себе огромный памятник, не напишу, какие военные подвиги я совершил при жизни.

К л о т о. Экий ты: просишь уже не один день, а отсрочки почти на двадцать лет.

10. Мегапенф. Я готов вам представить поручителей в моем скором возвращении. Если хотите, я отдам даже вместо себя моего любимца.

Клото. За которого ты, безбожник, молился, чтобы его оставить на земле?

Мегапенф. Раньше я об этом не раз молился, теперь же я вижу, что лучше.

Клото. И он придет спустя недолго после тебя, убитый новым царем.

11. Мегапенф. Ну, а в следующем, конечно, ты мне не откажешь, Мойра?

Клото. Что такое?

Мегапенф. Я хочу знать, в каком положении очутится государство после меня.

Клото. Что ж, послушай: узнав, больше будешь мучиться. Твою жену возьмет раб Мидае; он давно тебя обманывал с ней.

Мегапенф. Ах, проклятый! Я отпустил его на волю по ее просьбе.

Клото. Твоя дочь окажется в числе наложниц теперешнего тирана. Изображения и статуи, которые город прежде воздвиг в твою честь, все будут уничтожены на потеху зрителям.

Мегапенф. Скажи мне, неужели никто из моих друзей не будет негодовать на эти дела?

Клото. А кто был тебе другом и почему? Разве ты не знаешь, что только страх или надежда самому стать у власти, воспользовавшись твоим расположением, вызывали эти приветствия и восхваления твоих слов и поступков?

Мегапенф. А во время пиров, совершая возлияния, они ведь громко желали мне всего лучшего, и каждый готов был, если нужно, умереть за меня; и они даже клялись моим именем.

Клото. Поэтому ты и умер, поужинав вчера у одного из них: последнее поданное питье и отправило тебя сюда.

Мегапенф. То-то я почувствовал какой-то горький вкус. Зачем он это сделал?

Клото. Ты очень много меня расспрашиваешь. Пора влезать.

12. Мегапенф. Больше всего меня давит одно, Клото, ради чего я бы желал хоть ненадолго опять выглянуть в свет.

Клото. Что это такое? По-видимому, что-то очень важное?

Мегапенф. Мой раб Карион, лишь только увидел, что я умер, поздно вечером пришел в комнату, где я лежал, — это было легко сделать, ибо меня даже не караулил никто, — и привел мою наложницу Гликерию (я думаю, они уже давно сошлись), запер дверь и так обошелся с ней, как будто в помещении никого не было; удовлетворив свою страсть, он посмотрел на меня и со словами: «А ты, безбожный человечиска, много меня бил, хотя я ни в чем не провинился» — подергал меня за бороду и надавал пощечин; наконец, посильнее откашлявшись, плюнул на меня и удалился, сказав на прощанье: «Иди в места нечестивых». Внутри у меня все горело от оскорбления, но я все-таки не мог ничего ему сделать, так

как заостенел и застыл. А подлая девчонка, заслышав шум чьих-то шагов, намазала слюнями глаза, притворившись плачущей, и убежала, произнося с воплями мое имя. Ах! если бы я их поймал...

13. К л о т о. Перестань грозиться! Влезай лучше: пора уже тебе явиться в суд.

М е г а п е н ф. Кто же осмелится судить тирана?

К л о т о. Тирана никто, но труп — Радаманф, который, как ты скоро увидишь, очень справедлив и каждому назначает достойное наказание; поэтому не медли.

М е г а п е н ф. Сделай меня частным человеком, Мойра, нищим или рабом вместо царя, только позволь мне еще пожить.

К л о т о. Где палка? Гермес, тащите его за ноги: добровольно он не влезет.

Г е р м е с. Пошел ты, беглец! Получай его, перевозчик. Да вот еще: смотри, чтобы его надежно...

Х а р о н. Не беспокойся: его привяжут к мачте.

М е г а п е н ф. Мне надлежит, конечно, сидеть на первом месте?

К л о т о. Почему это?

М е г а п е н ф. Потому что, клянусь Зевсом, я был тираном и имел тысячу копыеносцев.

К и н и с к. Ну, разве не справедливо издевался над тобой, глупцом, Карion? Отведав этой палки, ты испытываешь всю горечь тирании.

М е г а п е н ф. Киниск посмеет поднять на меня палку? Не я ли недавно, когда ты слишком много себе позволил и грубо порицал других, чуть-чуть не пригвоздил тебя к кресту?

14. К и н и с к. Тебя-то вот и пригвоздят теперь к мачте.

М и к и л л. Скажи мне, Клото, а обо мне вы совсем не думаете? Или потому, что я беден, я и влезать должен последним?

К л о т о. А ты кто такой?

М и к и л л. Сапожник Микилл.

К л о т о. Чего же ты сердись на промедление? Не слышишь разве, сколько обещает дать тиран, если его отпустят ненадолго? Удивляюсь, что отсрочка тебе неприятна.

М и к и л л. Послушай, лучшая из Мойр: не очень-то меня радует милостивое обещание Киклопа: «“Никого” я съем последним». Ведь первых и последних ждут те же самые зубы. Мое положение совсем не похоже на жизнь богачей: ведь, как говорится, наши жизни — «диаметральная» противоположность. Тиран, — который при жизни, по-видимому, был счастлив, внушал всем страх и удивление, — оставил такое количество золота и серебра, одежду, лошадей, яства, красивых мальчиков и миловидных женщин, — понятно огорчился и негодовал, лишаясь всего этого: не знаю как, но к подобным благам душа пристаёт, как птица к клейкой ветке, и она не может легко оставить их, так как с ними давно слилась. Похоже на то, что есть какая-то неразрывная связь, которой такие люди бывают связаны с жизнью; и вот, если кто-нибудь станет их насильно разлучать, они

плачут, умоляют и, будучи в других отношениях дерзкими, становятся трусами перед дорогой, ведущей в Анд. Они обращаются поэтому назад и хотят, как несчастные любовники, хоть издали посмотреть на происходящее на свете, как делал и этот глупец, убегая с дороги и здесь умоляя тебя.

15. Я же, как не имеющий ничего такого, что бы привязывало меня к жизни, — ни земли, ни дома, ни золота, ни утвари, ни славы, ни каменных изваяний, был наготове, и лишь только Атропос подала мне знак, с удовольствием отбросил сапожный нож и подошву, — в руках у меня был тогда какой-то сапог, — вскочил и, даже не обувшись и не смыв ваксы, последовал за Мойрой, вернее даже вел ее, смотря вперед: ведь ничто оставляемое мною не привлекало к себе, и, клянусь Зевсом, у вас я все нахожу прекрасным; а самым приятным мне, конечно, кажется то, что здесь для всех один почет и никто не отличается от своего соседа. Думается мне, здесь и долгов с должников не спрашивают и податей не платят, а самое главное — не коченеют от холода, не болеют и не получают затрещин от более сильных. Здесь полнейший мир и все идет наоборот: мы, бедняки, смеемся, а богачи огорчаются и рыдают.

16. К л о т о. То-то я вижу, Микилл, что ты уже давно смеешься. Что же тебя так развеселило?

М и к и л л. Послушай, самая для меня почтенная из богинь. Живя на земле рядом с тираном, я с точностью видел все, что у него происходило, и мне тогда он казался равным богам: ведь я считал его счастливейшим смертным с его нарядной порфирой, толпой окружающих, золотом, украшенными камнями кубками и ложами на серебряных ножках; кроме того, запах от приготовляемых ему на обед кушаний мучил меня. Словом, я считал его каким-то сверхчеловеком, счастливейшим, чуть ли не красивее, чуть ли не на целый «царский» локоть выше других, когда он, гордясь своим счастьем, важно выступал, приводя в трепет встречающих. После смерти, лишенный всей роскоши, он показался мне очень смешным, но еще больше смеялся я над самим собою, над тем, какие пустяки возбуждали мое удивление, как я измерял его счастье по запаху кушаний и считал счастливым на основании одежды, окрашенной кровью раковин из Лаконского залива.

17. А когда я увидел, кроме него, ростовщика Гнифона, стонущего и раскисающего в том, что он не воспользовался деньгами и умер, не наладившись ими, оставив все имущество распутному Родохару, — он ведь был его ближайший родственник и первый законный наследник, — я не мог удержаться от смеха, особенно припоминая, как он был всегда бледен и суров, с нахмуренным от заботы лбом, и был богат только пальцами, которыми считал десятки тысяч талантов, собирая понемногу то, что счастливому Родохару предстояло растратить в короткое время. Но почему мы не отправляемся? Во время плавания будем забавляться их рыданиями.

К л о т о. Влезай, чтобы перевозчик мог, наконец, поднять якорь.

18. Х а р о н. Ты куда идешь? Лодка уже полна; жди здесь до завтра, на заре мы тебя перевезем.

М и к и л л. Ты, Харон, поступаешь несправедливо, оставляя перезрелого мертвеца: право, я обвиняю тебя перед Радаманфом в незаконном поступке. Вот горе-то! они уже отплывают, а я один остаюсь здесь. Ну нет! Поплыву-ка я вслед за ними; как мертвецу мне нечего бояться утонуть, да к тому же у меня нет даже обола для уплаты за перевоз.

К л о т о. Что это? Подожди, Микилл; так тебе нельзя переправиться.

М и к и л л. А может быть, я приплыву даже раньше?

К л о т о. Нет. Захватим его. А ты, Гермес, помоги его вытащить.

19. Х а р о н. А где же он сядет? Ты видишь, все полно.

Г е р м е с. Если вы ничего не имеете против, то на плечи тирану.

К л о т о. Хорошо придумал, Гермес!

Х а р о н. Ну, влезай и взбирайся на затылок негодяя. Поплывем, в добрый час!

К и н и с к. Сказать правду, Харон, я не буду в состоянии заплатить тебе обол за перевоз. Ведь у меня ничего нет, кроме сумки и вот этой палки. Впрочем, если бы ты захотел выкачивать воду, я готов стать гребцом. Тебе не придется бранить меня, дай только мне крепкое и доброе весло.

Х а р о н. Греби. С тебя и этой платы довольно.

К и н и с к. Не нужно ли подавать знак гребцам?

Х а р о н. Понятно, если только знаешь какую-нибудь песню гребцов.

К и н и с к. Знаю, и не одну; но, видишь ли, плач заглушает и расстраивает наше пение.

20. Б о г а ч и. «Увы, мое имущество!», «Увы, мои поля!», «Ай-ай, какой дом я оставил!», «Сколько талантов получил и промотает мой наследник!», «Бедные новорожденные детки», «Кто соберет виноград, который я посадил в прошлом году!...»

Г е р м е с. А ты, Микилл, ни о чем не плачешь? Никому не полагается плыть без слез.

М и к и л л. Поди ты прочь! О чем мне плакать? Ехать хорошо.

Г е р м е с. Все-таки хоть немножко поплачь, соблюдая обычай.

М и к и л л. Ну, если хочешь, заплачу. Увы, подошвы! Увы, старые сапоги! Увы, дырявые сандали! Я, несчастный, больше не буду оставаться без еды с утра до вечера, не буду зимой расхаживать босиком и полуголым, шелкая зубами от холода! Кому-то достанется мой нож и шило!

Г е р м е с. Довольно, поплакал. Да мы почти уже и приплыли.

21. Х а р о н. Ну, давайте-ка сначала нам плату за перевоз. Все ли заплатили? Давай и ты свой обол, Микилл.

М и к и л л. Ты шутишь, Харон, или, как говорится, лишешь по воде, ожидая от Микилла обола. Я вообще не знаю, какого он вида — четырехугольный или круглый.

Х а р о н. Вот так прибыльная сегодня поездка! Вылезайте все-таки, а я поеду за лошадьми, быками, собаками и прочими животными: надо ведь и их перевезти.

К л о т о. Забирай их, Гермес, и уводи, а я поплыву на тот берег, чтобы перевезти серов — Индопатра и Гарамитру; они умерли, сражаясь друг с другом из-за границ своих владений.

Г е р м е с. Ну, вы! пойдем вперед; а то лучше в порядке следуйте за мной.

22. М и к и л л. О Геракл, что за тьма! Где же теперь красавец Мегилл? Кто может отличить, красивее ли Симмиха Фрины? Все здесь имеет один цвет, нет ни красивого, ни красивее; даже мой потертый плащ, до сих пор казавшийся мне безобразным, одинаков с царской порфирой — ничего не видно, ибо они погрузились в одну и ту же темноту. Ты где, Киниск?

К и н и с к. Тут я, Микилл; если хочешь, пойдем вместе.

М и к и л л. Хорошо, давай руку. Скажи мне, Киниск, — ты ведь, очевидно, посвящен в элевсинские таинства, — не похоже ли здесь и там?

К и н и с к. Да!.. Посмотри-ка, вон подходит какая-то женщина с факелом со страшным, угрожающим видом. Не Эриния ли это?

М и к и л л. Да, похожа по виду.

23. Г е р м е с. Получай их, Тисифона, — тысяча четыре человека.

Т и з и ф о н а. Радаманф уже давно вас ожидает.

Р а д а м а н ф. Подводи их, Эриния. А ты, Гермес, выкликай и подзывай их.

К и н и с к. О Радаманф, ради твоего отца, начни суд с меня!

Р а д а м а н ф. Почему?

К и н и с к. Потому что я во что бы то ни стало хочу обвинять одного тирана, за которым знаю много позорных дел, совершенных при жизни. Но мои слова не покажутся достойными доверия, если не выяснится раньше, каков я и как прожил мою жизнь.

Р а д а м а н ф. А ты кто?

К и н и с к. Киниск, почтеннейший; по убеждению — философ.

Р а д а м а н ф. Ну, иди сюда и становись на суд. Вызывай, Гермес, обвинителей!

24. Г е р м е с. Если кто-нибудь обвиняет этого Киниска, пусть подойдет сюда!

К и н и с к. Никто не подходит.

Р а д а м а н ф. Этого, Киниск, еще недостаточно: разденься, я посмотрю клейма.

К и н и с к. Откуда быть на мне клеймам?

Р а д а м а н ф. Каждое нехорошее дело, которое кто-либо из вас совершил при жизни, оставляет след на вашей душе.

К и н и с к. Ну вот, я голый стою возле тебя: ищи пятна, о которых ты говоришь!

Р а д а м а н ф. Он почти чист, за исключением вот этих трех или четырех очень слабых и незаметных пятен. Но что это? Следы и знаки большого числа ожогов, я не знаю, каким путем сглажены или, лучше сказать, вырезаны. Как это случилось, Киниск, и как ты снова сделался чистым?

К и н и с к. Я могу объяснить это: благодаря отсутствию воспитания я стал дурным человеком и имел много пятен, но, занимаясь философией, понемногу смыл этим хорошим и весьма действенным средством все пятна души.

Р а д а м а н ф. Когда обвинишь тирана, о котором ты говорил, ступай на Острова Блаженных, чтобы быть там вместе с лучшими. Зови других!

25. М и к и л л. Мое дело, Радаманф, тоже незначительно и не требует долгого внимания; я давно уже стою перед тобой обнаженным, — рассмотри меня.

Р а д а м а н ф. А кто ты такой?

М и к и л л. Сапожник Микилл.

Р а д а м а н ф. Хорошо, Микилл; ты совсем чист и не запятнан: иди и ты вместе с этим Киниском. Призови тирана!

Г е р м е с. Пусть придет Мегаленф, сын Лакида. Куда ты сворачиваешь? Подходи: я тебя, тиран, зову. Подтолкни его, Тизифона, в шею.

Р а д а м а н ф. Ну, Киниск, обвиняй его и изобличай: этот человек уже здесь.

26. К и н и с к. Без лишних слов, ты по пятнам сам узнаешь, каков он. Я только яснее раскрою тебе его жизнь и покажу ее. Я пропущу все, что совершил этот треклятый, будучи простым гражданином; довольно того, что он, подобрав себе в товарищи самых отчаянных людей и вооружив их, восстал против города и стал тираном, без суда убил больше чем десять тысяч человек, забирая себе их имущество; а когда он достиг высшей степени богатства, то предался всякому распутству, со всею грубостью и дерзостью относясь к несчастным гражданам, позорил девушек и мальчиков и, как пьяный, неистовствовал над подчиненными! А уж что касается его высокомерия, чванства и гордости ко всем окружающим, — этому и достойного наказания не найдешь; легче было, не зажмурясь, смотреть на солнце, чем на него. Кто мог бы рассказать про невиданные, но жестокие кары, которые он применял даже к близким? Подтверждение моим словам ты найдешь у тех, кого он загубил, — они без зова уже тут и душат его. Все они, Радаманф, погибли от рук этого негодяя, кто защищая честь красивых жен и дочерей, кто — сыновей, уводимых на позор, а кто — за то, что были богаты или справедливы и не одобряли его поступков.

27. Р а д а м а н ф. Что можешь ты, нечестивец, возразить на это?

М е г а л е н ф. Убийства, про которые он говорит, я совершил; а все прочее — развратную жизнь, насилие над мальчиками и девушками — ложно возводит на меня Киниск.

К и н и с к. А не хочешь ли, Радаманф, я представлю тебе свидетелей и этих поступков?

Р а д а м а н ф. Про кого это ты говоришь?

К и н и с к. Позови мне, Гермес, его лампу и кровать; пусть они придут и засвидетельствуют, что за ним знают.

Г е р м е с. Пусть явится сюда кровать и лампа Мегаленфа! Вот, они послушно явились сюда.

Р а д а м а н ф. Скажите, что вы знаете за этим Мегаленфом! Ты, кровать, говори первой.

К р о в а т ь. Киниск во всем обвинял правильно. Мне стыдно, владыка Радаманф, сказать, какие дела он на мне совершал.

Р а д а м а н ф. Воздерживаясь от рассказа, ты самым ясным образом свидетельствуешь против него. Давай теперь ты, лампа, свое показание.

Л а м п а. Дневных его деяний я не видала, ибо не присутствовала при них, а того, что он делал и позволял себе ночью, я не решаюсь сказать. Я видала, кроме того, много, чего нельзя сказать и что превосходит всякое бесстыдство. Хотя я часто нарочно не впитывала в себя масла, желая погаснуть, но он придвигал меня ближе, освещая свои деяния, и всячески грязнил мой свет.

28. Р а д а м а н ф. Довольно и этих показаний. Ну-каними порфиру, чтобы нам посмотреть число пятен. Ой-ой! Он весь разрисован, весь потемнел и прямо даже посинел от пятен. Какому же наказанию его подвергнуть по заслугам? Не бросить ли его в Пирифлегетон, или, быть может, отдать Керберу?

К и н и с к. Нет; если хочешь, я предложу тебе новое и достойное его наказание.

Р а д а м а н ф. Говори; я тебе за это буду очень благодарен.

К и н и с к. Насколько мне известно, все умершие должны выпить воды Леты?

Р а д а м а н ф. Конечно.

К и н и с к. Так вот пусть он один из всех умерших ее не выпьет!

Р а д а м а н ф. Почему?

К и н и с к. Тогда он будет переносить самое жестокое наказание, постоянно вспоминая, каким могуществом пользовался он на земле, и сожалея о роскошной жизни, утерянной навсегда.

Р а д а м а н ф. Твоя правда: пусть ему вечным наказанием будут жизненные воспоминания. Отведите его к Танталу.



ХАРОН, или НАБЛЮДАТЕЛИ

Г е р м е с. Что ты смеешься, Харон? Ради чего оставил ты свое суденышко и поднялся в нашу сторону, на землю? Не слишком-то часто ты навещаешь к нам посмотреть, что происходит здесь наверху.

Х а р о н. Захотелось, Гермес, взглянуть, что такое жизнь, что делают в течение жизни люди и чего такого они лишаются, что все, спускаясь к нам, горько плачут; ведь еще никто из людей не переправлялся на ту сторону без слез. Вот я и выпросил себе у Аида позволения, как тот молодой фессалиец, покинуть на один день свою барку, вышел на свет и, думаю, очень кстати повстречался с тобой. Я знаю, ты, как любезный хозяин, проводишь меня сам и покажешь все достопримечательности: тебе, наверно, все очень знакомо.

Г е р м е с. Недосуг мне, перевозчик, — сейчас иду дальше: надо услужить всевышнему Зевсу по одному земному его делу. А нравом он горяч, и боюсь замешкаться: как бы он не изъявил согласия на окончательный переход мой к вам, отдав меня во власть подземного мрака. Или поступит со мной, как на днях с Гефестом: схватит за ногу да и «ринет с небесного прага», — и придется мне, похрамывая, разносить вино, насмех всем.

Х а р о н. Итак, ты спокойно допустишь, чтобы я без толку бродил по земле, невзирая на то, что мы с тобой товарищи, вместе плаваем, вместе перевозим души. А неплохо было бы тебе, чадо Май, вспомнить, что ни

разу еще я не заставил тебя вычерпывать воду или сесть со мною на весла. Вместо этого ты, обладая такими могучими плечами, хранишь себе, растянувшись на палубе, или, когда встретится какой-нибудь разговорчивый покойник, болтаешь с ним всю дорогу, а я, старик, гребу один в два весла. Нет, во имя твоего отца, миленький Гермес, не покидай меня: проводи и покажи все, что называется жизнью. Мне хочется повидать что-нибудь, прежде чем уйти обратно. Если ты меня бросишь, я останусь совсем как слепой; только слепые скользят и падают, бродя во тьме, а я, напротив, лишаюсь зрения на свету. Помоги же, Килленец, и я всегда буду помнить о твоём одолжении.

2. Г е р м е с. Быть мне битым за это дело: я уже наперед вижу, что в награду за руководство никак нам не миновать кулаков. А услужить все-таки надо: стоит даже и потерпеть, если друг так настойчиво просит. Но, конечно, посмотреть тебе все, по порядку, в подробностях — это, перевозчик, вещь неосуществимая: на это надо было бы затратить много лет. Пришлось бы тогда глашатаям Зевса объявлять обо мне как о беглом. Да и ты сам не сможешь у Смерти продолжать работу и владычеству Плутону причинишь ущерб, прекратив на долгое время переправу покойников. Наконец и сборщик Эак будет очень недоволен, не получая ни обота... Как бы тебе увидеть самое главное из того, что делается на земле, — вот о чем нужно подумать.

Х а р о н. Ты сам уже сообрази, Гермес, как это сделать получше. Я — чужой на земле и ничего здесь не понимаю.

Г е р м е с. Вообще говоря, Харон, нам нужно для этого только какое-нибудь высокое место, с которого можно было бы все увидеть. Мы бы не испытывали затруднений, если б ты мог подняться на небо: с такой высоты ты хорошо бы все рассмотрел. Но поскольку тебе, постоянно имеющему дело с теньями, воспрещен доступ в чертоги Зевса, мы должны сейчас облюбовать здесь какую-нибудь высокую гору.

3. Х а р о н. Помнишь, Гермес, что я обычно говорил вам во время переправы? Налетит порыв ветра, ударит в парус, накренит лодку, и волны вздымнутся высоко, — а вы, бывало, по своей неопытности начнете советовать: кто говорит — убрать паруса, кто — отпустить немного снасти, кто — идти по ветру, — я же в ответ приказываю вам сохранять спокойствие, так как сам-де я знаю лучше, что делать. Вот точно так же и ты: делай все, что сочтешь нужным: ведь сейчас ты у руля. А я, как полагается путнику, буду сидеть и помалкивать, подчиняясь всем твоим распоряжениям.

Г е р м е с. Правильно сказано: я сам соображу, что делать, и отыщу подходящую вышку. Вот, например, не пригодится ли нам Кавказ? Или Парнас будет повыше? Или, может быть, еще выше обоих вот тот Олимп? А кстати, при взгляде на Олимп мне пришла в голову недурная мысль, — только придется и тебе потрудиться и помочь мне.

Х а р о н. Приказывай: я помогу по мере сил.

Г е р м е с. Гомер в своей поэме рассказывает про сыновей Алооя, которые, еще детьми, вдвоем, как мы с тобой, захотели однажды поднять с

основания Оссу и водрузить ее на Олимп, а на нее еще Пелион, надеясь, что по этакой лестнице они смогут взобраться на небо. Конечно, эти двое мальчишек были просто до безумия заносчивы и понесли наказание; но нам, — мы ведь не во зло богам замышляем это, — почему бы нам не прибегнуть к подобному же построению и не взгромоздить горы одна на другую: чем выше будет вершина, тем будет с нее виднее?

4. Х а р о н. А сможем мы, Гермес, вдвоем-то поднять и взгромоздить Пелион или Оссу?

Г е р м е с. Почему же нет, Харон? Или, по-твоему, мы хуже тех двух младенцев, — а мы ведь боги.

Х а р о н. Нет... но, мне кажется, есть что-то невероятное в самом великолепии этого предприятия.

Г е р м е с. И естественно, что кажется: потому что ты ограниченный человек, Харон, и менее всего поэт. А вот благородный Гомер двумя стихами сразу доставил нам доступ на небо, с такою легкостью сложил он эти горы. Но меня удивляет, что это может казаться чем-то чудовищным тебе, знакомому, разумеется, с Атлантом, который один несет на себе весь небосвод и держит нас всех. Точно так же ты знаешь, хотя бы понаслышке, о брате моем, о Геракле, как он однажды сменил этого самого Атланта и дал ему немного отдохнуть от тяжкого бремени, подставив собственные плечи под его ношу.

Х а р о н. Слышал и про это... А правда ли оно — о том лучше знать тебе, Гермес, да поэтам.

Г е р м е с. Чистейшая правда, Харон! Подумай сам, чего же ради мудрые люди стали бы говорить неправду?.. Ну, давай-ка прежде всего вывернем Оссу, как учат нас строки поэмы и сам архитектор:

...после на Оссу

Взбросим шумящий листвою Пелион...

Ну что? Видишь? Справились легко и, вместе, поэтично... Дай-ка теперь я подымусь и посмотрю: может быть, этого будет мало, придется еще надстраивать...

5. Тю-ю-ю... Как мы еще низко — мы стоим только у подошвы неба: на восток едва видно Ионию и Лидию, на запад — не дальше Италии и Сицилии, на север — лишь то, что находится по сю сторону Истра, а с этой стороны виден Крит, да и то не очень ясно. Придется нам, по-видимому, перевозчик, передвинуть Эту, а потом, поверх всего, сдвинуть еще Парнас.

Х а р о н. Сделаем так... только смотри: не вышло бы чересчур уж тонким наше построение, если мы вытянем его ввысь за границы правдоподобного. А потом, обрушившись вместе с постройкой, испробуем на себе горечь гомеровского зодчества, раскроив себе череп.

Г е р м е с. Дерзай! Все будет прочно. Передвигай-ка Эту... И пусть будет наворочен сверху Парнас!

Х а р о н. Готово!

Гермес. Взберусь опять... Хорошо, все видно. Подымайся теперь и ты.

Харон. Протяни мне руку, Гермес. Не на малое сооружение ты меня сейчас заставляешь подняться.

Гермес. Но как же иначе, Харон, если ты хочешь все видеть? Нельзя одновременно и в безопасности быть, и любознательность удовлетворять. Держись же за мою правую руку и остерегайся ступить где скользко... Прекрасно!.. И ты наверху. А поскольку у Парнаса две вершины, займем каждый одну из них и сядем. Вот так. Теперь гляди себе по сторонам и наблюдай все происходящее.

6. Харон. Вижу я обширную землю и вокруг нее какое-то огромное озеро. Горы и реки больше Кокита и Пирифлегетона, а люди совсем крошечные, и что-то вроде их нор.

Гермес. Города это, а вовсе не норы, как ты думаешь.

Харон. А ты знаешь, Гермес, что мы ничего не добились и только зря сдвинули с места Парнас с самим Кастальским источником, Эту и прочие горы?

Гермес. Это почему же?

Харон. Что касается меня, я ничего с такой высоты не могу разглядеть как следует. А мне хотелось увидеть не только города и горы, как на рисунке, но рассмотреть самих людей, поглядеть на их дела, услышать разговоры. Да вот, хотя бы перед самой нашей встречей, когда ты увидел, что я смеюсь, ты спросил о причине смеха. А дело было в том, что я услышал одну вещь, которая развеселила меня чрезвычайно.

Гермес. Что же это такое было?

Харон. Речь шла, если не ошибаюсь, об обеде. Один человек, приглашенный кем-то из друзей на завтра, ответил: «Буду непременно». Не успел сказать, как с крыши слетела черепица, неведомо по какой причине, и убила его. Так вот я рассмеялся над тем, как он не исполнил своего обещания. Думаю, что и сейчас надо нам спуститься пониже, чтобы лучше видеть и слышать.

7. Гермес. Сиди спокойно: и это я тебе устрою. Не пройдет мгновения, как ты окажешься самым зорким человеком. Заклинание и на этот случай возьмем у Гомера. Когда я произнесу эти стихи, помни, что ты уже больше не близорук и все видишь отлично.

Харон. Знай говори только.

Гермес.

*Се отвожу от очей твоих мрак, покрывавший их ране,
Да различишь безошибочно бога от смертного мужа.*

Ну как? Уже видишь?

Харон. И даже сверх возможного! Сам Линкей слеп по сравнению со мной. Так что тебе остается добавить к сделанному свои пояснения и отвечать на мои вопросы. Да кстати, не хочешь ли, я стану спрашивать тебя тоже по-гомеровски? Тогда ты увидишь, что и я в нем несколько сведущ.

Г е р м е с. Но как ты мог познакомиться с его произведениями, когда ты, будучи всегда перевозчиком, сидел на веслах?

Х а р о н. Ишь ты, вздумал поносить мое ремесло! А я, когда перевозил Гомера после кончины, много слышал, пока он произносил свои стихи, и кое-что еще и сейчас помню, несмотря на то, что тогда нас захватила немалая буря. Дело в том, что Гомер затянул одну песню, сулящую немного удачи плывущим, — о том, как Посейдон собрал тучи и, ударив трезубцем, словно мутовкой, взбудоражил им море и поднял все ветры, и о многом еще в том же роде. Слова песни взбаламутили море, внезапно наступил мрак, и налетевший вихрь едва не опрокинул наше судно. Вот тут-то, в приступе морской болезни, он и изверг из себя большую часть своих рапсодий вместе с самой Скиллой и Харибдой и Киклопом. Конечно, не трудно было мне из столь великого извержения сохранить в памяти хотя бы немногое.

8. Так вот, скажи мне:

*Кто же такой сей претолстый мужчина, могучий и доблйй,
Выше других людей головою и шире плечами?*

Г е р м е с. Милон это, атлет из Кротона. А рукоплескания эллинов вызваны тем, что он поднял быка и несет его на руках через весь стадион.

Х а р о н. А куда справедливее было бы с их стороны, Гермес, чествовать меня за то, что, спустя немного, я заберу этого самого Милона и унесу в мое суденышко, когда он явится к нам, побежденный неодолимым из противников — Смертью, сам не зная как получил от него подножку. То-то будет он потом у нас сетовать, вспоминая о венках и рукоплесканиях! А сейчас он мнит о себе так много потому, что люди дивятся, как это он несет быка. Но как по-твоему: думает ли он, что когда-нибудь умрет?

Г е р м е с. А с какой стати вспоминать ему о смерти сейчас, в полном расцвете сил?

Х а р о н. Ну, оставим пока Милона. Скоро он насмешит нас, когда поплывет в моем челне, не имея силы даже, чтобы поднять комара, не то что быка.

9. А сейчас скажи мне вот про того, другого:

Кто этот муж величавый?

Не эллин, судя, по крайней мере, по одежде.

Г е р м е с. Это, Харон, Кир, сын Камбиза. Он устроил так, что власть и земли, принадлежавшие издревле мидянам, ныне находятся в руках персов. И Ассирией Кир недавно завладел, и Вавилон подчинил, и сейчас, кажется, собирается идти на Лидию, чтобы низложить Креза и соединить в своих руках всю власть.

Х а р о н. А Крез где? Покажи мне и его.

Г е р м е с. Взгляни туда, вон на ту твердыню, что обнесена тройной стеной. Это — Сарды, а вон, видишь, и сам Крез возлежит на золотом

ложе, ведя беседу с Солоном-афинянином. Хочешь послушаем, о чем они говорят?

Х а р о н. Очень даже хочу.

10. К р е з. Афинский гость! Итак, ты видишь мое богатство: собранные сокровища и золото в слитках, сколько его лежит у меня, и всю эту роскошь. Так скажи мне, кого ты считаешь из всех людей самым счастливым?

Х а р о н. Что-то скажет на это Солон?

Г е р м е с. Не беспокойся! Ответ будет достоин его.

С о л о н. О Крез! Мало на свете счастливых. Но из тех, кого знаю, я лично считаю счастливейшими Клеобия и Битона, сыновей аргосской жрицы.

Х а р о н. Это он про тех, что недавно умерли оба вместе, после того как впряглись в колесницу своей матери и доставили ее к храму.

К р е з. Пусть так. Да будет им первенство в счастье. Ну, а кто бы мог оказаться вторым?

С о л о н. Афинянин Телл, который жил прекрасно и умер за родину.

К р е з. А я, нечисть ты этакая, счастливым тебе не кажусь?

С о л о н. Еще не знаю, Крез, пока ты не дойдешь до конца своей жизни: ибо смерть и до предела проведенная в счастье жизнь — вот неложные свидетельства в этом вопросе.

Х а р о н. Молодец Солон: ты не забыл про нас и без напоминания знаешь, что решать эти вопросы нужно только у перевоза...

11. Но что это за люди, которых отправляет Крез, и что они несут на плечах?

Г е р м е с. Золотые кирпичи, которые он посвящает пифийцу, желая отплатить за его прорицания — за те самые, от которых он в недалеком будущем погибнет. Этот человек — необыкновенный любитель гадать.

Х а р о н. Так вот оно, золото: светлое и блестящее, желтоватое с красноватым отливом! Я сейчас впервые его увидал, хотя слышу о нем постоянно.

Г е р м е с. Оно самое, Харон, прославленное в песнях и желанное.

Х а р о н. А, право, я не вижу, что в нем хорошего, — разве только то, что несущие его страдают от тяжести.

Г е р м е с. О, ты не знаешь, сколько из-за золота происходит войн, сколько обманов, грабежей, ложных клятв, убийств, тюрем, заморской торговли и рабства!

Х а р о н. Из-за него, Гермес, хотя его почти и не отличишь от меди? Медь-то я хорошо знаю, взимая, как тебе известно, обол с каждого пере-ежающего на ту сторону.

Г е р м е с. Вот именно; только меди много, и поэтому к ней люди не очень стремятся, а золота добывается рудопромыслами с больших глубин немного. Впрочем, и золото происходит из земли, как свинец и другие металлы.

Х а р о н. Ты говоришь о какой-то неслыханной глупости людей, если они такой любовью любят это бледное и тяжелое сокровище.

Гермес. Что касается Солона, то он, кажется, не принадлежит к таким влюбленным. Он, как видишь, смеется над Крезом и над его варварской хвастливостью и, как мне кажется, собирается о чем-то его спросить. Прислушаемся-ка.

12. Солон. Скажи мне, Крез: ты, значит, думаешь, что пифийский бог в какой-то мере нуждается в этих кирпичках?

Крез. Клянусь Зевсом, да: потому что у него в Дельфах нет ни одного такого посвящения.

Солон. Следовательно, ты думаешь сделать бога счастливым, если, сверх всего прочего, он приобретет еще золотые кирпичи?

Крез. А почему же нет?

Солон. Великая же бедность царит на небе, судя по твоим словам, Крез, если даже боги, когда им захочется золота, вынуждены посылать за ним в Лидию.

Крез. Так. Но где же в другом месте найдется столько золота, как у нас?

Солон. Скажи, пожалуйста: а железо водится в Лидии?

Крез. Не очень-то.

Солон. Значит, что получше, тем вы и бедны.

Крез. Каким же это образом железо оказывается лучше червонцев?

Солон. Если ты будешь отвечать мне совершенно спокойно — узнаешь это.

Крез. Спрашивай, Солон.

Солон. Кто лучше: те, кто спасает других, или те, кого они спасают?

Крез. Конечно, те, которые спасают.

Солон. Так вот, если Кир, как поговаривают, нападет на лидийцев, сделаешь ли ты мечи для войска из золота или тебе понадобится железо?

Крез. Ясно, что железо.

Солон. Но раз ты его не заготовишь, твое золото будет взято на копье и уйдет к персам.

Крез. Говори благоприятное, мой милый!

Солон. Пусть не сбудутся мои слова; но в итоге ты, как кажется, уже согласен, что железо выше золота.

Крез. Значит, ты хочешь, чтобы я богу посвятил железные кирпичи, а золото приказал сейчас же отправить обратно?

Солон. И железо самому богу не потребуется. Посвятишь ли ты медь или золото, все равно дар, посланный тобой богу, явится лишь приятной неожиданностью для других, которые рано или поздно им завладеют: для фокейцев или беотийцев, или для самих дельфийцев, для какого-нибудь тирана или разбойника. Бога мало касаются дела твоих золотых дел мастеров.

Крез. Постоянно ты нападаешь на мое богатство и завидуешь ему.

13. Гермес. Не выносит лидиец, Харон, речи свободной и правдивой. Крезу кажется неслыханным делом, что бедный человек не раболепствует, а свободно высказывает приходящие в голову мысли. Но пройдет немного времени, и Крез, конечно, вспомнит Солона, когда сам должен

будет, как пленник, взойти на костер по распоряжению Кира. Я на днях слышал, как пряжа Клото сматывала каждому надлежащее количество пряжи. Между прочим, там стояло написанным, чтобы Крезу быть пленным Киrom, Киру же самому найти смерть вон от той массагетки. Видишь эту скифскую женщину, вот ту, что несется на коне, на белом?

Х а р о н. Да, да!

Г е р м е с. Это — Томирида; она отрубит голову Киру и бросит ее в наполненный кровью мех. А вон, видишь, сын его, юноша? Это Камбис. Он будет царем после своего отца и, наделав тысячи ошибок в Ливии и Эфиопии, кончит тем, что умрет сумасшедшим, убив Аписа.

Х а р о н. Смех, смех, да и только! А сейчас-то: кто на них взглянет, так высокомерны они с окружающими! Не поверишь, что скоро один превратится в пленника, а голова другого очутится в кровавом мешке.

14. Ну, а кто такой, Гермес, вон тот, застегнувший пряжками свой пурпурный плащ, в диадеме, которому повар подносит перстень из только что разрезанной рыбы:

В море, на острове, кажется, царь он, по гордой осанке.

Г е р м е с. Ты уже хорошо подражаешь Гомеру, Харон. А тот, кого ты видишь, это Поликрат, тиран самосский, который считается наисчастливейшим человеком. Но даже и этот счастливец будет предан своим слугам Меандром, вон тем, что стоит рядом с ним, сатрапу Орэту; несчастный в несколько мгновений, упав с вершины счастья, будет распят на кресте. И об этом я слышал, как говорила Клото.

Х а р о н. Здорово, почтенная Клото! Жги их! Режь им головы, добрейшая, распинай их, чтобы не забывали, что они — люди. А покамест пусть их поднимаются выше: тем большее будет потом их падение. То-то посмеюсь я, когда в голом путнике на моем челноке узнаю того или другого из них, без порфиры, без венца, без золотого ложа.

15. Г е р м е с. С этими так оно и будет. Ну, а рядовую толпу, Харон, ты видишь? Всех этих плавающих, воющих, тяжущихся, возделывающих землю, наживающих проценты, просящих милостыню?

Х а р о н. Я вижу какую-то пеструю сутолоку и жизнь, исполненную суматохи, и города их, похожие на улы, в которых каждый обладает особым жалом и жалит соседа, а незначительное меньшинство, подобно шмелям, обижает и грабит слабейшего. Но это еще что за рой, незримо для них летающий вокруг?

Г е р м е с. Это Надежды, Харон, и Страхи, Неведение и Наслаждение. Жадность, Гнев, Ненависть и тому подобное. Что касается Неведения, то оно живет на земле, замешавшись в среду людей, и поистине является полноправным членом их общежития. Также и Ненависть, Гнев, Зависть, Невежество, Нужда и Корыстолюбие. Страх же и Надежды носят в воздухе: Страх обрушивается на людей и поражает их, иногда заставляя прятаться от ужаса, а Надежды витают над головой людей, но лишь кто-нибудь собираются схватить их, они, взлетая вверх, устремляются прочь и

оставляют людей стоять с раскрытыми ртами — совсем как изнывающий по воде Тантал, которого ты видишь там, внизу...

16. Вглядишься теперь пристальнее: ты различишь вверху и Мойр, прядущих каждому его веретено, на котором каждой судьбе приходится быть подвешенной на тонкой нити. Видишь, на каждого человека спускается с этих веретен словно какая-то паутина?

Х а р о н. Я вижу над каждым чрезвычайно тонкую нить, но по большей части они переплетаются между собою: эта с той, та — с другой.

Г е р м е с. Совершенно верно, перевозчик: ибо Рок судил одному быть убитым этим, а этому — другим; или: этому — наследовать имущество того, чья нить покороче, а тому, в свою очередь, — имущество вот этого. Нечто подобное этому показывает сплетение нитей. Итак, все висят, как видишь, на волоске. И вот этот, высоко подтянутый кверху, парит между небом и землей, но в скором времени пряжа, не выдержав долее тяжести, порвется, и он в своем падении наделает много шума, а другой, покачивающийся над самой землею, если и упадет, то растянется без шума, так что даже соседи еле расслышат его падение.

Х а р о н. Как это все смехотворно, Гермес!

17. Г е р м е с. До такой степени смешно, Харон, что сказать нельзя, слов не подобрать, в особенности когда видишь, как люди хлопочут сверх меры и среди своих ожиданий вдруг уходят прочь, похищенные добрейшей Смертью. Вестники и слуги Смерти весьма многочисленны, как ты сам видишь: лихорадки, горячки, чахотка, воспаления легких, кинжалы разбойников, чаши с ядом, судьи, тираны. Однако об этом совсем ни одной мысли не приходит на ум человеку, пока дела обстоят хорошо; но стоит человеку поскользнуться, и начинаются охи, ахи и вздохи. А если бы люди с самого начала поняли, что они смертны и что, проведя в жизни свой недолгий срок, они уйдут, ничего земного не захватив с собой, как будто пробудившись от сна, — люди и жили бы скромнее, и меньше печалились, умирая. Ныне же они возымели надежду вечно пользоваться настоящим, и, когда слуга Смерти, представ, позовет их и уведет, окованных горячкой или чахоткой, люди негодуют на увод, потому что вообразили заранее, будто их никогда не оторвут от этого настоящего. Иначе в какое смятение пришел бы вон тот человек, хлопотливо отстраивающий свой дом и попускающий рабочих, если бы узнал, что постройку-то он доведет до конца, но, настав крышу, уйдет прочь и оставит наследника наслаждаться домом, не успев, бедняжка, пообедать в нем? А вот другой, который радуется, что жена родила ему сына, угощает по этому случаю друзей и дает сыну имя своего отца, — как ты думаешь: если бы он знал, что мальчик, достигнув семи лет, умрет, стал бы он радоваться его рождению? А причина в том, что он видит вон этого отца, счастливого своим сыном-атлетом, победителем на олимпийских играх, соседа же его, который хоронит своего ребенка, не видит и не знает, на какой ниточке висит его собственный сын! А те, что спорят о межевых камнях, — сколько их, погляди-ка! И сколько таких, что собирают сокровища и, еще не восполь-

зовавшись ими, уже услышат призыв одного из тех вестников и слуг, о которых я говорил!

18. *Х а р о н*. Смотрю я на все это и спрашиваю себя: что же за слабость людям в жизни и что именно они в ней теряют с таким неудовольствием? Ведь вот поглядеть на царей, которые кажутся еще наиболее счастливыми, и что же? Помимо непрочности и, можно сказать, двусмысленности их судьбы, найдешь, что неприятностей у них больше, чем радостей: все виды страха, волнений, ненависти, покушений, гнева и лести — вот среди чего живут они все. Я уж не говорю о печалях, болезнях, страданиях: они, конечно, властвуют над всеми людьми одинаково. А теперь посуди сам: какова должна быть жизнь простых смертных, если даже царям скверно живется?

19. Мне хочется, Гермес, тебе сказать, что напомнили мне люди и вся их жизнь.

Ты, наверно, не раз видел пузыри, вскакивающие на воде под падающим сверху источником. Я говорю про те пузыри, из которых образуется пена. Так вот, одни из них невелики и сразу же лопаются и исчезают, иные же держатся дольше и, поглощая другие, приближающиеся к ним, сами раздуваются чрезмерно и достигают больших размеров; однако, рано или поздно, и они обязательно лопаются, так как иначе и быть не может. Такова и жизнь человеческая. Все люди надуты воздухом, кто больше, кто меньше. Для одних краткосрочным и быстротечным является это дуновение, другие же исчезают вместе с возникновением. Ведь лопнуть неизбежно должны все.

Г е р м е с. У тебя, Харон сравнение получилось ничуть не хуже, чем у Гомера, который уподобляет род людской листьям.

20. *Х а р о н*. Так вот каковы они, эти люди, Гермес, и, тем не менее, ты видишь сам, что они делают и с каким честолюбием оспаривают друг у друга власть, почести и богатство, хотя им придется все это оставить и явиться к нам только с одним оболком. И, знаешь, раз уж мы забрались на такую высоту, я, пожалуй, крикну во все горло и посоветую людям не трудиться попустому, а жить, имея постоянно перед глазами Смерть. Я крикну им: «Пустые люди! Чего вы хлопочете? Не выбивайтесь из сил: ведь не всегда вы будете жить! И все, что кажется для вас важным здесь, не является постоянным, и, умирая, никто ничего не унесет с собой. Голым уйдет отсюда он сам, — так суждено роком, — а его дом, поле и золото всегда будут переходить из рук в руки, меняя хозяев». Как ты думаешь, если я крикну им во всеуслышанье что-нибудь в этом роде, разве не принесет это большой пользы им в жизни и не сделает людей более благоразумными?

21. Г е р м е с. О, мой дорогой! Ты не знаешь, что Неведение и Обман привели их в такое состояние, что им и буравом не просверлить ушей, так они забили уши воском, совсем как Одиссей своим товарищам из страха перед пением Сирен! Где же им услышать тебя, хотя бы ты лопнул от крика! Ибо то самое, в чем у вас проявляется сила Леты, здесь производится Неведением. А впрочем, есть среди людей небольшое число и таких, кото-

рые не наполнили уши воском, но, стремясь к истине, зорко вглядываются в происходящее и понимают, каково оно действительно.

Х а р о н. Так крикнем хоть им?

Х а р о н. И это лишнее — говорить им то, что они сами знают. Посмотри, как в стороне от толпы они насмеяются над происходящим. Нигде и никогда эти люди не находят в нем удовлетворения, но явно собираются уже бежать от жизни к вам: ибо остальные ненавидят их за то, что они обличают их невежество.

Х а р о н. Превосходно! Вот славные люди! Но только как их мало, Гермес!

Г е р м е с. Довольно и этих... Однако пора. Давай спускаться.

22. Х а р о н. Еще одну вещь, Гермес, хотелось мне видеть. Покажи, и задача проводника будет выполнена тобой в совершенстве: хотелось посмотреть склады тел, места, где люди их зарывают.

Г е р м е с. Могилами, Харон, курганами и кладбищами называются эти места. А впрочем, вон они, видишь перед стенами городов эти холмики, плиты и пирамиды? Это все и есть склады мертвых и телохранилища.

Х а р о н. Зачем же эти украшают камни венками и мажут их мирром? А те так даже сложили перед насыпью костер и, вырыв какое-то углубление, сжигают роскошные яства и льют в эту яму, по-видимому, вино и молоко с медом.

Г е р м е с. Не знаю, перевозчик, к чему это тем, кто в Аиде. Впрочем, люди верят, что выпущенные из-под земли души, летая кругом, вкушают, насколько возможно, запахи сжигаемого жира и пьют из ямы молоко и мед.

Х а р о н. Пьют и едят те, чьи черепа совершенно иссохли? Впрочем, смешно говорить об этом тебе, который ежедневно сводит умерших вниз! Ты, стало быть, знаешь, могут ли они снова подняться наверх, очутившись под землей. Забавно было бы твое положение, Гермес, если бы ты, и без того имея немало хлопот, должен был не только сводить умерших вниз, но и снова выводить наверх, чтобы они могли напиться. Ах, глупцы! О безумие! Не знаете вы, какими пограничными знаками разграничен мир мертвых и мир живых и что значит быть у нас! Не знаете вы, что

*Мертв одинаково легший без гроба и гроб получивший,
Та же здесь честь и Иру и сильному Агамемнону,
Равным стали Ферсит и сын лепокудрой Фетиды.
Все одинаково — только усопших бессильные тени,
Голые бродят и тощие по асфоделову лугу.*

23. Г е р м е с. Геракл! сколько же вычерпал Гомера! Но раз уже ты напомнил мне, я хочу еще показать тебе курган Ахилла. Видишь, вон тот, у моря? Это — Сигей троянский; а как раз напротив в Ретее похоронен Аякс.

Х а р о н. Невелики, Гермес, их курганы... А заодно уж покажи мне знаменитые города, о которых идет молва у нас внизу: Ниневию Сарданапала, Вавилон, Микены, Клеоны и самый Илион. Да, помню, много народу

я оттуда перевез! Столько, что целых десять лет не мог вытащить на берег и проветрить мое суденышко.

Г е р м е с. Ниневия, перевозчик, уже погибла, и следа от нее больше не осталось; не скажешь даже, где она и была. Вавилон же — вон тот город с прекрасными башнями и высокой стеной вокруг; в недалеком будущем и его придется разыскивать, как Ниневию. Ну, а Микены, Клеоны и в особенности Илион мне и показывать тебе стыдно. Я уверен: спустившись вниз, ты задаши Гомера за велеречивость его поэм. А между тем в старину города эти были богаты: нынче же умерли и они. Ибо умирают, перевозчик, и города, подобно людям и, что уж совсем невероятно, даже целые реки: от Инаха, например, в Арголиде не осталось и русла.

Х а р о н. Вот тебе и слава, Гомер, и громкие имена «Широкие стогна святого Илиона» и «крепкозданные Клеоны»!..

24. Но, между прочим, что это там за люди ведут войну? Из-за чего они убивают друг друга?

Г е р м е с. Перед тобой аргосцы и лакедемоняне, Харон. А это вот полумертвый стратег Офриад, который собственной кровью делает надпись на памятнике победы.

Х а р о н. Из-за чего ж у них война, Гермес?

Г е р м е с. Из-за этой самой равнины, на которой происходит битва.

Х а р о н. Что за глупость! Они не знают, что у Эака каждый получит едва лишь пядь земли, хотя бы он приобрел весь Пелопоннес; а равнину эту в другие времена другие люди не раз еще будут вспахивать и плугом до основания снесут победный трофей.

Г е р м е с. Да, так оно и будет... Ну, а нам с тобой пора спускаться. Поставим все горы снова на место и разойдемся. Я пойду, куда меня послали, а ты — к своему перевозу. Немного погодя я и сам явлюсь, тебе ведя покойников.

Х а р о н. Доброе дело ты сделал, Гермес! Навсегда запишу тебя в число моих благодетелей. Благодаря тебе я много приобрел, путешествуя на землю...

Так вот она, жизнь этих злосчастных людей — цари, золотые кирпичи, гекатомбы, сражения! А о Хароне никто ни слова не сказал!



РАЗГОВОРЫ В ЦАРСТВЕ МЕРТВЫХ

1

Диоген и Полидевк

1. *Диоген.* Полидевк, поручаю тебе, как только выйдешь на землю, — завтра, кажется, твоя очередь воскресать, — если увидишь где-нибудь Мениппа-собаку, — его ты можешь встретить в Коринфе в Крапейской роще или в Ликее, где он высмеивает спорящих друг с другом философов, — скажи ему, что тебе, Менипп, советует Диоген, если ты уже вдоволь посмеялся над тем, что творится на земле, отправляться к нам, где можно найти еще больше поводов для смеха. На земле тебе мешали смеяться кое-какие сомнения, вроде постоянного: «кто знает, что будет после жизни». Здесь же ты беспрестанно и без всякого колебания будешь смеяться, как я вот смеюсь, в особенности когда увидишь богачей, сатрапов и тиранов такими приниженными, такими невзрачными, узнаваемыми только по своим стонам, когда увидишь, как они бессильны и жалки в своей тоске по тому, что оставили наверху, на земле. Прибавь еще, чтобы он, уходя, наполнил свой мешок чечевицей, и, если найдет на перекрестке угощение Гекаты или яйцо от очистительной жертвы, и это захватил бы с собой.

2. *Полидевк.* Хорошо, я скажу ему это, Диоген. Но как мне его узнать? Каков он на вид?

Диоген. Старик лысый, плащ на нем весь в дырах, открытый для всех ветров, пестрый от разноцветных заплат; он постоянно смеется и в особенности вышучивает этих лгунов-философов.

Полидевк. По этим признакам его нетрудно будет найти.

Диоген. Хочешь, я тебе дам поручение и для этих самых философов?

Полидевк. Говори; небольшой труд и это исполнить.

Диоген. Скажи им вот что: перестаньте вообще болтать вздор, спорить об общих понятиях, наращивая друг другу «рога», выделявая «крокодилов» и изощряя свой ум тому подобными неразумными вопросами.

Полидевк. Но они меня назовут невеждой и неучем, если я буду бранить их мудрость.

Диоген. А ты пожелай им от моего имени всего скверного.

3. Полидевк. Хорошо, Диоген, я и это скажу.

Диоген. А богачам, милый мой Полидевк, передай от меня вот что: зачем вы, глупцы, стережете ваше золото? Зачем казните самих себя, высчитывая проценты, собирая талант за талантом, когда вам скоро придется отправиться к нам, взяв только один обол?

Полидевк. И это будет сказано.

Диоген. Да еще скажи красавцам и силачам, коринфянину Мегиллу и борцу Дамоксену, что у нас ничего не остается от светлых волос, от сверкающих их черных глаз, от румяных щек, сильных мышц и плеч могучих, — все это для нас один прах; голый череп — вот вся наша красота.

Полидевк. Нетрудно будет и это сказать красавцам и силачам.

4. Диоген. А беднякам, спартанец, — их ведь много, и все они ропщут на свою судьбу и жалуются на нужду, — скажи, дорогой лаконец, что им нечего плакать и стонать; объясни им, что здесь все равны, и они увидят, что земные богачи несколько не лучше их. А своих лакедемонян выбрани, если хочешь, от моего имени: скажи им, что они совсем распустились.

Полидевк. Диоген, не говори ничего против лакедемонян: этого я слушать не могу. А все остальное, что ты мне сказал, я передам кому следует.

Диоген. Ну, если хочешь, можем их оставить в покое; отнеси же мои слова всем тем, которых я называл раньше.

2

Плутон, или Против Мениппа

1. Крез. Плутон, мы не можем терпеть эту собаку Мениппа своим соседом. Отправь его куда-нибудь или нам позволь переселиться в другое место.

Плутон. Чем же вас обидел ваш сомертвец?

Крез. Мы все плачем и стонем, вспоминая свою земную судьбу: вот этот, Мидас, — золото, Сарданапал — великую роскошь, я, Крез — свои сокровища, а он смеется над нами и ругается, называя нас рабами и негодяями, а то вдруг начнет петь, нарочно мешая нам плакать; одним словом, он надоедлив.

П л у т о н. Что это такое они говорят, Менипп?

М е н и п п. Сушую правду, Плутон: я ненавижу их за то, что неблагородны и жалки! Мало того что они прожили свою жизнь гадко, они еще после смерти помнят о том, что было на земле, и крепко за это держатся. Оттого-то мне и доставляет удовольствие не давать им покоя.

П л у т о н. Так не следует делать: они горюют, ибо лишились немалых благ.

М е н и п п. И ты, Плутон, говоришь такие глупости? Сочувствуешь их стонам?

П л у т о н. Я не сочувствую, но не хочу, чтоб вы между собой враждовали.

2. М е н и п п. Так знайте же вы, презреннейшие из всех лидийцев, фригийцев и ассирийцев, что я никогда не перестану; куда вы ни пойдете, пойду за вами и буду вам надоедать, мешать пением и смеяться над вами.

К р е з. Какая дерзость!

М е н и п п. Нет, то, что вы делали, это была дерзость: вы заставляли падать пред собой ниц, обижали свободных людей, а о смерти совсем не помнили; так вот же вам: ревите, лишившись всего.

К р е з. О, боги! Многих великих благ!

М и д а с. О, мое золото!

С а р д а н а п а л. О, моя роскошь!

М е н и п п. Прекрасно, так и надо. Плачьте, а я буду вам подпевать, повторяя: «познай самого себя»; это очень хороший припев к вашим стонам.

3

Менипп, Амфилох и Трофоний

1. М е н и п п. Как же это вышло, Трофоний и Амфилох, что вы, обыкновенные мертвецы, каким-то образом удостоились храмов и считается пророками, а легковверные люди полагают, что вы боги?

А м ф и л о х. Мы разве виноваты, что они по своей глупости так думают о мертвых?

М е н и п п. Они бы так не думали, если бы вы при жизни не морочили их, прикидываясь знающими будущее и способными его предсказать.

Т р о ф о н и й. Менипп, Амфилох знает, что тебе следует ответить в свою защиту; что же касается меня, то я герой и предсказываю будущее тому, кто спустился ко мне в пещеру. Ты, кажется, никогда не был в Лебаде, а то бы не относился к этому с таким презрением.

2. М е н и п п. Что ж по-твоему? Мне нужно отправиться в Лебадею, надеть какую-то шутовскую полотняную одежду, взять в обе руки по лепешке и пролезть через узкое отверстие в пещеру, иначе я не буду знать, что ты такой же мертвец, как мы все, отличаясь только шарлатанством?

Но, ради твоего прорицательского искусства, скажи мне, что такое герой? Я не знаю.

Т р о ф о н и й. Это существо, составленное из бога и человека.

М е н и п п. Значит, ни бог, ни человек, а вместе с тем и то, и другое? Куда же сейчас девалась твоя божественная половина?

Т р о ф о н и й. Пророчествует в Беотии.

М е н и п п. Не мне понять, Трофоний, что такое ты говоришь; одно я вижу ясно: что ты мертвец и больше ничего.

4

Гермес и Харон

1. Г е р м е с. Не сосчитать ли нам, перевозчик, сколько ты мне должен? А то у нас опять из-за этого выйдет ссора.

Х а р о н. Сосчитаем, Гермес. Лучше это наконец установить, — тогда и забота с плеч долой.

Г е р м е с. По твоему поручению я принес тебе якорь за пять драхм.

Х а р о н. Много запрашиваешь!

Г е р м е с. Клянусь Андоноем, я купил его за пять, да еще за два обола ремень, что придерживает весло.

Х а р о н. Клади пять драхм и оба обولا.

Г е р м е с. Игла для нашивания заплат на парус; я за нее дал пять оболов.

Х а р о н. Прибавляй их.

Г е р м е с. Воск для замазывания дыр в лодке, гвозди и канат, которым ты рею прикрепил к мачте; все вместе за две драхмы.

Х а р о н. Это недорого.

Г е р м е с. Вот и все, если мы ничего не забыли при счете. Когда же ты мне это отдашь?

Х а р о н. Сейчас я никак не могу, Гермес, а вот если чума какая-нибудь или война придет к нам много народу, тогда можно будет кое-что заработать, неверно сосчитав плату за перевоз.

2. Г е р м е с. Что же мне, сидеть, значит, и ждать, призывая на землю всякие бедствия, чтобы таким образом получить свой долг?

Х а р о н. Нет другого способа, Гермес. Ты сам видишь, как мало народу к нам теперь приходит: на земле мир.

Г е р м е с. Нет, уж лучше пусть так остается, хоть и затянется отдача долга. Но не правда ли, Харон, прежде к нам приходили не такие, как теперь: существенные все, покрытые кровью и большей частью умершие от ран. А теперь? Одного сын отравил, другого — жена, у третьего от излишней роскоши распухли живот и ноги, — бледные все, жалкие, совсем на тех не похожие. А большинство их, кажется, к нам отправляют денежные козни.

Х а р о н. Да, деньги — вещь желанная...

Г е р м е с. Так, значит, ты считал бы меня правым, если б я настойчиво потребовал от тебя отдачи всего долга?

5

Плутон и Гермес

1. П л у т о н. Ты знаешь того старика, совсем дряхлого, богача Евкрата, у которого детей нет, зато пятьдесят тысяч охотников до наследства?

Г е р м е с. Да, знаю, Евкрат из Сикиона. В чем же дело?

П л у т о н. Оставь его в живых, Гермес, и к тем девяноста годам, которые он прожил, прибавь еще девяносто, а если можно — и больше, а его льстецов, молодого Харина, Дамона и других, притащи к нам всех по очереди.

Г е р м е с. Это вышло бы не совсем разумно.

П л у т о н. Напротив, очень справедливо. Как они смеют желать его смерти и рассчитывать на его наследство, хотя они ему совсем не родственники? А что всего отвратительнее: они при таких скрытых желаниях все-таки для виду ухаживают за ним; когда он хворает, то для всякого ясно, что у них на уме. А они, между тем, обещают богам жертвоприношения, если он поправится. Всех уловок этих льстецов и не перечесать! Вот из-за этого пусть он не умирает, а они все пусть отправятся раньше него, напрасно позарившись на наследство.

2. Г е р м е с. Вот так штуку выкинем негодяям! Впрочем, Евкрат недурно пасет свое стадо и питает их надеждами: сам постоянно похож на мертвеца, а между тем здоровее молодых. А они-то уже разделили между собой наследство и, думая, что держат его в руках, пасутся на полях блаженной жизни!

П л у т о н. Так вот пусть он теперь, как Иолай, сбросит с себя старость и вновь делается молодым, а эти негодяи, в расцвете надежд, покинув воображаемое богатство, пусть умрут, как скверные люди, скверной смертью и пожалуют к нам.

Г е р м е с. Не беспокойся, Плутон: я их тебе приведу всех по очереди: их, кажется, семь.

П л у т о н. Тащи всех! А Евкрат будет каждого из них хоронить, из старика сделавшись вновь юношей.

6

Терпсион и Плутон

1. Т е р п с и о н. Разве это справедливо, Плутон? Я умер на тридцатом году жизни, а старик Фукрит, которому уже больше девяноста лет, все еще продолжает жить!

П л у т о н. Вполне справедливо, Терпсион. Он жив, так как никому из своих друзей не желал смерти, а ты все время имел против него дурные мысли, дожидаясь наследства.

Т е р п с и о н. Разве не так должно быть, чтобы человек старый, не способный больше пользоваться своим богатством, ушел из жизни, уступая место молодым?

П л у т о н. Ты, Терпсион, вводишь какие-то новые законы: по-твоему, значит, кто не может больше употреблять богатства в свое удовольствие, тот должен умереть? Однако Судьба и Природа установили другой порядок.

2. Т е р п с и о н. Вот этот-то порядок я и осуждаю. Дело должно происходить по установленной очереди: сперва должен умирать самый старший, а после него — тот, кто следует за ним по возрасту, а не наоборот. Отчего же остается в живых дряхлый старик, с тремя сохранившимися зубами во рту, почти слепой, — четыре раба должны его поддерживать, — с насморком в носу, с глазами, полными гноя, ничего приятного не знающий, какой-то живой труп, посмешище для всех молодых, а прекраснейшие юноши в расцвете сил должны умирать? Ведь это выходит — заставлять реку течь вспять! Или, по крайней мере, следовало бы каждому знать, когда тот или другой старик умрет, чтобы напрасно не ухаживать за ним. А теперь все это устроено совсем как в пословице: не вол тащит повозку, а повозка — вола.

3. П л у т о н. Это гораздо разумнее, чем тебе кажется, Терпсион. Кто же вас заставляет разевать рот на чужое добро и браться ухаживать за бездетными стариками? Вот за это вы и делаетесь посмешищем, когда вас закапывают раньше них, и многие очень рады такому повороту дел: вы желали их смерти, — вот люди и радуются, что вы их опередили. Вы придумали нечто совсем новое — любовь к старухам и старикам, в особенности бездетным, а многодетные вам нелюбы. Но многие из этих ваших возлюбленных, поняв ваши замыслы, если даже у них дети, все-таки прикидываются, будто их ненавидят, чтобы таким образом снискать себе обожателей; а потом в завещаниях ухаживатели оказываются оставленными ни с чем, а дети, по естественному праву, как и должно быть, получают все; так и остаетесь вы в дураках, скрежеща зубами.

4. Т е р п с и о н. Да, это правда. Сколько мне стоил этот Фукрит! Всегда казалось, что он уже умирает; когда я к нему приходил, он вздыхал и стонал сдавленным голосом, совсем как еще не вылупившийся из яйца птенец; я думал, что вот-вот он уже ляжет в гроб, и посылал ему подарок за подарком, чтобы не дать перешеголять себя моим соперникам. Сколько ночей я не спал от забот, все размышляя и высчитывая! От этого я и умер, от бессоницы и забот. А Фукрит, проглотив мою приманку, стоял позавчера у моей могилы и смеялся.

5. П л у т о н. Прекрасно, Фукрит! Живи как можно дольше, наслаждаясь своим богатством, смейся над такими вот ухаживателями и умри не раньше, чем схоронишь всех своих льстецов.

Т е р п с и о н. Это и для меня очень приятно, если Хареад помрет раньше Фукрита.

П л у т о н. Не беспокойся, Терпсион: и Федон, и Меланф, и все остальные отправятся к нам раньше него от тех же самых забот.

Т е р п с и о н. Это правильно. Живи как можно дольше, Фукрит!

7

Зенофант и Каллидемид

1. З е н о ф а н т. Ты, Каллидемид, отчего умер? Я, ты ведь знаешь, был нахлебником Диния, и как-то раз, слишком наевшись, задохнулся; ты даже был при моей смерти.

К а л л и д е м и д. Был, Зенофант. А со мной случилось нечто совсем необыкновенное; ты, кажется, тоже знаешь старика Птеодора?

З е н о ф а н т. Бездетного и богатого? Помню, ты у него часто бывал.

К а л л и д е м и д. Вот именно. Я за ним всегда ухаживал, так как он обещал мне, что, умирая, сделает меня своим наследником. Но когда я увидел, что дело очень затягивается и мой старик собирается жить дольше Титона, я избрал себе более короткий, проселочный путь к богатству: купил яду и подговорил виночерпия, чтобы он, как только Птеодор потребует пить, — старик, как полагается, пьет чистое вино, — всыпал в кружку яду, держал его наготове и подал ему; за это я поклялся отпустить его на волю.

З е н о ф а н т. Что ж из этого вышло? Что-то, кажется, очень необыкновенное.

2. К а л л и д е м и д. Вернулись мы домой после бани; у молодца были уже приготовлены два кубка: один с ядом для Птеодора, другой — для меня; и вот, каким-то образом он ошибся и мне подал яд, а Птеодору — неотравленный кубок; старик выпил, а я так сейчас и растянулся — вместо него я был мертв. Что же ты смеешься, Зенофант? Нехорошо смеяться над несчастьем друга.

З е н о ф а н т. Остроумно это с тобой вышло, Каллидемид. Ну, а старик что?

К а л л и д е м и д. Сначала было испугался, так это неожиданно случилось; но потом, поняв, я думаю, в чем дело, расхохотался над ошибкой виночерпия.

З е н о ф а н т. А тебе не следовало ходить по проселочной дороге: ты бы дошел и по большой, — хоть и немного медленнее, зато безопаснее.

8

Кнемон и Дамнипп

К н е м о н. Вот это уж действительно как в пословице: олень поборол льва!

Д а м н и п п. Отчего ты так сердит, Кнемон?

К н е м о н. Ты еще спрашиваешь? У меня наследник против моей воли! Я, несчастный, одурочен, а те, которым я охотнее всего передал бы мое добро, остались ни с чем.

Д а м н и п п. Как же это вышло?

К н е м о н. Я ухаживал за бездетным богачом Гермолаем, и он принимал мое ухаживание очень благосклонно. И вот показалось мне, что сделаю умно, если оглашу свое завещание, назначив Гермолая наследником всего моего имущества, чтобы он из благодарного соревнования сделал то же самое.

Д а м н и п п. Что же он сделал?

К н е м о н. Что он написал в своем заещании — я не знаю. Но на меня вдруг обрушился потолок, и я умер, а Гермолай получил все мое имущество, проглотив крючок вместе с приманкой, как прожорливый окунь.

Д а м н и п п. Не только крючок — он и рыбака самого проглотил. Ты сам попался в свою собственную ловушку.

К н е м о н. Вот именно! Оттого я и горюю.

9

Симил и Полистрат

1. С и м и л. И ты, наконец, пришел к нам, Полистрат? Ты, кажется, чуть ли не сто лет прожил на свете?

П о л и с т р а т. Девяносто да еще восемь, Симил.

С и м и л. Как же тебе жилось эти тридцать лет после моей смерти? Когда я умирал, тебе было около семидесяти.

П о л и с т р а т. Великолепно, хоть и покажется это тебе невероятным.

С и м и л. Конечно, невероятно: как же ты мог наслаждаться жизнью, будучи стариком, расслабленным и к тому же еще бездетным?

2. П о л и с т р а т. Во-первых, я прекрасно мог всем наслаждаться: у меня были немало красивых мальчиков, и нежные женщины, и благовоения, и душистое вино, и стол такой, какого нет и в Сицилии.

С и м и л. Это для меня новости: в мое время ты на все скупился.

П о л и с т р а т. Меня, милейший, другие осыпали всякими благами. С самого утра уже стояли у моих дверей целые толпы народу, а потом приносили мне всевозможные дары, все что ни есть лучшего на земле.

С и м и л. Что же ты, тираном сделался после моей смерти?

П о л и с т р а т. Нет, но у меня было бесчисленное множество обожателей.

С и м и л. Я не могу не смеяться: у тебя были обожатели, в твои годы, с твоими четырьмя зубами во рту?

П о л и с т р а т. Да, и притом лучшие люди в городе. Они с чрезвычайным удовольствием ухаживали за мной, хоть я и старик, и плешив, и глаза

у меня гноятся, и вечный у меня насморк; каждый из них считал себя счастливым, если я ему дарил хоть один ласковый взгляд.

С и м и л. Разве и ты перевез кого-нибудь, как некогда Фаон Афродиту с Хиоса, и за это получил вторично молодость, красоту и способность внушать любовь?

П о л и с т р а т. Нет, я нашел себе обожателей, будучи таким, как всегда.

С и м и л. Ты говоришь загадками.

3. П о л и с т р а т. Да разве ты не знаешь, что такая любовь к богатым и бездетным старикам очень распространена?

С и м и л. Теперь я понимаю: твоя красота, милейший, — это был дар той... золотой Афродиты.

П о л и с т р а т. Как бы там ни было, Симил, а я немало удовольствия получил от моих обожателей: они почти на коленях передо мной стояли. Я с ними нередко и грубо обращался, и некоторым иногда дверь перед носом закрывал, а они наперерыв старались превзойти друг друга в желании снискать мое благоволение.

С и м и л. Как же ты, в конце концов, распорядился своим имуществом?

П о л и с т р а т. Для виду я говорил каждому из них в отдельности, что именно его сделал своим наследником; они верили и еще больше старались мне угодить. Но у меня было и другое, настоящее завещание, а всех моих обожателей я оставил ни с чем.

4. С и м и л. Кого же ты назначил наследником в окончательном завещании? Кого-нибудь из твоих родственников?

П о л и с т р а т. Нет, сохрани меня Зевс! Одного из мальчиков-красавцев, купленного недавно фригийца.

С и м и л. Сколько ему лет, Полистрат?

П о л и с т р а т. Около двадцати.

С и м и л. Теперь я понимаю, чем он снискивал твоё расположение.

П о л и с т р а т. Во всяком случае, он более достоин быть моим наследником, чем те, хоть он и варвар, и негодяй; теперь его милости добиваются самые знатные люди. Так вот, он получил мое имущество и теперь числится среди евпатридов; бреет бороду и слова произносит на варварский лад, но, несмотря на это, он, по мнению всех, знатней Кодра, прекраснее Нирея и умнее Одиссея.

С и м и л. Мне все равно; пусть он даже делается главным вождем всей Эллады, лишь бы только те не получили наследства.

10

Харон, Гермес и разные мертвые

1. Х а р о н. Послушайте, в каком мы положении. У нас, видите сами, суденышко маленькое, прогнившее, во многих местах пропускает воду, и

стоит ему лишь наклониться набок, чтоб опрокинуться и пойти ко дну; а вас здесь так много, да еще каждый столько несет. Я боюсь вас пустить в лодку вместе со всей поклажей: не пришлось бы вам потом раскаяться, в особенности тем из вас, которые не умеют плавать.

Гермес. Как же нам поступить, чтобы сделать плавание безопасным?

Харон. Послушайте меня: садитесь в лодку совсем голые, а все, что у вас есть, оставьте на берегу; вас такая толпа, что даже так еле-еле поместитесь. Ты, Гермес, смотри, чтобы с этого мгновения пускать в лодку только тех, кто снял с себя все и бросил, как я уже сказал, всю свою поклажу. Становись поближе у сходней и осматривай их и заставляй голыми садиться в лодку.

2. Гермес. Ты прав: сделаем так. Ты, первый, кто такой?

Менипп. Вот мой мешок, Гермес, и палка; их я бросаю в воду. Моего рубища я даже не взял с собой — и хорошо сделал.

Гермес. Садись в лодку, Менипп, прекрасный человек, и займи первое место возле рулевого, на возвышении: оттуда ты можешь следить за всеми.

3. А этот красивый юноша кто такой?

Харон. Хармолей, мегарский красавец, за один поцелуй которого платили по два таланта.

Гермес. Скорей снимай с себя красоту, губы вместе с поцелуями, длинные волосы, сними румянец со щек и вообще всю кожу. Хорошо, ты готов к отъезду; садись.

4. А ты кто, такой строгий, в пурпурном плаще и в диадеме?

Лампих. Лампих, тиран Гелы.

Гермес. Что же ты, Лампих, являешься сюда с такой поклажей?

Лампих. Как же? Разве тиран может явиться без всего?

Гермес. Тиран не может, но мертвец должен. Снимай все это.

Лампих. Ну вот тебе, богатство я выбросил.

Гермес. Выброси, Лампих, и спесь и надменность; все это слишком отягчит лодку, если ввалится в нее вместе с тобой.

Лампих. Позволь мне сохранить диадему и плащ.

Гермес. Нельзя; бросай и это.

Лампих. Пусть будет по-твоему. Что же еще? Ты видишь: я все скинул.

Гермес. Нет, сбрось с себя еще жестокость и безрассудность, и гордость, и гнев.

Лампих. Ну вот уже я совсем наг.

5. Гермес. Можешь войти. А ты, толстый, мускулистый, кто такой?

Дамасий. Дамасий, атлет.

Гермес. Да, я тебя узнаю: видел тебя часто в палестрах.

Дамасий. Да, Гермес;пусти же меня: я ведь совсем гол.

Гермес. Нет, ты не гол, милейший, раз на тебе столько тела. Сбрасывай все, а то лодка потонет, лишь только ты одной ногой ступишь в нее. Брось также свои победные венки и похвалы.

Д а м а с и й. Смотри, вот я уже действительно гол и весом не превышаю других мертвецов.

6. Г е р м е с. Так тебе лучше будет, без твоего веса. Садись в лодку. А ты, Кратон, брось свое богатство, да еще свою изнеженность и роскошь; не бери с собой погребальных одежд и деяний предков, оставь и происхождение свое и славу, и если город провозгласил тебя когда-нибудь благодетелем, брось и это; брось также надписи на твоих изображениях и не рассказывай, какой высокий курган тебе соорудили: одно упоминание об этом может отягчить лодку.

К р а т о н. Что ж поделать! Придется все бросить, как это ни грустно.

7. Г е р м е с. Это что такое? А ты зачем пришел в полном вооружении? Что означает этот трофей, который ты несешь?

П о л к о в о д е ц. Это значит, что я одержал победу, отличился в бою, и за это город меня почтил.

Г е р м е с. Оставь свой трофей на земле; в преисподней царит мир, и твое оружие там тоже ни к чему не пригодится.

8. А кто же этот, с таким важным видом, такой гордый, вот этот, с поднятыми бровями, погруженный в раздумие? Какая длинная борода!

М е н и п п. Это философ, Гермес, а вернее — шут и лгун. Вели ему снять с себя все, и ты увидишь, сколько пресмешных вещей спрятано у него под плащом.

Г е р м е с. Снимай сначала свою осанку, а потом и все остальное. О Зевс! Сколько он принес с собой хвастовства, сколько невежества, охоты до споров, пустого стремления к известности! Сколько коварных вопросов, хитрых рассуждений, запутанных исследований! Да у него и пустого баловства множество, и болтовни немало, и пустомельства, и мелочности... Клянусь Зевсом, и золото есть, и любовь к наслаждениям, и бесстыдство, и гневливость, и роскошь, и изнеженность. Я все это вижу, хотя ты и тщательно скрываешь. Бросай все, и ложь тоже, и самомнение, и уверенность в том, что ты лучше всех остальных. Если бы ты вошел со всей своей поклажей, — даже пятидесятивесельный корабль не выдержал бы такой тяжести!

Ф и л о с о ф. Раз ты приказываешь, я брошу все это.

9. М е н и п п. Гермес, ему не мешало бы снять также свою бороду: она, ты сам видишь, тяжела и лохмата, в ней волос весом по меньшей мере на пять мин.

Г е р м е с. Ты прав. Снимай бороду.

Ф и л о с о ф. Кто же мне ее обрежет?

Г е р м е с. Положи ее на сходи, а Менипп отрубит ее топором.

М е н и п п. Гермес, дай мне лучше пилу: так будет забавнее.

Г е р м е с. Хватит и топора. Прекрасно! Теперь у тебя вид более человеческого без этого козлиного украшения.

М е н и п п. Не обрубить ли мне немножко и его брови?

Г е р м е с. Конечно! Он их поднял выше лба; не знаю, против чего он так насторожился. Это что такое? Ты еще плачешь, негодяй, оробел перед смертью? Садись в лодку!

Менипп. У него подмышкой спрятана еще одна очень тяжелая вещь. Гермес. Что такое?

Менипп. Лесть, сослужившая ему в жизни большую службу.

Философ. Тогда ты, Менипп, брось свою свободу духа и свободу речи, брось свою беззаботность, благородство и смех: никто ведь, кроме тебя, не смеется.

Гермес. Напротив, сохрани их: это все вещи легкие, перевезти их нетрудно, и они даже помогут нам переплыть озеро.

10. Эй ты, оратор! Брось свое бесконечное красноречие, все свои антитезы и повторения, периоды и варваризмы и весь вообще груз своих речей.

Ритор. Смотри, вот я все бросаю.

Гермес. Теперь все в порядке. Отвязывай канаты! Скорей стягивай сходни! Поднимать якорь, распустить паруса! Перевозчик, выпрями руль! Пошли, — в добрый час!

11. Чего же вы ревете, глупцы, в особенности этот философ, у которого только что отрубили бороду?

Философ. Ах, Гермес! Я думал, что душа бессмертна.

Менипп. Врет он! Совсем не это его огорчает.

Гермес. А что же?

Менипп. Он плачет, что не будет больше наслаждаться роскошными обедами, что никогда уже не удастся ему ночью тайком уйти из дому, закутав голову плащом, и бежать все веселые дома от первого до последнего, а утром не будет больше морочить молодежь и получать деньги за свою мудрость; вот что его огорчает.

Философ. А ты, Менипп, разве не опечален тем, что умер?

Менипп. Отчего же мне печалиться, если я сам, без призыва, пошел навстречу смерти?

12. Но мы здесь разговариваем, а там, кажется, слышен какой-то крик; как будто кто-то кричит на земле.

Гермес. Да, Менипп, слышно, и не из одного места. Одни сошлись в народное собрание и радуются и смеются, что Лампих умер; жену его осадил женщины, а его маленьких детей ребятишки забрасывают камнями. Другие, в Сикионе, хвалят ритора Диофанта за погребальную речь в честь вот этого Кратона. А там что? Клянусь Зевсом, это мать Дамасия с толпой женщин, среди крика и стога, поет погребальную песню. Тебя одного, Менипп, никто не оплакивает; один лишь ты почиваешь спокойно.

Менипп. О нет, скоро ты услышишь, как по мне жалобно завоют собаки, как вороны станут хлопать крыльями, собравшись меня хоронить.

Гермес. Ты прекрасный человек, Менипп. Но мы уже причалили. Идите же вы на суд, прямо по этой дороге, а мы с перевозчиком вернемся, чтобы других переправить.

Менипп. Счастливого пути, Гермес. Пора и нам идти. Чего вы медлите? Все равно суда никому не миновать; а наказания здесь, говорят, тяжелые: колеса, камни, коршуны. Обнаружится с ясностью жизнь каждого.

11

Кратет и Диоген

1. К р а т е т. Диоген, ты знал Мериха, того богача, большого богача, коринфянина, владевшего столькими торговыми кораблями, того, у которого был двоюродный брат Аристей, тоже богач? Тот, знаешь, который в разговоре любил повторять слова из Гомера:

*Или меня подыми от земли, Одиссей многоумный,
Или себя дай поднять.*

Д и о г е н. В чем же дело, Кратет?

К р а т е т. Они были сверстниками и ухаживали друг за другом, рассчитывая на наследство. Оба огласили завещания, в которых Мерих назначал наследником всего своего имущества Аристей, в случае если тот его переживет, а Аристей — Мериха, если сам умрет раньше него. Так и было записано, а они продолжали угождать друг другу, и каждый старался превзойти другого лестью. Всякого рода прорицатели — и те, что по звездам предсказывают будущее, и те, что гадают на основании снов, — все разные ученики халдеев, даже сам Пифийский бог питал надеждами то Аристей, то Мериха, и судьба обоих склонялась, как чашки весов, то в ту, то в другую сторону.

2. Д и о г е н. Любопытно услышать, что все это кончилось.

К р а т е т. Они оба умерли в один и тот же день, а имущество их перешло к родственникам, Евномию и Фрасиклу, хотя ни в одном предсказании о них ни одним словом не было упомянуто. Наши друзья плыли из Сикиона в Кирру; посредине залива западный ветер ударил в бок судна и опрокинул его.

3. Д и о г е н. Так им и надо! Мы, когда жили на земле, не замыслили друг против друга ничего подобного: я не желал смерти Антисфену, чтобы получить в качестве наследника его палку, — а палка была у него крепкая, из дикой маслины, — и думаю, что ты, Кратет, тоже не очень хотел сделаться после смерти моей наследником моего имущества: бочки да мешка с двумя мерами чечевицы.

К р а т е т. Я в этом не нуждался, да и ты, Диоген, тоже. То, что нужно было, ты унаследовал от Антисфена, а я — от тебя; это больше и важнее всей персидской державы.

Д и о г е н. Что же это?

К р а т е т. Мудрость, спокойствие, искренность, откровенность, свобода.

Д и о г е н. Клянусь Зевсом, я не забыл, что получил это богатство от Антисфена, и тебе оставил еще больше.

4. К р а т е т. Но других не прельщало такое добро, и за ними никто не ухаживал в надежде получить наследство; все стремились только к золоту.

Диоген. Это и понятно: им некуда было спрятать то, что мы могли им дать: от роскошной жизни они совсем расплзлись, как гнилые мешки. Если даже и вкладывал в них кто-нибудь мудрость, или свободную речь, или правдивость, то все это сейчас выпадало, просачивалось наружу сквозь гнилое дно, вроде того как это происходит с дочерьми Даная, вливающими воду в дырявую бочку. Зато золото они держали зубами и ногтями и всеми мерами охраняли.

Кратет. Разница — в том, что наше богатство мы и здесь сохраним, они же возьмут с собой только один обол, да и тот отдадут перевозчику.

12

Александр, Ганнибал, Минос и Сципион

1. Александр. Я должен занимать первое место: я доблестнее тебя, ливиец.

Ганнибал. Нет, я больше заслужил это.

Александр. Пусть Минос нас рассудит.

Минос. Кто вы?

Александр. Он — карфагенянин Ганнибал, а я — Александр, сын Филиппа.

Минос. Клянусь Зевсом, вы оба знамениты. О чем же вы спорите?

Александр. О том, кому занимать первое место. Он говорит, что был как полководец лучше меня, а я утверждаю, да и всем это известно, что я превзошел в военном деле не только его, но, можно даже сказать, — всех, кто был до меня.

Минос. Пусть каждый из вас говорит за себя. Ты, ливиец, начинай.

2. Ганнибал. Пребывание здесь принесло мне некоторую пользу, Минос: я хорошо выучился говорить по-гречески, так что он и в этом отношении не может меня превзойти. Я утверждаю, что больше всех достойны похвал те, которые, будучи первоначально совсем незнатными, все-таки достигли большого значения собственными силами, стяжав себе могущество и сделавшись достойными власти. Я с небольшим войском отправился в Иберию, сначала в качестве подчиненного моего брата; был признан самым доблестным и удостоился высших почестей. Я покорил кельтиберов, победил западных галатов и, перейдя высокие горы, опустошил всю долину реки По, разрушил множество городов, покорил всю Италийскую равнину и дошел до самых предместий главного города; здесь в один день убил столько народу, что кольца павших мерил потом мединнами, а из трупов выстроил мост через реку. И все это я совершил, не называя себя сыном Аммона, не выдавая себя за бога, не рассказывая о сновидениях моей матери, а считая себя простым человеком. Противниками моими выступали искуснейшие полководцы, и воевали против меня хаб-

рейшие войны, не мидяне и армяне, убегающие раньше, чем начнут их преследовать, и немедленно предоставляющие победу смелому человеку.

3. Александр же, унаследовав от отца власть, увеличил ее и значительно расширил при большом содействии счастливого случая. А когда одержал ряд побед и разбил этого негодяя Дария при Иссе и при Арбелах, стал отступать от нравов своих отцов: заставлял людей падать пред собой ниц, перенял персидский образ жизни, стал своих друзей убивать на пирах и приговаривать к смерти. Я, напротив, правил своим отечеством, не возвышаясь над простыми гражданами. Когда враги с большим флотом напали на Ливию, мои сограждане отзывали меня обратно; я немедленно исполнил их волю, сложил с себя власть и, подвергшись суду, спокойно и твердо все перенес. Все это я совершил, будучи варваром, не вкисив эллинской образованности, не повторяя постоянно, как он, стихов Гомера, не получив воспитания под руководством софиста Аристотеля, но следуя одной только своей благородной природе. Вот почему я утверждаю, что я выше Александра. Если же он кажется красивее, так как надел на голову диадему, что, может быть, и возбуждает уважение в македонянах, то из-за этого он не должен казаться лучше благородного мужа, великого вождя, обязанного успехами больше своим способностям, чем счастью.

М и н о с. Он сказал свою речь в очень благородных выражениях, совсем не так, как можно было ожидать от ливийца. Что же ты, Александр, скажешь на это?

4. А л е к с а н д р. Следовало бы ничего не отвечать такому наглецу: достаточно и одной славы, чтобы ты, Миннос, знал, каким я был царем и каким он — разбойником. Но я все-таки скажу, чтобы ты видел, какая между нами разница. Я был еще совсем молод, когда взял на себя дело управления государством, получив в свои руки власть над страной; полной смут. Я прежде всего отомстил убийцам моего отца, а потом привел Элладу в трепет разрушением Фив и был избран эллинским вождем. Я не удовольствовался властью над Македонией в тех пределах, в каких оставил мне ее отец, но, пробежав мыслью всю землю, решил, что будет ужасно, если я не овладею всеми странами. И вот, с небольшим войском я вторгся в Азию, одержал победу в великой битве при Гранике, покорил Лидию, Ионию и Фригию, завоевал вообще все, что было на моем пути, и пришел в Иссу, где меня ждал Дарий с несметным войском.

5. Что было дальше, Миннос, вы сами знаете: помните, сколько мертвых я вам прислал в один день; перевозчик говорит, что лодки для них не хватало, и многие переправились на плотках, сколоченных собственными руками. Все это совершил я, сам в первых рядах подвергаясь опасностям, не боясь ран. Не буду рассказывать о том, что было при Тире и при Арбелах, — напомним только, что я дошел до самой Индии, Океан сделал границей моей державы, взял в плен индийских слонов, покорил Пора; и скифов, с которыми не так легко справиться, я тоже победил в большом конном сражении, переправившись через Танаис. Всю свою жизнь я делал добро друзьям и наказывал врагов. То, что люди считали меня богом, им

можно простить: неудивительно, что, видя величие моих подвигов, они могли даже нечто подобное подумать обо мне.

6. Прибавлю еще, что я умер на царском престоле, а он — в изгнании у вифинца Пруссия, заслужив это вполне своим коварством и жестокостью. Я не буду говорить о том, каким образом он покорил Италию: не силой, а ложью, клятвопреступлениями и обманом, ничего не совершив честно и открыто. Он меня попрекал моей роскошью, забыв, наверное, какую жизнь он сам, муж, достойный удивления, вел в Капуе в обществе гетер, среди наслаждений, уступив из виду самые благоприятные для него случаи войны. Если бы мне Запад не показался слишком ничтожным и я не обратился на Восток, что было бы великого в моих подвигах, в покорении Италии без всякого кровопролития, в подчинении себе Ливии и всей области до Гадейрского залива? Но эти страны казались мне не стоящими военных трудов: они ведь уже тогда боялись меня и признавали своим господином. Я кончил. Суди, Минос: я не все сказал, но из многого и этого достаточно.

7. С ц и п и о н. Сначала послушай, что я скажу.

М и н о с. Ты кто любезный? Откуда ты?

С ц и п и о н. Италиец Сципион, покоривший Карфаген и победивший ливийцев в великих битвах.

М и н о с. Что же ты хочешь сказать?

С ц и п и о н. То, что я ниже Александра, но выше Ганнибала, которого победил, преследовал и заставил позорно бежать. Разве он не дерзок, соперничая с Александром, с которым даже я, Сципион, его победитель, не смею себя сравнивать?

М и н о с. Клянусь Зевсом, ты разумно говоришь, Сципион. Итак, первое место я присуждаю Александру, второе — тебе, а третье уж пусть занимает Ганнибал: и он ведь достоин уважения.

13

Диоген и Александр

3

1. Д и о г е н. Что это, Александр? И ты умер, как все?

А л е к с а н д р. Как видишь, Диоген. Что же в этом удивительного, если я, будучи человеком, умер?

Д и о г е н. Так, значит, Аммон солгал, говоря, что ты — его сын, а на самом деле ты сын Филиппа?

А л е к с а н д р. Очевидно, Филиппа: будучи сыном Аммона, я бы не умер.

Д и о г е н. Но ведь и про Олимпиаду рассказывали нечто подобное: будто она видела на своем ложе дракона, который сошелся с ней, и от него-то, говорят, она и родила, а Филипп дал себя обмануть, думая, что ты его сын.

А л е к с а н д р. И я тоже слышал об этом, но теперь вижу, что и мать, и прорицатели Аммона говорили вздор.

Д и о г е н. Однако их ложь пригодилась тебе для твоих дел: многие трепетали перед тобой, считая тебя богом.

2. Но скажи мне, кому ты оставил свою громадную державу?

А л е к с а н д р. Сам не знаю, Диоген: я не успел на этот счет распорядиться; только, умирая, передал мое кольцо Пердикке, больше ничего. Но чего же ты смеешься, Диоген?

Д и о г е н. Я вспоминал, как поступала с тобой Эллада, как тебе льстили эллины, лишь только ты получил власть, — избрали тебя своим покровителем и вождем против варваров, а некоторые даже причисляли тебя к сонму двенадцати богов, строили тебе храмы и приносили жертвы, как сыну дракона.

3. Но скажи мне, где тебя македоняне похоронили?

А л е к с а н д р. Пока я лежу в Вавилоне, уже тридцатый день, но начальник моей стражи, Птолемей, обещал, как только покончит с беспорядками, которые возникли после моей смерти, перевезти меня в Египет и там похоронить, чтобы я таким образом сделался одним из египетских богов.

Д и о г е н. Как же мне не смеяться, Александр, видя, что ты даже в преисподней не поумнел и думаешь сделаться Анубисом или Озирисом? Брось эти мысли, божественный; кто раз переплыл на эту сторону озера и проник в подземное царство, тому больше нельзя вернуться. Эак ведь очень внимателен, да и с Кербером справиться не так легко.

4. Мне было бы приятно узнать, как ты себя чувствуешь, когда вспоминаешь, какое блаженство ты оставил на земле, всяких телохранителей, стражу, сатрапов, сколько золота, и народы, боготворящие тебя, и Вавилон, и Бактры, и зверей громадных, и почести, и славу, и торжественные выезды в белой диадеме на голове и пурпурном платье. Разве тебе не больно, когда ты все это вспоминаешь? Что же ты плачешь, ах ты, глупец? Даже этому не научил тебя мудрец Аристотель — не считать прочными дары судьбы?

5. А л е к с а н д р. Мудрец? Он хуже всех льстецов! Позволь уж мне знать все, что касается Аристотеля, чего он требовал от меня, чему меня учил, как он злоупотреблял моей любовью к науке, льстя мне и восхваляя меня то за красоту, которую он называл частью добра, то за мои деяния, то за богатство; он доказывал, что богатство — тоже благо, чтоб ему, таким образом, не было стыдно принимать подарки. Настоящий шут и комедиант! Все, что дала мне его мудрость, — это скорбеть, будто по величайшему благу, по всему тому, что ты вот сейчас перечислил.

6. Д и о г е н. Знаешь, что сделать? Я посоветую тебе средство против скорби. Так как у нас не растет чемерица, служащая лекарством против безумия, тебе не остается ничего другого, как пить большими глотками воду из Леты, — пить и снова пить и еще, почаще: таким образом ты перестанешь скорбеть по Аристотелевым благам. Но смотри: Клит и Калли-

сфен и с ними целая толпа, все бегут сюда, хотят тебе растерзать в отместие за то, что ты с ними сделал. Уходи же скорее по другой дороге и почаще пей воду Леты, как я тебе посоветовал.

14

Филипп и Александр

1. *Ф и л и п п.* Теперь, Александр, тебе нельзя уже утверждать, что ты не мой сын: если бы ты был сын Аммона, ты бы не умер.

А л е к с а н д р. Я и сам знал, отец, что я сын Филиппа, сына Аминты, но я принял возвешение оракула, думая, что это может мне принести пользу в моих делах.

Ф и л и п п. Какую же? Тебе казалось полезным дать себя обмануть прорицателям?

А л е к с а н д р. Не в этом дело, а в том, что варвары трепетали передо мной, и никто не решался сопротивляться мне, думая, что придется сражаться с богом, и мне таким образом легче было их покорить.

2. *Ф и л и п п.* Да разве ты покорил кого-нибудь, с кем стоило воевать? Ты сражался с одними лишь трусами с их ничтожными луками и копьями и с щитами, плетенными из ивняка. Эллинов покорить, — вот это было настоящее дело; победить беотийцев, фокейцев, афинян, аркадскую тяжеловооруженную пехоту, фессалийскую конницу, элейских метателей дротиков, мантинейское щитonosное войско, разбить фракийцев, иллирийцев, пеонов — это все большие подвиги. Не мидяне, персы, халдеи, изнеженные люди в золотых одеждах! Разве ты не знаешь, что еще до тебя их победили Десять тысяч под предводительством Клеарха, причем они не дождались даже столкновения и убежали, не выпустив ни одной стрелы?

3. *А л е к с а н д р.* Да, но скифы и индийские слоны — это тоже не шутки, отец, и все-таки я их покорил, не сея предварительно среди них раздоров и не одерживая побед благодаря измене. Мне никогда не случилось нарушать клятву или не сдерживать обещаний, никогда я не покупал себе победы обманом. Да, впрочем, и я ведь имел дело с эллинами: одних подчинил себе мирным путем, а других... ты слышал, я думаю, как я наказал фиванцев?

Ф и л и п п. Все это я знаю: мне об этом рассказывал Клит, которого ты пронзил копьем на пиру за то, что он осмелился похвалить меня, сравнивая мои деяния с твоими.

4. Говорят, что ты сбросил македонскую хламиду и стал носить персидский кафтан, на голову надел высокую тиару, заставлял македонян, свободных людей, падать перед собой ниц и, что всего смешнее, стал подражать нравам тех, кого сам победил. Не буду уже упоминать о других

твоих деяниях, о том, как ты запирал вместе со львами умных и образованных людей, сколько браков ты заключал, как ты чрезмерно любил Гефестиона. Одно лишь я могу похвалить: то, что ты не тронул красавицы-жены Дария и позаботился о судьбе его матери и дочерей: это действительно по-царски.

Б. А л е к с а н д р. А моей храбрости ты не одобряешь, отец? Не нравится тебе то, что я в Оксидраках первый перепрыгнул через городскую стену и получил столько ран?

Ф и л и п п. Нет, Александр, не одобряю, — не потому, чтобы я не считал хорошим, когда царь не избегает ран и подвергается опасностям впереди войска, но потому, что тебе такие дела менее всего были полезны. Тебя ведь считали богом; и вот, когда тебя видели раненым, уносимым на носилках с поля сражения, истекающим кровью и стонущим от боли, всем становилось смешно, и Аммон оказывался при этом обманщиком и лжепророком, а его прорицатели — лстецами. Да и как же не смеяться, видя, как сын Зевса падает в обморок и нуждается в помощи врачей? Теперь, когда ты уже умер, надеюсь, ты понимаешь, что многие смеются над твоим притворством, видя, как тело бога лежит перед ними, растянувшись во весь рост, распухло и уже начинает гнить, как это закономерно происходит с каждым телом. Впрочем, даже та польза, о которой ты говорил, что тебе благодаря божественности легче доставались победы, сильно уменьшила славу твоих успехов: ведь все твои деяния для бога казались слишком малыми.

Б. А л е к с а н д р. Не так думают обо мне люди: они сравнивают меня с Гераклом и Дионисом. Но и этого мало: ни тот, ни другой из них не сумели взять приступом Аорнской крепости; один я взял ее.

Ф и л и п п. Ты сравниваешь себя с Гераклом и Дионисом? Не ясно ли, что ты все еще не отказался от роли сына Аммона? Как тебе не стыдно, Александр? Когда же ты, наконец, бросишь свое самомнение, познаешь самого себя и поймешь, что ты мертвец?

15

Ахилл и Антилох

1. А н т и л о х. Ахилл, что ты говорил недавно Одиссею о смерти? Как это было неблагородно и недостойно обоих твоих наставников, Хирона и Феникса! Я слышал, как ты сказал, что хотел бы лучше живым служить поденщиком у бедного пахаря, который «скромным владеет достатком», чем царствовать над всеми мертвыми. Такие неблагородные слова приличны, быть может, какому-нибудь трусу-фригийцу, чрезмерно привязанному к жизни, но сыну Пелея, храбрейшему из всех героев, стыдно иметь такой низменный образ мыслей. Этого никак нельзя согласовать со всей

твоей жизнью: ведь ты мог бы долго, хотя без славы, жить и долго царствовать во Фтиотиде, однако ты добровольно избрал смерть, соединенную со славой.

2. А х и л л. О, сын Нестора! Тогда я еще не знал, как здесь живет, и эту жалкую, ничтожную славу ставил выше жизни, так как не мог знать, что лучше. Теперь же я понимаю, что как ни много будут там, на земле, меня воспевать, все равно от славы мне никакой пользы не будет. Здесь я ничуть не выше других мертвецов, нет больше ни моей красоты, ни силы; все мы лежим, покрытые одним и тем же мраком, совсем одинаковые, и ничем друг от друга не отличаемся. Мертвые троянцы не боятся меня, а мертвые ахейцы не оказывают уважения; мы все здесь на равных правах, все мертвецы похожи друг на друга, «и трус и герой у них в равном почете». Вот это причиняет мне страдание, и мне досадно, что я не живу на земле, хотя бы как поденщик.

3. А н т и л о х. Но что же нам делать, Ахилл? Так постановила природа, что все непременно должны умереть; нужно повиноваться этому закону и не противиться предустановленному. А затем, ты видишь, сколько нас с тобой здесь, твоих товарищей; скоро и Одиссей, наверно, придет к нам. Пусть будет для тебя утешением общность нашей судьбы; утешайся тем, что не с тобой одним это случилось. Подумай о Геракле, Мелеагре и других великих героях; из них ни один не согласился бы выйти на свет, если бы его посылали служить поденщиком к простому, нищему человеку.

4. А х и л л. Ты меня утешаешь как друг, меня же не знаю как удручает воспоминание о жизни; думаю, что и все вы чувствуете то же самое. Если вы со мной не согласны и спокойно можете переносить это — значит, вы хуже меня.

А н т и л о х. Наоборот, Ахилл, мы лучше: мы понимаем бесполезность наших слов и решили молчать, терпеть и переносить свою судьбу спокойно, чтобы не дать другим повода к смеху, высказывая такие желания, как ты.

16

Диоген и Геракл

1. Д и о г е н. Не Геракл ли это? Да это он, клянусь Гераклом! Лук, палица, львиная шкура, рост — Геракл с ног до головы! Значит, ты умер, будучи сыном Зевса? Послушай, победоносный, ты мертв? Я тебе на земле приносил жертвы как богу.

Г е р а к л. Хорошо делал: сам Геракл живет на небе вместе с богами «близ супруги Гебы цветущей», а я только его призрак.

Д и о г е н. Как же это? Призрак бога? Можно ли быть наполовину богом, а наполовину мертвецом?

Г е р а к л. Да, ибо умер не он, а я, его образ.

2. Д и о г е н. Понимаю: он тебя отдал Плутону в качестве своего заместителя, и ты теперь мертвец вместо него.

Г е р а к л. Что-то в этом роде.

Д и о г е н. Отчего же Эак, который всегда так точен, не узнал, что ты не настоящий, и принял подмененного Геракла?

Г е р а к л. Оттого, что я в точности на него похож.

Д и о г е н. Это правда: сходство такое, что ты действительно и есть он сам. Как ты думаешь, не вышло ли наоборот, не ты ли сам Геракл, а призрак живет с богами и женился на Гебе?

3. Г е р а к л. Ты дерзок и болтлив. Если ты не перестанешь издеваться надо мной, я тебе сейчас покажу, какого бога я призрак!

Д и о г е н. Ну вот! Вытащил лук и готов стрелять! Я уже раз умер, так что мне нечего бояться тебя. Но скажи мне, ради твоего Геракла, как было при его жизни? Ты уже тогда был призраком и жил вместе с ним? Или, может быть, при жизни вы были одним существом и только после смерти разделились: он улетел к богам, а ты, его призрак, как и следовало ожидать, сошел в преисподнюю?

Г е р а к л. За твои насмешки тебе совсем не следовало бы отвечать; но я все-таки и это скажу тебе. Что было в Геракле от Амфитриона, то и умерло, и это именно — я, а что было от Зевса, то живет на небе с богами.

4. Д и о г е н. Теперь я все отлично понимаю: Алкмена, говоришь ты, родила одновременно двух Гераклов — одного от Амфитриона, другого от Зевса, и вы были близнецами от разных отцов, только никто не знал об этом.

Г е р а к л. Да нет же, ничего ты не понимаешь: мы оба — один и тот же.

Д и о г е н. Не так легко понять, что два Геракла были соединены в одно, разве только представить себе тебя чем-то вроде кентавра, человеком и богом, сросшимися вместе.

Г е р а к л. Да разве ты не знаешь, что все люди таким же образом составлены из двух частей — души и тела? Отчего же невозможно, чтобы душа, происходящая от Зевса, пребывала на небе, а я, смертная часть, находился в царстве мертвых?

5. Д и о г е н. Но, почтенный сын Амфитриона, все это было бы прекрасно, если бы ты был телом, а ты ведь бестелесный призрак. Таким образом выходит уже тройной Геракл.

Г е р а к л. Отчего же тройной?

Д и о г е н. А вот рассуди сам: настоящий Геракл живет на небе, ты, его призрак, — у нас, а тело его уже обратилось в прах на Эте, — всего, значит, три. Тебе надо теперь придумать третьего отца для тела.

Г е р а к л. Ты дерзок и настоящий софист. Кто ты такой?

Д и о г е н. Диогена синопского призрак, а сам он, клянусь Зевсом, не «с богами на светлом Олимпе», но живет вместе с лучшими среди мертвых и смеется над Гомером и таким вот прохладным разговором.

17

Менипп и Тантал

1. Менипп. Что ты стонешь, Тантал? Почему себя оплакиваешь, стоя на берегу озера?

Тантал. Я погибаю от жажды, Менипп.

Менипп. Ты так ленив, что не хочешь наклониться и выпить или, по крайней мере, набрать воды в пригоршню?

Тантал. Что пользы, если я даже наклонюсь? Вода бежит от меня, стоит мне лишь приблизиться; если мне и удастся иногда набрать воды в руки и поднести ее ко рту, то не успею даже смочить губ, как вся вода протекает у меня между пальцев и каким-то образом рука моя вновь делается сухой.

Менипп. Чудесное что-то происходит с тобой, Тантал! Но скажи мне, зачем тебе пить? У тебя ведь нет тела, оно похоронено где-то в Лидии: одно оно и было в состоянии чувствовать голод и жажду; а ты, будучи душой, каким образом можешь чувствовать жажду и пить?

Тантал. В этом и состоит мое наказание, что душа чувствует жажду, как будто она — тело.

2. Менипп. Положим, что это так, раз ты говоришь, что наказан жаждой. Но что же с тобой может случиться? Разве ты боишься умереть от недостатка питья? Я не знаю другой преисподней, кроме этой, и не слышал про смерть, переселяющую мертвецов отсюда в другое место.

Тантал. Ты прав: и это составляет часть моего наказания — жажда питья, совсем в нем не нуждаясь.

Менипп. Ты болтаешь пустое, Тантал. Тебе, кажется, в самом деле пригодились бы питье — неразбавленный отвар из травы против бешенства, так как с тобой, клянусь Зевсом, случилось что-то обратное тому, что делается с укушенными бешеной собакой: ты боишься не воды, а жажды.

Тантал. Не откажусь пить даже этот отвар, пусть мне только дадут его.

Менипп. Успокойся, Тантал, — не только ты, но ни один из мертвых пить не будет: это ведь невозможно. А между тем не все, как ты, терпят в наказание жажду от убегающей от них воды.

18

Менипп и Гермес

1. Менипп. Где же красавцы и красавицы, Гермес? Покажи мне: я недавно только пришел сюда.

Г е р м е с. Некогда мне, Менипп. Впрочем, посмотри сюда, направо: здесь Гиацинт, Нарцисс, Нирей, Ахилл, Тиро, Елена, Леда и вообще вся древняя красота.

М е н и п п. Я вижу одни лишь кости да черепа без тела, мало чем отличающиеся друг от друга.

Г е р м е с. Однако это именно те, которых все поэты воспевают, а тебе, кажется, не внушают никакого уважения.

М е н и п п. Покажи мне все-таки Елену! Без тебя мне ее не узнать.

Г е р м е с. Вот этот череп и есть Елена.

2. М е н и п п. Значит, из-за этого черепа целая тысяча кораблей была наполнена воинами со всей Эллады, из-за него пало столько эллинов и варваров и столько городов было разрушено?

Г е р м е с. Менипп, ты не видал этой женщины живой. Если бы ты мог ее тогда видеть, ты сказал бы, как и все: нельзя возмущаться, что

троянцы и дети ахейцев

Из-за подобной жены бесконечные бедствия терпят.

Ведь и цветы засохшие и поблекшие покажутся тому, кто на них посмотрит, безобразными, а между тем в своем расцвете и свежести они прекрасны.

М е н и п п. Вот это меня и удивляет, как это ахейцы не понимали, что сражаются за то, что так кратковременно и скоро отцветает.

Г е р м е с. Мне некогда, Менипп, философствовать с тобой. Выбери себе место какое хочешь, и ложись туда, а я пойду за другими мертвецами.

19

Зак, Протесилай, Менелай и Парис

1. Э а к. Что ты делаешь, Протесилай? Бросился на Елену и стал ее душить.

П р о т е с и л а й. Из-за нее, Зак, я умер, не успев достроить дом и оставив вдовой молодую жену!

Э а к. Так обвиняй в этом Менелая: он ведь повел вас под Трою из-за такой женщины.

П р о т е с и л а й. Ты прав: его я должен обвинять.

М е н е л а й. Не меня, дорогой мой, а Париса; это будет справедливее. Он, будучи моим гостем, похитил и увез мою жену, переступив все законы; он заслужил, чтобы не ты один, а все эллины и варвары душили его за то, что он был причиной смерти такого множества воинов.

П р о т е с и л а й. Да, так будет лучше. Тебя, Горе-Парис, я уж не выпущу из рук!

П а р и с. Несправедливо это, Протесилай! И притом ведь мы с тобой товарищи: я тоже был влюблен и находился во власти того же бога. Ты

сам знаешь, что это дело подневольное, что какая-то высшая сила ведет нас, куда хочет, и нельзя ей сопротивляться.

2. Протесилай. Ты прав. Ах, если б я мог достать Эрота!

Э а к. Я тебе отвечу за Эрота в его защиту. Он сказал бы тебе, что, может быть, он и виноват в том, что Парис влюбился в Елену, но в твоей смерти виноват только ты сам, Протесилай: ты забыл о своей молодой жене и, когда вы приблизились к берегу Трояды, выскочил на берег раньше других, так безрассудно подвергая себя опасности из одной только жажды славы; из-за нее ты и погиб первым при высадке.

Протесилай. Теперь моя очередь защищаться, Эак. Не я в этом виноват, а Судьба, предназначившая мне такую участь с самого начала.

Э а к. Правильно; отчего же ты нападаешь на этих людей?

20

Менипп и Эак

1. Менипп. Именем Плутона, прошу тебя, Эак, покажи мне все достопримечательности преисподней.

Э а к. Не так легко все осмотреть; пока покажу тебе самое главное. Кербера ты уже знаешь; вот этого перевозчика ты тоже видел: он ведь тебя доставил сюда. Это озеро и Пирифлегетон ты равным образом видел при входе.

Менипп. Это все я знаю, и тебя тоже: ты ведь привратник; видел и самого царя и Эриний. Покажи мне древних людей, в особенности знаменитых.

Э а к. Вот здесь Агамемнон, там Ахилл, рядом с ним Идомей, вот этот — Одиссей, дальше Аянт и Диомед и все лучшие из эллинов.

2. Менипп. Увы, Гомер! Все главные герои твоих поэм валяются в пыли, обезображенные так, что их и не узнать, горсточка праха, жалкие остатки и больше ничего, действительно «бессильные головы». А это кто такой, Эак?

Э а к. Кир. А вот этот — Крез, выше его Сарданапал, еще выше Мидас, а там Ксеркс.

Менипп. Значит, это перед тобой, негодяй, трепетала Эллада? Это ты перебросил мост через Геллеспонт, а через горы переплыть хотел. У Креза-то какой вид! Эак, позволь мне дать Сарданапалу пощечину.

Э а к. Нельзя; у него череп — как у женщины: ты его разобьешь.

Менипп. Ну так, по крайней мере, я плюну на этого двуполого.

3. Э а к. Хочешь, я покажу тебе мудрецов?

Менипп. Конечно, хочу.

Э а к. Вот этот — Пифагор.

Менипп. Здравствуй, Евфорб, или Аполлон, или кто хочешь.

П и ф а г о р. Здравствуй и ты, Менипп.

М е н и п п. Что это? У тебя бедро больше не золотое.

П и ф а г о р. Нет. А покажи-ка, нет ли у тебя в мешке чего-нибудь поесть.

М е н и п п. Бобы, дорогой мой; тебе этого есть нельзя.

П и ф а г о р. Давай! У мертвых учение другое; я здесь убедился, что бобы и головы предков совсем не одно и то же.

4. Э а к. Вот здесь Солон, сын Эксеkestида, и Фалес, а рядом с ними Питтак и остальные; ты видишь, всего их семь.

М е н и п п. Одни они не грустят и сохранили веселый вид. А кто же этот, весь в золе, как скверный хлеб, покрытый пузырями?

Э а к. Это Эмпедокл; он пришел к нам из Этны наполовину изжаренный.

М е н и п п. Что на тебя нашло, медноногий мудрец? Отчего ты бросился в кратер вулкана?

Э м п е д о к л. Меланхолия, Менипп.

М е н и п п. Нет, клянусь Зевсом, не меланхолия, а пустая жажда славы, самомнение, да и глупости немало: все это тебя и обуглило вместе с твоими медными сандалиями. Так тебе и надо! Но только все это не принесло тебе ни малейшей пользы: все видели, что ты умер. Но скажи, Эак, куда девался Сократ?

Э а к. Он обыкновенно беседует с Нестором и Паламедом.

М е н и п п. Мне хотелось бы его увидеть, если он где-нибудь поблизости.

Э а к. Видишь этого, с лысиной?

М е н и п п. Здесь все с лысынами, так что по этому признаку трудно кого-нибудь узнать.

Э а к. Я говорю о том, курносом.

М е н и п п. И по этому не отличишь: все здесь курносые.

5. С о к р а т. Ты меня ищешь, Менипп?

М е н и п п. Тебя, Сократ.

С о к р а т. Что нового в Афинах?

М е н и п п. Многие молодые люди говорят, что занимаются философией; стоит посмотреть на их вид, походку: самые настоящие философы!

С о к р а т. Я много таких видал.

М е н и п п. Да, но я думаю, ты видал также, какими пришли к тебе Аристипп и сам Платон: один весь пропитанный благовониями, а другой — выучившись заискивать у сицилийских тиранов.

С о к р а т. Какого же они мнения обо мне?

М е н и п п. В этом отношении, Сократ, ты счастливый человек: все считают тебя достойным удивления и думают, что ты все знал, хотя — будем откровенны — ты не знал ничего.

С о к р а т. Да я же сам не раз говорил им это; а они думали, что «ирония» представляет собой что-то.

6. М е н и п п. Кто эти все, что тебя окружают?

С о к р а т. Хармид, о Менипп, Федр и сын Клиния.

М е н и п п. Поздравляю, Сократ: ты и здесь занимаешься своим делом и умеешь ценить красивых.

С о к р а т. А что мне еще делать? Ложись возле нас, если хочешь.

М е н и п п. Нет, пойду к Крезу и Сарданапалу и поселюсь подле них; там я, кажется, много посмеюсь, слушая их вопли.

Э а к. И я тоже пойду, а то кто-нибудь из мертвых может воспользоваться моим отсутствием и убежать. Остальное ты посмотришь в другой раз, Менипп.

М е н и п п. Прощай, Эак; мне достаточно и того, что я видел.

21

Менипп и Кербер

1. М е н и п п. Кербер, мы друг другу родня: я ведь тоже собака. Скажи мне, ради Стикса, какой был вид у Сократа, когда он спустился к вам? Я думаю, что ты, как бог, умеешь не только лаять, но можешь и по-человечески говорить, если захочешь.

К е р б е р. Издали, Менипп, казалось, что он идет совершенно спокойно и совсем не боится смерти; таким он хотел казаться тем, что стояли по ту сторону входа. Но когда он заглянул в расселину и увидел наш мрак и в особенности когда я, замечая, что он медлит, укусил его за ногу и потащил внутрь, он заплакал как ребенок, стал горевать по своим детям и окончательно потерял самообладание.

2. М е н и п п. Да разве он не был мудрецом? Разве на самом деле не презирав смерть?

К е р б е р. Нет, видя, что смерти ему не избежать, он лишь храбрился и притворялся, будто добровольно принимает то, что должно непременно случиться: хотел, чтобы присутствующие удивлялись ему. Вообще о всех подобного рода людях могу сказать, что они до входа в преисподнюю идут смело и мужественно, внутри же оказывается не то.

М е н и п п. Ну, а я как, по-твоему, вошел?

К е р б е р. Один лишь ты, Менипп, вел себя так, как подобает представителю нашего рода, да еще до тебя Диоген: никто вас не принуждал, никто не толкал, а пришли вы по собственной воле, со смехом, пожелав всем на прощанье всего скверного.

22

Харон и Менипп

1. Х а р о н. Плати, мошенник, за перевоз!

М е н и п п. Кричи, Харон, если тебе это приятно.

Х а р о н. Заплати, говорю тебе, что мне следует!

М е н и п п. Попробуй взять с того, у кого ничего нет.

Х а р о н. Разве есть такой, у кого нет обола?

М е н и п п. Есть ли еще кто-нибудь другой — не знаю; знаю только, что у меня нет.

Х а р о н. Задушу тебя, негодяй, клянусь Плутоном, если не заплатишь!

М е н и п п. А я тебе череп разобью палкой.

Х а р о н. Итак, ты совсем напрасно плыл в такую даль.

М е н и п п. Пусть за меня заплатит Гермес, раз он меня привел к тебе.

2. Г е р м е с. Клянусь Зевсом, выгодно бы я устроился, если бы пришлось еще платить за мертвецов!

Х а р о н. Я от тебя не отстану.

М е н и п п. Ну, так втащи лодку на берег и жди; только я не знаю, как ты ухитришься получить с меня то, чего у меня нет.

Х а р о н. Ты разве не знал, что надо взять с собой обол?

М е н и п п. Знать-то знал, да не было у меня. Что же, из-за этого мне надо было умирать?

Х а р о н. Ты хочешь потом похвастаться, что один из всех переплыл озеро даром?

М е н и п п. Не даром, милейший: я черпал воду из лодки, помогал грести и один из всех сидевших в лодке не плакал.

Х а р о н. Перевозчику до этого нет никакого дела. Ты должен заплатить обол, иначе быть не может.

3. М е н и п п. Ну так отвези меня обратно на землю.

Х а р о н. Прекрасное предложение! Чтобы Эак поколотил меня за это?

М е н и п п. Тогда отстань.

Х а р о н. Покажи, что у тебя в мешке.

М е н и п п. Если хочешь, бери: чечевица и угощение Гекаты.

Х а р о н. Откуда ты выкопал, Гермес, эту собаку? Всю дорогу он болтал, высмеивал и вышучивал всех сидевших в лодке, и, когда все плакали, он один пел.

Г е р м е с. Ты не знаешь, Харон, какого мужа ты перевез? Мужа, безгранично свободного, не считающегося ни с кем! Это Менипп!

Х а р о н. Если я тебя поймаю...

М е н и п п. Попробуй, любезный; только два раза ты меня не поймашь.

23

Протесилай, Плутон и Персефона

1. П р о т е с и л а й. Владыка и царь, Зевс наш подземный, и ты, дочь Деметры, не отвергайте просьбы влюбленного человека!

Плутон. О чем же ты просишь? И кто ты такой?

Протесилай. Я — Протесилай, сын Ификла из Филаки; участвовал в походе ахейцев под Троию и первый из всех погиб. Я прошу вас отпустить меня и позволить мне вновь ожить на короткое время.

Плутон. Такое желание присуще всем мертвым; только никому это не дается.

Протесилай. Не в жизнь я влюблен, Аидоней, а в жену мою. Только что женившись на ней, я оставил ее одну в опочивальне и поплыл в поход, и вот при высадке пал, несчастливый, от руки Гектора. Любовь к ней ужасно мучит меня, владыка. Я хочу хоть на один миг повидаться с ней, а потом вернуться сюда.

2. Плутон. Разве ты, Протесилай, не пил воды из Леты?

Протесилай. Пил, владыка; но любовь моя слишком сильна.

Плутон. Подожди немного: она сама придет сюда, и тебе больше незачем будет ходить на землю.

Протесилай. Я не могу ждать, Плутон; ты сам ведь был влюблен и знаешь, что такое любовь.

Плутон. Что пользы будет тебе, если ты на один день оживешь, а потом опять начнется то же страдание?

Протесилай. Я надеюсь убедить ее пойти вместе со мной: таким образом у тебя скоро будут два мертвеца вместо одного.

Плутон. Такие вещи не дозволены, и никогда этого не бывало.

3. Протесилай. Я тебе напомню, Плутон: Орфею вы по той же самой причине отдали Евридику и отпустили мою родственницу Алкестиду из милости к Гераклу.

Плутон. И ты хочешь в таком виде, с голым, безобразным черепом, явиться к твоей красавице-жене? Как же она тебя примет? Ведь она даже не узнает тебя. Я уверен, что она испугается и убежит, и ты лишь напрасно пройдешь такой длинный путь.

Персефона. Можно и против этого найти средство, мой супруг: прикажи Гермесу, как только Протесилай выйдет на свет, коснуться его жезлом и сделать его вновь красивым юношей, каким он ушел из супружеской опочивальни.

Плутон. Если и Персефона этого желает, тогда выведи его на свет, Гермес, и опять сделай молодым супругом. А ты не забудь, что я отпустил тебя только на один день.

24

Диоген и Мавзол

1. Диоген. Чем ты так гордишься, кариец? С какой стати требуешь для себя среди нас первого места?

Мавзол. Оттого, синопек, что я — царь, царствовал над всей Карией, владел значительной частью Лидии; покорил многие острова и подчинил себе почти всю Ионию вплоть до Милета. К тому же я был красив и велик ростом и в военном деле искусен. Особенно же значительно то, что в Галикарнасе надо мной возвышается громадный памятник, какого нет ни у кого из мертвых, ни с чем по своей красоте не сравнимый: кони и люди с поразительным искусством высечены из прекраснейшего камня! Такое великолепие не легко найти даже среди храмов. Разве я не прав, что горжусь этим?

Диоген. Своим царством, красотой и величиной надгробного памятника?

Мавзол. Конечно, этим.

Диоген. Но, прекрасный Мавзол, у тебя нет больше ни твоей силы, ни красоты. Если бы мы обратились к кому-нибудь, чтоб он рассудил, кто из нас красивее, я не знаю, на каком основании он мог бы твой череп поставить выше моего: оба они у нас плешивы и голы, одинаково у нас обоих видны снаружи все зубы, одинаково пусты глазные впадины, одинаково мы сделались курносыми. Что же касается твоего памятника и великолепных мраморов, то они могут для галикарнасцев служить предметом гордости перед чужестранцами, что, дескать, у них стоит такое громадное сооружение; а тебе, милейший, что пользы в том, я не знаю, — разве только, что ты, лежа под такой каменной громадой, выдержишь на себе большую тяжесть, чем мы.

Мавзол. Значит, все это ни к чему? Мавзол будет равен Диогену?

Диоген. Нет, не равен, почтеннейший, совсем нет. Мавзол будет плакать, вспоминая свою земную жизнь, казавшуюся ему блаженной, а Диоген будет над ним смеяться. Мавзол скажет, что его могилу соорудила в Галикарнасе его супруга и сестра Артемизия, а Диоген не знает даже, есть ли у его тела вообще какая-нибудь могила: он об этом не заботился. Зато после себя он оставил среди лучших людей славу человека, жившего, презреннейший из карийцев, жизнью более высокой, чем твой памятник, и основанной на более твердой почве.

25

Нирей, Ферсит и Менипп

Нирей. Вот и Менипп; пусть он рассудит, кто из нас благообразнее. Скажи, Менипп, разве я не красивее его?

Менипп. А кто вы такие? Я думаю, прежде всего мне нужно это знать.

Нирей. Нирей и Ферсит.

Менипп. Который Нирей и который Ферсит? Для меня это еще не ясно.

Ферсит. Одного я уже, значит, добился: я похож на тебя, и ты совсем уж не так отличаешься от меня, как это утверждал слепой Гомер, восхваляя тебя и называя красивейшим из всех; нашему судье я показался ничуть не хуже тебя, хотя у меня заостренная кверху голова и редкие волосы. Посмотри ж, Менипп: кого из нас ты признаешь более благообразным?

Нирей. Меня, конечно, сына Аглаи и Харопа, кто «из греков, пришедших под Трою, всех был красивей».

Менипп. Но согласишься, что под землю ты не пришел таким же красавцем: твои кости вполне похожи на кости Ферсита, а твой череп тем лишь отличается, что его легче разбить: он у тебя слишком мягок, совсем не мужской.

Нирей. Спроси Гомера, каков я был тогда, когда воевал вместе с ахейцами.

Менипп. Ты мне все сказки рассказываешь! Я вижу тебя таким, каков ты теперь, а все, что было — это дело людей того времени.

Нирей. Что же? Значит, я здесь несколько не красивее Ферсита?

Менипп. И ты не красив, и никто вообще: в преисподней царит равенство, и здесь все друг на друга похожи.

Ферсит. Для меня и этого достаточно.

26

Менипп и Хирон

1. Менипп. Я слышал, Хирон, что ты, будучи богом, хотел умереть.

Хирон. Правильно ты слышал, Менипп: как видишь, вот я и умер, хотя мог быть бессмертным.

Менипп. Отчего ты вдруг запылал любовью к смерти: она ведь для большинства совсем непривлекательна?

Хирон. Я тебе объясню это: ты человек неглупый. Мне бессмертие не доставляло больше никакого удовольствия.

Менипп. Никакого удовольствия — жить и глядеть на свет?

Хирон. Да, Менипп. Я думаю, приятно то, что разнообразно и не отличается простотой. А я, живя на свете, имел всегда одно и то же: солнце, свет, еду. Времена года были всегда те же самые, все вместе с ними следовало друг за другом постоянно в одинаковом порядке, никогда не нарушая взаимной своей связи. Я пресытился этим. Не в том, чтобы находиться всегда в одном и том же положении, но в том, чтобы ощутить и что-то иное, — вот в чем счастье.

2. Менипп. Ты прав, Хирон. Ну, а как тебе нравится в преисподней с тех пор, как ты пришел сюда по собственному выбору?

Хирон. Мне здесь приятно, Менипп: здесь царит действительно всенародное равенство, и, оказывается, свет несколько не лучше мрака.

А кроме того, здесь никто не чувствует ни жажды, ни голода, как это было на земле, и мы в их утолении здесь не нуждаемся.

Менипп. Смотри, Хирон, как бы тебе не впасть в противоречие с самим собой; не вернулись бы твои рассуждения опять туда же, откуда вышли.

Хирон. Каким образом?

Менипп. В жизни тебе надоело однообразие и постоянное повторение одного и того же; но ведь и здесь все однообразно и может тебе тоже надоест, — тогда тебе придется искать перехода отсюда в другую жизнь, а это, я думаю, невозможно.

Хирон. Что же поделать, Менипп?

Менипп. Говорят, кто умен, тот довольствуется настоящим, рад тому, что у него есть, и ничто не кажется ему невыносимым.

27

Диоген, Антисфен и Кратет

1. Диоген. Антисфен и Кратет, у нас много свободного времени; не пройтить ли нам по прямой дороге ко входу? Там мы поглядим на входящих, посмотрим, кто они и как себя ведут.

Антисфен. Хорошо, Диоген пойдем. Это будет приятное зрелище: одни плачут, другие умоляют отпустить их, а некоторые и совсем не хотят идти, и хотя Гермес и толкает их в шею, они все-таки сопротивляются и падают навзничь, что совсем бесполезно.

Кратет. А я вам по дороге расскажу, что сам видел, когда спускался сюда.

2. Диоген. Расскажи Кратет; ты, наверно, видел что-нибудь очень смешное.

Кратет. Среди тех, которые входили сюда вместе со мной, особенно выделялись трое: богач Исменодор, мой земляк, Арсак, наместник Мидии, и Орет из Армении. Исменодора убили разбойники около Киферона, кажется, по дороге в Элевсин. Он стонал, придерживая обеими руками рану, звал по имени своих детей, которых оставил совсем маленькими, и обвинял самого себя за безрассудство, за то, что, отправляясь через Киферон и через места около Элевтер, совсем опустелые вследствие войны, взял только двух рабов, несмотря на то, что имел с собой пять золотых чаш и четыре кубка.

3. Арсак, человек уже старый и, клянусь Зевсом, очень внушительного вида, сердился по варварскому обычаю и негодовал на то, что идет пешком, и требовал, чтоб ему привели коня: дело в том, что вместе с ним пал и его конь, от руки какого-то фракийского щитоносца, при Араксе, в битве с каппадокийцами. Арсак, как сам рассказывал, поскакал вперед, далеко

оставив за собой других; вдруг перед ним появился фракиец и, прикрываясь щитом, вышиб у него из рук пику, а затем своим копьем пронзил его вместе с конем.

4. Антифен. Как же он мог сделать это одним ударом?

Кратет. Очень просто, Антифен: Арсак скакал, выставив вперед копье длиной в двадцать локтей; фракиец отбил щитом направленное на него оружие так, что острие прошло мимо, и, опустившись на колено, принял на свое копье весь напор врага, ранил снизу в грудь коня, который, благодаря силе и быстроте своего бега, сам насадил себя на копье; оно прошло насквозь и прокололо также самого Арсака, вонзившись ему в пах и выйдя сзади. Вот как это случилось; виноват здесь не столько всадник, сколько конь. Арсак все-таки негодовал на то, что его ничем не отличали от других и хотел спуститься в преисподнюю верхом.

5. Что касается Орета, то у него ноги оказались слишком нежными и чувствительными: он не то что ходить, и стоять даже не мог на земле. В таком положении все без исключения мидяне: как только они сойдут с коня, сейчас начинают ступать как по колючкам, еле двигаясь на кончиках пальцев. Так вот, Орет бросился на землю, и никаким способом нельзя было заставить его подняться; тогда наш милый Гермес взял его на плечи и понес до самой лодки, а я смотрел и смеялся.

6. Антифен. И я, когда шел сюда, не смешивался с остальными, а, бросив всех стонущих, побежал вперед к лодке и занял самое удобное место. Во время плавания они плакали и страдали от качки, а мне их смешной вид доставил большое удовольствие.

7. Диоген. У вас, значит, Кратет и Антифен, вот какие были спутники. А со мной вместе шел ростовщик Блепсий из Пирея, акарнанец Лампид, начальник наемных войск, и богач Дамид из Коринфа. Дамида отравил его собственный сын, Лампид лишил себя жизни из-за любви к гетере Миртии, а злосчастный Блепсий умер, как сам говорил, с голоду, да это и ясно видно было по его необыкновенной бледности и худобе. Я, хотя и знал, все-таки спросил их, от чего они умерли. Дамид стал обвинять своего сына, а я сказал ему: так тебе и следовало — у тебя было около тысячи талантов, ты до девяноста лет прожил в роскоши, а восемнадцатилетнему юноше давал по четыре обола! А ты, акарнанец, — он тоже стонал и проклинал Миртию, — зачем обвиняешь Эрота, когда должен самого себя обвинять? Брагов ты никогда не боялся, храбро сражался впереди всех, а первой встречной девочке с ее притворными слезами и вздохами дал себя поймать! Блепсий сам себя обвинял и бранил за свою глупость, за то, что хранил деньги для наследников, совсем ему чужих, как будто думал, что его жизнь никогда не прекратится. Своими воплями они доставляли мне немалое удовольствие.

8. Но мы уже пришли ко входу; станем поодаль и будем смотреть на входящих. Ох, как их много! И самые разнообразные! Все плачут, кроме новорожденных и неразумных детей. Даже совсем старые горюют! Что с ними? Неужели их так крепко держат чары жизни?

9. Я поговорю с этим дряхлым старичком. Отчего ты плачешь, умерев в таком преклонном возрасте? Отчего огорчаешься, милейший? Ведь ты уже совсем стар! Что же ты, царем был?

Н и щ и й. Нет.

Д и о г е н. Сатрапом, по крайней мере?

Н и щ и й. И не сатрапом.

Д и о г е н. Ты, может быть, был богат, и тебе тяжело, умирая, расставаться с роскошью?

Н и щ и й. Ничего подобного: я жил почти до девяноста лет в крайней нужде, добывая себе пропитание удочкой и леской, детей у меня не было; да к тому же еще был я хромым и почти слеп.

Д и о г е н. И после этого тебе хотелось еще жить?

Н и щ и й. Да; хорошо жить на свете, а смерть ужасна, и надо от нее бежать.

Д и о г е н. Ты с ума спятил, старик; ведешь себя перед лицом судьбы как мальчишка, а ведь ты одних лет с этим вот перевозчиком. Что же сказать о молодых, если привязаны к жизни такие старики, которые должны сами стремиться к смерти как к лекарству против невзгод старости? Пойдем, а то нас могут заподозрить в намерении бежать, если увидят, что мы бродим около входа.

28

Менипп и Тиресий

1. М е н и п п. Хотя ты и слеп, Тиресий, однако это заметить нелегко: у нас здесь ни у кого нет глаз, одни владыны остались, Финея от Линкея не отличишь. Я знаю от поэтов, что ты был прорицателем; я слышал тоже, будто бы ты только один был и мужчиной, и женщиной. Так вот, скажи мне, ради богов, когда тебе жилось лучше: когда ты был мужчиной, или же приятнее оказалось быть женщиной?

Т и р е с и й. Гораздо приятнее быть женщиной, Менипп: меньше забот. Женщины властвуют над мужчинами, а на войну ходить им не надо, не нужно защищать городских стен, спорить на народных собраниях и разбирать дела в судах.

2. М е н и п п. А ты, Тиресий, разве не слышал, что говорит Медея у Еврипида, жалуюсь на женскую долю: что женщины несчастны, что они должны подвергаться невыносимым страданиям при родах? Но скажи мне, — ямбы Медеи напомнили мне это, — ты рожал, когда был женщиной, или провел эту половину своей жизни в бесплодии, не родив ни разу?

Т и р е с и й. Зачем ты об этом спрашиваешь, Менипп?

М е н и п п. Без всяких дурных намерений; ответь, есть можешь.

Т и р е с и й. Бесплодной женщиной я не был, но все-таки не родил ни разу.

М е н и п п. Этого для меня достаточно. Я хотел бы еще знать, была ли у тебя matka.

Т и р е с и й. Конечно, была.

М е н и п п. Постепенно ли у тебя исчезала matka, затянулись женские половые части, пропали груди, а вместо этого появился мужской член и выросла борода, или ты мгновенно из женщины превратился в мужчину?

З. Т и р е с и й. Не понимаю, что значит твой вопрос; ты, кажется, сомневаешься, было ли это на самом деле.

М е н и п п. Значит, в таких вещах не следует сомневаться, а надо принимать все на веру, как дурак, не задумываясь, возможно это или нет?

Т и р е с и й. Тогда ты не поверишь и многому другому, — например, когда услышишь, что женщины превращались в птиц, в деревья и зверей, как Аэдона, Дафна или дочь Ликаона, Каллисто.

М е н и п п. Если я где-нибудь встречу с ними, посмотрю, что они мне об этом скажут. А ты скажи мне, дорогой мой, вот что: когда ты был женщиной, ты тогда уже пророчествовал, как впоследствии, или же только сделавшись мужчиной, получил пророческий дар?

Т и р е с и й. Вот видишь, ты ничего не знаешь обо мне. Я разрешил когда-то спор богов; Гера меня за это ослепила, а Зевс в утешение в несчастии сделал меня прорицателем.

М е н и п п. Ты еще не разучился лгать? Но, впрочем, ты поступаешь лишь как все прорицатели: обычай у вас — ничего не говорить здравого.

29

Аянт и Агамемнон

1. А г а м е м н о н. Аянт, если ты сам себя убил в припадке безумия и нас всех хотел убить, почему же ты обвиняешь Одиссея? Недавно, когда он пришел к нам узнать будущее, ты даже не поглядел в его сторону, не поздоровался со своим боевым товарищем, но, надменно шагая, презрительно прошел мимо.

А я н т. Я был вполне прав, Агамемнон: он — причина моего безумия, он один соперничал со мной из-за успехов.

А г а м е м н о н. Ты хотел, чтоб у тебя совсем не было соперников, хотел победить всех без всякой борьбы?

А я н т. Да; и вот почему: я должен был получить это оружие, так как оно принадлежало моему двоюродному брату. Вы все, гораздо более достойные победы, отказались от соперничества и уступили мне; один лишь сын Лаэрта, которого я не раз спасал от фригийцев, чуть было не убивших его, считал, что он лучше меня и более достоин успехов Ахилла.

2. Ага멤нон. Вيني в этом, милый мой, Фетиду, за то, что она, вместо того чтобы тебе, как родственнику Ахилла, передать доспехи по наследству, сделала их доступной всем наградой.

Аянт. Нет, виноват Одиссей: он один не хотел мне уступить.

Ага멤нон. Можно ему простить, Аянт, что, будучи человеком, он добивался славы — прекрасной вещи, ради которой каждый из нас подвергал себя опасностям; прости ему, что он победил тебя, да и то на основании суда троянцев.

Аянт. Я знаю, кто рассудил дело против меня; но не следует ничего говорить про богов. Одиссея же я не могу перестать ненавидеть, Ага멤нон, даже если бы сама Афина приказала мне это.

30

Минос и Сострат

1. Минос. Этого разбойника Сострата бросить в Пирифлегетон, вот того за святотатство пусть растерзает Химера, а тирана, Гермес, растянуть рядом с Титием, пусть коршуны и у него терзают печень. А вы, праведники, отправляйтесь скорее на Елисейские поля и на Острова Блаженных за то, что добродетельно прожили свою жизнь.

Сострат. Выслушай меня, Минос: может быть, тебе покажется справедливым, что я скажу.

Минос. Опять тебя выслушивать? Разве еще недостаточно выяснилось, Сострат, что ты преступник, что ты убил столько народу?

Сострат. Да, это правда; но стоит еще подумать, справедливо ли я буду наказан.

Минос. Конечно, если вообще справедливо терпеть наказания за преступления.

Сострат. Все-таки ответь мне, Минос. Я тебе задам всего несколько вопросов.

Минос. Говори, только недолго: мне нужно еще других судить.

2. Сострат. Все, что я делал в жизни, делал ли я по собственной воле или это было мне предназначено Судьбой?

Минос. Конечно, Судьбой.

Сострат. Значит, все мы — и праведные, и считающиеся преступными — делали все, исполняя ее волю?

Минос. Да, вы исполнили волю Клото, которая каждому при рождении назначила, что ему делать в жизни.

Сострат. Скажи мне: если кто, принужденный кем-либо, убьет человека, не будучи в состоянии сопротивляться тому, кто его принуждает, как, например, палач или телохранитель: один, повинувшись судье, другой — тирану, кого ты сделаешь ответственным за убийство?

М и н о с. Конечно, судью и тирана; ведь не меч виноват: он служит только орудием злобы того, кто первый был причиной убийства.

С о с т р а т. Благодарю тебя, Минос, за лишний пример в мою пользу. А если кто-нибудь, посланный своим господином, принесет золото или серебро, — кого нужно благодарить, кого провозгласить благодетелем?

М и н о с. Того, кто послал: принесший был ведь только слугой.

3. С о с т р а т. Видишь ли теперь, как ты несправедливо поступаешь, наказывая нас, послушно исполняющих приказания Клото, и награждая тех, которые, делая добро, повинуются лишь чужой воле? Никто ведь не вздумает утверждать, что можно восставать против того, что предопределено с полной необходимостью.

М и н о с. Если ты, Сострат, станешь все точно взвешивать, то увидишь, что еще много других вещей происходит не по требованиям разума. Своими вопросами ты добился того, что я теперь считаю тебя не только разбойником, но и софистом. Гермес, освободи его: наказание с него снимается. Только, смотри, не учи других мертвых задавать такие вопросы.



САТУРНАЛИИ

Жрец. О, Крон! Ты, кажется, правишь миром; по крайней мере сейчас в твою честь совершаем мы заклания и тебе приносим благоприятные жертвы, — о чем же мне, заведующая жертвоприношениями, лучше всего попросить? Что я могу получить от тебя?

Крон. Это уж тебе самому лучше обдумать, что тебе желательно приобрести. А то ты хочешь как будто, чтобы царь был вместе с тем и пророком и знал, какая просьба доставит тебе больше удовольствия. Я же, насколько смогу, не отвергну твоей молитвы.

Жрец. Я давно все обдумал. Я хочу того, что желают все, что нужно каждый день: богатства, золота побольше, владеть полями, получить много рабов, разноцветного тонкого платья, серебро, слоновую кость и разные другие драгоценности. Итак, добрейший Крон, даруй мне все это, чтобы и мне хоть немножко насладиться плодами твоего управления и не оставаться одному всю жизнь обездоленным.

Крон. Видишь ли! Ты попросил у меня того, что не от меня зависит, так как не мое дело распределять подобные вещи. А потому не поскуй, если не получишь их. Попроси у Зевса, когда к нему перейдет власть, через несколько дней. Я же принимаю правление на определенных условиях: в течение семи дней у меня вся полнота царской власти, но, как только перейду свой срок, тотчас же становлюсь частным лицом, одним из большой толпы. Но и в эти семь дней мне не предоставлено права устраивать никаких важных общественных дел. Пить и напиваться, кричать, шутить, играть в кости, назначать царей праздника, угощать рабов, петь, скинув одежды, и бить с опаской в ладоши, а подчас быть сброшенным

головой вниз в холодную воду, с лицом, вымазанным сажей, — вот что мне дозволено делать. А такие значительные вещи, как богатство и деньги, Зевс раздаст кому пожелает.

3. Ж р е ц. Да и от него, Крон, тоже не легко и не скоро получишь. Я, по крайней мере, уже перестал добиваться и просить его во весь голос: Зевс совершенно не внемлет мольбам, но, потрясая эгидой и простирая перун, глядит угрюмо и поражает страхом докучных просителей. Если же подчас и кивнет кому-нибудь благосклонно и сделает богатым, то без всякого разбору: нередко, отвергнув добрых и рассудительных людей, он проливает богатство на совершенных негодяев и глупцов, на таких, кого бить плетями нужно, и женоподобных по большей части. Но все-таки хотелось бы знать, что же ты в силах сделать.

4. К р о н. В целом немало, и все вещи, которыми совсем не стоит пренебрегать, принимая во внимание размеры моей власти и продолжительность правления. Разве мало, по-твоему, победить при игре в кости, когда для других они выпадают единицей, а для тебя постоянно оказывается сверху шестерка? Немало людей таким образом вволю запаслись всем нужным, оттого что кость была к ним милостива и послала выигрыш. Другие же, напротив, выплыли голыми после того, как корабль их разбился вдребезги о такую маленькую скалу, как игральная кость. И далее: пить в свое удовольствие и во время пирушки быть признанным голосистее любого другого певца; затем, при раздаче вина, когда другие за свою неловкость при выполнении обязанностей летят — таково наказание — в воду, быть провозглашенным победителем и унести с собой, как награду, колбасу... Посуди сам, разве это не великие блага? Затем стать одному царем над всеми, получив власть благодаря счастливо выпавшей кости и уже не быть обязанным исполнять смехотворные приказания, а самому иметь право приказывать: одному — прокричать что-нибудь непристойное о себе самом, другому — проплясать голым и, схватив на руки флейтистку, трижды обойти с ней дом, — разве и это все не доказательства моей щедрости? Если же ты станешь жаловаться на то, что это власть не настоящая и не прочная, ты проявишь неблагодарность, ибо сам я, податель всех этих благ, управляю, как видишь, лишь короткое время. Так вот, того, что в моих силах, — выигрыша в кости, права праздничного царя, успеха в песнях и всего перечисленного мной выше, — проси смело, и знай, что я ни за что не стану пугать тебя эгидой или перуном.

5. Ж р е ц. Но, лучший среди Титанов, я не нуждаюсь в таких дарах! Ответь мне на несколько вопросов, которые мне очень хотелось бы разрешить. Если ты ответишь на это, то тем самым вознаградишь меня в достаточной мере за жертву, и на будущее время я отпускаю тебе долги.

К р о н. Спрашивай! Что буду знать — отвечу.

Ж р е ц. Итак, первое: правда ли, что о тебе рассказывают, будто ты подал то, что рождала тебя Рея, и будто она, выкрыв Зевса, подменила младенца камнем и дала тебе проглотить? А Зевс, придя в возраст, прогнал тебя с престола, победив на войне. Потом без стеснений сбросил тебя

в Тартар, заключив в оковы и тебя самого, и всех союзников, которые стояли на твоей стороне.

К р о н. Ну, знаешь ли, не справляй мы сейчас праздник, не будь разрешено пить и бранить господ, сколько захочется, ты узнал бы у меня, что мне разрешено также и гневом раздражаться. Ведь этакое спросил! И не стыдно тебе такого седого и старого бога!

Ж р е ц. Но я это, Крон, не от себя говорю. Ведь и Гесиод, и Гомер, и, я не решаюсь этого сказать, почти все остальные люди верят рассказу о тебе.

б. К р о н. Значит, ты думаешь, что этот пастух, этот пустозвон имел хоть сколько-нибудь здоровое обо мне представление? Ну, сам посуди. Есть ли на свете такой человек, я уж не говорю — бог, который позволил бы себе, сам, по доброй воле, пожрать собственных детей? Надо быть новым Фиестом и попасть, подобно ему, в руки нечестивого брата, чтобы так поступать. Но пусть даже так; можно ли, однако, съесть камень вместо младенца и не заметить этого, если, конечно, не обладаешь зубами, совершенно нечувствительными к боли? Нет. И не воевали мы вовсе, и Зевс не отнимал у меня власти силой, но я сам, добровольно, передал ему ее и отказался от управления миром. А что я не в оковах и не в Тартаре — это, я думаю, ты и сам видишь, если ты не слеп как Гомер.

7. Ж р е ц. Что же случилось с тобой, Крон, почему ты сложил с себя власть?

К р о н. Изволь, я тебе расскажу. Все дело в том, что я был уже стар и страдал вследствие своего возраста подагрой, — отсюда и возникло у людей предположение о моих оковах, так как я был не в силах, меня не хватало на все преступления нынешнего поколения. Вечно приходилось бегать то вверх, то вниз с поднятым перуном и поджигать им разных клятвопреступников, святотатцев и насильников, — дело было хлопотливое, тягостное и подстать только молодому. Вот я и уступил мое место Зевсу, и очень рад, что так сделал. Вообще я решил, что неплохо будет разделить мое царство между сыновьями, благо они у меня имеются, а самому на покое наслаждаться, лежа целые дни за столом, и не возиться больше с молящимися, не выслушивать докучных просьб, одна с другой несовместимых, не греметь громами, не сверкать молниями и не оказываться больше никогда вынужденным прибегать подчас к градобитию. Вместо всего этого я веду сейчас стариковскую жизнь, чрезвычайно приятную: пью нектар покрепче да разговоры разговариваю с Япетом и другими моими сверстниками. А Зевс царствует, испытывая бесчисленные затруднения.

Впрочем, для этих вот нескольких дней я решил сделать исключение, на условиях, которые тебе перечислил. В эти дни я снова принимаю власть, чтобы напомнить людям, каково жилось им при мне, когда все рождалось несеянное, неспашанное и не то что колосья, а были готовыми и печеный хлеб, и мясо; когда вино текло реками, а ручьи бежали медом и молоком. А все потому, что люди тогда были добрые, золотые люди... Так вот по какой причине я на этот короткий срок принимаю правление и вот

почему повсюду веселый гам, песни, шутки и общее равенство всех, и рабов и свободных; потому что при мне вовсе не было рабов.

Жрец. А я, Крон, твое дружелюбие к рабам и узникам объяснял все тем же мифом, думал, что ты делаешь это, желая почтить товарищей по несчастью, так как ты и сам был рабом и не забыл об оковах.

Крон. Да перестанешь ли ты наконец нести этот вздор?

Жрец. Правильно! Сейчас перестану. Только на один вопрос еще ответь мне: игра в кости и в твоё время была в употреблении среди людей?

Крон. Еще как! Но, конечно, играли не на таланты, не на десятки тысяч драхм, как у вас, а самое большее — на орехи. Так что проигравший даже не огорчился и не лил слез о том, что навсегда один остался без хлеба.

Жрец. Правильно, конечно, они делали. Да и на что им было играть, когда они сами были из чистого золота? Мне даже пришла в голову, пока ты говорил, такая мысль: если бы кто-нибудь привел одного из тогдашних златокованных мужей в нашу теперешнюю жизнь и показал его людям, — чему бы подвергся с их стороны этот несчастный? Да ведь они бы, я уверен, сбежавшись, на части его разнесли — как Пенфея менады, или фракиянки Орфея, или Актеона собаки, — ссорясь друг с дружкой из-за того, чтобы унести кусок побольше. Даже, справляя праздник, теперешние люди не могут освободиться от корыстолюбия, и очень многие превращают праздник в источник дохода. А потом одни идут домой, ограбив друзей во время пирушки, а другие бранят тебя, без всякой надобности, и разбирают игральные кости, ничуть перед ними не повинные в том, что люди сами натворили по своей доброй воле.

9. Но вот что еще скажи: почему, в конце концов, ты, бог, привыкший к такой роскоши и притом уже старик, выбрал самое неприятное время года, когда снег покрывает все, ветер дует с севера и нет ничего, что не было бы сковано холодом, а деревья стоят сухие, голые, с опавшими листьями, луга безобразны и отцвели; когда сами люди гнут спины, будто глубокие старцы, собираясь около очага, — и в такое-то время ты справляешь свой праздник? Совсем это не стариковское время и не годится для тех, кто хочет понежиться.

Крон. Ну, знаешь ли, ты уж очень много у меня спрашиваешь! Пора выпить. Ты у меня и без того отнял немалую часть праздника, приставая ко мне со своими мудрствованиями, не очень-то мне нужными. Оставь сейчас все это. Будем есть в свое удовольствие, бить в ладоши и почувствуем себя свободными на нашем празднике. Потом сыграем в кости, по-старинному — на орехи, поставим себе царей и будем их слушаться. И постараемся оправдать пословицу, которая гласит: «старый, что малый».

Жрец. Ну, Крон, пусть никогда не сможет утолить жажду тот, кому не нравятся твои слова! Выпьем же! Ибо довольно с меня и первых твоих ответов. И я твердо решил записать в книгу бесед нашу — о чем я спрашивал и что ты милостиво мне отвечал, и дать записанное для прочтения тем из друзей, кто достоин внимать речам твоим.



КРОНО-СОЛОН

10. Так говорит Кроно-Солон, жрец и пророк Крона, учредитель всех законов, относящихся к его празднику: что подобает беднякам творить, о том я им самим послал особую книгу, все нужное вписав в нее; я уверен, что пребудут они в тех законах, в противном случае они немедленно подвержены будут карам, которые против непокорных с великой строгостью определены. Вы же, богачи, смотрите, чтобы не поступить как-нибудь вопреки законам и не ослушаться нижеследующих установлений. Посему всякий, кто не будет поступать согласно законам — пусть знает, что он окажется неисполнителен не предо мной, законодателем, но перед самим Кроном, который меня избрал для установления законов о празднестве, мне представ не во сне, но недавно воочию явившись мне бодрствующему. Крон же был вовсе не в оковах, вовсе не преисполнен был всякой нечистоты, каким его изображают живописцы, позаимствовавшие от болтливых стихотворцев подобный образ; напротив: Крон имел в руке остро отточенный серп. Вообще он был светел, могуч и в царственные облечен одежды. Таков был зримый облик его. То же, что сказал Крон, было равно преисполнено божественной силы и подобает вам выслушать его слова.

11. Увидев меня, угрюмо шагавшего в раздумье по дороге, Крон согласно божественной природе своей уразумел тотчас, какова причина моей скорби и как тягочусь я нищетой, одетый не по времени года в один лишь хитон. На дворе холод, ветер суровый, лед и снег, я же весьма скудно был защищен от всего этого. К тому же и праздник приближался, и я видел, как другие люди приготавливаются, чтобы жертвы принести и попить, а мое положение не слишком-то было праздничным. И вот, подой-

дя ко мне сзади и за ухо меня схватив и подергав — так обычно поступает бог, приближаясь ко мне, — Крон сказал: «Что это ты словно бы запечалился, Кроно-Солон?» — «Да как же тут не огорчаться, господин мой, — ответил я, — когда я вижу, что только одни негодяи и нечестивцы богатеют сверх меры и роскошествуют, а я и многие другие ученые люди в нужде и недостатке живем. И ты сам, господин, не хочешь положить этому конец и переустроить жизнь, уравнивая доли всех».

«В других отношениях, — ответил бог, — нелегко изменять то, что вы терпите от Клото и от прочих Мойр; что же касается моего праздника, то я исправлю ваше бедственное положение и пусть исправление заключается в следующем: ступай, Кроно-Солон, и запиши несколько моих законов о том, что надлежит делать во время праздника. Пусть не сами с собой наедине богачи празднуют, но разделят с вами свои блага».

«Но я не знаю, что писать», — ответил я.

12. «Я сам, — молвил Крон, — научу тебя». — И вслед за этим, приступив к делу, он стал наставлять меня. Затем, когда я все понял, он добавил:

«И скажи богачам, что если они не будут всего сказанного выполнять, пусть берегутся: не напрасно я серп этот острый при себе ношу. Смешно было бы, если я, сумев отца моего, Урана, в скопца обратить, богачей, которые вопреки моим законам действовать станут, не сделал бы евнухами, чтобы они собирали подавания для Великой Матери, с флейтами и бубнами, превратившись в скопцов, посвященных богине».

Такую произнес Крон угрозу. А потому лучше будет вам не преступать сих установлений.

ЗАКОНЫ КРОНА

Раздел первый. Законы общие

13. — Никому никаких, ни общественных, ни частных дел не делать в течение праздника, за исключением того, что имеет отношение к шутке, забаве и радости: только повара и пекари пусть работают. Пусть господствует для всех равенство — и для рабов и свободных, и для бедняков и богатых. Сердиться, раздражаться, грозить никому не дозволяется. Счета принимать от управителей — и того не дозволяется во время Кроновых празднеств. Никто пусть не проверяет в праздник и не записывает ни своих денег, ни одежд и пусть не занимается в Кроновы дни никакими гимнастическими упражнениями. Речей не слагать и не произносить, кроме забавных каких-нибудь и веселых, содержащих насмешку и шутку.

Раздел второй. Законы частные

14. — Задолго до праздника богатые пусть запишут на табличке имена всех своих друзей, каждого особо, и пусть имеют наготове денежки в количестве одной десятой годового дохода и одежду, какая окажется у них в излишке и поглубже, чем для себя приготовленная, и сосудов серебряных немалое количество. Все это должно быть под руками. В канун же праздника, во-первых, пусть вокруг дома будет обнесено какое-нибудь очистительное средство, а богатые пусть изгонят из своих жилищ мелочность, сребролюбие, корыстолюбие и все прочие подобные пороки, обычно живущие под их кровлей. Когда же чистым учинят жилище, пусть принесут жертвы Зевсу, подателю богатства, Гермесу дающему и Аполлону многодарящему. Затем под конец дня пусть прочтут упомянутую таблицу со списком друзей.

15. — Распределив сами, каждому по достоинству, пусть богачи еще до захода солнца разошлют подарки своим друзьям. Посыльных не должно быть более трех-четырех из самых надежных слуг и уже не молодых. Надлежит все написать на записке, сколько чего посылается, чтобы у обеих сторон не могло возникнуть подозрений против рабов, доставляющих посылку. Сами же рабы могут выпить по одной чаше вина каждый и должны поспешно возвращаться обратно, ничего более не требуя. Людям ученым все нужно посылать в двойном количестве, ибо они достойны получить двойную долю. Словесные дополнения к дарам должны быть предельно краткими и сдержанными. Неприятного пусть никто ничего не присылает и отнюдь не расхваливает посылаемые подарки.

— Богач богачу ничего не должен посылать: равно воспрещается богачу в Кроновы дни угощать человека равного ему достатка.

— Из того, что приготовлено к рассылке, не оставлять для себя ничего. И раскаяния не должно возникать по поводу подарков.

— Если кто-нибудь в прошлом году, находясь в отъезде, остался обделенным, пусть получит свою прошлогдную долю вместе с нынешней.

— Пусть уплатят богачи долги за своих друзей-бедняков, а равно и плату домохозяину, если кто-нибудь, задолжавши, не имеет возможности внести платы сам. И вообще вменяется богатым в обязанность знать, в чем всего более нуждаются их друзья.

16. — И у получающих не должно быть недовольства своей долей; присланный подарок, каков бы он ни был, пусть кажется большим. Однако кувшин вина, заяц или жирная курица не могут быть признаны подарком на праздник Крона. И пусть не обращают в насмешку Кроновы приношения.

— Бедняк, если он человек ученый, пусть пошлет в ответ богатому: или книгу одного из древних писателей (только не сулящую ничего дурного, веселую, застольную), или собственное сочинение, какое сможет. Богач же должен этот подарок принять со светлым лицом, а принявши — прочесть не медля. Если же какой-либо богач оттолкнет или выбросит подарок — пусть знает, что подлежит он грозному серпу Крона, хотя бы

даже и послал друзьям что следовало. Прочие же бедняки пусть посылают: кто венок, кто немножко воскурений.

— Если же бедняк, через силу, пошлет богачу платье, серебра или золота, то посланное им подлежит отобранию в казну и продаже со внесением денег в сокровищницу Крона. Бедняк же должен получить от богача на следующий день не более двухсот пятидесяти ударов тростью по рукам.

Раздел третий. Законы застольные

17. — Мыться — когда тень на часах будет в шесть футов; перед купанием — играть в кости на орехи. Возлежать каждому где придется; высокое положение, знатность и богатство не должны давать никаких преимуществ.

— Вино всем пить одно и то же. И пусть не отговаривается богатый болезнью желудка или головной болью, чтобы одному, на этом основании, пить лучшее вино.

— Мясо делить на всех поровну. Слугам уголивости ни к кому никакой не проявлять, но не замедляться перед одним и не пролетать мимо другого, когда им заблагорассудится, во время подачи того, что нужно. Равным образом, воспрещается перед одним класть огромный кусок, а перед другим — такой, что меньше и быть не может, или одному — окорок, другому — челюсть свиную; напротив, должно соблюдаться полное равенство.

18. — Виночерпий, как внимательный страж, пусть зорко следит за каждым гостем — всего менее за хозяином — и еще внимательней прислушивается.

— Чаши для вина одинаковые.

— Разрешается предлагать здравицы, если кто-нибудь пожелает.

— Пусть все пьют за всех, если пожелают, а первым пусть пьет за других сам богач.

— Не принуждать пить того, кто не сможет.

— На попойку не разрешается никому приводить ни танцовщиков, ни кифаристов настоящих. Можно привести только что начавшего учиться, если кто пожелает.

— В островах да будет мерой их безобидность для всех.

— Ко всему этому играть в кости на орехи. Если кто-нибудь станет играть на деньги, пусть на следующий день ему не дают есть. Оставаться или уходить каждому разрешается сколько хочется, когда вздумается.

— Когда же рабов начнет богач угощать, пусть прислуживают друзья его вместе с ним.

— Законы эти каждому из богатых людей записать на медную доску, выставить их на самой середине двора и перечитывать постоянно. Надлежит помнить, что до тех пор, пока будет стоять эта доска, ни голод, ни мор, ни пожар, ни другое какое-нибудь несчастье не войдут в жилище богача. Но если когда-нибудь — да не случится этого — доска будет уничтожена, тогда пусть богачи попробуют отратить то, что им придется испытать.



ПЕРЕПИСКА С КРОНОМ

Письмо первое

Привет от меня Крону

19. Я уже и раньше писал тебе откровенно о моем положении и о том, что по бедности моей мне одному лишь угрожает опасность не получить своей доли в том празднике, о котором ты возвестил людям. Я, помнится, присовокупил, что бессмысленнейшим считаю такой порядок, когда одни из нас, людей, богатеют сверх меры и живут в роскоши, не делясь тем, что имеют, с более бедными, а другие от голода погибают и все это накануне Кроновых праздников. Но поскольку ты мне на то письмо ничего не ответил, я счел нужным снова напомнить тебе о том же самом. Дело в том, любезнейший Крон, что тебе следовало бы сначала уничтожить это неравенство и все блага предоставить на общее пользование, а потом уже давать приказ относительно праздника. А так, как сейчас обстоит дело, муравью с верблюдом не тягаться, по пословице. Или еще лучше: вообрази себе трагического актера, который одной ногой стоит на подножье, которое представляют трагические котурны, другую же ногу оставим ему босой. Так вот, если актер вздумает в таком виде передвигаться, — ты сам понимаешь, — ему придется делаться попеременно то высоким, то низким, смотря по тому, на какую ногу он ступит. Такое же точно неравенство существует в нашей жизни: одни, подвязав котурны, выступают перед нами в торжественном хоре, ведомые счастливой Судьбой, а мы, большинство, собственной подошвой на землю ступаем, хотя, будь уверен,

могли бы не хуже тех играть и двигаться, если бы кто-нибудь нас снарядил подобно актерам.

20. Однако от поэтов слышал я рассказ, будто в старину у людей не так обстояли дела, когда ты еще один правил миром. Земля незаселенная, не вспаханная рождала людям всякие блага, так что для каждого был готов обед: ешь досыта, а реки — одни вином, другие молоком, а третьи даже медом текли; лучше же всего, сами люди, говорят, в те времена золотыми были, бедность даже и близко к ним никогда не подходила. Нас же самих даже свинцовыми, пожалуй, было бы несправедливо назвать, а разве чем-нибудь еще менее ценным. И пища в трудах большинством добывается, но зато нужда и безвыходность, «охи» и всякие «откуда бы достать» и — «судьба наша горькая». И много еще подобных благ нам, беднякам, предоставлено. Но будь уверен, все это меньше бы нас мучило, если бы богачей мы не видели, которые в этакое блаженстве живут, столько золота, столько серебра под замками держат, столько одежды имеют и рабами, выездами, доходными домами, поместьями и всякой всячиной владея в изобилии, — не только никогда ничем с нами не поделаются, но и глядеть-то на нас в большинстве не считают нужным.

21. Вот это нас всего больше душит, Крон, и невыносимым нам представляется такое положение, когда один, развалясь на пурпурных покрывалах, среди множества благ, нежится, рыгает и, друзьями славословимый, справляет непрерывный праздник, а я и мне подобные лишь во сне грезим, не удастся ли откуда-нибудь достать четыре обола, чтобы можно было хотя бы хлебом или горстью муки ячменной наполнить желудок и лечь спать, пощипывая на закуску кардамон, кресс-салат или грызя головку лука. Итак, Крон, если бы это изменить и переделать на жизнь для всех равную, или, в крайности, самим богачам приказать, чтобы они не в одиночку наслаждались благами, но из множества мер золота одну щепотку на нас на всех отсыпали и из одежды хотя бы ту, что молью поедена, выдали, право же, это бы их не обидело. Ведь все это гибнет и от времени портится. Лучше было бы отдать это нам, чтобы было что на себя накинуть, чем гноить в ящиках и сундуках, покрытое густой плесенью.

22. Да и обедать каждому из богачей следовало бы, приглашая к себе кто — четвертых, кто — пятерых из бедняков; однако обращаться с простыми людьми на обеде не по нынешнему обыкновению, но более демократично, чтобы все получали долю равную, а не так, как теперь: одни набивают желудок яствами, и слуга стоит перед ним, дожидаясь пока тот не откажется есть, а как к нам подойдет, едва мы приготовимся протянуть руку — слуга уже спешит пройти мимо, только показав нам миску или то, что осталось от пирога. И когда подают жареного кабана, не следовало бы кравчему класть перед хозяином полсвиньи целиком, вместе с головой, а остальным подносить кости, во что-нибудь завернутые. Надо было бы и виночерпиев предупредить, чтобы не дожидались, чтобы семь раз попросил пить каждый из нас, но если раз велит — тотчас и наливали бы; и чашу подавать большую, наполнив доверху, как и хозяину. И самое вино

должно быть для всех пирующих одно и то же; в самом деле, где, в каком законе написано, чтобы один напивался благоухающими винами, а у меня желудок разрывался от неперебродившего сока.

23. Если ты все сказанное исправишь и перестроишь, Крон, — ты сделаешь так, что жизнь станет действительно жизнью и праздник — настоящим праздником. В противном случае, пусть богачи празднуют, мы же ляжем спать, от всей души желая им, когда придут после купанья к столу, чтобы раб опрокинул у них амфору и разбил ее, чтобы у повара пригорела похлебка, и, по рассеянности, он положил в чечевицу соленую рыбу; чтобы забежавшая собака сожрала всю колбасу, пока повара заняты другим делом, и полпирога в придачу. А свинья, лань, поросята, в то время как будут жариться, пусть учинят то же, что Гомер о быках Гелиоса рассказывает; или еще того лучше: пусть не поворачиваются медленно, но, вскочив, убегут в горы, унося с собой и вертелы. Откормленные же птицы, хотя уже ошипанные и приготовленные, пусть вспорхнут и тоже унесутся прочь, чтобы богачи без нас их и не попробовали бы.

24. А чтобы наибольшее испытать огорчение, пусть какие-нибудь муравьи, вроде индийских, вырыв из сокровищниц богачей их денежки, унесли ночью в народную казну. И одежды по небрежности зрителей пусть будут уничтожены и в решето превращены любезными мышами, чтобы нельзя было отличить одежду от рыбацкой сети. И отроки у богачей цветущие и кудрявые, которых они Гиацинтами, Ахиллами и Нарциссами величают, пусть, протягивая им кубок, вдруг станут лысыми, пусть исчезнут их кудри и борода вырастет острая, как у тех клинобородых, что выступают в комедиях, а на висках щетина появится не в меру густая и очень колючая, середина же вся гладкой и голой останется.

Такие-то пожелания и еще того больше мы выскажем богачам, если они не решат, оставив свое чрезмерное себялюбие, на общую пользу употребить свое богатство и уделить нам из него хоть малую часть.

Письмо второе

Привет от Крона мне, высокочтимому

25. Что ты за взор болтаешь, милейший, излагая мне в своем письме нынешнее положение и предлагая произвести передел благ. Это, скорее, дело другого, ныне правящего миром. Дивлюсь я, право, если ты один из всех людей не знаешь, что я, хоть и был в старину царем, уже давно перестал им быть, между сыновьями разделив царство. Теперь Зевс более других подобными делами занимается. Наша же власть не идет дальше игры в кости, веселого шума, песен и пьянства — да и то на срок не более семи дней. Так что в более важных случаях по вопросам, тобой затронутым, — о том, чтобы уничтожить неравенство и всем одинаково быть либо бедня-

ками, либо богатыми, — пусть уже Зевс ведет переговоры с вами. Если же в чем-нибудь праздничном кто-нибудь обижен будет или получит лишнее — в этом случае, пожалуй, мне принадлежит решение. И я отправляю письмо богатым о пирушках, о мере золота и об одеждах, — чтобы и вам они что-нибудь посылали к празднику. Ибо справедливо и достойно богачам так поступать, как вы говорите, если нет у них никакого разумного возражения.

26. А в целом да будет вам, беднякам, ведомо, что вы в заблуждении пребываете и неправильно судите о богатых. Вы уверены, что богачи всячески блаженствуют и одни только такую сладкую ведут жизнь, поскольку возможно им и обедать роскошно, и напиваться сладким вином, и с отроками цветущими и с женами иметь общение, и одеждами мягкими облекаться. А о том и знать не знаете, каково это все на самом деле. Ибо такая жизнь заботы возбуждает немалые и приходится богатым ночи не спать из боязни, как бы управляющий не оказался бездеятельным или не украл чего-нибудь тайком, как бы вино не прокисло, как бы в хлебе не завелись черви, а грабитель не похитил кубки, как бы народ не поверил клеветникам, распускающим слухи, будто он, богач, стремится к тирании. И все это лишь ничтожная часть того, что их огорчает. Да, если бы вы поняли, сколько у богача страхов и забот, вы решили бы, что богатства следует избегать всячески.

27. В самом деле: если бы так прекрасно жилось богачам и царям, — что же ты думаешь, неужели я такой неистовый безумец, чтобы отказаться от всего и уступить другим, а самому сидеть частным человеком и терпеть подчиненное положение. Нет, зная многочисленные бедствия, которые неизбежно сопутствуют богачам и властителям, я отказался от власти — и хорошо сделал.

28. Вот и то, о чем ты ныне так жалобно зывал ко мне — что одни-две свининой и пирогами наполняют желудки, а вы, бедняки — кресс-салат, дикий лук и чеснок грызете ради праздника, — пораздумай-ка, каково это все в действительности. В настоящее время каждый из богачей чувствует себя приятно и нисколько, может быть, не обременительно; но некоторое время спустя обратной стороной поворачивается дело. Когда на другой день вы встанете, то ни головной боли не будет у вас, как у тех после пьянства, ни тяжелой перегарной отрыжки от чрезмерного пресыщения. А богачи и этих благ отведывают и большую часть ночи, пропутавшись с мальчишками, либо с женщинами, либо еще как-нибудь, по указке своей козлиной похоти, — глядишь, и нажили без труда кто истощение, кто чахотку, кто водянку — от избытка наслаждения. А кого из них ты мог бы, не задумываясь, указать, кто бы не был весь желтым, не выглядел совсем как труп? Кто из них до старости дошел на собственных ногах, а не доставлен четырьмя рабами на носилках, весь в золоте снаружи и в лохмотьях изнутри, словно наряды актеров, сшитые из самых дешевых лоскутков? А вы, правда, редких рыб не пробуете и не кушаете, но неужели вы не видите, что зато ни подагра, ни чахотка вам тоже неведомы, или разве

уже приключится что-нибудь по какой-либо иной причине. Впрочем, и для богачей не представляет приятности изо дня в день вкушать яства до полного пресыщения — напротив, ты увидишь иной раз, что богачи с такой же жадностью тянутся за простыми овощами или луковицей, с какой ты смотришь на их зайцев и жареную свинину.

29. Я не стану говорить, сколько у богачей еще разных горестей: сын беспутный, или жена, в раба влюбленная, или любовник, поддерживающий связь больше по необходимости, чем ради удовольствия, и, вообще, много есть такого, чего вы как раз не знаете, а смотрите только на их золото да пурпур. Когда случается увидеть богачей, выезжающих на белой упряжке, вы раскрываете рты от изумления и склоняетесь перед ними. А вот если бы вы глядели на них свысока, презирали их, не оглядывались на серебряную повозку, не засматривались во время беседы на украшающий их палец смарагд и, случайно коснувшись плаща, не удивлялись его мягкости, но оставили бы богачей один на один с их богатством, — поверьте, они сами бы пришли к вам и просили с ними откусать, чтобы выставить вам напоказ свои ложа, столы и посуду, ибо во всем этом нет никакой пользы, если обладание происходит без свидетелей.

30. И, конечно, не трудно обнаружить, что большинство вещей богачи ради вас приобретают, не для того, чтобы самим ими пользоваться, а для того, чтобы вы удивлялись им.

Все это я говорю вам в утешение, зная и ту, и другую жизнь. И следует вам справлять мой праздник, держа в памяти, что немного спустя всем придется уйти из жизни: и богачам, оставив свое богатство, и вам, оставив свою бедность. Но, тем не менее, я, согласно обещанию, отправляю богачам письмо и убежден, что они не пренебрегут написанным мною.

Письмо третье

Привет богачам от Крона

31. Бедняки недавно прислали мне письмо, в котором жаловались, что вы не уделяете им ничего из вашего имущества, и, в общем, просили меня общими для всех сделать блага жизни, чтобы каждый бедняк имел в них свою долю: справедливо, по их словам, установить полное равенство и уничтожить такое положение, когда один получает удовольствий больше, чем нужно, а другой совсем ничего не получает. Я со своей стороны ответил им, что эти вопросы лучше разберет Зевс. Относительно же настоящего праздника и тех обид, которым они, по их мнению, должны на нем подвергнуться, — я видел, что тут мне принадлежит решение, и обещал написать вам. Требования, которые выставляют бедняки, по-моему, умеренны. «Как, — заявляют они, — замерзая на холоде, голодом одержимые, мы можем при этом праздновать». А потому, если я хочу, чтобы и

бедняки участвовали в празднике, они предлагают мне заставить вас выдать им из одежды, у вас имеющейся, ту, что окажется лишней и будет поглубже, чем для себя приготовленная, равно и несколько зерен золота уделить. Если вы это сделаете, говорят они, то и бедняки со своей стороны не будут дальше оспаривать у вас ваше добро судом Зевса. В противном случае они грозят, что потребуют передела в первый же день, когда Зевс будет разбирать дела. Таковы условия бедняков, не слишком-то для вас тяжелые по сравнению с огромными состояниями, которыми вы обладаете, успешно ведя свои дела.

32. Зевс! Чуть не забыл: и относительно обедов, — хотелось бы им обедать с вами и об этом они настоятельно просили упомянуть в этом письме, так как ныне-де вы одни роскошествуете, заперев свои двери, а если иногда и подумаете угостить кого-нибудь из бедняков, то больше неприятностей, чем радости оказывается в этом обеде, и чуть не все совершающееся превращается для них в оскорбление: например, им не дают пить вино, одинаковое с другими гостями, как будто они, о заступник Геракл, люди несвободные. И осуждения они достойны за то, что не решаются среди обеда встать и уйти, оставив вас со всем вашим пиршеством. Но уж хоть бы вволю напиться, а то, по их словам, и того не бывает, ибо у ваших виночерпиев, как у спутников Одиссея, воском заткнуты уши. Остальное настолько позорно, что я даже не решаюсь говорить о нем, взяв хотя бы их жалобы на способ, каким делится мясо, и на слуг, которые подле вас стоят, пока вы переполнитесь снедью, и пробегают мимо них, и много еще других подобных проявлений мелочности, которые совершенно не пристали людям благородным. Куда радостней и дружнее пирушка, на которой царит равенство. Затем и зовется «равнодавцем» предводитель ваших попойек, чтобы все получали поровну.

33. Итак, примите меры, чтобы бедняки больше не обвиняли вас, но почитали и любили, получив то немного, что для вас будет расходом не приметным, а для них в черный день подарком навсегда памятным. Иначе вам не придется и в городах обитать, если бедняки не будут вместе с вами согражданами, бесчисленную со своей стороны внося дань на процветание городов. Некому будет восхищаться вашим богатством, если вы будете богачами сами по себе и под покровом темноты. Нет. Пусть увидят многие и подивятся вашему серебру и столам, их поддерживающим; пусть пьют за ваше здоровье и, осушая кубок, осматривают его со всех сторон и в тяжести его убеждаются, собственными взвесивши руками, любуются тонкостью рисунка и заключенным в нем повествованием и количеством золота, расцветшего на кубке под рукой художника. Ведь мало того, что вы прослывете людьми добрыми и человеколюбивыми — вы и от зависти со стороны бедняков избавитесь: ибо кто из людей умеренных станет завидовать богачу, который не забывает других и готов с ними поделиться, кто не пожелает ему прожить долгие годы, наслаждаясь благами жизни. А так, как вы живете сейчас — счастье не находит свидетелей, богатство порождает зависть, жизнь протекает безрадостно.

34. Никогда, я уверен, не сравняются между собой удовольствия тех, кто в одиночестве, словно львы или угрюмые волки, набивают себе желудок, и тех, кто пирует среди разумных гостей, готовых всячески оказать услугу: они не позволяют пирушке оставаться немой и безгласной, но наполняют беседу застольными рассказами, безобидными шутками и всяческим весельем, предаваясь приятнейшим развлечениям, что любезны Дионису и Афродите, любезны и Харитам. После, на следующий день, везде рассказывая о вашем радушии, бедняки заставят всех полюбить вас. Это и дорогой ценой купить стоило бы.

35. Ответьте мне: если бы бедняки при встрече с вами, зажмурив глаза, проходили мимо, допустим это, — разве не огорчило бы вас отсутствие людей, которым вы могли бы показать ваши пурпурные одежды, многочисленную толпу, сопровождающую вас, и перстни огромные. Я уже не буду говорить о том, что злые замыслы и ненависть против вас неизбежно зарождаются в бедняках, если вы предпочтете одинаково наслаждаться своей роскошью. Ибо пожелания, которыми они вам угрожают, чудовищны. Да минуют они вас, и да не будут бедняки поставлены в необходимость произнести эти пожелания. Ибо вам уже не придется тогда отведавать ни колбасы, ни пирога, но разве только обгрызков собаки, в чечевицу у вас попадет соленая рыбешка, а кабан и лань, когда их будут жарить, задумают бежать из кухни в горы, а куры, гони-погоняй, без крыльев полетят прямо в руки к этим самым беднякам. И хуже всего то, что самые цветущие виночерпии во мгновение ока станут лысыми, после того, как они вдобавок разобьют кувшин с вином.

Вот об этом всем подумайте и решите, что бы сделать для праздника приличествующее и для вас наиболее безопаснейшее. Облегчите великую бедность этих людей и ценой небольших издержек вы превратите бедняков в безупречных друзей.

Письмо четвертое

Привет от богачей Крону

36. Итак, ты думаешь, Крон, что только к тебе одному бедняки обратились с этим письмом, и ты не знаешь, что Зевс уже оглох от их воззваний, от требований, все того же самого передела, от жалоб на судьбу, которая де неравное учинила распределение, и на нас за то, что мы, будто бы, не считаем нужным ничем поделиться с бедняками. Но он, на то он и Зевс, знает, что за люди обращаются к нему с жалобой, и потому большей частью пропускает их слова мимо ушей. Но перед тобой все-таки мы хотим оправдаться, поскольку сейчас ты, как-никак, над нами царствуешь.

Дело в том, что мы со своей стороны все приняли во внимание, о чем ты нам пишешь: что хорошо из большого достатка помогать нуждающим-

ся и что приятнее иметь и бедняков в своем обществе, за своим столом. И мы всегда жили и поступали именно таким образом, назначенные равно-давцами, чтобы ни один сострапезник наш не мог ни на что пожаловаться.

37. А бедняки вначале уверяют, что лишь в немногом нуждаются, но стоит нам раз распахнуть перед ними свои двери, и они начинают, не переставая, требовать одно за другим. И, если случится им получить все не сразу, по первому слову, — тут уже и гнев, и ненависть, и, всегда у бедняков готовое, злоречье. И они могут прилгнуть сколько им будет угодно — слушатели все-таки поверят им, как людям, точно о нас осведомленным по личному знакомству. Так что имеется лишь два выхода: или ничего не давать и стать с бедняками в отношения совершенно враждебные, или отдать все и немедленно превратиться в бедняка, и самому сделаться одним из попрошаек.

38. Но все остальное еще полбеда. На самом же обеде: когда беднякам самим лень станет обжираться и набивать свой желудок, после того как выпьют более, чем достаточно, они то мальчика красивого, подающего им кубок, украдкой за руку ущипнут, то к наложнице или к законной супруге хозяина подбираются. Потом их рвет по всей столовой. А на другой день, вернувшись домой, бедняки бранят нас, повествуя о том, как они жаждали и мучились голодом. И если тебе кажется, что мы это понапрасну на них наговариваем, вспомни вашего прихлебателя, Иксиона: вы удостоили его приглашения к своему столу, дали ему равную с вами честь, а он напился и на Геру покусился, милый человек.

39. По этим-то и подобным им причинам мы решили на будущее время, безопасности нашей ради, совершенно закрыть беднякам доступ в наши дома. Если же в твои дни бедняки соберутся на пирушку с тем, чтобы проявить в просьбах умеренность, как они сейчас об этом заявляют, и не будут чинить на пирах никаких оскорблений хозяевам — что же, в добрый час; пусть войдут в наше общество и вместе с нами пируют. И кое-что из одежды мы пошлем им, как ты велишь, и золота, сколько можно, — и даже еще приплатим, и вообще ничего не забудем. А бедняки, со своей стороны, отбросив всякие хитрости в общении с нами, пусть из льстецов и прихлебателей превратятся в друзей. Таким образом ни в чем ты не сможешь упрекнуть нас, если бедняк согласится поступать как должно.



СНОВИДЕНИЕ, или ПЕТУХ

М и к и л л. Пусть тебя, негоднейший петух, сам Зевс в порошок разотрет за то, что ты так завистлив и звонко голосист! Я был богатым, пребывал в сладчайшем сне, обладая удивительным блаженством, а ты стал особенно как-то криклив и, громко запев, разбудил меня, чтобы даже ночью я не мог никуда скрыться от бедности, которая мне больше, чем ты сам, опротивела. Судя по тому, что кругом еще стоит полная тишина и пред-рассветный холод не заставляет меня ежиться, как всегда по утрам, — он вернее всяких часов возвещает приближение дня, — ночь еще не перевалила за половину, а эта бессонная тварь, точно она охраняет самое золотое руно, с самого вечера уже начала зловеще кричать! Но погоди радоваться! Я тебе отомщу, так и знай! Пусть только наступит день — я разможжу тебе голову палкой: сейчас очень уж хлопотно гоняться за тобой в такой темноте.

Петух. Господин мой Микилл! Я хотел оказать тебе небольшую услугу, опередив ночь, насколько был в силах, чтобы, встав до зари, ты мог справить побольше дел: ведь если ты прежде чем встанет солнце сработаеть хоть один башмак, тем самым уже оставишь позади себя часть пути и добудешь себе муки на хлеб насущный. Но если тебе приятнее спать, изволь: я успокоюсь и буду нем сильнее, чем рыбы. Только смотри: богатея во сне, не пришлось бы тебе голодать по пробуждении.

2. М и к и л л. О, Зевс Чудовищный! И ты, заступник Геракл! Это что еще за новое бедствие? По-человечьи заболтал петух!

П е т у х. Как? Тебе кажется чудовищным то, что я говорю по-вашему?

М и к и л л. А по-твоему не чудовищно? Ой, боги! Отвратите от меня беду!

П е т у х. Ты, по-моему, совершенно необразованный человек, Микилл! Ты не читал поэм Гомера, где конь Ахилла, Ксанф, сказав надолго «прости» ржанию, стоит среди битвы и рассуждает, произнося, как рапсод, целые стихи, не то что я сейчас, говоря неразумной речью. И пророчествовал конь, и грядущее возвещал. И тем не менее поведение его отнюдь не казалось странным, и внимавший ему не призывал, подобно тебе, заступника, считая слышимое бедой, требующей отклонения. А что бы ты стал делать, если бы у тебя залепетал киль корабля Арго или Додонский дуб заговорил и стал пророчествовать, или если бы увидел ты ползущие шкуры и услышал, как мычит мясо быков, наполовину уже изжаренное и вздетое на вертела? Что касается меня, то, восседая рядом с Гермесом, самым разговорчивым и рассудительным из богов, и разделяя к тому же с вами и кров и пищу, я без труда мог бы изучить людской язык. Но если ты пообещаешь помалкивать, я, пожалуй, решился бы открыть тебе истинную причину, почему я говорю по-вашему и откуда взялась у меня эта способность разговаривать.

3. М и к и л л. Уж не сон ли это: петух, беседующий со мною так рассудительно? Ну что же, рассказывай, любезный, ради твоего Гермеса, какая там у тебя есть причина говорить по-человечески. А так как я буду молчать и никому про это не скажу — то чего же тебе бояться? Кто поверит мне, если я начну что-нибудь рассказывать, ссылаясь в подтверждение на слова петуха?

П е т у х. Итак, слушай! Я прекрасно сам знаю, что очень для тебя странную поведу речь. Дело в том, Микилл, что тот, кто сейчас представляется тебе петухом, еще не так давно был человеком.

М и к и л л. Слышал я, действительно, кое-что про вас, петухов, будто в старину случалось с вами нечто подобное: говорят, один юноша, которого и звали, как вас, петухов, — Петухом-Алектрионом, стал другом Аресу и выпивал вместе с богом, в веселых прогулках участвовал с ним и в любовных делах его был сообщником. Когда отправлялся Арес к Афродите распутничать, то брал с собою и Алектриона; а так как больше всего бог опасался Гелиоса, как бы тот не подсмотрел и не проболтался Гефесту, то всегда оставлял юношу снаружи, у дверей, чтобы он предупредил, когда Гелиос начнет вставать. Но вот однажды задремал Алектрион, стоя на страже, и невольно оказался предателем: Гелиос незаметно появился перед Афродитой и Аресом, который беззаботно отдыхал, так как был уверен, что Алектрион предупредит его, если кто-нибудь вздумает подойти. Так и вышло, что Гефест, извещенный Гелиосом, поймал обоих, опутав наброшенной на них сетью, которую давно для них изготовил. Отпущенный на свободу, — когда, наконец, его отпустили, — Арес рассердился на

Алектриона и превратил его в эту самую птицу вместе со всеми его доспехами, так что и сейчас у петуха на голове имеется гребень шлема. Вот почему вы, петухи, желая оправдаться перед Аресом, — хотя теперь это уже бесполезно, — чувствуя приближение солнца, задолго поднимаете крик, возвещая его восход.

4. П е т у х. Рассказывают и такое, Микилл... Однако со мной случилось нечто в другом роде: ведь я совсем недавно перешел из человека в петуха.

М и к и л л. Каким образом? Вот что мне хочется больше всего узнать.

П е т у х. Слышал ты о некоем Пифагоре, сыне Мнесарха, с острова Самоса?

М и к и л л. Ты говоришь, очевидно, о том софисте-пустомеле, который не разрешал ни мяса отведать, ни бобов поесть, самое что ни на есть любимое мое кушание, объявляя его изгнанным со стола? Да, еще он убеждал людей, чтобы они в течение пяти лет не разговаривали друг с другом.

П е т у х. Знаешь ты, конечно, и то, что, прежде чем стать Пифагором, он был Эвфорбом?

М и к и л л. Говорят, милый мой петух, что этот человек был обманщик и чуждодей.

П е т у х. Так вот перед тобой я, этот самый Пифагор. А потому, дорогой, перестань поносить меня: тем более, что ты ведь не знаешь, какой это был человек по своему складу.

М и к и л л. Еще того чудеснее: петух-философ! Расскажи все же, о сын Мнесарха, как ты оказался вместо человека птицей, а вместо самосца танагрцем. Неправдоподобно это, и не очень-то легко поверить, так как я уже подметил в тебе два качества, чуждые Пифагору.

П е т у х. Какие же?

М и к и л л. Во-первых, ты болтун и крикун, тогда как Пифагор советовал молчать целых пять лет; а во-вторых, нечто уже совершенно противозаконное: вчера, не имея ничего, что бы дать тебе поклевать, я, как тебе известно, вернувшись, принес бобов, и ты, нисколько не задумываясь, подобрал их. Таким образом необходимо предположить одно из двух: или ты заблуждаешься и на самом деле ты — кто-то другой, или, если ты действительно Пифагор, значит, ты преступил закон и, поевши бобов, совершил нечестивый поступок, не меньший, чем если бы пожрал голову собственного отца!

5. П е т у х. Ты говоришь так, Микилл, потому, что не знаешь, чем это вызвано и что приличествует каждой жизни. Я в прежние времена не вкушал бобов, потому что философствовал, — ныне же не прочь поесть их, так как бобы пища птичья и нам не запрещенная. Впрочем, если хочешь, выслушай, как из Пифагора стал я тем, чем являюсь сейчас, какие жизни до этого прожил, какие выгоды извлек при каждом превращении.

М и к и л л. Говори, пожалуйста: сверхприятным будет мне послушать тебя, и если бы мне предложили на выбор: слушать ли твое повествование о вещах столь необыкновенных или снова узреть мой всебла-

женный сон, который недавно видел, — не знаю, что бы я выбрал, до того родственными считаю я твои речи с тем сладостным видением и равноценными признаю вас обоих — тебя и драгоценное сновидение.

П е т у х. Ты все еще зовешь обратно свой сон, каким бы он ни был, явившийся тебе? И все еще пытаешься удержать какую-то пустую видимость, преследуя своим воспоминанием призрачное и, по слову поэта, «силы лишенное» блаженство?

б. М и к и л л. Да, петух, будь уверен: я никогда не забуду бывшего видения. Так много меду на глазах оставило отлетевшее сновидение, что с трудом освобожденные от него веки вновь погружаются в сон. Для примера: такое же сладкое раздражение, какое дает вращение перышка в ухе, доставляло мне виденное во сне.

П е т у х. Геракл! Ты говоришь, словно какая-то страшная любовная сила скрыта в твоём сновидении, если, как говорят, будучи крылатым и вместе с тем ограниченным в своем полете областью сна, сновидение перепархивает через проведенную границу и продолжает наяву носиться перед твоими открытыми глазами, такое сладостное и яркое. Мне хотелось бы поэтому послушать, что же это за сон, который для тебя трижды желанный.

М и к и л л. Готов рассказать: мне так приятно вспомнить и поговорить о сновидении! А когда же ты, Пифагор, расскажешь о своих превращениях?

П е т у х. Когда ты, Микилл, перестанешь грезить и сотрешь мед со своих век; а пока говори первым, чтобы мне знать, через какие врата — из кости слоновой или рога — пришел посланный тебе сон.

М и к и л л. Ни через те, ни через другие, Пифагор.

П е т у х. Однако Гомер говорит только об этих двух входах.

М и к и л л. Оставь, пожалуйста, в покое этого болтуна-поэта, ничего не понимающего в сновидениях. Сны-нищие, может быть, действительно выходят из этих ворот, то есть сны вроде тех, какие видел Гомер, да и то не слишком отчетливо, потому что был слеп. Ко мне же, должно быть, сквозь золотые ворота прибыл мой сладостный сон, сам облеченный в золото и много неся золотых денежек.

П е т у х. Довольно золотых разговоров, любезный Мидас... Я думаю, у тебя одно с ним желание, — вот ты и наспал себе весь этот сон с целыми золотыми приисками.

7. М и к и л л. Я видел много золота, Пифагор, — много золота. Знаешь, как оно прекрасно? Какие сверкающие мечет молнии? Как это сказал Пиндар, восхваляя золото? Прочти мне, если помнишь, то место, где он говорит: что «вода лучше всего», но потом восхищается золотом, и вполне справедливо, это — в самом начале самого прекрасного из всех его стихотворений.

П е т у х. Не эти ли слова ты ищешь?

Лучше всего вода, но, словно сверкающий пламень

В сумраке ночи, светит злато в чертогах счастливого мужа.

М и к и л л. Вот-вот, это самое место. Пиндар как будто видел мой сон, так хорошо он восхваляет золото. Но пора тебе, наконец, узнать, что это был за сон; слушай же, о мудрейший из петухов. Как тебе известно, я вчера не ужинал дома. Богатый Евкрат, встретившись со мной на рынке, велел помыться и к обычному часу прийти к нему ужинать.

8. П е т у х. Еще бы не знать, когда я целый день просидел голодный, пока, наконец, уже поздно вечером, ты не вернулся слегка подвыпивший и не принес с собой те пять бобов, — не слишком-то обильный ужин для петуха, который когда-то был атлетом и не без славы выступал на состязаниях в Олимпии.

М и к и л л. Когда же после ужина я вернулся домой, я тотчас лег спать, насыпав тебе бобов, и тут-то «благоуханною ночью», по выражению Гомера, предстал мне поистине божественный сон и...

П е т у х. Расскажи сперва, что было у Евкрата, Микилл: какой приготовлен был ужин и все, что случилось во время пиршества. Не мешает тебе еще раз поужинать, воссоздавая, как бы в сновидении, вчерашний ужин и пережевывая в воспоминании съеденное.

9. М и к и л л. Я боялся наскучить тебе, рассказывая про это, но если ты сам того хочешь, — я готов сообщить. До вчерашнего дня, Пифагор, я ни разу за всю мою жизнь не бывал за столом у богатого человека. И вот вчера по какой-то счастливой случайности я встречаюсь с Евкратом. Я поздоровался с ним, назвав по обыкновению «господином», и хотел удалиться, чтобы не срамить его, следуя за ним в моем истертом плаще. А он говорит: «Микилл, я сегодня праздную день рождения дочери и пригласил к себе очень многих друзей. Одному из них, говорят, нездоровится, и он не может поэтому ужинать с нами. Так помойся и приходи вместо него, если только этот гость не захочет прийти, потому что он еще колеблется». Выслушав это, я поклонился низко и пошел прочь, моля всех богов послать какую-нибудь лихорадку, колюще в боку или подагру на этого нерешительного болеющего гостя, чье ложе за ужином я был приглашен занять как его заместитель и наследник. Время до купанья показалось мне целой вечностью. Я то и дело измерял глазами длину тени на часах и думал, не пора ли уже идти в баню. И когда пришел, наконец, желанный час, я поспешно смыл с себя грязь и вышел, одевшись очень прилично; даже плащ перевернул наизнанку, накинув его той стороной, что почище, вверху.

10. У дверей дома застал я много других гостей; в их числе находился принесенный на носилках четвергма слугами и тот, кого я должен был заместить за ужином, кто считался больным; да и видно было, что он чувствует себя скверно: он кряхтел, кашлял и отхаркивался глубоко и противно, весь желтый и опухший. На вид ему было лет шестьдесят, говорили, что это философ, один из тех, кто несет всякий вздор перед молодежью. Борода у него была настоящая козлиная и весьма нуждалась в помощи цирюльника. Когда Архيبий, врач, спросил его, чего ради в таком состоянии он явился в гости, тот ответил: «Никто не должен изменять долгу, а в особенности человек, занимающийся философией, хотя бы ты-

сдачи недугов вставали на пути его: Евкрат ведь подумает, что я пренебрегаю им». — «Не думает, — заметил я, — а, напротив, будет тебе благодарен за то, что ты захотел лучше умереть у себя дома, чем у него за столом выхаркнуть вместе с мокротой и душу». Тот величественно сделал вид, будто не слышит моей насмешки. Немного времени спустя является, после омовения, Евкрат и, увидав Фесмополида, — так звали философа, — говорит: «Учитель, хорошо, что ты сам ко мне пожаловал, хотя ты ничего бы не потерял, если бы и не пришел: все, как подобает, было бы послано тебе домой». И с этими словами Евкрат вошел в дом, ведя под руку Фесмополида, который, кроме того, опирался еще и на слуг.

11. Я уже собирался уходить, когда Евкрат обернулся и, заметив мой весьма сумрачный вид, сказал после довольно продолжительного размышления: «Заходи и ты, Микилл, и откушай с нами. Я велю сыну ужинать с матерью на женской половине, чтобы тебе было место за столом». Итак, я вошел, а еще немного — так зря и «остался бы волк с разинутой пастью». Меня стесняло только, что я как будто прогнал с пирушки сына Евкрата. Когда пришло время возлечь, то прежде всего человек пять дюжих парней подняли и, клянусь Зевсом, не без труда возложили за стол Фесмополида, подоткнув его со всех сторон подушками, чтобы он сохранял приличный вид и мог выдержать подольше. Затем, так как никто не решался возлечь рядом с ним, то без стеснений ближайшее место отвели мне, так что мы оказались с ним сотрапезниками. Потом, Пифагор, мы принялись за ужин, за многочисленные и разнообразные кушанья, поданные на золоте и на серебре. Были тут и золотые кубки, и молодые, красивые прислужники, и музыканты, и скоморохи, забавлявшие нас во время еды, — вообще это было приятнейшее времяпрепровождение, и только, к безмерной моей досаде, Фесмополид надоедал мне, постоянно рассказывая о какой-то там добродетели, поучая, что два отрицания дают утверждение, что если есть «день», то нет «ночи». Между прочим, он утверждал даже, будто у меня есть рога, вообще приставал ко мне без конца со множеством подобных, совершенно мне ненужных философских хитросплетений, отравляя мне удовольствие и мешая слушать игру на кифарах и пение. Вот каков был, петух, вчерашний ужин!

П е т у х. Не из приятных, Микилл, если жребий соединил тебя с этим старым пустомелей.

12. М и к и л л. А теперь слушай, я расскажу тебе про сон. Мне грезилось, будто самый Евкрат бездетен и, не знаю отчего, умирает. И вот, призвав меня и составив завещание, по которому наследником всего его имущества являлся я, он, немного спустя, умер. Я же, вступив во владение, стал черпать золото и серебро большими такими ковшами, но сокровища не иссякали, а, напротив, притекали все снова и снова. И все остальное — платья, столы, кубки, прислуга, — все, разумеется, стало моим. Затем я начал выезжать на белой упряжке, развалясь, привлекая на себя все взоры и вызывая зависть встречных. Множество народу бежало впереди

меня или скакало верхом, а позади следовало еще того больше. Я же, в платье Евкрата, нанизав на пальцы штук шестнадцать тяжелых перстней, приказал изготовить на славу блестящее угощение для приема гостей. Друзья же, как всегда бывает во сне, оказались тут как тут, только что подали ужин, и начиналась уже дружная попойка. Так обстояло дело. Я выпил из золотой чаши за здоровье каждого из присутствующих, и уже начали подносить к столу пирожное, как вдруг ты закричал не вовремя и смешал наше пиршество, опрокинув столы, а все богатства мои рассыпал и пустил по ветру... Ну, что ты скажешь? Разве я не вправе был рассердиться на тебя? Ах, пусть бы еще три ночи кряду снился мне этот сон!

13. П е т у х. Неужто ты так златолюбив и привержен к богатству, Микилл, и только ими восхищаешься и счастье видишь в том, чтобы иметь много денег?

М и к и л л. Не только я думаю, Пифагор, но и ты сам, когда был Эвфорбом, выходил на битву с ахейцами, перевив свои кудри золотом и серебром даже на войне, где больше пристало облекаться в железо, чем в золото. Однако ты и тогда находил нужным сражаться, повязав свои волосы золотой повязкой. И, мне кажется, Гомер потому и сравнил твои кудри с Харитами, что

...златом и серебром были они перехвачены...

И, конечно, волосы казались гораздо красивее и были милее сердцу перевитые золотом, соединяя с его блеском свой собственный. Впрочем, тебе, златокудрый, простительно, если, будучи сыном Панфа, ты знал цену золоту. Но сам отец людей и богов, сын Крона и Реи, влюбившись в известную деву из Арголиды, не нашел ничего более обаятельного, во что превратиться, чем золото, и обмануть таким образом стражу Акрисия, — ты слышал, конечно, как Зевс золотом сделался и, пролившись сквозь кровлю, соединился с возлюбленной. К чему же еще перечислять тебе, сколько пользы приносит золото, как оно делает обладающих им красивыми и умными, и сильными, доставляя честь и славу; золото часто в короткое время привлекает к дотоле незаметным и неизвестным людям взоры всех и песни певцов.

14. Ты ведь знаешь Симона, своего соседа и товарища по ремеслу? Еще недавно он ужинал у меня, когда я во время праздника Кроноса варил протертые овощи, подбросив два куска колбасы?

П е т у х. Как не знать этого курносого Симона-коротышку: он стащил у нас тогда и унес после ужина с собой подмышкой глиняную чашку — единственную, что была у нас. Я сам это видел, Микилл.

М и к и л л. Значит, это он ее украл; а потом клялся столькими богами, что не он виновен. Что же не крикнул мне тогда, петух, если видел, что нас обкрадывают?

П е т у х. Я кричал ку-ку-реку — все, что я мог тогда сделать. Но что же случилось с Симоном? Ты как будто хотел что-то о нем сказать.

М и к и л л. Был у него двоюродный брат, чрезвычайно богатый, — Дримил по имени. При жизни он ни обола не дал Симону. Как же! Дримил и сам-то боялся тронуть свои сокровища. Но так как он недавно умер, то все по закону принадлежит Симону, и теперь этот оборванец, вылизывавший чужие блюда, весело разгуливает, облаченный в багрянец и пурпур, имеет слуг, выезд, золотые кубки, столы на ножках из слоновой кости; все ему низко кланяются, а на нас он и не глядит больше. Недавно, увидев, что он идет мне навстречу, я сказал: «Здравствуй, Симон», а он с досадой ответил: «Прикажете этому нищему не преуменьшать моего имени: не Симоном, а Симонидом прозываюсь я». А главное, женщины уже влюбляются в него, а он ломается перед ним и глядит свысока: одних допускает до себя и оказывает им милости, другие же, отвергнутые им, грозят повеситься с отчаяния. Вот видишь, скольких благ является источником золото, раз даже уродов оно превращает в красавцев и достойными любви их делает, словно воспетый в поэмах пояс Афродиты. Ты слыхал у поэтов:

О золото, желанный гость,

или еще:

Одно лишь злато над людьми имеет власть.

Но ты усмехнулся, петух, на мои слова. В чем дело?

15. П е т у х. А в том, что ты, Микилл, по своему невежеству, подобно большинству людей, имеешь неправильное представление о богатых. Будь уверен, они живут гораздо более жалкой жизнью, чем вы. Говорю тебе это потому, что я несколько раз уже был и бедняком, и богачом и всякую жизнь изведаль на опыте. Пройдет немного времени, и ты сам все узнаешь.

М и к и л л. Видит Зевс, пора, наконец, и тебе рассказать, как это ты превращался и чему был свидетелем в каждой своей жизни.

П е т у х. Слушай же. Но прежде узнай, что я еще не видал человека, который жил бы счастливее, чем ты.

М и к и л л. Чем я, петух? Чтоб тебе самому так посчастливилось жить! Ты сам побуждаешь меня браниться с тобой... Однако, рассказывай, начиная с Эвфорба, как ты превратился сначала в Пифагора, и дальше, по порядку, вплоть до петуха. Ты, наверное, много различного видал и испытал в своих многообразных жизнях.

16. П е т у х. О том, как моя душа, выйдя из Аполлона, впервые слетела на землю и облеклась в человеческое тело, выполняя некий приговор, было бы слишком долго рассказывать. Да и неблагоприятно было бы мне говорить, а тебе слушать о подобных вещах. Затем я стал Эвфорбом...

М и к и л л. А я, о удивительный, кем был до этого? Раньше вот что скажи мне: а я тоже когда-нибудь превращался, подобно тебе?

П е т у х. Разумеется.

М и к и л л. Кем же я был?

П е т у х. Ты? Ты был индийским муравьем, из тех, что выкапывают золото.

М и к и л л. Что? И я не осмелился, злосчастный, принести с собой про запас хоть несколько золотых крупинок из той жизни в эту? Ну, а чем же я потом буду? Скажи, — ты, наверное, знаешь. Если чем-нибудь хорошим, я немедленно встану и повешусь на перекладине, где ты сейчас сидишь.

17. П е т у х. Этого тебе не узнать никакими ухищрениями... Так вот, когда я стал Эвфорбом, — возвращаясь к моему рассказу, — я сражался под Илионом и принял смерть от Менелая; несколько позднее перешел в Пифагора. До этого я некоторое время оставался бездомным, пока Мнесарх не изготовил для меня жилище.

М и к и л л. Без пищи и питья, дружище?

П е т у х. Разумеется; ведь только тело нуждается в подобных вещах.

М и к и л л. Тогда Расскажи мне сперва о том, что происходило в Илионе. Так все это и было, как повествует Гомер?

П е т у х. Откуда же он мог знать, Микилл, когда во время этих событий Гомер был верблюдом в Бактрии? Я скажу тебе, что ничего такого чересчур необыкновенного тогда не было: и Аянт был вовсе не так огромен, и сама Елена совсем не отличалась такой красотой, как думают. Правда, я помню ее белую, длинную шею, которая выдавала в ней дочь лебедя, но в остальном она выглядела очень немолодой, будучи почти одних лет с Гекубой; ведь первым обладал ею в Афинах похитивший ее Тезей, который жил во времена Геракла. Геракл же захватил Трою еще задолго до нас, приблизительно во времена тех, кто тогда были нашими отцами, — мне рассказывал об этом Панф, говоря, что видел Геракла, будучи еще совсем мальчишкой.

М и к и л л. Ну, а как Ахилл? Таков он был, превосходивший всех доблестью, или и это лишь пустые слова?

П е т у х. С ним я совершенно не сталкивался, Микилл, и вообще я не мог бы сообщить тебе с такою уж точностью то, что происходило у ахейцев. Откуда мне знать, когда я был их противником? Однако друга его Патрокла я без большого труда сразил, пронзив копьем.

М и к и л л. А вслед за тем Менелай — тебя, еще того легче... Но довольно об этом. Рассказывай о Пифагоре.

18. П е т у х. В целом, Микилл, этот Пифагор был просто софистом: нечего, я полагаю, скрывать истину. А впрочем, был я человеком не без образования, не без подготовки в разных прекрасных науках. Побывал я и в Египте, чтобы приобщиться к мудрости тамошних пророков, и, проникши в их тайники, изучил книги Гора и Изиды, а потом снова отплыл в Италию и так расположил к себе живших в ту пору эллинов, что они за бога стали почитать меня.

М и к и л л. Слыхал я и об этом, и о том, что они считали тебя восставшим из мертвых, и о том, будто ты показывал им однажды свое золотое бедро... Скажи, однако: что это тебе пришлось в голову установить закон, запрещающий вкушать мясо и бобы?

П е т у х. Микилл! Не расспрашивай о таких вещах!

М и к и л л. О, петух! Почему же не расспрашивать?

П е т у х. Потому что мне совестно говорить тебе об этом правду.

М и к и л л. А между тем отнюдь не следовало бы стесняться говорить перед человеком, который является твоим сожителем и другом, — хозяином, я, пожалуй, не осмелюсь больше сказать.

П е т у х. Ни здравого смысла, ни мудрости в этом не было. Просто я видел, что, обнародовав обычные установления, такие, как у большинства законодателей, я никоим образом не заставлю людей удивляться им. Напротив, чем больше я буду чудачить, тем, я знал, таинственнее буду казаться для них и почтеннее. А потому я счел за лучшее, вводя новшества, воспретить даже говорить об их причинах, чтобы один предполагал одно, другой — другое и все пребывали в изумлении, как при темных предсказаниях оракула. Ну? Видишь: теперь твой черед насмеяться надо мною.

М и к и л л. Не столько над тобой, сколько над кротонцами, метапонтийцами и тарентийцами и над всеми прочими, кто безоговорочно следовал за тобой и целовал твои следы, которые ты оставлял, ступая по земле...

19. Ну, а совлекши с себя Пифагора, в кого ты облачился после него?

П е т у х. В Аспизию, гетеру из Милета.

М и к и л л. Тыфу! Что ты говоришь! Так, значит, и женщиной, среди прочих превращений, побывал Пифагор? И было некогда время, когда и ты, о достопочтеннейший из всех известных мне петухов, нес яйца? Ты, бывшая Аспазия, спала с Периклом, беременела от него, и шерсть чесала, и заставляла челнок сновать по основе, и вела распутный образ жизни, как гетера?

П е т у х. Да, я все делал, но не я один, а также Тиресий, еще до меня, и сын Элата, Кеней, так что все насмешки, которые ты направишь против меня, и против них также обращены будут.

М и к и л л. Что же? Какая жизнь была тебе слаще: когда ты был мужчиной или когда Перикл взял тебя себе в жены?

П е т у х. Вот так вопрос! Самому Тиресию не в пользу пошел бы ответ на него.

М и к и л л. Но если ты не хочешь ответить, то Еврипид дал на этот вопрос удовлетворительный ответ, сказав, что предпочел бы трижды встать в ряды со шитом, чем один раз рожать.

П е т у х. Однако я припомню тебе это, Микилл, когда, немного времени спустя, ты должна будешь рожать: потому что и ты в великом круговращении не раз будешь женщиной.

М и к и л л. Удаться бы тебе, петух! Что же, ты думаешь, все люди попеременно становятся то милетцами, то самосцами? Ты, говорят, и в бытность свою Пифагором в расцвете юности не раз служил Аспазией для самосского тирана.

20. А в каком же облике ты возник снова после Аспазии? Мужчиной или женщиной?

П е т у х. Киником Кратетом.

М и к и л л. О Диоскуры чудовищной крайности: из гетеры — в философы!

Петух. Затем я был царем, потом нищим, немного погодя сатрапом, после конем, галкой, лягушкой и так далее без конца, было бы долго перечислять все. Напоследок, вот уже несколько раз, я воплощаюсь в петуха, потому что мне понравилась эта жизнь; побывав в услужении у многих — и у царей, и у нищих, и у богачей, — я, в конце концов, живу сейчас при тебе и смеюсь, слушая твои ежедневные стоны и жалобы на бедность и видя, как ты дивишься богачам, не ведая живущих с ними бед. Да, если бы ты знал, сколько у них забот, то стал бы смеяться над самим собой, над тем, что мог раньше думать, будто высшее счастье — богатство.

Микилл. Итак, Пифагор, или, как тебе больше нравится называться, чтобы не вносить беспорядка в нашу беседу, величая тебя то так, то эдак...

Петух. Совершенно безразлично, будешь ли ты именовать меня Эвфорбом или Пифагором, или Аспазией, или Кратетом, так как все это — я. А впрочем, называй тем, чем видишь сейчас, зови петухом, — это, пожалуй, будет всего лучше, чтобы не оскорблять эту с виду, правда, незначительную птицу, которая, однако, столько заключает в себе душ.

21. Микилл. Итак, петух, поскольку ты испытал без малого все жизни и всем побывал, — может быть, ты, наконец, расскажешь подробно и отдельно относительно богатых, как они живут, и особо о бедных, чтобы мне видеть, правду ли ты говоришь, объявляя меня счастливее, чем богачи.

Петух. Так вот, поразмысли над следующим, Микилл. Тебе и до войны дела мало, когда придет весть о приближении врагов, и не тревожат тебя заботы, как бы вторгшийся неприятель не опустошил твоё поле, не вытоптал сад, не вырубил виноградники. При звуках трубы, — если только ты их расслышишь, — ты, самое большое, оглядываясь кругом, ищешь, куда обратиться, чтобы спастись самому и избежать опасности. А люди зажиточные не только трепещут за собственную жизнь, но страдают еще, смотря с городских стен, как увозится и растаскивается все, чем владели они в своих имениях... Нужно ли платить налог — обращаются к ним одним. Идти в бой — богачи первыми подвергаются опасности, выступая стратегами или начальствуя над конницей. А ты идешь с ивовым щитом, легкий и проворный, если придется спасать свою жизнь, и готовый ублажить себя едой на торжественном пире, когда победитель-стратег будет приносить благодарственную жертву.

22. С другой стороны, во время мира ты, происходя из простого народа, являешься в народное собрание неограниченным владыкой богатых, которые дрожат перед тобой и гнут спины и стараются умиловить раздачей денег. Чтобы ты не терпел недостатка в банях, в состязаниях, в зрелищах и во всем остальном, позаботиться об этом — дело богачей; ты же, как суровый хозяин, только следишь за богатыми да проверяешь, иногда не давая им вымолвить слова, и, если тебе заблагорассудится, щедро осыпашь их градом камней и отбираешь в казну их достояние. А сам не боишься ни доносчиков, ни грабителей, которые могли бы украсть твоё зо-

лото, перескочив через колючую ограду или подкопавшись под стену. Ты не знаешь никаких хлопот, подводя счета, требуя уплаты долгов, споря, чуть не до драки, с негодяем-управляющим, раздираемый на части тысячами забот. Нет: окончив башмак и получив семь оболов платы, ты выходишь вечерком из дому и, помывшись, если захочется, покупаешь себе черноморскую селедочку или другую рыбешку, или несколько головок луку и закусываешь в свое удовольствие, распевая песни и ведя философские беседы с кем-нибудь о милой бедности.

23. Благодаря этому ты здоров и крепок телом и вынослив к холоду. Работая закаляет тебя и делает противником, с которыми трудно не посчитаться всему тому, что для других кажется непреодолимым. Небось, к тебе не придет ни один из обычных тяжелых недугов; а если даже и схватит тебя иногда легкая лихорадка, ты, обойдясь собственными средствами, спустя немного времени вскакиваешь с постели, быстро стряхиваешь с себя нездоровье голодом, и болезнь убегает поспешно, уstraшенная, видя, что ты напиваешься холодной водой и посылаешь подальше врачей с их предписаниями. А богачи? Какими только недугами не страдают они по своей невоздержанности! Подагры, чахотки, воспаления, водянки! Ибо все это порождение роскошных обедов.

Таким образом многие из них, подобно Икару, поднимаются слишком высоко и приближаются к солнцу, не зная, что воском скреплены их крылья и что великий подчас производят они шум, летя вниз головой в море. Те же, кто, подобно Дедалу, не улетают высокомерно в заоблачные выси, но держатся ближе к земле, охлаждая по временам воск морской влагой, — те по большей части благополучно совершают перелет.

М и к и л л. Ты хочешь сказать: умеренные и благоразумные люди?

П е т у х. Да, тогда как других, Микилл, ты нередко увидишь потерпевшими позорнейшее кораблекрушение: таков Крез, с ошипанными перьями и под смех персов восходящий на костер; таков Дионисий, свергнутый тиран, после такой огромной власти предстающий нам в Коринфе простым учителем, который обучает ребят читать по слогам.

24. М и к и л л. Но скажи, петух: когда ты сам был царем, — ты ведь говоришь, что и поцарствовать тебе пришлось, — какова тебе тогда показалась жизнь? Наверное, ты был пресчастлив, достигнув самого что ни на есть главного из всех существующих благ?

П е т у х. И не напоминая мне об этом времени, Микилл, до такой степени трижды несчастным был я тогда: со стороны казалось, что я во всех отношениях, как ты сейчас сказал, пресчастлив, но внутренне со мной неразлучны были бесчисленные горести.

М и к и л л. Какие ж бы это? Странное что-то ты говоришь и не очень правдоподобное.

П е т у х. Я правил немалой страной, Микилл, которая всего приносила вдоволь, а по своему многолюдству, по красоте городов была одной из самых замечательных стран. Судоходные реки протекали по моему царству, и море с прекрасными гаванями находилось в моем распоряжении.

Существовали многочисленное войско и хорошо обученная конница, и телохранителей я имел немало, и военных кораблей, и денег без счета, имел многое множество золотых сосудов и все, с помощью чего разыгрывает свои представления каждая власть, раздутая в своей гордости до крайности. Во время моих выходов многие склонялись передо мной, видя во мне некое божество; толпы народа сбегались увидеть меня, другие — всходили на крыши, за великое счастье почитая рассмотреть подробно мою упряжку, пурпурный плащ, золотую повязку и бегущих впереди глашатаев, и следующую за мной свиту. Я же, знавший все, что мучило меня и терзало, прощал этим людям их неведение и исполнялся жалостью к себе самому. Я походил на те огромные изваяния, которые созданы были Фидием, Мироном или Праксителем: каждое из них тоже представляет снаружи какого-нибудь Посейдона или Зевса, прекрасного, сделанного из золота и слоновой кости, с громом-молнией или трезубцем в деснице, но если наклонишься и посмотришь, что находится внутри их, то заметишь какие-то перекладки, скрепы, насквозь торчащие гвозди, подпорки и клинья, смолу, глину и все прочее скрытое от зрителя безобразие. Я не говорю уж о множестве мышей и землероек, которые нередко их населяют. Вот нечто подобное представляет собой и царская власть.

25. М и к и л л. Из твоих слов я еще не вижу, что это за глина, перекладки и скрепы власти. В чем состоит ее великое внутреннее безобразие? Привлекать взоры всех своим выездом, над столькими людьми властвовать, принимать божеские почести — все это, действительно, подходит к приведенному тобой сравнению с огромным изваянием бога, ибо все это поистине божественно. А теперь скажи, что же заключено внутри этого изваяния?

П е т у х. Не знаю, с чего начать, Микилл. Назвать ли тебе все страхи, опасения, подозрения, ненависть окружающих, их заговоры, а отсюда — сон непродолжительный и всегда лишь поверхностный, и сновидения, полные тревоги, и в клубок свивающиеся заботы, и постоянное предчувствие чего-то недоброго, — или говорить тебе о постоянной занятости, заботах о казне, судах, походах, указах, договорах, расчетах? За всеми этими делами даже во сне не удастся вкусить никакой радости, но приходится одному из всех все обдумывать и пребывать в бесконечных хлопотах.

Лишь к Агамемнону, сыну Атрея...

Сладостный сон не сходил, ибо многое двигалось в мыслях...

А между тем все ахейцы спокойно храпели. Царя Лидии беспокоит глухой сын, царя персов — Клеарх, набирающий наемников для Кира; того тревожит Дион, что-то нашептывающий на ухо одному из сиракузян, другого — Парменион, славословимый всеми; Пердикке не дает покоя Птолемей, а Птолею — Селевк. Но есть и другие невзгоды: любовник, уступающий лишь необходимости; наложница, питающая склонность к другому; слухи

о том, что этот и тот собираются отложиться от тебя; два или четыре оруженосца о чем-то шушукуются между собой. А самое главное — это то, что приходится с особенной подозрительностью относиться к наиболее близким и всегда ожидать, что от них придет что-нибудь ужасное: вот я умер от яда, поданного сыном, а другой подобным же образом гибнет от руки своего любовника, и такая же смерть постигает, конечно, и третьего.

26. М и к и л л. Довольно! Ужасные ты говоришь вещи, петух. Разумеется, куда безопаснее, наклонившись, кроить кожу, чем пить за здоровье из золотой чаши вино с подмешанным ядом — с цикутой или аконитом. Самое большее, мне грозит опасность, что по ошибке соскользнет ножичек в сторону, вместо того чтобы сделать прямой разрез, и я немного окровавню себе пальцы, порезавшись. А те люди, по твоим словам, смертельными услаждаются угощениями, живя к тому же среди бесчисленных бед. И потом, когда совершится их падение, они оказываются в положении, очень напоминающем трагических актеров: нередко можно видеть, как действующие лица, будто настоящие Кекропы, Сизифы или Телефы, разгуливают до поры до времени в диадемах и шитых золотом плащах, с развевающимися кудрями, держа мечи с рукоятью из слоновой кости. Но если, как нередко случается, кто-нибудь, оступившись, упадет посреди сцены, то вызывает естественный смех зрителей, когда маска вместе с диадемой ломается на куски и показывается, все в крови, подлинное лицо актера. Заголившиеся ноги обнаруживают жалкие лохмотья, надетые под платьем, и подвязанные, безобразные, несоразмерные по ноге котурны. Видишь, любезный петух, как я и сравнениями пользоваться у тебя выучился? Ну, такова, по рассмотрении, оказалась жизнь полновластных правителей. А когда ты превращался в коня, собаку, рыбу или лягушку, как жилось тебе в такие времена?

27. П е т у х. Долгий ты затеваешь разговор, и не ко времени он сейчас будет. Впрочем, вот самое главное: не было среди всех этих жизней ни одной, которая показалась бы мне более суетной, чем жизнь человека, так как каждая измеряется лишь соответственными природными влечениями и потребностями. Конь — откупщик, лягушка — доносчик, галка — софист, комар — кулинар, петух — распутник, короче: ничто из того, чем наполнены мысли у вас, людей, не встретится никогда среди животных.

28. М и к и л л. Все это, может быть, и правда, петух. Но я не постесняюсь сказать тебе, что со мной происходит: я еще не могу отучиться от желаний, которое питал с детства, а именно — стать богатым. Напротив, мой сон все еще стоит перед моими глазами, показывая мне груды золота, а главное — у меня просто дух захватывает при мыслях о проклятом этом Симоне, который роскошествует среди всяких благ.

П е т у х. Я тебя вылечу, Микилл. Так как на дворе еще ночь, вставай и следуй за мной. Я сведу тебя к этому самому Симону и к домам других богачей, чтобы ты посмотрел, что у них делается.

М и к и л л. Да как же, когда двери везде на запоре? Ведь не заставишь же ты меня подкапываться под стены?

Петух. Ни в каком случае. Но Гермес, которому я посвящен, исключительной наделил меня способностью: самое длинное перо в моем хвосте, загибающееся, настолько оно нежно...

Микилл. У тебя два таких пера.

Петух. Правое из них... Так вот, тот, кто с моего разрешения его вытащит и будет держать при себе, пока я этого хочу, сможет открыть любую дверь и все видеть, сам оставаясь невидимым.

Микилл. Ты скрыл от меня, петух, что ты — тоже волшебник. Дай мне только на один раз твое перо, и ты увидишь, что немного погодя все имущество Симона будет перетасщено сюда. Я все вынесу, проникнув к нему тайком, а он снова будет всюду собирать объедки и тянуть дратву.

Петух. Не положено случиться этому. Гермес повелел: если кто-нибудь, владея пером, совершит нечто подобное, я обязан закричать и уличить его в воровстве.

Микилл. Невероятные ты говоришь вещи: чтобы Гермес, сам будучи вором, стал запрещать другим заниматься тем же делом... Но все же пойдем. Я воздержусь от золота, если смогу.

Петух. Сперва выдерни, Микилл, перо... Но что ты делаешь? Ты оба выдернул!

Микилл. Так оно будет надежнее, петух, да и тебя это меньше обезобразит: нехорошо, если ты останешься с хвостом, обезображенным с одной стороны.

29. Петух. Допустим! Куда же мы пойдем? К Симону сперва — или к кому-нибудь другому из богачей?

Микилл. Ни к кому другому, только к Симону, который, разбогатев, почитает себя достойным носить имя уже не в два слога, а в целых три. Ну, вот мы и у дверей. Что же мне теперь делать?

Петух. Прикоснись пером к запору.

Микилл. Готово! О Гермес! Двери распахнулись, будто их ключом отперли.

Петух. Иди же вперед. Видишь? Вот он сидит, не спит и что-то считает.

Микилл. О Зевс, действительно: вот Симон перед тусклой, просящей масла свечей. Но какой он желтый, петух, — не знаю почему, он весь иссох и будто растаял, от забот, очевидно; совсем не было разговоров, чтобы Симон болел чем-нибудь.

Петух. Послушай, что он говорит, и узнаешь, почему он в таком состоянии.

Симон. Итак, те семьдесят талантов, зарытые под моей постелью, в полной безопасности, и решительно никто их не видел; что касается шестнадцати, то, должно быть, конюх Сосил подсмотрел, как я их прятал под яслями: то-то он и вертится все время около конюшни, хотя раньше совсем не был старательным и трудолюбивым. Раскрадено, кажется, у меня еще того больше! Иначе откуда бы взялись деньги у Тибия, чтобы покупать вчера, как рассказывают, таких огромных соленых рыб или дарить

жене серьги, стоящие целых пять драм? Мои они денежки растаскивают, злосчастный я человек! Опять же чаши — их так много — хранятся у меня в ненадежном месте. Боюсь, как бы кто-нибудь не подкопался под стену и не украл их. Сколько людей мне завидует и замышляет недоброе, а уж больше всех сосед Микилл.

М и к и л л. Слышит Зевс, правильно: потому что я не хуже тебя и, уходя, тоже унесу блюдо за пазухой.

П е т у х. Тише, Микилл! Не выдавай нашего присутствия!

С и м о н. Лучше всего не спать и самому все сторожить. Встану и обойду кругом дом... Ты кто такой? Стой! Попался, разбойник!.. Зевс! Оказывается, ты — столб; ну, хорошо! Дай-ка я откопаю мои деньги и пересчитаю снова: не ошибся ли я третьего дня... Вот... снова стукнул кто-то... Наверное, ко мне идут... Я в осаде, все против меня... Где мой кинжал?.. Если мне кто-нибудь попадется... Схороню снова деньги.

30. П е т у х. Вот как обстоят, Микилл, дела Симона! Что ж? Пойдем к кому-нибудь другому, пока еще остается у нас немного ночного времени.

М и к и л л. Несчастный! Что за жизнь Симон ведет. Пусть врагам моим достанется такое богатство. Но мне хочется дать ему по уху, прежде чем уйти.

С и м о н. Кто меня ударил? Грабят! Беда!

М и к и л л. Вопи! Не знай сна и стань таким же желтым, как золото, с которым ты сплавился. А мы, если ты согласен, пойдем к Гнифону, ростовщику. Неподдалеку он живет... Ну вот: и эта дверь для нас открыта.

31. П е т у х. Видишь, и этот не спит от забот, высчитывая проценты на пальцах, совсем иссохших. А спустя немного придется ему все это оставить и сделаться молю, комаром или песьей мухой.

М и к и л л. Вижу жалкого и глупого человека, который уж и сейчас живет немногим лучше моли или комара: и он тоже весь исчах под тяжестью своих расчетов... Пойдем к другому!

32. П е т у х. Не хочешь ли к твоему Евкрату? Смотри-ка: и эта дверь открыта. Войдем же.

М и к и л л. Все это еще недавно было моим.

П е т у х. Ты все еще грезишь богатством? Смотри же. Видишь? Вот он, сам Евкрат, человек почтенного возраста, — лежит под собственным рабом.

М и к и л л. Великий Зевс! Что я вижу! С черного хода! Какое нечеловеческое сластолюбие и разврат! А с другой стороны — жена под поваром! Тоже распутством занимается.

33. П е т у х. Ну, что же? Хочешь такое наследство получить, Микилл, и жить вполне по-евкратовски?

М и к и л л. Ни за что, петух! Лучше умереть с голоду! Прощайте и деньги, и ужины! Пусть лучше все мое богатство состоит из двух обол, чем позволять собственному рабу подкапывать меня...

П е т у х. Однако уже рассветает, занимается день. Пойдем теперь к себе домой. А остальное, Микилл, в другой раз рассмотрим!



КИНИК

1. Л и к и н. Почему это ты, приятель, бороду отпустил и волосы отпустил, а хитона у тебя нет? Почему показываешься голым, ходишь босонгим и ведешь жизнь бродячью, не человеческую, а звериную? Зачем, вопреки тому, что все делают, ты собственное свое тело умерщвляешь всячески и бродишь кругом, находя то там, то здесь ночлег на жесткой и пыльной земле, так что всякую мерзость носишь на жалком своем плаще, и без того уж не тонком, не цветистом?

К и н и к. Да мне другой и не надобен. А нужен такой, чтоб раздобыть его полегче было и чтобы хлопот он своему владельцу доставлял поменьше: такого и довольно с меня...

2. Ну, а теперь ты скажи, богов ради: разве, по-твоему, с роскошью не сопряжен порок?

Л и к и н. Еще как!

К и н и к. С простотою же — добродетель?

Л и к и н. Ну еще бы.

К и н и к. Так почему же тогда, видя, что я веду жизнь более простую, чем прочие, они же — более пышную, ты меня, а не их порицаешь?

Л и к и н. Потому что, видит Зевс, ты, по-моему, не в большей, чем другие, простоте живешь, но в большем убожестве, сказать точнее — в полном недостатке и в бедности: ведь ты ничем не отличаешься от нищих, выпрашивающих себе пропитание на каждый день.

3. К и н и к. Так не хочешь ли, раз уж зашла об этом речь, рассмотреть, что значит «недостаточно» и что «достаточно»?

Л и к и н. Если ты считаешь это нужным.

К и н и к. Итак, для каждого человека является достаточным то именно, что достает до уровня его потребности. Или, может быть, ты это понимаешь как-нибудь иначе?

Л и к и н. Допустим — так.

К и н и к. Недостаточным же все то, чего недостает именно для потребности, что не достигает размеров необходимого. Не правда ли?

Л и к и н. Правда.

К и н и к. Значит, я не терплю ни в чем недостатка, так как все, что у меня есть, вполне удовлетворяет мою потребность.

4. Л и к и н. Что ты, собственно, хочешь этим сказать?

К и н и к. А вот посмотри: для чего существует каждая из вещей, в которых мы нуждаемся? Например, дом: разве он существует не для прикрытия?

Л и к и н. Да, для прикрытия.

К и н и к. Ну, а одежда? Она для чего? Не то же ли самое: для прикрытия?

Л и к и н. Так. Дальше!

К и н и к. Но, ради богов, для чего же нужно нам само это прикрытие? Не для того ли, чтобы прикрытый чувствовал себя лучше?

Л и к и н. Мне кажется, что так.

К и н и к. Итак, во-первых — мои ноги: неужели, по-твоему, они в худшем положении, чем ноги других людей?

Л и к и н. Вот уж не знаю.

К и н и к. Ну, может быть, вот так тебе это станет яснее: скажи, что должны делать ноги?

Л и к и н. Ходить.

К и н и к. Так что же? Ты полагаешь, что мои ноги ходят хуже, чем у остальных людей?

Л и к и н. Нет, это совсем неправильно.

К и н и к. А значит, и состояние их не хуже, раз они не хуже других выполняют свою работу.

Л и к и н. Правильно.

К и н и к. Следовательно, что касается ног, — я, оказывается, находясь в положении ничуть не худшем, чем другие люди.

Л и к и н. Не похоже, чтобы ты был хуже.

К и н и к. Что же? Может быть, тогда остальное мое тело в худшем состоянии? Но ведь если оно хуже, то, значит, и слабее, так как достоинство тела — в его силе. Ну, а разве мое тело слабее других?

Л и к и н. На вид — нет.

К и н и к. Итак, оказывается, что ни ноги мои, ни остальное тело не терпят недостатка в прикрытии. Ибо, испытывая недостаток, они находились бы в плохом состоянии, так как нужда всегда и всюду делает то, что ею охвачено, скверным и более слабым. Впрочем, и питается мое тело, по-видимому, не хуже других оттого лишь, что питается чем придется.

Л и к и н. Ясно: стоит лишь посмотреть на тебя.

К и н и к. Не было бы мое тело и сильным, если бы плохо питалось: разрушается ведь тело от плохого питания.

Л и к и н. Согласен и с этим.

Б. К и н и к. Почему же, скажи мне тогда, если так обстоят дела, ты порицаешь меня, презираешь мой образ жизни и зовешь его жалким?

Л и к и н. Да потому, Зевсом клянусь, что природа, которую ты чтишь, и боги раскинули перед нами землю и заставили ее производить многое множество благ, чтобы мы все имели в избытке не только на потребу себе, но и на радость, — ты же ни в чем этом, или почти ни в чем, не имеешь своей доли и ничуть не больше животных. Посмотри: пьешь ты воду ту же, что звери, ешь все, что тебе попадает, подобно собакам, и ложе твое ничуть не лучше, чем бывает у псов: охапки сена довольно для тебя, как и для них. Да и плащ на тебе нисколько не лучше, чем на обездоленном нищем. А между тем, если согласиться, что ты, довольствуясь этим, правильно мыслишь, то, следовательно, бог поступил неправильно, сотворив и овец тонкорунных, и сладкие винные гроздья, и многое множество иных чудес для нас приготовив — и масло, и мед, и многое другое, чтобы были у нас яства разнообразные, и сладкий напиток, деньги, мягкое ложе, чтобы мы имели красивые жилища и все остальное на диво изготовленное, а также произведения искусств: они ведь тоже дары богов. Жизнь, лишенная всех этих благ, — жалкая жизнь, даже если человек лишен их кем-нибудь другим, как те, что сидят в темницах. Но еще того более жалок, кто сам себя лишит всего, что прекрасно: это уже явное безумие.

Б. К и н и к. Что же? Может быть, ты и прав... Однако вот что скажи мне: положим, богатый человек от всего сердца, ласково и радушно угощает и принимает у себя многочисленных и самых разнообразных гостей, болезненных людей и крепких. Хозяин покрывает для гостей стол множеством кушаний всякого рода, и вот кто-нибудь из гостей все захватит и все съест — не только то, что стоит перед ним, но и то, что дальше, что приготовлено для слабых здоровьем, тогда как сам он совершенно здоров и притом имеет лишь один желудок, нуждается в немногом, чтобы насытиться, и когда-нибудь будет раздавлен обилием съеденных блюд, — скажи-ка, что это за человек, по-твоему? Наверно, разумник?

Л и к и н. Как для других, для меня — нет.

К и н и к. Тогда что же? Скромник?

Л и к и н. Тоже нет.

7. К и н и к. Ну, а теперь положим, что кто-нибудь из находящихся за тем же столом, не обращая внимания на обилие всевозможных блюд, выберет одно из них, что поближе, достаточное для его потребности, и благопристойно съест его, им одним воспользовавшись, а на остальные даже и не поглядит, — не признаешь ли ты, что этот человек и благоразумнее, и порядочнее первого?

Л и к и н. О, конечно!

К и н и к. Итак, понимаешь? Или я должен еще разъяснить тебе?

Л и к и н. Что именно?

К и н и к. А то, что божество, подобно нашему радушному хозяину, выставило перед нами обильные, разнообразные и разнородные кушанья, чтобы каждый получил то, что для него подходит: одно для здоровых, другое для больных, одно для сильных, другое для слабых. Божество не хочет, чтобы мы все пользовались всем, но чтобы каждый — тем, что ему свойственно, а из того, что ему свойственно, — именно тем, в чем он окажется наиболее нуждающимся.

8. Вы же всего более уподобляетесь тому человеку, в своей ненасытности и неводержанности старающемуся все захватить, — ибо вы домогаетесь использовать все блага из всех мест земли, а не только свои отечественные: вы считаете, что вам недостаточно вашей земли и вашего моря, но из-за тридцати земель привозите товары себе на усладу, все заморское предпочитая местному, роскошное — простому, малодоступное — доступному. Короче говоря: вам больше нравится терпеть хлопоты и беды, чем жить беззаботно. Ибо, конечно, все это множество дорогих и пышных приготовлений, которыми вы блистаете, добываются вами путем великих несчастий и бедствий. Да, да, не хочешь ли — посмотри на вожденное золото, посмотри на серебро, посмотри на роскошные дома, посмотри на одежды, предмет стольких усилий, посмотри на все, что тянется вослед перечисленному, — ценою каких хлопот это все покупается, каких трудов, каких опасностей! Более того: каким количеством человеческой крови, смертей и раздоров, и не потому только, что многие гибнут в далеких плаваниях и терпят ужасы, добывая и изготавливая, — нет, это все вдобавок родит множество битв и побуждает вас строить взаимные ковы: друзья друзьям и дети отцам, а жены мужьям. Так, я думаю, и Эрифила предала мужа за золото.

9. И все это совершается, несмотря на то, что разноцветные плащи ничуть не лучше греют, и дома с золочеными кровлями ничуть не лучше укрывают от непогоды, и кубки серебряные не делают попойку веселее, не делают этого и золотые. Также ложе из слоновой кости не приносит сна более сладких, но нередко ты увидишь богача, который на драгоценном ложе, на роскошных тканях не может забыться. А уж о том, что всяческие заботы о кушаньях насыщают несколько не лучше, но лишь разрушают тело и причиняют ему болезни, — стоит ли говорить?

10. Нужно ли говорить также о том, сколько трудов и испытаний выносят люди ради утех Афродиты? А между тем так легко утишить эту страсть тому, кто не ищет излишеств. Но и для этой страсти безумств и раздоров кажется людям еще недостаточно, и они доходят уже до того, что опрокидывают естественное назначение вещей и пользуются установленным не для той цели, для какой это установлено природой, как если бы пожелал кто-нибудь вместо повозки воспользоваться ложем, будто повозкой.

Л и к и н. Но кто же это делает?

К и н и к. Вы делаете — вы, которые пользуетесь людьми как упряжной скотиной и велите им тащить на плечах ваши носилки, словно повоз-

ки, а сами возлежите на них, в неге и роскоши, и правите сверху людьми, как ослами, приказывая им поворачивать не в ту, а в эту сторону. И чем больше вы совершаете таких поступков, тем блаженнее считаете себя...

11. А те, кто плоть живого существа употребляет не просто в пищу, но ухитряется обратить ее в краски, — каковы, например, красильщики пурпуровых тканей, — разве и эти люди не вопреки природе используют создания божества?

Л и к и н. Видит Зевс, нет, так как пурпурица может окрашивать, а не только идти в пищу.

К и н и к. Но не для того она существует. Ведь иной человек и кратером мог бы, учиняя над ним насилие, воспользоваться как простым горшком, — тем не менее кратер существует не для этой цели. Да что там. Разве возможно описать подробно всю одержимость этих несчастных? Так велика она. А ты мне ставишь в упрек то, что я не хочу в такой жизни участвовать, но сижу, подобно скромному гостю, угощаясь тем, что мне подходит, употребляя лишь самое простое и нисколько не стремясь к другим затейливым и разнообразным кушаньям.

12. Но, более того: если я, по-твоему, живу звериною жизнью оттого только, что я нуждаюсь в немногом и довольствуюсь малым, то богам угрожает опасность, в соответствии с твоими взглядами, оказаться еще ниже зверей: ибо они уж совершенно ни в чем не нуждаются. Но чтобы точнее понять, что значит «нуждаться в немногом» и чем отличается от него «во многом нуждаться», обрати внимание на следующее: количеством нужд дети превосходят взрослых, женщины — мужчин, больные — здоровых, короче говоря, всегда и везде низшее нуждается в большем, чем высшее. Вот почему боги ни в чем не нуждаются, а те, кто всего ближе стоит к богам, имеют наименьшие потребности.

13. Ну, а Геракл, лучший из смертных, божественный муж, сам справедливо признанный за бога? Неужели ты думаешь, несчастная судьба заставляла его бродить по земле обнаженным, с одной лишь львиной шкурой на теле, и не знать ни одной из ваших нужд? Однако далеко не был несчастным он, сам защищавший других от бед; не был он, равно, и бедняком, ибо и суша и море были ему подвластны. В самом деле: куда бы Геракл ни направился, он повсюду всех одолевал и ни разу среди своих современников не встретил никого, равного себе, или сильнеешего, пока не ушел сам из мира людей. Или ты думаешь, что Гераклу нечего было подостлать под себя, не во что обуться, и потому он странствовал в таком наряде? Нет, этого никто не скажет. Но Геракл был силен духом и вынослив телом, хотел силы, а роскоши не желал. А Тезей, ученик Геракла? Разве он не был царем всех афинян, и сыном Посейдона, как гласит преданье, и самым доблестным мужем своего времени?

14. Но что же? И Тезей предпочитал не иметь сандалий, бродил наг и бос, и любо было ему носить бороду и длинные волосы; да и не ему одному было это приятно, но и всем мужам древности, — потому, что были они

лучше вас, и не потерпел бы бритвы ни один из них, точно так же, как ни один лев не позволил бы побрить себя. Тело нежное да гладкое, думали они, приличествует женщинам, сами же они чем были на деле, тем и казаться хотели: мужчинами, считая, что борода служит украшением мужу, подобно тому как грива коню или льву клоч шерсти на подбородке даны богами на красу и на гордость, — так и мужчине дана борода. Они-то, мужи древности, возбуждают мою ревность, им я хочу подражать, и нисколько не завидую удивительному счастью, которое ныне живущие люди находят в своих обедах, нарядах и в том, чтобы вылощить каждый член тела и не оставить на нем ни одного волоска, хотя бы они вырастали в самых сокровенных местах.

15. Я же молю богов, чтобы ноги мои ничуть не отличались от конских копыт, как, по преданию, ноги кентавра Хирона, чтобы самому мне, подобно львам, не нуждаться в постели и чтобы роскошная пища была мне потребна не больше, нежели псам. Да будет дано мне всю землю иметь своим ложем, в другом не нуждаясь; считать жилищем вселенную, а пищу брать ту, какую добыть всего легче. В золоте же и серебре пусть никогда не почувствуем надобности ни я сам, ни мои друзья, так как из этой страсти рождаются для людей все бедствия: междоусобия, войны, заговоры, убийства. Все это имеет своим источником страсть к обладанию большим. Пусть же она не подступает к нам, пусть никогда не увлекает меня жажда корысти, и да буду я в силах довольствоваться достоянием малым.

16. Вот тебе мои взгляды. Конечно, они резко расходятся с желаниями толпы. И ничего нет удивительного, что и по внешнему виду мы отличаемся от большинства, раз мы так сильно отличаемся своими убеждениями. Но вот чему я дивлюсь: ты признаешь, что играющий на кифаре должен иметь особое платье и отличаться внешним видом, тоже и флейтист; да, да, флейтист должен иметь особую наружность и отличное платье — актер, за честным же человеком ты не признаешь права на отличие в наружности и наряде, но считаешь, что все признаки должны быть такими же, как у толпы, хотя толпа, к тому же, состоит из негодяев. Если же должна быть у честных людей единая, им свойственная, наружность, то разве не подойдет для этой цели больше всего как раз самая оскорбительная для всяких распутников, самая для них неприемлемая?

17. Итак, для меня отличающая наружность состоит в том, что я грязен, космат, ношу грубый плащ и длинные волосы, хожу босиком, тогда как вы по внешности подобны искажающим природу распутникам, и различить вас никому невозможно, ибо все у вас одинаково: и разноцветные тонкие ткани, множество всяких рубашечек, и верхнее платье, и обувь, и прическа, и духи. Да, да: вы уж и благоухать стали совсем как те, — особенно самые, по-вашему, счастливые. Однако много ли можно дать за мужчину, от которого несет духами как от продажного мальчишки? И в самом деле: в работе вы ничуть не больше их выносливы, в наслаждениях же — ничуть не меньше: и кушаете вы, и причесываетесь одинаково с ними, и

ходите так же, или, лучше сказать, так же не желаете ходить, а предпочитаете, чтобы вас носили, как какую-то кладь, кого — люди, кого — мулы. Меня же несут мои собственные ноги, куда я только пожелаю. Я способен и холод выдерживать, и жар переносить, и не брзжать на установленное богами, — а все потому, что я несчастен и жалок, вам же, с вашим счастьем, ничто совершающееся не по нраву. Все вы браните, а того, что имеется, выносить не желаете, а стремитесь к тому, чего нет: зимой молитесь о лете, летом — о зиме, в зной — о холоде, а в холод — о зное. Вы, точно больные, ничем не довольны и привередливы; но у тех виной болезнь, у вас же — ваш собственный нрав.

18. И после всего этого вы требуете от нас, чтобы мы переменяли и исправили свое поведение, так как мы-де нередко дурно обдумываем свои поступки, между тем как сами вы неосмотрительны в собственных и ни одного из них не совершаете следуя разумному решению, но всегда руководитесь привычкой или страстью. Поэтому вы ничем не отличаетесь от людей, уносимых бурным потоком: куда устремится течение, туда люди и несутся; так и вы — куда увлекают вас страсти. С вами происходит совершенно то же, что произошло, говорят, с одним человеком, севшим на бешеного коня: конь, конечно, подхватил его и помчал, а человек этот уже не мог сойти с коня во время скачки. И вот, кто-то, встретив его, спросил, куда он мчится. «Куда ему заблагорассудится», — ответил тот, указав на коня. Так и вы: если бы кто-нибудь спросил вас: «куда вы несетесь?» и если бы вы пожелали ответить правду, вы должны были бы сказать или просто: «куда угодно нашим страстям», или точнее, в одном случае: «куда угодно наслаждению», в другом — «честолюбию», в третьем — «жадности». Один раз вас может умчать гнев, другой раз — страх, третий — еще что-нибудь подобное, так как не на одном, но на множестве различных коней носитесь вы, садясь то на одного, то на другого, — но все они равно дики и потому заносят вас в пропасти и стремнины. Но пока вы не свалитесь, до тех пор вы никогда не понимаете, что вас ожидает падение.

19. Что же касается грубого плаща, над которым вы насмехаетесь, то и он, и мои длинные волосы, и вся моя наружность такой огромной обладают силой, что дают мне возможность жить спокойно, делать что захочу, и дружески встречаться с кем пожелаю. Ведь из людей невежественных и необразованных ни один не захочет подойти ко мне из-за моего вида, а разные неженки, так те еще издалека сворачивают в сторону. Сближаются же со мной люди самого тонкого ума, строгой совести, жаждущие стать лучшими. Эти люди чаще всего приходят ко мне, и с такими я рад вести беседы. У дверей же так называемых счастливых я не прислуживаюсь, их золотые венки и пурпурные ткани почитаю за дым и смеюсь над этими людьми.

20. Если же ты, прежде чем насмеяться, хочешь убедиться в том, что моя наружность не только честным людям, но и богам приличествует, — рассмотри изображения богов: с кем они покажутся тебе схожими — с

вами или со мной? И не только эллинские, но и варварские храмы обойди и посмотри, как изваяны и написаны боги: с длинными волосами и бородами, как у меня, или стриженными и бритыми, подобно вам? Впрочем, в большинстве случаев ты и хитонов не увидишь на них, как и на мне. Так что же? Неужто ты еще осмелишься говорить о такой наружности, будто она никуда не годится, когда и самим богам она оказывается подходящей?

ПРИМЕЧАНИЯ



ФАЛАРИД

Слово первое — «Слово» в защиту тирана Фаларида произносят от его имени лица, посланные им из Сицилии в Дельфы, перед жрецами Аполлона и «народом дельфийским».

7.* *Краткие изречения некоторых из них выставлены...* — Среди так называемых Семи мудрецов Древней Греции Клеобул был тираном Линда, а Перикл — Коринфа. Из изречений, выставленных в Дельфах, были наиболее известны: «Познай самого себя», «Ничего излишнего», «Чувство меры — наилучшее».

8. *...сходно с рассказом о Гидре.* — Имеется в виду Гидра Лернейская (Лерна — источник в Арголиде), легендарная змея с семью головами; когда их отрубали, на их месте вырастали новые. Уничтожение Гидры было, согласно мифу, одним из двенадцати подвигов Геракла.

Слово второе — произносит один из дельфийцев в поддержку речи посланных Фаларида.

8. *...Чтобы Гомер выяснил нам это...* — Гомер (Илиада, песнь II, ст. 519) называет Дельфы «скалистым Пифоном», так как, по мифу, здесь в ущелье Аполлон убил дракона Пифона.

— «без паханья и сева» — Одиссея, песнь IX, ст. 109, где речь идет о киклопах.

12. *...треножник звучит, и жрица исполняется духом...* — Жрица-прорицательница, называвшаяся Пифией, для прорицания садилась в святилище дельфийского храма Аполлона на высокий треножник над расселиной в скале, откуда поднимались испарения; последние приводили жрицу в исступление, под влиянием которого она произносила бессвязные слова, а жрецы обрабатывали их в нужном направлении, согласно господствовавшей политической конъюнктуре.

ЛИШЕННЫЙ НАСЛЕДСТВА

6. *Мачеха же моя... начала болеть болезнью... тяжелой и неслыханной...* — Специально о женских болезнях писал Соран, ионический врач из Эфеса в Малой Азии, живший, вероятно, в I в. н. э., при римском императоре Траяне.

О ЯНТАРЕ, или О ЛЕБЕДЯХ

3. *...придумывал — куда и как употреблю его...* — Желтый янтарь высоко оценивался в продаже.

4. *...лебеди, будучи спутниками Аполлона и людьми-песнопевцами...* — Лебедь в Древней Греции считался священной птицей Аполлона; согласно мифу, лебедь был сыном Аполлона, превращенный богом в птицу.

* Цифры в начале примечаний указывают соответствующие параграфы текста.

ГАРМОНИД

1. ...сбегаются к тебе все, будто к сове — птицы — пословица.
- ...нет пользы в музыке немой и никем не слышимой — пословицу эту Нерон, считавший себя артистом, по словам Светония, любил повторять своим друзьям.
2. Праздник Дионисий — празднества в честь бога Диониса осенью, по окончании сбора винограда.
3. ...одни цари были на особом положении... — Лукиан повторяет здесь ошибочное мнение Геродота, хотя оно было опровергнуто еще Фукидидом.
- ...белый спасительный камешек. — При голосовании судебного решения камешки белого цвета были оправдательными.

ПОХВАЛА РОДИНЕ

1. ...это давно уже стало общеизвестным — по «Одиссее» (песнь IX, ст. 34).
10. ...и камениста и плодородной почвой скудна. — Одиссея, песнь IV, ст. 605.
- ...юношей добрых питает — Одиссея, песнь IX, ст. 27.
11. Стремится на родину и островитянин — т. е. Одиссей (царь острова Итаки).

СНОВИДЕНИЕ, или ЖИЗНЬ ЛУКИАНА

2. ...я соскабливал с дощечки воск... — дощечки, покрытые слоем воска, употреблялись в Греции, подобно тому как теперь грифельные доски; на них писали заостренной палочкой (стилем) и, в случае надобности, сглаживали написанное тупым концом ее.
5. ...чтобы сказать словами Гомера — Илиада, песнь II, ст. 56–57.
7. ...странствовать по чужим городам, оставив отечество и родных — нарек на образ жизни софистов.
12. ...посмотри... на знаменитого Демосфена — чей он был сын... — Отец греческого оратора Демосфена (384–322 до н. э.) занимался выделкой мечей.
- ...Сократ, воспитанный скульптурой... — Философ Сократ (468–400 до н. э.), сын скульптора Софрониска, в молодости занимался ваянием.

О ДОМЕ

1. ...Александра охватило желание искупаться в Кидне... — Имеется в виду Александр Македонский.
3. ...приличествовало разве только юному островитянину... — т. е. Телемаху, сыну Одиссея, царя острова Итаки, и Пенелопы.
4. ...Сократу оказалось достаточным раскинувшего ветви платана... — Имеются в виду слова Сократа в диалоге Платона «Федр».
5. Не заботило Арсакидов прекрасное... — Следуя Геродоту (кн. VII), Лукиан имеет здесь в виду Дария Гистаспа, но делает ошибку, смешивая династию Ахеменидов (VI–V в. до н. э.), к которой принадлежал Дарий, с Арсакидами (III в. до н. э.).

20. *Наисправедливейшее изволил слово вымолвить человек...* и т. д. — Геродот, книга I, гл. 8.

27. *...после этой Афины — другая...* — Имеется в виду миф об изнасиловании Гефестом Афины, плодом чего был Эрихтоний (см. Аполлодор. Библиотека, III, 14, § 6).

ЗЕВКСИС, или АНТИОХ

2. *...прав Гомер, говоря, что новая песнь...* — Одиссея, песнь I, ст. 348. «Всякий раз ею [песней], как новой, душу свою восхищая».

10. *...по слову Гомера, «звеза уносились дальше»...* — Илиада, песнь XVI, ст. 378–379. «Упали стремглав под колеса мужи с своих колесниц и, ваяясь, колесницы гремели».

— *«с грохотом мчали вперед колесницы пустые»...* — Илиада, песнь XI, ст. 160–161: «С громом по бранным путям колесницы носили пустые. Славных ища их возниц...»

СКИФ, или ДРУГ НА ЧУЖБИНЕ

1. *...к царскому роду «шапошников»...* — в тексте стоит: «пилофор» — носящий шляпу. Пилос — дорожная шляпа с небольшими полями.

— *...зовутся у них «восьминогими»...* — в тексте стоит: «октаподес» («окто» — восемь, «подес» — ноги).

2. *Во время великой чумы...* — Имеется в виду чума в Афинах в 430 г. до н. э.
— *Жена Архитела* — Дименета; Архител был главой Ареопага во время «великой чумы» в Афинах в 430 г. до н. э.

3. *«Горшечная» часть города* — Керамик.
— *...с выбритым подбородком...* — Исторически неверно: густая, окладистая борода рассматривалась как признак мужественности, и бритье ее считалось позорным. Бритье вошло в моду при Александре Великом (вторая половина IV в. до н. э.).

6. *Зевс Гостеприимец* — Зевс Ксений («ксенос» — гость, чужестранец).
8. *...как в дальнейшем пребывали они вместе...* — неизвестный историк.
9. *...если следует доверять Теоксену...* — О встрече Солона с Анахарсисом в несколько иной форме рассказывал также Плутарх (ок. 125–45 до н. э.) в «Жизнеописании Солона».

— *...будто мы, сирийцы...* — Лукиан был родом из г. Самосаты в Сирии.
— *...что чувствовал тот молодой островитянин...* — т. е. Телемах, сын Одиссея и Пенелопы (Одиссея, песнь IV, ст. 72–75).

10. *...их можно сравнить со славным аттическим десятком.* — Имеются в виду десять греческих ораторов классического периода, которых alexandрийские ученые II в. до н. э. считали лучшими мастерами ораторского искусства: Антифонт, Андокид, Лисий, Исократ, Изей, Демосфен, Эсхин, Гиперид, Ликург и Динарк.

11. *Сын Клиния* — Алкивиад, происходивший из аристократической афинской семьи, правитель афинской республики. Перикл был его родственником и опекуном.

ГЕРОДОТ, или АЭЦИЙ

1. ...они назвали его книги по имени муз... — Ошибочное утверждение: именами муз девять книг «Истории» Геродота были названы только александрийскими учеными III–II в. до н. э.

2. ...не один глашатай... — Имя победителя на олимпийских играх торжественно провозглашалось глашатаем.

8. ...в столице всей Македонии — вероятно, Филиппополе.

ГИППИЙ, или БАНИ

2. ...блистали своим знанием теории... — Слово «теория», первоначально означавшее «наблюдение», «рассматривание», начиная с Платона (429–347 до н. э.) стало употребляться в смысле «созерцание», «умственный труд», «отвлеченное рассмотрение», в противоположность «практическому действию».

— *книдиец Сострат* — строитель знаменитого Фаросского маяка.

4. ...чтобы усилить все сооружение в целом... — Это место у Лукиана принадлежит к числу труднейших для перевода.

6. *Палестра* — место для гимнастических упражнений (см. Анахарсис).

— *Фригийский мрамор* — белого цвета, с фиолетовыми пятнами и прожилками, добывавшийся во Фригии.

— *Нумидийский камень* — желтого цвета, добывавшийся в Нумидии.

7. *Начиная, помни: лик творенья...* — *Пиндар*. Олимпийская ода, VI, ст. 3–4.

8. *Водяные часы* — система колес, двигавших часовую стрелку, приводившуюся в движение давлением воды. Подобные часы описывает римский архитектор Витрувий (I в. до н. э.).

ПОХВАЛА МУХЕ

4. ...но сначала червяком из погибших людей или других животных. — По мнению древних, пчелы также рождались от трупов животных (см., например, *Вергилий*. Георгики, IV, 281, и *Овидий*. Метаморфозы, XV, 365–366: «...кругом из согнившей утробы Цветоносные пчелы рождаются» [перевод А. Фета]).

5. ...не дерзка она, но дерзковенна... — *Илиада*, песнь XVII, ст. 569–570: «...дерзновенная, согнана с тела, Мечется вновь уязвить, человеческой жадная крови».

— ...толпами слетаются мухи на молоко... — *Илиада*, песнь II, ст. 469–471: «...мух неисчетные рои ...кружатся... как млеко изобильно струится в сосуды»; песнь XVI, ст. 641–642: «...как мухи Роем под кровлей жужжа, вокруг подойников полных толпятся».

— ...снова сосоставляет с ней муху... — *Илиада*, песнь IV, ст. 130–131: «...нежная мать Гонит муху от сына, сном задремавшего сладким».

— ...рой их называя народом... — *Илиада*, песнь II, ст. 469 (см. выше, 5).

11. ...о которой комический поэт сказал... — быть может, комедиограф Аристофан (V в. до н. э.).

— «Какой позор! Бесстрашно муха...» — Автор этих стихов неизвестен.

— ...рассказать также о Мухе Пифагора... — Муха (VI в. до н. э.) — дочь философа Пифагора и Теаны, жена знаменитого атлета Милона. Под ее именем до нас дошло письмо к подруге о выборе кормилицы.

В ОПРАВДАНИЕ ОШИБКИ, ДОПУЩЕННОЙ В ПРИВЕТСТВИИ

1. «*Радуйся*» (греческое — «хайре»; латинское — *salve, ave*) — соответствует русской форме «здравствуй».

— «*Здравствуй*» (греческое — «гигиайне»; латинское — *vale*) — то же, что наше «прощай» (буквально «будь здоров»).

2. *Земли Тиринфской повелитель*... — стих из неизвестной пьесы.

— *Радуйся ныне, Ахилл*... — Илиада, песнь IX, ст. 225.

— *Радуйтесь, бог я блаженный*... — «Будьте счастливы, для вас я перестал быть человеком, я бессмертный бог». По преданию, это были последние слова философа Эмпедокла (V в. до н. э.) к своим ученикам перед тем, как он бросился в кратер вулкана Этна, в Сицилии.

— *Вы радуйтесь! Меня же обступает мрак*. — Еврипид, ст. 453.

3. *Письмо Никия* приведено у Фукидида, VII, § 8, 11–15.

5. *Треугольник пифагорейцев, образующий взаимосечениями пентаграмм* — т. е. фигуру ★.

— *Четверица* — первые четыре числа декады (десятки) назывались тетрактидой (четверица). Так как десять получается из сложения первых четырех чисел ($1 + 2 + 3 + 4$), то на тетрактиду смотрели как на воплощение силы декады. Тетрактидой называлась также сумма первых четырех четных чисел ($2 + 4 + 6 + 8$), т. е. двадцать, и сумма первых четырех нечетных ($1 + 3 + 5 + 7$), т. е. шестнадцать.

6. *Здрав будь и радуйся много* — Одиссея, песнь XXIV, ст. 402. У Гомера «уле» (от неупотребительного настоящего времени «уло») (в смысле «гигиайне» — «здравствуй»).

6. *Сколия* (ско́лион) — короткая застольная песня, исполнявшаяся по очереди каждым из присутствующих на пиру с миртовой веткой в руке, которая затем передавалась соседу, сидевшему наискось с противоположной стороны стола. Таким образом, получалась «кривая песенка» («сколиос» — кривой, идущий поворотами), поскольку ветка передавалась по зигзагообразной линии, от одного возлежащего за столом к другому. Автором упоминаемой Лукианом сколии некоторые исследователи считают Симонида (ок. 556–467 до н. э.) или Эпихарма (умер ок. 450 до н. э.).

— *О Здравье, старшая из богинь*... — начало «Гимна богине Здравья» скионца Арифрона.

8. *Сражение при Иссе* — греков с войсками персидского царя Дария.

9. *Антиоху Сотеру перед сражением*... — в 278 г., вероятно, при Апамее. После этого победоносного сражения Антиох I (281–261 до н. э.) принял титул Сотера, т. е. Спасителя.

10. *Птолемей, сын Лага* — Птолемей I Сотер, т. е. Спаситель (323–285 до н. э.), царь Египта.

13. *...заботиться о собственном здоровье*... — В конце письма обычно ставилось: «*vale, si tu valeas*», т. е. «будь здоров, позаботься о том, чтобы быть здоровым». Вероятно, эту формулу и имеет в виду Лукиан.

— *...часто вспоминаете в ответе слово «здоровье»* — «*ut vales?*», т. е. «как здоров?».

18. *При первом Августе*... — т. е. при Октавиане Августе (63 до н. э. — 14 н. э.), первом римском императоре.

19. *Любезный Асклелый* — неизвестное, вероятнее всего — вымышленное лицо. Заключительные слова показывают, что данное произведение Лукиана — шутилизкая речь оратора, умеющего по ничтожному поводу составить изящное вступительное слово. Поэтому мы относим эту речь к числу ранних произведе-

ний Лукиана, не соглашаясь с теми, кто считают ее серьезным произведением и относят к последним годам жизни писателя.

ПРОМЕТЕЙ, или КАВКАЗ

5. ...не упустить ничего в защите твоего отца — Зевса.

— ...его товарищ по ремеслу... — Бог Гермес считался также покровителем воров.

20. ...он будет тебе братом... — Геракл, сын Зевса, и, следовательно, брат Гермеса.

— ...лучше сохранить тайну... — Зевс освободил Прометея после того, как тот сообщил ему тайну, заключавшуюся в том, что если Зевс сочетается с Фетидой, дочерью морского старца Нерея, то у нее родится сын, который окажется сильнее отца и свергнет его с престола.

РАЗГОВОРЫ БОГОВ

2. Эрот и Зевс

1. ...ты делал меня сатиром, быком, золотом, лебедем, орлом... — Согласно мифам, чтобы овладеть Антипой, Зевс превратился в сатира; Европу он похитил, приняв вид быка; на Данаю спустился золотым дождем; к Леде подплыл в виде лебедя; Ганимедом овладел на Олимпе, обернувшись орлом.

8. Гефест и Зевс

1. ...глаза у нее какие-то серовато-голубые — намек на обычный эпитет Афины — «глаукопс»: «глаукс», — серовато-голубой, «опис» — взор.

10. Гермес и Гелиос

2. ...будет изготовлен твой великий атлет. — Имеется в виду Геракл.

11. Афродита и Селена

1. Ассирийский юноша — Адонис.

12. Афродита и Эрот

1. ...заставил влюбиться в мальчика, в молодого фригийца... — Имеется в виду Аттис, малоазийское божество растительности.

13. Зевс, Асклепий и Геракл

1. ...как сам горел на Эте... — Согласно мифу, кентавр Несс, раненный Гераклом в наказание за дерзкое прикосновение к жене героя Деянире, дал ей плащ, пропитанный своей кровью, который причинял смертельные муки надевшему его. Деянира, не зная этого и поверив заявлению Несса, будто плащ имеет свойство любовного талисмана, послала его Гераклу, чтобы вернуть себе расположение последнего. Надев плащ, Геракл стал испытывать страшные муки и, не видя спасения от них, велел сжечь себя на горе Эте.

14. Гермес и Аполлон

2. ...на нем видны знаки, выражающие плач по умершему. — По греческому поверью, на листьях гиацинта можно различить знак AI (ай), вызывавший представление о скорбных возгласах.

15. Гермес и Аполлон

1. ...он хром, ремесло у него презренное... — Имеется в виду бог-кузнец Гефест.

16. Гера и Латона

1. *Дочь мужеподобна сверх меры...* — Артемида, богиня охоты.

18. Гера и Зевс

1. ...если б у меня был сын такой женоподобный... — Имеется в виду бог Дионис.

— ...связав виноградной лозой или заставив мать преступника разорвать своего сына на части... — намек на мифы о Ликурге, связанном Дионисом, и об Агаве, в дионисическом экстазе растерзавшей своего сына Пентея, которого она приняла за львенка. Этот последний миф послужил Еврипиду сюжетом для его трагедии «Вакханки».

19. Афродита и Эрот

1. ...на груди у нее какое-то страшное лицо со змеями вместо волос — изображение Горгоны, или Медузы.

20. Суд Париса

3. ...одна женщина с Иды... — нимфа Энона.

6. ...Зевс был влюблен в того маленького фригийца. — В Ганимеда. Похищение Ганимеда Зевсом, принявшим образ орла, изобразил греческий скульптор IV в. н. э. Леохар.

10. ...что я волоокая... — постоянный эпитет Геры в «Илиаде» и «Одиссее».

21. Арес и Гермес

1. ...и так дальше, ты ведь сам слышал... — см. Илиада, песнь VIII, ст. 19—21: «Цепь золотую теперь же спустил от высокого неба. Все до последнего бога и последней богини Свесьтесь по ней, но совлечь не сможете с неба на землю».

24. Гермес и Майя

2. Сыновья Леды сменяют друг друга... — Диоскуры Кастор и Полидевк (Поллукс).

— Сыновья Алкмены и Семелы — сын Алкмены — Геракл, Семелы — Дионис.

— Сестра Кадма фиванского — нимфа Европа.

26. Аполлон и Гермес

1. ...шляпа в пол-яйца. — Намек на яйцо, из которого, согласно мифу, родился Кастор и Полидевк; его снесла Леда после того, как Зевс сочетался с ней в образе лебедя.

МОРСКИЕ РАЗГОВОРЫ**1. Дорида и Галатея**

1. Сицилийский пастух — одноглазый киклоп Полифем, один из героев «Одиссеи» (песнь IX).

2. Киклоп и Посейдон

1. *...смотри, что сделал со мной проклятый чужестранец* — Одиссей. Описание всего этого эпизода см. Одиссея, песнь IX, ст. 105–566.

4. Менелай и Протей

2. *...не знаком со свойствами этой рыбы.* — Греки причисляли полипа к рыбам.

5. Панапа и Галена

1. *...чтобы море не разбушевалося...* — Нимфа Галена (по-гречески «галене» — морская тишь) ведала морской тишиной и спокойствием.

6. Тритон, Амимона и Посейдон

3. *...одна среди сестер не будешь носить воду.* — Пятьдесят дочерей Даная за убийство своих мужей, сыновей Египта, были наказаны тем, что должны были вечно наливать воду в дырявый сосуд («бочка Данаид»).

7. Нот и Зефир

2. *...делается похожим с лица на собаку.* — В эпоху религиозного синкретизма в Греции Гермес отождествлялся с египетским богом Анубисом, изображавшимся в виде человека с головой собаки или шакала.

8. Посейдон и Дельфин

1. *Кифаред из Метимны* — Арион, поэт и музыкант из города Метимны на Лесбосе, живший в VII в. до н. э.

9. Посейдон и nereиды

1. *...зовется отныне в ее честь морем Геллы* — т. е. Геллеспонтом.

10. Ирида и Посейдон

1. *...этот остров Зевс повелевает остановить, сделать видимым...* — «Видимый» — по-гречески «делос»; отсюда имя острова — Делос.

2. *...двух младенцев моего брата...* — Аполлона и Артемиду, детей Латоны от Зевса.

11. Ксанф и Море

1. *Сын Фетиды* — герой «Илиады» Ахилл. Весь этот эпизод рассказан в XXI песне «Илиады», ст. 355 и след.

14. Тритон и nereиды

3. *...увидел лежащую Андромеду, пригвожденную к высокому утесу...* — В основе изображения всей этой сцены лежит описание греческого рельефа II в. до н. э., хранящегося теперь в Риме.

4. *...что ее мать в своей гордости считала себя красивее нас...* — Мать Андромеды Кассиопея, супруга эфиопского царя Кефея, однажды похвалилась тем, что красотой своей превосходит nereид, и этим навлекла на себя гнев богинь. Они обратились к Посейдону с просьбой наказать дерзкую. Посейдон наслал на страну Кефея чудовище, освободиться от которого можно было, лишь принеся в жертву царскую дочь Андромеду. По настоянию подданных, Кефей решился на эту жертву, и Кассиопея испытала много тревоги, пока Персей не освободил ее дочь.

ДИАЛОГИ ГЕТЕР

Гетера — буквально «подруга» (гетайра); слово это употреблялось в специальном значении любовницы, куртизанки, со всеми оттенками этого понятия, за исключением проститутки в обычном понимании слова. Среди греческих гетер были распространены уменьшительные и ласкательные имена. Лукиан, обычно сохранявший в своих произведениях действительно существующие имена, и в данном случае пользуется ими. Мелитта — значит пчела, Бакхида — вакханочка, Клонария — веточка, Хелидония — ласточка, Дроса — росиночка и т. д. Из числа мужских персонажей некоторые, наоборот, награждены вымышленными комическими именами, как, например, Хенид — гусак, Полемон — вояка.

2. Миртия, Памфил и Дорида

3. ...купить мне шерсти на живот и помолиться за меня Родильнице... — По греческим поверьям, шерсть обладала способностью отвращать зло. Родильница — одно из имен богини Артемиды, покровительницы родов.

4. Мелитта и Бакхида

1. ...если ты знаешь какую-нибудь старуху-фессалианку... — Фессалийские старухи считались лучшими колдуньями.

2. ...написано на стене в Керамике... Обычай писать сатирические, шуточные и непристойные выражения на стенах был распространен в Греции и Риме.

4. Драхма — около 40 копеек золотом; обол — шестая часть драхмы.

6. Кробила и Коринна

1. Мина — сто драхм.

7. Мать и Музария

1. Урания, «что в огородах». — Изображение Афродиты Небесной стояло в местности в Афинах, носившей название «Что в огородах».

— ...покаялся обеими богинями и покровительницей города — т. е. Деметрой, ее дочерью Корой — Персефоной и Афиной.

2. Ареопаг — афинский ареопаг — верховное судилище по уголовным делам в Афинах; состоял из 31 члена, набравшихся из числа бывших высоких должностных лиц — архонтов. Заседания суда происходили ночью на скалистом холме Ареса.

3. Адонис — здесь это имя употреблено в смысле «красавчик».

4. Талант — 6000 драхм, около 1500 рублей золотом.

9. Доркада, Паннихис, Филострат и Полемон

4. Хилиарх — «тысяцкий» («хилиой» — тысяча, «архо» — начальствующий).

11. Трифена и Хармид

2. Стратег — член коллегии десяти стратегов, высших военных должностных лиц в Афинах.

— Элафеболион — девятый месяц аттического календаря, приблизительно соответствующий нашему марту.

НИГРИН

1. Пословица говорит: «сову в Афины» — незачем умножать того, чего и так много. В Афинах и особенно в скалах Акрополя водилось много сов.

3. ...волшебницы-певицы и гомеровский лотос — Одиссея, песнь IX, ст. 91 след. и песнь XII ст. 39 след. (речь идет о Сиренах и лотофагах).

6. «Почто, как и сам я стараюсь...» — Илиада, песнь VIII, ст. 293.

21. ...приветствуют встречаемых при помощи чужого голоса... — намек на рабов-«выкликателей» (protentatores), сопровождавших богатых римлян.

37. «Так поражай, и успеешь...» — Илиада, песнь VIII, ст. 282.

ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. ...если даже Ликина поразила незнакомка... — Имеется в виду Пантея, любовница римского императора Луция Вера (II до н. э.).

— ...наша новая Медуза — Пантея.

2. ...прекраснейший из городов Ионии — Смирна, прозванная «красивейшей», «приятнейшей», «прекраснейшей из городов», славилась душистыми растениями.

4. Амазонка... — Амазонка, раненная и опирающаяся на копьё, была исполнена Фидием на конкурс с Поликлетом, Крезилом и Фрадномом; первую награду получил Поликлет.

8. Фиванский поэт — Пиндар.

— Дочь Бриса — Брисеида, из-за которой, по «Илиаде», произошла ссора между Агамемноном и Ахиллом.

9. ...подобно сверкающей слоновой кости Гомера... — Одиссея, песнь XVIII, ст. 195–196: «...все тело нежнее, Чище, свежей и блистательней сделалось кости слоновой» (о Пенелопе, жене Одиссея).

10. Преславная супруга императора — Пантея.

— ...как восхвалял Ксенофонт... — см. Ксенофонт. Воспитание Кира (Киропедия), кн. V.

13. «слаще меда речь с языка» — Илиада, песнь I, ст. 249: «Речи из уст его вещей сладчайшие меда лились» (о Несторе).

— Старец из Пилоса — по «Илиаде», самый старый из вождей греков, осаждавших Трою, был Нестор, царь Пилоса (Пилос — город Мессении в южном Пелопоннесе).

— Дочь Пандиона — Прокна, превращенная в соловья или ласточку за убийство своего сына Итиса (миф).

14. Знаменитый фракиец — Орфей, так как один из мифов говорит о нем, как о сыне фракийского царя Эагра.

18. Слагавшая песни лесбиянка — Сафо, поэтесса с острова Лесбоса (VI в. до н. э.).

20. Дочь Икария — Пенелопа, жена Одиссея.

— ...о которой мы вспомнили несколько раньше... — см. § 10.

22. ...можно сказать словами Гомера... — Илиада, песнь IX, ст. 389: «Если красою она со златой Афродитой спорит».

— ...стройностью стана и ростом... — Илиада, песнь I, ст. 114–115: «...ее [Клитемнестры] Хризейда не хуже Прелестью вида, приятством своим и умом и делами».

В ЗАЩИТУ «ИЗОБРАЖЕНИЙ»

15. ...следуя певцу из Гимеры, сочинил какую-нибудь песнь отречения... — Имеется в виду поэт Стесихор (640–555 до н. э.), проведший большую часть жиз-

ни в Гимере на Сицилии. Песнь отречения — «Палинодия» Стесихора. По преданию, Стесихор в одном из своих произведений оскорбил дочь Зевса и Леды Елену и был наказан слепотой; зрение вернулось после того, как он написал «Палинодию Елене», где отрекся от оскорбительных выражений.

19. *Как воссел Главка знаменитый поэт...* — по-видимому, имеется в виду Пиндар (521–441 до н. э.).

20. *...у сына Креза слух острее...* — по преданию, сын лидийского царя Креза (правил около 560–548 до н. э.), славившегося своим несметным богатством, был глухонемой.

— *Мчался, колосьев касаясь едва...* — Илиада, песнь XX, ст. 226–227: «Бурные, если они по полям хлебобродным скакали, Выше земли, сверх колосьев носились, стебля не смявши» (о конях Эрифония).

— *Только в чертогах у Зевса...* — Одиссея, песнь IV, ст. 74: «Зевс один лишь на Олимпе имеет такую обитель».

24. *...даже тот, кто дерзнул бичевать его образ...* — Имеется в виду Зоил, ритор IV в. до н. э., из Амфиополя в Македонии, ученик младшего софиста Поликрата из Афин, отличавшийся едкими нападками на Гомера, за которые был в насмешку прозван «гомеробичевателем» (гомеромастикс).

— *тот, кто много стихов в его песнях отверг...* — Имеется в виду Аристарх (около 220–145 до н. э.), ученый грамматик александрийской школы, занимавшийся осторожной критикой текста гомеровских поэм, снабжая особыми критическими значками сомнительные или подложные стихи.

25. *...лицом и главою Агамемнон подобен Зевсу...* — Илиада, песнь II, ст. 477–479: «...Агамемнон, Зевсу, метателю грома главой и очами подобный, Станом Арю великому, персями Энносигею».

— *Артемиде подобная или златой Афродите* — Одиссея, песнь VI, ст. 151.

— *«Как Артемиды шествует с гор...»* — Одиссея, песнь VI, ст. 102: «Так стрелоносная, ловлей в горах веселясь, Артемиды многовершинный Тайгет и крутой Эвримант обегает» (о Навзикае).

ТОКСАРИД, или ДРУЖБА

11. *Зевс — покровитель дружбы* — Зевс Филий (φίλος, «фило» — друг).

19. *Закиф* — один из крупных островов в Ионическом море.

28. *Серебряные псиголовцы* — божество египтян Анубис изображался в виде человека с головой собаки или шакала.

38. *Акинах* — короткий, изогнутый, обоюдоострый меч скифов и персов.

— *Цикута* — (греческое κωνειον, «конейон», латинское «cicuta») — род зонтичного растения, сок которого является сильным ядом и обычно употреблялся в Греции при смертных приговорах.

40. *Зирин* — скифское слово.

58. *...приняться за какой-нибудь унижительный труд.* — Это рассуждение характерно для представителя античного рабовладельческого общества.

АНАХАРСИС, или ОБ УПРАЖНЕНИИ ТЕЛА

2. *...посыпают себя им, как петухи...* — Петухи и куры устраивают себе песочные «ванны», с помощью крыльев и ног обсыпая себя песком и пылью.

7. *Гимназий* («гимназион» от греческого «гимнос» — обнаженный) — общественное место для гимнастических упражнений.

8. *Панкратий* — комбинированная форма гимнастических упражнений, в которую входили «борьба» (пале) и «кулачный бой» (пюгме).

17. *Эпонимы* — герои, имена которых носили афинские филы. Здесь, впрочем, Лукиан допустил анахронизм; эти филы и их эпонимы были установлены лишь Клизеном, в 508–506 гг. до н. э., т. е. значительно позже Солона.

34. *...ваши женщины, нагрянувшие на нас вместе с Ипполитом* — амазонки.

37. *...глядя на состязания у нас перепелов и петухов...* — В декабре в афинском театре происходили петушиные бои, учреждение которых приписывали Фемистоклу (около 525–460 до н. э.).

39. *...нуждается в чемеричном корне.* — По мнению древних, чемерица служила средством против помешательства. Употребительна была поговорка: «Выпей чемерицы», в смысле: «Приди в себя».

ПАЗАРИТ, или О ТОМ, ЧТО ЖИЗНЬ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ ЕСТЬ ИСКУССТВО

1. *Прихлебательство* — в подлиннике стоит: «параситике», т. е. прихлебательское, подразумевается «техне» — искусство. Первоначально, во времена Солона (640–558 до н. э.), а также у Платона (429–347 до н. э.) слово «паразит» не имело отрицательного смысла и означало: «соучастник в еде» («пара» — подле, вместе; «ситос» — хлеб, еда). Паразитами назывались жрецы, участвовавшие в общей трапезе, граждане, собиравшиеся в городском общественном доме («при-танейон»), особенно те, которые получали общественное питание, служащие, приставленные в качестве помощников к более высоким должностным лицам, а также вообще сотрапезники. Позднее, особенно в так называемой новой комедии (конец IV в. до н. э.), слово «паразит» приобрело отрицательный смысл, обозначая «прихлебателя», живущего на чужой счет.

2. *...Фидий гордился своим Зевсом.* — Имеется в виду колоссальная статуя сидящего на троне Зевса Олимпийского, из слоновой кости и золота, которую Фидий закончил в 432 г. до н. э.

— *Дион* — неизвестно, какого именно Диона имел здесь в виду Лукиан.

4. *«Но как узнать злодея...»* — стихи Еврипида в трагедии «Медее», ст. 515.

10. *«Я же скажу, что великая нашему сердцу...»* — Одиссея, песнь IX, ст. 5–10.

— *«Думаю я, что для сердца...»* — Одиссея, песнь IX, ст. 11.

— *...очувтившись в условиях эпикурейской жизни, — у Калипсо...* — Одиссея, песнь I, ст. 14–15: «Светлая нимфа Калипсо, богиня богинь, произвольной Силой держала (Одиссея), напрасно желая, чтоб был ей супругом».

24. *...он «не приложит руки...»* — Одиссея, песнь IX, ст. 107–108: «...под защитой бессмертных имея Все, ни руками не сеют, ни плугом не пашут» (о киклопах).

34. *...Платон вновь, вторичным походом, поплыл на Сицилию...* — Платон трижды (в 338, 368 и 361 до н. э.) ездил в Сицилию ко двору сиракузских тиранов Дионисия Старшего, а после его смерти Дионисия Младшего, безуспешно пытаясь склонить их к проведению его политического идеала кастового государства, где власть должна была принадлежать философам.

— *...напоминает мне подобную же неудачу Никия.* — Имеется в виду неудачная экспедиция афинского наварха Никия против Сицилии в 413 г. до н. э.,

во время Пелопоннесской войны, закончившаяся разгромом афинского флота и казнью Никия в Сиракузах.

35. ...*Еврипид до самой смерти жил за счет Архелая.* — Лукиан допускает здесь характерную для него неточность с целью усилить насмешку: Еврипид жил при дворе македонского царя Архелая «до смерти» — только в старости (умер в 416 г. до н. э.).

— *Анаксарх* (IV в. до н. э.) — философ из Абдеры в Малой Азии, ученик Демокрита, был известен своей угодливостью по отношению к Александру Македонскому.

36. *Аристотель начинал заниматься искусством жить на чужой счет...* — По приглашению Филиппа Македонского Аристотель переехал в 342 г. в Пеллу в Македонии для воспитания сына Филиппа — Александра; при аступлении последнего на престол в 335 г. Аристотель вернулся в Афины, пробыв таким образом при дворе македонского царя семь лет.

42. *Разве Демад, Эсхин и Филократ... не предали из страха город...* — Демад, афинский оратор и рассказчик IV в. до н. э., автор многочисленных речей и сборника изречений, отличался политической трусостью и придерживался македонской ориентации, поддерживая Филиппа Македонского. Эсхин — афинский оратор (389–314 до н. э.), впоследствии отнесенный александрийскими учеными к числу десяти канонических ораторов Греции, был политическим противником Демосфена; после битвы при Херонее в 338 г. Эсхина заподозрили в получении денег от врага Афин Филиппа Македонского, и он был вынужден покинуть Афины. Филократ, известный своей двуличностью афинский государственный деятель IV в. до н. э., также придерживался македонской ориентации и добился в 346 г. заключения «Филократова» мира с Филиппом.

— *Гиперид, Демосфен и Ликург, казавшиеся такими храбрыми...* — аттические ораторы IV в., выступавшие против македонской ориентации Эвбула, Эсхина, Демада и Филократа. Между прочим, Гиперид постоянно выводился в комедиях, как любитель гетер и веселых пиров.

— *А тот, кто возглавлял их всех* — Демосфен.

43. ...*отважившийся выступить в битве при Делии...* — в Беотии, где в 424 г. во время Пелопоннесской войны афинское войско потерпело жестокое поражение от спартанцев. Насмешка над трусостью Сократа не соответствует действительности.

45. ...*«Всегда твой кубок наполнен...»* — Илиада, песнь IV, ст. 262–263.

— *«В царский шатер повели к Агамемнону...»* — Илиада, песнь VII, ст. 312.

— *«...но много раньше, при Кенее и Эксадию...»* — Илиада, песнь I, ст. 264.

46. *«Если бы двадцать подобных тебе...»* — Илиада, песнь XVI, ст. 345.

47. *«Кости мои, о Ахилл, не клади...»* — Илиада, песнь XXIII, ст. 83.

— *«Я... был принят Пелеем...»* — Илиада, песнь XXIII, ст. 89.

— *«Мирона, что состоял при Идомее, он тоже называет... «служителем»* — Илиада, песнь XIII, ст. 249–250: «Сердцу любезнейший друг, Молид Мерион быстроногий».

48. ...*отлитый в бронзе, стоит на площади* — в Афинах.

— *он говорит, что на войне идущего сражаться надо накормить...* — Илиада, песнь XIX, ст. 160–163: «Прежде ахейским сынам повели ты насытиться в стане хлебом, вином: оно человеку — и бодрость и крепость. Муж ни один во весь день, от восхода до заката солнца, пищей не подкрепленный, не в силах выдерживать боя».

60. Разве «при-хлеб-ательствовать» не значит просто — «при» ком-ни-будь «кушать»? — По-гречески хлеб — «ситос»; пища — «трофэ». Паразит говорит: «то ситейстай» (есть хлеб) — то же ли самое, что «то естийн» (кушать). По-русски пришлось придать слову «хлеба́ть» расширенное значение «кушать».

УЧИТЕЛЬ КРАСНОРЕЧИЯ

1. ...всеми чтимое имя софиста... — Слово «софист» со времени римского императора Адриана (правил в 117–123 н. э.) обозначало ратора и отчасти писателя-прозаика, составлявших свои произведения не столько ради содержания, сколько ради изящной формы, как это свойственно всякой упадочной культуре.

4. ...во имя Зевса нашей дружбы... — Подразумевается Зевс Филий, покровитель дружбы.

— Гесиод, взяв несколько лавровых листков с Геликона... — Гесиод. Теогония, ст. 22, 23 и 29; «Песням своим обучали они [музы] Гесиода в те времена, как овец под священным он пас Геликоном... Так мне [Гесиоду] сказали в рассказах искусные отроки Зевса» (перевод В. Вересаева).

6. ...видел на картинах изображения Нила. — Под описание Луккиана подходит знаменитая в античности колоссальная статуя Нила (II в. до н. э.) александрийской школы (гипсовая копия в натуральную величину имеется в Санкт-Петербурге в Музее истории религии Академии Наук). Локотки, числом шестнадцать, — локти, на высоту которых поднималась вода в Ниле перед разливом и орошением полей.

7. ...какой представилась сначала гора Аорн македонянам... — Аорн — имя нескольких крепостей на скалах. Здесь имеется в виду крепость в Индии; согласно мифу, ей не мог овладеть Геракл или Дионис в его мифическом походе на Индию, а взял Александр Македонский во время своего индийского похода (331 до н. э.).

10. ...к соревнованию с сыном мастера, выделяющего мечи, или с сыном учителя Атромета... — Первый — греческий оратор Демосфен, второй — Эсхин.

12. Автогайда — комическое составное слово: «Самотаида», Таида «во плоти».

14. ...«входи с немытыми ногами» — поговорка, употребившаяся для обозначения перехода без подготовки с одной работы на другую.

17. ...а плясун — мудроруким. — Имеется в виду своеобразная, пережиточно сохранившаяся «ручная речь», т. е. искусство передавать содержание пляски движениями рук и пальцев. См. во II томе «О пляске».

— «Упражнения» в искусстве оратора — так называемые «медетай».

18. ...через Афон плывут корабли. — Персидский царь Ксеркс (правил 485–465 до н. э.) во время похода на Грецию приказал прорезать каналом узкий перешийек, соединяющий Афон с материком.

— ...пусть прочитывается надпись Отриада. — Спартанец Отриад сделал собственной кровью надпись на сооруженном им памятнике. Он лишил себя жизни после того, как весь отряд спартанцев, выступивший в 669 г. до н. э. для защиты границ, был перебит в битве с аргосцами.

20. ...со свадьбы Девкалиона и Пирры... — т. е. с «допотопных времен». Согласно мифу, Девкалион, сын Прометея, и Пирра — единственная пара, спасшаяся на судне во время потопа, посланного Зевсом в наказание людям.

21. Пеаниец — Демосфен (384–322 до н. э.), бывший родом из округа Пеании в Аттике.

25. ...*клянусь богиней разврата*. — Афродитой Пандемос (Пандемос — Все-народная).

26. ...*сам Платон, сказавший это про Зевса*. — В диалоге «Федр», ст. 246.

ГЕРМОТИМ, или О ВЫБОРЕ ФИЛОСОФИИ

1. *Косский врач* — Гиппократ (V в. до н. э.), родом с острова Коса, врач, основатель древнегреческой медицины.

2. ...*Добродетель живет очень далеко, как говорит Гесиод*... — См.: Гесиод. Труды и дни, ст. 288.

4. ...*после мистерий или по окончании панафинейских праздников*... — Мистерии справлялись в Афинах ежегодно, в третьем месяце года; панафинейские праздники в честь Деметры были главным праздником Афин, справлявшимся каждые четыре года.

— *Олимпиада* — четырехлетний промежуток времени от одного олимпийского праздника до другого. Летоисчисление по олимпиадам было введено сицилийским историком Тимеем, жившим между 350 и 250 гг. до н. э.

12. ...*вроде кубка Нестора*... — Илиада, песнь XI, ст. 636: «Тяжкий сей кубок иной не легко приподнял бы с трапезы».

— *Перипатетики* — последователи Аристотеля.

33. *Пока не блеснет им Ахиллова шлема забрало* — Илиада, песнь XVI, ст. 70.

34. *Тот явился к своей жене*... — Дамарете, дочери тирана Герона.

39. *Эланоидики* — «эллинские судьи», распоряжавшиеся на олимпийских играх и присуждавшие награды победителям.

48. ...*знаменитые пять лет молчания* — одно из положений программы самоусовершенствования, по преданию составленной и осуществленной Пифагором.

73. *Медея, которая, как говорят, влюбилась в Язона, увидев его во сне* — См.: Еврипид. Медея.

76. ...*что совершалось до архонта Евклида* — выражение, обратившееся в поговорку для обозначения старого и тяжелого времени. Евклид был архонтом в Афинах в 403 г. до н. э., когда после неудачной Пелопоннесской войны и кратковременной олигархической диктатуры реакционно-земледельческих групп («тридцать тиранов») в Афинах было восстановлено демократическое правление.

81. ...*как крокодил утащил ребенка*... — намек на один из видов силлогизмов, употреблявшихся в стоической школе, о котором упоминает Лукиан в своем произведении «Продажа жизней» (см. том II), связывая его со стоиком Хризиппом: положим, ребенок играет у реки; его нашел и похитил крокодил; крокодил обещает вернуть ребенка, если отец угадает, что крокодил задумал относительно выдачи.

— ...*иной раз молодчик рога нам хочет отрастить*... — намек на «рогатый силлогизм», один из употреблявшихся в древности видов неправильных доказательств: чего ты не потерял — то имеешь; рогов ты не терял, — следовательно, у тебя есть рога.

ЗЕВС УЛИЧАЕМЫЙ

2. *Или, судьбе вопреки, низойдешь*... — Илиада, песнь XX, ст. 336.

8. *А что мне сказать о твоём отце*... — Имеется в виду Кронос, который, согласно греческим мифам, был свергнут Зевсом с помощью гигантов и титанов и сброшен в подземное царство — Тартар.

13. *И смехом оракул, данный Лаю...* — Имеется в виду миф об оракуле, данном Дельфами Лаю, отцу Эдипа. Эдип, как об этом повествует трагедия Софокла «Царь Эдип», нечаянно убил отца и женился на своей матери Иокасте.

14. *...свое ли разрушит царство перешедший через Галис...* — Имеется в виду двусмысленный, как обычно, оракул, данный дельфийскими жрецами царю Лидии Крезу (правил ок. 560–548 до н. э.) во время его борьбы против персидского царя Кира.

16. *...был предан Одиннадцати...* — Коллегия одиннадцати должностных лиц заведывала в Афинах тюрьмами и приведением в исполнение приговоров над уголовными преступниками.

ЗЕВС ТРАГИЧЕСКИЙ

9. *...этого египтянина с собачьей головой,* — т. е. египетского бога Анубиса.

11. *Колосс.* — Имеется в виду самая крупная в античности бронзовая статуя, так называемый Колосс Родосский (II в. до н. э.), находившийся на Родосе и имевший 32 метра высоты; статуя эта причислялась к «семи чудесам света».

— *Нектар* — напиток богов; *амбросия* — их пища.

— *Гекатомба* — жертвоприношение из ста быков.

14. *Слушайте слово мое, и боги небес и богини...* — Илиада, песнь VIII, ст. 6.

15. *Граждане боги! Много сокровищ дали бы вы, думается мне, за возможность узнать, ради чего вы здесь собраны* — подражание началу 1-й олинфийской речи Демосфена.

19. *...рассыпьте водою и прахом...* — Илиада, песнь VII, ст. 99.

21. *...не очень бы заботился о Гидре, о стимфальских птицах...* — здесь перечисляются некоторые из так называемых подвигов Геракла.

26. *...перестал быть эфебом...* — Эфэб — юноша, достигший восемнадцати лет, подвергающийся проверке в отношении своей годности нести обязанности взрослых (докимасия) и вносимый в список граждан своего округа (дема).

— *...внесен в список Двенадцати...* — подразумеваются двенадцать олимпийских богов.

33. *Смолою грудь и спину покрывая мне...* — пародия на трагедию Еврипида «Орест», ст. 854.

34. *...чтоб нас Дамид не услышал...* — пародия на «Илиаду», песнь VII, ст. 195: «...да вас не услышат Трояне».

40. *Противу Леты стоял благодетельный Гермес крылатый...* — Илиада, песнь XX, ст. 72.

44. *...наслаждалась известными всем жертвоприношениями...* — намек на человеческие жертвоприношения Артемиде.

— «*Всех по порядку сразил он...*» — Илиада, песнь XV, ст. 137.

53. *...правильно сказал комический поэт...* — Менандр (314–291 до н. э.) из Афин, представитель «новой комедии».

СОБРАНИЕ БОГОВ

4. *...внук какого-то Кадма купца...* — Согласно мифу, Дионис был сыном Зевса и Семелы, дочери Кадма, царя Фив в Беотии, которого предание выводило из Финикии в Сирию.

6. ...они еще и сейчас носят на теле следы ожогов... — Асклепий (Эскулап), сын Аполлона, наученный врачеванию кентавром Хироном, пострадал от молнии Зевса, который боялся, что врачебное искусство Асклепия сделает людей бессмертными. Геракл (по преданию, противоречащему его божественности) взшел на костер, сложенный на горе Эте, чтоб избавиться от ужасных страданий, которые причинял надетый им отравленный плащ кентавра Несса.

10. *Как терпишь ты, Зевс, бараньи рога...* — Зевс-Аммон изображался с бараньими рогами.

МЕНИПП, или ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОДЗЕМНОЕ ЦАРСТВО

1. *Менипп-собака.* — Менипп — философ-киник; по-гречески «кйон» означает «собака», и поэтому кинического философа часто называли «собакой», желая этим подчеркнуть простую, бродяжническую жизнь его, а в дурном смысле — бесстыдство и прожорливость. Глагол «кинйдзей», употребляемый Лукианом, означает «вести собачью жизнь», или «жить кинически».

2. ...*дрожащие над запертым золотом, как над Данаей...* — намек на известный миф, согласно которому Зевс сошел к Данае, запертой в обитой медью горнице, в виде золотого дождя (см. Морские разговоры, 12).

13. ...*Дионисия сицилийского обвинял Дион...* — Дионисий (405–338 до н. э.) — сицилийский тиран, занимавшийся литературой и покровительствовавший ученым. Дион (ок. 50–122 н. э.), обвинявший Дионисия, — прозванный «златоустом» («хризостом») греческий писатель кинического направления, проповедывавший практическую нравственность. Столкновение, следовательно, происходит на почве защиты нравственности и строгой жизни против изнеженности и чувственности.

18. *Ноги у него все еще больны, вздуты от выпитого яда.* — Сократ во исполнение смертного приговора выпил ядовитый сок цикуты.

21. *Так он сказал и на луг асфодельский направился молча* — подражание «Одиссее», песнь XI, ст. 538–541: «Так говорил я; душа Ахиллесова с гордой осанкой Шагом широким по ровному Асфодилонскому лугу Тихо пошла».

ИКАРОМЕНИПП, или ЗАОБЛАЧНЫЙ ПОЛЕТ

1. *Стадий* — равняется 177–185 метрам.

— *Парасанг* — персидская мера длины, равна 35 стадиям.

2. ...*осуществил Дедалову затею...* — Имеется в виду сооружение крыльев, которые Дедал приладил с помощью воска своему сыну Икару, воспретив ему при полете приближаться к солнцу, чего тот не исполнил и вследствие этого упал в море, которое получило название Икарийского (миф).

7. ...*солнце есть раскаленный шар...* — мнение философа Анаксагора (умер 428 до н. э.).

8. ...*обрушиваются на тех, которые думают, что мир един...* — насмешка над Демокритом (V в. до н. э.), по учению которого мир состоит из замкнутых частиц атомов.

— ...*считает раздор отцом всего миропорядка...* — намек на учение Гераклита (576–480 до н. э.), согласно которому борьба есть основа бытия.

9. *Одним божество представляется числом...* — намек на учение Пифагора (VI в. до н. э.), видевшего основу бытия в числе.

— ...*клянутся собаками, гусями и платанами*. — Греческие авторы приписывают это обыкновение, между прочим, Сократу.

— ...*боги у них ничем не отличаются от телохранителей* — т. е. от театральных статистов.

10. ...*в таком состоянии, о котором говорит Гомер*... — Одиссея, песнь IX, ст. 302: «Меч мой уж был занесен; но иное на мысли пришло мне».

— ...*взойдя на Акрополь, я бросился с утеса и... долетел до самого театра*... — Таким образом этот пробный полет Икароменипп якобы совершил, слетев с юго-западной стены Акрополя к театру Диониса, который расположен был тут же, у подошвы скалы.

12. *Башня на Фаросе* — знаменитый в древности маяк на острове Фаросе, в заливе Александра в Египте.

...*все, что питается от плодородной земли*... — Одиссея, песнь IV, ст. 229–230: «...земля там богатообильная много Злаков рождает, и добрых целебных, и злых ядовитых».

13. «*Я ведь не бог — и бессмертным меня ты считаешь напрасно*» — Одиссея, песнь XVI, ст. 187.

15. *Птолемей спал со своей сестрой*... — Царь Египта Птолемей Филадельф (285–247 до н. э.), по обычаю египетских фараонов, был женат на родной сестре Арсиное.

— *Сын Лисимаха* — полководец Александра Македонского, Агафокл, казненный отцом по обвинению в заговоре на его жизнь (III в. до н. э.).

— ...*как жена Александра-фессалийца убивала мужа*... — Фива, дочь Язона, жена Александра, тирана города Феры в Фессалии (I в. до н. э.).

16. ...*было изображено на щите Ахилла*... — описание щита Ахилла в «Илиаде», песнь XVIII, ст. 490 след.

— *лаконцы сами себя бичевали*... — насмешка над старинным спартанским обрядом, в силу которого юноши подвергались бичеванию перед статуей Артемиды.

— *афиняне... судились*... — Любовь афинян к сутяжничеству высмеивается Аристофаном, Менандром и другими писателями.

17. ...*все жители земли являются подобными певцами*... — Продолжается сравнение с театральным хором, участники которого носили одинаковые одежды и при пении своих партий двигались в одном направлении.

18. ...*обрабатывает всего лишь эпикуровский атом*... — натуралистическое учение Эпикура (341–270 до н. э.) является последовательным атомизмом.

19. ...*Мирмидоняне, этот воинственный народ, превратились в людей из муравьев*... (по-гречески «муравей» — «мюрмекс»). — Согласно мифу, Мирмидон, сын Зевса, сочетавшегося в образе муравья с Евримедузой, был родоначальником воинственных мирмидонцев в Фтиотиде, которые отправились под Трою под начальством Ахилла. Ср. Овидий. Метаморфозы, VII, ст. 622–660.

— ...*в чертоги Зевса Эгидодержавного, к сонмищу прочих бессмертных*... — Илиада, песнь I, ст. 222.

22. «*Где не заметишь работ, ни людей, ни волов-землепашцев*» — Одиссея, песнь X, ст. 198.

23. *Кто ты таков, человек, кто отец твой, откуда ты родом?* — Одиссея, песнь I, ст. 166.

24. ...*почему афиняне в течение стольких лет не справляли Диасии?*... — Диасии — афинский праздник в честь Зевса Милихия; его перестали справлять со времени диадохов (после Александра Македонского). Восстановлено было празднование римским императором Адрианом (77–138 н. э.).

— ...думают ли они закончить для него постройку Олимпийского храма?.. — Знаменитый храм Зевса в Афинах около Акрополя, был начат при Писистрате, около 515 г. до н. э., и закончен императором Адрианом в 129 г. н. э.

— ...задержаны ли ограбившие храм в Додоне... — Неизвестно, какой случай имеется здесь в виду. Храм после разгрома этолийцами в 219 г. до н. э. находился в упадке.

— ...раз в пять лет приносят мне жертвы в Олимпии — во время олимпийских игр, по которым велось общегреческое летоисчисление, происходивших раз в пять лет.

— ...алтари стали холоднее законов Платона... — «Законы» Платона (429–342 до н. э.) — последнее сочинение философа.

25. *То благосклонно взирает на мольбу, то качал головою* — Илиада, песнь XVI, ст. 250.

27. *Деметра раздала нам хлеб, Дионис вино...* и т. д. — Каждый бог приносил то, что так или иначе было связано с ним, согласно мифам: Деметра — богиня растущего хлеба, Дионис — бог виноградной лозы; Геракл в комедии постоянно выводится как страшный обжора; мирт — священное дерево Афродиты; Посейдон, как властитель моря, предлагает рыбу.

— ...ни хлеба не едят, ни вина темного не пьют... — Илиада, песнь V, ст. 342: «...ни брашна не ядят, ни от гроздий вина не вкушают» (о богах).

— *Кордак* — весьма свободный танец, усвоенный аттической комедией.

28. *Прочие боги, равно как и мужи...* — пародия на начало II песни «Илиады».

29. *...земли бесполезное время...* — Илиада, песнь XVIII, ст. 104.

30. *Как на войне среди воинов, так и в собрании народном...* — Илиада, песнь II, ст. 202.

33. *Молвил — и сдвинул Кронид в знак согласия темные брови...* — Илиада, песнь I, ст. 528.

ПЕРЕПРАВА, или ТИРАН

14. «Никого» я съем последним. — «Никто» по-гречески — «у́тис»; этим именем назвал себя Одиссей, чтобы обмануть киклопа Полифема и ускользнуть от него (см. Одиссея, песнь IX, ст. 369–370 след.).

ХАРОН, или НАБЛЮДАТЕЛИ

1. ...как тот молодой фессалиец... — Протесилай, получивший от Аида разрешение подняться на землю, чтобы повидать свою жену Лаодамию (миф).

3. *Гомер в своей поэме рассказывает про сыновей...* — Одиссея, песнь XI, ст. 305–320.

7. ...*Се отвожу от очей твоих мрак...* — Илиада, песнь V, ст. 127.

8. *Кто же такой сей претолстый мужчина?*.. — пародия на «Илиаду», песнь III, ст. 226–227: «Кто еще онный ахеянин, столь могучий, огромный? Он и главою и плечами широкими всех перевысил».

9. *Кто этот муж величавый?* — пародия на «Илиаду», песнь III, ст. 167.

14. *В море, на острове; кажется, царь он по гордой осанке...* — начало стиха из «Одиссеи», песнь I, ст. 49–50, конец — подражание «Одиссее», песнь V, ст. 450.

19. ...у Гомера, который уподобляет род людской листьям... — Илиада, песнь VI, ст. 146: «Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков».

22. *Мертв одинаково легший без гроба и гроб получивший...* — пародия на «Илиаду», песнь IX, ст. 319.

РАЗГОВОРЫ В ЦАРСТВЕ МЕРТВЫХ

1. Диоген и Полидевк

2. *...наращивая друг другу «рога», выделявая «крокодилов»...* — различные фигуры силлогизмов. См. диалог Гермотим... § 81.

5. Плутон и Гермес

2. *...как Иолай сбросит с себя старость...* — Иолай (миф), сын Ификла и Автомедузы, — племянник Геракла, его верный спутник и возничий. Когда Эврисфей задумал уничтожить потомство Геракла, Иолай, уже умерший, упросил богов разрешения ожить на время, чтобы спасти детей: убив Эврисфея, он снова умер.

9. Симили и Полистрат

— *Евпатриды* — аристократический класс в Афинах.

10. Харон, Гермес и разные мертвые

— *Пять мин* — около 8 килограммов.

12. *...а наказания здесь, говорят, тяжелы: колеса, камни, коршуны...* — Икснон был приговорен к пытке колесованием в царстве мертвых; Сизиф должен был там вечно вкатывать на высокую гору тяжелый камень, который всякий раз скатывался вниз; Прометей был заживо прикован Зевсом к скале на Кавказе, и коршун терзал его печень.

11. Кратет и Диоген

1. *Или меня подыми от земли, Одиссей многоумный...* — Илиада, песнь XXIII, ст. 724–725.

12. Александр, Ганнибал, Минос и Сципион

1. *Ливиец* — Ганнибал, карфагенский полководец (III–II в. до н. э.); Африка называлась в те времена Ливией.

— *Медимн* — греческая мера сыпучих тел, равная приблизительно 59 литрам.

13. Диоген и Александр

6. *...почаще пей воду Леты...* — чтобы забыть совершенные преступления, так как, согласно преданию, вода Леты, реки в подземном царстве, приносила забвение.

16. Диоген и Геракл

На Эте — отравленный по ошибке своей женой Деянирой Геракл сжег себя на горе Эте.

18. Менипп и Гермес

2. *...троянки и дети ахейцев из-за подобной жены...* — Илиада, песнь III, ст. 156–157.

20. Менипп и Эак

2. *...У него череп как у женщины...* — намек на вошедшую в поговорку изнеженность Сарданапала.

3. *Здравствуй, Евфорб...* — По преданию, Пифагор утверждал, что он существовал в образе Эвфорба, одного из троянских воинов (см. *Овидий. Метаморфозы*, XV, 161).

— *У тебя бедро больше не золотое...* — По легендарному рассказу, переданному Плутархом в «Жизнеописании Нумы» (гл. 1), Пифагор обладал золотым бедром, которое он показывал в доказательство божественности своего происхождения.

— *...бобы и головы предков совсем не одно и то же...* — намек на изречение, приписываемое Пифагору: «Есть бобы все равно, что есть головы предков» (так как бобы имели, по представлению греков, отношение к культу умерших).

4. *...ты видишь, всех их семь.* — Имеются в виду так называемые «семь мудрецов» Греции: Фалес, Питтак, Бийон, Солон, Клеобул, Мирон или Перикандр и Хилон.

— *...медноногий мудрец.* — Предание приписывало Эмпедоклу обыкновенные носить сандалии с медными подошвами.

5. *...выучившись заискивать у сицилийских тиранов* — намек на путешествие Платона в Сицилию, ко двору тиранов Дионисиев сиракузских.

6. *Сын Клиния* — Алкивиад.

21. Менипп и Кербер

1. *...я ведь тоже собака* — непереводаемая игра слов: греческое слово «кион» (собака) служило также для обозначения философа-киника. См. прим. 1 к «Мениппу, или Путешествию в подземное царство» (с. 465).

24. Диоген и Мавзол

1. *Чем ты так гордишься, кариец...* — Имеется в виду Мавзол, царь Карии в Малой Азии (377–353 до н. э.). После смерти Мавзола его жена Артемизия воздвигла ему грандиозную гробницу в Галикарнасе, в художественном украшении которой принимали участие лучшие скульпторы. Гробница Мавзола причислялась к «семи чудесам света»; отсюда наше слово мавзолей.

27. Диоген, Антисфен и Кратет

9. *...добывая себе пропитание удочкой и леской...* — греческая поговорка.

28. Менипп и Тиресий

3. *...Аэдона, Дафна или дочь Ликаона, Каллисто...* — Аэдона — ласточка, Дафна — лавровое дерево, Каллисто — медведица.

29. Аякс и Агамемнон

1. *...я должен был получить это оружие* — т. е. оружие, изготовленное Гефестом по просьбе Фетиды ее сыну Ахиллу.

— *...оно принадлежало моему двоюродному брату* — т. е. Ахиллу, сыну Пелея, брата Теламона, сыном которого был Аякс.

— *Сын Лазрта* — Одиссей.

САТУРНАЛИИ

1. *...сейчас в твою честь совершаем мы заклания...* — Крон (Сатурн римской мифологии) в религии греков «древнейший из богов», в царствование которого на земле был «золотой век». Он был свергнут своим сыном Зевсом и редко упоминался среди богов официального греческого Олимпа, но сохранял свое зна-

чение в «народной религии» в качестве земледельческого божества, в частности, божества посевов. В Афинах Крону был посвящен первый месяц аттического года, называвшийся в старину Кронийон, а позднее Гекатомбеон и в свое время соответствовавший примерно июлю. Веселый праздник Кроний в честь Крона начинался 12-го числа месяца Кронион, продолжался семь дней и был посвящен празднованию окончания уборки хлеба. Во время Кроний устраивались пирушки, на которых хозяева угощали рабов. Позднее, оторвавшись от своей земледельческой основы, этот праздник был приурочен не к земледельческому началу года в июле, а к одному из зимних месяцев, соответствовавших примерно нашему декабрю-январю.

2. ...когда к нему перейдет власть через несколько дней — т. е. после окончания праздника Кроний.

— ...назначать царей праздника — подобные же рождественские обычаи сохранились до сих пор во Франции и Англии.

— ...с лицом, вымазанным сажей... — Раскрашивание лица сажей, ранее имевшее магическое значение, превратилось впоследствии в простую шутку.

3. Эгида — щит Зевса из шкуры козы Амалфеи, с головой Горгоны посередине и змеями в виде бахромы.

5. Ведь этакое спросил... — В вопросе жреца содержатся основные элементы мифа о Кроне и Сатурне.

6. ...сестра камень вместо младенца... — намек на камень, завернутый в шкуру, который Рея, по мифу, дала Крону вместо Зевса, о чем была речь немного выше.

7. ...разделить мое царство между сыновьями... — Зевс стал богом неба, Плутон — богом подземного царства и Посейдон — богом морей.

9. ...выбрал самое неприятное время года... — Как сказано, первоначально справлявшийся летом (в июле), праздник впоследствии был перенесен на один из зимних месяцев, соответствовавших нашему декабрю.

— «старый, что малый». — Старых, впадающих в детство людей в Греции называли иногда «Кронами» (Кроной).

КРОНО-СОЛОН

Кроно-Солон представляет собой продолжение «Сатурналий» или «Писем Крона». Шуточное заглавие произведения составлено из двух имен: Крон — бог греческой религии и Солон — афинский законодатель VI в. до н. э.; оно подчеркивает, что Крон выступает в качестве небесного Солона, устанавливая законы, которыми надлежало пользоваться во время праздников Кроний, соответствовавших римским Сатурналиям (см. выше с. 470).

СНОВИДЕНИЕ, или ПЕТУХ

2. Конь Ахилла, Ксанф, сказав надолго «прости» ржанью... — Илиада, песнь XIX, ст. 408–417.

— ...зацепет киль корабля Арго или Додонский дуб заговорил... — Согласно мифу, в киль корабля аргонавтов, отправлявшихся за золотым руном в Колхиду, Афиной был вделан кусок священного дуба, росшего в Додоне; как и само дерево, этот кусок мог изрекать пророчества.

— ...мычит мясо быков... — Имеется в виду эпизод из «Одиссеи» (песнь XII, ст. 339–398), когда спутники Одиссея убили быков, принадлежавших богу Солнца Гелиосу: «сырое на вертелах мясо, и мясо, Снятое с вертелов, жалобно рев издавало бычачий» (ст. 395–396).

— *...восседая рядом с Гермесом...* — Боевой петух сидит рядом с Гермесом, так как последнего греки почитали покровителем гимнастических состязаний.

4. *...как это ты у нас оказался вместо человека птицей...* — Пифагор был родом с Самоса, а лучшие боевые петухи были из Танагры, города Беотии.

— *...чем если бы пожирал голову собственного отца...* — Имеется в виду известное пифагорейское положение: «Пожирать бобы все равно, что головы родителей». См. Разговоры в царстве мертвых, 20.

5. *...по слову поэта, «силы лишенное» блаженство...* — Одиссея, песнь XI, ст. 29.

6. *...сновидение перепархивает через проведенную границу...* — поговорка в смысле: «сверх меры». Имеется в виду небольшая канавка или насыпь, служившая границей для прыжка. Кто прыгал за этот предел, считался победителем.

— *...через какие врата — из кости слоновой или из рога...* — Одиссея, песнь XIX, ст. 562–567.

— *Довольно золотых разговоров, любезный Мидас...* — Размечтавшегося о золоте Микилла петух называет Мидасом, мифическим лидийским царем, от прикосновения которого все обращалось в золото.

6. *Как это сказала Пиндар, восхваляя золото...* — Пиндар. Олимпийская ода, I, ст. 1–2 («Лучше всего вода...»).

8. *...«благоуханною ночью», по выражению Гомера...* — Илиада, песнь II, ст. 56–57: «объятому сном, в тишине амбросической ночи, Дивный явился мне сон...»

9. *...приглашен занять как его заместитель...* — Выражение это заимствовано из языка атлетов; вступающий в борьбу с победителем взамен побежденного назывался заместителем — эфедрос.

11. *...ужинать с матерью на женской половине...* — в мужских званных пирах женщины не принимали участия.

— *...подоткнув его со всех сторон подушками, чтобы он сохранял приличный вид* — т. е. так, чтобы он опирался левой рукой на подушку, подложенную под спину, а правая рука его была свободной.

— *...будто у меня есть рога* — см. выше: Гермотим, § 81.

12. *...наизав на пальцы штук шестнадцать тяжелых перстней...* — Во времена императоров в Италии и Греции как женщины, так и мужчины носили много тяжелых колец.

13. *«...золотом и серебром были они перехвачены...»* — Илиада, песнь XVII, ст. 52.

— *...пролившись сквозь кровлю, соединился с возлюбленной...* — Имеется в виду Даная.

14. *...воспетый в поэмах пояс Афродиты* — Илиада, песнь XIV, ст. 214–215: «Так говоря, разрешила на персях, иглой испещренный, Пояс узорчатый» (о Гере).

— *О золото, желанный гость* — стих Еврипида из не дошедшей до нас трагедии «Беллерофонт».

16. *Ты был индийским муравьем...* — Про золотоносных муравьев, величинной с собаку или лисицу, говорит Геродот, кн. III, гл. 102.

17. *...которая выдавала в ней дочь лебедя...* — По мифу, Елена была дочерью Леды, с которой Зевс сочетался в образе лебедя.

18. *...показывал им однажды свое золотое бедро* — см. Разговоры в царстве мертвых, 20, § 3.

— ...сколько над кротонцами, метапонтийцами и тарентийцами... — Кротон, Метапонт и Тарент — города Сицилии, где было распространено учение Пифагора.

21. *А ты идешь с ивовым щитом...* — Привлеченным в ряды войск беднякам выдавались легкие ивовые щиты.

25. *Лишь к Агамемнону, сыну Атрея...* — Илиада, песнь X, ст. 3–4.

— *Царя Лидии беспокоит сын...* — У лидийского царя Креза (560–548 до н. э.) один из сыновей, как говорит предание, был глухонемым.

— *...царя персов — Клеарх...* — т. е. персидского царя Артаксеркса II (405–359 до н. э.), соперничавшего с Киром.

— *...того тревожит Дион, что-то нашептывающий на ухо одному из сиракузян...* — того, т. е. Дионисия Младшего (IV в. до н. э.). Дион — зять Дионисия Старшего и дядя Дионисия Младшего (IV в. до н. э.), при котором он вначале состоял ближайшим советником. Позднее, когда Дион подпал под влияние Филиста, служившего Дионисию Старшему, Дионисий Младший прогнал Диона и лишил его богатства.

25. *...другого — Парменион...* — другого, т. е. Александра Македонского; Парменион — полководец Александра Македонского, убитый им из-за подозрения в измене (IV в. до н. э.).

28. *...Гермес, сам будучи вором...* — см. Разговоры богов, 7.

29. *Тибий* — имя раба.

КИНИК

11. *...ухитряется обратить ее в краски...* — Имеется в виду раковина пурпурица, соком которой ткани окрашивались в пурпурный цвет.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Памяти Александра Иосифовича Зайцева</i>	V
<i>А. И. Зайцев. Лукиан из Самосаты — древнегреческий интеллигент эпохи упадка</i>	1
<i>Фаларид. Перевод Н. П. Баранова</i>	17
Слово первое	17
Слово второе	24
<i>Лишенный наследства. Перевод Н. П. Баранова</i>	27
<i>О янтаре, или О лебедях. Перевод К. М. Колобовой</i>	40
<i>Гармонид. Перевод Н. П. Баранова</i>	42
<i>Похвала родине. Перевод Н. П. Баранова</i>	45
<i>Сновидение, или Жизнь Лукиана. Перевод Э. В. Диль</i>	48
<i>О доме. Перевод Н. П. Баранова</i>	53
<i>Зевксис, или Антиох. Перевод Н. П. Баранова</i>	61
<i>Скиф, или Друг на чужбине. Перевод Н. П. Баранова</i>	66
<i>Геродот, или Аэций. Перевод Р. В. Шмидт</i>	71
<i>Гиппий, или Бани. Перевод Н. П. Баранова</i>	74
<i>Похвала мухе. Перевод К. М. Колобовой</i>	78
<i>В оправдание ошибки, допущенной в приветствии.</i> <i>Перевод Н. П. Баранова</i>	81
<i>Прометей, или Кавказ. Перевод Б. В. Казанского</i>	86
<i>Разговоры богов. Перевод С. С. Сребрного</i>	92
<i>Морские разговоры. Перевод С. С. Лукьянова</i>	122
<i>Диалоги гетер. Перевод Б. В. Казанского</i>	136
<i>Нигрин. Перевод С. В. Меликовой-Толстой</i>	160
<i>Изображения. Перевод Н. П. Баранова</i>	171
<i>В защиту «Избражений». Перевод Н. П. Баранова</i>	180
<i>Токсарид, или Дружба. Перевод Д. Н. Сергеевского</i>	190
<i>Анахарсис, или Об упражнении тела.</i> <i>Перевод Д. Н. Сергеевского</i>	214
<i>Паразит, или О том, что жизнь за чужой счет есть искусство.</i> <i>Перевод Н. П. Баранова</i>	229

Учитель красноречия. <i>Перевод Н. П. Баранова</i>	248
Гермотим, или О выборе философии.	
<i>Перевод Н. П. Баранова</i>	258
Зевс уличаемый. <i>Перевод С. Э. Радлова</i>	295
Зевс трагический. <i>Перевод С. Э. Радлова</i>	301
Собрание богов. <i>Перевод С. Э. Радлова</i>	318
Менипп, или Путешествие в подземное царство.	
<i>Перевод С. С. Лукьянова</i>	323
Икароменипп, или Заоблачный полет.	
<i>Перевод С. С. Лукьянова</i>	332
Переправа, или Тиран. <i>Перевод И. П. Мурзина</i>	346
Харон, или Наблюдатели. <i>Перевод Н. П. Баранова</i>	357
Разговоры в царстве мертвых. <i>Перевод С. С. Серебряного</i>	369
Сатурналии. <i>Перевод Н. П. Баранова</i>	405
Кроно-Солон. <i>Перевод Н. П. Баранова</i>	409
Переписка с Кроном. <i>Перевод Н. П. Баранова</i>	413
Сновидение, или Петух. <i>Перевод Н. П. Баранова</i>	421
Киник. <i>Перевод Н. П. Баранова</i>	437
Примечания	445



193689

ИЛ № 064366 от 26. 12. 1995 г.

Издательство «Алетейя»:

193019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 13

Телефон издательства: (812) 567-2239

Факс: (812) 567-2253

E-mail: aletheia@spb.cityline.ru

Сдано в набор 11.04.2000. Подписано в печать 20.09.2000.

Формат 60×88/16. 30 п. л. Тираж 2000 экз. Заказ № 3501

Отпечатано с готовых диапозитивов в Академической типографии

«Наука» РАН: 199034, Санкт-Петербург, 9 линия, д. 12

Printed in Russia

